АЛЕКСЕЙ ЮГОВ

СТРАШНЫЙ СУД

АЛЕКСЕЙ ЮГОВ

СТРАШНЫЙ СУД

ЭПОПЕЯ
В ДВУХ РОМАНАХ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1979

Р2
Ю15

Ю $\frac{70302-273}{068(02)-79}$ без объявл. 4702010200.

Книга первая

ШАТРОВЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



И в этом году попыталась было Ольга Александровна Шатрова упросить своего грозного супруга не праздновать ее день рождения.

— Это еще почему?

И Арсений Тихонович Шатров даже приостановился. У него привычка была, давняя: когда он зазывал к себе жену, для совета — а он так и говаривал: «Зайди. Нужна для совета», — то, беседуя с нею о деле, о чем-либо особо важном — о новом ли броске шатровского капитала в не изведанную еще область родной приуральской промышленности, о постройке ли еще одного лесопильного завода, о покупке ли соседней по Тоболу мельницы, захудавшей в нерадивых руках, — любил прохаживаться он с угла на угол своего огромного, просторного кабинета.

Так и сейчас было. Но он до того круто, в гневе и недоумении, остановил свой шаг и так резко повернулся к жене, что под каблуком сапога аж закрутился на скользком полу ярчайший, рыхло положенный половик, пересекавший наискось зеркально лоснящиеся от лака, неимоверной толщи и шири половицы. Недолюбливал паркеты Шатров: «Расейская затея. Барская. У нас, в Сибири, дуб не растет!»

Он повторил свой вопрос. Она ответила не вдруг: еще не знала, что сказать, да и залюбовалась: «Какой он все-таки у меня, а ведь уж пятый десяток на переломе!..»

Этой тихой радостью привычного и гордого любования мужем уже много лет их брака светилась и не уставала светиться ее душа.

Да и хорош был в мужественной своей красоте «старик Шатров» — так, в отличие от сынов, называли его заглазно мужики из окрестных сел и деревень: статный, с могучим разворотом плеч, с гордой осанкой; а оклад лица долгий, строгий; вроде бы как серб, и словно бы у серба — округлая шапка крупных темнорусых кудрей над выпуклым, крутым лбом.

В городе у Шатрова был свой постоянный парикмахер: «Ваши кудри, господин Шатров, надо круглить: вот как деревья в парках подстригают». — «Кругли!»

И с тех пор стригся только у одного, и уж всегда — «четвертную», невзирая на взгляды и перешептывания.

Суровость его лица мягчила небольшая светло-каштановая, даже чуточку с рыжинкой, туповато-округлая бородка; легкие мягкие усы опущены в бороду и совсем не закрывают алых энергично сжатых губ.

И ничуть не портила его внешность легкая седина висков.

Но и Шатриха была с мужем «на одну стать» — так и говорили в народе: рослая, полная, красивая, с большущими серыми глазами; темные волосы причесаны гладко-гладко, а на затылке собраны в тяжелый, лоснящийся от тугизны узел. Малость будто бы курносовата, дак ведь какая же красавица русская может быть, если не курносая? И румянец красил ее, алый, тонкий, словно бы у молоденькой, а ведь уж и ей было за сорок, и троих сынов родила-взрастила!

— Ну? — И уж в третий раз требуя от нее ответа, но и смягчая голос (не любила она, когда он кричал), Шатров вплотную подступил к ней и ласково положил ей руку на затылок. Ольга Александровна сидела на низком подоконнике распахнутого в березу окна. До березки рукой было дотянуться. Чуть ли не в самую комнату шатровского мезонина вметывает она теперь — радушная, густолиственная — свои отрадно пахнущие зеленые ветви. А ведь давно ли, кажется, своими руками он посадил ее — как только переехали сюда, на Тобол, на эту мельницу!

Близость могучей, полноводной реки умеряет истому недвижного июльского зноя: дом стоит над самым Тоболом, и тончайший водяной бус от рушащегося с большой высоты водосвала насыщает воздух, ложится свежестью и прохладой на разгоряченное лицо.

Ольга Александровна умиротворяюще гладит сквозь рукав просторной легкой косоворотки его плечо:

— Арсений, но неужели ты не поймешь, что нельзя, нельзя сейчас праздновать да гостей собирать, когда там, на фронте, кровь льется, людей убивают! — Она подняла к нему большие, наполнившиеся вдруг слезами глаза: — Я даже не знаю, что со мной будет, когда я услышу, что уж колокольчики, что кто-то уж едет к нам. Голову под подушку спрячу, ей-богу! — Она скорбно усмехнулась. — Как только представлю: едут... по плотине... по мосту... между возов помольских, серых, нарядные, веселые, на парах, на тройках, и всё — к Шатровым. А на возах, а у дороги солдатки одни смотрят, да подростки, да еще разве искалеченный какой-нибудь солдат, да еще...

— Довольно! Хватит! — И вне себя от гнева Шатров отбросил ее руку. Лицо у него покраснело, на лбу вздулись жилы. — Довольно с меня этих твоих причитаний! Думай, матушка, что говоришь! Меня, Арсения Шатрова, учить, стыдить вздумала: «Ах солдатки, ах калеки, ах там кровь льется!»

И он снова принялся шагать с угла на угол, время от времени останавливаясь к ней лицом и со все возрастающей болью и обидой в голосе бросая ей гневные укоризны.

И чего бы не отдала она сейчас, только бы вернуть сказанные ею слова! А он уж «навеличивал» ее и Ольгой Александровной, и на «вы», и это было совсем скверно, ибо только в состоянии не просто гнева, а гнева вперемежку с враждебностью, да и то очень, очень редко, говаривал он с ней так.

— Да! Знайте, Ольга Александровна, если до сих пор не знали, что Арсению Шатрову о его долге перед отечеством напоминать не надо! Все бы люди капитала та́к его помнили, этот долг, а не сапоги с картонными подошвами в армию поставлять, да воровать, да спекулировать, карманы набивать на кровавом бедствии народном. Кто, чем меня попрекнет? Солдатки, говоришь, дети солдатские? Да есть ли во всей округе нашей хоть одна солдатская семья из нуждающихся, чтобы Шатров ей не помог? Приюты, интернаты при школах — все моей мучкой обеспечены. А пособий сколько я повыдавал, безвозвратных? Через твои же руки проходят,

должна бы знать! Солдатки... Приедет она смолоть — фунто́в с нее не берут, ни зернышка. Пропускают без очереди по розовым ярлыкам. А что Шатров твой делает через земство? А работа моя по заготовке продовольствия в Союзе земств и городов? А личные пожертвования? Хотя бы вот последние десять тысяч — на раненых: ведь вот, вот она, благодарственная телеграмма от главноуполномоченного земств и городов, от князя Львова. — Шатров показал на особо лежавшую на круглом столе в роскошной кожаной папке телеграмму князя. Этой своей гордости не таил он ни перед кем. Напротив, когда к нему приезжал кто-либо из уездных толстосумов, Шатров непременно похвастается; считал, что это на пользу дела: позавидует — и сам раскошелится!

Ольга Александровна слушала его, опустив голову. И не́то-не́то он стал отходить. «Гневлив, да отходчив!» — говаривали про него. Ему уже было жалко жену, что накричал так. И, приблизившись к ней и ласково взглянув на нее, он сказал:

— Не только моих трудов для армии, а и своих не хочешь видеть... сероглазая! — Он приподнял ей подбородок: — Ну?.. Что я — неправду говорю? Да если бы не твой женский комитет, натерпелись бы и у нас, в городе, наши раненые солдатики!..

Ольга Александровна подняла на него прояснившиеся глаза:

— Я не думала, что я тебя этим так обижу. Ведь в прошлом году не праздновали же мой день рождения. И ты — ничего; даже как будто одобрил.

— Сравнила! — Арсений Тихонович усмехнулся. — Нонешний год — и тысяча девятьсот пятнадцатый! И сейчас страшно вспомнить!.. — Словно судорога озноба перекорежила его плечи, лицо омрачилось. — Тысяча девятьсот пятнадцатый!.. Армия кровью истекала, откатывалась. Безоружная, без винтовок, без снарядов. На пятерых — одна винтовка. Голоруком сражались наши чудо-богатыри. И почитай, всех кончили, кадровых... Крепости рушились, и какие: Иван-город, Ковно, Гродно, Осовец... Казалось, вот-вот — и Вильгельм позорный мир нам продиктует в Петрограде... А! Да что вспоминать — сама помнишь: вместе ревели с тобой

у карты... А теперь, а теперь?! Да ты, голубушка, подойди-ка сюда, посмотри!

Арсений Тихонович схватил ее за руку, сорвал с подоконника. Невольно рассмеявшись, как девчонка, и повинуясь его неистовой силе, Ольга Александровна подбежала с ним к большой настенной карте театра военных действий, где положение фронтов и армий означено было густыми скоплениями флажков — синих и красных. Этим ведал неукоснительно, руководствуясь еженедельными обзорами К. Шумского в «Ниве», младший Арсеньевич — Володя, четырнадцатилетний гимназист-пятиклассник. А если он забывал эту свою священную обязанность, за недосугом, заигравшись да закупавшись, отец шутливо-строго выговаривал ему: «Ты что же это, господин начальник штаба, манкируешь, а? Ты ж не Янушкевич!..»

Стоя вместе с женой у самой карты, Шатров указкой водил по Галиции и Волыни и, радостно-гордый, торжествующий, объяснял ей то, что она уже по нескольку раз в день слыхала от «начальника штаба».

Но надо было матерински послушно притворяться и перед тем, и перед другим, что все это ей внове, дабы не обидеть ни того, ни другого.

— Ты видишь, Оля, ломит эрцгерцога наш Алексей Алексеевич Брусилов!.. Ломит, голубчик, дай ему бог здоровья!.. — Голос Шатрова дрогнул слезами гордости и счастья. Подавив прорвавшееся волнение, он продолжал: — Ты смотри: ведь всю Буковину от них очистил. Армии брусиловские через Карпаты переваливают. Скоро господам австрийцам — каюк. Эх, вот бы когда румынам выступить да шарахнуть Австрию сбоку — ну и конец! Дак нет, все еще торгуется этот Братиану, сволочь!..

— Арсений!..

— Извини, извини, голубка: забылся!.. Да и без румын обойдемся: Австро-Венгрия — при последнем издыхании, вот-вот капитулирует. Мы — накануне победы, полнейшей, безоговорочной, от сотворения мира не слыханной! А ты, а ты, орлица моя: имянины твои не праздновать! А мужички Шатрова не осудят, не беспокойся. Ты что думаешь, они в траур облеклись? Плохо ты знаешь сибиряка! Кто чуть побогаче, тот и свадьбы гуляет, и крестины справляет, и новый пятистен поста-

вит — новоселье три дня празднует, самогонки да бражки хватает! Что делать, говорят, Арсений Тихонович, всех не оплачешь, а жить как-то надо! И я так же, по-мужицки, считаю: и жить надо, и работать надо. А у меня, у Арсения Шатрова, своя, особая работа — шатровская: народному благоденствию фундамент закладывать. Чтобы после-то военной, адовой прорвы опять всего стало много: и хлеба, и мяса, и работушки! А я то и делаю... Да и заветную думушку мою, от которой у Арсения твоего подушка ночами горит, — чтобы господ иностранных капиталистов из Сибири вон попросить — уже кто-кто, а уж ты-то лучше всех знаешь. Нет, дорогая Ольга Александровна, что касается трудов для отечества, так Шатров твой и перед *тем* Страшным Судом спокойно предстанет, да и перед земным страшным судом — народа русского!

Из двух, собственно, мельниц состояла шатровская главная: одна, в приземистом, старом здании, на семь жерновов, так и оставалась для грубого, простого размола, и ее попросту звали «раструс», а другая — для самого тонкого, оптово-промышленного, вальцовка, в светло-бревенчатом, высоченно-просторном, в три потолка, — называлась «крупчатка». «Где Ермаков, мастер?» — «А на крупчатке». — «Где Гаврила-засыпка?» — «Да в раструсе гляньте, где же ему быть!»

Над самым омутом и над необозримым, округло раздавшимся плёсом нижней воды высилось новое здание. Дух захватывало смотреть из распахнутого окошка верхнего яруса на дальний обрывистый берег, на су́води и водовороты нижнего водоема, когда подняты были заслоны вешняков и через них невозбранно рушился могучий и на перегибе как бы льдяно-недвижный водосвал Тобола.

Сверкающими зигзагами реяли над пучиною чайки, эти извечные тоскливицы, и к самой воде ниспадали, и вновь взмывали, иная — с блестком рыбешки в клюве, и жалобные их вскрики пронзали гулкий, ровный грохот-шум водопада.

Прохладная водяная пыль и сюда досягала, до окон третьего этажа, и так отрадно было дышать ею в зной, сидя на подоконнике распахнутого в пустынные про-

сторы окна, и чувствовать, как дрожь здания от грозно-равномерно-неотвратимого хода турбины, ее валов и трансмиссий передается всему твоему телу каким-то сладостным, еле ощутимым мозжением.

Это было одно из любимейших мест у Володи Шатрова. Мальчик, бывало, часами просиживал здесь, вглядываясь в далекое стеклянно-струистое марево, сквозь которое мреяли и тоже струились огромные мглисто-синие зубцы казенного бора, стоявшего сказочным кремлем по всему окоёму. А у подножия бора, словно бы у крепостных стен, притулилась смутно белевшими домиками крохотная деревенька.

Иногда прибегал он сюда с большим офицерским биноклем на шее. И тогда он мало и присаживался, то и дело вскакивал, отступал, опять приближался к распахнутому окну и, приставя бинокль к глазам, бормотал, бормотал...

Ему нечего было остерегаться, что кто-либо подслушает: весь этот третий ярус крупчатки был еще пуст — со дня на день ждали привоза из города новых размолочных станков и приезда установщика. Только в дальнем полутемном углу громоздко возвышался большой ковш, в который засыпали для крупчатного помола зерно, да еще тянулись сверху вниз целой батареей какие-то жестко-холщовые рукава стального цвета, похожие на трубы органа. Тут же, в укромном закутке у стены, стояли стоймя, в два ряда, туго набитые зерном большие кули, покрытые сверху овчиной: здесь отдыхал иной раз мастер Ермаков.

Словом, не было поблизости никого, и мальчуган преображался самозабвенно — сразу в несколько лиц. Вот он — командир батареи, и по всему зданию звонко разносится: «Батарея!.. Трубка... Прицел... Беглый огонь!..» Но вот уже это командир роты — бинокль к глазам, взмах руки, черные тонкие брови сурово и властно сжаты, русая челка досадливо отстраняется тылом руки, — и уж другая команда вырывается из его уст: «Рота-а!.. Зарядить винтовки!.. Курок!.. Пли!.. В атаку, с богом, за мною!.. Ура-а!..»

Помолчит мгновение, бурно дыша, трепетно раздувая тонкие ноздри, и непременно добавит, только уже другим, тихим голосом: «Скомандовал он...»

— «Свернись, мое письмо, клубочком и лети сизоньким голубочком, лети, лети, взвивайся, а в руки никому не давайся, а дайся тому, кто дорог и мил сердцу моему... Дорогим и многоуважаемым родителям, тятеньке Дормидонту Анисимовичу и мамыньке Анисье Кирилловне, посылаю я свое сыновнее почтение и низкий поклон от бела лица и до сырой земли. И покорнейше прошу, дорогие родители, вашего родительского благословения, которое может существовать нерушимо по гроб моей жизни.

А еще кланяюсь любезной супруге моей Ефросинье Филипповне низким поклоном от бела лица и до сырой земли. И еще кланяюсь моим малым деточкам — дочке Настеньке и сыночку Феде...» — Этим, однако, уж не до сырой земли: было бы не по чину. Настенька только первый год пошла в школу, а сыночек Федя еще по лавке перебирается, им — «нерушимое навек родительское благословение». Зато уж дальше и пошло, и пошло: и крестному, и крестной, и сватья́м, и братья́м, и соседям — кто почетнее да постарше, — всем непременно и по отдельности «от бела лица и до сырой земли».

Но теперь, после одного памятного ему урока, Володя Шатров, читая вслух эти солдатские письма, и не подумал бы усмехнуться или сократить самовольно все эти бесконечные поклоны, занимавшие иной раз целые листы. «Вот что, паренек, да-кась сюда обратно письмецо-то. Не для глуму оно было писано, а кровавой солдатской слезой. Что из того, что много, говоришь, поклонов? Стало быть, добрый сын, добрый муж, да и к соседям почтительной, когда в смёртных окопах и то ни которого не забыл, всем поклоны прописал!» И старик, отец солдата, взял тогда из рук Володи сыново письмо, бережно завернул в красный платок и спрятал за пазуху. Это произошло год тому назад, когда Володя только-только что начинал почитывать на помольских возах письма с фронта — солдатским женам и старикам родителям. Но и сейчас, от одного только воспоминания об этом, стыдом обдавало щеки.

Теперь Володя Шатров любое солдатское письмо читал внятно, истово, стараясь даже и в самом голосе выразить, передать всю ту неизбывную душевную боль, всю ту смертную тоску солдата, что рвалась из каждой строки.

И солдатки плакали, слушая его чтение. Да и у самого-то чтеца голос иной раз нет-нет да и захлебнется слезами; смолкнет вдруг отрок, закусит губу и отвернется в сторону.

И за одно только это как же и полюбился он наезжавшему на шатровскую мельницу народу: «Младшенький-то у них вроде бы душевнее всех будет!»

С тех пор и повелось в солдатских семействах окрестных деревень, что едва только засобираются с помолом на «шатровку», так сейчас же с божницы, из-за икон, стариковская рука доставала последнее от родного воина письмо «с позиции», письмо, уже читанное и перечитанное, захватанное и замасленное, успевшее вобрать в себя все избяные запахи — и дегтя, и махорки, и хомутов, и овчины: «Марья (или Дарья там), а возьми-ка *письмо-то* с собой. Пущай ишшо прочитат шатровский-то малой. Уж больно, говорят, слезно читат, да и всё объяснят: нашшот фронту, и про ерманца, и про других протчих».

...Володя дочитывает письмо Ефросинье Филипповне. Он сидит на тугих, с пшеницею, мешках помольского воза. Она стоит здесь же, возле воза, опершись на грядку телеги, обопнувшись мощной, в коротком мужском сапоге ногой на ступицу колеса. Дородная и красивая. Цветастый платок откинут на плечи. В черных, гладко зачесанных волосах поблескивают искусственные жемчужинки рогового узорчатого гребня. Стоит — слушает давно уж ей знакомое письмо и, сощуриваясь, глядит куда-то далеко-далеко, словно бы видны ей те грязные, вонючие рвы среди Пинских болот, именуемые окопами, где обломком химического карандаша наскреб ей свое жалостное послание ее Митрий.

Вкруг ее воза теснятся и другие помольцы. Есть и уволенный вчистую, и тем безмерно счастливый, солдат на деревянной ноге. Толстая, неуклюжая, похожая на окорок, деревяшка лоснится, как воском натертая. С ним — дочка, девочка лет двенадцати: помогает отцу в помоле.

В знойном, безветренном воздухе долго не расходится махорочный дым, перемешанный с запахом сена, дегтя, навоза, лошадей.

Все слушают, боясь даже кашлянуть.

— «Дорогая моя супруга Фрося! Люблю тебя всей душою, больше никак. Люблю, люблю! Эх, Фрося, как бы да ты сама научилась читать! А то вот и хочу написать тебе душевные слова, а как вспомню, что чужие люди станут тебе читать, и горячее слово мое стынет! Учись, Фросенька, хоть немного...»

Дородная красавица усмехнулась, качнула длинными серьгами:

— Вот только и времечка у меня, что в школу с Настькой ходить — грамоте учиться! День-деньской всю мужицкую работу буровишь, да и ночью покоя нет... Выдумает же!

Выждав, когда она умолкнет, Володя продолжает читать:

— «Еще сообщаю Вам, моя дорогая супруга Фрося, что были во многих боях, но безо всякой страсти, и до сего дня милует меня господь и от шрапнели, и от гранаты, и от злой немецкой пули. Но супроти нас враг стоит смешанный: австрийцы больше, но с добавкою немцев. Австрийцы — послабее... А кто на германской фронт отправлен, так уж...» — Конец строки густо заляпан черной тушью.

Володя поясняет:

— Это военный цензор вычеркнул.

Солдат на деревянной ноге хрипло, презрительно рассмеялся, сплюнул:

— Видать, с пьяных глаз, паразит, черной-то краской ляпал; что тут не догадаться: кто на германской фронт отправлен, так уж давно и в живых нету.

Молчание. Кто-то из женщин горестно, громко вздыхает.

— Читай дале, — приказывает Володе солдат, словно бы это его письмо.

Володя послушно кивает головой и напряженно всматривается в дальнейшие строки, не до конца зачерненные военной цензурой:

— Можно разобрать, только не всё...

— Давай, давай...

Мальчуган с преткновением, словно бы по складам, читает:

— «...то мы, окопники, скажем свое слово... Не наша война...» А дальше опять заляпано черным — не разобрать...

Он виновато протягивает письмо солдату на деревянной ноге: посмотрите, дескать, сами, что дальше не разобрать!

Но солдат отстраняет его руку с письмом. Сквозь угрюмую, злую думу на лице у него, как свет солнца сквозь тучу, вспыхивает радость глубочайшего душевного удовлетворения. И, хитро и весело метнув оком толпе мужиков — понимай, мол, — он говорит Володе уже совсем другим голосом — голосом вдруг осознанной силы и уверенности:

— А нам дальше-то и так понятно: не наша война — она и есть не наша. А окопник, наш брат, он-таки скажет свое слово! Читай дале, отрок! А то, вишь, Ефросинье Филипповне нашей не терпится!..

Он произносит эти слова, весело глянув на солдатку.

Володя дочитывает письмо:

— «Дорогая моя супруга Фрося! Все ли с Вами благополучно? Уж который раз вижу я такой сон: будто я домой прибыл, и детки подходят ко мне. А тебя я зову, и ты не идешь ко мне. Из боев кровавых не выходим, Фрося. Не последнее ли это мое письмо? Миру скоро не ждите. Самый разгар войны. И не верьте! Как вздумаю о вас, так сердце коробом и поведет. Постоял бы хоть под окошечком у вас — посмотрел...

А письмо Ваше, что Настенькиной рукою писано, завсегда ношу при себе, против сердца. А сперва, по конверту, не догадался, что это ее, птенчика нашего, рученька старалась-выводила. А как распечатал — тогда только понял. И вот смотрю, шевелю губами, а голосу не стало: слезами перехватило. А товарищи мне: «Что с тобой, что с тобой? Дома ладно ли все?» А я только рукой мотнул и отдаю письмо: нате, мол, читайте. Они мне и прочитали... Фрося, терпи, не одна ты маешься! Дорогая Фросень...» — Но осталось недописанным ласковое, из-под самого сердца солдатского вырвавшееся имечко, и даже призачеркнуто. А вместо него — снова сурово-супружеское, по имени и по отчеству: — «Уважаемая наша супруга, Ефросиния Филипповна! Настоящим прошу я Вас и приказываю своей нерушимой супружеской властью. У нас ходят слухи, что и в наши деревни пригонят пленных австрийцев: в работники к солдаткам. И якобы находятся такие солдатки. Но ведь это есть наши враги, только в плен

за́братые. Они нас убивают — каждодневно и беспощадно, а мы их обязаны убивать — за веру, царя и отечество, потому — война! А солдатки эти, некоторые, берут их к себе и говорят, что он будет работать на ее хозяйстве, и пахать, и сеять...»

Тут кое-кто из стоявших поблизости мужиков не преминул отозваться на эти слова грубовато-горестной шуткой:

— Вот-вот, он тебе вспашет и засеет!

— А урожай Митрий твой станет собирать, как с войны придет!

У Ефросиньи зарделись яблоки-щеки, сверкнула на мужиков глазами:

— Ой, да будет вам, бесстыдники бородатые! Хоть бы их постыдились! — Она кивает на Володю. — Читай, Володенька, читай, не обращай ты на них внимания, на дураков старых!

Но как раз в это время к возу протолкалась шатровская горничная Дуняша, высокая, смуглая и худая, похожая на цыганку. Она запыхалась от бега.

— Ой, Володенька, а я-то ищу тебя везде, прямо с ног сбилась! Опять — на возах? Да еще и босой, да и беспоясый! Мамаша за вами послала. Идите скорее — переодевайтесь: гости едут!

Они долго и молча глядели вслед убегавшему мальчугану. А затем начался разговор о нем.

— Чудной он у них какой-то: не скажешь, что шатровской!

— Пошто так? Обличье сразу показывает, что шатровской.

— Я не про то: а одежда на нем — ровно бы наш, деревенский парнишечко. И не подумаешь, что таких богатых родителей сын. Уж хватило бы у папки-то одеть: карман тугой!

— Знамо, хватило бы. Да, поди, надоело ему в гимназиях-то, со светлыми пуговками да с кокардой, вот и по́рскает здесь на воле, со здешней своей оравой, попросту, по-деревенски.

— Все может быть.

Помолчали. И казалось бы, после этого глубокомысленного и завершающего «все может быть» пора бы и

разойтись, заняться каждому своим делом, — нет, не расходятся! А впрочем, какие такие дела могут быть здесь, на мельнице, у помольца, чья очередь еще не скоро, здесь, на самом берегу Тобола, в знойный июльский день, — разве только выкупаться, а потом и еще раз, погревшись на жарких, отдающих солнце песках. Или, изладив самодельный, из мешочной редины неводок, наловить им, в одну-две ленивые тони, целое ведро чебаков, пескарей, окуньков, да и сварить добрую ушицу, щербу, чуть пахнущую дымком, в дорожном котелочке, подвешенном к перекладине на двух вколоченных в землю кольях. Откушал. Всхрапнул часок под своей телегой, завесясь пологом от солнышка... Ну, а потом что? День-от долог! Да и на народе быть — и с народом не перемолвиться? На мельнице завозно нынче — по неделе живут. В кустах повсюду слышится глухой звяк, бренчание стальных пу́тал помольских лошадей.

Распряженные, с поднятыми оглоблями возы с зерном протянулись от самых мельничных ворот аж через большой ближний лог. И народу, народу!.. Тут и коренной сибиряк, «чалдон», тут и «расеец» — у этих и посейчас говор «свысока»: на *а*, протяжный, а уж давненько на Тоболе! Тут и прищурый гордец — казак-станичник... И о чем только не переговоришь, чего только не наслушаешься: о войне, первым делом, что и конца не видать, уж до самого тла повычерпывали здоровых, за белобилетников принялись — перещупывают; ратников второго разряда позабирали, детных, пожилых мужиков; киргизцев и тех на войну хотят брать, якобы на тыловые работы... Солдатик иной, отпущенный по ранению, такого порасскажет, что только ну и ну! Вот, к примеру, как тюменский мужичок наш один шибко, говорят, наследил у царя в хоромах — Григорий Распутин. Будто бы не толи что над министрами, а и над царем, над царицей вытворят, что захочет! Мыслимо ли такое дело? Нет, говорит, всё — истинная правда, божится и клянется. Повели, говорит, нас перед выпиской из лазарету в театр-синематограф картину смотреть: как государя императора Георгиевским крестом награждают, на фронте. Смотрим картину, огонь погашен, и вдруг чей-то голос впотьмах: «Царь-батюшко — с Егорием, а царица-матушка — с

Грегорием!» Начальство, конечно, переполошилось. Пустили обратно свет: кто сказал, кто сказал? Пойди дознайся!.. А только погасят свет, начнут картину с царем казать — и обратно, опять голос, и то же самое! Так и бросили — не дали досмотреть картину!

Огромные, тяжелые полотна шатровских ворот распахнуты настежь. Подворотня выставлена: въезжайте, гости дорогие!

И они вот-вот въедут.

Первой показывается на дальней, предмостной плотине знаменитая гнедая тройка Сычова, Панкратия Гавриловича. Сычов не терпит тихой езды. А легко ли целые сорок верст, да в этакую жарынь, ухабистыми проселками, через боровые сыпучие пески мчать тяжелую, с откидным верхом коляску, а в ней две такие туши восседают — хозяин с хозяюшкой! Да еще пятнадцатилетняя дочка между ними, да еще ведь и кучер на козлах, а как же!

И добрые кони изнемогли: черные струйки пота прорезают их крýпы, потощавшие за один перегон. Шлейные ремни пристяжных — в клоках мыла.

Бережно, на тугих вожжах искуснейшего возницы, плывет сычовская тройка — сперва по несокрушимой, не страшащейся ни льдов, ни промоев шатровской плотине, затем, погромыхивая вразнобой серебряными ширкунцáми-глухариками, позванивая звонкоголосыми валдайскими колокольчиками, гремит по большому мосту из отборнейшей сосновой крéми, с подъемными исполинскими заслонами для сброса лишней воды.

Но какая же у доброго мельника на Тоболе в эту пору, в самую засуху, *лишняя* может быть вода? Кто станет сбрасывать голую, даровую энергию — уж не Шатров же Арсений Тихонович пойдет на такое безрассудство! Да это все равно, что уголь выбрасывать из топки паровоза, когда нужно наращать и наращать скорость! Ведь экий у него завозище!

И не выдержало сердце потомственного, старого мельника: Сычов приказал остановить тройку на малой, средней плотине, едва только миновали мост. Сопя и кряхтя, накреняя на свой бок коляску, он вылез из нее,

как медведь из берлоги, и приказал супруге и дочке следовать дальше без него:

— Тихоныч на меня не осердится! Скажите ему: полюбоваться, мол, вашими плотинами вылез. Он это любит.

Сычов едва успел договорить: руки его доченьки, чадушки единственного, богоданного, обняли его сзади, сверху, за плечи, и она вдруг выметнулась из коляски прямо на его могучую спину, смеясь и озорничая:

— Папаша, и я с тобой! Я тоже хочу шатровские плотины посмотреть. Пускай мамка одна поедет!

Рука ошеломленной матери протянулась вслед ей из коляски и звонко шлепнула озорницу по заголившейся выше чулка ноге. А голос был благодушно-ворчливым:

— Ох ты мне бало́вушка отцовская! Людей-то хоть бы постыдилась, коза! Уж не маленькая этак прыгать! Одерни платьице-то!

Но в это время отец уж бережно опустил ее наземь, поцеловал ее загаром пахнущие, розовые, упругие олокотья. Потом обернулся к коляске и прогудел шумным от бородищи и густых усов, рокочущим басом:

— Ладно, мать, поезжай одна. А мы тут не долго пробудем.

— Ох, Веруха, Веруха!

Тройка тронулась.

Вера привстала на цыпочки, дотянулась, поцеловала отца. Потом прицепилась к его локтю: ей все-таки страшновато стало от неистового шума-грохота водопада — они стояли на самом краю плотины.

Отец высился на юру — огромный, чернобородый, обмахиваясь большим белым картузом.

Дочь рядом с ним казалась маленькой, но это была уже девушка-подросток, рано развившаяся, плотно сбитая, с красивыми, четкими чертами лица, с толстой, хотя и не длинной, темно-русой косой, по-мальчишески загорелая, с живыми, умными и смешливыми карими глазами.

От нее так и веяло юной жадностью к миру, ко всему, что глаза ее видели.

Темно-русая ее коса еще отрочески была изукрашена алыми вплетками — лентами с пышным бантом на конце. Однако на крутом ее лбу выбивалось множество

непокорных прядок — так что это было похоже на челку.

Она была порывиста и подвижна...

С высоты примостного быка Сычов увидал внизу, у самого уреза воды, Костю Ермакова, паренька лет семнадцати, курносого, широколицего, с белокурыми, растрепанными ветром волосами, синеглазого и веселого.

И Костя тоже увидал их. Он отбросил на край плотины длинный водомерный шест — «тычку», которой через силу орудовал, и, приветливо помахав рукой мельнику, быстро взбежал к нему. Поздоровались. И Сычов, тряся бородищею, глухо прокричал ему на ухо — мешал гул водопада:

— Что это вы с хозяином силу-то зря разматываете?!

И так же громко и чуть не в самое ухо Костя ответил ему звонким голосом:

— А это еще по старой кляузе верхнего нашего соседа — Паскина приходится судебное решение выполнять: заявлял на нас подпруду — будто бы водяные колеса ему подтопляем. А он уж нам и мельничонку-то свою запродал... Нет, говорят: раз такое решение вышло, то извольте воду спустить!

— Продал, значит, в конце концов? Ну и хорошо сделал. С Шатровым вздумал тягаться! Ну а ты как? Не надумал ко мне?

И, давая понять, что это как бы в шутку, Сычов густо рассмеялся и похлопал юношу по спине.

Рассмеялся и тот:

— Нет, не надумал. Мне и здесь нравится. Тут родился, тут вырос.

— Да я знаю, что ты от Арсения никуда не пойдешь!

И впрямь не один только он пытался переманить от Шатрова этого паренька-плотинщика. Да где ж там!

Думал ли Арсений Тихонович года два тому назад, что под рукой у него из этого вихрастого мальчугана, вечно торчавшего на плотинах, когда он самолично вел ответственную перехватку, вырастет вскоре незаменимый ему помощник по многотрудной и хитрой плотинно-речной науке!

А теперь, когда случалось уезжать по делам, Шатров спокойно покидал самый разгар плотинных работ на Костю Ермакова.

Он и оклад положил ему, как все равно мастеру. Только просил его широко не оглашать этого: не было бы зависти у других, а хотя бы и у того же братца родимого — у Ермакова Семена.

Сычов и Костя беседуют-кричат под грозный, всеподавляющий рев водосвала.

Мальчонкой-пастушком кажется шатровский плотинщик рядом с могуче-громоздким чернобородым великаном.

На них глядят от солдаткина воза. И хорошо, что Сычову не слыхать, что́ говорят о нем!

Кто-то помянул о сычовских капиталах, о том, что на мельнице у него худое обращение с помольцами. А другой — что совсем недавно Сычов «в киргизцах» купил не то двести, не то триста десятин ковыльной, от веку не паханной степи.

— Господи милостивый! Зоб полон, а глаза все голодны! И куда ему одному столько землицы?

— Не тужи по земле: саженку вдоль да полсаженки поперек — и будет с нас! А он, Сычов, новое, слыхать, дело затевает — скота неисчислимое множество закупает, бойню строит, кожевенный завод: на армию, вишь, седла, упряжь, сапоги хочет поставлять. Ну и мясо...

У солдата на деревяшке от вдруг вспыхнувшей злобы блеснули белки глаз:

— Им война хоть и век не кончайся: кому — война, кровь, калечество да гнить в окопах, а этим господам Сычовым-Шатровым — им только прибыля, да пиры, да денежки отвозить в банку!..

От мельницы возвращается к своему возу запыхавшаяся дебелая солдатка:

— Ну, мужики, слезайте с возу, отходите: сейчас карьку своего буду запрягать — велят подвезти поближе... Засыпка на раструсе сказал: сейчас тебе засыпать... А ты чего, Марья-крупчатница? Ты про свою очередь узнала? Стоит, как святая! — Это она прикрикнула на другую солдатку, из чужой деревни.

Та испуганно, как школьница, застигнутая на шалости, заморгала ресницами — длиннющими, дна не видать! Уставилась на старшую вопрошающими золотисто-карими глазищами:

— Дак нам здесь ведь без очереди мелют — солдаткам. У меня и ярлычок — розовый.

Та сердито рассмеялась, передразнивая ее:

— «Без очереди... ярлычок розовенький»! А мастеру-то крупчатному ты его объявляла?

— Нет.

— А откуда же он знать будет, что ты солдатка?

— И верно!

— Ну, то-то. Сонная тетеря! Тебя только и посылать на мельницу: самуё смелют... на крупчатку!

И громко рассмеялась, открыв белоснежные, влажно и ослепительно блеснувшие на солнце зубы.

И снова к помольцам:

— А ну, мужики, пустите, посторонитесь! Говорю, очередь моя приспела.

Они и не думали посторониться.

— Что твой карько! Давай садись. Так быстрее доедешь.

Перемигнувшись, двое подхватили ее под колена, взметнули на́ воз, все дружно взялись — кто за оглобли, кто за грядку телеги, и тяжелый воз вместе с его хозяйкой ходко и все быстрее, быстрее покатился к мельнице, под небольшой уклон.

Она поняла вдруг, что это — их забота о ней, прикрытая лишь обычным мужским озорством-силачеством, и уж не противилась, а только с притворным гневом обозвала их чертями бородатыми.

Обгоняя Машу-солдатку, они крикнули ей, смеясь:

— Садись и ты, солдаточка! Не больше, поди, пушинки прибавится!

Зардевшись, она покачала головой.

По пути им со всех сторон кричали — кто что.

— Вот это да: почет вышел нашим солдаткам!

И они кричали в ответ:

— А как же? Чем наши жены солдатские хуже Сычихи? Та — на тройке, а наша Ефросинья Филипповна — на шестерке. А ну, посторонись, народ крешшоный!

И они, под добродушный смех помольцев и выгля-

нувшего на шум белого от мучной пыли, с белыми ресницами раструсного засыпки, чуть не впятили воз вместе с его хозяйкой в самые двери мельницы.

Тем временем солдатка Машенька, несмело оглядываясь, сторонясь перед каждым встречным, оглушенная шумом и стукотком, вступила под своды нового здания — крупчатки.

Она все еще оберегала свою черную старенькую юбку от мучной пыли, обходя мешки с мукою, сусеки, и время от времени отряхивала ее.

Робкая, худенькая, хрупкая, она и впрямь была сейчас как школьница. И потому как-то невольно взоры встречных мужчин останавливались на ее чрезмерно полных грудях, вздувавших легкую красненькую кофточку: должно быть, кормит. Сосунка дома оставила!

Она остановилась возле мучного сусека, в который по деревянному лотку откуда-то текла и текла мука, спокойной и толстой струей. Женщина оглянулась. Прислушалась. Никого. Тогда она опасливо и проворно всунула раскрытую ладонь в самый поток муки и невольно рассмеялась: мука была горячая — не хотелось отымать руку! Вдруг сверху послышался испугавший ее заполошный и многократный стук выдвижной дощечки в деревянном мукопроводе. Этим сменный давал знак мелющему помольцу, что его засып зерна сейчас кончается и настает очередь другому: поспевай, мол, убрать вовремя свою муку!

Тогда она подняла голову к пролету крутой деревянной лестницы и насмелилась позвать — тонким, девичьим голосом:

— Господин мастер!

Грубый и хрипловатый, привыкший, видно, кричать и распоряжаться, мужской голос отозвался ей сверху:

— Кто там? Некогда мне. Подымайся сюда!

— Ой, не знаю куда.

— Дуреха! Да ты ведь перед лестницей стоишь, ну? А со второго этажа — на третий. Здесь я...

И она застучала легкими своими сапожками по ступеням, дивясь на непонятные ей сверкающие валы, колеса и клейко щелкающие, длинные, необычайной шири ремни, неведомо куда и зачем убегающие сквозь черные прорубы в стене.

Мастер Ермаков вышел ей навстречу, отирая замасленные руки клочком пакли. Она остановилась у лестничного пролета, боясь шагнуть дальше, потупясь, тихо сказала:

— Здравствуйте.

Ему это понравилось.

— Ну, ну, девочка, ступай, ступай смелее, чего ты обробела?

— Ой, да какая я девочка: солдатка я... Боюсь, захватит ремнями.

Он гулко рассмеялся:

— Солдатка? Ну, я против света не разглядел. Не бойся: сама не полезешь — не захватит. Я эти ремни на ходу надеваю! Проходи, проходи поближе, не бойся.

Она подошла.

Наметанным глазом ненасытного волокиты, бабника он сразу определил, что эта молоденькая помолка и робка, и чуточку простовата, и что она — впервые на мельнице.

Заговорив с нею, он так уж и не отрывал глаз от ее грудей.

Про себя же решил, что эту он *так* не отпустит.

Семен Кондратьич Ермаков и на смену выходил щегольком. А сейчас на нем была молдаванской вышивки белая рубаха, с двумя красными шариками у ворота, на шнурках, заправленная в серые, в крапинку, штаны. Талия была схвачена широченным, прорезиненным «ковбойским» поясом, с пряжкой в виде стальных когтей. Снаружи на этом поясе был кожаный кармашек для серебряных, с цепочкой, часов.

Голенища сапог, начищаемых ежеутренне его когда-то красивой, но уже изможденной женой, были с цыганским напуском.

Он и сейчас, как всегда, был гладко выбрит, и от этого еще сильнее выступала какая-то наглая голизна его большой, резкой челюсти и косо прорезанного, большого, плоского рта. Носина был тоже великоват для его лица и словно бы потому был криво поставлен.

Сегодня была важная причина, по которой старший Ермаков был особенно разодет: именины самой хозяйки. Кондратьич накануне не сомневался, что Шатров почтит его приглашением. Еще бы: его-то, крупчатного

мастера! И вот — не позван. А Костька — там! Ну, оно и понятно: в задушевных дружках у младшенького, у Владимира. Когда бы по заслугам почет, а то ведь...

И не потому ли сегодня Семен Кондратьич был сверх обычного груб и зол?

Впрочем, от хищного, хозяйского огляда молодой солдатки его ястребиные глаза явственно потеплели:

— Ну, молодёна, что молчишь? Зачем тебе мастер понадобился? Я и есть главный мастер. Весь — к вашим услугам!

Он выпрямился с дурашливой почтительностью и даже прищелкнул каблуками.

—А вот... — И солдатка Маша протянула ему розовый, типографски отпечатанный с отрывным зубчатым краем мельничный ярлык с прописью пудов ее помола. У Шатрова заведен был обычай: тем, кто без очереди, ярлыки выдавались из особой розовой книги.

Семен Кондратьич мельком глянул в ярлык и возвратил ей:

— Ну?.. Дальше что?.. — В его голосе слышалась уже напускная сухость и неприветливость.

— Без очереди мне. Солдатка я.

И она взмахнула своими тенистыми ресницами и прямо посмотрела ему в лицо.

Кондратьич глумливо, неприязненно хохотнул:

— Ишь ты, какие молодые нынче быстрые! Придется, ласточка, немного попридержать крылышки. Кто тебе сказал, что без очереди?

Тут она почувствовала в себе прилив законнейшего негодования:

— Да как же это?! Все знают, что на шатровской нам, солдаткам, без очереди.

Он язвительно усмехнулся и покивал головой:

— Так, так, ладно. Ну, а ты видела, какой у нас нынче завоз?

— Ну дак что!

— А! Ишь ты какая: только об себе думаешь! А другие помольцы что скажут? Да и разве ты одна здесь солдатка? Между вами тоже своя очередь. Ну? А тут вот сегодня от попа прислано два воза с работником, тоже на крупчатку. А там — учительница, с запиской Арсен Тихоновичу, свои пять мешков прислала: не задержите! Их разве я могу задержать? Они у нас тоже

первоочередные. Интеллигенция. Да и окрестных — ближних тоже не велено обижать: потому на ихних берегах вся мельница стоит. И помочан, которые на помочи к нам ходят, особенно — который с конем. Дак если всех-то уважать безочередных, то где же тогда другим-прочим очередь будет? Поняла?

Она печально кивнула головой. И все же на всякий случай спросила:

— Ну, а сколько я, по-вашему, с одним-то своим возочком эдак должна у вас прожить?

У нее слезами стали наполняться глаза.

Он рассмеялся, стал говорить с ней ласковее:

— А ты и поживи. Скучать не дадим. Вот вечерком лодочку возьмем. Я — гармонист неплохой. Прокатимся до бору.

Она улыбнулась сквозь слезы:

— Что вы это говорите! Вам-то — шуточки. А мне-то каково? Мне солдат мой депешу отбил из казанского госпиталя: что выезжаю, ждите, раненный, но не бойтесь. С часу на час ждем, а я тут буду прохлаждаться!.. Как да приедет, а меня и дома нету, ну, что тогда будет, сами посудите?

— Ну, я уж тут не повинен. Перепишешь на раструс, на простой помол. Там скорее смелешь. А то нынче всех на беленький хлебец потянуло!

— Да мне же не для себя. Как же я его черным-то хлебом стану встречать?.. С фронта, раненный... И сколько же мне ждать?

Он стал прикидывать. Потом вздохнул, слегка развел руками:

— Ну, сутки-двои погостишь у нас... Утречком послезавтра уж как-нибудь пропущу. Если, конечно, опять не отсадят.

Она ойкнула от душевной боли и негодования.

— Да вы что?! Да я сейчас к самому хозяину пойду!

Он озлился:

— Вот, вот, ступай — жалуйся!

Внезапно схватил ее за кисть руки и повлек к распахнутой на балкончик двери.

Не понимая, зачем он это делает, она упиралась.

Он рассмеялся:

— Чего ты упираешься, дурочка? Я только показать тебе хочу сверху, что́ сегодня у хозяина творится. Иди взгляни.

Она боязливо вышла на балкон.

Он рукою обвел с высоты и мост, и плотину, и дальний берег за плесом. Там, вдали, над крутояром, пыль, поднятая на проселке экипажами шатровских гостей, так и не успевала улечься — стояла, словно полоса тумана. И все ехали и ехали!..

— Видела? Так вот: Арсений наш Тихонович сегодня день рождения своей любимой хозяюшки празднует. Теперь ему — ни до чего! В этот день и мы к нему ни с чем не смеем подступиться! Пойди попробуй: и в ворота не пустят. Все равно же ко мне пошлет.

Она молчала, пошмыгивая по-детски своим прелестно-курносым носишком, и рукавом кофточки отирала слезы.

Он ласково взял ее руку в свои жесткие большие ладони.

Кое-кто внизу, увидав их вдвоем на балкончике, запереглядывался. Возле ближнего воза стоял, отдыхая и греясь на солнышке, засыпка с белыми от муки ресницами и тоже взглядывал на них и что-то говорил стоявшим с ним вместе помольцам.

Ермаков, понижая голос, вдруг спросил ее:

— А что это у тебя кофточка-то на грудях промокла?

Она смутилась. Но ей тут же, очевидно, пришло в голову, что хоть этим она все же сможет разжалобить его:

— Ой, да молоко распират!.. Грудныш ведь у меня дома-то остался. Не отлучила еще. Сутки уже не кормила. Груди набрякли... Боюсь, грудница будет.

Он воровато оглянулся на улицу — увидал, что они стоят с нею на свету, и втянул ее снова внутрь помещения:

— Давай отдою...

И, хохотнув, он протянул было руку к ее грудям.

Она отшатнулась:

— Ой, да што это вы?!

Отдернул руку, помрачнел:

— Не бойся, не бойся, это я так, шутки ради... Ну, стало быть, на том и кончаем наш разговор... Пошли... На третьи сутки смелешь.

Он с шумом захлопнул балконную дверь. Сразу стало темнее.

Он осмелел:

— Вот что, красавица-царевна, уж больно ты — тугоуздая! Этак нельзя с людьми. Ты — ничего, и тебе — ничего. А ты подобрее стань, попроще... Потешь ты мой обычай, удоволю и я твою волю! Грех не велик. Не девочка! Никто и знать не будет... М-м...

На его вопросительное мычание ответа не было. Она, потупясь, молчала.

Он снова заговорил, снова взял ее за руку:

— Слышишь, деточка: сию же минуту прикажу все твои мешки сюда занести... После обеда смелешь. Вечерком дома будешь. В чем дело!.. Перед концом забежишь ко мне на минуточку. Не бойся — не задержу... Только и делов! И при своем младенчике будешь, и мужа как следует встретишь — белым хлебцем, пирожками да маковиками...

А внизу засыпка с мучными ресницами, кивнув на верхний балкончик, сказал:

— Нет, от нашего носача не отбрызгается. Эту уж он поведет на мешки!

Пир, как говорится, был «во полу́пире», когда вдруг Володя Шатров, сидевший вместе с молодежью не за «взрослым», а за отдельным, «юношеским», как его тут же и прозвали в шутку, столом, навострил уши, услыхав звучный и впервые раздавшийся в их благодатной, невозмутимой глуши, настойчивый зов автомобильного гудка.

Володя знал, что «хорошо воспитанный мальчик» не должен, что бы там ни случилось, бурно вскакивать из-за стола или закричать вдруг: «Едут!» Уж сколько раз ему влетало за это. А потому степенно, как ему казалось, а впрочем, довольно резво, он бесшумно отодвинул свой стул и направился было к отцу, который весело, радушно и вдохновенно, словно опытный дирижер, управлял уже зашумевшим именинным застольем «взрослого» стола.

Но, к великому огорчению Володи, пока он, внутренне сам собою любуясь и уверенный, что все барышни и дамы тоже любуются тем изяществом и ловкостью, с которой он, изгинаясь, пробирается, стараясь никого не задеть, Арсений Тихонович уже и сам услыхал озорные, надсадные гудки. Он радостно рассмеялся, сверкнул глазами и сказал, обращаясь к гостям:

— Ну вот, наконец-то и долгожданный наш Петр Аркадьевич Башкин соизволил пожаловать, и, как слышно, на своем новокупленном «рено»! Простите, господа, великодушно: пойду его встретить. Моим полновластным заместителем оставляю героиню сегодняшнего торжества — Ольгу Александровну Шатрову.

Он сказал это и, с почтительной ласковостью принаклонясь к жене, слегка похлопал в ладоши. И тотчас же, разом за обоими столами, поднялись все с перезвоном бокалов, рукоплесканиями, с возгласами: «Просим, просим!» — и здравицами в честь «новорожденной».

Вспыхнув и без того нежно-румяным лицом, Ольга Александровна встала и поклонилась, как в старину кланялись гостям: «приложа руки к персям» и почти поясным поклоном. Чуть заметная влуминка улыбки играла на ее упругой, полной щеке:

— Кушайте, гости дорогие!

И снова хрустальный перезвон, и возгласы в ее честь, и сочно-гулкое хлопанье распочинаемых бутылок шампанского.

Краше всех была сегодня хозяйка в свой, Ольгин, день — краше всех и с высоким, никогда не изменявшим ей вкусом одета.

Была на ней сегодня снег-белая блузка, без воротника, очень легкая, но глухая, со вздутыми рукавами, схваченными чуть пониже ее полных, ямчатых локтей, и заправленная с небольшим напуском под высокий корсаж черной юбки, облегающей ее стройный и мощный стан.

Свободный покрой блузки лишь позволял угадывать ее полногрудость, всегда ее смущавшую. Прелестна была ручной работы старинно-народная вышивка на рукавах, но особой прелестью веяло от той изящной простоты, с которой рукава блузки, очерченные узор-

ной проймой, были вделаны в плечо — прямыми, угластыми очертаниями.

Еще до обеда ее приятельницы и гостьи с чисто уездной простотой успели повертеть именинницу во все стороны и надивиться на нее.

— Ничего, матушка, не бойся: не сглазим! А то у кого же нам, провинциальным медведихам, и поучиться, как не у тебя, тонкому-то одеянию? Мы ведь парижских ательев от веку не знали. Живем в лесу — кланяемся колесу! — Так говорила ей, от всей души и не завистливо восхищаясь ею, Сычова Аполлинария Федотовна, тучная, пожилая, расплывшаяся, в шелковой, усаженной крупными жемчужинами наколке-чепце на седых, прямого пробора волосах, в шумящем шелковом платье и — в азиатском, дорогом, старинном полушалке, сиреневом, с золотом. — А я вот, гли-кась, жарковато оделась. Да ведь нам и не полагалось — от родителей да и от мужьев — эдак-то одеваться, как вы нынче одеётесь! Только вот со спины-то больно уж облеписто. Ишь лядвеи-то обтянула: ровно бы дожжом обхлестана!.. — Тут Сычиха грубоватым баском рассмеялась и в простоте душевной легонько похлопала хозяйку по упругому и пышному заду. — И пошто вы так, нонешние, делаете? Тебе-то уж, милая моя Ольга Александровна, сердись не сердись на меня, старуху, вроде бы это ни к чему: не молоденькая! А муж твой и так глаз не сводит... Деток повырастила. Большенькой в доктора уж вышел... Чужим мужикам, что ли, головы заворачивать?

И она как бы приплюнула в сторону — на всех на них, на «чужих мужиков».

Нет, на нее не сердились! Сычихе — так именовали ее за глаза — очень многое прощалось, чего не стерпели бы от другой. Были и есть женщины, чаще всего пожилые, за которыми как-то само собою утверждается, и уж навеки, неоспоримое право — «резать правду-матку в глаза».

К таковым принадлежала и Сычиха.

Правда, она порою не стыдилась высмеять и осудить и себя самое, и супруга, и дочку, но эта добровольная жертва лишь еще больше усиливала в ней ту непререкаемую властность, с которой она высмеивала и осуждала других.

Сплошь и рядом задетые ею люди остерегались давать ей отпор, памятуя, что это жена богатого и влиятельного в уезде человека. А что касается Шатровых, то в их семействе она уже давно слыла закоренелой, простоватой, но отнюдь не злобной чудачкой. К выходкам и чудачествам ее привыкли, да и не портить же, наконец, давних отношений из-за этого!

Не рассердилась и Ольга Александровна, только покраснела:

— Аполлинария Федотовна, да и рада бы я, да ведь что поделаешь: царица-мода — наш тиран! Вот вы говорите, что супруг ваш и не разрешил бы вам так одеться. А меня *мой* супруг с глаз прогонит, если я не по моде оденусь.

Сычова только головой покачала:

— А ведь умной человек, умной человек! Всегда его за светлый его ум, за дальнозоркие рассуждения уважала...

В это время грациозно-щеголеватой походкой, слегка волнуя и зыбя стан, легко и четко отстукивая острыми французскими каблучками по зеркально отсвечивающему полу, приблизилась к ней Кира Кошанская, девятнадцатилетняя балованная дочка Анатолия Витальевича Кошанского, присяжного поверенного и давнего юрисконсульта у Арсения Шатрова.

Слегка крутнувшись перед старухой и развеяв свою плиссированную, выше обычного короткую юбку, она шутливо спросила:

— Ну, а меня, Аполлинария Федотовна, вы, наверно, и совсем осудите за мой наряд?

Сычова с затаенной, но вовсе не злой, а скорее лукаво-снисходительной усмешкой оглядела ее с ног до головы. И что-то необычайно долго для нее собиралась с ответом.

Кира уж и пожалела, что затронула старуху. Однако то, что она услыхала сейчас от нее, было скорее добродушной ворчбой, а не осуждением:

— Да уж ты известная,ченя! Кто уже больше-то тебя из наших девчат чеченится? Отцовская искорка! Боюсь только, как бы Веруха моя копию с тебя сымать не стала!

Кира расхохоталась:

— Боже мой, Аполлинария Федотовна, какие у вас всегда слова изумительные! Я страшно люблю с вами разговаривать.

— На том спасибо! — И старая мельничиха низко наклонила перед ней голову, поджав губы: не очень-то, видно, пришлась ей по нраву такая похвала.

Кира этого не поняла:

— Ну, а все-таки: что такое *чеченя?* Мне не надо обижаться?

— Обижа-а-ться?.. Чего тут обидного! Да и посмею ли я в чужом доме гостьюшку обидеть? Ну, щеголиха, сказать по-вашему.

— А-а! Ну, это ничего! За мной есть такой грех. Но, Аполлинария Федотовна, — тут она повела рукой на свой прямоугольный вырез ворота, — сейчас в Петрограде такое декольте даже и выходит из моды: носят вот до сих пор!

Этого ей не следовало говорить, если не хотела подразнить Сычиху!

— А и чем тут чехвалиться?

На сей раз редкое словечко не вызвало восторга у Киры:

— Ой, ой, ой! Я лучше уйду: а то еще чего-нибудь услышу... из тайн фольклора!

И она поспешила отойти.

Это не был просто именинный обед. Это был обед *в честь, во имя* — нескончаемо изобильный, изысканно-изощренный, на вкусы любого из прибывших гостей, — обед-пир, вначале чинно-торжественный, с тостами и здравицами, а чем дальше, тем больше просто-напросто пир, хотя и в пределах достоинства и приличий, но уже неуправляемо-шумный, веселый, со взрывами хохота, с закипавшими было меж мужской молодежью спорами и с той блаженной разноголосицей, когда каждому только самого себя хочется слушать и чтоб другие все слушали.

Пьяных не было, но, как говорится, все были немножко в подпитии, навеселе, кроме хозяина и хозяйки; да еще, к великому огорчению застолья холостой молодежи, только пригубливал, да и то одно кахетинское, доктор Шатров, Никита Арсеньевич, Ника.

Зато совсем по-иному вел себя «середний Шатров», семнадцатилетний Сережа, стройный, поджарый, со строго красивым лицом и мелкими, а не отцовскими крупными темно-русыми кудрями. «Завтрашний юнкер» — так величал он себя, а пока что это был гимназист на переходе в восьмой, с переэкзаменовкой по алгебре. Он-таки натянулся! Искорки буйства вспыхивали в его серых, чуть осоловевших глазах. Только еще не с кем было поссориться. А пока он пытался провозгласить какой-то мудреный, всеобъемлющий тост и все требовал внимания, позвякивая ножом о пустой бокал на столе. Было тут и «за славу русской армии», и «за победу русского оружия над тевтонским варварством», и за молодую красавицу лесничиху, которая, дескать, только в силу своей несчастной судьбы сидит сейчас не за этим, а за тем, супружеским, столом, но это, мол, ненадолго! Его плохо слушали: каждый был занят своим, и тогда он, вдруг гневно зардевшись, извлек из кармана никелированный, светлый браунинг и, держа его на ладони, показал зачем-то Кире Кошанской, что сидела напротив, рядом с его боготворимым другом и ментором — прапорщиком Гуреевым. С грозно-трагическим намеком Сережа Шатров во всеуслышание заявил, что хотя он и не офицер, но в делах чести пощады не даст никому, пускай это будет даже его задушевный друг, и позовет его к барьеру. А та, которая...

Тут обеспокоенный за него Гуреев извинился перед своей соседкой, перешел к нему и, успокаивая разошедшегося юнца, осторожно выкрал у него из кармана пистолет, а самого тихонечко вывел в сад — освежиться и выкупаться в купальне, что стояла тут же, за тополями сада, под берегом.

На веранде Сергей всхлипнул и припал лицом к столбу.

Тревожным взглядом проводила их Ольга Александровна: ох, не нравился ни ей, ни Арсению этот закадычный друг и учитель Сергея!..

Перед самым спуском на мостки, соединявшие плавучую, на бочках, купальню со ступенями берега, Сергей вдруг заартачился. Одной рукой уперся в березу над обрывом, в хмельном внезапном гневе вскричал:

— Постой, погоди, Александр!.. Что ты ведешь меня, как пьяного?! Р-р-разве я пьян?.. И прежде всего отдай мой браунинг. Ты слышишь?! Иначе ты мне враг!..

Он горделиво и требовательно протянул руку за пистолетом.

И Александр Гуреев, поколебавшись, возвратил ему браунинг.

— Только, Сереженька, милый... я знаю, ты не пьян... но...

— Никаких «но»! Смотри.

Сказав это, Сергей, с трудом выправляя шаг, отмерил от берега ровно двадцать шагов, остановился лицом к реке и стал целиться в молодую белоствольную березку над обрывом.

— Ты с ума сошел?! Что ты делаешь? Ведь услышат: переполошится весь дом!

— Не бойся: мой «малютка» не громче, чем пробка из шампанского. А вот как бьет — сейчас увидишь. Считай: я стреляю вот в эту... девушку. — Он показал на березку.

Пожав плечами, Гуреев стал за плечом стрелка.

— Промажешь!.. Бородой пророка клянусь: промажешь. Лучше отложи, Сереженька, до более...

Но уже захлопали, и впрямь негромко, с небольшой расстановкой выстрелы.

Отстрелявшись, Сергей поцеловал свой серебряный дамский браунинг, похожий на миниатюрный портсигар, и, не оглядываясь даже, подал знак рукою: считать попадания.

Оба подошли к березке. Ни одного промаха!

В белоснежной коре темные коротенькие щелки от пуль были все до одной, счетом: вся обойма. И зияли не вразброс, а гнездом, кучно.

И лишь теперь Сереженька соизволил повернуться лицом к своему другу и наставнику:

— Ну, что — кто из нас пьян?!

— Я, я, Сереженька! Винюсь... Ты стреляешь, как молодой бог. Я — офицер армии его величества, твой учитель в стрельбе — и вот я поражен. Ma foi! (Клянусь!)

Сергей гордо и радостно тряхнул головой. С пьяной растроганностью сжал руку Гуреева и долго ее потрясал.

А тот, лукаво рассмеявшись, вдруг сказал:

— Я очень жалею, что ты расстрелял всю обойму.

— Почему?

— А видишь ли, я за неимением яблока вырвал бы репку...— Тут он указал на огород в углу сада.— Вырвал бы, положил себе на самое темя и сказал бы: «Сергей, стреляй!» И не сморгнул бы!.. Клянусь: ты — второй Вильгельм Телль. У англичан в их армии, я читал, таких, как ты, называют снайпер... Да-а, не хотел бы я оказаться на месте того человека, который приведет тебя в гнев: я ему не завидую!

— Я тоже!

Дружными криками застольных приветствий встретили оба застолья возвращение Арсения Тихоновича с запоздавшими дальними гостями из города.

Хозяин разом всему обществу представил вновь прибывших:

— Прошу, господа, любить и жаловать: Петр Аркадьевич Башкин — мой верный и старый друг, чье имя вам всем, сынам Тобола и Приуралья, хорошо известно,— пионер металлургии и турбостроения в наших краях. Он прибыл к нам со своим помощником — техником-установщиком Антоном Игнатьевичем Вагановым, который изволил приехать к нам на все лето с женою Анной Васильевной и юной дщерью Раисой Антоновной.

Опять все приветственно захлопали. Шатров радушным движением руки и глубоким поклоном пригласил новых гостей за стол.

— Как видите, кресла, для вас приготовленные, вас ждут. Прошу вас, гости дорогие и... очень долгожданные, что ж греха таить! — Тут он не удержался от шутки: — Иные предполагают, ретрограды конечно, что виной запоздания является презрение Петра Аркадьевича к мотору овсяному и, преждевременное на наших проселках, увлечение мотором бензиновым — короче говоря, излишнее доверие инженера Башкина к своему красному гиганту «рено», на коем, однако, они все ж таки прибыли... не без содействия местных крестьян...

Башкин рассмеялся, погрозил хозяину пальцем. Он явно еще не собирался занимать место за столом. А с ним — и семейство Вагановых.

Он поправил пальцем левой руки большие очки в заграничной толстой оправе на сухом, аккуратном носу и, слегка пощипывая рыжую, коготком вперед, бородку, начал, по-видимому, заранее приготовленную речь:

— Прежде всего прошу дорогую именинницу простить мне наше невольное опоздание. Именно мне: ибо я лидировал машину и, как шофер, отвечаю в первую очередь. Во-вторых, как таковому, то есть как шоферу, простите мне и мой шоферский вид: все мои смокинги, фраки, визитки и вся прочая суета сует мужская оставлены дома, а вся немалая емкость моего «рено» предоставлена была под движимое, так сказать, имущество моего уважаемого Антона Игнатьевича и его дам, ибо им предстоит провести здесь, в Шатровке, все лето...

Тут успел вставить свое слово Сычов:

— Нас тут и без смокингов жалуют!

Склонив гладко примазанную на прямой пробор голову, Башкин любезно усмехнулся в сторону Сычова и перешел к самой сути своей приветственной речи:

— И наконец, позвольте нам всем поздравить вас, Ольга Александровна, с днем рождения и пожелать, чтобы вы и дальше, на украшение и радость дома Шатровых, всех, кто имеет счастье и честь быть в числе друзей ваших, а также на благо наших раненых воинов, были бы здравы и роскошно цвели, как вот эти цветы!

С этими словами, не оборачиваясь, он подал знак, и две шатровские горничные, уже стоявшие наготове, — Дуня и Паша, обе кукольно-нарядные, в зубчатых коронах белых кружевных наколок, внесли из полутемной прихожей огромную корзину свежих оранжерейных цветов.

Башкин ловко перенял ее и, склонясь перед Ольгой Александровной, поставил у ее ног.

И снова плески ладоней и крики «ура» — крики столь громкие, что двое помольцев, привязывавшие лошадей по ту сторону глухого шатровского заплота, переглянулись и головами покачали:

— Раскатисто живут!..

— А что им — от войны богатеют только!.. — Помолчал и затем угрюмо, злобно и медленно, словно бы припоминая, договорил: — Слыхал я на фронте от одного умного человека: ваша, говорит, солдатская кровуш-

ка — она в ихние портмонеты журчит, а там в золото, в прибыля оборачивается!.. Вот оно как, братец!..

Пылая лицом, Ольга Александровна поцеловала в лоснящийся пробор склонившегося к ее руке инженера.

— Боже мой! Петр Аркадьевич, я боюсь, что вы опустошили для меня весь розарий вашей оранжереи...

Башкин ответил с полупоклоном и приложив руку к сердцу:

— Дорогая Ольга Александровна! Если бы ваш день рождения праздновался на вашей городской квартире — поверьте, все цветы моей оранжереи были бы сегодня у ваших ног!.. К сожалению, емкость моего «рено» поставила мне жесткий предел!

Шатров стал усаживать вновь прибывших.

Но в это время Сергей, уже успевший и протрезвиться, и освежиться купанием, вдруг закричал отцу:

— Нет, нет, пап, не все гости — твои!

Арсений Тихонович сперва впал от этого выкрика в недоумение, почти негодующее: да неужели мой молокосос, «завтрашний юнкер» — черт бы побрал этого прапора! — успел так натянуться?! Однако сдержался и только спросил отчужденно, с затаенным в голосе предостережением:

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что Раисочка — наша: ей полагается за наш стол! — Но оробевший и смущенный неласковым вопросом отца, он прокричал это, как молодой петушок, сорвавший голос.

На выручку к нему пришли остальные. Почтительно склонив свою бриллиантином сверкающую маленькую голову, поднялся со своего места офицер; грассируя, сказал:

— Простите, Арсений Тихонович, но Сережа прав: Раиса... Антоновна принадлежит нашему застолью — вами установленный закон!

Поддержал брата и спокойно-вдумчивый, молчаливый даже и сегодня, Никита:

— Сергей прав, отец.

Арсений Тихонович, соизволяя, покорно развел руками.

И тогда все девушки, кроме Киры Кошанской, стали кричать:

— К нам Раисочку, к нам! — И стали тесниться и шуметь стульями, освобождая место для нее.

Офицер тоже кричал: «К нам Раисочку, к нам!» — и даже вскочил — побежать за стулом. Но в это время, досадуя, Кира ущипнула его сквозь галифе, ущипнула сильно, по-мальчишески, с вывертом, так, что он чуть не вскрикнул и сразу же опустился на свое место и перестал кричать.

А Кира покусывала губы и безмятежно глядела перед собою. Ее разбирал смех.

Гуреев надул губы:

— Кирочка... ну, что это значит? Какая вы... странная! Я просто не понимаю...

— Ах, так, не понимаете! Ничего, я вам это припомню!.. Ника!.. Никита Арсеньевич! Я хочу пересесть к вам. Мне здесь... скушно... — Она барственно, манерно протянула последнее слово и как-то особенно нажимая на это *ша*: ску-ш-шно!

Никита ответил ей со свойственным ему радушием и простотою:

— Пожалуйста, Кира. — Затем так же просто, негромко сказал младшему: — Володенька, дай, пожалуйста, сюда кресло для Киры. — И подвинулся. Мальчуган, боготворивший старшего брата, радостно кинулся исполнять его поручение.

Тем временем смущенную, почти оглушенную всем, что происходило вокруг нее, Раису подхватили под локотки Сергей и Гуреев и усадили на место, оставленное Кирой. Бурно гостеприимствуя, Сергей выхватил из серебряного, наполненного осколками льда ведерка бутылку с шампанским и налил доверху бокал, поставленный перед прибором Раисы. Затем он поднял его перед нею и торжественно возгласил:

— Вам, Раиса Антоновна, как запоздавшей, по регламенту Петра Великого, полагается кубок большого орла!

И вдвоем с Гуреевым настойчиво принуждали ее выпить. Она, зардевшись, жалобно отказывалась:

— Я не пью...

Они рассмеялись. А прапорщик даже сострил:

— Да что-о вы? — Он забавно изобразил крайнее изумление: — И давно?

Этим он рассмешил ее, заставив улыбнуться, а то

уж и слезинки стали навертываться от их навязчивости на больших голубых ее глазах, детски пристальных и словно бы не умеющих закрываться. Да и не так-то далеко ушла эта семнадцатилетняя девушка от своих отроческих лет! Стройная, гибкая, она казалась прозрачной. О таких вот говорится в народе: видно, как из косточки в косточку мозжечок переливается.

Была она в черной юбке и розовой простенькой кофточке, под которой лишь чуть заметно обозначались признаки ее девического созревания. Казалось, отягощают ее, хрупкую такую, ее необычайно пышные, светлые, с золотым отливом волосы. Сейчас толстенные жгуты ее золотых кос были уложены венцами, когда же она сооружала себе «взрослую», пышную прическу, то становилась похожей на одуванчик.

Никита Шатров решил немножечко поунять братца, а тем самым и Сашу Гуреева:

— Сережа, Сережа, ну полно тебе! Раиса Антоновна после тяжелой дороги. Устала.

И Сергей, оглянувшись на старшего брата, поспешил умерить пыл своего гостеприимства, ушел на свое место. Никиту он уважал и, пожалуй, побаивался едва ли не больше, чем отца, хотя никогда, ни разу Никита, бывший старше его на целых семь лет, не применял к нему, юнцу, мальчишке, грубую силу старшинства, не оскорблял его резким приказом, не тóли что братским тумаком. Сам-то Сергей по отношению к младшему брату далеко не был безгрешен!

Один только взгляд сурово-спокойных, а в гневе и страшных изголуба-серых глаз старшего брата заставлял Сергея повиноваться.

И не было случая, чтобы отец кричал на Никиту.

Нет, впрочем, был — был-таки однажды такой случай: кричал на старшего, да еще и как! Прибежавшая на их ссору Ольга Александровна не знала, к которому кинуться.

И началось-то все из-за синего рукотерта! [1]

Случилось это два года тому назад. Заканчивающий третий курс медик Никита Шатров блестяще сдал все надлежащие экзамены и приехал на летний отдых к родителям на Тобол.

---

[1] Рукотертом в Сибири называли полотенце.

Как-то, бродя по двору и осматривая вновь отстроенные без него службы, о которых с гордостью за первым же обедом упомянул отец, зашел он в новую «большую людскую» — так звалась у Шатровых огромная, с большой русской печью и нарами бревенчатая изба, где иной раз вместе с постоянными работниками размещались и поденные рабочие.

Просторна и светла была многооконная людская. Но, боже мой, до чего же скудны, убоги, грязны показались Никите кучи и навалы всевозможного тряпья, на которых, очевидно, спали и которыми укрывались обитатели этой хоромины! Валялись тут и полушубок, и драный, выношенный тулупец, и стеганая коротайка чья-то, и засаленное лоскутное одеяльце, и черная котомка, и еще невесть что.

Подушек было всего две, да и те — в отдельном чуланчике, поверх войлока на полу, где спали, как разузнал Никита, обе стряпухи людской, привилегированные, так сказать, обитательницы общежития. Но и у них наволочки на подушках были не белые, а предусмотрительно темно-мясного цвета, лоснящиеся от давнего спанья без стирки.

Ужас опахнул душу бедного медика, в сознании которого еще свежо звучали строго-непререкаемые заветы из учебников и лекций о гигиене жилища!

Ему показалось даже, что от всего этого спального тряпья исходит явственный дурной запах.

«Ну и гайно же! — такое чуть не вслух вырвалось у нашего юного гигиениста. — Надо будет сегодня же сказать отцу: что ж это он?! Наверно, и заглянуть было некогда!»

На нарах, разметавшись на спине, положив под голову кусок старого войлока поверх сложенных вместе голенищами сапог, отхрапывал один из вновь нанятых конюхов, молодой, черно-лохматый парень.

Приход Никиты не потревожил его сна.

— Намаялся: хоть из пушек пали! — Это сказала стряпуха людской кухни, пожилая, дородная женщина, переставшая переставлять ухватом чугуны и горшки и ответившая наклоном головы на *здравствуйте* Никиты. Опершись на ухват, она ждала, что́ он еще скажет, хозяйский сынок.

А он ничего и не сказал: взор его вдруг остановился

на засинённом дотемна, грубого холста рукотерте на гвозде возле умывальника.

Не нужно было много времени, чтобы догадаться, чего ради полотенце в людской — синее!

На глазах изумленной стряпухи Никита Арсеньевич сорвал с гвоздя полотенце, наскоро свернул, сунул в карман и почти выбежал вон, второпях и в негодовании больно стукнувшись теменем о притолоку.

Он несся прямо к отцу.

Постучался и приоткрыл, не дожидаясь.

— Войди, Никитушка, войди!

Отец, закинув за кудрявый затылок сцепленные меж пальцев руки, расправив плечи, расхаживал взад и вперед по своему огромному кабинету. Никита знал: это была у него поза благосклонного раздумья. Тем лучше, тем лучше!

Веселый, отечески радушный, начал было Шатров-старший усаживать сына:

— Ну, садись, садись, будущий доктор, гостем будешь!

Никита не сел, да так напрямик и отрезал:

— Нет, отец, и садиться не буду, пока не велишь устранить эти безобразия!

— Какие?

Никита рывком вытянул из кармана и положил на отцовский письменный стол подсинённое грязное полотенце.

— Да вот, хотя бы и это!

Арсений Тихонович, сдвинув брови, воззрился на рукотерт. Понял, понял! Смуглое лицо его стало краснеть-краснеть, и вдруг зловеще затихшим голосом спросил:

— К чему ты мне эту портянку на письменный стол суешь?

И смахнул полотенце на пол.

Никиту это не испугало:

— А, портянка?! Ты сам говоришь: портянка! Так вот, сегодня обнаружил, что у нас в людской люди такой портянкой лицо свое утирают, когда умываются. Да еще и синей, да еще и на всех одной-единственной! А случись у кого-нибудь трахома, что тогда? Ведь всех перезаразит! И почему синий этот самый рукотерт, как его здесь называют? Ведь надо же додуматься!

Тут впервые отец и поднял на него свой грозный и гневный голос:

— Ишь ты! А знаешь ли ты, что я, твой отец, еще и в твои годы таким же вот синим рукотертом утирался?! И деды твои. И каждый пахарь, каждый мужик в Сибири... Когда с пашни или с земляной работы придешь, так попробуй-ка, ополоснув руки, белым-то полотенчиком их вытереть: раз-другой вытрешь, а потом и до полотенца противно будет дотронуться. А на синем — не видно.

— Отец, ты это серьезно?!

— А как же? Ты ко мне не с шутками пришел!

— Странно. Но ведь грязь-то, она остается, хотя и засиненная! И почему на всех — одно? А спят они на чем — ты видел?! Я, когда вошел...

Но тут впавший в неистовый гнев родитель не дал ему и договорить:

— «Я, я»! — передразнил, и голос его стал забирать все выше и выше, срываться временами в гневный фальцет, которого, кажется, никто и не слыхивал у Арсения Тихоновича Шатрова. Речь стала выкриком — не речью: — Молокосос!.. Бездельник!.. Копейки своей не заработал, а туда же — отца своего корить приехал! — Сжал кулаки, побагровел. Глумливо выкрикивал: — Сейчас, сейчас, дорогой господин доктор, сейчас велю прачешную открыть на сто барабанов, штат прачек заведу! Каждому работнику — кроватку с пружинной сеткой, белоснежное бельецо постельное... Крахмалить прикажете?.. Полотенчико, зубная щеточка... Может быть, и наборчик для маникюра прикажете?!

— Отец, отец! Уйду, если не перестанешь!

Но уж где там — отец!

— Да, да, уйди! Убирайся!.. Помощников думал вырастить в сыновьях... Нечего сказать, получил помощничков!.. Гнилая никчемная интеллигенция! Крохоборы! Дальше воробьиного носа не видят: ах, синий рукотерт — ужас, катастрофа! Поселить бы тебя хоть на денек к Петру Аркадьевичу Башкину, в его рабочие бараки, где человек на человеке, что бы ты запел?! Одна семья от другой, холостые от семейных одной только занавеской на нарах отгорожены. А я, а я каждый год строюсь: жилье за жильем — так нет: синий рукотерт, видите ли, зачем!

Неистовство гнева все больше и больше опьяняло его. Крик его был слышен по всему дому. Вбежала Ольга Александровна. Взглянув на них обоих, прежде всего кинулась к мужу — успокаивать: испугалась, что с ним может случиться удар.

Тем временем Никита молча вышел из кабинета. И первое время никто и не хватился его.

В столовой, вырвав из своего блокнота листок, он черкнул матери краткую записку:

«Мама! Не беспокойся обо мне. Не волнуйся. Я должен побыть вне дома, один. Напишу. Ника».

Положил записку на стол, на видное место, прижал сухарницей, чтобы не сдуло ветром, и через сад, над берегом, вышел на плотину. Потом кустарником, кратчайшим путем через Страшный Яр, выбежал на проселок, ведущий в Калиновку, и стал поджидать попутную подводу. Ждать ему пришлось недолго.

На пятый день, из Петрограда, Ольга Александровна получила от сына телеграмму:

«Доехал благополучно. Работаю лаборантом у Бехтерева. Здоров. Не беспокойся. Никита».

Очередной денежный перевод возвратил.

Вот это и был как раз тот год, когда Арсению Тихоновичу Шатрову неоднократно удалось побывать в Государственной думе — послушать своих любимых ораторов.

Не для того, конечно, ездил. Вернулся мрачный, хотя с Никитой и виделся. Ольга Александровна на время первой поездки мужа оставалась на хозяйстве, ведала всеми делами и предприятиями. Во вторую поездку в столицу она сопровождала мужа.

Само собою разумеется, с Никитой виделись ежедневно. Посещали вместе и Мариинку и Александринку. Но во все эти дни, сыновне нежный с матерью, Никита был почтительно сух и сдержан с отцом.

Но и для Арсения Шатрова было бы чрезмерным душевным усилием первому искать примирения!

Наконец Ольга Александровна не выдержала. Оставшись наедине с Никитой, она сказала ему сквозь слезы:

— Какой ты все-таки нечуткий, жестокий! Не ожидала я этого от тебя... Ты что же думаешь — он и в самом деле по каким-то неотложным своим делам, второй раз в этом году, приезжает сюда, в Петербург? Да ни-

чего подобного. Никаких у него здесь дел нету. А там, у себя, он действительно неотложные дела бросил... Неужели ты отца своего характер не знаешь?! Ника, ну помирись с ним первый... А я обещаю тебе насчет *того*, насколько у меня сил и времени хватит, постепенно все буду приводить в порядок.

Отец и сын помирились.

И все ж таки с той поры, с этого вот *синего рукотерта,* Никита был молчалив и замкнут в своих отношениях с отцом.

Зато с матерью нежности и теплоты заметно прибавилось.

И все ж таки любимчиком ее был, скорее, Сергей. А Никита и ей иной раз внушал как бы чувство некоего страха, смешанного с чувством материнской гордости:

— Бог его знает, глубокая у него душа, глубокая... И люблю я его. Но, знаешь ли, Арсений, я иногда ловлю себя на том, что мне трудно бывает называть его Ника, а хочется — по имени и отчеству. Нет, ты не смейся: у меня такое чувство, словно он — старше меня, а я — младшая.

— То есть как это?

— Ну, не по возрасту, понятно, а как будто он — начальник надо мной, а я — подчиненная...

И как в воду смотрела! Этим летом Никита впрямь стал ее начальством. В городе, и как раз при том самом госпитале на сто двадцать коек, что открыт был и содержался на средства Шатрова, учреждены были курсы сестер милосердия. Ольга Александровна — «шеф госпиталя», так почтительно именовало ее городское начальство, даже и в официальных своих бумагах, — решила, что ей-то уж непременно надо пройти эти курсы. Не для того, конечно, чтобы работать сестрой — Арсений Тихонович ей этого бы и не позволил, а для того, чтобы лучше знать и понимать все, чтобы ее попечительство было как можно толковее. Она и сюда внесла тот здравый, деловой смысл, за который, как своего помощника в делах, любил похвалить ее Шатров.

Занятиями руководили врачи. И едва ли не единственным во всем уезде невропатологом и психиатром был Никита. Его и пригласили прочесть фельдшерам и

медсестрам необходимейшее из военной психиатрии. А нужда в том была острейшая, неотвратимейшая. Неврозы и психозы войны, контузии, травмы мозга и черепа словно бы впервые раскрыли перед врачами не только России, но и всего мира леденящий душу ад военной психиатрии. Нужда в психиатрах, в невропатологах вдруг стала даже большей, чем в хирургах. И кому-кому, а сестрам большого тылового госпиталя необходимо было знать, в каком уходе и в каком лечении, в каких перевязках и в какой *асептике* нуждается изувеченная и окровавленная душа!

Ей не раз приходилось сдавать ему зачет.

Никита был членом выпускной комиссии, экзаменовавшей ее. На ее свидетельстве об окончании стояла и подпись сына. «Сестра Шатрова, скажите...» — любила она и сейчас, дома, матерински передразнить своего сурового экзаменатора. При этом она переходила на басок и важно хмурила брови. Кончалось это обычно тем, что она драла его за вихор:

— Нет, вправду, Никита, неужели ты мог бы родную мать срезать? — И укоризненно-вопрошающе заглядывала ему в глаза.

Он кивал головой:

— Мог бы, мать. Non est dubium[1].

— Танцен, танцен! Володя, становись на патефон! — И уездный водитель кадрилей, вальсёр, а с недавнего времени пылкий наставник гимназисток и гимназистов во все еще полузапретном *танго*, прапорщик Саша Гуреев, скользя в своих ловких, на намыленные носки натягиваемых сапожках, выбежал, с откинутой головой, с прихлопом в ладоши, на огромное, зеркально-лоснящееся поле шатровских полов в большом нижнем зале.

Лишние кресла, столики, стулья были заранее унесены. Но и сейчас, как всегда, неприкосновенным оставлен был тяжелый овальный стол под бархатной скатертью, стоявший в углу, на ковре, осеняемый старым, раскидистым филодéндроном, простиравшим чуть ли не до средины зала свои прорезные, огромные, лап-

[1] Нет сомнения (*лат.*).

чатые листы на узластых, толстых ветвях, привязанных кое-где к потолку. Этот угол в гостиной был исполнен какого-то неизъяснимого уюта.

Шатровы очень любили этот свой угол под филодендроном. «Уголок семейных советов», «Уголок под баобабом» — называли они его.

«В большие гости» здесь усаживались, покоясь и созерцая, пожилые, почтенные, не умевшие или уже не могшие танцевать.

Володя заводил патефон.

Никита стоял в стороне, у распахнутого в сад окна, беседуя с отцом Василием, красивым, чернобородым, но уже начинавшим тучнеть священником, в голубой шелковой рясе, с серебряным наперсным крестом. Это был дальний родственник Шатровых, женатый на племяннице Ольги Александровны. Священствовал он в том же самом селе, где была больница Никиты.

Бог. Свобода воли и причинность. Мозг и психика. Кант и Шопенгауэр. Геккель с его «Мировыми загадками» и его неистовый противник Хвольсон — о чем, о чем только не успели они перемолвить сейчас в своем укромном уголке!

Странно, а Никита любил почему-то этакое вот, ни к чему не обязывающее, нестрогое «любомудрствование», то с лицом духовным, иной раз со старообрядцами, а то, напротив, с каким-либо завзятым атеистом, глядя на мелькающие перед глазами пары, в перекрестном говоре, смехе и шуме. Он отдыхал тогда. И в то же время как часто в такие именно мгновения, в неторопливых этих беседах о вечном, о самом главном вдруг осеняла его какая-нибудь врачебная догадка, почти прозрение, и тогда, внимая своему собеседнику, не упуская ход спора, он внутренне говорил себе: «Да, да, это непременно так: надо будет испытать, как вернусь к себе». И уж виднелось ему сквозь марево бала лицо того самого больного, чей образ, чей недуг не давал ему покоя все эти дни, не покидал его души, хотя бы он явственно и не думал о нем.

Привычно касаясь перстами краев нагрудного креста своего, отец Василий с легким семинарским оканьем говорил собеседнику:

— А не полагаете ли вы, дражайший мой Никита Арсеньевич, что кичливый ум человека ныне распро-

стер свои отрицания за пределы доступного ему мира? Бог вне доступности познания и представлений о нем человеческих существ. Да и может ли — априорно должно отвергнуть сие! — не только конечная, а и неизъяснимо ничтожная, или сказать по-вашему, *микроскопическая,* частица так называемого серого мозгового вещества адекватно отобразить Вселенную?!

Никита молча наклонял голову, показывая отцу Василию, что он внимательно слушает его, а самому виделись в это время светло-бревенчатые, еще не оштукатуренные стены одной из палат в больнице и одна из коек со «скорбным листом» у изножия, а на белоснежной смятой от судорог подушке — голова девочки с тяжкой хореей, ее жалостное лицо — все в мучительных гримасах и корчах, с высовыванием языка, словно бы она дразнила кого-то... «Ну что, ну что делать с нею?!»

— Вальс «На сопках Маньчжурии»!

И распорядитель танцев Гуреев широким щеголеватым жестом, как бы поклонясь сразу всем, повел рукою в блистающий простор зала.

Первой парой в вальсе, со своей Ольгой Александровной, прошелся Шатров. Танцевали они чудесно: легко, свободно, с какой-то величественной, чуточку старомодной грацией.

Затем, и даже не передохнув, она, смеясь, пригласила Никиту.

Он смутился:

— Ну, мама... нашла танцора!

— Нечего, нечего тебе бирюком стоять! Пойдем... Отец Василий, уж вы извините меня, а я-таки разлучу вас: еще будет время — наговоритесь о высоких материях, врач духовный с врачом телесным. Пусть повеселится сегодня немножко, на именинах матери.

Отец Василий почтительно поклонился:

— Отчего же? Пройдитесь, пройдитесь, Никита Арсеньевич! Сие и пастырям не возбраняется... во благовремении. Древле видывали и царя Давида скачуща и играюща, и на гуслях бряцающа... Пройдитесь с маменькой. А вы чудесно танцуете, Ольга Александровна, чудесно! Сожалею, что сан мой, а более всего одея-

ние мое... — Он смутился, не договорил и только показал на свою рясу.

Сверх ожидания доктор Шатров оказался безупречным танцором. Ими залюбовались. Об этом прямо сказала ему Кира Кошанская, с присущей ей озорной откровенностью. Она подбежала к нему, взяла за локоть, слегка прижалась к нему упругим, полным плечом и горячо зашептала на ухо:

— А знаете, дорогой доктор, я любовалась вами, ей-богу! И вы, оказывается, красивый. Да, да, не спорьте... Такой высокий, сильный, мужественный... И — стройный... И эта чудесная грива волнистых темных волос! — Не удержавшись, она слегка провела рукою по его волосам. — А глазищи — синие, большущие! — Засмеялась. — Что, смутила вас, доктор? Но, ей-богу же, это здорово, черт возьми, эти волны ваших пышных волос над большим лбом... мыслителя!

Тут Никита не выдержал:

— Ну, полноте, Кира, вы меня просто в краску вогнали. «Волны, волны»! — приходится утешаться, когда не унаследовал отцовских кудрей. Вон у Сергея — кудри! И, признаться, я даже ненавижу это выражение: волнистые волосы...И еще — шевелюра!

Он рассмеялся.

Кира не отставала:

— Бросьте, девица красная! У Сережи... Сережа — прелестный мальчик. Даже предчувствую в нем сокрушителя девичьих сердец. Но... кудри у него совсем не отцовские: он не кудрявый, он... кучерявый. Не люблю такие! Волны лучше!

— Ах, Кира, Кира!

— Ну, что — «Кира»? Экий вы медведь! Девушка ему объясняется в любви, а он... Ну и оставайтесь, созерцайте этот... ноев ковчег!

Никита вспыхнул. Нахмурился. Однако удержался от резкости, а только сказал холодно, с затаенным осуждением:

— Ну, что ж... как хозяин я должен и *это* от вас стерпеть!

Она покраснела. Поняла. У нее набежали слезы. Отвернулась. Быстро вышла в столовую, а оттуда — в сад, на веранду.

Она стояла, притянув к своему лицу ветвь сирени,

и глубоко дышала. Сзади неслышно подошел отец. Склонясь к ней с высоты своего большого роста, красавец родитель своими панскими, вислыми усами пощекотал ей шею.

Кира не обернулась. Досадливо дрогнула плечом:

— Ну, что тебе нужно? Оставь меня, пожалуйста! Я злая сейчас. Могу наговорить тебе грубостей.

Он рассмеялся:

— Грубостей или глупостей?

— И того и другого.

— Ну что ж! Бедному твоему родителю не привыкать слышать и то и другое...

— Старик, ты скоро уйдешь?

Этак они разговаривали частенько, хотя очень и очень любили друг друга. И, ничуть на нее не обижаясь, Анатолий Витальевич сказал, предварительно оглянувшись и сперва по-английски:

— А я тобою чрезвычайно доволен, дочурка!

— Можно полюбопытствовать чем? — Она произнесла это, переходя на грудные, низкие ноты, протяжно-ленивым, как бы с потяготою, голосом. И это была тоже ее манера разговаривать с отцом.

— Никита — да, это человек!.. Со временем, я не сомневаюсь, будет блестящим врачом, с огромной практикой... А впрочем, зачем ему это? Он — *Шатров*. И этим уже все сказано! У меня же все дела его... ну, Арсения, конечно, как на ладони. А он еще только плечи разворачивает. И уж разворот будет, поверь мне, на всю Сибирь!

Все с той же лениво-усталой манерой, но уже настораживаясь — дрогнули ушки, — Кира спросила:

— Ну, а почему вы мне об этом... повествуете, дорогой мой родитель?

— А потому, что я, признаться, не понимал тебя сегодня и... негодовал. Этот шалопай — прапорщик Гуреев, — что он такое? Сынок обнищавшего дворянина и незадачливого коммерсанта! Или Сережка, этот молокосос, лоботряс! Ну что ж ты молчишь?

Кошанский закурил. Развеял рукою дымок.

Все так же, не оборачиваясь, дочь сумрачно произнесла:

— Прежде всего не кури, пожалуйста, надо мною. Мне вовсе не доставляет удовольствия быть в этой ды-

мовой завесе: волосы потом отвратительно пахнут... таверной!

— Прости, пожалуйста!

Кошанский бросил папиросу в куст сирени.

Дочь продолжала. Теперь она повернулась к нему лицом и смотрела прямо в глаза, испытующе и насмешливо щурясь.

Музыка, шум и говор, доносившиеся через распахнутые окна, заглушали их беседу.

— А затем: вот что значит для тебя совмещать в одном лице и папу и маму! Тебя одолевают, я вижу, матримониальные заботы о своем детище любимом: ищешь мне женихов? Или, быть может, это забота о самом себе, Анатолий Витальевич? Решили, что пришло время освободить в вашем доме место для настоящей хозяйки?

— Бог знает, что ты говоришь, Кира!

Кошанский года два как овдовел, и в доме полной хозяйкой всего была Кира. Однако с некоторых пор в городе стали поговаривать о каких-то намерениях его в отношении дочери местного миллионера Зои Бычковой, гимназистки-старшеклассницы. За это не осуждали, поведение же его во время вдовства признавалось всеми безупречным, и вокруг его имени не роилось никаких сплетен.

Но раза два в год как-то так оказывалось, что сам Шатров настойчиво предлагал своему дорогому поверенному прокатиться по неотложным делам в столицу. Кошанский для приличия упирался: ведь в Петрограде же Никита Арсеньевич учится, стало быть, можно поручить и ему, не будет лишних расходов. Хозяин возражал: именно потому, что *учится*, да еще и потому, что готовится к государственным экзаменам, его никак нельзя отвлекать. Никита — человек одной мысли и одного дела, весь, без остатка! Да и не любит он наших с вами дел, Анатолий Витальевич. Для него какой-нибудь, извините меня, катар желудка или бессонница важнее всех наших заводов и мельниц. Нет, уж вы поезжайте: пора поразведать в министерстве, какие там новые сети плетут, какие ямы копают для нас, бедных тоболян-мельников, эти миллионщики наши, судоходники!

Речь шла о яростной, беспощадной борьбе всех во-

дяных мельников Тобола, возглавленных Арсением Шатровым, против комплота городских толстосумов, владельцев мельниц паровых. «Паровики» — так их называл попросту Шатров — вдруг воспылали рвением к судоходству по Тоболу вплоть до Кустаная и даже выше, для чего непременно надо было снести сперва все мельницы Тобола и разрушить все плотины. Молодой миллионер Смагин и его адвокаты извлекли из архивов прошлого века целую тяжбу, в которой еще отец Смагина домогался и почти добился объявления Тобола судоходным, вплоть до верховьев. Однако признано было, что без постройки шлюзов и без коренного переустройства всего русла реки нечего и начинать: выше Кургана река слишком мелководна. Мельники этого дела поднять не могли, да и заведомо отказывались от самоубийства в пользу «паровиков» и пароходчиков. Казна средств не давала. Крестьяне на сходах стеной встали за сохранение мельниц: а судоходство — это, дескать, не для нас, чужая затея!

И вот опять погребенное это домогательство «отрыгнуло»! Смагин не жалел денег: его поверенный месяцами жил в столице. Ходили слухи, что уж нашли «тропку» к самому Распутину и, чего доброго, вот-вот из министерства путей сообщения может изойти указ: Тобол и выше Кургана судоходен; мельники пусть сносят свои плотины, а либо сооружают проходы для пропуска грузовых судов.

В конце концов Анатолий Витальевич сдавался на уговоры Шатрова: да, пожалуй, целесообразно будет съездить в Питер! Тут он блаженно закрывал глаза:

— Ах, Мариинка... Александринка! Юность, юность золотая... Петербурженки! И — вы меня простите, Арсений Тихонович, вы, я знаю, — фанатик Сибири... Я преклоняюсь, конечно... Но... только петербуржец меня поймет, только петербуржец! И говорят, старуха Кшесинская все еще хороша в «Жизели»!

Музыка, разноголосый веселый говор, шум, смех — нет, в этом году день «благоверныя княгини российской Ольги» у Шатровых справляют на славу! Вихрь вальса, эта зачаровывающая зыбь, колдовское кружение втягивало одну пару за другой.

Вот насмелился подойти к Верочке Сычовой Костя Ермаков. Неуклюже склонил перед нею голову — светлая чуприна закрыла румяное лицо — и ждал, застыв в полупоклоне, с кукольно опущенными руками.

Веруха прыснула было, но тотчас же опасливо прикусила губу и взглянула на мать — жалостно, просительно. Та благосклонно и важно покивала головой:

— Пройдись, пройдись, деточка. А то что же сидеть-то буканушкой! Я и сама в молодые-то годы была охотница до вальсов: чинный танец, благородный, ничего не скажешь! Не то, что нынешние эти... как их... выплясе́ньки: весь-то выломается он перед нею, да и она перед ним не лучше — аж глядеть на них жалость берет!

Володя Шатров звонко оглашает названия сменяемых вальсов: тут и «Осенние мечты», и «Осенний сон», и «Над волнами», и «Амурские волны», и опять, и опять («В последний раз, по просьбам публики!» — кричит весело Гуреев) неувядаемый «На сопках Маньчжурии».

Упоенно кружатся Костя и Вера.

Волостной калиновский писарь, Кедров Матвей Матвеевич, поднял с места истомную, отучневшую красавицу попадью, жену отца Василия, раскормленную сорокалетнюю блондинку со стыдливой полуулыбкой на алых, тугих губах, синеглазую и немногословную: слова ей нередко и чудесно заменял какой-то особый, *ее* смешок, затаенно-благозвучный, но негромкий и вдруг прерываемый. Этот ее смех казался собеседнику исполненным глубокого значения, почти таинственным, а она попросту прикрывала им свою застенчивость и отсутствие находчивости.

Кедров — еще не старый, лет сорока, но уже сутуловатый и с легкой проседью в лохмах каштановых волос, ниспадающих на лоб. Очки в тонкой дешевенькой оправе. Косоворотка, пиджачок. Рыжеватая бородка — тупым клинышком. Он вдовец, бездетен и все не женится. И его сильно осуждают — и в самой Калиновке, и в других селах, — а невест-то нынче хоть отбавляй! И жалованье-то у него хорошее, никак рублей семьдесят пять — восемьдесят. Волостной писарь, легко сказать; мало ли еще доходов может быть на такой долж-

ности: теперь-то, в военное время, когда призывы, да комиссии разные, да отсрочки, да пособия солдаткам! А только не тот человек! Напротив, слыхать: свои последние деньжонки кое-каким солдатским семействам, из бедных да многодетных, раздает, — ну, это его дело. «Филарет Милостивый» — этак его лавочник местный прозвал.

Танцует Кедров превосходно. Только вид у него при этом уж слишком какой-то озабоченный. Против попадьи Лидии он кажется подростком. Она идет в танце властно и прямо, откинув голову, а он — чуть согнувшись: от чрезмерного старания соблюдать должную дистанцию между собою и своей дамой.

Когда он искусной глиссадою подвел Лидию как раз к ее креслу и опустил, и поклонился, да еще и ручку поцеловал, его наградили восхищенными возгласами и рукоплесканиями. Никто не ожидал от него такой прыти. А Шатров, тоже слегка похлопав ему, сказал:

— Ну, знаешь ли, Матвей Матвеевич, давненько мы знакомы с тобой, а этих талантов я за тобою и не подозревал. Да тебе не волостным писарем быть, а учителем танцев! И где ты так преуспел, в своем волостном правлении сидя, эдакой домосед!

Писарь весело сверкнул глазами поверх очков, рассмеялся и отвечал:

— А я, видишь ли, Арсений Тихонович, подражал английскому философу Юму. Тот тоже домосед был. А ему приходилось на королевских балах танцевать — менуэты там всякие. Что тут делать? Думал, думал да и вычертил у себя на паркете все кривые, которые танцоры ногами выделывают на полу. Так по этим кривым и постиг. Лучшим танцором стал при дворе...

— Ах ты Юм!.. Теперь так тебя и стану звать — Юм. — Шатров расхохотался.

И еще одна пара кружилась неторопливо, зная, что ею любуются: здешний лесничий Курилёнков со своей молодой лесничихой, с Еленой Федоровной.

«Лесной барин» — звали его мужики. И боялись и ненавидели в нем беспощадного к ним, рачительного лишь для казны, хозяина неисследимого казенного бора.

Прелестна была лесничиха. Шутил привычно: «Елочка. А я лесничий. На Тоболе у нас всё сосны и

сосны — елей нету. Вот я и выписал себе елочку-волжаночку, пересадил. И подождите годок-другой — разведем целый ельничек. Акклиматизируется!»

Женился на ней Куриленков будучи вдовцом. Было ему тогда лет тридцать пять. Она — едва успела окончить гимназию. И зачем только она шла за него? Был он и груб, и суров, и прижимист. Жесткое, «оренбургско-казачье» лицо было у него. Бритое, с подстриженной щеточкой рыжих усов. Глаза — с хитринкой, прищурые, в густых лапках мелких морщинок. С папиросой не расставался, то и дело посасывая ее, полупотухшую, перебрасывал из одного угла рта в другой. Разговаривал через папироску, почти не разжимая рта. Особенно за картами. Картежник был завзятый. И выпивоха.

Лесники и объездчики — эти перед ним просто трепетали. Был службист. А мужики — те говаривали: «Не дай господь с им дело иметь, с господином лесничим, с Куриленковым. Видно, на то лесничему и лес дан, чтобы мужики голели!»

В него стреляли.

Только одному Шатрову признался он, что ненавидит казенную службу, тяготится ею. А когда сдружились, то сперва в полушутку, а потом и всерьез стал просить Шатрова, чтобы тот взял его в компаньоны: «Завидую вам — не богатству вашему, а тому, что сами вы себе господин и владыка: и никакого черта над вами. Я, в сущности, не по той дороге пошел: всю жизнь мечтал быть предпринимателем, промышленником. Так сложилось: кишка тонка! Возьмите, не раскаетесь: я — человек дела. У меня — и хватка и нюх. А в честности моей вы, я думаю, не усомнитесь!»

И Шатров уступил наконец его просьбам и домогательствам. Однажды он предложил ему войти в пай по вновь купленной отдаленной мельнице, в казачьей степи, на том же самом Тоболе. Мельница эта была разорена бесхозяйственностью и ежегодными промоями. И Шатров подумал, что если обучить лесничего основам плотинного дела, то вскоре будет кем замениться на этой мельничонке. Она ему, собственно, была и не нужна, а покупал он ее, чтобы там не уселся какой-нибудь конкурент, и покупал больше само место, чтобы соорудить там крупчатку.

Лесничий призадумался: если он станет совладельцем частного предприятия, то его уволят со службы. Как же быть? И выход был найден: на имя жены! Он тотчас же заставил ее съездить к маме в Самару и вытребовать свою часть наследства: что-то около десяти тысяч рублей. Так Елена Федоровна сделалась совладелицей мельницы.

Лесничий был счастлив. Его любимой шуткой отныне стало называть жену мельничихой: «Ну, моя мельничиха, ты что-то засиделась в своем бору! Не пора ли съездить на свою меленку, похозяйничать там, навести порядок — кассовые книги проверить? Плотинному делу поучиться?»

К Шатрову он стал питать чувства, близкие к нежности. Был почтителен с ним сыновне. Угождал во всем. Для шатровских плотин и построек отныне отводились заповедные, лучшие деляны в бору, недоступные для других.

Шатров отвечал ему еще большими заботами. Он посоветовал ему для увеличения доходов завести хорошее стадо удоистых коров и через то стать крупнейшим молокосдатчиком на его, шатровский, маслодельный завод. А выпас да и сено в бору для него, лесничего, ничего не будет стоить!

И выдал ему деньги для покупки коров.

А на компанейской мельнице дела шли прекрасно. Помолы повысились многократ. Отношения с казаками, народом своенравным и неподатливым, Шатров наладил. Захирелая мельница быстро стала доходной. Лесничий как-то признался Шатрову, что его доля мельничной выручки почти втрое превышает его казенное жалованье.

И вдруг, совсем неожиданно для Шатрова, лесничий предлагает ему, чтобы тот и вторую половину мельницы продал ему — в рассрочку. Арсений Тихонович нахмурился. Уж язвительное, насмешливое слово вот-вот было на устах. Сдержался. Зато ответил ему с полной откровенностью:

— Нет, Семен Андреевич, на это я не пойду. В компаньоны я вас пригласил, вы знаете, вовсе не потому, что у меня недостало денег, а из уважения к вашей давней мечте. А так, скажите, пожалуйста, какой для меня смысл сажать в сорока верстах от себя мельника-

конкурента, да еще открывать ему на это кредит? Правда, вы лично никаким конкурентом мне быть не можете. Это, надеюсь, для вас ясно. Но вы можете эту мельничонку перепродать какому-нибудь Смагину, Бурову, Колупаеву. А я и своего верхнего ближнего соседа Паскина уговорил-таки, чтобы он продал наконец мне свою допотопную скрипуху, с которой он не в силах справиться. Вернее — с Тоболом. И знаете, для чего я куплю ее? Только для того, чтобы тотчас же снести, а на ее месте поставить новую, современную вальцовку. К черту все его обомшелые маховые колеса, жернова, идиотские его плотины! Все переведу на турбину. Установлю динамо — как здесь, на своей мельнице. Дам электричество. Вот для чего... А вы говорите! И для чего это вам понадобилось — остаться без меня?

— Хочется полным хозяином побыть.

— Ах так? Я не думал, что при своей практичности вы столь наивны. Да если я оставлю вас, дорогой Семен Андреевич, одного, то, поверьте мне, в ближайшее половодье и мельница ваша, и плотина, и капитал поплывут в омут! Я знаю: в этом году вы получили изрядный доход. И вы склонны думать, что мельница — это чудесный кошель-самотряс. Да! Она — самотряс, только из кармана! А что вы запоете завтра, когда потребуются капитальные затраты, переоборудование? А без этого нельзя! И потом: не думайте, что Шатров сидит на Тоболе ради прибылей. Есть, особенно нынче, в такое время, куда более доходное приложение капиталов. Для меня, для Арсения Шатрова, Тобол — это покоряемая мною стихия! Тобол, конечно, не Терек — не пенится, не клубится, не пролагает себе путь через скалы, а вы попробуйте-ка обуздать этого ленивого богатыря! Попытайтесь! Да еще без помощи какого-то ни было бетона, а так вот, по-шатровски: моими плотинами — землица, соломка, кусточки! И что же — у меня промоев уж много лет не бывало. Я и забыл о них. Вода — как в котле... Инженеры дивятся!.. Вот что такое для меня Тобол! Несчастье мое в том, что в сынах не взрастил я себе помощника крепкого: все трое не туда смотрят. Ну, это их дело. Каждый следует своему призванию. Не хочу угнетать. Мечтал я всех их рассажать вдоль Тобола. Не только мельницы, но и заводы, электростанции. Тоболу дать максимальную высоту спада.

Так я мечтал, но эти дурацкие гимназии! Но и все равно: не умру, доколь весь Тобол не станут звать *шатровской* рекой!

— Ну до чего ж мила, до чего хороша эта лесничиха! — И, по своему обыкновению, Аполлинария Федотовна пропела-проговорила очередное присловьице: — Алый цвет по лицу разливается, белый пух по груди рассыпается!

И впрямь была хороша: стройная, полногрудая, со светло-русыми волосами, зеленоглазая. Никита как-то сказал про нее: похожа на ландыш. Вероятно, она и сама это знала: у нее было пристрастие к белому и зеленому. И любила ландыши. Людям казалось, что она и сама пахнет лесом, ландышами, — быть может, оттого, что веяло от этой юной женщины свежестью и здоровьем и что была *лесничиха*. Одевалась Елена Федоровна изящно, просто и строго. Зимою любила окутать плечи пуховым оренбургским платком. И, когда она, промчавшись по морозцу на рысаке десять верст из своего бора к Шатровым — а случалось это на святках или просто так, в воскресенье, — входила с мужем в прихожую, все молодые Шатровы стремглав кидались к ней навстречу — раскутывать ее, подавать ей табуретку, снимать с ее полных ног фетровые ботики.

И сам старый Шатров радушно и радостно приветствовал ее, стоя у порога, и подшучивал над сынами.

А лесничий притворно-ревниво ворчал и грозился, что это в последний раз он привозит к ним свою Елену Федоровну.

А как прелестна бывала она в эти свои зимние приезды, когда, смущенная шумной и радостной встречей, рдея нежным румянцем, переступала наконец порог гостиной и приветствовала хозяйку своим грудным, благозвучным голосом. А та с материнской нежностью целовала ее, протягивая ей обе руки.

У лесничихи был чудесный меццо-сопрано, с каким-то чуточку трагическим оттенком, и она пела, но, конечно, только для очень близких гостей и если очень, очень просили. У Шатровых аккомпанировал ей Никита.

Играла на рояле и она. И рояль этот — превосходный, старинный — был частью ее наследства, достался ей в приданое, и его с великим трудом доставили из Самары сюда, на Тобол, в глухое лесничество. Но когда супруги стали собирать деньги на мельницу, Елена Федоровна приняла страшное для нее решение: продать и рояль. Но тут возмутился Шатров: «Ни в коем случае! Нет, нет, а то совесть меня замучает!» И три тысячи из десяти он оставил за Семеном Андреевичем — в долгосрочном кредите. «Внесете из доходов, госпожа мельничиха!»

С первых же дней знакомства Елена Федоровна полюбила бывать у Шатровых. Она чувствовала, конечно, эту влюбленность в нее и Никиты, и Сергея, и даже Володину — отроческую и смешную, и в то же время трогательную до слез, и ей становилось легко и радостно в этом доме. Было такое ощущение, словно бы искрилась кровь.

И еще оттого хорошо было, что ее супруг, всегда угрюмо-ревнивый, настороженный, когда ее окружало общество молодых мужчин, здесь, у Шатровых, ни к кому не ревновал. Напротив, он даже снисходительно, благодушно поддразнивал и Сережу и Володьку, выводя, так сказать, наружу их беспомощно скрываемую любовь.

Сергей — тот неестественно оживлялся в присутствии юной лесничихи, то вспыхивал, то бледнел, томился жаждой подвига на ее глазах и даже — смерти.

Володя — этот непременно успевал, улучив момент, увести Елену Федоровну от старших к большой карте военных действий и сделать, только для нее, обзор всех русских фронтов — и Северного, и Западного, и Юго-Западного, а иногда даже и Кавказского, если, конечно, не вмешивалась в «оперативный доклад» Ольга Александровна и не возвращала жертву к гостям.

Впрочем, Елена Федоровна как будто и не тяготилась этими докладами «начальника штаба», и слушала, и улыбалась, и спрашивала Володю: а что́ с Трапезундом, а скоро ли возьмут Эрзерум и тому подобное. Володя смеялся над ее забавной ошибкой и терпеливо объяснял ей, что сперва Эрзерум, а потом — Трапезунд.

Что же касается смерти отважных на ее глазах, то если бы понадобилось вырвать лесничиху из плена

«германских вандалов» или врубиться во главе эскадрона в самую гущу врагов, не уступил бы Володя в том Сергею, нет, не уступил бы!

Никита Арсеньевич — тот, само собой разумеется, в недосягаемой тайне, с мужественным достоинством, негодуя на самого себя, одолевал в своем сердце эту непрошеную боль по чужой жене.

О его чувстве лесничий даже и не подозревал. И во всяком случае, не посмел бы подшучивать.

Невдомек было и Ольге Александровне и отцу.

И казалось бы, что́ в ней особенного, в этой лесничихе! Лесной дичок, молодая, светло-русая здоровячка. Наивна, доверчива, иной раз — до простоватости.

Против Киры Кошанской она была и впрямь дикий ландыш рядом с чудесной, в теплице взращенной розой.

Та — и красавица, и эрудитка, и остроумна. Свободно говорит на двух языках — на английском и на французском. Выросла с боннами и гувернантками. Незадолго до войны изъездила всю Европу. Лувр и Дрезденскую знает лучше, чем Третьяковку.

А лесничиха — что ж? — в конце концов, не провинциальной ли свежестью она и обаятельна?

...— Ну до чего ж мила! — Аполлинария Федотовна помолчала и со вздохом: — А не тому досталась!

Саша Гуреев остановился посреди зала — поднял ладонь. Это был условленный знак «оркестру» в лице Володи:

— Дружок, довольно старины. Та́нго!

И небрежно-изящною глиссадою пронесся через весь зал и остановился с поклоном приглашения на танец перед лесничихой.

Она стояла, слегка обмахиваясь белым веером.

— Мадам?..

Выставил руку калачом. Ждал.

Вся зардевшись, она отказывалась:

— Что вы, что вы! Танго я совсем не танцую...

— Ну, полноте. Я видел ваш вальс. Танго для вас — пустяки. Недаром французы говорят: утята являются на свет готовыми пловцами, девушки — с искусством танца. Да и если бы не умели — вам стоит лишь следо-

вать моим движениям. Да, да, только отвечать на них! Уверяю вас, танго — это *ваш* танец! Вам только его и исполнять... с вашей фигурой...

Он сказал это — и у нее еще больше вспыхнули щеки: «Боже мой, а если уже заметно?»

Уверенно и не ожидая отказа, он взял ее за левую руку, а правой своей рукой уже приобнял ее.

И вдруг она как-то непонятно для него исчезла из-под его руки. Да, да, исчезла, уплыла! Отстраняясь, полуобернувшись через плечо, он увидел над собой спокойное, строгое лицо Шатрова.

С какой-то поразительной ловкостью, быстротой Арсений Тихонович успел воспользоваться тем, что еще не доиграна была последняя пластинка вальса, — и вот остолбеневший Гуреев видит, как эта лесная недотрога-царевна кладет свою прекрасную руку на плечо Шатрова и они уходят, уходят от него в вальсе.

Черт возьми, еще никогда не было с ним такого: увели, из-под самых рук увели избранную им даму! Позор! А он-то втайне готовился поддразнить Сережку. И не он ли, Александр Гуреев, еще недавно вдалбливал этому молокососу, что целые годы обычного знакомства, вяленького ухаживания и сопливеньких вздохов никогда так не сближают, как всего лишь несколько мгновений танго. А потому: учись, учись, Серж!

И вот, как у последнего идиота, увели!

«Ну, будь бы это не Шатров!»

Растерянный, злой, он, однако, и виду не подал — весело, недоуменно развел руками, оглядел зал и быстро направил свои стопы в сторону Киры Кошанской.

Тем временем пластинка с вальсом была доиграна.

Да! Это была поистине достойная его выбора дама, не танцорка, а скорее *танцовщица*. И у кого же она училась, у кого? Или и впрямь, французы правы?

На Гуреева и Кошанскую залюбовались, засмотрелись даже и те, кто с привычно выражаемым отвращением осуждал этот неведомо откуда нахлынувший перед самой войной знойный танец, это дьявольское наитие, от которого молодежь как сдурела — в открытую насмехается над прелестной, а для них только пресною «стариной», над всеми этими бальными лезгинками и мазурками, тустепами и падекатрами и даже, даже над самим вальсом!

Поприутихла и смотрела, не шелохнувшись, сама Аполлинария Федотовна.

«Та́нго, та́нгере...— думалось Никите Шатрову,— как это здо́рово все-таки и как страшно верно названо: и *трогать,* и *примыкать,* и *соприкасаться,*— да, все, все это есть в этом странном, лунатическом как бы хождении в едином ритме — мужчины и женщины.

Вот они, эти уторопл**ё**нные, хищные, рядом с женщиною, шажки мужчины — шажки, переходящие в бег. Они смешными бы показались, не будь этой знойной, кабацкой, чарующе-гнусавой музыки, которая так властно ведет их, мужчину и женщину. Музыка эта воет и восклицает, и в ней самой как бы заключено все это: и хищный, стремительный порыв, и застывшее на миг соприкосновение, и изнеможение, усталость...

И они повинуются ее зову, как сомнамбулы.

Вот музыка велит им это — и они устремляются оба вперед, взявшись за руки, в тесном полуобъятии, шаг в шаг, словно в бездну кидаются — вместе, оба. И на самом-самом краю останавливаются. Как бы немая борьба. Удар друг о друга. О, это припадание друг к дружке — мужчины и женщины, эта покорность ее всем его движениям — полная, беззаветная, упоенноблаженная.

Музыка изнеможения, музыка печали, безысходности, конченности, внезапно перебиваемая вскриками страсти.

Танго... тангере! Боже мой, но как же все-таки она хороша, эта Кира! А я и не видел этого. Да! Таким вот всё прощают, всё, всё... И женятся, заведомо не ожидая, не требуя от них ни любви, ни девственности. И мучаются всю жизнь, истязуясь. Ведь знают, знают, что она — Магдалина, Манон; это она-то — твоя жена, друг, матерь детей твоих?!»

Так думалось, так виделось, так непререкаемо чувствовалось в эти мгновения Никите Шатрову. О, как знал он, как ненавидел этот проклятый, знойный туман чувственности, как стыдился этих падений и как бывал горд и светел, одолевая их! Нет, сегодня же в ночь уехать к себе, в больницу, и носа не показывать никуда, на эти пиры и вечеринки! Ну их к черту! Праздность, вино, обжорство и эта властно-бесстыдная музыка — да разве же он не прав, старик Толстой?!

И не видеть ее, этой Кошанской!

А они между тем — и Гуреев и Кира — успевали в этом дьявольском наваждении, в этом будто бы танце еще и беседовать, перекидываться словами, неслышными для других:

— Ну что ж, вперед вам наука, Сашенька: не в свои саночки не садитесь!

— Муж?..

— Я не снизошла бы для столь вульгарных предостережений!

Он побелел в лице. В голосе его и злоба и нетерпение:

— Но кто же тогда? Чьи... саночки?

— Чьи? А вас это очень волнует?

— Не мучьте!

— О! Прекрасно. В таком случае я скажу вам. Но это... должно оставаться тайной... Слышите?

— Слово офицера.

— Если верить злым языкам... Шатровские...

— Что-о?!

От неожиданности ее ответа он даже сбился на мгновение в шаге.

— Никита?!

Она покачала головой.

— Ну не Сережа же?

— Вы забыли о самом старшем... Да, да, не удивляйтесь: отец...

— Сазонов, господа, накануне падения. Поверьте мне. Не сегодня-завтра попросят сего несменяемого, незаменимого, гениального и т. д. и т. д. министра иностранных дел Российской империи попросту — вон! Конечно, последует высочайший рескрипт: «в связи с расстроенным тяжкими трудами здоровьем вашим, и... — Тут Анатолий Витальевич Кошанский, понизив голос, приоглянулся и элегантным жестом привычного оратора гостиных, слегка помавая блюдечком мороженого в левой руке, закончил: — ...пребываю к вам неизменно благосклонным».

Имени царя он все же не произнес — из-за осторожности и считая, что это было бы и не совсем порядочно — навлекать какие бы то ни было подозрения вла-

стей на дом своего патрона и друга. От него не было скрыто, что с девятьсот пятого года его друг и доверитель был под негласным надзором, несмотря на все свое богатство и немалый свой вес в торгово-промышленных кругах Сибири. Правда, с тех пор прошло много времени, и времена-то сейчас другие, но все же джентльменство обязывает. Недаром высшей и редчайшей похвалою кому-либо из уст Анатолия Витальевича было: «О! Это — в полном смысле джентльмен!»

Давний юрисконсульт Шатрова, втайне почитавший себя «возлежащим на персях» и «в самое ухо дышащим», убежденный, что у Арсения Тихоновича нет ничего от него утаенного, изумился бы страшно, не поверил бы и даже оскорбленным себя посчитал бы, если бы только узнал, что самое главное, самое страшное в своей жизни из тех времен его патрон-доверитель скрыл от него, Кошанского, наглухо.

Правда, как старый юрист, привыкший вершить дела и вращаться в кругах промышленных, банковских, купеческих, он сумел бы по-своему объяснить, понять такую скрытность своего доверителя: *этакая* тайна, будь она предана огласке, поколебала бы Шатрову кредит, воздвигла бы в делах препоны неодолимые; там, глядишь, директор банка отказал переучесть векселя господина Шатрова; а там оптовики-друзья вдруг, словно сговорившись, закрыли отпуск товаров в долг для его сельских лавок, на которых держалось его маслоделие; да мало ли что! Наконец, попросту начал бы расползаться слушок: как, мол, доверять человеку, с которым чуть не стряслось этакое?!

Словом, Кошанский понял бы, но оскорбился бы смертельно: как — скрыть от него, Анатолия Витальевича Кошанского, столь существенное и даже страшное обстоятельство своей биографии! На каком основании? Да разве любой порядочный юрист, будь он кто угодно — нотариус, юрисконсульт, просто адвокат, — не хранит подчас такие тайны своих доверителей, что смешными покажутся так называемые «врачебные тайны», о сохранении которых у врачей есть даже особая клятва?!

И все ж таки не был, нет, не был удостоен! И до поры до времени даже и не подозревал.

Однако ж было и что скрывать! Да и не только свою, а и чужую смертельную тайну, тесно переплетшуюся со своей.

Десять лет тому назад, зимою тысяча девятьсот шестого, в середине января, Арсений Шатров, тогда еще мало известный в городе мельник и маслодел, выходец из волостных писарей, прямо-таки чудом каким-то успел спасти Матвея Кедрова от уже намыливаемой для него палачом городской тюрьмы удавки.

А вскоре и ему самому едва-едва удалось унести буйную свою головушку от неминучей, именно для него, Арсения Шатрова, предназначенной пули: имя его уже стояло в списке, тайно поданном здешней охранкой в «поезд смерти» — поезд сибирской карательной экспедиции барона Меллера-Закомельского.

Это было уже в первых числах февраля того же тысяча девятьсот шестого. Окровавя бессудными, втемную, расстрелами тысячеверстные рельсы Великого сибирского пути, сомкнувшись в Чите со встречной карательной экспедицией другого барона, Ренненкампфа, страшный поезд Меллера-Закомельского третьего февраля прибыл на обратном пути в Челябинск.

Местные жандармы должны были к этому часу представить «дело» Арсения Тихоновича Шатрова и самого обвиняемого.

Обвинительный акт против Шатрова уличал его, во-первых, в том, что он «в октябре тысяча девятьсот пятого года на многолюдных, мятежных сборищах, именуемых митингами, неоднократно произносил революционные речи, подстрекающие к ниспровержению государственного строя», а во-вторых — и вот это-то *во-вторых* в те дни января тысяча девятьсот шестого в поезде Меллера означало расстрел, — «содействовал всячески, а также и своими личными средствами преступному сообществу РСДРП, в его крайнем крыле — большевиков, способствуя попыткам и устремлениям сего общества отъять верховные права у священной особы царствующего императора, насильственно изменить в России установленный основными законами образ правления, учредив республику».

Улики были неопровержимы: да, произносил; да, содействовал; да, призывал «отъять верховные права у священной особы»!

Что же касается «сообщества РСДРП», то если это наименование стояло в приговоре военно-полевого суда, то разуметь под этим надлежало большевиков, коммунистов, и только их! Ибо хотя и меньшевики временами числились еще заодно, и во множестве городов существовали единые комитеты Российской социал-демократической партии, — но кто же бы и зачем стал предавать военно-полевому суду, расстреливать или вешать... меньшевика? Разве только под горячую руку, не разобравшись!..

...Вот к бушующему, грозовому морю, вырвавшись от палачей и тюремщиков, ринулся узник, чьи могучие ноги скованы кандалами, отягченными вдобавок пудовою гирею: сейчас, сейчас он бросится в море и поплывет — богатырскими взмахами саженок. Вдогонку ему гремят выстрелы. Но какой же смысл, какой расчет тем, кто преследует его, целиться и стрелять в гирю, отягощающую его кандалы?! Уж не затем ли, чтобы отторгнуть ее? Но ведь, избавленный от этой гири, он, пожалуй, и выгребет, пожалуй, и одолеет бушующее вкруг него море!

...Такою вот *гирею* на кандалах российского пролетариата всегда и всюду, в любом городе и на любом заводе и повисали меньшевики в грозу и бурю тысяча девятьсот пятого года!

В то время когда голос Ленина, голос большевиков, будто гулкий, неистово могучий, исполинский колокол вечевого набата, бил, бил, пронзая сознание, непрестанно наращая и учащая свои удары, подымал, будил, звал миллионы и миллионы рабочих, крестьян, солдат — двинуться всему трудовому люду, всему народу, на кровопийцу царя; кончать с чудовищной и постыдной бойней — там, на сопках Маньчжурии; отымать землицу у господ помещиков, стряхивать с нее вековечных тунеядцев и паразитов, — в это самое время что же делали меньшевики? Они шикали на революцию: не по книжке идет! Путались под ногами. Хватали рабочего сзади — за рубаху, за шаровары. Повисали на сапогах. Забегали вперед и закрещивали, заклинали русский рабочий класс именем самого Плеханова, самого Вандер-

вельде, именами всех святейшеств II Интернационала: «Стой, стой, товарищи рабочие! Куда?! Это не ваша революция. Подайтесь в сторонку, расступитесь: сперва пускай буржуа-либерал пройдет к власти, опытный парламентарий, — пусть это *его* будет революция, буржуазия — ее вожак! Зачем опережать ход истории?! Что дальше, вы спрашиваете? А дальше — известно: реформы, реформы! Буржуазии и самой, как вы знаете, не по нутру наше азиатское, полуфеодальное самодержавие: поможем ей ограничить его. И на сей раз хватит! Наша задача в этой революции исполнена. И пускай невозбранно, бешено развивается русский капитализм: наш рабочий класс еще не созрел, еще долго-долго предстоит ему вывариваться в котле отечественного капитализма! А насчет того, чтобы русскому рабочему классу стать вождем, гегемоном этой революции, да еще в союзе, видите ли, с крестьянством, столь темным, зараженным инстинктом собственности, да еще и в достаточной мере патриархально-царелюбивым, — так это же ведь фанатизм, утопия большевиков! Этот *их* Ленин думает, что можно пришпорить историю!»

Так вещали и кликушествовали российские меньшевики. Где только можно, они «гапонствовали»: подобно сему кровавому попу, и они вместе с шарахнувшейся от шкурного страха буржуазией призывали рабочих к полюбовной сделке с хозяевами и с царем, к переговорам у подножия престола. Ломали политические стачки идущих за большевиками рабочих — учили стачкам экономическим: выторговывать копеечку на рубль!

Но уже заглушал их в народе голос большевиков:

— Ложь! Обман! Кончайте с царем, с помещиками, с кровавой авантюрой на Дальнем Востоке. Ширьте политические забастовки. На улицы! На демонстрации! Останавливайте заводы, фабрики, железные дороги, шахты и рудники: пусть воочию убедится каждый, что все, все, чем живет и дышит город, страна, государство, — все это есть дело мозолистых рук. И вооружайтесь, вооружайтесь! Вперед — к вооруженному всероссийскому восстанию! Да здравствует революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства!.. Солдаты! Поворачивайте штыки против царя, про-

тив угнетателей! Матросы! Наводите орудия на твердыни царизма!..

И народ повалил за Лениным, за большевиками!..

Первомятежный бронированный исполин — броненосец «Потемкин» в июне тысяча девятьсот пятого года кладет начало открытому восстанию флота. Могучая эскадра Черного моря вот-вот готова последовать за ним...

В эти дни вся Швейцария стала тесна Ленину.

Но если б даже ЦК разрешил ему, то не так-то просто, из-за неотступной и тайной и полуявной слежки, вождю партии и революции было вдруг переброситься в недра будущей России!

Сердце и мозг партии — разве мог быть подвергнут Ленин опасности быть убитым при переходе русской границы?! Царская тайная полиция преследовала его и за рубежом. Недаром еще в тысяча девятисотом году, сразу после выхода Ленина из сибирской ссылки, охранка предлагает физически уничтожить его — «срезать эту голову с революционного тела... Ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого...».

Мозг огражден черепом.

Из недосягаемости зарубежья, через бесчисленные способы и связи им созданной обширнейшей, глубокой и всепроницающей конспиративной сети, через боевиков-эмиссаров, тайно рассылаемых по всему пространству империи, Ленин мудро, действенно, прозорливо руководил ходом революции.

Тайно пробравшегося к нему в Женеву, через все препоны, посланца российского подполья всегда поражало то в Ленине, что как будто и не о чем поведать ему из совершавшегося на родине: знает все, чувствует, словно бы даже *видит* отсюда вот, от подножия швейцарских Альп, и до Саянского хребта. «Да не потому ли и любит он восхождения на Альпы, что оттуда еще виднее!..»

Едва только Ленина достигает весть о восстании на броненосце «Потемкин», он тотчас же вызывает одного из надежнейших боевиков партии; знакомит его с постановлением ЦК:

— Завтра же — в Одессу, надо спешить, пока корабль там!

Наказ Ленина четок. Предусмотрено, обдумано все. Он вдохновенно нетерпелив. Не скрывает тревоги: соглашательством, мешкотностью, разбродом могут погубить все!

— Действовать решительно, быстро, без оглядок и колебаний. В город — десант. Немедленно! Если станут препятствовать — громите из орудий правительственные учреждения. Городом — овладеть. Рабочих Одессы — вооружить. Боевые дружины. Подымайте окрестное крестьянство. В прокламациях и устно зовите крестьян захватывать помещичьи земли и соединяться с рабочими для общей борьбы. Архиважно! Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе я придаю огромное, исключительное значение. И сделать все, все решительно сделать, чтобы захватить, увлечь за собою весь Черноморский флот. Я уверен, что большинство судов примкнет к «Потемкину». Нужно только действовать решительно, смело и быстро. Тогда немедленно к берегам Румынии шлите за мной миноносец!..

Посланный Лениным боевик, снабженный паспортом генеральского сына, спешит изо всех сил — и вот уже он в Одессе. Поздно! Первомятежный корабль уже предан меньшевиками. Большевистский комитет в городе опустошен и обессилен арестами...

Но уже всюду — где скрытно, а где взметываясь и прорываясь, — жарко рдели пламена́ военных мятежей.

Солдат убеждали; им льстили; их спаивали водкой; их обманывали; их запугивали; их запирали в казармы, обезоруживали; предательством и провокацией из их рядов вырывали большевиков: вешали и расстреливали.

И все ж таки, все ж таки из-за Урала — из Сибири и с Дальнего Востока — надвигалась на трехсотлетнюю российскую монархию еще не слыханная гроза!

Более чем трехсоттысячная, уже отвоевавшая армия грозила выйти из повиновения. Позорная царизму и едва не опрокинувшая его в пропасть русско-японская война закончилась; мир был подписан. А несчастных солдат все еще томили в невероятно тяжких, бесчеловечно унизительных, скотских условиях — томили полуголодных, больных, измученных. Чудовищное скопление запасных, этих бородачей, отцов семейств,

пахарей, распирало промозглые бараки казарм, станции и полустанки.

К тому же на Забайкалье надвигался голод.

Брожение в войсках день ото дня усиливалось. Местами солдаты захватывали классные поезда и самовольно грузились, высаживая пассажиров невзирая на ранги.

Нет, не только к семьям, к родной избе рвались солдаты Маньчжурской армии! Еще на фронте принялись они разделываться с теми, кто тиранствовал над ними. А теперь, с каждым днем революции, глаза их все больше и больше становились отверсты на гнусную и страшную причину войны: корысть и прибыли царских дружков — какого-то, говорят, там Безобразова, Абазы́! Ишь ты, воевать нам велят с японцами из-за корейской земли! А на што нам корейская земля, когда у нас под боком помещицкой земли сколько угодно! Собирались. Митинговали. Разговорчики были что надо! «Будто там, слышь ты, у нас, в Расее, мужички уж земельку делят из-под помещиков; что уж царем трясут; будто бы уж и на корапь сел со своим семейством и сколько имущества успел захватить с собой: за границу, вишь ты, уплыть хочет, к тестю ли, к свату ли, у них ведь, у царей, не поймешь! Риволюция идет полная. А нас вот здесь папашка Линевич все держит да держит. Гноит. Всех, стало быть, выморить хочет! И всё на то ссылаются: Сибирска, дескать, дорога насквозь бастует — не проехать. Врут, поди: как же нас, простого солдата, рабочий класс к себе домой не пропустит?! Нет, умный один человек вчерась объяснял нам: боятся, говорит, вашу армию возворотить — как бы еще больше делов не натворили! А што? И очень даже просто, и натворим: уж накипело сердечушко!..»

Зорко и неусыпно всматривался Владимир Ильич из своего душу истязующего, ненавистного «далёка» в этот дальневосточный «эпицентр» грядущего социального землетрясения, способного — он уверен был в том! — потрясти до основания империю, свалить трон и похоронить под его обломками не только самого Николая, но и весь феодально-монархический строй. Если, если только успеть *усилить* этот неимоверной мощи очаг, дать его нарастающим волнам сомкнуться в один, в один всесокрушающий катаклизм с волнами тех ре-

волюционных очагов, которые уже охватили и сотрясают и Россию, и Украину, и Кавказ, и Польшу, и Белоруссию, и Эстонию, и Латвию, и Литву!

Октябрьская политическая всероссийская стачка уже бросила было на колени перед восставшим народом насмерть перепуганного царя и его присных.

Ее вдохновители, застрельщики и стратеги — большевики уверенно ширили ее во всенародное вооруженное восстание.

— Да! Если сейчас нам удастся повернуть эти сотни тысяч штыков Маньчжурской армии, несомненно уже крайне революционной, против правительства, на помощь восставшим рабочим и крестьянам, то революция получит немедленно, враз, столь огромную военную силу, что конец царизма будет предрешен! Я считаю, что лучших из лучших товарищей мы должны послать туда — в Маньчжурскую армию, на Дальний Восток. И вообще — в Сибирь. Всеми силами мы должны во что бы то ни стало захватить Сибирскую железную дорогу. Непременно. Главнейшие станции. И телеграф. Да, да, и телеграф! И тогда — Сибирь наша!

Так думал. Так говорил. Так требовал Ленин.

И боевые дружины большевиков шли в первых рядах восставших и первыми принимали смерть.

Но где же было взять их столь, сколь требовалось их народу, этих «лучших из лучших»!

И ведь почти каждый, каждый из этих людей был за самый ничтожный, стремительно промчавшийся срок неистовой, титанической, непрестанной борьбы усмотрен, выбран самим Лениным лично; выверен им, закален и воспитан!

И туда — на Дальний Восток, в Сибирь, в Хабаровск, в Иркутск, в Читу; в казармы и теплушки митинговавшей армии; в железнодорожные мастерские Красноярска, Челябинска, Кургана, на Великий сибирский путь — были брошены партией опытнейшие агитаторы, бесстрашнейшие боевики.

Там, в Сибири, были в те дни и Киров, и Куйбышев, и Курнатовский, и Костюшко-Валюжанич, и любимец Ленина — Иван Васильевич Бабушкин, убитый карателями из поезда Закомельского.

Туда был послан Лениным и Матвей Кедров. Впрочем, Кедровым объявился он лишь на Тоболе. Таков

был его последний паспорт. И «выправил» этот паспорт ему не кто иной, как Шатров.

Кедровым останется этот человек и для нас.

Предвидение, стратегический расчет, страстное упование вождя на Великий сибирский путь, на Дальний Восток, на Маньчжурскую армию в грозных событиях и осени и зимы тысяча девятьсот пятого года были уже близки к своему полному воплощению.

Бабушкины и Кедровы ценою жизней своих вершили великое дело пославшей их партии!

Именно Сибири и Дальнему Востоку суждено было стать последней крепостью революции даже и после того, как гвардии Семеновский полк, пушки Дубасова, а скорее всего — предательство и трусость петербургских меньшевиков потопили в крови декабрьское восстание Москвы. Трусость и предательство. Так это, так! Ибо в столице империи, в Санкт-Петербурге, при абсолютном почти параличе правительства Витте, властью в те дни обладали меньшевики, возглавленные Троцким и Хрусталевым. Была даже ходячая шутка: «Неизвестно, кто кого вперед арестует: Витте — Хрусталева-Носаря или Хрусталев-Носарь — Витте!»

Декабрьская Москва стояла насмерть. Тысяча баррикад — подумать страшно, тысяча баррикад! — перепоясали улицы Москвы. Боевые дружины большевиков повели за собою восемь тысяч вооруженных рабочих. На сторону восставших вот-вот готовы были перейти с оружием в руках два гренадерских, кавалерийский, резервный полки и два саперных батальона...

Забастовкою всех железных дорог Москвы царскому правительству отрезана была какая бы то ни было возможность — с юга ли, с запада ли, с востока ли — ввести на усмирение войска. И только одна-единственная дорога — Николаевская, связующая столицу с Москвой, — не забастовала. Но ею руководил как раз Петербург. И от Петербургского Совета рабочих депутатов, возглавляемого меньшевиками, и зависело целиком — пресечь карательные умышления правительства. А тогда адмиралу Дубасову, его карателям, его артиллерии и не бывать бы в Москве!

...До полусонного и такого, казалось бы, обывательски благодушного городка на Тоболе весть о царском манифесте, где струхнувший не на шутку самодержец сулил «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу», — весть эта достигла городка лишь девятнадцатого октября тысяча девятьсот пятого года.

И — началось!..

Теперь это был уже не масляно-хлебо-торговый, почти сплошь деревянный, сибирский городок, а и что твои Афины — Афины Периклов и Демосфенов!

Завитийствовали на банкетах, заораторствовали местные либералы-буржуа: и заводчики, и купцы, и врачи, и инженеры, и адвокаты, и хозяева аптек.

Смысл этого витийства был один и тот же у всех: и у начинающего адвоката Кошанского, и у молодого наследника чугунолитейных, довольно еще убогих мастерских Петра Башкина, что недавно вернулся из Бельгии, начиненный там всей премудростью и по части выплавки стали, и по части выгонки пота из рабочих:

— Господа! Это — конституция! Ура! Довольно фронды, смуты, митингов, забастовок. Теперь, засучив рукава, за работу. И обеспечим выбор достойнейших в наш первый парламент, Государственную думу. Отныне, господа, мы — в семье европейских народов!

Манифест семнадцатого октября расколол надвое и городок на Тоболе.

На митингах в огромно-гулких, необозримо протяженных железнодорожных мастерских, под стеклянно-коробчатым сводом, где игрушечными кажутся паровозы, неторопливо шествующие по рельсам, — тут шли совсем иные речи:

— К черту Думу! Обман. Ловушка. Долой кровавое самодержавие!.. Немедленный восьмичасовой! Конфискация помещицких, царских, монастырских земель! Товарищи! Не выпускайте оружия из рук. Вооружайтесь, вооружайтесь и еще раз вооружайтесь! Кто чем только может: хотя бы даже выворачивая булыжники из мостовой! Да здравствует народно-революционная

власть! Да здравствуют Советы рабочих и крестьянских депутатов!..

Оратор говорил с передней площадки паровоза, осененного красным знаменем. Народу была тьма. И паровоз-трибуна, и два других паровоза, и стальные перекладины стен, и все пространство впереди оратора так заполнены были народом, что исчезла гулкость простора и каждое слово говорящего было явственно слыхать.

Тот, кто призывал не выпускать оружие из рук, рабочий с виду, чья речь, однако, была речью опытного пламенного слововержца-массовика — со стиснутой в левой руке серой, промасленной кепочкой, которую он время от времени еще больше сжимал, потрясая рукой перед слушателями, — как-то особенно захватил Арсения Шатрова.

Да и разве только его?!

В те дни на бушующие сходбища, на яростные митинги железнодорожных рабочих, на вокзал, в паровозное депо устремлялись со всего города — шли, бежали, валили толпами — люди всяческих званий и всех возрастов. Отсюда именно выплескивались и низвергались в город те, обуреваемые гневом и торжеством, объятые полымем красных знамен, вздымаемые кличем мятежных песен, колонны и толпы шествий, перед которыми в страхе цепенели власти.

На митинге железнодорожных рабочих в тот день Шатров оказался случайно. Он пришел на вокзал по своим делам: узнать, разведать, когда же будет объявлен стачечным комитетом конец железнодорожной забастовки. Ждал грузы: сепараторы и еще кой-какое оборудование для нового своего маслодельного завода.

Но если случайно оказался, то отнюдь не случайно остался!

С грозным ропотом, с возгласами, обсвистывая в два пальца и прижатых к стенкам городовых, и съежившихся, притаившихся филеров, народ, теснясь, вхлынул в широко распахнутые ворота могуче-приземистого кирпично-черного здания.

И Арсений Шатров — вместе с другими.

Да! И вместе и заодно: ибо и в душе молодого сибирского промышленника клокотали в те дни и рвались наружу те же самые чувства, что и в сердцах миллио-

нов и миллионов людей — людей, совсем не схожих друг с другом ни своим строем дум, ни своими житейскими устремлениями, ни по своему достатку, ни по своему положению на ступенях общественной лестницы.

Мир с Японией был тогда уже заключен, но позорный конец позорной войны — разве способен был он смирить, угасить в сердцах народа скорбный гнев за Цусиму и Порт-Артур; за тысячи и тысячи убиенных парней — цвет и радость народа! — закопанных в братских ямах чужой маньчжурской земли; за нищету и горькое сиротство жен и детей; за измывательство над людьми и урядника, и станового, и приказчика, и лавочника, и фабриканта, и помещика; за вековую ржануху с сосновой заболонью и лебедою; за черные, догнивающие избы, где скотина делит жилье с человеком; за надругательство и обман; за изнурительный труд, подневольный чужому рублю — рублю, что страшнее кнута!..

Но и российская либеральная буржуазия в смертельном страхе за благоденствие свое, за империю, шарахнувшись от удара народной грозы, вздыбилась против незадачливого венценосца. Наложить узду конституции на смертельно опасное самовластие монарха! Надеть смирительную рубашку на «помазанника», который иначе бог знает что еще может натворить!

Так, судьбами истории, к рабочему классу России, поднявшемуся по призыву большевиков на первый и всенародный штурм царизма, примкнул на первых порах политический союзник — пусть ненадежный и шаткий, пусть своекорыстный и себе на уме, но все ж таки союзник.

Все ополчалось в те дни против самодержавия.

И всех, всех, кого гнёл и душил царизм, — всех стремились поднять и ринуть большевики на свержение самодержавия!

В те дни Арсений Шатров еще любил повторять: «Я — человек из народа. Чего хочет народ — того и я хочу. Честно нажитой капитал — не помеха!»

Впрочем, невелик еще тогда был этот шатровский капитал. Арсений в те дни еще только присматривался, пытал, только еще озирал быстрой, хваткой думкой своей и родной Тобол, и Приуралье: «Маслоделие!.. Да!

Именно маслоделие, и притом не убого-кустарное, а промышленное и высокое. Ведь втуне лежат тысячеверстные прерии сибирского Приуралья, эти неистощимые пастбища... Да если здесь, послав к черту извечные прабабушкины маслобойки, сразу поставить дело с размахом, по всем требованиям несложной, в сущности, маслодельческой науки; если широчайшим кредитом — на коров, на коров! — охватить крестьян вдоль всего Тобола, чтобы заводили, черти, добрый молочный скот; если начать производить на экспорт масло наивысшего разбора, — так, боже мой, ведь года не пройдет, как рубль на рубль станет прибыль! Но вот где ж ты его достанешь — распроклятый этот начальный рубль?!»

Тщетно расточал свое красноречие перед прижимистыми и опасливыми толстосумами города и уезда Арсений Шатров: ни рубля не добыл он кредиту! Купцы-тоболяне слушать-то слушали его, пускали слюнки, а сами втихомолку справлялись: а много ли *истиннику* у этого Арсения? А есть ли какая у него недвижимость, чтобы, если уговорит, кредитуешь его, дак чтоб нашлося что описать? Дело не двигалось. А начинать надо было. И надо было спешить: ведь не у одного же Арсения Шатрова голова на плечах! И уж заветную идею свою волей-неволей, а раскидал он по чужим ушам!..

Он стал близок к отчаянию. И спасла его Ольга: не спросясь, она выгодно продала доставшийся ей от покойных родителей дом в городе с большим приусадебным участком. Это дало ему около трех тысяч. Он принял жертву. С этой, против замыслов его, в сущности, ничтожной суммой он и ринулся претворять в жизнь взлелеянное им в думах большое дело — закладку промышленного маслоделия в Сибири.

И странно: готовые удавиться на своих кошелях обладатели «истинника» начали теперь, то один, то другой, предлагать Арсению, правда небольшой еще, «кредитец». Только ставили непременное условие: чтобы он взял «в компаньоны». Но в этом-то он им и отказывал. «Нет, голубчики, — это он перед Ольгой, — кредит кредитом, а голову свою Арсений Шатров продавать вам не собирается. Довольно я у вас пороги околачивал».

И предпочитал получать этот «кредитец» за немилостивые проценты.

Каждый свой рубль, да и чужой тоже, взятый в долг, он бросал в смелый и быстрый оборот.

Не новое в существе своем, но впервые им, Шатровым, примененное к маслоделию новшество быстро обогатило его: за молоко он расплачивался товарами. При каждом отделении крупных маслодельных заводов Арсений Шатров непременно открывал небольшую лавку. Расчетливо, с глубоким знанием всех деревенских нужд и потребностей сделан был в них подбор товаров. Вот уж где ничего не залеживалось!

Да и залежится ли такое в деревне: соль, сахар, махорка, спички, керосин, селедка; немного ситчику — веселого, цветастого да нелинючего; навесы — дверные и оконные; подковы, гвозди; хомуты, седёлки, шлеи; колесная мазь и деготь; серпы и косы; а из сластей, само собой разумеется, изюм, урюк — для пирогов о празднике; белые «суропные» пряники и — радость и утеха деревенской детворы — черные сладкие рожки, в сухой, сладостной мякоти которых таятся и молотком не разбиваемые зерна, словно бы из упругой, лоснящейся стали отлитые!

Скоро он прямо-таки отучил своих мужичков-сдатчиков, да и хозяюшек тоже, от поездок в город: незачем стало. У Арсения Тихоновича все найдешь. Чего же ради лошадь в город гонять?! А главное удобство народу — што ежели нету у тебя на тот час деньжонок, ино велит в долг, на молочну книжечку записать: опосля баба молоком засдаст!

Трудно на первый взгляд постигнуть связь между королевским завтраком Георга V, английского, и этими шатровскими лавчонками со скобяным и прочим «мужицким» товаром, но она, эта связь, неоспорима и могла быть прослежена во всех ее звеньях и передачах. Невдолге после того как Шатров взялся оберучь за промышленное западносибирское маслоделие, на лондонском рынке стало входить в славу особое, наивысшего разбора сливочное масло. «Сладкое датское» именовали его. Шло оно по самой что ни на есть дорогой цене. Было его не так уж много. Его закупали к столу короля, английской знати и богачей. И только перекупщики-иностранцы, ввозившие это масло в Англию,

знали, что если вскрыть крышку небольшого белого бочонка, развернуть пергамент, то на крепкой белоснежно-лоснящейся — только что со льду! — поверхности «датского сладкого» видно станет четко оттиснутое клеймо: «А» и «Ш» — Арсений Шатров!

Охватив пол-уезда лавками своими, сопряженными в непременном порядке со сдачею молока только на его, шатровские, заводы, выдавая мужичкам понадежнее, «кредитоспособным, крепким», как говаривал Арсений Шатров, деньги на покупку удойливых коров да еще поставя на каждом молокосдаточном стану простенькое исследование молока и хороший лéдник, он за каких-нибудь два-три года стал крупнейшим маслозаводчиком в своем краю.

Арсений Шатров искренне считал себя благодетелем окрестного люда, культуртрегером края. С гордостью говаривал о себе: «Лишнего про себя не думаю, а что Арсений Шатров пионер *промышленного* маслоделия в Сибири — этого у меня никто не отымет».

Богател. Стал ходить в «тысячниках», но весь его капитал был в непрерывном обороте, и Арсению как воздух необходим был крупный и постоянный кредит. А его не было. Чтó там какие-то жалкие тысчонки, перехватываемые у того, у другого из местных толстосумов!

Когда же он обращался к банку, он явственно чувствовал, что кто-то мешает: кредит открывали скудный, с проволочками и унизительным прощупыванием всего его достатка — движимого и недвижимого.

И все ж таки он успел за этот короткий срок и в самом деле стать зачинателем промышленного маслоделия в своем краю; успел вырваться из захватистых когтей обосновавшихся на Тоболе перекупщиков-экспортеров и вступить в прямые отношения с Лондоном — с торговым домом Лондсдейля.

И вдруг разразилась катастрофа. Впрочем, другой на месте Шатрова еще и не понял бы этого. А он понял: в распахнутую им область сибирского промышленного маслоделия вступила чудовищная, необоримая для него, зарубежная, чужеядная сила. Это был международный концерн, главным образом датско-американский, наполовину тайный, — исполинский союз хищников, замысливших завоевание всей Сибири — от

Урала и до Тихого океана, — завоевание без единого выстрела, и уж на столетия!.. Тут были банки, и «Международная компания жатвенных машин в России» — Диринг, Мак-Кормик, Осборн, Мильвоки, Чемпион и Плано, — и золотопромышленники Уркварт и Гольдфильдс, и английский лесопромышленник Стевени, и датская «Сибирская компания», и завод сельскохозяйственных машин Рандрупа, и многие, многие другие.

Этот чудовищный спрут в те дни на всю Сибирь распластывал свои щупальца-присоски: и на хлеб крестьянина, по бросовым ценам везомый на рынок каждую-каждую осень со всех дворов из-за горькой нужды; и на неисследимые леса Якутии и Приморья; и на пушнину; и на земные недра Урала и Сибири, и вот, наконец, — на маслоделие!..

Силы были слишком несоизмеримы.

Стратегия неотвратимого отступления была уже основательно продумана, заведомо решена!

Прежде всего надо высвободить капитал. Бережно. Неторопливо — дабы не возбудить слухов, что Шатров разорен, не подорвать кредит. И не дать восторжествовать всем этим рандрупам и мак-кормикам!

И Арсений Шатров продал свои маслодельные заводы и лавки при них только-только что набиравшему тогда силу Союзу сибирских маслодельных артелей: «Пускай хоть своим! Ишь, проклятые, без войны, без единого выстрела заграбастали Сибирь! Не знал Ермак Тимофеевич, бедняга, что он ее для американских банкиров завоевывает!»

Тогда-то и забрезжил у него впервые замысел «Урало-Сибири» — исполинского треста промышленно-производственных фирм, впрочем, со своим собственным банком, — треста, в котором объединились бы только промышленники и оптовые купцы Урала и Сибири, убрав начисто всех посредников между собою и миллионами покупателей, очистив Урал и Сибирь от международных грабителей.

Молодой еще тогда адвокат Анатолий Витальевич Кошанский под его руководством умело разработал устав замышляемой «Урало-Сибири». Увы! Еще и еще раз Арсению Шатрову пришлось испытать приступы черной желчи и против царского правительства, и против своих отечественных промышленников и купцов!

Некий старик Чемодуров, известный всему уезду многотысячник и ростовщик, сверкнув злыми, насмешливыми глазками сквозь белый хворост бровей, молвил ему: «Умная у тебя башка, Арсений, да только жалко, что прикладу к этой голове маловато!» — «То есть как?» — «А так: тысчонок, поди, пятнадцать — двадцать — вот и весь твой истинник!» — «Пускай так! Ну и что дальше?» — «А дальше то: что лопни она, твоя «Урало-Сибирь», в котору ты нас тянешь, многим ли ты пострадашь? А я? Конешно, рыск — благородное дело, а на про́центы жить спокойнее!..»

«Рыск... на про́центы!.. Дубы стоеросовые!.. Вот и поди сколоти вас воедино, мамонтов сибирских!»

Кошанский, ездивший в Петербург за разрешением нового торгово-промышленного общества «Урало-Сибирь», ничего не мог добиться. Но, используя свои тайные связи и давние знакомства, молодой юрист выведал: против — сам Витте: «Почему это, дескать, намечается объединить одних лишь отечественных капиталистов? Я считаю привлечение иностранных капиталов к разработке естественных богатств империи весьма прогрессивным».

И еще дознался Кошанский: Трепов, товарищ министра, ведающий тайной полицией, решительно предлагал запретить этакое объединение: потому, мол, что это есть отрыжки *революционного* сибирского областничества.

В гневе Арсений рубаху на себе разодрал!

Ольга утешала его: «Ну, в конце концов не в Тобол же бросаться!» — «А, милая! Вот, вот, ты угадала: именно — в него, в Тобол, и брошусь!»

И он впрямь «бросился в Тобол», но только совсем по-иному, по-шатровски! Опомниться не успели — узнали, что Арсений-то, слышь ты, уж у четырех мельников мельничонки ихние сторговал. Да ведь не стал на них молоть, а, слышь ты, сломал, порушил: мне, говорит, это старье ни к чему, а мне место дорого. Крупчатку на их месте буду ставить. Тобол плотинами подыму — электрическая тяга у меня будет на все.

Вовремя опередив неразворотливых, косных конкурентов, Арсений Шатров крепко оседлал неистощимомогучий, упругозыбкий хребет родной сибирской реки.

И Тобол спас Шатрова!

А в рабочих руках нужды Шатров не испытывал. Труд был дешев. Тысячи переселенцев-горемык кочевали тогда по Сибири, за любую работу готовы были кланяться в ноги.

Русско-японская война, ее мальчишески хвастливое начало, ее корыстно-гнусная подоплека из-за каких-то там лесных концессий старой царицы, великих князей и придворных на чужой корейской земле — все это до последней степени ожесточило в нем тогда чувство брезгливого гнева против царя и правительства...

Вот почему, когда на митинге в паровозном депо человек, державший речь с паровоза, звонко, яростно кидал в грозно дышащую толпу: «Долой кровавую монархию!» — в глубинах сердца Арсения Шатрова отдавалось: «Долой!»

Вот почему, когда державший речь с паровоза простер свою руку над толпой и выкрикнул: «К ответу, к ответу, товарищи, — к ответу перед страшным судом народа всех виновников кровавой трагедии на Дальнем Востоке, всех виновников преступной войны!» — снова, подобно эху, в сердце Арсения Шатрова отозвалось: «К ответу!»

И в каком-то странном, все нарастающем самозабвении-наитии, чего еще никогда, никогда с ним не бывало, Арсений Шатров с запрокинутой головой и устремленным на оратора взором все ближе, все ближе протискивался к площадке паровоза.

А когда этот хрупкой внешности, со светло-русой бородкой и усами человек в рабочей одежде выкрикнул в толпу: «Вооружаться, вооружаться, кто чем только может, хотя бы выворачивая булыжник из мостовой!» — Шатров, невольно дивясь над собою, заметил, что не только у него у самого, а и у многих, поблизости стоящих, сжимаются и разжимаются руки, словно бы ощупывая, осязая этот булыжник, вывороченный из мостовой.

В заключение своей речи Матвей Кедров — а это был именно он — звонко-гневным и скорбным голосом выкрикнул:

— Он лжет народу, царь-кровопийца! Гражданские свободы, — вещает он в своем подлом манифесте, —

неприкосновенность личности!.. Но мы знаем с вами, товарищи, что вот здесь, недалеко от нас, в городской тюрьме, в сырых, зловонных, каменных мешках томятся наши братья, рабочие-революционеры!.. Хороша «свобода и неприкосновенность»! А никто ведь из царских сатрапов и не думает освободить узников. Так неужели же мы позволим, товарищи, будем трусливо дожидаться, когда городской палач захлестнет веревки на их шее?! А, товарищи?!

И остановился, весь подавшись через железные перила над толпой, словно бы простираясь, летя. Выброшенная далеко вперед правая его рука с раскрытой ладонью и вибрирующими перстами словно бы сама и вопрошала, и требовала, и упрекала — гневно и скорбно...

Что поднялось!

Сквозь неистовый, гневный вопль сгрудившейся рабочей массы стали наконец слышны отдельные яростные призывы:

— На тюрьму!

— Разнести ее к черту!

— Товарищи! Идемте освобождать!

В этот миг, уже невластный сам над собою, на площадку паровоза одним прыжком взметнулся Шатров.

Оратор-большевик слегка отступил, как бы предоставляя ему слово.

Затихли. Ждали.

Арсений Шатров левой рукой сдернул перед народом шапку, а правой выхватил из кармана меховой куртки бельгийский вороненый пистолет и, потрясая им кверху, выкрикнул:

— Товарищи!.. Освободим заключенных! И знайте, что у нас не только булыжники!

Мужественно-ласковым движением Матвей Кедров приобнял его за плечо, на глазах у всего народа.

И вдруг, как бы сама собою, никем не запеваемая, сперва зазвенела, а там и на грозный перешла ропот, излюбленнейшая песня народных шествий тех дней:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог!
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный!..

И кто-то уже строил всех к выходу...

Но как раз в это время один из подростков, прицепившихся высоко над толпою, глянул на улицу и вдруг истошно, предостерегающе закричал:

— Каза-а-ки!.. Окружают!

И впрямь: это были они.

Но и не одни казаки! Кедров глянул. С высоты своей стальной паровозной трибуны он далеко мог видеть. И в глубине души он ужаснулся. Этого он все же не ожидал: от всех проходов и от обширного въезда в здание с ружьями наперевес, с примкнутыми штыками шли солдаты. С закаменевшими бледными лицами, они каменно шагали — так, что сотрясалось и гудело все здание.

«Солдаты — это серьезно! Значит, решились на пролитие крови!»

Уж начиналось смятение. Вот седоусый, с хмурым лицом рабочий гневно кричит на казака в папахе и черной шинели, схватившего его за плечо: «Ну, ну, казачок, потише!» Отшвырнул его руку и выхватил огромный гаечный ключ. Казак отпрянул.

А седоусый торжествующе ухмыльнулся, опустил гаечный ключ к бедру, держа наготове, и вскинул глаза поверх несметноголовой толпы, отыскивая напряженным взором своим встречный взор Кедрова.

Нашел. Суровое лицо его осветилось радостью. Многозначительно подморгнул Матвеичу — и бровью и усом: видал, мол? — не дремлют твои дружинники, только подай знак!

Но Матвею ли Кедрову было не знать о том! И если для чуждого или для вражеского ока все это необъятно и гулко гудевшее, разноголосое толпище было стихийное, ничьей направляющей воле не подвластное бушевание гневом вздыбленного люда, то пред ним, Кедровым, это сплошное, якобы и не расчлененное, предстояло резко и четко разделенным и огражденным.

Вот и вот... и вон там, при самом входе, и в гуще толпы, и те, что редкой, но отлично вооруженной цепью ограждают паровоз-трибуну, — рабочие-боевики с завода Башкина и деповские — все они как бы стальной, но для чужого глаза незримой, тайной сетью, каркасом единой воли и устремления крепят и охраняют, но если

нужно, то и увлекут, ринут весь этот народ на штурм тюрьмы.

Он верил, да нет, не верил, а знал — твердо и точно, — что эта незримая, живая, упругая цепь, именуемая «боевой дружиной РСДРП», — его питомцы и выученики на протяжении годов, им избранные и выверенные люди, лучшие из лучших, действительно лишь знака его условного ждут, чтобы двинуть массы на вооруженный мятеж, на попытку освободить политических заключенных.

Но если б только жандармы, полиция, пусть даже казаки, но — целая рота солдат с примкнутыми к винтовкам штыками!..

И вместо ожидаемого боевиками сигнала Матвеич крикнул неистово-громко, изо всех сил:

— Товарищи! Спокойно, спокойно! Не поддавайтесь на провокацию!

Но уж где там! Местами уже затевалась свалка. Закричали женщины.

А солдаты неумолимо, неукоснительно, выставленными вперед штыками рассчитанно грудили народ в глухо-каменный, без единой двери, сырой и сумрачный угол.

Молодой офицер с наганом в руке, вскочив на что-то чугунное, кричал звонко-наглым, протяжным голосом:

— Оцепляй, оцепляй! Чтобы ни одна сволочь не ушла!.. Прикладов не жалей! Главарей, главарей хватай! Упирается — штыком его, штыком!..

Но от дышащего тяжко, будто бы в гневе, паровоза и солдаты и полицейские, ворвавшиеся в депо, были еще отдалены огромной, непроворотно плотной толпой и изрядным пространством. И у Матвея было несколько мгновений, чтобы охватить и понять весь ужас и неотвратимость надвигавшейся кровавой расправы. Он враз понял и замысел врага, и что это — не просто отряд, посланный разогнать митинг железнодорожных рабочих, как случалось, а облава, карательный, по существу, отряд, которому дано право и убивать и калечить при малейшем сопротивлении.

И вот уже, видит Кедров, пробились... по трое набрасываются на одного, схватывают, волочат из толпы... На другого набросились. На третьего... Кедров в лицо,

по именам и партийным кличкам знает этих рабочих... Только бы не схватились за оружие! Горе, если хоть один выстрелит в солдат: ведь это же западня. Переловят всех. Военно-полевой... И — «к смертной казни через повешение»!..

Он видит, как дружинники оборачиваются на него. Видит, как рука одного, другого из схваченных тянется к боковому карману...

Внезапное и дерзостное решение осеняет его.

Он кидается по стальной полке паровоза к топке. На пути у него — Арсений Шатров: стоит рядом, сжимая в кулаке свой браунинг. Словно застыл.

Кедров, огибая его, на какой-то миг приостанавливается и кричит ему в самое ухо:

— Спрячь! Убьют!

Тот не выпускает пистолета.

Кедров издает яростный возглас. Выхватывает из руки Арсения Шатрова пистолет и опускает в карман своей робы. Затем схватывает Шатрова за плечо и, показывая вниз, в толпу, повелительно:

— Спасайся! Прыгай!

— А вы?!

Но оборотился к Матвею, увидел его яростные глаза и, не упираясь больше, спрыгнул с паровоза в толпу.

В это время пуля, и другая, щелкнула рядом в сталь: это стрелял в Матвея Кедрова офицер, заметивший, что человек, говоривший с паровоза, хочет скрыться.

Но нет! Не скрываться кинулся этот человек, не убегать!

Обогнув исполинскую, черно-лоснящуюся, жаркую голову паровоза, Кедров исчез в паровозной будке. Вот уже орудует над рычагами...

Неистовый, непереносимо пронзительный для человеческого уха, страшный свист спускаемого паровозом перегретого пара заполнил огромно-гулкое здание. Вокруг паровоза враз сделался белый, удушливый, непроницаемый глазу туман. Он стремительно ширился, окутывая все своим пологом, от которого отвращалось, останавливалось дыхание и в котором так и чудилась вот-вот готовая разразиться катастрофа.

Послышался отчаянный вопль:

— Взорвет, взорвет! — Это рабочие мастерских нарочно изо всей силы орали, сразу сообразив, для чего все это и кем было сделано.

И кто-то из солдат подхватил во всю глотку, жалобно и отчаянно:

— Братцы, взорвет!

Толпа и охватывающая ее цепь шарахнулись во все стороны от паровоза.

Скоро в этом молочно-плотном тумане, с каким-то ядовитым запахом каменного угля, — в тумане, поднявшемся выше голов, уже никого и ничего нельзя стало различить. Свои — те знали каждое здесь препятствие, каждый поворот и закоулок, а солдаты, казаки, полицейские — те разбегались, простирая перед собою руки, словно слепые без поводыря. Спотыкались, падали, теряли винтовки. Здание мастерских быстро опустело.

Многих винтовок недосчитался в тот день отряд, высланный на эту облаву!

Такой была осенью тысяча девятьсот пятого года первая встреча Матвея Кедрова и Арсения Шатрова.

Вторая, и окончательная, произошла уже в январе девятьсот шестого.

Бабушкины и Кедровы — и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Маньчжурской армии — оправдали доверие *того*, кто послал их туда.

«Красноярская республика» тысяча девятьсот пятого года продержалась на три дня больше, чем Парижская коммуна! Семьдесят пять дней Совет рабочих депутатов, возглавленный большевиками, был подлинным правительством города и области. Царские власти бежали, попрятались либо заключены были в тюрьму.

«Читинская республика», где большевики возглавили восстание безраздельно, отбросив на задворки меньшевиков, распростерла власть Советов рабочих, солдатских и казачьих депутатов не только на Читу, но и на все Забайкалье.

Пятитысячный гарнизон Читы отдал себя в распоряжение Совета.

И Великий сибирский путь, и правительственный телеграф перешли под надзор комитетов: на передвиж-

ку поезда требовалось комитетское дозволение. Возвращавшиеся восвояси битые генералы из штаба Куропаткина предпочитали ехать в гражданском платье, не кичась, как бывало, своими золотыми, с зигзагами, погонами и красной подкладкой генеральского пальто. Не заявляли требований не то что на отдельный вагон, а и на купе.

Дело дошло до того, что сам железнодорожный телеграфист решал, передавать ему вот эту царскую телеграмму или не передавать!

Когда царь по совету Витте решил дать телеграфный приказ Ренненкампфу в Харбин — немедленно образовать карательный поезд и двинуться с ним навстречу поезду Меллера, то пришлось подавать эту телеграмму самодержца через... Лондон и Пекин!

Но и местному жандармскому ротмистру, и воинскому начальнику, и губернатору заведомо мнилось, что где-где, а уж в этом «богоспасаемом городке на Тоболе» извечно будет стоять житейская, хлеба ради насущного, суетня и непробудная политическая дрёма. Исправник Лампадников, увеселяясь в своем кругу, говаривал, подправляя с лукавым прищуром свой лихой ус: «У нас революцией и не пахнет. Откуда? Какая-нибудь парочка ссыльных?!»

И сперва недоумением, а потом и ужасом опахнуло царские власти городка и губернии, когда стремительно созданная здесь Кедровым, переброшенным из Красноярска, боевая дружина РСДРП отбила партию смертников из-под ощетинившегося штыками крепкого конвоя; когда им же созданный Комитет железнодорожных рабочих и рабочих завода Башкина, охраняемый той же неусыпной и неуловимой боевой дружиной Кедрова, осенью и вплоть до средины декабря стал грозной, истинной, хотя и в глубокой тайне большевистского подполья укрытой властью — не только над станцией и вокзалом, но и над городом; когда деревянные улицы его, казалось, трещали временами, распираемые мятежными многотысячными шествиями под красными и под траурными знаменами, как только известным становилось, что во дворе тюрьмы царскими палачами приведен в исполнение очередной смертный приговор.

Был случай, когда одною только угрозой — немедленно штурмовать тюрьму — многотысячная толпа железнодорожных рабочих и горожан, поднятая Кедровым, заставила военно-полевой офицерский суд, заседавший в тюрьме, трусливо отступить: пятеро солдат местного гарнизона, похитившие из военного склада несколько ящиков с винтовками и передавшие их на вооружение большевистских боевых дружин, подлежали по всей силе военных законов немедленному расстрелу. Но под грозный рев окружавших тюрьму скоплений разъяренного народа — рев, проникавший и под тюремные своды, вынесен был приговор вопреки обычаю и беспощадной букве военно-полевой расправы: вместо неминуемой, казалось бы, смертной казни — лишь исключение из воинского звания и ссылка... в Сибирь.

Управляемый Кедровым и большевистской группой РСДРП железнодорожный рабочий комитет стал в те дни и для города как бы некой управой и судебным трибуналом: через голову притихших, отодвинутых в сторону властей не только рабочие, а и обыватель все чаще и чаще стал приносить свои жалобы.

Однажды перед комитетом в комнате вокзала, самовольно захваченной у начальства, предстал тогда еще мелкий заводчик, хозяин механических мастерских — Петр Аркадьевич Башкин. Рабочие принесли на него жалобу, что у него на заводе — все еще одиннадцатичасовой, до изнурения и одури доводящий человека, каторжный труд; что «штрафами да вычетами задушил»: сорок пять копеек поденная у него плата, а иной раз больше половины вычету!.. А в цехах дышать нечем — грязь, духота, копоть, пекло!..

И бельгийской выделки инженер-заводчик, обычно всегда элегантный, горделиво-сухой, немногословный, безотлагательно явился на вокзал и, стоя перед столом заседавших по его делу комитетчиков, с кепочкой в руках, одетый в производственную робу, давал объяснения, оправдывался и клялся, что больше этого не будет, что это, видите ли, еще не устраненное им наследие от покойного отца.

С тем был и отпущен, получив строжайшее предупреждение. Ушел, скрежеща зубами...

Городской комитет РСДРП был в ту пору общий с

меньшевиками, «объединенный», как тогда говорили. И меньшевики возмущались, что Кедров так широко простирает силу и власть железнодорожного рабочего комитета на дела города. А между тем создание в самом городке Совета рабочих депутатов было бы опрометчивым и опасным: рабочий пролетарский массив сосредоточен был именно в железнодорожных депо, на вокзале, и Кедров рассчитанно не хотел уходить из этого пролетарского гнездовья, где меньшевиков-ораторов запросто сдергивали за рукав пиджака с трибуны и куда не смели показываться полиция и жандармы!

Он действовал в этом вопросе уверенно: именно так ему и советовал Владимир Ильич, когда в ноябре он, Кедров, побывал у него в Финляндии.

Стоило Кедрову закрыть на минуту глаза, и вот он вновь явственно, всем сердцем, вскипавшим вдруг радостью, начинал слышать этот упругий, светлый и звонкий, слегка грассирующий на *р* голос Ленина — голос, в котором слышались и титаническая, необоримая воля, и прозрение в грядущее, и бичующая ирония:

— Да, да, уважаемый товарищ! И вы этим не смущайтесь. У вас, в Сибири, на крупных станциях железных дорог при небольших городках, где население в подавляющем своем большинстве разночинцы, мещане, мелкая буржуазия, — там, говорю я, вы совершенно правильно поступаете, опираясь на комитеты железнодорожных рабочих. Совершенно резонно. Архиправильно! Что? «Ме́ки» против? Чепуха! А вы на этих господ не обращайте внимания! Такая уж их политическая натура — вечно путаться под ногами!

Останавливается против Кедрова. Слегка откинув свою мирообъемлющую, с большой залысиной над огромным лбом, могуче-благородную голову, чуть покачиваясь с носка на каблук. И вдруг, отступив на шаг от собеседника, произносит раздельно, четко, категорически, и Кедров чувствует, весь подобравшись солдатски, что эти вот слова Ленина, они — директива, воля ЦК:

— Повторяю, товарищ: у вас, в Сибири, на больших станциях, железнодорожные комитеты суть народно-революционная власть. И, при условии партийного руководства, смело считайте их органами, вполне ана-

логичными Советам рабочих депутатов. Вполне аналогичными!..

...Обладая всеми навыками, чутьем и строжайшей, неослабевающей волей к полной, безупречной конспирации, жестко воспитывая в том и руководимую им группу РСДРП, Матвей Кедров все ж таки превосходно понимал, а иной раз и видел, что и после пресловутого манифеста искусная и скрытая слежка неотвязно ведется за ним по-прежнему, хотя и приведенными в состояние как бы временного паралича властями.

Понимая это, он отнюдь не позволял себе хотя бы и ничтожные послабления по части обычных приемов и ухищрений опытного подпольщика, ставших для него как бы «второй натурой». А уж кое-кто из работников подполья считал это все пережитком, анахронизмом: зачем, мол, все это, когда народная революция вот-вот победит?!

Охранка сибирских городов порою терялась от многоликости Кедрова, от этих его изощренных и в то же время ставших привычными для него приемов и ухищрений конспирации. Ему, едва только замечал он двуногую ищейку, достаточно было забежать на несколько секунд в какой-либо глухой двор или парадный подъезд, чтобы вновь появиться на улице уже совсем преображенным — с другой бородой и усами, а либо вовсе без бороды и усов, словно из моментальной парикмахерской, в другом головном уборе.

Он обладал многими фамилиями, законными, паспортными; являлся под многими кличками.

Схватить Кедрова на каком-либо из митингов, шествий, массовок не удавалось, ибо, как почти всегда значилось в донесении, «оратора обступала и прикрывала собою огромная толпа народа...».

Прикрывала собою! Да не в этом ли, глазами врага увиденном обстоятельстве и заключена была *главная* тайна недосягаемости Кедрова в те дни для когтей охранки?

Гарнизон городка был шаток. Облавы с привлечением солдат обычно срывались: Кедров и еще несколько рабочих-большевиков, презирая явную опасность неминуемой смертной казни, если только схвачены будут в казармах, успели раскинуть в полку, размещенном в городке, сеть военных пятерок.

И в то же время, готовя силы к вооруженному восстанию, Матвей Кедров всеми и всевозможными путями изыскивал и накоплял оружие. Но какой же это был мучительно медленный, смертельно опасный и в то же время до слез жалостный путь и способ вооружения! Не раз осматривал он с руководителем военных пятерок, прапорщиком, свой горестный «арсенал». И чего-чего тут только не было! Барабанное револьверное старье — «бульдоги» и «лафоше́»; самодельные, в железнодорожных мастерских изготовленные из водопроводных труб бомбы-македонки, похожие на картошку; и наконец, — но это уже было гордостью и отрадой! — десять наганов, один маузер, два десятка винтовок с тремя обоймами патронов на каждую.

С этим вот и надлежало начинать!

Повторить похищение винтовок из воинской части не удалось: они взяты были после того под строжайшее офицерское наблюдение. Командир полка перед строем грозно предупредил, что не только что за передачу винтовки в руки «внутреннего врага», но и за утрату ее по причине злоумышленного нападения виновного ожидает расстрел.

А все ж таки было в руках группы Кедрова оружие, а вернее — орудие, на которое он полагался больше всего, за которое отдал бы и не такие «арсеналы»: большевистское слово, *типография!* И она была самодельной: ее полностью, целиком отлили и выковали ему рабочие железнодорожных мастерских. Человек средней силы в случае крайней опасности мог и один перетащить ее на новое место. Листовки, зовущие солдат повернуть штыки против царя, на защиту трудового народа, стали неистребимы в казармах. Солдаты ласково звали их «пташками». Шрифт добывали Кедрову рабочие частной типографии, похищая его на одну только ночь — ночь выпуска прокламаций. А потом возвращали. И хозяин, когда в его руки попадала очередная листовка, всякий раз недоумевал: до чего же схожий набор у его газеты и у этих листовок!

Власти городка взывали о присылке надежных войск: «по причине особой крепости тайной организации РСДРП в городе и установленного наличия стянутых из разных мест Сибири и России боевых, отлично вооруженных дружин, с целью вооруженного восста-

ния, ниспровержения установленных властей и захвата железной дороги».

Если бы знали они, что вся-то численность большевистской группы, во всем городке, не досягала и восьмидесяти! А «стянут» был из других мест Сибири один только человек. Правда, человек этот был Матвей Кедров!..

Вооруженное восстание в городке должно было начаться по сигналу из Омска. Его не было. И в Омске тоже был «объединенный» комитет!..

В этот миг пришла страшная весть о разгроме вооруженного восстания в Москве.

Но и тогда не дрогнули большевики Сибири! Великий сибирский путь стягивал силы боевиков к Чите, Красноярску, Иркутску...

Но для группы Кедрова страшнейшим и роковым событием стал внезапный ввод нового полка, перенасыщенного унтер-офицерским составом, сверхсрочниками, фельдфебелями и офицерами. Старая воинская часть в одну ночь была погружена в теплушки — вывезена на запад.

Теперь нечего стало и думать о начале восстания: надо было спасать организацию от разгрома, людей от гибели. Полиция и охранка осатанели.

В эти-то вот страшные зимние дни в городок приехал Арсений Шатров. После того памятного митинга он из осторожности отсиживался у себя на мельнице. Крайняя деловая нужда — продажа крупной партии «парижского» масла датским экспортерам, гнездившимся в городке, вынудила его прибыть для свидания с ними.

Под вечер, на закате, в легких саночках-одиночках мчался Арсений Шатров длинной и уныло-пустынной улицей городка, направляясь к себе домой, на мельницу.

Стужа стояла, как говорят в Сибири, *с копотью.* Да только Шатрову ли было ее страшиться! Поверх барнаульского полушубка, схваченного ремнем, на нем был огромный, опашистый тулуп с подъемным высоким воротом, шапка-ушанка, кожаные ямщицкие рукави-

цы-верхо́нки поверх теплых варежек, ну и, само собой, валенки.

Шатров нередко выезжал из города «на ночь глядя». Грабителей он не боялся: «Отобьюсь!» Конь был надежный, уносливый; кнута не надо: только крикни, щелкни медной бляхой голубых плоских вожжей по широкой, могуче-мясистой спине — и поди угонись! Это был бурой масти крупный и сильный рысак, его гордость, которого, впрочем, без всяких затей, а следуя простому обычаю Сибири, он так попросту и звал — Бу́рко.

Настроение у него в тот час было отличное: всю партию масла — триста пудов — датчане приняли у него по самой высшей цене, да еще и наговорили кучу лестных слов о его уме, деловитости, честности; что он далеко пойдет; что если бы таких людей было побольше в коммерческом мире России, то... И что они охотно будут кредитовать его в счет будущих маслопоставок. «То-то Ольга моя обрадуется!» Улыбаясь при одном только воспоминании о ней, решил, что сперва подшутит: скажет досадливо, что продешевил. А между тем уже заплатил полностью все деньги за великолепный для нее рояль, по случаю, — сам проследил за погрузкой и отправкой. Давняя ее мечта!

Вдруг Арсений Шатров заметил, что впереди, вдоль занесенной снегом улицы и в том же самом направлении, быстро, но неверными шагами, делая зигзаги то вправо, то влево, чуть не к самым воротам дворов, движется какая-то странная фигура: «Пьяный, наверно: вот сунется где-нибудь в сугроб да так у чужих ворот и окоченеет!»

А человек и впрямь худе́нько был одет: пальтишко, не шуба, шапчонка, сапоги — добро бы хоть валенки!

Шатров на своем Бурке мог бы скоро догнать его. Но он даже и нарочно попридержал лошадь: захотелось все-таки узнать, что это за человек, пьяный, что ли?! Вот подбежал к чьим-то воротам, явно — к чужим; отмахнул калитку, глянул внутрь двора, захлопнул и... отбежал. «Что за чертовщина?!»

Шатров ехал за ним в некотором отдалении и с любопытством смотрел на эти его зигзаги.

Вот переулок налево. Человек поспешно кинулся туда и — отпрянул обратно, на улицу. А когда саночки

Шатрова поравнялись с тем переулком и Арсений Тихонович глянул налево, в глубь переулка, то ему стало вдруг понятно, почему человек отпрянул: во всю ширь переулка, цепью, ускоренным шагом, с явным намерением выбежать на улицу, пересечь путь и окружить, шли солдаты с винтовками на́ руку.

А сбоку от них, возле самых дворов, шагал какой-то полицейский чин. Вот он выметнул руку в перчатке, указал перстом на человека, выхватил висящий у плеча свисток и пронзительно засвистел. Солдаты побежали. Побежал и полицейский по тротуару, чуть приотставая.

Человек остановился посреди улицы. Он понял, видно, что ему не уйти. Выхватил из кармана револьвер. И, слегка поводя им навстречу солдатам, ждал...

Арсений Шатров понял все: ясно было, что окруженный решил не сдаваться живым. Раздумывать было некогда. Медная пластинка вожжи шлепнула о круп Бурушки. Он наддал. Но накоротке рысак не успел еще, однако, развить всю свою бешеную скорость. Саночки неслись прямо на человека.

— Э-эй!..

Человек с револьвером досадливо посторонился, чтобы не ударило оглоблей — не сшибло с ног.

Что в этот страшный миг подумалось ему?

Солдаты близились.

Шатров натянул левую вожжу — санки снова понеслись на человека, стоявшего, как затравленный сохатый, посреди белой, снежной улицы.

И вдруг, поравнявшись с ним со спины, Шатров, еще загодя скинувший рукавицы, рванул всей своей силой человека с револьвером, повалил его навзничь поперек своих саночек.

Только теперь поняли приостановившиеся было солдаты, что произошло. Крикни Шатров заранее этому человеку, что, дескать, изготовься, спасать тебя мчусь, — его предупреждающий крик услыхали бы и солдаты и жандарм. И, конечно, кинулись бы со всех ног — помешать!

А теперь, когда они опомнились и закричали: «Стой!» — и побежали вдогонку, могучий шатровский Бурушко уж пластал во всю свою рысь!

Один, другой солдат приложился и выстрелил вслед — но где уж там! А через какую-нибудь секунду

Шатров круто повернул в первый переулок направо, и саночки исчезли из глаз преследователей...

Так на заимке Шатрова, на мельнице, в январе тысяча девятьсот шестого года появился новый писарь-конторщик, он же и кассир. А все давно знали, что хозяин извелся, отыскивая на эту необходимейшую должность подходящего, хорошо грамотного человека. Так что никто и не удивился.

Правда, писарек уж слишком был грамотный — отлично владел двумя иностранными языками: немецким и французским; мог бы прочесть, пожалуй, неплохой, общедоступный курс лекций по философии; досконально изучил Маркса; обладал кой-какими сведениями в химии, правда несколько своеобразными: ну зачем, например, писарю-конторщику речной маленькой мельницы уметь делать... бомбы? Или изготовлять казенные печати? Да и случись у него нужда в заработке, так в любом городе ни одна театральная парикмахерская не отказалась бы от его услуг в качестве гримера: работал на диво! Теперь никто не узнал бы в нем того рыженького, с жидким усом рабочего, что произносил речь с паровоза, или того седенького интеллигента, который метался на заснеженной улице, когда его спас Арсений Шатров!

Словом, перегружен был шатровский мельничный писарек совершенно излишними по его службе знаниями!

К счастью, об этом, кроме самого Шатрова, здесь и окрест никто не знал, не ведал. А у самого Матвея Матвеевича Кедрова было еще одно замечательное умение-знание: как *скрывать* свои знания от людей. А то вот удивились бы — и на мельнице да и в окрестных селах!

Впрочем, удивились: что неблагодарный он оказался к Шатрову. Так и говорили: он, мол, его разыскал, привез; одел и обул; жалованье какое ему положил, а видать, что человек нуждался! И на вот те: переманил его у Шатрова земский начальник Лавренков — переманил в волостные писаря! Да и куда переманил: тут же, в пяти каких-нибудь верстах, в Калиновку, в волостное правление!.. Месяца у Шатрова не прослужил! А впрочем, слыхать, без обиды расстались. Дак ведь Шатров — мужик неглупой, понимает, поди: рыба ищет,

где глубже, а человек — где лучше! У волостного-то писаря жалованье, конечно, побольше. Опять же и начальство над крестьянами, да и большое: без волостного писаря куда денешься, какую бумагу справишь?!

Так поговаривали иной раз окрестные крестьяне-помольцы шатровской мельницы, ожидающие на своих возах помола.

Писарька вспоминали добром на шатровской мельнице: обходительный был человек, не шумливал на народ!

Еще осенью тысяча девятьсот пятого года и царю, и его премьеру Витте, «графу Полу-Сахалинскому», как прозвали его за отдачу японцам пол-Сахалина, и Столыпину, и, наконец, великому князю Николаю Николаевичу, этому спириту и мрачно-неистовому человеконенавистнику, которого толкали в диктаторы, а он упирался и грозил застрелиться у ног царя, если тот не подпишет конституцию, — всем им стало до ужаса ясно, что, не усмирив Сибирь, не подавить и революцию в России.

А в Сибири и на Дальнем Востоке дело подошло уже вплотную к захвату власти.

Вот что постановило солдатское собрание в Чите в конце ноября тысяча девятьсот пятого года:

«Принимая во внимание, что теперь по всей России восстал рабочий класс под знаменем социал-демократической рабочей партии, а за ним поднимается и крестьянство, мы заявляем, что мы сами, крестьяне и рабочие, сочувствуем их борьбе, вместе с Рабочей партией отвергаем Государственную думу, где не будет наших представителей, и требуем окончательной отмены монархии».

Окончательной отмены!

Иркутский губернатор Кутайсов через два дня после царского манифеста телеграфирует в Петербург: «Брожение между войсками громадное, и если будут беспорядки, то они могут кончиться только смертью тех немногих, которые еще верны государю. На войска рассчитывать трудно, а на население еще меньше».

Вот тогда-то и решено было на тайном царском совете пропороть насквозь весь Великий сибирский

путь двумя встречными карательными поездами — двух баронов.

Западный «поезд смерти», барона Меллера, отошел из Москвы в ночь на первое января тысяча девятьсот шестого года с Курского вокзала, имея на себе сводный отряд императорской гвардии.

Барон, во главе офицеров, обильным, с провозглашением здравицы в честь «обожаемого монарха», пиром встретил в поезде Новый год. Этим и открыл экспедицию.

Всем солдатам было выдано по бутылке пива.

Уже в Сибири отряд поезда еще больше возрос за счет нескольких сотен казаков.

Приказано было нигде долго не задерживаться: «пронзить всю Сибирь молнией беспощадной кары». А потому к приходу поезда на какую-либо крамольную станцию местная охранка или военный прокурор уже должны были приготовлять для барона список подлежащих расстрелу.

Местами же отряд барона сам устраивал внезапные вылеты-облавы.

Жизнь офицерского состава протекала размеренно.

До десяти утра в салон-вагоне барон с офицерами пьют чай; в двенадцать — завтрак из трех блюд; продолжается он часа три. В шесть часов — обед из пяти блюд; длится он тоже три часа. Ну, а дальше — там уж каждый по своему усмотрению.

Впрочем, обед не служил для барона задержкой и помехою в его «служебной деятельности». Напротив!

Вот к нему, возглавляющему офицерское застолье, обращается некто Марцинкевич. Это — телеграфист поезда. Он просит разрешения барона доложить ему об одном арестованном. «Пожалуйста!» Оказывается, арестованный — тоже телеграфист одной из станций — отказался передать «высочайшую» телеграмму.

Барон, покуривая сигару и отхлебывая «Марго», благодушно роняет:

— Ну что ж? Так расстреляем его!

Но оказывается, это не все у Марцинкевича. Кстати сказать, у него особая специальность в карательном поезде: как только поезд останавливается на подозрительной станции, Марцинкевич в сопровождении охраны несется в телеграфное отделение, выхватывает у

телеграфиста все ленты и прочитывает их тут же. Если телеграфист — красный, если он подчинялся комитету, Марцинкевич немедленно приказывает взять его в поезд. Это означало расстрел...

— Так вы говорите: еще двое?.. Ну, трех расстреляем.

Марцинкевич почтительно отступает, удовлетворенный.

Его перед лицом барона сменяет офицер. Некто Ковалинский: им также арестованы двое.

— Ну что ж? Причислим и этих. Всё?

Нет, оказывается, не всё. Оказывается, есть еще один: захвачен в солдатской теплушке, переодетый в солдатское. Агитатор. Большевик РСДРП.

Барон все так же благодушно соизволяет, отхлебывая «Марго»:

— Чудесно! Значит, сегодня же вечером — всех семерых!

Его учтиво поправляют:

— Шестерых, ваше превосходительство.

— Ну, шестерых так шестерых!

И, огрузневший, встает и удаляется: на отдых.

А в салон-вагоне закипает чуть ли не ссора между двумя лейб-гвардейцами. Тарановский начал делать расчет: сколько человек надо назначить сегодня ночью для производства расстрела этих шестерых? Князь Гагарин слушал-слушал его и наконец не выдержал — взорвался:

— Нет, позвольте, почему ж это так?! Ведь это обидно: и тогда из вашей бригады был наряд, и теперь — тоже?! За что ж вам, второй бригаде, такая... préférance?.. — Это он для большей язвительности — по-французски.

Они — друзья, князь Гагарин и Тарановский. Но сейчас дело дошло чуть не до дуэли. Их помирили. «Справедливость» была восстановлена: в ночном расстреле приняли участие офицеры и солдаты из обеих гвардейских бригад. Для поезда Меллера отбирали надежнейших офицеров и нижних чинов из всей третьей гвардейской дивизии.

В эту январскую ночь стояла лютая стужа. Не учли, что на морозе смазка ружей густеет, и оттого было много осечек. Да еще и расстрел производили при свете

фонаря: почти всех выведенных на расстрел приходилось потом добивать на снегу, в упор. Произошел перерасход патронов.

Досадуя по этому поводу, барон сказал:

— Впредь прошу вас, господа, даром патронов не тратить: стреляйте в затылок.

Исполнительность подчиненных превзошла все его ожидания. Доложили, что теперь количество патронов, расходуемых на расстрел, вдвое меньше, чем число расстреливаемых.

Меллер был приятно удивлен:

— Но, позвольте, господа, как же это возможно?

— А мы, ваше превосходительство, подбирали предварительно по росту, парами, ставили их тесно один другому в затылок, и тогда на двоих достаточно одного патрона...

...Вот в такой-то поезд, уже на обратном его пути, и должны были в феврале тысяча девятьсот шестого года забрать Шатрова.

Но, тайно предупрежденный из города, он успел ночью скрыться и свыше двух месяцев скитался в Тургайских степях, готовый, если уж ничего не останется больше, с помощью знакомых ему по его торговым делам друзей-казахов и старообрядцев Алтая бежать и дальше, за границу.

Обошлось. А вскоре военное положение в Западной Сибири было снято.

Когда же Арсений Шатров по возвращении был вызван на допрос к прокурору, уже не военному, то оный признал вполне достаточным его объяснения, что он, дескать, не бежал, а просто-напросто совершил длительную поездку в степи в связи с возникшим у него намерением заняться коневодством. В доказательство он предъявил прокурору несколько предварительных торговых соглашений его, Арсения Шатрова, с местными баями.

Поверил или нет прокурор его объяснениям в глубине своей судейской души, это осталось для Арсения Шатрова неизвестным.

Отпуская его, прокурор сказал:

— Я вам верю, господин Шатров. И дело ваше направлю на прекращение. Но прошу вас, для вашей же собственной пользы, для благополучия вашей семьи и

для преуспеяния в делах, помнить мой совет: оставьте эти общения. Вы меня понимаете. Ваш путь — не их путь! Вы — промышленник, человек дела, обладатель ценза, и, как мне довелось узнать в силу моих обязанностей, ценза довольно значительного... Что вас может связывать с *ними*?! Не играйте с огнем!..

Да! Десять лет тому назад, во времена карательной экспедиции барона Меллера, такая вот беседа, какая сейчас происходит в гостиной Шатровых, была бы подлинно игрою с огнем. Ее завершением был бы «столыпинский галстук»; в лучшем случае — каторга! Но это был девятьсот *шестнадцатый,* а не девятьсот шестой. Теперь и в городском Благородном собрании, за картами, частенько не щадили ни царя, ни царицу.

Намекали на измену Александры Федоровны и для наивной конспирации обозначали ее «гессенской мухой», изощряясь в остротах о вреде мух вообще, а этого вида в особенности. Открыто хвалили депутата Государственной думы Маклакова за его статью, где он рассуждал: можно ли вырвать руль у беспутного шофера на краю бездны или же это грозит гибелью?

Сейчас Арсений Тихонович первым поддержал разговор на опасные темы. Только легким взметом бровей указал Ольге Александровне проверить, нет ли в столовой прислуги.

Беседовали в «уголке под баобабом».

Молодежь веселилась, не обращая внимания на старших. Танцевали, пили кофе, ели мороженое, выбегали в сад; кто-то сзывал кататься на лодке.

Раиса отказалась. У нее были на то две особые причины. Одна была явной для нее, и сейчас она горько раскаивалась в том, что, собираясь из города в глушь, она оделась так невзыскательно и не по моде. Теперь вот приходится прятать ноги под кресло: туфли-то с тупыми носками и на простом низком каблуке!

А от другой причины, осознай бедная девочка причину эту ясно, явственно, она закрыла бы лицо руками: у нее попросту не хватило сил уйти отсюда, потому что и этот доктор с голубыми, страшными глазами — он тоже остался со старшими, не поехал на лодке.

Спокойно и многозначительно, впрочем без особого нажима, Арсений Тихонович сказал:

— Господа, я надеюсь... — Все его поняли. И тогда, уже не остерегаясь, он так ответил на слова Кошанского: — Что ж, к тому шло! Если Штюрмер — премьер, то Сазонов здесь неуместен. А жаль, жаль Сергея Дмитриевича: светлая голова!

И вдруг из угла дивана прогудел мощный, шумящий бас Панкратия Гавриловича Сычова:

— Чего тебе его жаль? Вот уж не ожидал от тебя, Арсений! Туда ему и дорога, этому вашему Сазонову. В этакое кровавое побоище нас втянул. Уж два года воюем, страшно сказать, против четырех держав! В сапоги кровь заливается!.. Английский подергунчик ваш Сазонов. Масон!

И тяжело закряхтел, сбрасывая послеобеденную дремоту и готовясь поспорить.

Шатров промолчал.

Зато лукаво и едко усмехнулся Кошанский. Они с Панкратием Сычовым знали друг друга лишь шапочно, встречались редко, но взаимно питали друг к другу плохо скрываемую вражду.

— Ну, это — известный пунктик ваш, уважаемый Панкратий Гаврилович. У вас все масоны. А может быть, даже *жидо*-масоны? А?

— Что вы меня исповедуете? Вы не духовный отец, а мой не последний конец!

— Я вас вовсе не исповедую. Мы просто беседуем с вами. Я вас не понимаю.

— Чего тут не понимать!

Умиротворяюще вмешался хозяин:

— Господа, господа!

А внутренне усмехнулся: еще недавно, при встрече в Благородном собрании, Панкратий тайно предостерег его: «И чего ты, Арсений, не понимаю, вверился так этому Кошанскому: юрисконсультом он у тебя. Во все свои дела его пущаешь. В доме, слыхать, как свой... Остерегайся сего горделивца: «злокозненнейший масон»!»

Тогда он, Шатров, только расхохотался от всей души и, приобняв великана, повел его ужинать в ресторан Собрания.

И вот опять он со своими «масонами»! И где же?

У него в доме, да еще на празднике его Ольги! Надо, надо гасить уже начинающуюся ссору.

Но Анатолий Витальевич Кошанский, быть может, под влиянием шампанского, сегодня что-то оказался задирист. Улыбка предвкушаемого уязвления змеилась на его красивом, гладко выбритом лице, под длинными, вислыми усами:

— Знаете, дорогой наш Панкратий Гаврилович, — это я опять о Сазонове — его деятельность оценивал весьма сходно с вами один наш знаменитый земляк...

И остановился.

Сычов с неприязненным, мрачноватым любопытством побудил его продолжать:

— Ну-ну, какой такой земляк?

— Распутин.

Мельник лениво-разочарованно протянул:

— А-а! Слыхали... Ну, так что он про Сазонова-то говорил?

— Надоел, говорит, мне этот Сазонов, надоел! Пора его убрать!

Сычов неожиданно рассмеялся — громко и весело. Сонливости его как не бывало. Озорным блеском сверкнули острые глаза из-под дремучих бровей.

— Молодец, ну, ей-богу, молодец, хотя и Распутин!

Кошанский был озадачен. Помолчав, он с ехидством в голосе сказал:

— Признаться, я не ожидал, что доставлю вам такое удовольствие, указав на столь почтенного вашего единомышленника по сему вопросу.

Старый мельник ничуть не обиделся:

— Вот именно, что *по сему вопросу*. А что? Лучше бы Распутина было послушать государю, чем этих ваших господ Сазоновых да Милюковых, которые государя императора на войну подсыкали! Что государю Григорий говорил: «Не воюй с Вильгельмом. Войны не надо. Не затевай кровопролития. Худо будет. Оба вы — хрестьянские государя над хрестьянскими народами!» Я другого чего не касаюсь в нем, а тут правильно рассуждал... Ефимович. А и не только он так считал. Были умные люди! Вот министр Петр Николаевич Дурново говорил: союз надо с Германией, а не война. Насчет Константинополя, насчет проливов — обо всем можно

было договориться ко взаимной выгоде. Германия в нас нуждается, мы — в Германии. У них монарх правит, и у нас — монарх. Или возьмем графа Витте: хотя и масон высших степеней, а то же самое говорил: союз с Германией. Не Германия нас в проливы, в Царьград не пускает, а завсегда — Англия. Испокон веку!

Спор закипал.

Тут не выдержал — вмешался Шатров.

— Ну, это, Панкратий Гаврилович, ты через край — насчет союза с Германией, прости меня за выражение! Какой может быть союз — союз всадника с лошадью? Им чернозем наш нужен, даровая рабочая сила, недра земли. Почему, скажи, пожалуйста, не понравилось нам, когда немцы договорились с Турцией железную дорогу строить Берлин — Багдад? Почему Россия решительный протест заявила, чтобы турки не смели главнокомандующим своей армии Лимана фон Сандерса ставить? Смотри, какой в Германии вой поднялся, когда мы торговые пошлины повысили, — уже тогда чуть до войны не дошло дело! А насчет Константинополя, проливов — не будь ты столь наивен. Уж если, друг, Германия утвердится на Босфоре, то для нас ворота в Средиземное море навеки будут захлопнуты. Замок на этих воротах не турецкий будет, а немецкой работы! Тогда никакого и Константинополя не будет, никакого тебе Царьграда!

— А что же будет? Куда они денутся?

— Никуда. А будет Константиненбург, Кайзербург.

— Ну, ты уж тоже, Арсений... загнул!

— Ничего не загнул. А ты прочитай книгу Трейчке: мы, то есть Россия, да и все славянство, это для них, дескать, только удобрение, компост для будущей германской культуры. А ты — союз!

Здесь еще один голос, отрочески-взволнованный, беззаветно убежденный, вмешался в их спор:

— Да как с ними можно не воевать, когда они проповедуют: «Дойтчланд, Дойтчланд юбер аллес!» (Германия, Германия превыше всего!)

То был Володя. Он тоже не ушел с молодежью, а тихонько притаился у плеча старшего брата и жадно слушал беседу.

Рассмеялись. И словно бы впервые заметили, что он тут.

Отец проворчал — не сердито:

— Ишь ты, политик! Сколько раз я говорил тебе, Владимир, нельзя вмешиваться в беседу старших! — И для гостей, как бы в извинение сына, добавил: — Мы его зовем: «начальник штаба верховного». О! Он вам объяснит стратегическое положение на всех фронтах: и что под Верденом, и на Сомме, и на Рижском.

При этом последнем слове Володя поморщился. Отец понял почему и, улыбнувшись, сказал:

— Ну, вот видите: Рижский фронт вызывает у моего начальника штаба судорогу!

На это Володя не мог не ответить:

— Зато турков гоним вовсю! Эрзерум — наш, Трапезунд — наш. К Багдаду идем. А Брусилов? — Голос у него радостно взвизгнул.

Тут Сычов поощрительно и серьезно спросил его:

— Ну, а сколько вы с Брусиловым пленных взяли?

«Начальник штаба верховного» ответил бойко, без запинки:

— С четвертого июня двести шестьдесят шесть тысяч пленных, двести пятьдесят орудий, свыше семисот пулеметов.

— Это вы молодцы, молодцы!

— Эх, если бы Болгария была сейчас с нами!

Отец, зная, что чем дальше, тем труднее отстранить его от беседы взрослых, снова ласково попытался было это сделать. Но в это самое время Анатолий Витальевич Кошанский, сурово и насмешливо подмигнув мальчугану, произнес веско, раздельно и таинственно:

— Сами виноваты. Это наш кабинет оттолкнул Болгарию. Вернее, министерство наше иностранных дел: злополучная эта нота третьего мая тысяча девятьсот тринадцатого года!

И остановился, наслаждаясь эффектом своей осведомленности. Озадачен был не только Володя, а и Сычов, и Арсений Тихонович, и Никита, и все время молчавший, будто его тут и не было, волостной писарь Кедров.

Наконец хозяин протяжно, раздумчиво проговорил:

— Любопытно, любопытно... Никогда я, признаться, не думал, что так дело обстояло.

— А между тем, господа, это — исторический факт. Я специально занимался этим вопросом.

Кстати сказать, эта последняя фраза частенько излетала из уст Кошанского.

— Специально занимался... И тогда же еще, то есть в мае тысяча девятьсот тринадцатого года, Фердинанд — царь болгарский — сказал: «Месть моя будет ужасна!»

Арсений Тихонович горестно усмехнулся:

— Вот то-то и оно-то, что Фердинанд! И как это было нам допустить немецкого принца на престол славянской страны? И страны, нашей же кровью освобожденной от турецкого ига!

Кошанский развел руками. Не согласился:

— А что ж было делать в ту пору? Не со всей же Европой начинать было войну из-за этого Фердинанда! А ранее этого, как вам известно, герцога Баттенбергского немцы воткнули, и опять же Россия-матушка смолчала. Сил не было. Ситуация! И все-таки, я повторяю, кабинет наш (Кошанский из осторожности избегал слова «правительство»), кабинет наш сам виноват в разрыве.

Тут вскинулся угрюмо посапывавший Сычов. Хитренько посмотрел на Кошанского, словно предвкушая, как вечный его вражок попадется в поставленный на него капкан:

— То есть позвольте, позвольте: кабинет, вы говорите, кабинет, а кто же именно? Кто у нас в девятьсот тринадцатом министром-то был иностранных дел?

Анатолий Витальевич понял, куда он гнет, но уклониться от ответа уже нельзя было. С неохотой сказал:

— Ну кто — знаете сами что Сазонов.

Сычов злорадно захохотал:

— Ага! Сами себя бьете, дражайший Анатолий Витальевич: выходит, по вашему рассказу, что все тот же ваш Сазонов-господин напортил. И вот вам — Распутин: «Надоел мне этот Сазонов, надоел!» Выходит, правильно говорил тобольский наш мужичок?

Кошанский только плечами пожал.

А торжествующий противник его поднялся во весь свой огромный рост и, тряся бородищей и кому-то угрожающе помавая перстом, домолвил:

— Для вас, господа, Сазонов — светлая голова, патриот России, дипломат гениальный и прочая, и прочая... А я бы на месте государя — да простится мне дерзкое

слово! — исправником и то бы поостерегся его назначить! И знаете почему? А я знаю!

Кошанский дрогнул усом; это означало у него усмешку:

— Не откажите поделиться с нами своею тайною.

— А тайна тут невелика. Масон ваш Сазонов, старый масон, и высоких посвящений! Нужна ему Россия! Нужен ему крест на Святой Софии! Станет он радеть государю императору! Ему что великий мастер прикажет, то он и сделает!

— Ну, знаете ли, Панкратий Гаврилович, я — юрист, не психиатр, не мое дело ставить диагнозы, но за ваш диагноз я, право, поручился бы: у вас определенно — мания... мания масоника!

Спор переходил в ссору.

Шатров счел нужным вмешаться.

— Господа, господа! — Он встал между ними и приобнял обоих. — Да полноте вам! Люблю вас обоих. Оба вы мне дороги. И — сегодня, в день моей Ольги, у меня в доме? Ну, помиритесь. И не надо камня за пазухой. Подайте друг другу руки. Распутин... Масоны... Бог с ними!

Нехотя, уступая хозяину, Сычов и Кошанский протянули друг другу руки.

И вдруг в это время послышалось:

— Папа, а граф Распутин — хороший человек?

— Что-о?

Смеялись до слез. Даже молчаливый Кедров откинул голову на спинку кресла, снял очки и звонкими взрывами хохотал, закрывая лицо рукой.

На басах погромыхивал бородач. Смеялся сухим своим смехом Башкин. У Кошанского в больших темных глазах заискрилась озорная шутка. Но он сдержался, учитывая возраст Володи. И только сказал:

— Вот, вот, отрок: граф Распутин! Только подымай, брат, повыше...

Наконец Арсению Тихоновичу жалко сделалось сына:

— Да откуда ты взял, дурашка, что — граф?

— Ну а как же? В газете я прочитал: «Гр. Распутин». А в книгах это сокращение — «гры» — значит граф.

— Ах вот как ты рассудил? Нет, сынок, на сей раз «гры» означает — Григорий... И вот что, Володенька:

пойди в сад и поищи маму. Она пошла с Аполлинарией Федотовной показать ей оранжерею.

— Позвать ее?

— Нет, нет... Пойди, пойди, голубчик!

По усыпанной знойным белым песком дорожке Ольга Александровна и Сычова медленно шли к теплице. Хозяйка слегка, бережненько, чтобы гостья не обиделась чего доброго, придерживала ее под локоток.

Старая мельничиха лукаво блеснула на нее оком:

— Теперь поддерживаешь! А сама накормила так, что сейчас бы только на боковую да и всхрапнуть часок где в прохладце!

Хозяйка обеспокоилась:

— А я-то не догадалась вам предложить! Сейчас же велю привязать гамак. Вон там, над самым Тоболом. Там всегда ветерок.

Гостья отмахнулась:

— Да полно тебе! Я это так: к слову пришлось! А я кремлевого лесу сосна! Хоть и толста, толста, а дюжить долго могу. А вот на скамеечке посидим, под топóлею. — Она произнесла эти слова, уже усаживаясь в тени, под большим, шелестящим листвою серебристым тополем. — Да уж, красавица моя, — да садись ты рядком, поговорим ладком! — долго будут гостеньки твои вспоминать этот денек, Ольги Тобольныя! В похвалу говорю. Других этим не очень-то балую. А ты — настоящая хозяюшка: гостям приветница. Ножки — с подходом, ручки — с подносом, сахарны уста — с приговором! И как ты только управилась?

— Да будет вам, Аполлинария Федотовна: загоржусь! Или у меня помощниц нет? И повара из Общественного собрания пригласили, и Дорофеевну привезли. Не считая моих, здешних. Так что...

Дорофеевной звали известную по всей округе дебелую, пожилую повариху, особенно прославляемую по части всевозможной сдобы: куличей, баб, тортов, вафель, хворостов, медового татарского пирога и многого, многого другого. Но отвечала и за повара!

В предвидении свадьбы, именин, крестин или иного какого семейного торжества Дорофеевну зáдолго пре-

дупреждали, договаривались, выдавали задаток: а то и не допросишься, не дождешься. У нее бывал список домов, где ее ждут, за месяц, за два вперед. Как всякая знаменитость, старуха немножечко привередничала. Две слабости были у нее: хороший кагор и тройка с колокольцами. Кто хотел залучить ее непременно — тот подавал за нею тройку. А еще лучше, если сам приезжал. Соглашалась и на паре, но уж не столь охотно. А на одной — так только сверкнет глазами: «Поезжайте. Сама найму!» Как только она появлялась в доме, обычно за несколько дней до торжества, то учреждалась полная ее диктатура: и хозяйка, и вся прислуга должны были выполнять все ее требования. Чуть что — прощайте! Обычных стряпух, кухарок, горничных заганивала. Молились, чтобы поскорее отъехала. Но зато и мастерица была, чудодейка была в тестяном делании!

...В знойном разморе, в послеобеденной изнеге гостья долго безмолвствовала. Но Ольга Александровна еще в доме догадывалась, что под видом прогулки и осмотра теплицы Сычова задумала какой-то особый и тайный разговор. Так оно и вышло:

— Ну, ино, хозяюшка, не пойдем уж никуда. Больно ты хоро́шо место присмотрела. А побеседовать и здесь можно. — Помолчала и начала со вздохом: — Ох-ох-ох! Недаром говорится: себя пропитать да детей воспитать! Поздновато мы с Панкрашей себе дитятко единственное вымолили. Тогда-то, пятнадцать годов назад, казалось вроде и ничего, а теперь вот и подумывай: мы уж с ним старики, а она, деточка наша, только-только в наливе!

Дальше — неторопливый рассказ о том, как «ветру венуть не давали» на доченьку и она и Панкратий; как заморышком, хворышком росла лет до тринадцати, а потом, на четырнадцатом годочке, как взялась, как взялась, ну что тебе твоя квашонка сдобная, да на добрых дрожжах! Была девчонка, ну просто козявочка, а тут, глядим, подрастать, подрастать стала, выхорашиваться... Кровь с молоком, храни ее Христос!

Ольга Александровна улыбнулась:

— Да, она у вас, действительно, как пион. Или, скорее, алая роза. Красивая девочка.

Аполлинария Федотовна вздохнула:

— Алеет, пока молодеет! — И тотчас же — опасливое, непременное, от сглаза, от урока, материнское: — Храни ее Христос!

Ольга Александровна и еще похвалила Веру:

— И видно, что умница, воспитанная, скромная.

Сычова так и прыснула в горстку:

— Веруха-то? Да полноте вам! Уж такая сорвиголова, такая сорвиголова, не приведи господь. Разбойник девка. Гадано, видно, на мальчонку, а поворочено на девчонку. Уж я от вас, Ольга Александровна, никакой про нее правды не скрою, хотя и родная мне дочь.

Слова ее звучали что-то слишком торжественно, а когда она добавила: «Чтобы на нас после — ведь на все воля господня! — попреков не было», — Ольге Александровне понятен стал и весь смысл этой уединенной беседы двух матерей. Это было самое настоящее сватовство, по всей старинной манере, только присватывалась не мать жениха, а мать невесты.

Затаив улыбку, Шатрова слушала гостью.

— Избаловали мы ее. Иной раз скажу Панкратию: «Отец, сыми ты с себя ремешок!» Ну, где там! А у меня рука не подымается на нее. Нет, видно, правду сказано: учи, когда поперек лавки лежит, не когда — вдоль!

Тут Ольга Александровна сочла нужным оспорить эти домостроевские воздыхания насчет Верухи:

— Да что такого может сделать она, ваша Верочка, чтобы и ремешок! Дитя.

— Ох, не говорите!

И придвинулась поближе, и зашептала:

— Ни воды, ни огня не страшится. На неоседлану лошадь сядет. Однова́ на корове верхом проехалась! С мальчишками дерется! Страшатся! И только у нее забавы: конь да волосипед. Моду завела, стыдно сказать доброму человеку: в сини, в широки шаровары обрядилась. «Мне так, мама, удобнее на волосипед садиться!» Для конской езды дамско седло ей купили, дорогущее, — *сам* покупал — ну где там! Пришлось продать. Вот она какая у нас «воспитанная»!

И откинулась, и смотрела испытующе на «сватью»: какое у той впечатление от ее страшных рассказов? Ольга Александровна по-прежнему внимала ей благожелательно и спокойно.

Тогда у нее отлегло от сердца, и старая мельничиха смелей приступила к самому главному:

— Правда, иной раз сержусь, сержусь на нее да и вспомню: молоденька-то и я така же была! — И с добродушной лукавинкой глянула на хозяйку. — Вот я и думаю: в доброе гнездо попадет, в хорошу семью — добрая женушка кому-то станет. Свекор-батюшка, свекровь-матушка доучат, чему отец-мать не доучили. Да! — И уж материнская слеза слышалась в ее голосе: — Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай! Ну, тут бы хоть не в чужие! Я ведь о чем мечтаю, милая ты моя Ольга Александровна: как бы нам деток наших — Сережу вашего да Верочку нашу — поженить. И у нас, слава богу, достаток немалый. Сами знаете. С собой в могилу не унесем. Не бесприданница! Не посмейтеся надо мной, старухой. Иная, конечно, застыдилась бы сама начинать: как, мол, это я свою дочку буду навязывать, сватов не дожидаясь! А вы меня знаете: прямоту мою, прямизну. И я вам, как на духу, откроюсь: что нету вашей, шатровской, семьи лучше и для нас милее! Умерла бы спокойно!

Шатрова была растрогана. Однако всего уместнее показалось ей ответить на это необычное сватовство безобидной шуткой:

— Верочка да Сережа — вот и сойдутся две сорвиголовы!

На это Аполлинария Федотовна успокоила ее самым серьезным образом:

— Ничего! Бог даст, и она подрастет, и Сереженька ваш свое, молодецкое, отгуляет.

И вдруг испуганно ойкнула, привстала, как бы порываясь бежать:

— Ой, да смотрите вы, смотрите, где она: на дереве, на ветке сидит... Да и чей-то парень качает ее.

И впрямь: на широкой, гнуткой ветви старой ветлы, на высоте — рукою достать, верхом сидела Верочка Сычова, а внизу стоял Костя и, дергая снизу за привязанный к ветви ремешок, раскачивал ее.

Доносился звонкий смех Верухи, и слышалась ее команда:

— Сильнее! Еще, еще! Не бойтесь — не упаду!

Сычова в изнеможении испуга опустилась на скамью, приложив руку к грудям.

— Ох, нет силы самой побежать. Сердце зашлось. Ольга Александровна, матушка!

К ним бесшумным, «бойскаутским» шагом выскочил из-под берега Володя.

— А я вас искал, мама. Сказали, вы в теплице.

Сычова взмолилась к нему:

— Володенька, светик, сбегай ты к ним! — Она указала перстом на Верочку и на Костю: — Скажи, чтобы сейчас же, сейчас же слезала: убьется ведь!

И притопнула гневно ногой.

Володя не преминул успокоить ее:

— Ветла крепкая!

Однако помчался исполнять приказание.

Успокоенная, но все еще не отрывая глаз, Сычова спросила Ольгу Александровну:

— А этот — кто? Паренек-то в белой рубашке... что качает ее? Мы ровно бы его на плотине у вас видели, как проезжали.

— Не бойтесь. Это — наш. Костенька Ермаков... Володин дружок, хотя и постарше его будет года на три... Хороший паренек. Он у нас в доме — как свой.

— Да кто он будет?

— Работает у нас... как плотинный мастер.

— Вон оно что! — В голосе Сычихи прозвучало неодобрение. Поджала губы. Помолчав, сказала: — Ну, со всяким-то, со всяким якшается! Все-то ей друзья да приятели. Бывало, родительски попеняю ей: Верочка, говорю, добры дела твори, милостыню подавай, тут моего запрету нет, дак ведь и помнить надо, деточка, чья ты есть дочь, какова отца!.. Разбирать же надо людей от людей! Ты его по бедности пожалела, а он уж думает: ты ему ровня. Он уж и за ручку с тобой норовит поздороваться. Ты его у порожка посадишь, а он уж и под образа лезет. Народ-то ведь ныне какой пошел, доченька! Ну, где там: в одно ухо впускает — в друго выпускает. Беда мне с ней, Ольга Александровна, ох-ох!

Тем временем «начальник штаба», придав своему лицу должное выражение, приблизился, замедляя шаг, к роковой ветле.

Вера помахала ему рукой и весело прокричала:

— Володя, Володенька! Вот хорошо-то, залезай скорей сюда — выдержит!

И она уже готова была потесниться.

Но он строго покачал головой и сказал:

— Мама ваша велела вам слезать. Ветка может обломиться!

Вера нахмурилась и сердитым, вызывающим голосом кинула ему в отместку:

— А почему у вас, у Шатровых, качелей нет?

Володя мгновение не знал, что ответить. В самом деле, почему? И вот как будто даже и достоинство дома Шатровых страдает: гостья же осудила, заметила!

К счастью, нашел ответ:

— Почему, почему! Зачем нам качели? У нас уже все взрослые!

— У вас так получается, уважаемый Панкратий Гаврилович, что Распутин — прямо-таки благодетель державы Российской: он и Сазонова-масона велел убрать, он и до войны не допускал!

— Лжетолкуете, лжетолкуете, досточтимый Анатолий Витальевич! Я только то хотел сказать, что нынешняя наша война с Германией ни на черта нам была не нужна. Да-с! И вы сами знаете, надеюсь, что́ нашему правительству надлежало делать: неукоснительно надо было хутора, отруба насаждать. Крепкого хозяина множить. Крестьян землицей побаловать: через Земельный банк, за божескую цену, в долгосрочный кредит. Не стали бы и усадьбы громить. Столыпин, Петр Аркадьевич, он знал, что делал: вот я, к примеру, крупный земельный собственник, а вокруг моего большого гнездовья — как все равно охранная гвардия раскинулась бы: собственнички помельче, хуторяне, отрубники. Пойди тогда, подступись ко мне! Ну?!

Он ожидал возражений Кошанского. Но тот с любезно-поощрительной улыбочкой попросил его продолжать:

— Продолжайте, продолжайте, Панкратий Гаврилович. Существенного на этот раз ничего не имею возразить.

— И продолжаю! — Сычов стал похож на поднятого из берлоги медведя. — Промышленность наша предвоенная — что скажете? Вот здесь — наш Петр Аркадьевич Башкин, он не даст мне соврать: ежегодный бюд-

жет наш перед этой несчастной войной — это ведь миллиарды рублей. Золотых рублей, батенька!

На этот раз, дрогнув усом, Кошанский перенял слово:

— Всем известные вещи рассказываете, уважаемый Панкратий Гаврилович! Я и не думаю отрицать мощь и богатство богоспасаемой нашей империи накануне сей воистину несчастной войны. И я, в силу моего призвания и взятых на себя обязанностей... — тут он слегка наклонил голову в сторону Шатрова, — тоже неплохо ознакомился с делами промышленности нашей. Но сейчас не о том речь. Я вижу, Столыпин у вас — «иже во святых». Так вот, позвольте сказать вам, что не только Сазонов, а и он в свое время больно ушибся о вашего тюменского мужичка.

— Знаю. Ну и что?

— Прекрасно! Вероятно, знаете и то, что и убийство Столыпина в Киеве не обошлось без ведома Распутина?

— Да что вы ко мне с ним пристаете! Что я — Распутина взялся защищать, что ли?

— Может быть, я ослышался?

— Оставьте вашу иронию! И при чем тут Распутин, когда убийца Столыпина — террорист Богров!

Тут вставил свое тихое слово доселе молчавший Кедров:

— Богров был сотрудник охранки. Это же известно. Ему как своему агенту полковник Кулябко и пропуск выдал в театр.

Сычов в грозном недоумении к нему оборотился: господи, и *этот* еще в политику, волостной писарек! Это Арсений все виноват, на равную ногу себя с ним поставил. Видно, забыть не может, что сам когда-то из волостных писарей поднялся! Жаль, что не у меня в доме, а то я показал бы сверчку, где его шесток!

И, ощерившись, со злобной ехидцей, он бросил Кедрову:

— Видать, господин Кедров, вы газетку Гессена — Милюкова почитываете, видать!

Неожиданно для него ответил ему на это Шатров, ответил с явным неудовольствием на гостя:

— Ну что ж такого, Панкратий Гаврилович: газета правительством разрешенная. И мы с тобою почитываем.

Сычов несколько растерялся: с этого боку он уж никак не ожидал нападения. Не только ссоры, а и размолвки с Шатровым он всегда избегал: накладно, большой ущерб можно понести в делах, если с Арсением станешь не в ладах!

Однако слегка огрызнулся и на Шатрова:

— Знаю, что разрешенная, а и зря попустительствуют. А насчет Столыпина я лишь одно хотел добавить: помните, как в Думе он сказал однажды: дайте, дескать, России десять лет покоя — и это будет рай земной.

Кедров жестко усмехнулся:

— Вот, вот, земной рай. А в раю — как в раю: райские висят плоды — восемь тысяч повешенных!

Беседою вновь завладел Кошанский. Еще бы! Поверенному Шатрова было о чем рассказать! В апреле этого года он вновь посетил столицу — «полюбоваться старухой Кшесинской в «Жизели» (так назывались в шутку командировки его в Петроград) — и вывез оттуда множество слухов о Распутине.

На сей раз поездка была и впрямь нужна: снова, и сильно, зашевелились враги речных мельников; их поверенный — адвокат Рогожкин — уж две недели как жил в Петрограде.

Пришлось двинуть Кошанского.

Изыскивая пути и подходы в министерстве, Анатолий Витальевич познакомился в доме своих петроградских друзей со старой, уже отставной, фрейлиной. Кошанский поведал ей тяжбу Шатрова. Она сказала, что может помочь ему. «Любопытно, каким же образом?» — «Я напишу вам записочку к Симановичу, это секретарь Григория Ефимовича». — «Какого такого Григория Ефимовича?» — «Боже мой! Вы, человек общества, прекрасный и опытный юрист, и не знаете?» Тогда Кошанский вспомнил, конечно, что это не кто иной, как Распутин. Из рассказа фрейлины он узнал, что на Гороховой, шестьдесят четыре, ежедневно между десятью и часом дня у Распутина — многолюдный прием посетителей. Бывает человек до двухсот. Среди них — и генералы, и купцы, и промышленники, и знатные дамы, и выселяемые в Сибирь немцы, вернее, люди с

немецкими фамилиями. Можно заранее записаться на прием. Она, фрейлина, может устроить это.

Кошанский сознался, что у него было страшное искушение принять услуги старой фрейлины и побывать на приеме у старца.

— И что же, так и не побывали?

— Увы, так и не побывал! Взяли меня сомнения: а как взглянет на сие мой досточтимый патрон, Арсений Тихонович? Ведь все ж таки не очень... прям путь. И хорошо, оказывается, сделал, что воздержался. Когда я прибыл сюда, к пославшему мя, на Тобол, и поведал ему все, бывшее со мною в Питере, то есть, je vous demande pardon[1], в *Петрограде*, а в том числе и о своем несостоявшемся искушении — намерении похлопотать о нашем деле через старца, то услышал суровый ответ, что он, Арсений Тихонович Шатров, не только лишил бы меня за это своей доверенности, но и руки бы мне не подал! Так и не посетил. А много, много интересного порассказали. Феномен, феномен!

Да! Это был поистине феномен. Еще долго будут всматриваться исследователи в эту чудовищную фигуру, в непостижимую судьбу этого простого тюменского мужика, будто бы даже битого не раз конокрада, распутного и полуграмотного, да еще и тупого на грамоту. Сперва яростный друг Распутина, а после враг лютый, расстрига-монах Илиодор вспоминает: «Гришка собирался быть священником. Я учил его ектиниям. Но он настолько глуп, дурак, что мог только осилить первое прошение: «Миром Господу помолимся», а второго прошения уже не мог заучить, а также и возгласы. Я с ним три дня возился и бросил...»

Глуп, туп, дурак. Хорошо, но ведь это же неопровержимая правда истории, что перед этим тупицею, не умевшим заучить даже и первой ектинии, царь-самодержец, чей выспренне-горделивый титул захватывал добрую половину манифестов; монарх обширнейшей в мире империи, тот, кто полагал себя наследником кесарей византийских, обладатель «шапки Мономаха», — стоял же он на коленях перед этим распутным тупицею

---

[1] Прошу извинения (*франц.*).

и конокрадом, целуя ему руку и принимая от него благословение!

И она, именовавшаяся императрицей всея Руси, мать пятерых детей, до замужества англо-немецкая принцесса, любимая внучка королевы Виктории и в отрочестве ее личный секретарь, воспитывавшаяся в Англии и получившая там обширное образование, — лобызала же она коленопреклоненно, в присутствии супруга, лапищу этого заведомого блудника, неопрятного сорокалетнего проходимца, с ногтями в черной каемке грязи, в наряде гитариста из цыганского хора!

Из осторожности, касаясь всего этого лишь полунамеками и недомолвками, ибо прекрасно знал, что и любой из присутствующих уж вволю успел наслышаться про все это, тщательно избегая слов «царь», «царица», а прибегая к местоимениям «он» и «она», Анатолий Витальевич в заключение воскликнул:

— Нет, как хотите, господа, но это уму непостижимо!.. И ко всему, она же еще и доктор философии.

Он остановился и оглядел всех. Молчание недоверия польстило ему и подзадорило:

— Да, да! Можете не сомневаться: я специально занимался этим вопросом.

Отозвался Никита:

— Что ж, возможно: она же и английская и немецкая принцесса. Там это принято: почетный докторский диплом — «гонорис кауза».

Кошанскому это замечание его было неприятно. Он с выражением высокомерной обиды взметнул бровью, слегка подергал свой вислый панский ус.

Однако ответ его Никите был прост и сдержан:

— Не знаю. Об этом судить не могу. Гонорис кауза, или иначе как... Я в данном случае, может быть по своей привычке юриста, оставляю за собой право посчитаться с документом... Однако это всё — частности. Всё в целом, всё в целом, говорю я, это нечто чудовищное, уму непостижимое!...

И впрямь чудовищное!

Вот «Грегорий» бахвалится: «Царь меня считает Христом. Царь, царица мне в ноги кланяются, на колени передо мной становятся, руки целуют. Я царицу на руках ношу. Давлю. Прижимаю. Целую...»

Хвалился и бóльшим!

В глаза он их называет: папа и мама. А за глаза именует царя и еще проще: папашка.

Уже во всем народе, чуть ли не на площадях, говорят, что Гришка — «лампадник царский», возжигает якобы лампады на женской половине дворца. От старейшей фрейлины двора — Тютчевой, женщины безукоризненной чести и воспитания, дочери поэта, исходят слухи, будто Распутин... купает царевен! И что же царь-отец? Покарал Тютчеву? Велел «урезать ей язык», как поступали в таких случаях его давние предки — и Михаил, и даже Тишайший — Алексей? Нет и нет: а спокойненько вызвал и пожурил, сказал, чтобы больше таких слухов не было.

А слухи все росли и росли!

Вопила в гневе и отчаянии и сотрясала трибуну, однако все еще покорствуя, Государственная дума. Но выпуски с речами депутатов выходили в свет с белыми пробелами-изъятиями.

Бдит цензура! И самое имя — Распутин — в газетах запрещается упоминать.

Казалось, чем больше старец гадит в корону государей российских, тем дороже и милее им становится!

Верховный главнокомандующий — великий князь Николай Николаевич на телеграмму Распутина, что он, дескать, хочет приехать на фронт «благословить армию», осмелился ему ответить телеграммой же: «Приезжай — велю повесить». С пеной бешенства на губах бегал по своему кабинету Распутин, останавливался, выпивал залпом стакан излюбленной своей мадеры и рычал своему секретарю Симановичу: «Ну, попляшет он у меня, каланча стоеросовая!» (великий князь был огромного роста.) И что же? Вскоре Николай Николаевич грубо смещается с поста верховного, и его, как заурядного генерала, перебрасывают на Кавказ. Так велела государю царица. А ей — Распутин. Он злорадствовал, глумился вслед Николаю Николаевичу: «Поехал о Кавказские горы пятки чесать!..»

Играл министрами. Симанович впоследствии вспоминал: «В последний год все министры назначались и увольнялись исключительно по моим и Распутина указаниям».

Царь в своем Царском Селе ждал у телефонной трубки, кого назовет Распутин на пост премьера. А жа-

лобщикам и обличителям старца говорил: «Григорий Ефимович — посланец бога. Его грехи я знаю. Это — грехи человека. Но на нем обитает благодать божия».

Чуть что, и разъяренный «Грегорий» грозился: «Расскажу это Любящему!» Еще и этой кличкой наградил бывший конокрад «государя всея Руси»!

Вот его подлинное письмо заартачившемуся Сазонову:

«Слушай, министр. Я послал к тебе одну бабу. Бог знает, что ты ей наговорил. Оставь это! Устрой, тогда все будет хорошо. Если нет, то набью тебе бока. Расскажу это Любящему, и ты полетишь. Распутин».

Тут все же видна «литературная правка» Симановича. А вот никем не правленная телеграмма Распутина из Покровского — Тобольской губернии — царю и царице:

«Миленькаи папа и мама! Вот бес то силу берет окаянный. А Дума ему служит; там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы божьего памазанека долой. И Гучков, господин, их прихвост, клевещет, смуту делает. Запросы. Папа, Дума твоя. Что хочешь то и делай. Какеи там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не какех запросов не надо. Григорий».

Отпетые международные проходимцы-марвихеры, спекулянты, валютчики и, наконец, заведомые шпионы окружали нечестивого старца: банкиры Манус и Митька Рубинштейн (Дмитрием заочно его никто не именовал), Симанович и князь Андроников.

Царь — верховный главнокомандующий — никаких стратегических тайн не смел утаить от своей супруги. А она — от Распутина.

Будучи верховным главнокомандующим по совместительству, царь неукоснительно сообщает своей супруге в Царское Село о дне и часе всех предстоящих наступлений русской армии и даже о том, где именно это наступление начнется.

«Моя Любимая!

В будущий вторник начнется наше второе наступление *там и выше, почти на всем протяжении фронта.* Если бы только у нас было достаточно снарядов для тяжелой артиллерии, я был бы совсем спокоен... А теперь нам приходится приостанавливать наступление

через неделю-две, чтобы пополнить наши запасы, и это делается слишком медленно вследствие недостатка топлива!

...С отчаяния можно прямо на стену полезть!»

В другом письме:

«Несколько дней тому назад мы с Алексеевым (начальником штаба верховного) решили *не наступать на севере*, но напрячь все усилия немного *южнее...*»

Да после таких писем из Ставки русского верховного главнокомандующего, хотя и с домашней, интимной подписью — «твой старый муженек Ники», надо ли было немецкому верховному командованию тратить средства еще на какой-то шпионаж? А содержание этих писем тотчас же становилось известно старцу. Правда, разбалтывая в письмах к жене величайшие стратегические тайны, император-главнокомандующий нет-нет да и спохватывается: «Но прошу тебя, никому об этом не говори, даже нашему Другу. Никто не должен об этом знать».

Даже! Ведь экая предусмотрительность!

И она ему обещает: «Спасибо за сведения о планах; конечно, я никому не стану рассказывать». Однако тут же и сознается, что Другу она все ж таки не могла не сказать, где и когда начнется наступление, ибо ведь надо же испросить у «Него» благословение на предстоящие стратегические операции! А молитвы Григория Ефимовича об успехах русской армии — это были, оказывается, особого рода молитвы: они, оказывается, были приноровлены прямо к месту, где должно было начаться наступление. Если старец заранее знал, что молитвы свои он должен направлять, к примеру, на участок фронта у города Ковеля, то и молитва могла возыметь свое наибольшее действие. А если не знал, тогда помощь его молитвы войскам была слабее.

И царица доходит до того, что прямо требует от мужа, чтобы он точно указал, *куда* именно и *когда* Распутин должен направлять свои молитвы. Восемнадцатого сентября тысяча девятьсот шестнадцатого года она пишет мужу в Ставку: «...Я всецело уповаю на милость Божию, только скажи мне *заранее, когда* предполагается наступление, чтобы Он мог *особо* помолиться — это имеет *огромное* значение...»

У царя — верховного главнокомандующего — были особо секретные маршруты: он вместе с Алексеевым выезжал туда, где намечалось очередное большое наступление. Расписание этих секретных маршрутов генерал Воейко́в привез из Ставки царице. И опять-таки от Распутина она и не думает их скрывать: «Он (приближенный флигель-адъютант) привез мне твои секретные маршруты (от Воейкова), и я никому ни слова об этом не скажу, *только нашему Другу,* чтобы *Он тебя всюду охранял*».

А когда однажды царь посмел обойти старца, не сообщить заранее, *где* и *куда,* то в ответ последовал от «старой женушки» (так иной раз подписывалась императрица) суровый нагоняй императору и верховному главнокомандующему русских армий:

«Он жалеет, я думаю, что это наступление начали, не спросясь Его: Он бы посоветовал подождать...»

Он, Его — неизменно и всегда — с большой буквы; так же заставила она писать и самого царя. И только в двух случаях эти личные местоимения пишутся с большой буквы: когда они относятся к господу богу или к Распутину.

В своем неистовом хлыстовском наитии царица верует, что и самая погода на фронте зависит от Распутина. Было так, что туманы помешали развернуть наступление. И что же? Царица сообщает супругу в Ставку: «Он (Распутин) сделал *выговор,* что ему этого не сказали тотчас же, — говорит, что туманы больше не будут мешать». Ее наперсница фрейлина Вырубова шлет ему телеграмму в Покровское, в Сибирь, от имени императрицы; и об этом, из письма жены, должен непременно знать император-главнокомандующий: «Она (Анна Вырубова) телеграфирует нашему Другу о погоде, и я надеюсь, что Бог пошлет солнечные дни на нашем фронте». Солнечные дни нужны для перехода в наступление.

Проходит двадцать дней, и Распутин из сибирского сельца переезжает в столицу: все ж таки из Сибири далеконько делать хорошую погоду на германском фронте, а Царское Село — поближе! И царица спешит обрадовать мужа: «Наконец дивная погода! Это наш Друг привез ее нам. Он сегодня приехал в город, и я жажду увидеть Его до нашего отъезда».

Вот тебе и «первой ектинии не смог выучить»!

Император — в Ставке, на фронте, а его царственная супруга не только не скрывает от него свои свидания с Распутиным, но и неукоснительно сообщает ему о них. Встречи происходят у Вырубовой, «в маленьком домике». Часами остается царица наедине с этим темным изувером, одержимым сатанинской, хлыстовской похотью.

В своих письмах к супругу она заботливо отмечает встречи, во время которых Друг был особенно ласков: «Вчера вечером, перед тем как идти в лазарет, я постаралась повидать нашего Друга в *маленьком домике*. Он был в прекрасном настроении, такой ласковый и благожелательный... Мне было отрадно видеть Его и потом перейти к нашим раненым прямо от Него».

А это был уже период, когда озлобленно-непристойнейшие рассказы о «царице-матушке с Григорием» наполняли окопы, и госпитали, и великосветские гостиные, и хвосты у пекарен и продовольственных лавок!

То-то бы обрадовались раненые, узнав, от кого сейчас государыня пожаловала прямо к ним!

Но сама-то она уверена, что если иному раненому становится легче от того, что она посидела у его койки, то это, дескать, заведомо потому, что она — императрица и медсестра — в это время думала о Распутине. Она так и пишет об этом мужу: «Я нахожу совершенно естественным, что больные чувствуют себя спокойнее и лучше в моем присутствии, потому что я всегда думаю о нашем Друге...»

Не образумливают ее даже чудовищно оскорбительные для нее как супруги, матери и царицы анонимные письма, которые она стала получать во множестве. Она признается в том мужу. И о том, что грязнейшие сплетни о ее отношениях со старцем уже захлестывают и Царское Село, она тоже знает. Казалось бы, как не ужаснуться, как не вспомнить, что «жены цезаря не смеет касаться и подозрение», — так нет же! И она считает возможным сообщить мужу следующее: «Мне бы хотелось повидаться с нашим Другом, но я никогда не приглашаю Его к нам в твое отсутствие, так как люди очень злоязычны. Они уверяют, будто Он получил назначение в Федоровский собор, что связано с

обязанностью зажигать все лампадки во всех комнатах дворца! *Понятно, что это значит,* но это так идиотски-глупо, что разумный человек может лишь расхохотаться. Так отношусь к этому и я...»

Восторженно спешит она сообщить своему супругу в его императорскую Ставку о многолюдных приемах Распутина на Гороховой, шестьдесят четыре; и Распутин, оказывается, «прекрасен»:

«Говорят, у Него побывала куча народа, и Он был *прекрасен*».

Царь — супруг и верховный главнокомандующий — услаждался в это время кинофильмами с участием Макса Линдера.

Все учащаются встречи.

Иной раз — она, а наичаще Распутин желает их. И воля его — закон:

«Аню видела только мельком. Наш Друг приходил туда, так как Он захотел меня повидать».

«Он был с нами в ее доме с десяти до одиннадцати с половиной».

«Видела Друга. Он кланяется тебе...»

«Гр. просил меня повидаться с ним завтра в маленьком домике, чтобы поговорить о старике». «Старик» — это не кто иной, как Штюрмер, восьмидесятидвухлетний, расслабленный, почти уж слабоумный и заштатный сановник, ярый германолюб, коего Распутину Симанович велел через царицу назначить председателем совета министров.

Она словно бы уверена, что ее венценосному супругу радостно читать об этих ее свиданиях «в маленьком домике»: не пропускает ни одного.

«Вечером я увижу нашего Друга».

«Дай, Боже, сил мне быть тебе помощницей и найти верные слова для передачи всего и для того, чтобы убедить тебя в том, что желательно для нашего Друга и для Бога!..»

Здесь «Бог» уже на втором месте после «Друга».

«Вчера вечером виделась с нашим дорогим Другом в маленьком домике».

«Наш Друг выразил желание видеть меня сегодня вечером в маленьком домике».

«Сегодня иду вечером повидаться с нашим Другом в маленьком домике».

И все крещендо, крещендо рвется из ее порабощенной души обоготворяющий Распутина вопль:

«...Будь властелином, слушайся своей стойкой женушки и нашего Друга, доверься *нам*!»

Как страшно, как знаменательно звучит это «нам»!

И опять, и опять:

«Вечером я повидаю нашего Друга».

Заклинает супруга императора все о том же, о том же:

«Только верь больше и крепче в нашего Друга (а не в Трепова)».

И вот уже как бы полное, абсолютное слияние себя с Распутиным: «я» и «Он» — одно.

«Слушайся *меня,* то есть *нашего Друга,* и верь *нам* во всем».

Кто же он был, этот поистине феномен последнего царствования? Ведь сказал же о нем один из послов великой европейской державы: «В России нет Синода, в России нет царя, нет правительства и Думы! В России только есть великий Распутин, являющийся неофициальным патриархом церкви и царем великой Империи».

...— Обкапает за чаем свой палец вареньем... рядом — княжна, дочь одного из великих князей, собачкой глядит ему в глаза... Повернется к ней: «Княгинюшка, унижься: оближи!..»

— И что же?

— С радостью повинуются. Другие прозелитки с завистью смотрят: возлюбил!.. В баню... — Но здесь Кошанский вовремя остановился, взглянул на Раису. — Словом, проповедь его такая: смиритесь, согрешайте, ибо, сознавая себя греховным, тем самым уничтожаете в себе гордыню...

Увлекшись рассказом своим о Распутине, Анатолий Витальевич почти и не заметил, что рядом с Раисой примостилась и его собственная дщерь, только-то вернувшаяся с катания на лодке. Но она тотчас же и напомнила о себе. Испустив нарочито томный, озорной вздох и как бы с протяжною изнегою в голосе, Кира прервала в этом месте рассказ своего родителя:

— Хоте-е-ла бы я познакомиться с этим обаятельным старцем!

Хотя и привыкший ко всем и всяческим экстравагантностям дочери, Кошанский на этот раз был смущен:

— Ки-и-ра!

Другие поспешили своими новыми вопросами замять ее выходку:

— Сколько же ему лет, этому старцу?

— Точно не помню, но когда он появился впервые при дворе, было ему что-то около тридцати.

— Хорош старец!

Тут вступил со своими пояснениями отец Василий:

— Видите ли, в чем дело, господа: это звание — старец — отнюдь не от возраста преклонного дается, хотя, конечно, в большинстве таковых случаев совпадает. «Старчество» издревле существует в скитах и при монастырях нашей православной церкви, — вспомните хотя бы старца Зосиму у Достоевского, в «Братьях Карамазовых»... Однако и некоторые секты, вплоть до изуверских, также имеют обычай «старчества»: это есть как бы духовный путь некий и учительство духовное...

Кто-то спросил о внешности Распутина.

Кошанский развел руками.

— Как я вам уже докладывал, я не имел счастья видеть сие феноменальное явление нашего русского мира... Но, как приходилось слышать, — всклокоченная бородища, волосы длинноваты, на прямой пробор... Глаза... как будто синие.

Доктор Шатров слегка покачал головой:

— Нет, это не совсем так. — Он сощурился, словно припоминая. — Я бы сказал: бледно-льняного цвета, то есть как цветочки льна. Только еще жиже, бледнее и с примесью зеленоватого.

Все обратились к нему. Кошанский даже отступил, актерски вскинув руки:

— Боже мой! Что я слышу? Так вы, значит, созерцали, Никита Арсеньевич, это отечественное чудо природы? Вот не знал! Да я тогда бы и не позволил себе столь долго занимать внимание нашего дорогого общества... Созерцали!.. Так, так... любопытно!

— Не только созерцал, но и провел в беседе с ним часов около двух.

Удивлен был и сам Шатров-старший:

— Никита, да ты, оказывается, молчальник! Право. Ни мне, ни матери — никогда ни звука!

Никита горько усмехнулся:

— Грустная материя, отец!

Матвей Матвеевич Кедров коротко рассмеялся:

— Вернее, гнусная.

Никита молча, наклоном головы, с ним согласился. И все же, несмотря на крайнюю его неохоту, его заставили-таки рассказать о его встрече с Григорием Распутиным.

Встреча эта произошла чрезвычайно просто. У Никиты, как завтрашнего молодого врача, а главное — как сына богатого сибирского промышленника, в Петрограде было немало знакомств и среди замкнутого аристократического круга. Однажды его настойчиво стали звать в некое семейство. Вдова и две взрослые дочери. Девушки, что называется, были на выданье, и, может быть, потому именно и зазывали в этот дом Никиту.

— ...Сидели, беседовали в гостиной. В столовой сервирован был чай. Казалось, кого-то еще ждут. Звонок. И вот уже в передней гудит чей-то голос. Хозяйка и старшая из дочерей бросились туда стремглав. Входит Распутин. Перекрестился на иконы. Сотворил краткую молитву. И: «Мир дому сему!» Широким крестом благословил всех троих. Мать сдержанно, но почтительно склонила голову. Он подошел сперва к ней. Обнял ее за плечи. Расцеловал троекратно — со щеки на щеку. Похлопал слегка по спине. И отстранил: «Ну, ладно, ладно».

Затем обратился к девушкам: «Ну, Марфа и Мария, подойдите, подойдите ко мне!» Старшая подошла. Младшая — нет. Он сверкнул глазами на нее: «Вижу, Марфа (это он евангельскими их прозвал именами: ее звали Наташей, а ту — Еленой), отворачиваешь рыло — да, да, так и сказал! — от божественного света, ну и не будет тебе радости! Ладно. В рай за волосы не тянут. Смотри. Абие». Это по-церковнославянски означает —

тотчас. Он, оказывается, любил это словечко вставлять и кстати и некстати. Тут, пожалуй, некстати... Ну, что же было дальше? Старшую он облобызал и обгладил. Я обратил внимание, что у него очень длинные и, по-видимому, очень цепкие руки. Кулаки — большие, со вздувшимися венами... Потом оборотился ко мне, и этак неприязненно, как бы с опаской: «А это хто?» Хозяйка дома смиренно ему: «Доктор молодой». — «Дура! Сам вижу, что молодой! А у тебя он зачем? Жених, что ли?» И, не дождавшись ответа, опять ко мне: «Ну, здравствуй!» Но руки не протянул. И вплотную не подошел. Я поклонился. И уже более смягченным голосом: «Здравствуй, здравствуй! Да благословит тебя господь! — И добавил: — Коли ты веруешь в его. А не веруешь — ноне ведь доктора шибко умны стали! — ино, мое благословение при мне останется. А ты — как знашь!» Он по-нашему, по-сибирски, произносит: «знашь, делашь»...

Затем быстро, очень быстро, этакой семенящей походкой, прошелся, почти пробежался по залу, что-то бормоча, похоже — из церковного. Я не разобрал что... Внешность? Одет как? — Никита Арсеньевич остановился, припоминая. — Ну, в поддевке, в бархатных шароварах, в сапоги заправленных. Сапоги — особенные, не деревенские, щегольские. Поддевка — прираспахнута; из-под нее — голубая, длинная, шелковая рубаха; пояс с кистями. На вид ему лет сорок — не больше.

И вот что еще бросилось мне в глаза, возможно потому, что я в свое время немалую дань отдал антропологии: несообразная с телом длина рук. Прямо-таки пещерный предок; ну, какой-нибудь там питекантроп. И чертовская сила хватки: беседуя, он схватил меня за плечо — это уж когда проникся ко мне расположением и осушил бутылку своей излюбленной мадеры, — так я думал, что сломает мне ключицу! Лицо у него обычное, крестьянское. У нас на мельнице много видишь таких лиц, особенно из старообрядцев. Взгляд — затаенный и вместе с тем нагло-пронзительный. Но — бегающий. Только временами вдруг нарочно уставится тебе в лицо: явно хочет сделать взгляд свой испытующим, пронзительным. Есть такие приемы — к ним любят прибегать гипнотизеры на провинциальных подмостках.

Повадка у него — как у подкрадистой собаки: хочет тебя укусить, подкрадывается, а у самой в то же время все тело изготовлено и для прыжка в сторону. И уж вовсе не глазищи у него, как мне рассказывали, а как раз напротив — глазки. Далеко запавшие в орбитах, да еще и под косматыми бровями. Изредка эти ничем не примечательные глазки нет-нет да и вспыхнут колючим, игольчатым светом. Да! Тогда жутко и неприятно делается под его взглядом. Я понимаю тех, кто... побаивался этих глаз. Ну, еще что? Нос — длинный, тонкий, сухой. Мне показалось, что старец косит. Глаза у него как-то слишком близко посажены. Лицо жесткое, похотливое... Я не понимаю их: тут не надо даже быть физиономистом! Да! И все-таки я снова о его глазах: вдруг с такой душевностью на тебя засмотрят, с такой лаской, простотой, пожалуй, даже простоватостью, что невольно подумаешь: да разве может этот человек творить такие мерзости и ужасы, как рассказывают про него! Особенный у него взгляд...

Сычов покивал головою и заметил:

— Недаром в народе говорится, что глаз глазу рознь: иной, говорят, посмотрит, так парное молоко — и то скиснет. А от другого глазу аж и холодные угли да как горячие зашипят! Вот, видно, у этого Григория такой глаз и есть.

Никита продолжал свой рассказ:

— Побегал, побегал и снова остановился передо мной: «Так ты, говоришь, доктор?» — «Да». — «А каки болезни можешь лечить? Тю! — Это он сам же себя и оборвал. — Лечить каждый берется. А каки болезни ты вылечиешь?» — «Психиатр, — отвечаю, — по душевным болезням». Только я произнес слово «психиатр», он, даже не дослушав, презрительно махнул рукой: «Это, значит, ты сумасшедших лечишь — зряшное занятие! Кто в сумасшедший дом попадет, он там и останется!» Но тут, по-видимому, дошло до его сознания и второе: «по душевным болезням»: «А вот, говоришь, душевные болезни лечишь — это иное дело! Тут пользу можешь принести человеку, изучай, изучай! — И вдруг лукаво рассмеялся: — А я вот, вишь, неученой, простой мужик сибирский, но в душевных болезнях я с вашими профессорами-докторами ишшо поспорю! А ну, ну, порасскажи, как ты их лечишь?» Но слушать другого ему

органически, по-видимому, чуждо: не дождавшись ответа, тут же стал хвастаться: «Слыхал, лечите вы усыплением, гипном... Вешшь хорошая! Я ведь — тоже. У меня вся царская семья чуть что — пользуется гипном. У меня его хватает на всех! Молитвой и гипном...»

Мы долго беседовали с ним. То есть говорил один он, а я слушал, наблюдал, изучал и время от времени успевал подбросить ему вопросы. Хозяйки безмолвствовали... Ну, вот и все, господа. Вся моя встреча с Распутиным!

Доктор Шатров первым поднялся со своего кресла. Кошанский попридержал его:

— Постойте, постойте, Ника! А чем же вы все-таки объясните нам это пагубное и для России и — что ж скрывать? — для династии влияние этого страшного человека? Вот вы его наблюдали долго, вдумывались в эту личность...

Никите явно был неприятен этот вопрос. Но, к его большому удовольствию, трое из его слушателей, один за другим, хотя и каждый по-своему, опередили его ответом.

Отец Василий, возводя очи горе́, проговорил взволнованно:

— Я, господа, пастырь, священник перед престолом всевышнего. Судите меня, как хотите, но я сие наваждение объясняю просто: попущение господне над Россиею, а он, Распутин, сей якобы простец обличием, по существу есть антихрист.

Кошанский пошутил:

— Полноте, отец Василий! Гришка Распутин — антихрист? Много чести: разве что *кучер* антихриста!

Вторым прогудел Сычов:

— А я отнюдь не просто объясняю: почему, скажите мне, господа, масоны на своем Брюссельском конгрессе столь сильно интересовались Распутиным?

Кошанский только потряс головой и с тихим смехом отвернулся: безнадежен, мол!

Третьим отозвался Кедров:

— А я, господа, быть может, проще всех смотрю на все, что там, в Царском и в Питере, происходит: рыба с головы тухнет!

За послеобеденным чаем собрались одни только старшие: остальных, даже Раису и Никиту, уговорил-таки поехать на лодке Сергей. Лесничиху с ними не отпустил муж.

Все еще под хмельком, юнец был настойчив:

— Ну поедемте с нами, Елена Федоровна! Ну что вы тут будете делать? Такой зной, а там, на Тоболе, э-эх! Мы плаваем всегда до бора, до большой излучины. Ваш ведь бор! А от воды такой прохладой веет! Опустишь руку в воду, поплещешь, побулькаешь, умоешь лицо — и все равно что искупался! А камыши... а река... Эх, почему я не Гоголь! Чуден Тобол при тихой погоде! Поедемте, Елена Федоровна. Я дам вам руль...

Лесничиха заалелась. Пожала плечами. Оглянулась на мужа — с какой-то жалостной, полудетской улыбкой.

— Поедем, Сеня?

Семен Андреевич передернул кончиком сухого, казачьего носа, засмотрел в сторону — преувеличенно равнодушно:

— *Тебя* приглашает... молодой человек — ты и решай!

Все было ясно:

— Нет уж, Сережа, мы не поедем. Покатайтесь одни. Вас и так много.

— Вы что — боитесь, что наша лодка не выдержит? Да она двадцать пять человек поднимает.

Брата поддержал Володя:

— Вы знаете, какое у нее водоизмещение?

— Нет, нет, поезжайте. Спасибо.

И отошла.

Сергей скрежетнул зубами. И, явно для лесничего, с презрением бросил:

— Домострой чертов... И это в наш век!

Стремительно повернулся и с дробным грохотом каблуков сбежал по ступеням веранды.

Лесничий беззвучно смеялся ему вслед. Ехидствовал.

Все уже сидели за чайным столом, как вдруг из прихожей, звяца́я шпорами, подкручивая одной рукой и без того в ниточку пряденный ус, а другой слегка придерживая шашку, выпячивая в белоснежном кителе

грудь, осанисто вступил в столовую становой пристав Иван Иванович Пучеглазов.

По лицу хозяина прошла легкая, мгновенная гримаса: словно бы уксусу нечаянно отведал.

Однако с непременным возгласом радушия и гостеприимства: «О! Дорогой наш Иван Иванович!» — Шатров поднялся из-за стола, приветствуя гостя.

Становой зычно приветствовал всех:

— Здравия желаю, господа! Мир честной компании. Душевно приветствую дорогую именинницу! Арсению Тихоновичу! — Он приложил руку к сердцу.

Затем галантно, с замашками старого вояки, подошел к ручке именинницы, расправив усы, приложился, звякнул шпорами.

Долго тряс руку Шатрову, обеими руками. Смотрел на него увлажненным оком.

Когда же уселся, и выпил заздравную стопку шустовского коньяку, и стал закусывать, Арсений Тихонович спросил его с хозяйской радушной укоризной:

— Что ж вы на этот раз с запозданием, дорогой Иван Иванович? А я вас даже и встретить не вышел: привык, знаете, что ваши певучие, валдайские, за версту о вашем прибытии звоном весть подают. А сегодня — без колокольчиков.

Прожевав кусок семги с лимоном, пройдясь по усам блистающей белизною салфеткой и крякнув, становой пристав с добродушно-плутоватой хрипотцой ответил, прекрасно зная, что Шатров ему не поверит:

— Да, да, отпираться не стану: люблю сей дар Валдая под дугой, люблю! Они у меня музыкально подобраны, по слуху, а не так, чтобы просто, как другие ездят: лишь бы с колокольчиками, звякают, мол, и ладно. Нет! Да вы и сами, дорогой Арсений Тихонович, както изволили осмотреть и — помните? — прочли еще вслух надпись отлитую: «Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей!» Их так и выпускают на заводе, с такой надписью...

— Так что же? Или сегодня не на своих прибыли лошадках?

— Нет, на своих. На каурых. Но колокольцы велел кучеру завязать, чтобы не звякали: утомили! Я к вам — после дальнего объезда... Утомили!

И снова склонил к закускам большую лысую голову. Прислуга Шатровых так и звала его заочно — Лысан. «Ой, колокольчики слыхать, Лысан к нам едет!..»

Да! Велел завязать колокольчики, забыл только добавить, что сделал это не далее версты от шатровской мельницы!

Пока Ольга Александровна потчевала вновь прибывшего гостя и управляла чайным застольем, Шатров успел улучить мгновенье — подать тайный знак Кедрову. Тот незаметно вышел из-за стола. В гостиной хозяин успел шепнуть ему:

— Это неспроста — с подвязанными колокольцами! Надо быть начеку. Если опасность близка, я велю немедленно для тебя заложить пару и чтобы стояла наготове на заднем дворе. Чуть что — садом, под берегом, мимо бани, — там тебя никто не увидит, — задние ворота настежь, садись и — в город! А там уж знаешь — у кого. В городском нашем дому, я думаю, небезопасно: придут с обыском. Шатров Шатровым, а что я с девятьсот пятого поднадзорным у них считался — это они помнят! «Без колокольчиков, утомили» — ишь ты, старый лис! Конечно, пронюхал о чем-то! Ну ничего: Лысана нашего я не очень опасаюсь, — он у меня на золотом кукане ходит!

Хозяин скоро вернулся к гостям.

После чая, совмещенного для него с роскошным именинным обедом, опоздавший гость изъявил хозяину непременное и неотложное желание «подышать на лоне природы, а вернее, отдышаться» — так сострил он, похлопав себя по животу.

И хозяин понял: они вышли только вдвоем.

Шатров захватил с собою ящик с сигарами. Они уселись в азиатски раскрашенной многоугольной беседке, над самым Тоболом. Сквозь лениво покоящуюся листву тополей сверкала река. Доносился большой отрадный шум вешняков.

Становой закурил.

— О! Гавана? Давненько не баловался такой роскошью! И откуда ты их берешь, Арсений Тихонович? И в Кургане ни за какие деньги не достанешь.

Шатров, улыбаясь, возразил:

— Все дело в том — *за какие*. И ты забываешь, что есть у нас на Тихом океане богоспасаемый русский порт — Владивосток, единственное пока что окно в заокеанские страны. Там, брат, все блага мира!

— А-а!

Любуясь знойным сверканьем реки, отдуваясь в прохладе, становой неторопливо наслаждался сигарой. Шатров решил первым не начинать: давний опыт обращения с подобными людьми научил его выжиданию.

И Пучеглазов не выдержал; искоса, хватко метнув злой взгляд на хозяина, становой начал, приглушая свой голос для пущей доверительности:

— Вот что, Арсений Тихонович, дорогой мой. Ты меня знаешь не первый год, и я тебя знаю. Не будем играть в прятки... Но чтобы никому ни звука! Я ради тебя нарушаю долг службы, присягу моему государю... Твоей чести вверяюсь... Но... хочу тебя спасти.

Шатров трудно усмехнулся:

— Что-то уж очень страшно, Иван Иванович! Чем я так нагрешил? Говори все. Даю слово. Буду нем, как могила.

Становой за это последнее слово и ухватился:

— А ты не смейся, Арсений Тихонович! — В голосе его прозвучало явное недовольство столь спокойным и даже как будто издевательским ответом Шатрова. — А ты не смейся: этим не шутят! Время военное: как раз могилой запахнет!

Арсений Тихонович побагровел, тяжело задышал:

— Слушай, Иван Иванович! Хочешь гостем быть — честь и место! А эти разговорчики, господин становой пристав, прошу вас оставить. Шатров много пуган, да только никого не баивался.

Он встал.

И тогда Пучеглазов понял, что перехватил через край. Голос у него стал иным, почти заискивающим, задушевным. Ласковым, подобострастным движением руки он удержал Шатрова за кисти шелкового пояса, опоясывающего рубаху, и стал их гладить и перебирать на ладони.

— Успокойся, Арсений Тихонович! Ты не так меня понял... Э, да что там, на, читай, читай своими глазами! — Он протянул Шатрову серый печатный листок.

— Что это? — И Шатров отстранился.

— Читай. Эти листовочки твои помольцы, и уж не в первый раз, у себя на возах стали находить, между мешками... Каким путем она попала ко мне — это служебная тайна. Тут уж ты меня извини. Да и не имеет значения для тебя. А вот читай.

Печать была чрезвычайно мелка, и Шатров охлопал было карманы брюк, ища привычно очки, но вспомнил, что они в пиджаке, и стал читать так.

Впрочем, он и сразу, едва только схватил своим быстрым оком крупно отпечатанное — РСДРП, понял, что в руки пристава Пучеглазова попала одна из листовок Матвея. Перечитал он их в свое время довольно, и — что ж греха таить! — не было теперь в сердце Шатрова ни былого сочувствия к ним, ни даже любопытства. Другие пришли времена — и другим теперь стал этот человек!

И уже с давних пор, хотя и храня с ним старую дружбу — дружбу, возникшую *тогда*, под опахнувшим их холодным крылом смерти, Матвей Кедров счел за благо не отягчать Арсения Тихоновича сведениями ни о делах и судьбах партии, ни о своей подпольной, по-прежнему напряженной работе.

И Шатров не обиделся. Между ними словно бы состоялось безмолвное соглашение. Да и слишком уж явным стало для обоих разномыслие их о многом и многом в государстве!

Оно обозначилось между ними вскоре же, как только созвана была I Государственная дума. Уже и тогда, в дружеских спорах, пререканиях Шатров говаривал Кедрову: «Ты — за баррикады, а я — за трибуну! Что ни говори, а всенародная гласность! Какой ни есть, а парламент!»

Кедров щурился на него с нескрываемой издевкой — единственный в мире человек, от которого Арсений Шатров стерпливал этакое!

— Слушай, Арсений, ты читал в морских романах, что в старину капитаны парусных кораблей брали будто бы на борт своего корабля бочки с дешевым маслом? Как только слишком опасными становились удары разбушевавшихся волн, так сейчас же масло из этих бочек выливали за борт. И волны вкруг корабля стихали. Читал?

— Ну, читал. Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что все эти твои демосфены и златоусты Таврического дворца — они как раз эти бочки с дешевым маслом и есть: изливайте, голубчики, из гортаней своих дешевое маслице своих думских речей и запросов, мягчите удары народного моря о царский престол! И можешь не сомневаться: придет их час, этих «бочек», и полетят они за борт. Как только море поспокойнее станет!..

А когда оно так и случилось, как предрекал Кедров, и обе Думы — и I и II — окриком и пинком Столыпина были прогнаны из Таврического, Кедров как-то сказал Арсению Тихоновичу:

— Ну вот тебе и трибуна твоя! Нет, мы так считаем, большевики: баррикады, они трибуну подпирают! Да и чем баррикада не трибуна?! С нее — слышнее: весь мир в девятьсот пятом, в декабре, слышал, как русский рабочий класс с краснопресненской трибуны с «самодержавцем всея Руси» разговаривал! За малым корона с его башки не слетела от этого «разговора»!

И Шатров тогда не нашелся что ответить. Помолчав, угрюмо сказал:

— Что ж! Ты был прав. Прямо как ясновидец! А я вот, признаться, не ожидал от правительства такой подлости, такого вероломства. Ведь это же черт знает что: созывать представителей народа, объявлять выборы в новую Государственную думу и в то же самое время вешать и вешать людей, творить бесстыднейшие политические убийства своих граждан! Хороша гласность, хороша свобода слова и собраний с намыленной веревкой, со «столыпинским галстуком» на шее! Нет, нет, теперь и я скажу: против таких господ все позволено — и бомба и револьвер! И не удивлюсь, если тысяча девятьсот пятый повторится. Нет, не удивлюсь. И даже очень, очень хочу. Повторяю: ты был прав. Ясновидец!

Матвей *тогда* досадливо отмахнулся:

— Да брось ты, в самом деле! Заладил: ясновидец, ясновидец! А впрочем... — И,помолчав, добавил, но уже совсем другим голосом, словно бы и впрямь пророчески-дерзновенным: — Но если хочешь, то — да! Дано нам такое ясновидение! Нам, нашей партии. Парижская коммуна дала нам его... Маркс. А ныне — что ж, от тебя я ничего не скрывал! — ныне ясновидение, как ты

выражаешься, дает нам Ленин. Я рассказывал тебе про него... Так что нас, большевиков, этот разгон Думы ничуть не потрясает. Ну а что касается того, чтобы девятьсот пятый повторить, так нет, друг Арсений, повторять не будем! Оплошностей, просчетов, разнобоя по неопытности допущено было немало! Да и генеральную — зачем ее повторять? На то она и *генеральная!* Нет, то уж будет... *последний и решительный!*

И *тогдашний* Арсений, слушая эти речи своего друга, безмолвствовал, не противоречил...

Но если *тогдашний* Арсений, во времена японской войны, едва ли не вторил призывам большевистских листков: «Кончать кровавую авантюру!», «Долой Николая Кровавого!», «Да здравствует демократическая республика!», если *тогдашний* доходил даже до того, что на одном из своих молокосдаточных станов говорил мужикам, что не надо, дескать, давать царю новобранцев, что любой ценой, а надо кончать войну, то *теперешний* Арсений Тихонович Шатров, несмотря на гневный свой ропот и выкрики среди близких людей против «кретина в короне», против «гнилого продажного правительства», против Александры и «распутинско-штюрмеровской камарильи», был решительным противником даже и дворцового переворота, даже и замены царствующего Романова его братом Михаилом. А подспудные слухи об этом, слухи все более и более ширившиеся, давно уже доходили и до него через всезнающего Кошанского. Но *теперешний* Шатров и слышать о том не хотел: «Нет, нет, господа, во время войны с Германией — да это же наверняка развал фронта, неизбежное наше поражение!»

И заявлял себя сторонником взгляда, который выражен был в газетной статье депутата Маклакова еще в минувшем, девятьсот пятнадцатом году: опасно-де на краю бездны сменять шофера, даже и пьяного, беспутнейшего, вырывать у него руль!

Что же касается войны, то без полного разгрома Германии, без проливов, без креста на Святой Софии — о таком мире он и слышать не хотел, считал это гибелью России.

Вот почему Кедров и счел за благо не отягощать его ныне никакими сведениями о работе партии против войны и о своей собственной подпольной работе.

Впрочем, что большевики, а следовательно и Матвей Кедров, от самого начала провозгласили: «Война — войне», это-то Арсений Тихонович, конечно, знал. Он как-то высказал даже Матвею с чувством горечи и сожаления, что вот, дескать, куда приводит отрыв от родной почвы, длительное пребывание за границей: если уж твой Ленин, человек, вижу по твоему поклонению, совершенно исключительный, — и тот не в силах понять, что если мы, русские, последуем его призывам, то немецкие социалисты и не подумают! А Вильгельм, Гинденбург с Людендорфом рады-радешеньки будут! Ну и что в итоге? А в итоге мы, Россия, столетия стонать будем под пятой германизма!

Переубедить Матвея он отнюдь не надеялся. Но искренне был убежден, что в его теперешнем положении — волостного писаря, то есть у всех на виду, да еще в военное время, когда за пораженческую агитацию могут и веревочку на шею, особенно ему, Кедрову, еще и до войны имевшему смертный приговор, побег из ссылки, живущему под чужой фамилией, — Матвей держит себя благоразумно. Об этом наедине Арсений Тихонович слезно его и предостерегал.

Кедров его успокаивал, посмеивался: «Не бойся за меня: я — тише воды, ниже травы! Квартиру, как видишь, снял у просвирни. К тебе езжу редко, да и то всякий раз с твоим попом... Я теперь благонадежнейший мирянин!..»

«И вот нате вам: экие штуки вытворяет сей «благонадежный мирянин»! И ведь что проповедуют, что проповедуют, безумцы! Как в японскую, так и теперь: для них ничего не изменилось... Это еще счастье наше, что за этой кучкой фанатиков народ наш не пойдет... Ну, будь бы ты не Матвей, иначе бы я с тобой поговорил!.. Однако ж нужно одернуть тебя, голубчик: над бездной стоишь и других за собою в бездну призываешь. И как это я вверился ему, выпустил его из поля зрения!..»

В полном смятении чувств, в противоборстве негодования и отцовского страха за жизнь Матвея читал он листовку:

«Действительная сущность современной войны заключается в борьбе между Англией, Францией и Германией за раздел колоний и за ограбление конкурирую-

щих стран и в стремлении царизма и правящих классов России к захвату Персии, Монголии, Азиатской Турции, Константинополя, Галиции и т. д.».

«Эк ведь куда метнули!..»

«...Фразы о защите отечества, об отпоре вражескому нашествию, об оборонительной войне и т. п. с обеих сторон являются сплошным обманом народа...»

Ну, будь бы они сейчас наедине с Матвеем, он, Шатров, поговорил бы с ним по душам, в открытую!

Шатров читал полувслух. И это медленное, якобы затруднительное без очков чтение дало ему выигрыш времени для притворства. Он знал, что Пучеглазов слывет в местных полицейских кругах как дока-следователь, пролаза и шельма. Надо было и искуснейше изобразить удивление перед содержанием будто бы впервые увиденной листовки, и разыграть ироническое осуждение заключавшихся в ней призывов.

Вот он приостановился, пожал плечами, хмыкнул:

— Так, так... А все-таки до чего они их по-интеллигентски пишут! Ну, что это такое: «Превращение современной империалистической войны в гражданскую... С оружием в руках против буржуазии, за экспроприацию класса капиталистов..» И в этом-то ты и твое начальство видите какую-то опасность для существующего строя? Теперь, во время войны с «германом»? Теперь, когда Брусилов вот-вот прикончит Австрию, Юденич — Турцию! И нашли же где разбрасывать эдакое: у меня на мельнице, на Тоболе, в глухомани уезда! Явно — не по адресу. Ну, еще заводские рабочие в Питере поймут, да и то — социал-демократы, ученые-переученые. А здесь? Зря эти господа порох тратят!

Становой, отвалясь на спинку скамьи, курил сигару и прищуро наблюдал за лицом хозяина.

Тот, быстро пробегая глазами листовку, выхватывал из нее отдельные предложения и сопровождал их комментариями:

— «...Поддержка братания солдат воюющих наций в траншеях и на театрах войны вообще...» Ну, это поймут, пожалуй. Далее — что? Ага! «В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом...»

Тут наш «актер» чуть было не сбился со своего комментария большевистской листовки. В чтении произо-

шла заминка, с которой он, однако, тотчас же справился. А где-то в боковом поле сознания все ж таки пронеслось: «Нет, нет, надо будет завтра же наедине сказать Матвею, что в чем другом, ну а в распространении *таких* вот листовочек я ему не помощник. Пускай где хочет, только не у меня! А лучше бы и совсем перестал, одумался. Ну, царь царем, туда ему и дорога! Может быть, и правы те: без этого неудачника рокового победим скорее. Но ведь здесь же эти безумцы солдат зовут войну прекращать, фронт рушить. Это теперь-то, когда мы накануне победы?!»

Он возвратил листовку, довольно естественно позевнул, спросил:

— Ну, а зачем ты, собственно, эту штуку привез мне?

Становой даже растерялся от столь неожиданного вопроса:

— Как зачем? На твоей же мельнице, у твоего помольца на возу нашли!

— Ну и что? У Петра Аркадьевича Башкина на заводе чуть не каждый день находят. Да завтра, может быть, твоя супруга у тебя в карманах или за обшлагами твоего мундира такие же вот листовочки найдет, что же — в тюрьму тебя? Чудишь ты, Иван Иванович! И... прямо скажу: оскорбляешь меня!

Становой задумался. Он испытующе сверлил своими осоловелыми глазками лицо хозяина: «По-видимому, искренен, кудрявый черт!»

Душевным, доверительным голосом сказал:

— Я верю тебе, Арсений Тихонович, и клянусь тебе, что лично против тебя подозрений не имею. Но этого дела, поскольку оно заявлено мне, я, как слуга государя и закона, без последствий оставить не могу. Ты, надеюсь, это понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, и вот что я тебе скажу в заключение беседы нашей — повторяю, что иду ради твоей безопасности и покоя семьи твоей на нарушение присяги и долга, — мы напали на след. Что, как, на чей след — этого я не имею права тебе сказать. Но у меня по этой части нюх... — он поднял голову и подергал носом, словно бы внюхиваясь, — не хуже, чем у самого Шерлока Холмса или — у нашего Путилина! А ты сам понимаешь: ви-

новного — не тебя, конечно! — судить будут за такие листовочки по законам военного времени: военно-полевой суд. Этак и... — Вместо домолвки он повел пальцем вокруг шеи и слегка оттянул ворот кителя, словно бы он душил его.

Становой навязался ночевать. Делать было нечего. Но весь праздник был испорчен. Хорошо еще, что Иван Иванович Пучеглазов одержим был неистовой картежной страстью. Кстати сказать, за неуплату карточного долга он и был в свое время судом чести удален из полка. Зная эту его страстишку, Шатров тотчас же составил картежную четверку: пока что в «железку», а там, если незваный гость изъявит желание, то и в «двадцать одно». В богатых домах Пучеглазов любил играть только в азартные игры и что-то никогда не проигрывал!

В четверку эту кроме пристава вошли: сам хозяин, лесничий и писарь Кедров.

Арсений Тихонович с трудом сдержался, чтобы не объясниться с Матвеем насчет злополучной листовки. И все же сдержался: не время было теперь подымать такой большой и, может быть, даже страшный, роковой для их дальнейших отношений с Матвеем разговор.

Перемолвиться наедине с Матвеем ему, хозяину, было легко и просто. Укоров по поводу содержания листовки не высказал никаких. Только предостерег.

Кедров встревожился:

— Да! По-видимому, и впрямь на моем следу, старая ищея! Досадно: должностью сей я, признаться, дорожу... Не вовремя. Ужасно как не вовремя! — И — как бывало с ним нередко — странной какой-то усмешкой, и угрюмо-острой и удалой, прорезал смертный, удушливый мрак сказанных затем слов: — Могут и «столыпинский галстук», по совокупности, как говорится, деяний, затянуть на шее... Что ж! Примеряли, и не раз: у покойника выбор был большой, только материал все один и тот же — пенька!

Арсений Тихонович невольно содрогнулся:

— Бог с тобой, Матвей! И в шутку бы не смел говорить такое!.. Коснись меня — не до шуток бы мне было!

Кедров с любопытством посмотрел на него, словно бы новое что увидал в лице старого друга:

— Да ну? Неужели бы испугался, дрогнул?! Не верю. Не таким тебя знал!

Арсений Тихонович понял, о чем он, Матвей, этими вот словами напоминает ему, и невольное чувство мужественной гордости за свершенный тогда отчаянно-смелый свой поступок в который раз поднялось в его сердце!

И в то же время захотелось объяснить Матвею, что не трусость, нет, а, как бы это сказать, теперешняя его жизнь — могучая, в полном расцвете сил, зрелости, — жизнь, приблизившая к нему вожделенное воплощение его заветных мечтаний, — она, конечно, дороже ему сейчас, чем тогда.

Он и сказал это Кедрову. А закончил так:

— Ты понимаешь, трагедия моя в том, что умри я сейчас — рухнет все, все рухнет, мной созданное, на что я всю жизнь свою, и волю, и ум кладу! Ведь знаешь же ты скорбь мою: что нету мне, что не взрастил я себе наследника крепкого!

Кедров распрямился, тряхнул кудлатой, с проседью головой, сверкнул стеклами очков:

— Понимаю, Арсений! Я вполне тебя понимаю. Ну, а мне-то ведь легче с жизнью расстаться: взрастил я себе наследников крепких. Да и немало!

Июльский день долог. Об этом и напомнил Башкину хозяин, когда тот сразу после чая заторопился уезжать. Но инженер заупрямился: надо быть в городе засветло. Напомнил шутку хозяина:

— Мотор-то, в самом деле, не овсяной, вдруг поломка ночью какая-нибудь, вот и насидимся в этой глухомани. Ночевать? Нет, Арсений Тихонович, никак нельзя: сейчас завод без хозяина — все равно что дитя без матери. Ты же знаешь, у меня военные заказы!

Он прихватил с собой Кошанского. Киру Ольга Александровна отпросила погостить.

...Во главе картежной четверки Арсений Тихонович уселся за столик с зеленым сукном. В широко распахнутые окна кабинета дышал прохладою Тобол.

Горничная принесла целый ящичек непочатых колод. И знаменитый «банчок» начался!

Азарт разгорался. Становому везло дико. Когда он держал банк, то груда ставок — зеленых трешниц, синих «пятиток» и красных десяток, вперемешку с серебряными рублями — все прирастала и прирастала, и тщетны были все усилия лесничего сорвать банк.

Шатров пошутил:

— Настоящий Сибирский банк!

Срывал мелкие куши лесничий. Плоховато шло у Матвея Матвеевича. В чудовищном проигрыше был хозяин. Но это ничуть не влияло на его радушное и веселое настроение. Шатров смеялся, шутил, ораторствовал:

— Теперь что, господа: перед Россией распахнуты ворота победы! Вот-вот рухнет Турция. Шутка ли, наша Кавказская армия уже далеко за Эрзерумом. Трапезунд пал. Мы в Константинополь пешочком придем. Я не сомневаюсь!

На это как бы в задумчивости и нараспев отозвался ему Матвей Матвеевич, слегка пощелкивая ногтем по вееру своих карт:

— Я тоже... я тоже... не сомневаюсь: пешочком, пешочком... прямо в Царьград!

Дюжинами стояли бутылки охлажденного пива — частью в ведре с ледяными осколками, частью на полу и на закусочном столике возле распахнутого в березу окна.

Закусывали черной зернистой икрой, рокфором и наряду с этим самой что ни есть простецкой закуской: мелкими, густопросоленными кубиками ржаных сухариков — любимая сибирская к пиву!

Время от времени то один, то другой покидал карты и прохлаждался пивом. Иногда вдвоем, а то и все четверо.

Вот лесничий со стаканом пива в руке стоит вместе с Шатровым у столика. Силится дотянуться другой рукой до березовой ветви, сорвать листочек. И вдруг рассмеялся, оставив свою попытку.

Шатров удивленно спросил:

— Ты чего, Семен Андреич?

И лесничий — сквозь смех:

— Вспомнил, как ты здорово у него из-под руки Елочку-то мою увел. Он уже и руку занес, этот ферт, обнять — тю! — дама его вдруг исчезает! Была — и нету. Вот тебе и танго! А я прямо-таки дрожал весь. Стою и думаю: а хорошо бы сейчас подойти да и дать ему в морду. Только то меня удержало, что у твоей Ольги Александровны мы на именинах, в твоем доме... Нет, классно ты ее увел!

Обеими руками он благодарно и радостно потряс руку Шатрову.

Случилось это в самом конце мая, ровно два месяца тому назад.

Перед самым рассветом, верхом на взмыленной лошади, прискакал с новокупленной, компанейской мельницы Костя Ермаков. Временно он посажен был там Шатровым за управляющего и плотинщика.

Страшным стуком в глухие шатровские ворота он разбудил всех.

Ночной сторож-старик с деревянной колотушкой, успевший где-то крепко прикорнуть в своем тулупе, долго ворчал, кряхтел, силясь вытянуть тяжелый затвор и подворотню.

Наконец распахнул перед всадником ворота.

— Эка тебе нетерпячка! Хозяев разбудишь. Нет — подождать?

— А мне хозяин и нужен. А и незачем было тебе подворотню вынимать, ворота распахивать: я — на вершной, мог бы и в калитку коня провести. Иди, старина, досыпай!

Шатров обеспокоенно встретил нарочного. Он хорошо знал своего любимца: спокоен, сметлив, расторопен, но отнюдь не тороплив; и уж если Костя Ермаков среди ночи пригнал верхом за сорок верст, то, значит, и впрямь что-нибудь стряслось на новокупленной мельнице. Оказалось, нет, не стряслось еще. Но бревенчатый старый сруб тепляков, где махают тяжко-огромные подливные колеса, вращающие жернова, — сруб этот может вот-вот рухнуть — подмыло угол. А завались тепляк — неизбежна поломка валов, на которых насажены маховые колеса, а это значит: мельницу придется остановить на все лето. Вот и прискакал.

Шатров не на шутку встревожился: будь эта мельничонка только его, шатровская, куда ни шло: все равно не миновать ее перестраивать, вернее, строить на ее месте новую, по-шатровски: чтобы — турбина, вальцовка, электричество — новая тысяча киловатт! Но сейчас-то даже и не о том речь, а о том, что крупная авария может разразиться, придется понести убытки. Представить только, как расстроится новый, непрошеный компаньон его — лесничий! Человек жадно ждет доходов от мельницы, а тут вдруг — такая прорва, и изволь опять вкладывать средства! А Елена Федоровна, бедняжка?! И ведь, по существу, она является его компаньоном по мельнице...

Надо немедленно принять меры.

По внутреннему телефону Шатров тогда позвонил в людскую и приказал конюху заложить в легкий ходочек любимую выездную — красавицу Гневную. Наскоро подкрепившись, он взял с собою небольшой погребец, и особо — фляжку кахетинского. Не забыл и свой надежный бельгийский пистолет на восемь пуль. Ехать решил один, без кучера: дорога была знакомая!

Косте он приказал без промедления возвращаться обратно, дав ему наставления.

Путь на новокупленную мельницу лежал через казенный бор, и это было очень кстати, что никак не миновать было лесничества.

Он застал их обоих дома. Кратко изложил суть надвигавшейся беды. Но и успокоил: сказал, что если он успеет предотвратить падение тепляков, то предстоящие расходы он возьмет на себя.

Лесничий повеселел. Прощаясь, Шатров пошутил:

— Вот, дорогая Елена Федоровна, по должности вашего управляющего, я счел долгом уведомить вас обо всем и какие меры надлежит в этом случае предпринять. Учитесь. Ну, будьте здоровы, до свидания. Я мчусь. Надо успеть — по холодку!

И в этот миг лесничий остановил его:

— Вы на паре?

— Нет, но на Гневной!

— О! Знаю: зверь! Эта в кою пору домчит и двоих. Я задержу вас, Арсений Тихонович... Елка, собирайся. Да поскорее! Поедешь с Арсением Тихоновичем на свою

мельницу. Тебе надо знать. Когда еще представится такой случай! Вы не против?

Что было делать! Шатров любезно склонил голову, хотя и досадовал страшно: знал он эти дамские сборы! «Теперь попадем в самый зной!»

Лесничий, привыкший мешаться во все хозяйственные домашние дела, вплоть до дойки коров, приказал было горничной собрать им в дорогу чего-нибудь поесть, но Шатров остановил его суетню, сославшись на свой дорожный погребец.

Не забыл он показать хлопотливому супругу и пистолет свой:

— Без этой обороны не езжу: мало ли что! Так что будьте спокойны за вашу Елочку: в полном здравии будет доставлена на свою мельницу часов этак через шесть. Под надежной, как видите, охраной: я хотя и не военная косточка, но из своего любимого браунинга за сто шагов в березку не промахивался! Однако нам надо поторапливаться: хоть половину пути сделать бы до зною!

Провожая их, лесничий успел шепотом предостеречь Шатрова: лесники-объездчики донесли ему на днях, что недалеко от лесничества, за большим болотом, они видели двух разыскиваемых полицией местных дезертиров.

Шатров сказал ему на это, что уж этих-то несчастных бояться нечего: сами глаза человеческого страшатся, кроются, как звери лесные.

— А вообще... — И, не договорив, потому что вышла наконец усаживаться в ходок Елена Федоровна, он только похлопал себя по карману шаровар, где лежал у него браунинг.

Светло-русая и зеленоглазая, с зеленой бархóткой у белого, полного горла, в белой легкой кофточке, заправленной под простенькую черную юбку, лесничиха невольно привела ему на память уже утвердившееся за ней: Лесной Ландыш.

На светлых, тонких волосах была повязана у нее светло-зеленая прозрачная косынка, концами кзади. Лесничиха, по-видимому, ничуть не берегла свое лицо от загара, но он был очень легкий, перебивался нежно-алым румянцем, и от ее пышногубого, слегка удлинен-

ного лица, от чудесных, белых, влажно сверкающих зубов веяло юностью и здоровьем.

Они ехали бором. Земля принялась за род свой! Земля буевала. Зелень травы, кустов и всего широкошумного, хвоевеющего бора вокруг с каждым днем все мужала. Сильно пробивалось в ноздри сквозь сырой запах трав сухое, жаркое благоухание сосен.

В бездонной, словно бы выгоревшей от зноя голубизне неба инде стояли недвижно светоносные, белоблистающие, словно бы тесаные глыбы, облака.

А дорога — бором, бором и бором... А под колесами — песок, песок и песок...

Пески отсвечивают, зноят. Оборотишься, глянешь из ходка на задние колеса — и сыплются, и сыплются, текут нескончаемо две песчаные струйки по обе стороны сверкающего на солнце железа.

Если бы не бором ехать — зной истомил бы!

И снова Шатров досадовал на себя, что согласился на просьбу лесничего: один, подъезжал бы теперь к станице! Да и приходилось волей-неволей, из приличия, занимать ее разговорами. А в такой зной хорошо ехать одному, молчать, вспоминать, думать...

Беседовали о разном:

— Не надоело вам лесничать, Елена Федоровна?

Оборотилась к нему своим трогательно чистым ликом, повела ясным оком — озарила ему лицо. Улыбнулась. Ямочка на левой щеке, пытливо-доверчивый взгляд, и так странно делается, когда прозвучит ее грудной, неожиданно низковатый, как воркование горлинки, голос:

— Что вы, что вы, Арсений Тихонович! Я все лесосеки с мужем объездила. Могла бы сама делянки отводить. Весь лес знаю — не хуже объездчика.

— Вы не лесоводка?

— Нет, я только гимназию окончила. А цветы люблю. Особенно — ландыши... — И тут же с грустью добавила: — Только мало их стало возле нашей усадьбы, почти исчезли. Должно быть, не я одна люблю их!

— Нет. А просто очень сухой бор возле вас.

— Да?

— Конечно. А ландыш, он любит тень, сырые места, затемненные.

Она обрадовалась столь немудреному «открытию»:

— Да, да!.. Ландыши — всегда в тени. Я тоже заметила... Но вообще скучать мне некогда. Сеня обещает мне выстроить теплицу, свою, личную. Привыкаю к хозяйству: дом, огород, а теперь одних коров сколько!

О чем только не перебеседовали они, коротая путь! О бабке-знахарке Василисе, что заговаривает кровь, и об основах банковского кредита; о строительстве речных плотин и об отлучении Льва Толстого от церкви; о первых взлетах Уточкина, которых свидетелем был когда-то Шатров в Петербурге, и о старинном танце фурлана, которым папа римский советовал высшему обществу заменить «не благолепное» танго.

И только о войне старались не говорить.

Коснулись и музыки, и театра, наконец заговорили о живописи. Это произошло само собою: глядя на необхватные красные стволы сосен с отстающей, сухой, розовато-прозрачной пленкой, заговорили о Шишкине. Вспомнили Третьяковскую, Эрмитаж, Щукинский музей. Оба не бог знает какие были знатоки в живописи, и разговорились так просто: у кого кто любимый художник, какая картина любимая, что запомнилось.

И Шатров чуть было не сказал, не подумавши, что его любимая — это тициановская «Даная». Но взглянул вовремя на ее большие, с жадным вниманием к старшему, устремленные на него глаза, на ее полуоткрытые губы и не посмел: соврал, сказал, что «Боярыня Морозова».

Прошло часа два пути. Пустынна была лесная дорога: ни одного встречного!

Она изнемогла. Он видел это. Остановил черную от пота золотисто-гнедую кобылицу.

Лесничиха вопросительно глянула ему в лицо. Он сказал:

— Зной. Пески. Надо дать лошади выкачаться. Давно не выезжал на ней: зажирела, застоялась... Устали?

— Немножечко.

— А вы разомните ножки.

— И правда.

Она выпрыгнула из ходка радостная. Стояла и дышала, в стороне от дороги, в густой тени. И вдруг послышался ее звонкий, полный счастья голос:

— Боже! Ландышей, ландышей сколько!

— Да, здесь они должны быть: тут поблизости озера маленькие.

— А можно мне отойти немножко?

Он улыбнулся: спросила, совсем как девчонка-школьница у отца.

— Прогуляйтесь. Только прошу вас, очень прошу: не отходите далеко. Знаете, как легко заблудиться в лесу!

— Что вы! — Засмеялась: — Это ведь *наш* лес!

— Лес-то ваш, да звери в нем чужие.

— Что за звери? Медведь?

— И медведь. А есть и волки. Ваш же собственный супруг зовет меня зимой облаву на них устроить.

— Ну, авось ничего!

Он отпустил ее, но еще раз взял с нее слово, что далеко не пойдет и время от времени станет подавать голос — аукаться. А если он окликнет ее — немедленно отвечать.

И она скрылась в бору.

Сколько-то раз она подала голос, и он ей ответил. Он успокоился, занялся лошадью. Прошло минут двадцать. Он снова позвал ее. Долго вслушивался. Ответа не было. В тревоге, он вошел дальше в бор, по ее следу, и снова зычно крикнул, приставя ладони трубою. Глухо! Только бор шумит в знойной тишине — ровным своим, могучим, извечным веянием-шумом...

«Да что же это такое?! Не может же не услыхать: ведь во всю мощь ору! И отойти далеко не могла... А ну, еще, еще позову!..» И Арсений Тихонович, уже не стыдясь отчаяния в своем голосе и словно бы неистовой, никогда-то ему в жизни несвойственной мольбы, стал звать ее, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, начал кричать со всей силой, которую придает своему голосу мать в испуге, что сейчас вот, по ее неизбывной до самой могилы материнской вине, взятый ею по ягоды ребенок отстал, заблудился и уже не отыщется, погинул в темном лесу...

...Звал — и вслушивался, звал — и вслушивался, замирая: так, что весь необъятный бор как будто входил в его неимоверно расширившийся, чутко напряженный слух. Отдаленный хруст преломившейся сухой веточки, легкий, глухой стук упавшей на мох сосновой шиш-

ки — даже и те были слышны ему. Так неужели бы он не услыхал, если б только она отзывалась?!

И вдруг ужасом охлынуло ему сердце. На лбу выступил пот. «Боже мой... нет, нет!..» От представившегося ему в сознании ощутил вдруг неимоверную слабость — так, что вынужден был схватиться за ствол сосны. Постоял так немного. Отпустило... Шатровское привычное самообладание вернулось к нему. Распрямился. Почти с гневом на самого себя сдвинул брови. Чуть не вслух начал успокаивать себя, придумывать простые, самые естественные, ничуть не страшные объяснения тому, что Елена Федоровна не откликается: мало ли что — отклонилась в сторону... ветер относит... изменились условия для звука — овраг какой-нибудь, деревья густые преграждают путь звуковой волне... Да эта дура, вероятно, и отвечает ему, но слабым, негромким голосом, а ей кажется, что он ее непременно должен слышать. И вдруг издевательски, с горечью, почти вслух подумалось: «А может быть, *они* спокойненько себе ландыши изволят собирать!» И представилось ему, как выходит она из лесу с букетиком, да еще, оказывается, для него и собранным, и в своей наивности даже и не подозревает, что́ она заставила его пережить!

Страх за нее не проходил. Напротив. И казалось бы, вопреки всем здравым, простым и только что принятым объяснениям, сами собою вторглись в душу, зримо впяливались в сознание ужасающие, омерзительные картины ее гибели после надругательства над нею. «А что ж! Попадись она этим двум дезертирам, затравленным, загнанным, как звери, оторванным от семьи, — разве пощадят? Да и тело ее упрячут так в этой чертовой глухомани, что и не найти!» Он ругал вслух и себя, и ее, и лесничего.

Шатров провел лошадь с экипажем поглубже в лес, разнуздал Гневную и привязал ее к дереву не только за повод, но еще и на веревку. Затем вынул и проверил еще раз браунинг, дослал пулю в ствол и поставил на предохранитель.

Вглядываясь вперед и во все стороны, он время от времени останавливался, кричал во всю силу легких, и вновь, и вновь прислушивался.

Глухо. Ни отзвука, ни ответа. Шумит бор...

Почти стон вырвался у него:

— О-о! Ну, будь бы ты моя дочь — отхлестал бы я тебя тут же, в бору, прутиком по голой ж...! И зачем, и зачем только я, старый дурак, не отказался!

Сосны вдруг стали редеть, как вот бывает перед поляной. Сверкнула там и здесь белая прорезь берез. И вдруг в знойной, благоуханной сухмени соснового бора повеяло легкой и влажной прохладой. Сквозь деревья, в белых песках, словно синька, до краев налитая в белую отлогую тарелку, засинелось малюсенькое озерцо, вернее, бочага, колдобина, с его не усохшей водою таяния.

Внезапно, еще не выйдя на опушку, он увидал и *ее*, совсем близко, шагах, может быть, в двадцати.

И невольно замер. Так вот почему, негодная, не отзывалась! Ну, где ж тут ей услыхать голос!

Лесничиха, вполоборота к нему, сидела на самом бережку озерца, обрывистом, но невысоком, и, опустив в воду оголенные до самого живота ноги, шумно колотила ими по воде.

И что-то, откидывая голову, пела — пела и выкрикивала в озорном самозабвении.

Из-под черной, высоко задранной юбчонки полные голые бедра сверкали ослепительной, пухлой, нестерпимой для глаза мужского белизною. И словно бы это не солнечные зайчики от воды, а отсветы ее сияющей наготы трепетали вокруг нее на траве.

Шагов его она и не услыхала. И лишь когда над нею, сбоку и сверху, послышался его раздраженный голос: «Ну что вы со мной делаете? Разве так можно?..» — она от испуга вскрикнула и оглянулась:

— Боже, как вы меня испугали!

— Вы меня — больше! Вставайте же, едем!

Так он никогда не говорил с нею! Она растерялась, почти испугалась его гнева.

Тотчас же попыталась одернуть юбку, но сделать это было трудно, потому, что юбка была прижата под нею, а ноги свисали с обрыва и не на что было ими опереться.

И она покорно приняла его руки — обе, чтобы встать.

Но в этот миг, едва приподняв ее, он внезапно, стремительно обнял, обхватил ее ноги и оторвал ее от земли. Вскрик испуга и неожиданности... И:

— Что вы, что вы, Арсений Тихонович? Вы с ума сошли?!

А оно *почти* так и было!

Он с такой силой прижал ее к себе, обнажая, что она едва могла дышать. Извечный инстинкт женщины подсказал ей не отталкивать и не вырываться, а всей тяжестью тела соскользнуть вниз, к земле, из его страшных тисков. И вот она уже ощутила пальцами босых ног землю. Но в этот именно миг он яростно повалил ее навзничь, не давая ей сдвинуть колена.

Ни борьбы, ни вскрика. Только испуг в широко открытых глазах...

И что еще потрясло его — это ее лицо: блаженно и безвольно полураскрытые губы; заведенные кверху глаза; оглушенность, покорное приятие навязанной ей пытки неистового наслаждения... «Даная!..» Самая страшная картина на земле! И неужели же это она — лесная царевна-недотрога, лесничиха, по которой томятся и томились, обреченно и беззаветно, почти все, почти каждый, кого он знает, — Лесной Ландыш?!

...Нет, раскаяния не было! Он вообще мало склонен был к покаянным настроениям. Перед кем, собственно? Не перед ее ли супругом — этим, в потенции, мелкохищным предпринимателем, снедаемым жаждою наживы, которого он, в сущности, презирал?

Перед ней самой? Но, как на исповеди, мог бы он с чистой совестью поклясться, что даже тогда, когда он отпускал ее за ландышами, он далек был от вожделения к ней. И если бы... Но что было, то было!

Ольга? Да! Это — страшно. Ей никогда, никогда не сознается он в том, что сейчас произошло. Потому ли, что боится ее? Что за глупости! А потому, что любит. Ее, единственную. И до конца дней своих! А вот сможет ли она простить ему эту измену? Измена, измена — черт бы их побрал, и придумают же словечко!

Ему подумалось, что будет лучше сейчас оставить Елену Федоровну одну. Ненадолго. Пусть придет в себя, бедная, глупенькая девчонка!

Гневная встретила хозяина негодующим, нетерпеливым ржанием: «Наконец-то! Застоялась же я, хозяин, или ты не видишь? Да и голодна!»

Ветви кустарников, возле которых привязана была кобыла, были обхватаны ею дочиста, голы.

— Сейчас, сейчас... Да ты и впрямь гневная! Потерпи немного.

Ему пришло в голову, что будет хорошо достать сейчас взятое из дома прохладное вино в особой фляжке с двойными стенками, одетой в сукно, и отнести *ей.*

Лесничиха все так же лежала с закрытыми глазами, на травянистом взлобке, где он оставил ее.

С чувством неизъяснимой жалости-любви, словно над дочерью, он опустился возле нее на одно колено, тихонько позвал:

— Елена Федоровна! — и приподнял ей голову.

Она открыла затуманившиеся, без взора, глаза.

Он поднес крышечку-стаканчик с красным вином к ее губам:

— Выпейте.

Она безмолвно повиновалась.

Капля вина упала ей на белую кофточку. Она тревожно скосила глаза на высокую грудь. Чуть нахмурилась и тихонько, почти шепотом сказала:

— Не отмывается...

Бережно, как больного ребенка, поднял он ее на руки и понес в ходок. Там он уложил ее на подушки и отвязал коня.

Ехал он очень медленно, чтобы не тревожить ее, и выбирая путь в тени бора, где только было возможно.

Он знал, что этак они и до ночи не приедут сегодня в станицу, близ которой была *«их»* мельница, но он этого сейчас и хотел. Он решил про себя, что они заночуют в большом селе по дороге, у одного из шатровских так называемых «дружков», богатенького, во всем послушного ему мужичка, одного из крупных молокосдатчиков на его маслодельный завод.

Всю дорогу она печально и угрюмо молчала. Принималась плакать. Молчал и Шатров. Он прекрасно понимал, какой пошлостью было бы с его стороны, если бы он стал успокаивать и утешать ее.

Ни слова не проронила она и тогда, когда он сказал ей, что они должны будут переночевать в пути.

Молча приняла его руку, выходя из ходка.

Крытый, маленький двор был чист необыкновенно: иголку обронить — и то найдешь. Такие дворы бывают в Сибири у бездетных богатых стариков.

Так оно и было: хозяин — еще неостарок, крепкомясый, бодрый, с жирным лицом, с бородкой-метелочкой и супруга его — дебелая, сонная, бабьи-любопытствующая. И больше никого в доме. Здесь он управлялся один с женою, а работники и доильщицы коров обитали у него в стану, на особой заимке.

Они радостно, с нескрываемой гордостью, приняли Шатрова и его спутницу. Ну, как же: «Сам Шатров у меня останавливается!»

Хозяин хорошо знал в лицо и лесничиху, а хозяйка — нет.

Потому, улучив мгновение, Арсений Тихонович доверительно, не стыдясь, попросил этого, с радостью угождавшего ему человека, чтобы о их совместной с лесничихой ночевке у него никто ничего не знал.

Хозяин даже привстал для чего-то на цыпочки и, оглядываясь, прошептал:

— Что вы, что вы, Арсений Тихонович! Уж будьте благонадежны. И старухе своей строго-настрого прикажу. Ну, как же? Мало ли беды может быть! А ведь дело житейское: кто из нас богу не грешен, царю не виноват!

Шатров поморщился: проза, да еще и какая — житейская, сибирско-деревенская проза уже вступила в его отношения с Лесным Ландышем! А что было делать?

В сенях жена спросила у мужа с оглядкою на дверь, за которой были приезжие:

— А она хто ему будет?

Он ответил ей быстрым шепотом:

— Сударка, вот хто.

Старуха ойкнула — изумленно, осуждающе.

Муж на нее прикрикнул:

— Ну, ну! Смотри у меня: молчок! Это дело не наше!

Напоив гостей чаем, старуха, едва только муж вышел из горницы, попросту и с явным наслаждением спросила у Шатрова:

— Дак вам как постелю-то постилать — надвое али вместе?

Лесничиха зарделась, отвернулась, стала смотреть в окно.

Шатров помолчал, а затем спокойно и как будто о деле заведомом ответил:

— Вместе, Карповна, вместе.

Картёж был прерван в самом разгаре — внезапным и диким образом: прямо в кабинет Шатрова, никем не задержанный, ворвался, не сняв даже своей заскорузло-замучневшей кепчонки, засыпка из раструса.

Шатров строго поднял голову:

— Что такое?

Тот с запышкой проговорил:

— Ох, Арсений Тихонович, у нас на плотине смертоубийство хочет быть! — И выбежал вон.

Шатров спокойно поднялся со своего стула.

— Простите, господа!.. — И пошел к выходу, не убыстряя шага.

Пристав Пучеглазов рванулся было за ним, но огромный выигрыш грудою возвышался перед ним, и бедняга, пригребая к себе кучу ассигнаций и серебряных рублевиков, только прохрипел ему вслед:

— Арсений Тихонович, и я с тобой: как представитель власти.

— Нет, нет... Здесь — моя власть... Не беспокойся, Иван Иваныч!

Еще и в столовой, и на веранде, на глазах гостей, Шатров шел неторопливо, но едва только спустился в сад, как сразу же кинулся опрометью, прямо к берегу. Дальше он побежал таким наикратчайшим путем, каким одни только мальчуганы бегали: перемахнул через прясло, которым крепкий шатровский заплот спускался в самый Тобол, и очутился на ближней плотине.

Могучее лбище забранного тесом ближнего быка плотины тупым углом разваливало здесь Тобол надвое: справа он гнал свои воды по тесовым дворцам, на турбину и на водяные колеса, еще раз раздвояясь; а слева — могуче и гулко валился в творило, в распахнутые настежь вешняки.

И вот, по ту сторону большого моста, на въездной, предмостной плотине, над самым водосвалом, Шатров увидал толпу помольцев, обступившую кого-то двоих, очевидно дерущихся.

Сквозь шум и ропот до него донеслись выкрики:

— Галятся над народом!

— А что им? Богатые: никого не боятся!

— На них нету управы!

— Погоди, найдем!

Арсений Тихонович замедлил шаги. Выпрямился. Набрался спокойствия, приготовился ко всему. Внутренне откашлявшись, проверил голос.

Его увидели. Привычно расступились. Послышались окрики:

— Эй, будет вам, перестаньте: хозяин идет!

Тот, кто тряс за грудки другого, — высокий, худой солдат — враз обернулся, однако рубаху противника своего не выпустил. Темное, изможденное лицо его было пересечено вкось черной узкой повязкою через левый глаз.

Кто это — Шатров не признал. Зато другого — в нарядной, с вышивкою рубахе, с красными шариками на шнурках вместо галстука, — он узнал сразу: это был старший брат Кости — Семен Кондратьич Ермаков.

На какой-то миг, при слове «хозяин», тот, кто тряс и рвал за рубаху крупчатного мастера, попривыпустил свою жертву, но тотчас же снова сграбастал. В беспамятстве неистовой злобы он хрипло и громко выкрикнул:

— А-а! Хозяин? Не-е-т! Над своей женой я — хозяин! А тут... Ох ты, запазушный дьявол, бабий любитель, паразит! Насильство творишь над солдатскими женами! Очередью их покупаешь? Айда, поплавай!

И, прокричав это, солдат с черной повязкой на глазу взнял Семена Кондратьича, оторвал от земли и швырнул прямо в воду. Ахнули. К счастью, тот умел плавать. Вот вспучилась над головою вода. А вот и сама голова вынырнула с мокрыми, свисшими на лицо волосами. Показался захлебывающийся, орущий, перекошенный ужасом рот. Гребнули руки.

Шатров крикнул солдату:

— Что ты делаешь, мерзавец?! — И на остальных: — А вы что смотрите?

Кто-то из толпы, при общем явном одобрении, ответил:

— Ничего. Выплывет: близ воды житель. Ишь как быстро плывет!

Но опытным глазом своим Шатров с чувством ужаса успел определить, что не плывет он, а уносит человека, уносит неодолимо, быстриной водосвала.

И тот понял. Истошным голосом заорал:

— Тону!.. Спаси-и-те!

Но какая же сила могла теперь спасти его! Человека несло, как щепку. Вот он уже на перегибе воды, на уклоне водосвала! Еще одно-два мгновения — и его, несчастного, низринет, швырнет вниз с многометровой высоты в белую бурю, в чудовищную кипень водобоя!

Шатров схватил оставленную Костей длинную тычку — водомерный шест, вступил с ним в воду по самый пояс и, держась левой рукой за какую-то корягу, выстоявшую из плотины, далеко выметнул тонущему водомерную жердь, крепко удерживая ее в правой руке:

— Держись!..

Утопающий понял. И, когда его проносило мимо конца жердины, успел ухватиться за нее.

Шатров еле удержался — так силен был рывок. Он чувствовал, что ноги его скользят, скользят вглубь, дно оплывает под сапогами... Еще немного — и его самого увлекло бы в пучину водосвала.

В это время двое помольцев кинулись к Шатрову и ухватили его за рубаху.

Спасены были оба.

Посинелый от страха Кондратьич, перебираясь по шесту, вылез на плотину. Он стоял, обтекая водою, отфыркивался и трясся мелкой дрожью, так, что слышно было, как чакают у него зубы.

Только теперь понял он, что Шатров спас его от неминуемой смерти:

— Арсений Тихонович! Ввек не забуду! Арсений Тихонович!

И наклонился поцеловать руку. Шатров быстро ее отдернул:

— Ну, ну, еще что?! — Затем, дав ему немного отдышаться, спросил негромко: — С чего это вы? Что у вас с ним произошло?

Солдата с черной повязкой на глазу уже не было в толпе.

— Сейчас расскажу, сейчас все расскажу, Арсений Тихонович! — Посинелые губы его дрожали, он еще плохо выговаривал слова: — Все как на духу. Ничего не скрою. Только давайте отойдемте малость от народу.

Они отошли. Никто не посмел последовать за ними. Однако толпа не расходилась.

Кондратьич начал рассказывать. И впрямь: он ничего не скрыл. Не утаил даже, что-таки «сводил на мешки» молоденькую солдатку:

— Был грех, Арсений Тихонович...

— Так, так... Дальше?

Кондратьич еще больше понизил голос и, ободренный вниманием хозяина, продолжал доверительным шепотом:

— Так что, Арсений Тихонович, с солдатками нынче... отбою нет: сами ложатся!

— Ну, ну?

— А тут как раз ее одноглазый дьявол явился... муженек... Ему шепнул кто-то — он и давай ко мне прискребаться. Дальше — больше, схватил меня за душу... Ну, а что потом было, вы сами видели. Когда бы не ваша рука — утонул бы!

Внезапно налился злобой, погрозил куда-то в сторону толпы кулаком:

— Ну да ладно: я ему, одноглазому дьяволу, попомню!

И вдруг дернулся мордой от неожиданного шатровского удара по щеке... Хапнул воздух. Заслонился.

— Что вы, что вы, Арсений Тихонович?! Обумитесь!

Но еще и еще удар. Кондратьич зашатался.

Шатров, перестав его бить, кричал вне себя:

— Ах ты, гад! Мерзавец! Над солдатскими женами вздумал глумиться? Очередью их покупать? Вон отсюда, поганец! Сегодня же чтобы ноги твоей не было на мельнице! Придешь в контору за расчетом!

И круто повернулся и зашагал вдоль плотины, но только не к дому, а в поле, на ту сторону реки.

Кровь гнева пошатывала его.

А в толпе помольцев шел торжествующий говор:

— Ох, ловко же он ему плеснул!

— Да-а, только-только что на ногах выстоял наш Кондратьич!

— А так ему и надо, проклятому! Што ведь надумал! Ну, как же: господин крупчатный мастер!

— Ишь харю-то наел — краснехонька: хоть онучи на ней суши!

Кондратьич, опамятовшись, с неутолимою злобою глянул вслед удалявшемуся Шатрову:

— Ну, погоди, дождусь и я своего часу: будешь ты передо мной лбом об половицу стучать!

Вечером этого же дня, когда уже разъехались гости, Ольга Александровна постучалась в кабинет мужа.

Сначала ответом ей было глухое молчание.

Она повторила стук.

— Нельзя ко мне! — Голос Арсения Тихоновича звучал угрюмо и отчужденно.

Но уж ей ли было не знать, что́ надо делать в таких случаях!

— Хорошо, я уйду, Арсений!

И эта холодная угроза обиды и негодования тотчас же отомкнула ей дверь.

— Ну?!

И, не выдержав ее взгляда, отвернулся, отошел, стал смотреть в окно.

Она стала сбоку — так, чтобы видеть его лицо, — и молча, укоризненно покачала головой.

Он засунул руки в карманы, вскинул голову и, усмехнувшись, проговорил с выражением вызова и независимости:

— Ну? Уж донесли тебе, вижу, обо всем?!

Ольга Александровна все так же укоризненно и молча смотрела на него. Глаза ее стали наполняться слезами.

Этого он не выдержал:

— Тебе, что ж, наверно, жалко стало этого мерзавца?!

Оба они знали, что говорят о происшествии на плотине.

— Э-эх! Стыдись, Арсений, стыдись! Тебя мне стало жалко, *тебя!*

— Объяснитесь, сударыня: что-то я не пойму вас!

— Прекрасно понимаешь. Не притворяйся, не прячься за свою неудачную иронию! Шатров, Арсений Тихонович Шатров рукоприкладством занимается, своих служащих по лицу бьет... публично!.. Какой позор! Нечего сказать: ознаменовал день моих именин!

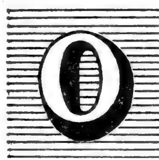
Он вспылил:

— Да, матушка моя, ты знаешь ли, что́ он, этот мерзавец, Кондратьич твой, сделал?!

— Знаю.

— А знаешь — так и не указывай, как мне с ним и что! — Арсений Тихонович разгорячился: — Слюнтяйство, сантименты я стану разводить с ним? Так, что ли? Солдатка солдаткой. Гнусность, конечно, и за это следовало! Но понимаешь ли ты, во что это все могло вылиться?! Да знаешь ли ты, что за этим могло последовать?! Нет, не понимаешь! А вот на плотину бы тебя в то время, когда этот, с выбитым глазом, муж ее, солдатки, за грудки тряс вашего дражайшего Кондратьича! Послушала бы ты, что в народе кричали: и твоего муженька неласковыми словами помянули! А солдат ее — фронтовик, имей в виду. Фронтовик. Тяжко раненный. А ты знаешь, с какими настроеньицами они из окопов-то возвращаются нынче, солдатики наши? Они скоры нынче стали на расправу! Долго ли ему пук соломы сунуть ночью, керосинчику плеснуть, спичкой чиркнуть?! И поминай как звали шатровскую крупчатку! Это пустяк, что у меня тут тысячи пудовичков под навесом складены — военному ведомству. А ведь весь корпус сгорит, турбина погинет, вальцы... А где ты их теперь достанешь? Война! Да и электричества лишимся. А ты же каждый день из окна видишь, что у меня уже все на том берегу для лесопилки электрической заготовлено. Да в такую сушь как заполыхает, так и мосты, оба, да и плотины сгорят! Вот что может быть! А ей, видите ли, этого негодяя Кондратьича жалко: некультурно я, видите ли, обошелся с ним. Нет, милая моя, теперь состоятельному человеку очень бережно надо возле народа проходить!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



т Риги и до Багдада. От Рижского залива и до Персидского — таково было протяжение фронта русской армии к началу третьего года войны.

Против четырех держав, которые возглавлялись — легко сказать! — всею мощью, всеми силами Германской империи, — перепоясав фронтом всю Европу, всю Малую Азию, стоял русский солдат.

Беспутно, а не то́ли что щедро, выхлестывали живую сыновнюю кровь из широко растворенных жил русского народа! Обильно были политы ею, осклизли от крови и высоты Карпат, и утесы турецкой Армении; напитались солдатской кровушкой, утоляя свою извека ненасытную жажду, знойные пески азиатских пустынь; утучнились поля Восточной Пруссии, и Польши, и Прибалтики, и Литвы.

А им, этим безжалостным заимодавцам, этим шейлокам русского народа, этим так называемым «союзникам» — этим пуанкаре, клемансо, жофрам и асквитам, ллойд-джорджам и китчинерам, — им все было мало и мало!

Миллиардными займами в канун мировой войны они считали закупленной всю русскую кровь, всю кровь русского народа. И как же ревниво, своекорыстно-расчетливо, по-хозяйски самовластно распоряжались они этой заранее закупленной русской кровью!

Выдавая заем, французское правительство, в лице своего генштаба, понудило императора всероссийского, самодержца, перечеркнуть все прежнее стратегическое развертывание русских армий на случай войны против Германии и Австро-Венгрии.

Сперва было предначертано, и вполне здраво, против Германии держать лишь могучий заслон. А подавляющие силы русских армий ринуть в первые же дни войны на Австро-Венгрию, смять, сокрушить эту «лоскутную монархию», наполовину состоящую из славян, извека тяготеющих к России и которые вовсе не хотели умирать за «цисаржа-пана». Иными словами говоря, предначертано было: рвать вражеский фронт в его *слабейшем* звене и тогда уж только вместе с французами обрушиться на Германию.

Однако французский генштаб это не устраивало: Австро-Венгрия, дескать, нигде не граничит с Францией, а стало быть, австро-венгерская армия Парижу не угрожает. Другое дело — Германия!

И, повинуясь указующему персту заимодавцев, русский царь утверждает новое военное соглашение: отныне подавляющее число русских воинских сил, русских боевых средств перемещается на границу с Германией.

«На Западном фронте — без перемен... На Западном фронте продолжаются ожесточенные бои за обладание домиком паромщика» — метр вперед — два назад! — месяцами длилась эта мертвая зыбь между вгрызшимися в землю англо-французской и германской армиями: война окопов, железобетона, артиллерии! Но едва лишь стоило двигнуться, погнуться тому или иному из участков англо-французской обороны, как тотчас же в Ставке верховного, в Могилеве, телеграф тайным кодом начинал отстукивать хозяйский окрик-приказ о немедленном переходе русских армий в наступление.

Было однажды так: верховный русский главнокомандующий в первую половину войны, великий князь Николай Николаевич, что-то позамешкался с наступлением, приказанным из Парижа; и вот французский посол в России, бесцеремонно и даже грубо нарушая приличия, не титулуя великого князя «высочеством», а попросту называя мосье, то есть сударь, шлет ему окрик-запрос: «Через сколько дней, мосье, вы перейдете в наступление?»

И Николай Николаевич стерпел.

Да ведь надо же вспомнить, кем тогда был этот грозно-неистовый старик-самодур, седоголовый и сухо-

парый, великаньего роста, с маленькой головой, скорый и крутой на расправу, умевший навести леденящий ужас на весь офицерский корпус, на весь генералитет: старший родич царя, он в силу законов военного времени обладал властью императора. Его единоличный росчерк, такой же, как самого царя, — «Николай» — стоял под манифестом к полякам, в котором сулил он воссоединение и свободу Польше после разгрома Германии.

И об этом седом, кровавом самодуре, который бутил болота и трясины Полесья телами отборных сибирских корпусов, о нем, который своим бездарнейшим, хотя и мнимо-властным главнокомандованием ухитрился уложить в кою пору лучшую в мире кадровую русскую армию, — о нем все ж таки еще ходили кое-где в народе россказни и легенды, порожденные отчаянием.

В деревнях еще любили слушать, как срывает он золотые погоны не то́ли что с изменников генералов, а даже и у таких будто бы, кто жмется в штабах, а солдат-бедняга иди в атаку!

Бредущий по колено в своей крови, зажимая мозолистой дланью разорванные кровеносные жилы, уже шатаясь от этих непрестанных, и днем и ночью, кровопотерь, ощутив уже нож измены между лопатками, в богатырских кры́льцах своих, солдат еще не хотел верить, что и там, в верховном командовании, не на кого положиться.

А уж знали в народе, что повешен полковник контрразведки генерального штаба Мясоедов за измену, за шпионаж в пользу немцев. Говорили, что будто бы и фамилия-то его истинная не Мясоедов, а Фляйшэссен; по-немецки выходит вроде бы Мясоедов: взял и переменил, прикрылся!

Знали, что изменою генерала Григорьева пал Гродно, могущественнейшая из крепостей. Да еще сдал он там вдобавок немцам стотысячную армию.

Знали и то в народе, что по шпионским делам убран военный министр Сухомлинов.

И, уж почти не таясь, говорили об измене самой царицы; носились слухи, что вокруг государя — всё немцы и немцы, что прямо из Царского Села, слышь ты, да и прямо из царицыной спальни телефонный провод

тайный проложен не то к брату ее к родному в Германию, а не то — к самому Вильгельму.

Один только и есть, дескать, среди их путной — что Миколай Миколаевич. Этот бы, может, и вывел измену! Только царь ему воли не дает, а царица — та, братцы, слыхать, копает под него.

И невдомек было «братцам», что для какого-нибудь заурядного военного агента французского при Ставке, какого-нибудь Лагиша, этот грозный старик, великий князь и верховный главнокомандующий, был всего только сударь, мосье и что одной телеграммки французского посла, рассерженного за промедление, достаточно, чтобы этот всемогущий верховный заторопился гнать на убой еще сырые, еще не обстрелянные и почти безоружные корпуса.

Не смел противиться приказу Парижа и сам царь, когда стал верховным. И тщетно, тщетно умолял государя и упирался начальник штаба верховного Алексеев. Нет, наступать и наступать!

И кидались, и, устилая солдатскими трупами землю, проламывали и прорывали!

А им все было мало и мало!

Однажды французский посол Палеолог с откровенным бесстыдством заявил своей задушевной приятельнице великой княгине Марии Павловне:

— Если русская армия не будет напрягаться до конца с величайшей энергией, то прахом пойдут все громадные жертвы, которые в течение двадцати месяцев приносит русский народ: не видать тогда России Константинополя! А кроме того, она утратит и Польшу, и другие земли!

Еще бесстыднее говорил он со Штюрмером, с председателем совета министров, в марте тысяча девятьсот шестнадцатого. Это было в те дни, когда, спасая Верде́н, царь — верховный главнокомандующий — приказал Алексееву начать очередное жертвенное наступление, кровавое и преступное, к югу от Двины, на Германском фронте.

Русский премьер упомянул в беседе с послом о непомерно огромных жертвах России на полях битв.

На это посол «союзной прекрасной» Франции с хлад-

нокровием коммерсанта, рантье, привыкшего к деловым вычислениям, возразил ему, улыбаясь, что лишь тогда потери убитыми у России и у Франции уравняются, когда на одного убитого французского солдата будет убито четверо русских.

Даже дед Штюрмер был этим озадачен:

— Почему?!

Оказалось просто: русский, видите ли, солдат в подавляющем большинстве своем темный мужик или рабочий, лишенный культуры, а французский — почти сплошь человек интеллигентный, да и нередко еще и одаренный в искусстве, в науке ли. Как же можно их сравнивать?!

— В России, — так буквально сказал посол, — из ста восьмидесяти миллионов жителей — сто пятьдесят миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу французскую армию: все наши солдаты с образованием. Это люди утонченные. Это — сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши, французские, потери несравненно чувствительнее русских потерь.

И председатель русского совета министров Штюрмер был сражен этим доводом посла союзной державы: да, видно, ничего не поделаешь, жизнь русского солдата в четыре раза дешевле жизни солдата французского!

Неописуем, явен всему народу и уж непереносим для него стал к началу второго года войны и хозяйственный развал тыла, и нравственный зловонный распад правящих верхов России.

Голод городов, раскинувшихся среди неисчерпаемого изобилия глубинки, голод в переполненной житнице! Бессонные, озлобленные хвосты у пекарен и продовольственных лавок столицы. Бесстыдный разгул мародеров тыла; оголтелая спекуляция всеми предметами первой необходимости, всем, что только есть насущного для человека; и дороговизна, дороговизна, растущая изо дня в день и обращавшая в нищенские гроши, в какое-то измывательство над человеком заработки и оклады и рабочих и мелких служащих.

Разруха ширилась!

Захлебнулись под непроворотными грузами железные дороги — эти артерии и вены исполинского живого

тела России. Железнодорожные узлы стали и впрямь узлами — разбухшими, тяжко воспаленными, требующими срочно ножа хирурга, дабы умело, безжалостно рассечь эти гибельные узлы, спасти кровообращение страны.

Около двухсот тысяч вагонов накрепко заселены были полчищами беженцев из Польши, Литвы, Белоруссии — из всех двадцати губерний Западного края империи, захваченных немцами.

Голод и эпидемии помогали разгружать эти бесконечные, неисчислимые эшелоны.

Уж местами начинал голодать фронт.

А в тылу, не в силах вывезти, протолкнуть, гноили в это время миллионы и миллионы пудов свезенного к железным дорогам мяса. И около полутора миллионов голов скота, угоняемых беспутно и безнадзорно от захвата врагом, загублено было в прифронтовой полосе ящуром и бескормицей и закопано в землю.

В городах не хватало хлеба, мяса и молока, чая и сахара, а деревня — та уж давненько чаишком пробавлялась морковным, а о сахаре уж и забыла, какой он! Больше же всего деревня скудалась ситцем, мылом, керосином, спичками, обувью; бородачи-запасные прибывали к призыву в лаптях, да так и оставались месяцами: куда, мол, этих обуть, если там, на фронте, дивизии и корпуса — без сапог!

И каких, каких только голодов не объявилось: кричали уже и о чугунном, железном голоде в деревне. Недавно еще мужик платил за пуд подковочных гвоздей три рубля пятьдесят, а теперь трудно стало достать и за́ сорок. А пшеничку повези им в город за два пятьдесят!

И не везли.

Хозяевами и хлеба, и мяса, и чая, и сахара, и ситца, и сукна, и кожи, и обуви, да, словом, всего насущного стали вдруг... банки. Просто это делалось и хитро́! Промышленнику, сахарозаводчику к примеру, нужна была ссуда. Банк выдавал ее на сумму свыше девяноста процентов стоимости всего товара. Оба прекрасно знали, что это отнюдь не ссуда, а оптовая закупка всей продукции, «на корню». А поди уличи: дело вполне законное, заводчик ссуду не возвратил — стало быть, хо-

зяином его товара становится банк. И сахар исчезал с рынка.

Некто господин Кёниг, сахарозаводчик, договорился было с петроградской городской управой о продаже для населения столицы большой партии сахара: тридцать пять тысяч пудов. В Петрограде тогда уже начинался сахарный голод. Под сахар были поданы составы. И вдруг господин Кёниг заявил, что он расторгает сделку: Азовско-Донской банк забирает весь его сахар за ссуду. А новый хозяин сахара предпочел, минуя столицу, перепродать его в Финляндию. Отсюда русский сахар двинулся в «нейтральную» Швецию. А оттуда, само собой разумеется, в Германию!

Сибирский банк на исходе первого года войны сделался вдруг хозяином всего мяса в Сибири. Его даже и прозвали: Мясной банк.

Директором в нем был немец Грубе.

Волжско-Камским банком заправлял Виндельбант.

Почти сплошь нерусским было правление и Азовско-Донского банка.

Особое расследование, предпринятое по требованию членов Государственной думы, с несомненностью установило, что оба эти банка — Волжско-Камский и Азовско-Донской — в существе своем суть лишь дочерние филиалы немецкого «Дейтчбанка». Дознались, что на пятьдесят миллионов рублей русского капитала в них приходится сто одиннадцать миллионов рублей немецкого, укрытого от непременной, по законам войны, конфискации под видом русских вкладов.

Безысходность и беспросветность кровавых буден войны стояла над страной. Мнилось, что с крылечка каждой избы, из окошечка каждой хаты не вечерняя зорька, закатная, видится там, на западе, а багровое, прожорливое зарево войны. И тщетно, тщетно вглядывались туда иссохшими от слез глазами вдовы и обессыневшие матери!

А в столице империи и в Первопрестольной, Белокаменной — так любили тогда в газетах именовать Москву, — да и в любом городе и городишке на глазах вычерпанного войной трудового люда в чудовищных оргиях бесстыдствовали богатые и войною разбогатевшие.

Что говорить, если владелец Прохоровской мануфактуры на своем ситчике в первый год войны получил

тринадцать миллионов прибыли: шесть миллионов пошло у него на погашение банковских ссуд, а семь миллионов было чистого — а вернее, нечистого! — барыша.

Со скрежетом зубовным узнавал, а то и видел и слышал голодный рабочий люд, как из ночи в ночь и до белого света беснуется тугая мошна в какой-нибудь «Вилле Родэ», где погуливал частенько и Распутин, или где-нибудь в «Стрельне», у «Яра», беззастенчиво утоляя в угаре цыганщины все и всяческие причуды купеческого чревоугодия, похоти и гортанобесия.

А только напрасно думали, зря самообольщались эти бесновавшиеся на клокочущем вулкане, что народушко, мол, еще не скоро поймет что к чему. Понял! Кедровы были не только на фабриках и заводах — Кедровы шли в окопы!

Самое начало войны русский рабочий класс уже встретил стачками гневного отпора. Но если в первом году мировой бойни этих стачек — *не хочем войны!* — было что-то около семидесяти, то в следующем, тысяча девятьсот пятнадцатом, число их перевалило за тысячу! Более полумиллиона рабочих, заслышав призывы *большевиков*, остановили станки.

На улицы, в толпы, в колонны антивоенных демонстраций, ринул российский пролетариат свой гневный, яростный вопль против начавшихся уже на тысячеверстных фронтах повальных убийств.

И это — несмотря на аресты, тюрьмы и улюлюканья на рабочих: «Пораженцы!», несмотря на военно-полевые суды; несмотря на трусость, слизнячество, рачьи повадки меньшевиков, которые все еще под знаменем будто бы РСДРП звали русских рабочих припасть к сапогам Николая, дабы не подпасть под сапог Вильгельма!

Изо дня в день прямо в уши рабочего люда свиристели на все лады, заливались, завывали истошно все и всяческие газеты — от кадетской «Речи» до «Газеты-копейки»: «Война до победного конца!»

Продажные перья писак всевозможных мастей и рангов, обмокнутые в солдатскую кровь, призывали «дробить черепа тевтонских варваров, этих новых гуннов двадцатого века».

Тщетно! Не за хоругвями и кадилами молебнов и шествий, где могучий бас протодьякона вкупе с хором

молил: «О еже покорити под нозе благоверному государю нашему, императору Николаю Александровичу, всех врагов его, на супротивные даруя», — а за красными знаменами демонстраций да на тайные большевистские собрания шел рабочий!

В июне тысяча девятьсот пятнадцатого на улицах Костромы расстреляна была демонстрация рабочих: убито и ранено больше пятидесяти человек.

В Иваново-Вознесенске в августе — более ста!

Кедровы вновь и вновь, не щадя своей жизни, несли народу, солдатам, в окопы — правду Ленина:

— Зря проливаете свою и чужую кровь! Убийцы братьев — таких же, как вы, крестьян и рабочих, наемных рабов капитала, — остановитесь, обманутые безумцы: не за отечество гибнете — за сверхприбыли банкиров, купцов, помещиков, капиталистов, за грабеж колоний, ради беспутной царской шайки. Немецкий и русский рабочий, немецкий и русский крестьянин, поймите, что вы суть братья! Враг — у вас за спиной: это кайзер и немецкие капиталисты — у немецких солдат, царь и русские капиталисты — за спиной русских солдат. Против этих поворачивайте штыки, против своих правительств, каждый против своего. Война — войне!

Большевизм уже бушевал в крови народа.

Не проходит и года войны, как слово «братание», данное Лениным, брошенное в окопы, замалчиваемое печатью, но с тревогою и злобой отмечаемое в тайных донесениях военных властей, начинает ходить в народе.

И не тогда ли впервые, в грозные дни девятьсот пятнадцатого, в сердцах пахарей и рабочих, одетых в серые шинели, сперва глухой, подавляемый, зародился вопль неистового гнева и мести: «Хватит, попили нашей кровушки!»

А *те*, а те все еще не хотели видеть, слышать и понимать, что уж весь народ русский, народ земли и труда, народ мозолистых рук и рабочей неискоренимой правды в сердце, ощутил наконец, почуял, стал прозревать истинную подоплеку войны — чудовищную и мерзкую!

Под все нарастающими, неотвратимыми накатами бушующего народного моря уж ползли, оплывали, начали давать трещины вековые устои царского трона, который, казалось, вот-вот опрокинется и рухнет в пучину.

И тогда русская буржуазия, блудливо-либеральная и царепоклонная, в своем самодовольном упоении думской трибуной, пришла к вынужденному нарастающей катастрофой решению — «возроптать»: «*Мы* будем говорить, дабы народ молчал!..»

И самое ужасное для царя в этом думском ропоте было то, что возроптала именно эта Государственная дума, четвертая по созыву, — Дума землевладельцев и промышленников, дворян и купцов, Дума, до краев переполненная кадетами и монархистами, с ничтожной горсткой трудовиков и меньшевиков и буквально с каким-нибудь пятком депутатов от РСДРП — Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков.

Но как раз эти-то последние в первый же год войны изъяты были из состава Думы как государственные преступники и наиопаснейшие смутьяны. И законопослушная Дума покорно позволила, чтобы у нее на глазах думский пристав вывел из самого зала заседаний большевика-депутата Петровского. И, погалдев, смирились «народные избранники»!

Когда же изъята была вся большевистская пятерка РСДРП и, согласно законам военного времени, ее закатали в Сибирь, то лишь вздохом злой радости и облегчения встретило думское большинство этот приговор: еще бы, призыв к государственной измене — дело не шуточное!

Вот в кулуарах Таврического дворца останавливают один другого двое парламентариев. Оба — упитанно-плотные, кудластые, однако отлично выбритые, при галстуках, в белоснежных накрахмаленных манишках, в дурно сшитых сюртуках. Видно, что эти — не из числа лидеров: рядовики. Густое оканье выдает в них представителей из каких-нибудь северо-восточных окраин. Провинциальная важность: ну как же — депутаты Государственной думы! И похоже, что из купцов или промышленников: у одного на пальце массивный золотой перстень с печаткой. Петербуржец бы не на-

дел! У другого под мышкой — желтый шагреневый портфель.

Происходит это как раз близко тех дней, когда стал известен приговор, вынесенный большевикам-депутатам. И естественно, что сразу же об этом и разговор.

Говорил больше тот, что с портфелем, как видно гордящийся своей осведомленностью, а другой только вставлял реплики, спрашивал да возмущался поведением арестованной пятерки.

— Нет, вы подумайте только! — Это говорит с портфелем. — Ведь эти господа хорошие, вся, как есть, арестованная пятерка: Муранов, Петровский, Шагов, Бадаев и этот — как его? — Самойлов — они же только прикидывались депутатами Государственной думы, да, да! Здесь, в Таврическом, среди нас, они, видите ли, депутаты, парламентарии, правда не слишком корректные на трибуне, но это дело понятное, все они выходцы из рабочей среды, и не за это же сцапали голубчиков! А ужас в том, что они, будучи членами Государственной думы, оказывается, нелегальную пропаганду вели! Как вам это нравится?! Они же все, эти ленинцы из РСДРП, они же ведь подпольную агитацию изволили совмещать с думской деятельностью. И после этого кричат о депутатской неприкосновенности! Нет, что-нибудь уж одно: или ты — парламентарий, или ты — злостный подпольщик! Перед нами, видите ли, в Думе, они — наши коллеги, сочлены, а вне стен ее у них все другое. Конспирация. Партийные клички. Явочные квартиры. Пароли. Переодевания, парики! И едва они вышли из зала заседаний, как сейчас же они, видите ли, уже не члены как-никак всероссийского парламента, а прежде всего — члены нелегальной антиправительственной организации и творят только волю пославшего их, волю своего центрального комитета. Дисциплина у них, батенька, железная. Да они и с думской трибуны должны были, оказывается, только то и говорить, что им напишет из-за границы их Ленин!

И, потрясая выдержками из обвинительного акта и речей прокурора, из заявлений самих подсудимых, выхватывая эти бумаги тут же из портфеля, продолжает:

— Подумайте! Забывая о своем депутатском достоинстве, переодетые, проникали на фабрики, в казармы даже и агитировали за свержение! Суд с несомнен-

ностью установил: вся эта пятерка ленинцев объехала со своей пораженческой пропагандой чуть ли не всю Россию.

Депутат с перстнем осклабился, пренебрежительно махнул рукой:

— Ну, насчет мира с Германией без аннексий и контрибуций — этой проповеди мы и здесь, в самой Думе, можем наслушаться. Об этом теперь у нас и старый ворон Чхеидзе каркает невозбранно, с думской нашей трибуны, к позору нашему, и другой наш меньшевичок, ну, этот заика сладкогласный, щеголек Скобелев, пока Родзянко — слон старый! — не очнется, не погонит их с трибуны.

Депутат с портфелем нахмурился, недоволен, и разъясняет:

— Нет, нет, батенька, мир без аннексий и контрибуций для Муранова, Петровского со товарищи — это лозунг поповский, лицемерный, видите ли. Они в своей прокламации так именно и выражаются. Мира с Германией им мало: наш, мол, лозунг, пролетарский — это гражданская война. Надо, дескать, повернуть оружие против *своего* правительства, против *своей* буржуазии. Вот они чего, голубчики, захотели! Однако надо отдать им справедливость, смелые, отчаянные парни: им ведь смертная казнь грозила. Прокурор яростно требовал.

— Да и следовало бы!

— Что вы, батенька, как можно! Правительство наше и не посмеет: а какое, мол, это впечатление произведет на демократические круги наших союзников, казнили-де членов законодательной палаты!

— Столыпина бы нам теперь!

— Увы!

— И что же, сознались они в своей преступной деятельности?

— О, как же! Цинично, беззастенчиво. Этот ихний Муранов — видать, коновод — так прямо и заявил: да, агитировал против войны, за свержение царского строя! Оказывается, изъездил весь Урал. Звал к превращению империалистической войны в войну гражданскую. Прокурор ему: «А вы понимали, что вы делали?» — «Да. Я понимал, что я послан народом в Государственную думу не для того, чтобы просиживать думское кресло. Мы знаем, что ваш суд беспощаден. Это есть суд господ-

ствующего класса, не суд, а расправа. И пощады не просим!»

— Мерзавцы! А что прокурор?

— А прокурор — молодец! Вот у меня выписка из стенограммы. Послушайте. — Снова расстегивается желтый шагреневый портфель. Вскидывается на нос пенсне. — Отчитал он их здорово: «Германские, говорит, социал-демократы вотировали военные кредиты, оказались друзьями своего правительства. Не пошли против своего кайзера. Социалисты Бельгии и Франции дружно забыли свои раздоры с другими классами, отбросили прочь свои разногласия с правительством и распри и дружно стали под национальные боевые знамена. Сколько их добровольно вступило в ряды армии, сколько их с честью отдало свои жизни за родину, на полях битв!.. А вот наши печальные рыцари русской социал-демократии, они предпочли быть не на скамье депутатов Государственной думы, а на скамье подсудимых! Что ж, они сами выбрали свою участь!»

— Здорово! Здорово! Молодец прокурор! И тут бы им веревочку намыленную. Не смей в военное время бросать братоубийственные призывы! По крайней мере, хорошо, что изъяли. Не посмотрели на депутатскую неприкосновенность. Надо бы и этого адвокатишку Керенского, Чхеидзе, Скобелева — всех этих трудовичков и меньшевичков думских — туда же, в Нарым, в Нерчинск: пускай хоть там поработают на оборону, с кайлой в руках! Без всех этих господ у нас, в Государственной думе, куда легче дело пойдет!

— А там, бог даст, и государь переломит себя, пообмыслит, преклонит высочайший слух свой к голосу никогда не изменявшей ему Думы, соизволит наконец даровать стране министерство общественного доверия!

А он и впрямь вдруг да и переломил себя!

Девятого февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года, в два часа дня, государь император всероссийский «соизволил прибыть» в Государственную думу. Это было как раз в день возобновления ее занятий, прекращенных, казалось, уж навсегда.

Дума уже считала себя бесповоротно разогнанной — слухи об этом из Царского Села доходили, — и вдруг,

и вдруг... Событие это ошеломило не только депутатов.

Известно стало, что почти до самого выезда в Думу Николай ухитрился скрыть эти свои намерения и от своей «венценосной супруги», и от... Распутина.

И это, пожалуй, было самое потрясающее в его поступке.

С царицею, когда она узнала о решении мужа, уже не подлежащем отмене, произошел страшный истерический припадок. Она слегла.

Старец грозился гневом господним, предрекал беды.

Но уже поздно было что-либо изменить: царский указ о созыве Государственной думы был уже обнародован. Депутаты выслушали его стоя, в присутствии царя. Указ гласил:

«На основании статьи девяносто девятой Государственных законов повелеваем: занятия Государственной думы возобновить девятого февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года. Правительствующий сенат в исполнение сего не оставит учинить надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною его императорского величества рукою подписано: Николай.

В Царском Селе двадцать восьмого января тысяча девятьсот шестнадцатого года».

Царь прибыл на открытие Думы не один: его помимо свиты сопровождал — опять-таки неожиданно для всех — его родной брат великий князь Михаил Александрович.

И этому обстоятельству также придавали особенное и весьма благоприятное значение. О государевом брате знали: пока на свет не появился наследник — цесаревич Алексей, а все были у царя дочери и дочери, то в силу законов российских о престолонаследии наследником царского престола считался и был объявлен именно он, Михаил.

В думских кругах говорили, что в нем и тени нет византийского тихого вероломства, столь свойственного Николаю, и что если *этот* будет царем, то утвердит в России настоящую, неотъемлемую конституцию и никогда на нее не посягнет, не то что царствующий его брат.

Особенно лелеяли эту мечту кадеты.

Известно было и то, что царица ненавидела государева брата, и еще — что он брезглив к Распутину.

Так что-нибудь да значит, коли оба брата вместе прибыли в Думу, которой закрытия, что ни день, требует царица, наущаемая старцем.

С царем прибыли также: министр императорского двора, престарелый барон Фредерикс, дворцовый комендант свиты его величества генерал Воейков и дежурный флигель-адъютант Свечи́н.

Открытые, длинные, сверкающие серебром отделки и стеклами, заграничные царские машины остановились у главного подъезда Таврического дворца.

Родзянко и старейшины Государственной думы верноподданнически встретили царя.

«Высокие гости» проследовали в Екатерининский зал, где имел состояться торжественный, по случаю взятия русскими войсками Эрзерума, благодарственный молебен.

Присутствовал весь дипломатический корпус.

Истово крестился лысоватый, изможденный Сазонов.

Впереди всех стоял, на почтительном отдалении, окруженный свитой и депутатами, невысокий, подобранный полковник, одетый в простую, солдатскую, но только особенного покроя и тонкого сукна защитного цвета рубаху, с беленьким крестиком офицерского «Георгия» на груди. Он синеглаз, лет пятидесяти, с мягкими, пшеничного цвета, довольно пышными усами, сомкнувшимися с рыжеватой округлой бородкой и лишь на самых кончиках гвардейски взбодренными. И эти усы, и эта бородка придают его лицу какой-то добродушно-лукавый, почти крестьянский вид.

Темные волосы над крутым, выпуклым лбом причесаны на обычный косой офицерский пробор. Пробивается седина. Лучики морщинок — гусиными лапками возле глаз, на висках.

Царь молится, как всегда: благоговейно и сосредоточенно, но не чересчур, а с не изменяющей ему сдержанностью и «чувством меры благовоспитанного человека».

Михаил стоит чуть позади него. Он — в черкеске с золотыми генеральскими погонами, высокий, стройный, длиннолицый, тщательно выбритый, моложавый. Толь-

ко старит его и еще больше удлиняет его кавказского типа лицо пролегшая посреди головы к затылку узкая лысина.

Он тоже крестился, но реже, чем царь, и как бы парадно, в силу необходимости.

Заметили, что царь бледен чрезвычайно. Губы его подергиваются. Время от времени, повинуясь навязчивому своему тику, не замечая этого, он дотрагивается правой рукой до ворота гимнастерки, словно бы он тесен ему.

В левой, вытянутой книзу руке он держит перчатки и фуражку, и рука эта то и дело сжимается.

Да! Он полностью понимал, какой шаг был совершен им сегодня! Ведь за все время своего царствования, с тех пор как принужден был двадцать седьмого апреля тысяча девятьсот шестого года созвать I Государственную думу, это впервые царь прибыл в Думу, а не она к нему! Доселе господа народные избранники перед открытием думских работ должны были являться в Зимний дворец на поклон, дабы выслушать напутственное слово своего монарха.

И вот он сам пожаловал сегодня к ним, сам открывает Государственную думу!

После молебна царь держал слово к ее членам.

Трудно выходили из его сдавленного волнением горла приветственные слова, ох как трудно! Речь его пресекалась. Заметно было, как вздрагивает левая его рука, сжимая фуражку и перчатки. Правая, как бы в легкой ритмической судороге, нет-нет да и схватится за широкий пояс.

— Господа члены Государственной думы! Мне отрадно вместе с вами вознести господу богу благодарственные молитвы за дарованную им нашей доблестной России и нашей доблестной армии на Кавказе славную победу.

Счастлив также находиться посреди вас и посреди верного моего народа, представителями которого вы являетесь.

От всей души желаю Государственной думе плодотворных трудов и всякого успеха!..

Боже, что поднялось! Потрясавшийся некогда пирами и оргиями светлейшего князя Тавриды Потемкинский дворец, некогда на полтора столетия заглохший,

теперь гремел от громового «ура», от возгласов неистового и сладостного для самих орущих, внезапно прорвавшегося верноподданнического восторга господ депутатов.

Кричали не только Марков-второй, Пуришкевич, Шульгин, Левашов — кондовые монархисты, — орали «ура» и октябристы, и кадеты, и некоторые из меньшевиков, благо по голосу в общем реве и возгласах не узнаешь, кто именно орет.

Но голоса всех покрыл органный, глубокий, стенопотрясающий бас самого председателя Государственной думы — слоноподобного, с большой, коротко остриженной головой, Михаила Александровича Родзянко.

Он и выступил от имени всех с ответным словом государю:

— Ваше императорское величество! — Тут в голос его пробились слезы. — Глубоко и радостно взволнованные, мы все, верноподданные ваши члены Государственной думы, внимали знаменательным словам своего государя. Какая радость нам, какое счастье: наш русский царь — здесь, среди нас!

Великий государь!

В тяжелую годину еще сильнее закрепили вы сегодня то единение ваше с верным своим народом, которое нас выведет на верную стезю победы.

Да благословит вас господь бог всемогущий.

Да здравствует великий государь всея Руси!..

И едва он окончил — снова несмолкаемое, восторженное, верноподданническое «ура».

Высясь головою над всеми, Родзянко, как перед хором, взмахнул руками, и господа депутаты запели «Боже, царя храни».

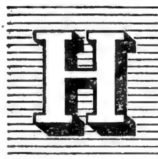
Да! Не было здесь на эту пору большевистской пятерки депутатов: не так бы закончилась эта встреча!

...В эти самые дни там, в Сибири, на далеком Тоболе, Арсений Тихонович Шатров читал вслух своей Ольге Александровне сообщение об этой встрече царя с Думой. Вдруг газетный лист задрожал у него в руках, голос набух слезами, и он вынужден был отложить газету. Жена с тревогой вскинула взор на него. Потом поняла все и молча ждала, ни о чем не спрашивая, когда он заговорит сам.

Помолчав, Арсений Тихонович справился со своим душевным волнением. Он торжественно выпрямился. Взор его был устремлен над ее головою куда-то вдаль, словно бы взором этим он пытал грядущее. Истово перекрестился. И с такой тоскою, с такой требовательной, неотступной верой вдруг вырвалось у него:

— Поумнел! Он решительно поумнел. Господи, неужели Россия будет спасена?!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ


евесел, временами угрюм стал Костя Ермаков. Не слыхать стало и на плотинных работах его шуток с беженками — девчатами из Белоруссии, все еще не по-сибирски застенчивыми, а с ним, с Костей, бойкими на ответ и неожиданно шустрыми.

Не слыхать стало и притворно-сердитых его пóкриков на несмелых возле водосвала, нерасторопных на плотине, долговязых выростков, которые теперь, чуть ли не сплошь, позаменяли на шатровских помочáх опытных своих отцов, ушедших в солдаты.

А его, этого ясноглазого паренька, с белыми, как лен, волосами, вечно развеянными быстротой его движений, румяного и коренастого, со звонким хохотом и шуткою на устах, больше всего и любили на мельнице как раз за эту его приветливость и веселость. Костенька-Веселая Душа — такое ему и определение вышло от всего здешнего люда.

Так что все заметили в нем перемену. А вперед всех, конечно, сам Арсений Тихонович Шатров. Да он и причину, не сомневаясь, подозревал.

У Шатрова был обычай: со служащими, в которых полагал ближайших своих помощников, с теми всегда и при всех обстоятельствах — полная искренность отношений: «Не хочешь служить — скажи, отпущу по-хорошему. Обидел я чем тебя — не таи: исправлю. Горе какое, беда — поведай хозяину: доброму работнику в поддержке никогда у меня отказа не будет!» Так и говорил.

А здесь причину Костиной угрюмости и тоски считал настолько самоочевидной, что откровенности от него и не ожидал. История с братом Семеном, конечно!

И решил объясниться.

Был конец сентября. Выдалось несколько сухих деньков, и на плотине и у дворцов шли кое-какие работы: и земляные и плотницкие. Заправлял ими Костя.

Перейдя большой мост, хозяин окликнул Константина, позвал его и пригласил пройтись, побеседовать.

Они вышли в поле, на левый берег Тобола. Пошли межою, среди жнивья, к Маленькому борку. Словно темный, заколдованный замок на островке, высился он, и впрямь маленький, этот борок, со всех сторон объятый ровными и уже пустыми полями. И как-то странно светлы и огромны в своей осенней пустынности стали вдруг эти поля, еще недавно веявшие спелым колосом пшеничных нив и загроможденные то там, то тут головищами тыкв и арбузов. Дул порывами ветер. И при каждом его порыве, словно бы обрадовавшись этому простору и свету и невозбранной возможности движения в любую сторону, куда только хочешь, вдруг срывались с места огромные, легкие клубы перекати-поля, неизвестно откуда взявшиеся, и, рождая даже легкий испуг в человеке, бешено и во множестве катились, неслись, догоняя друг друга. Как будто некие незримые существа вышли на приготовленное для них поле и тешатся игрою.

Ступая рядом с Шатровым, предчувствуя всю важность и трудность предстоящего неминуемого разговора, Костенька Ермаков все ж таки не мог и сейчас удержаться, чтобы с полуоткрытым ртом не испускать время от времени затаенный вздох мальчишеского азарта и восхищения всякий раз, когда эти самокатящиеся огромные шары проносились мимо него взапуски. Будь он один, конечно бы, кинулся догонять!..

Арсений Тихонович видел в нем это, и такой вдруг болью и жалостью к нему проникнось все его сердце, что он подумал: «А может быть, и не надо? Отложить этот разговор. Изживется. А нет, так пускай сам начнет».

Но тотчас же и попрекнул себя в слабости душевной и заговорил:

— Вижу, Костенька, что не в себе ты ходишь! И знаю почему.

Они остановились лицом друг к другу.

«Да! Видно, угадал!» Костя весь вспыхнул. Вид у него был захваченного врасплох. Он вскинул руками — жалостно, умоляюще:

— Арсений Тихонович, только, ради Христа, никому про это!

Шатров наклонил голову. Бережно выбирая слова, проговорил:

— Я понимаю, понимаю, друг мой! Знаю, что тебе страшно тяжело: родной брат, старший брат притом. Скорбно! Я, выходит, перед тобой — человек, оскорбивший твоего брата. Ну, а ты думаешь, мне легко так поступать было с ним?!

Он возвысил голос и твердо глянул ему в глаза. И вдруг в крайнем изумлении увидел, что на лице Константина совсем, совсем не то выражение, которое он ожидал увидеть. И невольно смолк.

А у Костеньки и растерянность вся прошла, и даже как будто усмешка, отнюдь не скорбная, тронула губы. Он весь подался в сторону Шатрова, двумя руками охватил его руку и глазами, наполнившимися вдруг слезами растроганности, а может быть, и боли душевной, встретил взгляд хозяина:

— Арсений Тихонович! Да вы о чем это?! Об этом мерзавце-то, о подлеце, о Семене?! Да какой он мне брат после таких гнусностей своих! Гнушаюсь я им: такое над народом творить! Жалко, меня о ту пору не было: я бы и сам к его роже руку приложил! Посылал он за мной: проститься. А я и не поехал. И не мучьте вы себя этим, Арсений Тихонович! Да разве бы я, если бы зло на вас держал, терпел бы столько? Я ведь без хитростей живу. Не смолчал бы!

Задохнулся. Чувствовалось, что еще, еще что-то хочет сказать. Набирается слов. Все еще держал руку Арсения Тихоновича.

Шатров ждал. И Константин такими словами закончил этот их разговор:

— Да! Вы правильно сказали: скорбно мне, скорбно. Этак он осрамил семью нашу. Отца нашего покойного, вы сами знаете, в деревне как почитали! Разве бы тятенька стерпел такое его охальство? Да он бы сам с ним... управился. Но мне одно тó утешение, что средний наш Ермаков, Степан, этот кровь свою за отечество отдает. Я же вам сказывал.

Степану Георгиевский крест, солдатский, даден, за подвиг... А этот... Нет, Арсений Тихонович, и не беспокойте себя никакими мыслями. И давайте говорить больше не будем про то. С такими только так и поступать!

На другой день после его разговора с Шатровым Костя с десятком одноконных подвод вел с плотины отсыпку: накануне, обследуя, он обнаружил начавшуюся было опасную водоточину.

На работах был все так же молчалив и угрюм. Прежде он шуткой, смехом сперва укорил бы и приободрил робкого с лошадью у воды парнишку-подводчика, а потом, переняв из его рук повод, показал бы ему, как надо — ловко, стремительно! — подворотить передок телеги, приопрокинуть ее и затем мгновенно, на извороте, пока еще бухают с нее в мутную, пенящуюся воду последние дерновины или рушится бульбулькающий сыпень земли, успеть гикнуть на лошадь, хлестнуть веревочной вожжой и вместе с опорожненной телегой, ставшей опять на все свои четыре колеса, лихо вынестись в гору.

А сейчас Костя лишь страдальчески морщится и нехотя выговаривает ему за оплошность, когда оробевший возница сваливает свой груз не в воду, а на плотину. Скажет что-либо вроде: «Экий ты росомага, братец!» Или: «Какой же ты неулака! А ведь в солдаты скоро пойдешь!»

И спокойно, молча покажет на следующей подводе, как надо оборачиваться.

Вот и сейчас он молча взял под уздцы очередную лошадь на спуске, отстранив ее хозяина, и уж хотел проделать все до конца сам, как вдруг вздрогнул и словно застыл, подняв голову и глядя на дальний, за большим нижним омутом, берег, где по самому краю пылил проселок. Потом словно бы зарница обошла ему лицо — такая вдруг радость засияла на нем!

Он торопливо сунул повод снова хозяину лошади, мальчугану:

— Давай, давай пошевеливайся! А то ведь ты лошади боишься, а лошадь — тебя!

Он сказал это по-прежнему: весело и необидно.

Кругом засмеялись.

Но только это он и успел сказать: с быстротою и проворством оленя он вынесся на гребень плотины, приостановился и еще раз глянул на тот берег за омутом из-под щитка ладони.

В полуверсте примерно, по проселку нешибкой рысцой ехал всадник.

«Успею или не успею? — Он мгновенно прикинул: — Если кругом, то не успею».

Там, где корень плотины округло примыкал к тому берегу, образуя с ним огромнейшую и глубокую котловину, на дне ее разрослась темная и густая — не продерешься! — ветляная роща, насаженная когда-то Шатровым, дабы укрепить берег.

Это место звалось Страшный Яр. Ходить там побаивались. Но Костя и сейчас любил вспоминать, как совсем еще мальчонкой он, преодолевая страх, спускался в эту сырую и темную падь, когда приходило время драть хмель, и надирал его там целые мешки. И страшно этим гордился.

Огибая дно этой котловины, над самым урезом воды пролегала давно уж не хоженная, перебитая оголившимися от земли корнями, болотистая тропинка. Ею иной смельчак и теперь сокращал путь, когда хотел быстрее выйти на проселок. Она была гораздо короче верхнего пути, как тетива короче дуги лука.

По ней-то и кинулся сейчас Костя, чтобы успеть перехватить всадника.

И успел!

Впрочем, завидя его, бегущего навстречу, всадник сам остановил коня.

Это была Вера.

Подбежав, он ухватился левой рукой за переднюю луку седла — отдышаться, а правой принял протянутую ему руку и, сам не зная, как произошло это, поцеловал. Но можно было подумать, что и не поцеловал, а только невольно ткнулся лицом — с разбегу.

Верочка принахмурилась, но ничего не сказала.

Удивляться надо было его зоркости: ка́к только он мог признать ее в этом всаднике, да еще и за полверсты! Ее и вблизи-то не вдруг можно было признать: она сидела верхом по-мужски и в мужском наряде! На ней был легкий, осенний, изящного покроя чекменек с перехватом, вроде казачьего, с каракулевой кое-где опуш-

кой, и казачьего же вида маленькая папаха из серо-голубых, «с морозцем», смушек.

Черная челка ее лихо выбивалась из-под шапочки, тугие яблоки-щеки рдели — от езды ли, от встречи ли, темные большие глаза сверкали.

— Костя, как это вы узнали меня?! — Это было первым ее вопросом.

— А вот узнал...

И ничего не посмел сказать больше, а только просунул руку под косматую черную гриву гнедого ее коня, в жаркое подгривье, и ласково потрепал его шею:

— Ого! Под гривой у него, как в печке: гнали?!

— Что вы! Разве я не знаю... Костя, только вы осторожнее с ним: он ведь у меня страшно злой, может так хватить зубами!.. Он — киргизский, степной породы. Я его Киргизенком и назвала. Он чужих близко не подпускает. Его с поля каждый раз изловом берут — не дается! А меня знает, на один мой голос бежит! А вы с ним поосторожнее!

Конь, однако, не обнаруживал в отношении Кости никаких злых посягновений. Только звонко грыз удила да косился налитым кровью оком.

Верочка сочла нужным удивиться:

— Смотрите, Костя: вы его гладите, и он ничего!

— А лошадь всегда знает, кто его хозяина... кто его хозяину друг!

— Ах, вот как?! — И накопившееся в ней озорное электричество, подавленное внезапностью встречи, прорвалось. Она рассмеялась испытующе и лукаво: — А что же вы... падеж переменили?

Он молчал.

Со свойственной ей быстротой перехода она опять сделалась строгой:

— Все-таки я нехорошо поступаю: говорю с вами, сидя на лошади. Как будто вы — пленник или слуга!

И прежде чем успел он ответить, она уже соскочила на землю.

И, не давая ему словечка вымолвить, принялась хвастаться и конем, и своими познаниями в езде, в седловке и во всем, что относилось до лошадей:

— Он совсем молодой, посмотрите: все чашечки целы, не стерлись.

С этими словами она быстро, и впрямь умело, заставила лошадь раскрыть пасть и глубоко показать зубы:

— Видели?

Костенька ничего не видел, но сказал — да. Тут же сознался в полном своем невежестве по конской части:

— А я думал: киргизская лошадь — она только в пристяжных ходит... вот как у Шатровых.

— А вы не думайте! — И тут же она совсем осмелела: — Вы знаете, какой у него бег? Ого! А сила какая, выносливость! Рысью я на нем тридцать — сорок верст могу сделать: я устану, а он — никогда!

— Верочка, но ведь рысью, наверно, тряско? На иноходце спокойнее.

— А! Не терплю я иноходцев. Что я — попадья?! — И она, двигая ладонью вправо-влево, насмешливо показала, как покачивает всадника иноходец.— А мой Киргиз — огонь, зверь!

— А не опасно? Сила же какая нужна — справиться с ним!

Она усмехнулась:

— Сила? А в кого мне хилой-то быть? Папаша мой на пари рублевики серебряные голыми руками ломает!

— Да что вы?

— Вот... А вы говорите! — И спохватилась: — Что же это мы стоим? Мне времени терять нельзя: я сегодня же и обратно. Идемте.

— Как — идемте? Вы садитесь на свою лошадку.

— А вы?

— А я пойду рядом.

— Нет, так не годится. Пеший конному не товарищ.— На мгновение задумалась. Выход был найден: — Костя! Он же очень сильный, он свободно выдержит нас двоих: хотите — в тороках?

Шатров был дома один. Поздоровавшись и отступая в сторонку, Костя сказал:

— А я вам гостью привел, Арсений Тихонович.

И тогда из полутемной прихожей в столовую выбежала Вера.

— Здравствуйте!

И, на мгновение окинув руками шею Шатрова, при-

встав на цыпочки, по-родственному его расцеловала в щеки. И отступила. И, зардевшись, потупилась.

Шатров, отечески, радушно улыбаясь, осмотрел ее с ног до головы.

— Совсем казачонок! Да-а, Емельян Пугачев от такого адъютанта не отказался бы! Ты одна?

— Одна.

— Так...

И ничуть не удивился: знал он ее, Верочку Сычову, — знал еще, когда она под стол пешком ходила, а со временем, как, впрочем, все близкие к семье Сычовых, успел привыкнуть ко всем ее мальчишеским выходкам.

— Ну, адъютант Пугачева, раздевайся, садись отдыхай. Я распоряжусь насчет обеда.

Костя хотел попрощаться и уйти. Шатров ласково положил ему руку на плечо и удержал:

— Да полно тебе, успеешь. Не велика там работа! А мне сейчас все равно надо сходить на крупчатку: как там *новый-то* у меня? А ты позанимай гостью. Через час — обед.

Он вышел в прихожую, но тотчас же вернулся, уже в темной шляпе с большими полями и в кожаной распахнутой куртке,— вернулся, чтобы спросить:

— А как же тебя из гимназии отпустили?

— Захворала мамаша. Меня и отпустили на несколько дней. Начальница у нас строгая, но она очень добрая.

Заодно объяснила, что примчалась она к Шатровым за Никитой Арсеньевичем. Посылали нарочного сперва в Калиновку, в больницу,— сказали, что уехал. А нарочный — бестолковый: не спросил даже, куда уехал.

— Никита — в городе. Ольга Александровна срочно вызвала его на консультацию в госпиталь свой. Ну а о Сергее, о Володе ты знаешь: там, где им надлежит быть.

В этих словах Арсения Тихоновича Вера ощутила упрек.

Он ушел.

Она легкой ступью, чуть прискальзывая на цыпочках, пронеслась по всем комнатам, из двери в дверь, будя голосом эхо пустынного и по-осеннему светлого зала. Раскрыла рояль, прошлась пальчиками по клавиатуре и вдруг загрустила.

— Костя, пойдемте в сад, к *нашей* ветле.

В саду пахло осенью. Студеный Тобол голо и хмуро, жестким каким-то блеском просверкивал сквозь поредевшую листву тополей: словно бы недоволен был, что вот смотрят, как стынет, стынет он, готовясь скрыться под ледяным, зимним своим покровом.

Они — у своей ветлы.

— Костя!

— Да?

— А помните, как вы качали меня на этой ветле и как мне влетело из-за вас от мамаши?

— Помню, Верочка.

— Костя...

— Да?

— А ведь, возможно, мы с вами видимся в последний, в последний раз!

У бедняги заныло сердце.

— Верочка, это почему?

Покачивая *их* ветку, она молча смотрела вдаль, давая глазам своим наполниться слезою. Потом сказала голосом обреченности:

— Я не вернусь в гимназию.

Он переменился в лице:

— Почему?! Верочка... а куда же вы? Что же вы хотите сделать?!

Она печально взметнула брови.

— Я... ухожу на фронт... Буду сестрой милосердия.

В Калиновке, заехав сразу на квартиру к Матвею Матвеевичу Кедрову, Костя не застал его дома: писарь работал в волостном, хотя день был и неприсутственный — воскресенье.

На стук железным кольцом в калитку наглухо запертых ворот вышла на пустынно-песчаный, поросший мелкой кудрявой травкой заулок сама хозяйка — вдовая попадья, а теперь просвирня калиновской церкви, Анфия Петровна — седая уже, грузная женщина с пытливым, настороженным взглядом.

Но, узнав Костю — одного, так сказать, из шатровских,— она встретила его приветливо и даже проявила необычайную словоохотливость:

— В волостном, в волостном он, батюшка наш Матвей Матвеич. Я и то говорю ему однажды: «Видать по

всему, Матвей Матвеич, вы есть человек верующий; а ведь в воскресенье-то работать грешно: седьмой же день, говорю, господу богу твоему!» А он мне: «Это, дескать, в Ветхом завете сказано; а что Христос сказал, когда укорили его фарисеи, что зачем он исцеляет в субботу: что́ должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Чтите, говорит, сие, Анфия Петровна, в Евангелии от Луки». И даже стих сказал какой! Я прямо-таки дивлюсь такому человеку: я вот священнослужителя, иерея, вдовая жена, а и то не помню, где что сказано. А он, писарь волостной, человек интеллигентный, и, смотрите вы, всю Библию чуть не на память знает! «Так вот, говорит, у меня в воскресенье — солдатский день: пособие выдается солдатским семьям. Потому что в будний-то день народу и вздохнуть некогда: сами знаете. Авось, говорит, Анфия Петровна, не осудят меня на том свете за это, а? Как вы думаете?» Ну, где ж там осудить такого человека!

Голос просвирни пресекся от растроганности, и она смолкла.

Костя терпеливо ждал, когда она отпустит его. Но она сочла нужным поведать ему и про другого своего жильца, прежнего, который, подобно Кедрову, снимал у нее весь верх полукаменного ее дома, но уж совсем, совсем был другой человек. Она и до сих пор не могла простить ему обиды, которые он наносил ей.

Это был фельдшер больницы, человек семейный: жена и трое детей малых.

— Да вот, не понравилось ему, что у меня там, в парадной комнате, на кивоте — вот увидите сами — икон уж очень много понаставлено. Да еще и лампадка неугасимая, и днем и ночью: по обету. «Что, говорит, это, Анфия Петровна, уж очень много богов-то у вас наставлено, нельзя ли сократить некоторых? Да вот и лампадка ваша: не можете ли вы ее к себе перенести? Ведь сколько она кислороду-то пожирает, а у меня здесь детки спать будут!» Ах ты, думаю, чёмер бы тебя взял! Да в ту же зиму ему и отказала: «Извольте искать другую квартиру!» — «Да где же я ее найду? Таких домов, как ваш, говорит, во всей Калиновке больше нету. Что же вы меня среди зимы, можно сказать, на снег, и с малыми детьми, выгоняете!» А я ему: «Ну, ин там кисло-о-ро-ду много!»

И она в лицах изобразила перед Костей весь свой разговор с фельдшером-вольнодумцем.

— Ну, а Матвей Матвеич?

Просвирня даже глаза закатила и восторженно пропела:

— Ну-у! Об этом человеке такое спрашивать! Да он даже и не заикнулся! А напротив: увидал у меня Библию да и выпросил к себе: книга, говорит, исключительная. И сейчас у него — на особом столике, вот увидите... И вообще сказать: ведь уж сколько время он квартирует у меня, а и единой вещицы в комнате у меня не переставил, не перешевелил. Случись, уедет — не дай бог, конешно! — и все как до него было, так и после его останется: не шевелено. Вот он какой есть человек! Ой, да заговорила я вас! А вы заведите-ка лошадку во двор да и прогуляйтесь к нему в волость.

Костя так и сделал.

Волостное правление помещалось в приземистом, побеленном, каменном многооконном здании, словно бы вросшем в пески.

Как войти, направо, в холодных сенках с запахом сургуча и чего-то нежилого, казенного, виднелась источенная временем несуразно-толстая деревянная дверь, перепоясанная толстыми железными полосами. В проушину дверного пробоя и в кольцо железной наметки, схватывая их, пропущена была дужка навесного замка, похожего на гирю. В двери был глазок, без решетки, но такой узкий, что к нему можно было только припасть глазами, а руки не просунуть.

Костя с любопытством приостановился: так вот она какая, эта волостная «каталажка», «чужовка», а попросту говоря, тюремный чулан для провинившихся мужиков.

Там кто-то был: изнутри припали к дверному окошечку чьи-то глаза. Невольно вспомнилось, как в детстве пугивал его дед: «Не озоруй! А то пришлет стражника урядник: «Кто тут озорничает?» — «Костя Ермаков». — «Ага! Давайте-ка я его в чужовку запру!»

Хриплый голос оттуда громким шепотом окликнул Костю:

— Паренек! Нету ли у тебя на цигарочку табачку?

— Нету, брат.

И как же он пожалел в тот миг, что он — некурящий!

Крепкая, в желто-бурый, казенный цвет покрашенная дверь в присутственную комнату волостного правления была почему-то заперта изнутри на крючок. Костя несмело потянул за холодную скобу, до сверкания натертую множеством мозолистых мужицких ладоней, и отошел: стучать, дергать не посмел — решил обождать, пока откроют.

Волостной писарь Кедров давно уже приучил свою волость к такому порядку. До него было не так: входил всякий и в любое время — присутственное и неприсутственное. Если волостное начальство заседало — усаживались на скамьи и ждали. А кому же приятно, ежели ты пришел к своему волостному писарю или к старшине с какой-либо своей болью, жалобой, нуждишкой, а тут сидят и глазеют на скамьях соседушки твои или совсем чужие! Как тут выложишь тайное из души? Поэтому и мужики, и солдатки, и увечные воины, и судиться пришедшие одобряли такой распорядок: что иной раз и при закрытых дверях примет их, и выслушает, и совет даст Матвеич. «Идешь к нему, как все равно на исповедь: если что у тебя такое-эдакое, то уж будь благонадежен, сохранит твое дело в секрете. А случись беда — без совета, без помоги человек от него никоторый не уходил!..»

Должно быть, и сейчас *тайное* нечто выкладывает в слегка высунутый ящик писарского длинного стола под зеленым сукном этот коренастый увечный солдат, с похожей на окорок, толстой и неуклюжей деревягой вместо правой ноги. Только не из души выкладывает, а... из этой самой деревяги!

Деревяшка внутри пустая, долбленка. Хитро устроенная в шаговой боковине выдвижная дощечка, чужому глазу и незаметна, обработана под одно.

Увечный солдат выложил в стол писаря два нагана. С горделивою радостью слегка прищелкнул языком:

— Вот это — штучки! Офицерские: самовзводы... Фронтовички́-землячки́ с собою привезли. Есть и винтовки: на дальней пашне, в избушке зарыты. Не беспокойтесь: в полной сохранности будут. Достанем, как час придет!

Кедров на это ничего ему не сказал. Но вот из дупла деревянной ноги солдата выложен плотный тючок листовок. Солдат поднес ладонь к носу, втянул воздух:

— Свеженькие, Матвей Матвеич, аж газетной краской пахнут!

На лице Кедрова радостное удовлетворение.

— Это нам сейчас дороже всего! Казармы оделил?

— Ну как же!

— Благополучно?

— Так точно! — И, помолчав, добавил: — Первое: что — георгиевский кавалер, видят. — Тут он докоснулся до Георгиевского крестика на груди своей защитки. — Второе: что не зря, видно, крест даден, если ушел на фронт на обоих — на своих, а вернулся — вот... — Тут он похлопал слегка ладонью по залоснившейся поверхности своей деревянной ноги. Усмехнулся. — Ну, — сказал, — кажись, выложил все из своего сейфу! А что? Понадежнее вашего, пожалуй! — Он показал на высившийся в углу, под рукой у писаря, стальной могучий куб несгораемого, где хранились паспорта мужиков, казенные деньги, печати различные, особо важные бумаги и призывные списки. — Нигде никаких подозрений!

— Ну и чудесно, Егор Иванович, чудесно!

— Всегда вашей хитроумной выдумке дивлюсь, когда свой сейф этот загружаю!

— Твоих рук дело. Смекалисто смастерил!

— Стрелять обучился — стругать не разучился! А насчет солдатской смекалки — так дело известное: солдат, сказано, и черта в табакерке год со днем проносил! Жалко только, что дупло маловато: винтовку не всунешь, не пронесешь!

— Ничего, Егор Иваныч: если солдат в окопах наш будет — то и винтовку с собой захватит!

— А он и наш, солдат! И на фронте — наш, да и в тылу!

Кедров ничего ему на это не ответил, а только спросил:

— Побывал у земляков?

— А как же? Побывал!

— Ну и как?

— А так, Матвей Матвеич, что разговор у землячков один: скоро ли, говорят, фронт в обратну сторону повернется?.. А мы здесь поддёржим. Такое настроение!

Кедров молча удовлетворенно кивнул головой. Потом в суровом раздумье произнес:

— Да, теперь всё — в этом. Солдата, солдата надо добывать! За армию борьба, за войско!

Солдат с деревянной ногой выложил из ее тайника все и, однако, не торопился задвинуть ее потаенную дощечку. Ждал чего-то.

Кедров встал, готовясь отпустить его: годы и годы подпольной работы приучили его ни на минуту лишнюю не затягивать конспиративных встреч ни с кем.

И в это время, понизив голос до шепота, связной спросил:

— А от вас, Матвей Матвеич, ничего не будет?

— Нет, Егор Иваныч, сегодня от меня ничего не будет. Пойдешь налегке.

Улыбнулся. Сверкнул стеклами очков.

Улыбнулся и солдат:

— Ну, ин ладно! Налегке так налегке, прогуляюсь, значит, порожнячком.

Он задвинул дощечку, молодцевато выбодрился и даже притопнул деревяшкой.

В тот же миг чуть заметная морщинка боли прошла у него по лицу.

Кедров отвел уж протянутую для прощания руку и в тревоге спросил:

— Болит? С протезом что-нибудь неладно?

Солдат покачал головой и как можно беззаботнее ответил:

— Что вы, Матвей Матвеич! Все в наилучшем виде. Хоть сейчас — на круг: станцую! Не верите? Не верите? Ну, ей-богу же, ничево-ничевошеньки!

Но Кедров и впрямь не поверил его бодрению:

— А чего ж ты поморщился? Знаю ведь я тебя: через силу, а терпишь! Этим, Егор Иванович, шутить нельзя. Натер, наверно...— Он хотел сказать: культю, и — запнулся; жестокой и уничижающей человека показалась ему вдруг грубая голизна этого слова.— Натер, наверно, ну и вот воспаление! Нет-нет, и не возражай! Давай полежи-ка ты дома денька два-три: дай отдых, а я доктора к тебе попрошу зайти. Ты знаешь его: Шатров — доктор, Никита Арсеньевич.

Егор и руками замахал:

— Ну что вы, Матвей Матвеич! Божиться заставляете! А что поморщился я — так это я кожу ущемил ненароком. Ну, сами подумайте: стану ли я в таком деле

так безголово поступать?! Нога ногой, а ведь я-то должен понимать, что, завались я в постелю, захворай только — и *полевая почта* моя вышла из строя! Какой никакой, а делу — ущерб! — И, ясными, лучащимися глазами глянув на Кедрова, пояснил: — Я свою деревягу так и называю про себя: полевая почта. Утром, как проснусь, протягиваю за ей руку — прицеплять, а сам шепотком над ней приговариваю: «А ну-ка, полевая моя почта, иди-ка ты, мол, сюда, становись на свое место: за работу пора приниматься — времена не ждут!..» Нет, Матвей Матвеич, ты, дорогой мой, об этом не беспокойся. Сам себе дивлюсь: а словно бы я о деревяшке своей больше забочусь, чем о той... ну, о прежней, живой, сказать, ноге, чтобы она у меня работала. Без отказу!..

Сняв кепку, Костя вошел наконец в большую неуютную залу волостного правления. Уже никого не было из приходящих — ни баб, ни мужиков. Длинные, окрашенные под орех скамьи стояли в несколько рядов пустые.

Кедров сидел посредине длинного, под зеленым сукном, стола, стоящего на помосте с лесенкой, и что-то писал.

Сзади высился огромный портрет царя в голубой ленте наискось через всю грудь.

Увидев Константина, остановившегося между скамьями, писарь приветствовал его легким взмахом руки, неторопливо собрал свои бумаги и замкнул их в неподъемно тяжелый и на взгляд куб несгораемого шкафа в углу.

Затем спустился со своего помоста в зал.

Поздоровавшись за руку, проговорил глуховатым баском, словно бы извиняясь и в то же время шутя:

— Ничего, братец, не поделаешь: место присутственное! Туда, на эшафот, только мне да старшине — одним словом, начальству волостному восходить положено... Пошли? Все дела покончил.

Дорогой говорили о разном. Кедров расспрашивал о Шатровых: давно их не видел. Больница Никиты Арсеньевича была в полуверсте от села, в березовой роще, так что тоже виделись не часто.

Костя полюбопытствовал: что это за трехгранное медное стояльце, украшенное орлом, на столе перед Кедровым? За́чем эта штучка?

Кедров рассмеялся:

—О, эта штучка, брат, такая, что без нее ни один суд в Российской нашей империи не смеет заседать, ни одно присутствие, даже и наше, волостное! — И он объяснил ему, что этот маленький долгогранник из трех медных пластин, соткнутых шатерчиком, по виду — настольная безделушка, именуется *зерцало*. На каждой грани вытравлено по указу Петра Великого — с напоминанием судьям и начальству, чтобы судили справедливо и по закону.

— А мужиков это вы сажаете в каталажку?

— Нет, старшина, урядник; ну, само собой разумеется, и становой, и земский начальник, и исправник. Ненадолго сажают, по пустякам. На обед я их домой отпускаю... Правда, бывает, что по этапу гонят политических ссыльных, здесь им бывает остановка — тогда другое дело: солдата приставляют к дверям.

Дома он учтиво спросил у просвирни, нельзя ли ему с гостеньком попить чайку. Она даже обиделась:

— Господи милостивый! Да идите вы, идите, с гостеньком со своим,— уж все будет, все!

Вскоре через лестничное отверстие с открытой крышкой Кедров бережно принял от хозяйки вскипевший самовар и затем большой поднос, уставленный блюдечками и тарелочками с медом, сушкой и вареньями.

Когда все было подано, снизу, из полуподвального этажа, донесся голос просвирни:

— Угощайтесь, Матвей Матвеич, беседуйте, а я пойду коровушку подою.

Слышно было, как захлопнулась за хозяйкой наружная дверь.

Кедров снова вышел в сенцы, разделявшие обе его большие комнаты, и опустил над лестничным отверстием западню. Теперь верхние хоромы наглухо были отделены от хозяйских внизу.

Кедров ласково подмигнул гостю:

— Ну вот, Костенька, теперь спокойненько попьем чайку да побеседуем без помехи! Так зачем же ты пожаловал ко мне? От Арсения Тихоновича?

Смутившись, Костя ответил:

— Нет, я от себя.

— Та-ак...

Заторопившись, Константин расстегнул нагрудный кармашек защитки, достал оттуда телеграмму, вчера лишь им полученную, и, развернув, протянул через стол Кедрову, сидевшему у самовара.

Поправив очки, Матвей Матвеевич пробежал телеграмму.

Она была на имя Кости, из Казани, из тылового госпиталя, от Ермакова Степана. Степан извещал в ней младшего брата, что тяжело ранен, что Ольга Александровна охлопотала ему пересылку в свой госпиталь; просил брата, чтобы тот приехал повидаться.

Возвратив телеграмму, Кедров сочувственно помолчал, покачал головою и сказал:

— Какая же от меня помощь, друг мой, нужна?

— Матвей Матвеич, выдайте мне паспорт.

Кедров взирал на него изумленно:

— Паспорт? Но тебе же еще года не вышли. Зачем тебе паспорт?

— Я на фронт пойду.

— Час от часу не легче! Твоему году еще далеконько, друг!

— Ну и что ж? Я добровольцем пойду. Хочу заменить брата. Хочу отомстить за него... за брата Степана.

— Вот оно что-о-о! — Кедров привычным жестом, пальцами левой руки, передвинул оправу очков «на лучшую видимость», как говаривал он сам, и долго всматривался в лицо юноши.— Отомстить... Кому же ты хочешь отомстить за брата Степана?

Теперь пришла очередь Косте воззриться на него с изумлением:

— Как — кому? Немцам. Они же его...— Тут он приостановился, не зная, как сказать: ранили или убили.— Они же его... кровь пролили.

— А как да и не они?

Костя в недоумении смотрел на него.

Голосом сухого отказа Кедров сказал:

— И паспорта я никак, дружок, не могу тебе выдать. Подожди, когда исполнится тебе совершеннолетие. Не могу.

Ответ заставил его насторожиться:

— Ну как же вы не можете? Вы — писарь волостной: вы все можете!

— Преувеличенное у тебя представление о моем могуществе.

Мелькнула опасная мысль: а что, если как-нибудь по неосторожности Шатрова, по его доверчивости и любви к этому парню стало известно ему, Константину, что не один и не двое из числа совершивших побеги из тюрем, каторги, ссылки гуляют на свободе с паспортами мужиков из Калиновской волости, отошедших на долгое время на заработки? А не подослан ли к нему, Кедрову, этот паренек?

Однако нет, нет, этакие глазищи — ясные, чистые, этакая простецкая морда, курносая, родная! Да и знавал он Костю Ермакова от его отроческих лет: еще тогда, когда пришлось первое время работать писарем на мельнице Шатрова. Да и потом, когда, уже будучи волостным писарем, Кедров бывал на мельнице, ему отрадно было видеть удивительную душевность молодого плотинщика с народом и то доверие и уважение, с которым и помольцы, и работавшие на плотинах относились к этому безусому пареньку.

Но и воспитанная годами, изощренная всеми опасностями подпольной работы способность проницать сокровенное в человеке по одному его взору, голосу, мимолетному выражению лица — она тоже явственно говорила Кедрову, что здесь и речи не может быть о выведывании, о вероломстве.

И все ж таки дальнейшую беседу он повел, осторожно прощупывая душу собеседника, бережно толкая его к тем выводам, к тому осознанию, которое решил пробудить в нем.

Сказал в раздумье и словно бы и не обращаясь вовсе к нему:

— Итак, значит, вращается, вращается этот кровавый бесконечный винт человеческой, людской мясорубки... Захватил, измолол одного из братьев — ничего! Уже готовит себя другой — не терпится ему, бедному, поскорее сунуть свое тело в это кровавое жерло!

Тут Костя, весь вытянувшийся и воспаленным, неотрывным взором смотревший в лицо Кедрову, перебил его:

— А что ж делать, когда война?! — В голосе его послышалась готовность к отпору.

И тогда Кедров вдруг неожиданно спросил:

— Ты про купца Капоркова слыхал?

— Ну кто же про него не слыхал! Весь наш уезд осрамил!

Речь шла о маслосдатчике из купцов, поставлявшем сливочное масло на армию. Когда его партию масла вкатывали по сходням в вагон-холодильник, один из бочонков сорвался, рухнул на рельсы. Обручи лопнули, клёпки распались. Грузчики и сам хозяин масла кинулись подымать. Из бочонка, из самой середины, весь обляпанный комьями, пластами масла, вывалился... кирпич! Что тут поднялось! Не своим голосом взревели грузившие. Двое из них схватили побелевшего купчика за локти и завернули их назад. Так и держали его, пока другие разламывали, вскрывали остальные его бочата. В каждом третьем бочонке было по кирпичу.

Тогда с гиком, ревом и свистом грузчики привязали на шею господину Капоркову кирпич с комьями масла на нем, да так и повели через зал первого класса, мимо обедающих и выпивающих за столиками, прямо на площадь, а там — по улицам города.

И полиция долго не смела к ним подступиться...

— Что бы ты с таким голубчиком сделал?

— Я? Расстрелял бы без сожаления. Жалко, что не дали его народу... растерзать!

— Не растерзали. А ты дальнейшую его судьбу знаешь?

— Нет. Не интересовался. В тюрьму, наверно, посадили?

— В том-то и дело, что нет. По законам военного времени его и на каторгу могли закатать, но... а толстый кошель зачем? А адвокаты зачем существуют? Царский суд, видишь ли, не тем руководствуется, что на зерцале начертано: сперва родственники через адвокатов на поруки его выпросили. Потом стали доказывать, что хозяин масла тут, дескать, ни при чем. Коротко говоря, господин этот и посейчас торгует. Только не в нашем городе. Здесь ему и от мальчишек проходу не стало. Я слыхал: перевел все дела в Омск. Говорят, в миллионеры выходит... Вот так-то, Константин!

Костя горячился, вскакивал, сверкал глазами: расстрелять!

— Всех не расстреляешь, Костенька: имя им легион.

Любуясь его гневом, Кедров одну за другой как бы

поворачивал перед его глазами омерзительные и страшные картины тылового разгула и казнокрадства, откупа от солдатчины, поставок гнилья на довольствие армии, сапог с подошвами из картона; одну за другой перебрал перед ним богатейшие из фамилий города: ни одной, ни одной не было, чтобы сынок, подлежащий призыву, оказался бы на фронте: все окопались в тылу!

— А рабочих и крестьян одурачивают, гонят их миллионами, и русских, и немецких, науськивают друг на друга. Подумай только: уж третий год текут и текут, словно скот на бойню, под угрозой расстрела, миллионы здоровых, сильных, добрых людей всех национальностей мира, чтобы ввергнуться в эту чудовищную мясорубку, превратиться в кровавое месиво... Если бы собрать со всех фронтов тела всех убитых, Карпаты трупов поднялись бы! И за что? Ради чего эти чудовищные людские жертвы?! Ты посмотри: у нас уж до стариков добрались, до ратников второго разряда, до белобилетников!

Константин, угрюмый, подавленный, не сдавался:

— Ну и что ж, мы войны не хотели. Или нам не защищаться было? Весной война кончится. Будет общее наступление с союзниками, и — крышка и немцам, и туркам, и австрийцам. И проливы возьмем. Константинополь наш будет! Не напрасные жертвы!

Сквозь усмешку жалости Кедров смотрел на юнца: «Арсения Тихоновича питомец!»

—Та-ак... Ну, а зачем тебе проливы? Степану твоему зачем?

Константин молчал.

Кедров образно, терпеливо и до последней степени доступно раскрывал ему учение о борьбе классов; о государстве как орудии классового господства; о войнах эпохи империализма; о том, что рабочая сила, которую за деньги покупает капиталист-эксплуататор, есть тоже товар, но товар особого свойства. Если такие товары, как мука, сахар, одежда, потребляемые, исчезают полностью, то рабочая сила человека, купленная заводчиком, фабрикантом, потребляемая в процессе труда, обладает двумя замечательными свойствами: во-первых, этот товар не исчезает полностью, а его можно восстано-

вить — отдыхом, сном, пищей; а во-вторых, потребление этого товара, то есть силы рабочего, создает новые товары — продукты труда. Они поступают на рынок, капиталист торгует ими.

Недорого обходится фабриканту, заводчику питание, одежда, жилище рабочего! Хватило бы на все на это каких-нибудь пяти-шести часов его работы. Но хозяин, купивший его рабочую силу, расходует, потребляет ее и двенадцать и четырнадцать часов. Что ему до того, что человек до времени износится, амортизируется? Лишь бы побольше выработать продуктов труда, продать их, получить прибыль! И капиталист безжалостно удлиняет рабочий день до крайних пределов выносливости человека.

Однако рабочему он оплачивает только те шесть часов, которые необходимы для его жалкого существования с семьей. А все то, что наработает купленная им, капиталистом, рабочая сила в добавочные часы, капиталист присваивает себе, кладет в свой карман. Он эти лишние часы работы не оплачивает рабочему. Маркс назвал это: «прибавочная стоимость». За этот счет и богатеют капиталисты-эксплуататоры. На этом стоит весь капитализм. Так поступают всегда и всюду все хозяева, добрые и злые: от их душевной доброты сие не зависит. Иначе он — не капиталист. Иначе он разорится, вылетит в трубу.

— Матвей Матвеич, я с вами не согласен!

Кедров весело блеснул на него очками:

— Да ну-у?

Он был довольнехонек! И прежде, в марксистских рабочих кружках, не любил он, когда люди слушали молча, не возражая, не требуя доказательств. Он сам старался вызвать их на спор.

Костя собрался с мыслями:

— Я насчет этой самой вашей прибавочной стоимости. Возьмем Арсения Тихоновича. Живут они богато. До вас, наверно, тоже слухи доходили, что у них около двух миллионов считается капиталу. Со всей недвижимостью. Но вот возьмем мельницу его, и эту — с крупчаткой, и ту, что с лесничим у них в компании... Посчитайте всех, всех служащих и мастеров на обеих мельницах — много ли получится нас? Человек с тридцать — не больше. Не очень-то с нас велика Шатрову

прибавочная стоимость: от нее не забогатеешь! Я так думаю.

Кедров с жадностью спорщика, привыкшего побеждать, усмехался, кивая головой, раздувал ноздри:

— Так, так... Понимаю, что ты хочешь сказать! Но ты присчитай-ка Башкина рабочих, на турбинном заводе. А их там не одна сотня! Да еще прикинь...

Костя вознегодовал: аж подпрыгнул! Перебил Кедрова, несмотря на все свое глубокое к нему уважение. Голос его мальчишески звенел от обиды за Арсения Тихоновича:

— Чего это я стал бы прикидывать Арсению Тихоновичу чужих рабочих?! От них прибавочная стоимость Башкину и идет, а не Шатрову!

Но испытанному в искусстве нахождения истин, в так называемой эвристике, годами кружковых и тюремных споров с виднейшими вожаками эсеров, его собеседнику ничего не стоило опрокинуть страстные, но шаткие Костины возражения! Его это только забавляло.

— Постой, постой, Константин, не горячись! Давай разберемся. Турбину-то для шатровской мельницы где делали — на заводе Башкина? Отвечай.

— Да.

— А разве ты не знаешь, каким прессом выжимает из своих несчастных рабочих эту самую прибавочную стоимость господин Башкин? Он ведь недаром, еще когда молодым инженером был, так на бельгийских машиностроительных заводах практику проходил: о, там умеют, брат, рабочего вываривать в фабричном котле! Недаром в него стреляли, в господина Башкина: из чужой кожи ремешки кроит!

И сколько ни противился Костя выводам Кедрова, а приходилось против желания согласиться, что раз в турбинах, изготовленных на заводе Башкина, воплощен труд его рабочих, поистине каторжный, то и Шатров с того момента, как одна из таких турбин установлена на его крупчатке, становится соучастником Башкина по присвоению прибавочной стоимости, которую производят башкинские рабочие. Такой же вывод сам собою напрашивался и в отношении вальцев, изготовленных на заводах Эрлангера.

Костя поник головою.

А когда его собеседник вбил последний штырь своих беспощадных доводов, юноша поднял на него угрюмый взор:

— Значит, и Арсений Тихонович — эксплуататор?

Такого штыкового вопроса Кедров, признаться, не ожидал: малость смутился.

— Что ж! Да, и Арсений Тихонович.

В ответ у бедного Костеньки жалобно-зло сверкнули глаза. И словно бы мстя напоследок этому человеку за непереносимое душевное свое истязание всей этой горестной для него, для Константина, правдой, юноша выкрикнул, вставая:

— А тогда зачем же вы с ним дружите?

На обратном пути зябко ежился в своем ходке Костя Ермаков и ни разу за все четыре версты даже вожжою не пошевелил тихонько ступавшую лошадь.

Пасмурно было и на небе и на сердце. Вот-вот пойдет дождь — надо бы достать из-под козел брезентовый плащ-дождевик, да лень двинуться: оцепенел!

Обычно чуть ли не каждому встречному Костя легко уступал дорогу, сворачивая на травку, приветливо здоровался первый: да ведь и как же — окрестные крестьяне были все свои, родные с детства! А вот сегодня чуть морда с мордой не соткнутся кони — тогда только спохватится разъехаться.

Вот один из встречных мужиков идет возле тяжело нагруженного мешками с мукою воза: смолол, значит, и возвращается с мельницы.

Костя не своротил.

Бородач заругался, вынужденный остановить воз:

— Што ты, как баба, вожжи-то дёржишь? Сворачивай!

Но, подбежав к самому ходку, узнал Костю. Сразу переменился:

— А-а! Да это вон кто: Костенька — Веселая Душа! Ты што, Кистинтин, али замечтал — никого не слышишь? Гаркаю, гаркаю — нет, ярви его, не слышит, не сворачиват! Я уж было...

Костя очнулся. Жалостно извинился:

— Не серчай, Митрич: задремал я... чего-то ломает меня всего — простудился, должно быть.

Мужик лукаво подмигнул:

— Время празднишно: с девками, поди, перегулял?

Костя искривился принужденной усмешкой. Митрич понял, что парню не до того, сам взял под уздцы Костину лошадь и свел ее с дороги:

— Ну, прощщевай, коли! Видать, и впрямь простыл... Ты, как придешь, первым делом — перцовочки стакан, да потом в баню. Да пускай тебя веничком как следует отхвостают на жарком полке. Стары люди не зря говорят: веник в бане, он и царя старше. Всю простуду твою как рукой сымет!

Все в нем пришло в какое-то тоскливое смятение от беседы с Матвеичем. Словно бы все в жизни — каждый предмет, явление, человек вдруг были вывернуты перед ним наизнанку. И какая же суровая, безрадостная была эта изнанка! Плакать хотелось!..

На что бы только ни взглянул он теперь — в сознании тотчас же начинало гвоздить: вот лошадь, ходок, сбруя — ну где, где тут его прибавочная стоимость? И уж начинал было поднимать голову, мысленно возражать Кедрову. Ан, вдруг оказывалось, что и здесь — в лошади, в хомуте, в ходке и даже в подсолнухах, высившихся поодаль дороги, — всюду затаилась эта прибавочная стоимость! Ведь все это и покупают и продают; это может стать товаром, это — и потребительные и меновые стоимости, их выносят на рынок. А что же, разве работники, батраки, вырастившие хозяину эту лошадь, ходившие за ней, разве кузнецы, плотники, слесаря — словом, тележники, состроившие вот эту коляску, разве не отдавали они в пользу своих хозяев уйму неоплачиваемых рабочих часов?

«Так, так... Ну, а если это взять или вот это?..» Мысль изнемогала — бросил!

Но еще страшнее, еще безотраднее то, что сказал ему этот человек о войне с немцами. Значит, не за справедливость воюем, не за братьев-славян! Как он сказал? Да: ручьи крови солдатской, они в подвалы банков стекают и там оборачиваются военной наживой банкиров и капиталистов — акциями, сверхприбылью, золотом. Воюем, значит, за новые рынки для сбыта ихних товаров, да чтобы грабить и угнетать чужие народы. А и по приказу французских и английских капиталистов, за ихние миллиардные займы, за их прибыли, за захват новых колоний! Стало быть, и Степан погибает за это, и его крови ручеек стекает в подвалы

банков! «Разъединение и одурачение рабочих... Шовинистический вой продажных писак...» И о государстве тоже страшно сказал: «Государство, друг мой, есть понятие классовое: это — машина насилия одного класса над другим, богатых над бедными, капиталистов над рабочими, над всем трудящимся людом». Так, значит, и Россия наша — она тоже орудие эксплуатации?!

И еще одно мучительное для него воспоминание не выходило из его воспаленной головы.

В конце их беседы, видя, как подавлен и ошеломлен юноша, Кедров сказал ему:

— Только очень прошу тебя, Константин: обо всем, что я говорил тебе сейчас, никому ни слова! Ни даже Арсению Тихоновичу. А то большие беды навлечешь на мою голову. Прямо скажу: погубить можешь!

Костя вскочил, пылая. Оборотился в передний угол, к неугасимой лампадке и киоту, и уж занес было крест над собой, готовый истово перекреститься.

— Матвей Матвеич, вот я перед святыми иконами поклянусь!

Кедров остановил его руку:

— Ну, ну, зачем это? Твое слово для меня больше значит.

Ужасом спахнуло его душу от этих кощунственных слов:

— Да как же это?! Вы... не веруете?

— Нет, Костенька, не верую.. с такого вот возраста примерно.— Матвей Матвеевич показал рукою чуть выше пояса: — Лет с восьми.

— Но как же это? Вы же тогда...

— Ты хочешь сказать, не мог тогда понимать ничего такого? Нет, друг мой, понял. Да еще и как!

И рассказал ему удивительную историю из времен раннего своего детства.

Только что отдали маленького Матвейку тогда в школу. Но в первую же зиму простудился, тяжело заболел. Долго, с распухшими, укутанными ватой суставами, прикован был к постели — боялся пошевельнуться из-за боли. Уж кто-нибудь из старших переворачивал его, если надо было повернуться. В полузабытьи грезилось: как хорошо было бы, если б на облаках лежать, а не на кровати!

Одно утешение у больного мальчугана было: старый

друг — кошка. Подойдет к его кровати, подымет мордочку и мурлыкнет вопросительно: дескать, можно к тебе? — Можно, Мурка!.. Тотчас вспрыгнет и примостится под больной бок, словно бы знает; и как живая грелка: сразу легче.

Однажды в доме возле больного Матвея никого не было. Забылся он под мурлыканье кошки. Вдруг слышит: мягкий внезапный стук — это кошка спрыгнула с кровати на пол. Очнулся, открыл глаза, повернул голову — смотрит. И оцепенел.

Откуда-то, из незаметной щелочки в полу, выникнул малюсенький мышонок. Поднял рыльце, понюхал, блеснул своими черными бисеринками-глазками, хотел... но в этот-то миг как раз и закогтила его метнувшаяся с кровати кошка. Но не умертвила, а только выпущенными из мягкой лапы кривыми когтями притиснула его к полу.

Мальчик замер. Он думал, что мышонок уже неживой, что кошка сразу умертвила его. Однако нет: вот она попривыпустила беднягу и даже отвернулась, будто бы и не смотрит: беги, спасайся, глупый малыш, очень-то ты мне нужен!

И малыш пошевельнулся... еще, еще и вдруг побежал, побежал... На виду, на беспощадной голизне пола, бегал он, суясь туда и сюда. Но та незаметная щелочка, из которой выникнул несчастный, она отрезана была от него кошкой. С расчетом, видно, старая села так, чтобы некуда было ее жертве спастись...

Дала побегать ему в этом смертном ужасе безысходности и даже зажмурилась: не вижу, мол, дремлю, пользуйся!

И вдруг новый хищный взмет: и опять закогтила и прижала к полу...

И тогда Матвейка зашикал, закричал на нее. Но где там!.. Прежде, бывало, он командовал ею, все равно как собачкой. Даже отец смеялся: «Она у тебя, Матвей,— кот ученый!..» А вот тебе и «ученый»! Услышав его окрик и шиканье, только схватила свою жертву в зубы и ощерилась, завыла угрожающе: «Не подходи, не тронь!..» И страшен, страшен показался больному ее вид в эти мгновения!

Он попытался привстать на постели, но от страшной боли в суставах застонал и откинулся.

И крупная слеза ударилась о подушку...

А *она* еще долго так тешилась. Но вот замученный, измятый ею мышонок, снова ею отпущенный, уж и шевелиться перестал. Но ей не этого надо было — не насытилась еще страшной игрой,— и она расталкивает, тормошит его, старается вывести его из предсмертного оцепенения.

Растолкала. Но когда, уже полумертвый, сдвинулся он и отбежал даже немного, она снова прыгнула и накрыла его лапой.

И только мертвого бросила...

В ту же ночь, дождавшись, когда бабушка, задушевный в семье друг и советчик Матвея, окончит свое шепотное моление перед озаренным лампадкою киотом, мальчуган окликнул ее:

— Бабушка!..

— Асиньки, милой?..

— Бог все видит или не все?

— Все, милой, все!

Мальчик тяжело вздохнул и ничего, ничего больше не сказал...

Измученный доставшимся ему у доски кропотливым и нудным раскрытием круглых, квадратных да еще и каких-то идиотских фигурных скобок, наверно нарочно придуманных для него ехидным их преподавателем алгебры, чтобы помучить, поиздеваться, Володя Шатров возвращался домой из проклятой своей, нескончаемой гимназии.

Был на исходе октябрь. То отпускало, то снова схватывало. Припорошенная снежком, разъезженная грязища немощеных улиц города застывала колесными колеями и грядками кочек, подернутых хрустким ледком, и тогда, ступая по ним легко и набрав полную грудь воздуху, как Следопыт или Чингагхук, Володя успевал перебежать, не проваливаясь, на другую сторону улицы. А еще ведь этот окаянный ранец с книгами за плечами! Старшеклассникам — тем разрешают носить книжки в ремнях...

Еще любил он ходьбу по деревянным, дощатым тротуарам: упругие, гнуткие доски настила как бы сами

подбрасывают слегка твою ногу, распрямляясь, и ходьба становится удивительно легкой, радостной.

Шел, подставляя разгоряченное лицо редким большим снежинкам, отрадно ощущая, что сейчас впереди — только, только хорошее: отдых, вкусный обед. А главное, главное — приехала мама!

Вдруг Володя остановился. Чуть заметно дрогнули уши. Сладостно-мучительная, какая-то обезоруживающая душу, светлая волна звука обдала ему сердце, заполнила все его существо: кто-то играл на скрипке — дивно, чарующе властно, уверенно,— звуки эти неслись из распахнутой настежь форточки первого этажа большого, низкого, деревянного дома. Володя знал: тут — казармы военнопленных, австрийцев, и привык с некоторой неприязнью и опаской и очень быстро проходить мимо этого хмурого дома, мимо его ворот, из которых однажды вышли, он видел, кое-как выстроенные австрийцы-пленные, в несуразных своих, каких-то «бабьих», как ему казалось, светло-серых капотах-шинелях и в измятых кепи пирожками. Они весело галдели и хохотали, речь их напоминала русскую, но только с забавным каким-то выговором. Он остановился, пропустив их. С тех пор он видел их часто и начал постепенно, как, впрочем, все в городе, терять неприязненное к ним отношение, стал видеть в них людей. Их было много, и в этом глухом сибирском тылу они давно уже расхаживали без конвоя, свободно заходили в дома и нанимались на всевозможные работы.

Хозяйки щедро оделяли их шанежками, пирожками со сладкой клюквой и разной другой сибирской сдобой.

Уже все знали: хотя и австрийцы, но это всё австрийские славяне — чехи и словаки — и что они сами сдаются, и в одиночку, и целыми ротами, а иной раз и полками. Ненавидят своего «цисаржа-пана» императора-немца; немцы их столетиями угнетали, и они ждут своего спасения только в победе России.

Почти все они, хоть кто как, балакают по-русски: понять можно!

Германцы, «гéрманы» — то совсем другое дело. На свободе их была горсточка. Глядят исподлобья. По-русски хотя кто и знает, а, видно, нарочно разговаривать не хотят. Враги! Володе Шатрову они были тягостно про-

тивны: какие-то темные лицом, в отвратительных своих бескозырках, угрюмо-враждебные...

От австрийцев, прижившихся к городку, от тех и запах какой-то стал здешний — хлебом и махоркой, — почти как от наших русских солдат.

И все ж таки остановиться так просто перед их казармой, стоять и смотреть в окно Володя считал недопустимым, чуть ли не изменой родине; быстро и отчужденно — ибо так подобает сыну народа-победителя! — проходил он всегда мимо этого дома.

И вот стоит, стоит — не может сдвинуться с места, как прикипел!

Да он и прежде-то больше всякой другой музыки любил скрипку и виолончель. А его, как водится, мучили роялем: «Ничего, привыкнешь — полюбишь!» У Володи руки ослабевали, когда, бывало, Ольга Александровна усаживалась с ним за рояль. О, как ненавидел он эти толстые нотные тетради Ханона с гаммами и руладами!

А звуки скрипки лились и лились.

То жалостно-вкрадчивые, то самовластно-ликующие, то густые, низкие, басовые, словно бы отцовский благозвучный, ласково-строго уговаривающий голос, а то вдруг молитвенно, до изнеможения скорбные, материнские, высокие голоса — и поочередно и вместе — вступали в его отроческую душу и хозяйничали, и господски властвовали в ней.

Временами мальчугану казалось, что и самые струны-то уж где-то не там, вовне, а явственно, несомненно — у него в сердце, и это по ним, по живому сердцу приходится истязающий чей-то смычок, извлекая из него то неистово-торжествующие, то жалостно-лелеющие, то грозно-скорбные голоса.

Бог знает что́ ему чудилось, что́ виделось ему в эти неизъяснимые языком человеческим мгновения! И слезы закипали на сердце, и тогда даже немцев, тех страшных и гордо-злобных германских солдат, он простил бы сейчас, принял бы в свою душу. Но вот другая звуковая нарастала и нарастала волна, и вдруг могучая, огромная, к себе и другим безжалостная сила воина-страстотерпца окатывала все его существо: он весь выпрямлялся, грудь вздымалась — и вот уже он рукоять сабли ощущает в своей мужественной руке и мчится,

мчится в бешеной конной атаке впереди эскадрона, и лишь подвига, подвига, и жертвенной славы, и смерти самоотверженной — только этого и алка́ет и жаждет он!

Вдруг Володя очнулся. Вместо звуков скрипки — резкий, дробный стук оттуда, изнутри, по стеклу оконной рамы. В полутьме комнаты он успел рассмотреть, что чья-то рука скрипичным смычком ударяет нетерпеливо по оконному стеклу. Смутно белеет чье-то лицо...

«Прогоняют: нельзя!..» Весь похолодев от сознания, что вот сейчас чужие люди застигнут его на нехорошем, недозволенном: мальчик — русский мальчик стоит под окном казармы военнопленных и слушает их музыку, — Володя отпустился от перекладины тына и приготовился бежать.

«Ну вот и получил! Вот и прогоняют, как все равно назойливого уличного мальчугана, который заглядывает в окна!»

И, не помня себя от стыда и страха, Володя быстро зашагал прочь.

Он услыхал за собою топот бегущего, оглянулся и — о, ужас, ужас! — увидел, что его догоняет беглым шагом и со смычком в руке австрийский солдат.

Володя кинулся было бежать. Сердце в нем готово было разорваться. Жаркий пот выступил на лбу.

Но тотчас же гордая мысль отрезвила его:

«Что ж я бегу-то? И как мне не стыдно? Бегу у себя дома, в России. И от кого? От нашего же военнопленного! Пусть только посмеет меня тронуть, папа ему покажет! Да и что я, сам ему сдачи не дам? Пусть только тронет!»

Он остановился и повернулся лицом к преследователю.

Тот подбежал к нему с поднятым в левой руке смычком, громко повторяя:

— Пан гимназиста, пан гимназиста, проч бьежите?!

«Вот! Уже смеется надо мной: прочь бежите! Так нет же, не побегу я прочь!..»

Не знал мой бедный Володенька, что «проч» по-чешски означает «почему». Остановившись, ждал.

Пленный, без шапки, с расстегнутым воротом и со смычком в руке, замедлив шаг, уже подходил к нему.

Володя настороженно всматривался в него.

Внешне он был совсем не страшен: очень светловолосый, с тонким, удлиненным лицом, безусый и безбородый. Очень молод, прямо-таки юн. Синие большие глаза под светлыми бровями и светлыми же ресницами смотрят открыто и дружелюбно.

Застенчиво улыбнулся. Прежде чем заговорить, поднес было правую выпрямленную ладонь к виску, но спохватился, по-видимому, что без головного убора, — отставил, рассмеялся, широко блеснув белизною крепких красивых зубов, и, лишь состукнув по-военному каблуками солдатских грубых сапог, протянул мальчику свою маленькую, но жесткую в рукопожатии руку.

Поздоровались, и, в знак дружеской душевности накрыв другой рукой руку Володи, глядя ему в глаза, чех сказал:

— Пан гимназиста, почему вы далэ не слушал моу гудбу? О, просим за одпущение — музыку? То йе почешски — гудба. Русски буде музыка... Позволте представиться. Мое имено йе: Иржи Прохазка.

— Шатров Володя... Вы австриец?

— О! Нет, нет, ни: мы не австрийцы, мы — ваши братья чехи. Все — чехи.

Володя окончательно успокоился: это хотя и солдат австрийской армии, но он — славянин, а стало быть, наш брат по крови, по языку. Так и отец говорил: «Чехи и сербы — наши братья по крови...» И все-таки зачем-то спросил:

— Вы военнопленный?

Иржи Прохазка отшатнулся, тень обиды прошла по его лицу. Но он сдержался и спокойно объяснил:

— О!.. Нэ, нэ, пан Владимир: наш стрелковый прапор (батальон) там, у Львова, весь целый пребьежел до Руска... Руско про наш народ — то соу наше надежда и лубов! И здес мы уже не пленны: то нени казарма, то йе общее житие наших воякув.

Володя понял и не спрашивал, что Руско — это поихнему Россия. На сердце у него просветлело.

— Я знаю про чехов. Мы учили... У вас был Ян Гус, великий учитель, проповедник. Немцы его сожгли на костре. С ним император Сигизмунд поступил вероломно: пригласил его на собор, выдал ему охранную грамоту, а потом предал, и его сожгли на костре...

— О-о!

Этот возглас застенчивого восхищения частенько и после срывался с его уст, когда Иржи хотел быть особенно приятен своему русскому собеседнику.

И, ободренный этим, Володя и еще блеснул своими познаниями в чешской истории:

— А потом — Ян Жижка... великий полководец... И табориты.

— О-о! Так, так! Ян Жижка.

Глаза чеха увлажнились и потеплели. С подлинно братским чувством смотрел он теперь в лицо Володе и улыбался да время от времени произносил свое «о-о!».

Невольно улыбаясь на его выговор, Володя заметил: чех как-то особенно мягко произнес *жи* в слове «Жижка», а слово *любовь*, напротив, с забавной твердостью: *лубов*. Заторопившись, он делал иной раз диковинные ударения в русских словах. Длинные слова зачастую оказывались у него как бы разломленными на части — каждое со своим ударением.

И все же они вполне понимали один другого и прекрасно договорились.

Чех сказал, дружески коснувшись Володиного локтя:

— Зачем вы, пан Владимир, уходили от меня? Я хлопал смычком по окну, абы вы шел до нас: я желал, абы вы слушал мою гудбу.

— А я думал: потому вы постучали, что нельзя.

— О-о! То — моя хибичка!.. (ошибочка). Просим за одпущение.

Иржи был смущен до крайности.

Ласково и решительно взял он потом Володю под руки и пригласил войти в общежитие. Сказал, что будет играть для «пана Владимира» самые лучшие вещи.

Пока шли через двор, Володя успел спросить:

— Скажите, пожалуйста, как вас звать по отчеству?

— У нас не зовут по отци. Толко — Иржи. То йе — Юрий, русски.

— И вы не зовите меня пан Владимир. Просто Володя.

— Так, так... добже, добже: Володья!

Мальчик улыбнулся забавному выговору своего имени, но ничего не сказал об этом, а только спросил:

— А что значит фамилия ваша — Прохазка? Ее можно перевести на наш язык?

Чех лукаво глянул на него:

— Можно. Русски сказать: прогулка.

И оба рассмеялись.

Когда они вошли с ним в комнату с четырьмя солдатскими, строго заправленными кроватями, то двое товарищей Иржи тотчас же быстро, по-военному, вскочили и, одернувшись, вытянулись.

Третий, чье место было в дальнем от входа углу, стоял возле своей койки, у прикроватного столика, и лишь обернулся на вошедших.

Володя сказал: «Здравствуйте!» — и снял свою гимназическую, синюю, с белым кантом и серебряным значком, фуражку. И кто-то тотчас же — мягко и бережно — взял ее из его руки, подойдя сзади, и уж слышно было, как слегка стукнул козырек фуражки о полку. Не успел обернуться, сказать «спасибо», а уж совлекают с плеч и шинель — все таким же мягко-настойчивым движением гостеприимства.

Наскоро, левой рукой успел он кое-как пригладить непокорный вихор. Стоял смущенный. Сильно билось сердце.

Иржи стал знакомить его с товарищами.

Тот, кто снимал с Володи шинель, был смуглый, темноволосый и румяный крепыш-кругляшок с веселым взглядом и словно бы застывшей на его здоровом лице улыбкой, лукавой и добродушной. У него даже ямочки виднелись на тугих щеках и на подбородке. Он был тщательно выбрит, и только под самым носом рыжеватыми комочками торчали у него корешки усов. Одет он был во френч и брюки-галифе, заправленные в белые щегольские бурки. Весь был словно на пружинах. Двигался проворно и бесшумно.

Любезнейше склонив перед гостем напомаженную до лоска голову с тонзуркою розовой плешинки на затылке, он представился по-чешски:

— Доволтэ, абих сэ представил. Йменуйи сэ Ян Пшеничка.

Перевода не потребовалось. Да и чего ж тут было не понять? «Пшеничка... Странные какие у этих чехов фамилии!»

А у второго чеха так даже и фамилия была Чех: Ярослав Чех. Этот просто, без всяких поклонов назвал себя, сопровождая слова свои мужественным, но явно сдерживаемым в своей силе рукопожатием. Володя это явственно ощутил: «Боится, как бы я не ойкнул... Что я, девчонка, что ли?!»

Лицо Ярослава Чеха дышало строгой, мужественной, пожалуй, даже излишне суровой красотой. Это впечатление усиливал немигающий, пристальный взгляд больших, светлых, с льдяным отсветом, спокойных глаз под широко разнесенными, тонкими бровями. Он выбрит был тщательно, до мраморной гладкости, и, может быть, оттого от обнаженных очертаний его крупной, крутого угла челюсти, от сжатых губ и даже от легкого, но четко выраженного желобочка над верхней губой веяло собранностью, решимостью. И только вот лоб своей ровной обширностью, под боковым зачесом редеющих светло-русых волос ослаблял это впечатление: профессору такой лоб — не солдату!

Ярослав Чех был высокого роста, могуче-стройный, тонок в поясе, и оттого обтянутые тесной солдатской защиткой округлые бугры плечевых мышц, казалось, отяжеляли его стан. Кроме Пшенички, все остальные чехи общежития одеты были, как русские солдаты, только без погон.

Рядом с Ярославом Чехом Иржи Прохазка казался хрупким юношей. Однако чувствовалось, что здесь, в этом общежитии четверых, именно он, Иржи, был главным: приказывал. Вот и сейчас он бросил вполголоса какое-то чешское слово — Володя не разобрал какое, — и Ян Пшеничка уж застилал белой скатертью небольшой столик возле окна и звенел чайной посудой.

Но Володя решительно отказался от чая:

— Нет, нет, спасибо!.. Мне нельзя, нельзя никак: у нас обед скоро.

Иржи не настаивал. Он понял. Улыбнулся лукаво и сказал:

— По́ньял, по́ньял: маминка? Нелзя портит хуть, то ест, по-нашему, чешски, апэтит?

Володя смущенно кивнул головой.

Четвертого обитателя комнаты звали Микулаш Сокол. Он, когда Иржи Прохазка назвал его, почему-то не

подошел к Володе с рукопожатием, а лишь приветствовал его поклоном.

Иржи досадливо поморщился, но мгновенно и погасил выражение досады на своем лице, так что гость ничего не успел заметить.

А этот именно, третий сотоварищ Прохазки, пожалуй, даже больше всех остальных понравился Володе своей внешностью. Если бы не знать, что он чех, то совсем свой, русский, с Тобола, молодой какой-нибудь помолец из окрестных сел, только-только что вошедший в года, едва лишь обородевший и обусатевший.

Светлый жиденький ус, кончиками книзу; легкий дымок бородки, чуть означившейся по краю челюстей; скуловатое, недлинное, простое лицо и ясный, спокойно-пытливый к собеседнику и вместе с тем как бы застенчивый взор больших серых глаз.

Когда Володя вгляделся в него, подумалось: «Микулаш — это идет к нему, а Сокол — не очень!» И впрямь: была и соколиная ясность, была и спокойная прямизна в глазах чеха, а вот только неусыпно-злой, хищной настороженности, той *наглинки* соколиной во взгляде не было и помину.

Есть такие лица в народе: знаешь заведомо, что впервые увидал этого человека, а встретишься с ним глазами — и словно бы годы и годы провел с ним когда-то в заветной дружбе. Заговоришь — и словно зазвучат вновь некогда недоговоренные речи!

Такой вот взгляд, такое лицо было у Микулаша Сокола.

И наконец-то началась «гудба». Иржи взял скрипку. Он играл из чешских композиторов, играл, поясняя: «Это — из Сме́таны, «Ма власт», то есть «Мое отечество»; а это вот из «Славянских танцев» Дворжака».

Какой певучий, мягкий и сильный смычок!

Володя был вне себя от счастья: вот, вот они, братья наши славяне, — как хорошо, как сладостно до слез!

Но из этого блаженного самозабвения его вывел случайный взгляд на стенные, с гирьками, ходики: часовая стрелка приближалась к трем, а в четыре у них, у Шатровых, обед. И опозданий мама не терпит: ей ведь

пообедать — и опять в госпиталь! И Володя на расставании спросил:

— Скажите, Иржи, а у вас, чехов, свой, чешский гимн или вы обязаны были петь, играть австрийский?

Иржи Прохазка гордо усмехнулся:

— О, нет, Володья, нет, нет! Наш народ пока еще не имеет свободы, но имеет свою, чешскую гимну. Хотите послоухат?

— Очень! Я сам хотел просить вас об этом.

Иржи снова приладил скрипку и уж наднес было смычок, но в это время к нему проворно и бесшумно подкатился сбоку Пшеничка и что-то шепнул.

Иржи Прохазка на один миг приостановился, решая, затем тряхнул слегка головой и сказал товарищу:

— Добже. Декуйи. (Хорошо. Спасибо.) — Потом обратился к Володе: — Вы есть наш гост. Я вперьед буду, ве ваши чест, играт рускоу гимну: «Боже, царья храни!»

И не успел Володя ответить, Иржи заиграл.

Сбоку и сзади стукнули об пол ножки табурета. Володя оглянулся: оказывается, это Ян Пшеничка поспешно вскочил со своего места и вытянулся с поднятою головою, руки по швам.

И тотчас же, вспомнив, что полагается встать, поднялся и Володя.

Медленно, словно бы нехотя и досадуя, встал сидевший на своей койке Ярослав Чех.

«А где же тот, третий, Микулаш Сокол?»

Мальчик повел глазами по всему пространству обширной комнаты, но успел лишь увидеть распахнувшуюся в сенцы, обитую кошмою дверь да согнутую спину уходившего чеха...

«Что ж это он?!»

Микулаш вернулся, когда Иржи стал исполнять свой, чешский гимн.

И едва только смычок Иржи вывел первые мечтательно-величественные, с затаенной тоскою в самой торжественности своей звуки гимна, как все трое слушавших — и Ярослав Чех, и Ян Пшеничка, и Микулаш Сокол — вытянулись, как на часах, как на молитве, со строгими, истовыми лицами и вдруг... и вдруг запели, стали подпевать скрипке. Не выдержал — запел и Прохазка.

Мальчик был растроган. Как жалел он, что не мог соединить свой голос с их голосами в этом гордом и нежном, могучем и в то же время никому не угрожающем гимне!

Когда гимн был исполнен, Иржи объяснил Володе его слова: это было «Где домов муй» — «Где родина моя»...

Еще и во время исполнения вещей из Сметаны и Дворжака обратил Володя внимание, что сотоварищи Иржи не остаются только слушателями его игры, а то один, то другой помавают в воздухе рукою; хмурятся, как бы с чем-то не соглашаясь, или же, напротив, вдруг проясняются лицом в счастливой улыбке полного удовлетворения.

Он и спросил теперь у Иржи:

— А товарищи ваши, они тоже музыканты?

Иржи объяснил ему, что здесь, в этой комнате, и впрямь обитают одни только музыканты — четверо их, чехов-военнопленных; и что все они под его управлением — он первая скрипка — составляют струнный квартет городского офицерского собрания.

А в заключение с чувством лукавой гордости добавил, что у них в народе даже и поговорка такая идет из старины:

— Цо чех — то гудэбник!

И Володя без всякого перевода понял: что ни чех — то и музыкант!

Попрощался. Расторопный и услужливый Пшеничка подержал ему шинель и помог надеть и застегнуть ненавистный гимназический ранец. Остальные: Иржи Прохазка, Ярослав Чех и даже Микулаш Сокол, показавшийся столь неприветливым вначале, — стояли полукругом возле него, бросая последние радушные приветы, приглашая быть постоянным их гостем и слушателем.

Вдруг Микулаш Сокол явно прислушался. Глядя на него, смолкли и остальные чехи. Вслушался и Володя. Извне, сквозь двойные зимние оконницы, доносился сверлящий скрип снега: как если бы кто-то тупозаостренной палкой высверливал лунку в снегу.

Ян Пшеничка весело подмигнул Микулашу:

— О! То твой *кмотр* идет!

Микулаш Сокол кивнул головой:

— То — он.

И повернулся к двери, готовый встретить нового гостя.

Володя еще не знал, что «кмотр» — это по-чешски «кум», и с любопытством ждал, кто же это войдет сейчас.

Тем временем странное, прерывистое сверление снега на деревянном настиле двора прекратилось, а в сенцах послышался тяжелый пристук — дверь распахнулась, и вошел человек на деревяшке.

Вошел. Остановился. Снял солдатскую, серую, дешево-мерлушковую шапку-папаху, огладил усы и бородку и сказал с приветом и шуткою:

— Ну, здорово, все крешшоны!..

В ответ ему послышалось:

— Добры дэн!

— Нáздар! (Привет!)

Микулаш Сокол поспешно поставил для своего «кмотра» табурет.

Володя узнал вошедшего. Узнал и тот его. Поздоровался с ним наособицу, радушно и почтительно:

— О? Никак Владимир Арсеньевич?! Мое почтеньице!

— Егор?..

И запнулся — отчества его он не знал: на мельнице помольцев по отчеству не называли. Он покраснел от стыда.

Протянув Егору руку, сказал:

— Здравствуйте, Егор!.. Вы меня простите: не могу вспомнить, как вас по батюшке...

Егор добродушно ухмыльнулся, сощурился — хитренько и простовато.

— Ну, какая в этом беда!.. У вашего папаши на мельнице такое коловращение народу — где там нас всех, помольцев, запомнить! Да еще по батюшке! — Рассмеялся. И не мог удержаться — созорничал: — Да нас ведь *по матушке* больше привыкли! — Тут же, должно быть, спохватился, что «отроку» и не подобает слушать такие шутки, — ответил чинно: — Иванычем по отцу величают: Егор, стало быть, Иваныч... — Затем обратился к своему «куму»: — Ну вот, Микулаш-кум,

заказ твой исполнил. Верхонки, или сказать, голицы, по нашему, по-сибирски, я тебе сострoил: вот на, примеряй, что не ладно — не серчай!

Сказав это, он вручил своему другу широкие рукавицы, желтой мягкой кожи, что надевают поверх варежек-исподок для работы, для выезда в стужу.

Микулаш Сокол зарделся от смущения, от благодарности.

От голиц исходил добротный, приятный запах свежевыделанной кожи.

Микулаш, любуясь, похлопал ими одна об одну, смущенно бормоча: «Добже, добже!»; затем передал их для осмотра Яну Пшеничке, который уже давно тянул за ними руку, и, приобняв Егора Ивановича, поцеловался с ним.

А тот, чтобы за словами скрыть свою растроганность и смущение, бормотал:

— Ну и ладно... ну и хорошо!.. Носи, друг, на здоровье. У нас ведь не то, что там, у вас, а Сибирь-матушка немилостивая! В стужу варегами одними и не обойдешься: персты-то живо закоченеют! Ты же и по двору работаешь: дрова колешь, и воду возишь, и на лошади ездишь. Тут и варежек, перчаток не напасешься. А главное, что персты у вас особые! Разве же я не понимаю?! У меня велико ли дело — гармонь, от скуки, а как задубеют пальцы, то и лады будто перестают слушаться. Но ведь гармошку не приравняешь же к вашему... — тут Егор Иванович не вдруг нашел слово, — к вашему действу!..

Присесть Егор Иванович наотрез отказался:

— Нет, нет, никак: делов еще много. Да и надо успеть на базар сходить — попутну подводу обратную себе присмотреть.

Он попрощался, и они вышли во двор вместе с Микулашем.

Иржи Прохазка проводил своего юного друга за ворота и долго не мог с ним расстаться.

И тогда Володя насмелился:

— Скажите, Иржи, вы могли бы... научить меня играть на скрипке?

Замер.

Но чех даже весь зарделся от удовольствия.

— Само себоу, само себоу, Володья! И я могу вас очен бистро научить!

— Я сегодня же спрошу у мамы. И завтра же зайду вам сказать.

— Добже, добже!

Они разговаривали, стоя на краю мостовой, за мостиком от ворот через канаву. Володя стоял лицом к воротам, спиною к улице. Вдруг на лице чеха вспыхнул мгновенный испуг, и с неожиданной быстротою и силой он схватил мальчика за рукав шинели и втянул на мостик. В тот же миг из-за угла, замедляя свой бег на повороте, вымчалась пара серых в яблоках, в дышловой упряжке, под голубою сеткой...

Опытный, осанистый, бородатый кучер, в бекеше и в бархатной угластой шапке с золотым шнуром, еще туже натянул поднятые высоко синие вожжи — кони перешли на шаг.

В рессорной легкой коляске с откидным верхом сидела, слегка откинувшись, царственно-безмятежная и в то же время неизъяснимо прелестная, красивая женщина, крупная, в серой шиншилловой шубке, в серой меховой шапочке, приколотой к ее пышным темным волосам, и с такою же муфтою на коленях. У нее было нежное, светло-румяное лицо с большими жемчужно-серыми глазами.

Иржи оцепенел. Он только что хотел сказать Володе, что как же так неосторожно они стояли — разве так можно! — и не смог вымолвить слова. И не было сил отвести глаза от этого, врасплох ворвавшегося в его душу видения, от этой *княгини Севера* — так почему-то промелькнуло в сознании бедного Иржи, — от всей ее женственно-могучей и гордой, светлой и властно-обаятельной красоты.

Коляска совсем остановилась. Благозвучный, грудной, с легкой протяжкою удивления голос, проникнутый материнской встревоженностью, произнес:

— Володенька? Сынок... почему ты здесь?!

И незнакомка слегка подалась из коляски.

Володя испуганно обернулся:

— Мама?!

И не знал, что дальше говорить, что делать.

Не знал и Прохазка. Оба стояли безмолвные, оцепенелые.

Наконец Володя сказал торопливо и почему-то шепотом:

— Иржи, это моя мама.

В это время послышался укоризненно-строгий голос:

— Володя! Я жду!

Мальчик поспешно протянул Иржи руку и кинулся садиться.

Ольга Александровна молча подвинулась. Володя тяжело вздохнул: будет разговор!

Под госпиталь еще в июне тысяча девятьсот пятнадцатого года Шатровы отдали полностью огромный свой особняк с большим садом. Верхний этаж был превращен в палаты для раненых, требующих вмешательства хирурга.

Здесь же были две операционные и небольшой кабинет Ольги Александровны, он же — и комната врачебных советов.

В нижнем — одна половина, отделенная наглухо, — была оборудована под военных «психотравматиков» — так их называли попросту сестры и фельдшера. В этой половине главным образом и был консультантом Никита. Каждую субботу постоянный ямщик Никиты, знаменитый в округе «троечник» Ерема, бесшабашный молодой мужик, хотя и старообрядец, двоедан, подавал прямо ко крылечку земской калиновской больницы свою бешеную гнедую тройку с подвязанными колокольцами, чтобы не обеспокоить больных, и через каких-нибудь пять часов доктор Шатров, закончивший свой врачебный день, был уже в городе.

Госпиталю матери он посвящал остаток субботы и воскресенье, а воскресный вечер — снова обход в своей больнице.

Остальная половина нижнего этажа была оборудована под огромную, сверкающую кафелем кухню.

Сами Шатровы размещались, приезжая в город вместе с Володей и Сережей, в доме на Троицкой улице, где у Арсения Тихоновича была контора и где жил городской управляющий, ведавший сдачею муки и масла.

Солдаты, попадавшие в госпиталь Шатровой из

других, даже из петроградских, говаривали в простоте душевной:

— Ох и добро, землячки, у этой Шатрихи! Прямо — синатория. И что господам офицерам, то и нам, нижним чинам!

— Одно и то же: ни в одеже, ни в пишше никакого различия не велит делать, ни в лекарствах!

— Ее и начальство здешнее боится. Что хочет — то творит.

— Ну ишшо бы: муж-то у ее какими капиталами ворочат! Его, говорят, и сам государь император знат!

— Ну вот!

— Нет, не говорите: и от самой много зависит!

И начались рассказы, как и кого она принимала из солдат в своем кабинете и что́ кому сказала:

— Извеличала и посадила меня!

— При ней ни один доктор, хоть в каком он чине, не смеет на нашего брата крикнуть-притопнуть!

— Сын-то, видать, в нее пошел, доктор-то Шатров, который психических лечит...

— Тоже обходительный. А как посмотрит на тебя, возьмет за руку — пульс проверить, аж мурашки пойдут по волосам: ну, думаешь, этот сквозь жернов видит!

— Молодой совсем, а, видно, в докторском своем деле сильно понимает: кажно воскресенье его из деревни сюда привозят: для совету!

— Молод, да, видно, стары книги читал!

Старый рыжебородый солдат с забинтованной головой таинственно-назидательно поправил:

— Докторско понимает, это само собой, как без этого? А он *знат*!

Это «знат» означало, что Никиту уже произвели в колдуны и волшбиты.

И опять — о *само́й*: о том, как лучше всех делает она перевязки, когда сама «стаёт на дежурство», о том, как рученьки ее «будто порхают» над твоей раной, «и ничем-то, ничем тебя не потревожит, не разбередит».

— Да! Уж эта не скажет: не принимаю в свой госпиталь, которые ниже пупа ранены!

Хохочут. Это потому, что любимым солдатским развлечением при случае стало в хирургических пала-

тах вспоминать про санитарный поезд одной княгини. Прежде чем взять в поезд раненого с поля боя, высланный ею фельдшер осматривал: не ранен ли этот солдат ниже пупка? Таких солдат учредительница поезда, мать-княгиня, принимать не велела. Сестрами милосердия у нее работали две ее дочери, только что вышедшие из института благородных девиц: так вот, чтобы не пришлось *им* перевязывать «неприличные раны»!

Арсению Тихоновичу госпиталь его супруги влетал-таки в копеечку! Подписывая чеки на выплату, он иной раз покряхтывал, качал головою, чертыхался вполголоса. Собирался урезать. Поговорить с женой. А потом, пораздумавши, подсчитавши, убеждался, что с возраставших неудержимо, как снежный ком, катимый по сырому, липкому снегу, прибылей и доходов военного времени все эти траты на раненых представляют собою, в сущности, ничтожный процент. Убеждался и в том, что со времен, когда взвалил на себя бремя госпиталя, как-то легче стали его взаимоотношения с высокими властями, что к его поставкам на военное ведомство стало замечаться неизменное, небывалое до этого благоприятствование.

И вместо сурового разговора с женой и урезки ее расходов на госпиталь прозвучало:

— Ну что ж! Тяжеленько, конечно, но уж будем держать имя!

Но, само собой разумеется, офицерские палаты и в госпитале Шатровой были отделены от солдатских.

В одной из солдатских палат хирургического отделения лежал Степан Ермаков. Он был плох. Пуля на излете застряла в легком. Если бы сразу извлечь ее, то, вероятно, этим спасли бы жизнь солдата, но и тогда хирурги заколебались: ранение дыхательных органов, а выдержит ли он ингаляционный наркоз? Теперь же, когда солдат был изнурен страданиями и раневой лихорадкой, когда он и без того на ладан дышал, теперь шатровский хирург прямо сказал, что наложение наркозной маски, первый же вдох эфира или хлороформа может тут же, на операционном столе, повлечь за собою экзитус леталис — смертельный исход.

Раненый был изможден. Под желтой кожей, будто обручи, обозначились ребра могучей некогда грудной клетки. В костные чаши глазниц ввалились воспаленно горящие глаза. Стали синими обтянувшие рот губы. Он с трудом говорил, да, впрочем, ему это и не разрешалось. Дыхание стало трудным и частым.

Степан страдал невыносимо, задыхался. Позывало на кашель. Но эти кашлевые толчки могли стать смертельными: если там, в легком, разорвется кровеносный сосуд. И эти позывы кашля, и эти страдания только и утишались что частыми впрыскиваниями морфия.

Состояние раненого все ухудшалось. Он принимал одну только жидкую пищу. С каждым днем терял в весе. Дурным знаком была для врачей и эта скачущая, лихорадочная температура: подозревали начавшийся сепсис. А санитары — те уже заведомо обрекли Степана, следуя своим собственным, извечным приметам: «Нет, этот в могилу смотрит: ишь усики пощипывать стал, одеяло все потеребливает!»

По особой просьбе самой Ольги Александровны главный врач разрешил Косте Ермакову повидаться с братом. Но вперед поставил жесткий предел: не более пяти минут! Перед самой встречей распорядился сделать Степану очередной укол. А Ольга Александровна заранее подготовила раненого к свиданию с братом.

Хотя и ужаснувшийся в душе виду Степана, Костенька был все же обрадован той живой радостью, что вспыхнула в глазах старшего, и его попыткой улыбнуться обтянутым ртом: «А может быть, и выкарабкается братуха!»

Константин не знал о только что впрыснутом морфии...

Одетый в большой, не по росту, посетительский халат и в белую, тоже съезжавшую ему на глаза больничную шапочку, стыдясь перед братом за свой пышущий румянец, Костенька с минуту сидел возле его койки молча, не в силах заговорить и только держал и гладил на своих коленях большую, мосластую руку Степана.

А тот смотрел на него взором, лучащимся отцовской, радостно-страдающей любовью, и тоже долго ничего не мог произнести. Наконец что-то вышептал. И тотчас

же дежурящая в палате сестра насторожилась: не заговорил бы громко!

Костя принагнулся к его лицу, переспросил:

— Что, братуха? Что ты сказал?

— Не велят мне, ишь, громко-то... берегут! Я говорю: издавненька, брат, не видались мы с тобой! Как же ты утешил меня! Теперь помру спокойно... Повидал!

— Что ты, что ты! Здесь тебя вылечат, подымут... А Семен был у тебя?

— Не-ет. А я ему тоже депешу отбил... После уж узнал: ушел он от Арсения Тихоновича... ушел... И что ему не пожилось?

— У Башкина он, на военном заводе...

— Знаю...

Наступило молчание. И дабы отвлечь брата от тяжких мыслей, Костя сказал вдруг, напуская на себя радостную, гордую живость:

— Степанушко! А что ж ты своего «Георгия»-то не покажешь? Покажи крест-то свой, дай порадоваться и за нас за всех, за Ермаковых!

Волна душевной боли прошла по лицу Степана.

— Полно! — промолвил. — Скоро деревянный увидите! Чему тут радоваться? Обман один! Надо им, проклятым, чтобы под могильны кресты шли ложиться, — вот и надумали этими... крестиками.... одурачивать!

Константин вздрогнул — не ожидал он этого! — и опасливо оглянулся. Потом спросил, хотя знал, заведомо знал, о каких проклятых говорил Степан: в этот миг в сознании Кости вновь пронеслись те ужаснувшие его, беспощадные слова Кедрова, услышанные там, у просвирни.

И вот сейчас разве не то же, не то же самое говорит ему родной брат, герой, георгиевский кавалер, который два года тому назад уходил гордый, бравый, готовый с радостью, как многие-многие, отдать жизнь свою за веру, царя и отечество?

Степан, отдышавшись, сказал, явно рассерженный непонятливостью брата:

— Кому?! А капиталистам проклятым! Царю... Кому больше?! В Минской губернии один уезд сплошь — Николая Николаевича владение! Все земли, леса, воды — всё его! Не от людей наслыхался — сам видал... За ихние прибыля воюем... Раньше я тоже вон так же

бы рассуждал, как вон тот, возле окна лежит: обе ноги отняты. Кто он теперь? Кровавый изрубок... Тоже за железный крестик обе свои ноги продал... В атаку впереди всех бежал... А уж сам понимат, что не жилец на белом свете, ханхрена!..— И оттого, что это непривычное ему слово Степан выговорил как-то хрипло и с придыханием, оно показалось Косте особенно страшным.

Раненый устал — откинулся на подушку.

— Устал я. Губы иссмякли. Да-кась испить... из твоих рук хочу...

Константин бережно напоил его из фаянсового белого поильника, стоявшего на прикроватном стольце.

И Степан продолжал все так же: как бы горестно насмехаясь и над собою, и над тем, кто у окна, и над всеми такими же:

— Понять его не могу, в самом деле он так судит али только духу сам себе придает, чтобы помирать не страшно: я, говорит, чист предстану перед престолом всевышнего: источил кровь свою за отечество! Я ему ничего не стал возражать: зачем человеку перед кончиной душу растравлять... в последни-то часы жизни?.. И самому — скоро... Жалеем один другого...— И неожиданно спросил Костю: — А тебя еще не призывают?

Костя невольно покраснел: вспомнил, зачем являлся он к Матвею Матвеевичу. Но понимал, что никак нельзя признаться в этом брату.

— Нет... Года-то не подошли еще.

— Ну, и счастье твое и всех однолетков твоих! А нас вот кончили...

Тут он опять задышал чаще, видно стало, как под завязками рубахи колышется, бьет в глубокой ямке исхудалой шеи аорта; но еще раз, в последний, он вновь цепко потянул к себе Костю за рукав.

Костя склонился к нему. Степан зашептал:

— Слушай теперь, запоминай: не наша война. Истребление народа... А им — нажива! И смертной мой, братнин, тебе наказ: коли возьмут, вспомни: аминем лиха не избудешь, пора за русскую трехлинейную браться да на своих паразитов-капиталистов штыки поворачивать! У нас там, в окопах, многие понимать стали... Ну... а теперь простимся, братишечко! Возьми: тут все прочитаешь, все поймешь.— Сказав это, он

вынул из мешочка, висевшего у него на шее, листовку и незаметно пересунул брату: — Спрячь... от всех спрячь... За это погинуть можешь... А надежным людям давай: пускай знают!

Держа листовку на коленях, прежде чем спрятать, Костя слегка развернул ее и успел прочесть:

«Фразы о защите отечества, об отпоре вражескому нашествию, об оборонной войне и т. п. с обеих сторон являются сплошным обманом народа».

В это время в палату вошла своей неслышной, упругой поступью, в привычной уже ей одежде — сестры милосердия — сама Ольга Александровна. Она тихонько приблизилась к братьям и, ничего не сказав, чуть заметным кивком головы и улыбкой дала понять, что время их беседы окончилось.

Удрученный, Костя шел возле Ольги Александровны мимо солдатских палат. Облик умирающего брата еще стоял перед глазами, а здесь, в палатах и кое-где в коридоре, и виднелась, и слышна была бьющая неуемным ключом сильная солдатская жизнь, хотя и опахнутая холодным и темным крылом смерти, хотя и среди боли и страданий, среди костылей и каталок, белоснежным бинтом окутанных, странно толстых голов и выставленных далеко впереди себя на уродливо согнутых шинах загипсованных рук.

Играли в шашки, а тайком и в картишки; листали «Ниву» и «Огонек», пробавлялись сказками и анекдотами, малость сдобренными смачным словечком (абы сестрица не слыхала). Загадывали мудренейшие загадки; обсуждали житейские и политические дела; скребли письма.

Вот один бородач, с гайтаном кипарисового креста, проступающего под нижней рубахой, — старообрядец, наверно, — лежит в постели, высоко взмостясь спиною на подушках, как раз против широко разверстой двустворчатой двери, и самодовольно — видать, дело идет на поправку — вещает, весело поблескивая глазами:

— Ну, землячки, а теперь я загану вам загадку: кто рожден, да не помер? (И кто же тут из молодых солдат догадается, что это — Илья-пророк: живым взят на небо!)

Молчание.

— Та-ак... Ну а кто не рожден, а помер? (Тут надо было вспомнить: Адам.) Опять же не знаете. Худо вас закону божию поп в школе учил, мало за вихры драл! Ну, ин, в третье загадаю: кто умер, да не истлел?

Молчание. Наконец кто-то из молодых солдат обиженно говорит:

— Очень ты стариковские загадки загадываешь! Умер, да не истлел... Мощи, наверно?

Бородач торжествует:

— Ну, и вышел дурень! Не мощи, а жена Лота. Когда выбегали они с мужем из Содома и Гоморры, она оглянулась, а не велено было, и за то обращена в соляной столп...

Вот жадно слушают сказку:

— Ну, известно, царица: сейчас берет трубочку — звонит кому следует: «Сейчас же разыщите мне того солдата, который трехглавого змея победил, а этого, — говорит, — самохвала бросьте в кипящий смоляной котел!»

Вот солдатик об одном костыле, в голубой с отворотами пижаме, подошел к столику с кипяченой водой, испил, подмигнул, крякнул:

— Эх, братцы, нет питья лучше водицы... как перегонишь ее на хлебце!

А вот возле окна под пальмою идет вполголоса безотрадная беседушка:

— Что говорить: народ изверился, добра не чает!

— И баба видит, что неправдаи́дет!

— Откуда ему, добру-то, быть? Прожили век, а всё эк!

Коридором, горделиво-изящной, легкой поступью, постукивая острыми французскими каблучками, развевая темные локоны из-под белой больничной шапочки, пробегает Кира Кошанская.

Белоснежный халатик на Кирочке — мало того, что докторский, для обходов, с перламутровыми пуговицами, без завязок, но он еще и сшит явно по заказу — из какого-то особого шелкового полотна, и отменно коротенек против прочих сестринских. Халатик прираспахнут — платьице тоже короткое, каких еще в городе и не носят, но изящно-деловое, не придерешься.

Кирочке разрешено так, хотя она и числится сестрой госпиталя — окончила сестринские курсы вместе с

Раисой Вагановой, — разрешено потому, что она работает секретарем Ольги Александровны, ведет ее личную переписку со всеми властями, печатает на машинке, созванивается по телефону. В палаты лишь забегает. Перевязок не делает.

Но зато Ольга Александровна спокойно посылает ее для самых трудных переговоров с любым высоким начальством: Кирочка добьется! Знание языков — английского и французского, — светскость, смелое и властное обаяние, а с кем нужно, и строгость, исполненная особого достоинства, обезоруживали и привлекали.

Кира вскоре же вслед за окончанием курсов откровенно заявила Шатровой, что с больными ей нудно, прямо-таки жить не хочется! Эта жуткая тишина, эти стоны... эти возгласы: синитар! «Можно, я буду помогать вам по госпиталю в другом чём? Все, все буду выполнять, что только возложите на меня!»

Подумав, Ольга Александровна согласилась. Раскаиваться не пришлось.

Зато другая из ее девочек — она так о них и говорила: «Мои девочки», — Раиса, та всю себя отдала уходу за ранеными. В солдатских палатах души в ней не чаяли: «Раисочка наша пройдет по палате — и не услышишь: как провеет! Укол сделает — комар слышнее ужалит! А случится надобность, санитара нет близко, эта сестричка и никакой работой не погнушается. Из ее рук водицы испить — дороже лекарства!»

В офицерской палате она что-то скоро не захотела работать. Долго отмалчивалась почему. Наконец, и то одной только Ольге Александровне, взяв с нее слово никому не говорить, призналась, что в палате раненых офицеров ее тяготит не простое, хотя и вполне корректное, отношение к ней. Ничего особенного, но тот поцелует ей руку, а тот возьмет и задержит ее пальцы в своей руке. Пишут ей стихи.

Ольга Александровна рассмеялась: дитя, дитя совсем! Но от офицерской палаты освободила.

Забавный и трогательный у нее, у Раисочки, был вид в белой глубокой шапочке, едва вместившей ее большие золотистые косы, в белом халате, не по росту длинноватом, в тапочках: туфель с каблуками Раиса не надевала, чтобы стуком каблуков не беспокоить

раненых. Лоб мыслителя, а лицо — девчонки. Сосредоточенный на какой-то внутренней, душевной заботе, принахмуренный взгляд. Так смотрят примерные школьницы-подростки: а все ли я сделала, как надо, не упустила ли чего?

Но, едва заговорит с нею раненый из ее палаты, нахмуренности как не бывало: отвечает, озаряя светлой девической и в то же время материнской улыбкой и свое и его лицо.

Но бывает один день в неделю, день, когда все ее существо лучится и светится, когда ни разу не дрогнет строгая бровь: этот день — суббота, в город приезжает Никита Арсеньевич!

Ольга Александровна, с присущим ей сердцеведением, по одному выражению лица Раисы узнавала, что сын уже приехал и сидит в ее кабинете. «Твой подсолнух», — однажды сказала она ему о Раисе.

И впрямь: как подсолнух поворачивается вслед за движущимся по небосводу солнцем, так и все существо Раисы в течение целого дня — здесь он или нет — было раскрыто в его сторону и как бы поворачивалось вслед за ним.

Однажды Никита сказал ей:

— Раиса, а вы знаете, какое чудесное, какое верное имя вам дали?

— Нет, а что?

— Раиса — значит легкая.

— Вот как? Не знала. С какого это языка?

— Я сам не знаю точно.

Присутствовавший при этой их беседе в кабинете Шатровой постоянный хирург госпиталя Ерофеев не удержался, перевел на язык медицины.

— Раиса этэреа — Раиса эфирная, говоря на нашем жаргоне.

— А я?! — Это Кира Кошанская, требовательно и ревниво надув губки.

Хирург развел руками и все ж таки нашелся:

— А вы... вы — Кира Азиатика.

— Боже мой! Но я — истая европеенка!

— Как сказать!

Вмешался Никита:

— Я примирю вас: вы — евразиенка.

— Это меня устраивает.

Как стихают, и еще за́долго, едва только быстрым предостерегающим шепотком пронесется: «Сама!» И это не страх перед начальством, отнюдь. Взрослые, большие мужчины, солдаты, светлеют, словно дети, завидевшие матерь, когда Ольга Александровна входит в палату. И нет горшей обиды для того, с кем она почему-либо не поговорит, к чьей кровати не подойдет.

А в следующей палате уж радостно насторожились, ждут. Усаживаются чинненько; наспех, по-мужски неумело, наводят экстренную чистоту. А тот, кому предписано лежать, срочно укладывается на койку, хотя только что вот-вот ораторствовал. Говорят сдержанным, тихим голосом, благонравно. И чутко прислушиваются к соседней палате: скоро ли Ольга Александровна покинет ее и перейдет к ним. Выставляют возле двери «махального». И попробуй-ка не зайди: обида!

Однако что ж греха таить, неймет иных солдатиков «благонравие» даже и в присутствии «самой»! Вот она проходит коридором, Ольга Александровна Шатрова, статная, но и легкая в поступи. Упруго вздрагивают при каждом шаге ее точеные, полные икры, туго схваченные прозрачным чулком.

У окна, под филодендроном, трое выздоравливающих солдат. Один постарше и двое молодых. Молодые, оба, долго провожают ее глазами. Потом один из них, вздохнув, толкает локтем товарища и, лукаво подмигивая, говорит:

— Икорца-то у нее, а, Андрюша? Тебе бы таку!

Тот смущен, покраснел, не знает, что ответить:

— Да ну тебя!..

Вмешался старший. Устыжает:

— Полно тебе!.. Уж вовсе неладное несешь!

Одернутый его замечанием, молодой солдат сначала будто бы оторопел, а затем впадает в обиду:

— А что я? Ну что я такого сказал?! — И добавляет угрюмо и рассудительно: — От слова ей не сталось!

Старый солдат отцовски-ворчливо:

— На выписку вас пора, хворостиной — на выгул!

Когда Костя Ермаков вслед за Ольгой Александровной вышел от Степана, она велела ему пройти с нею в

ее кабинет — поговорить о состоянии брата. И удивительно: словно задуваемый на ветру и упорно не хотящий гаснуть огонек свечки, вспыхнула вдруг в душе Константина трепетная надежда, что еще не все кончено для Степана, если он — на таких руках, на руках этой ясной и взором и душою женщины в строгом, почти монашеском одеянии — в белой сестринской косынке с открылками на плечах и в черном наголовнике, с ярким красным знаком равноконечного креста на груди.

Высокая двустворчатая дверь ее кабинета почти всегда была распахнута. Это означало, что каждый, у кого до нее есть дело, может войти. Особой приемной не было. Возле дверей поставлены были кресла для ожидающих приема.

Кабинет Шатровой был светел от огромных, цельного стекла, окон. Ее письменный стол с большим ящиком телефона, ручку коего иной раз неутомимо накручивала Кира Кошанская, восседавшая тут же за своим машинным столиком, был вдвинут в каменное полукружие, в абсиду стены, так, что свет падал не только сзади, но и с боков.

Убранство комнаты было строго деловое. И только большой цветок в хрустальном узком стакане на письменном столе Шатровой веял женственностью. Башкин неукоснительно опустошал свои оранжереи для госпиталя Ольги Александровны. Один цветок из этих щедрых приношений заводчика она ставила на стол, остальные отправляла в палаты солдат и офицеров.

За окном отвесно падал безветренный, тихий снег. Крупные, пухлые снежины. Их было так много, что они казались темными против неба.

Ольга Александровна пропустила впереди себя Костю, закрыла обе половинки двери. Киры Кошанской не было.

— Ну что ж, Костенька, давай поговорим... Вот что записали врачи... — И она стала раскрывать было своими белоснежными, узкими перстами выхоленной руки скорбный лист — историю болезни Степана.

Но юноша, не поворачиваясь к ней лицом, а все так же глядя в окно, лишь слабенько помахал рукой и так стоял, покачиваясь от горя.

С тревогой взглянула Ольга Александровна на него, хотела что-то сказать, но вдруг увидела, что он опустился на стоявший возле окна диванчик и упал головою на руки, затрясся в прорвавшемся плаче.

В дверь постучали. В белом докторском халате, в белой шапочке, готовый к приему больных, вошел Никита.

— Костя, ну, полно!

— Я все, я все понимаю, Никита Арсеньевич... Оперировать нельзя... Не выдержит наркоза... Я уж подготовленный ехал сюда: Ольга Александровна ничего от меня не скрыла. Но не могу я: ведь он, Степан, мне был вместо отца. Больно мне его потерять. Простите меня... Пойду я. И так много времени отнял... Известите меня, если что... Я приеду...

Доктор Шатров молча протянул ему руку, прощаясь. И вдруг задержал, не выпуская, в каком-то сосредоточенном раздумье:

— Постойте, Костя... Впрочем, идите. Но не уезжайте. Я обо всем извещу вас. И... не отчаивайтесь.

Когда за Константином закрылась дверь, он сказал матери:

— Мать, я решил с Ермаковым: будем — без наркоза.

Ольга Александровна молча подняла на него глаза. И встретившийся в молчании их взор — сына и матери — сделал ненужными слова.

— А ты не боишься, Никита?... А если вдруг...

Мгновенный гнев, искрививший его брови, пресек ее речь. Жестким, властным голосом, как-то вдруг весь отчуждаясь от нее, он сказал:

— Сестра Шатрова! Я раз и навсегда прошу вас: никогда, слышите ли, никогда не говорить мне ничего подобного!

У нее дрогнули обидою губы, молча склонила голову.

Никите стало жаль ее. Подошел к ней, молча поцеловал, ласково приобнял:

— Мама! Не сердись... ты ведь у меня умница. Там, у себя, я страшнейшую в этом отношении установил дисциплину. Суггестивную. Если только я назначил кому-либо лечение гипнозом, то и фельдшер мой, Лукич, и сестры, и нянечки — все, как один: «Ну, теперь

ты будешь здоров, раз сам Никита Арсеньевич взялся лечить тебя гипнозом. Теперь считай себя здоровым!» Так-то вот, мамочка...

— Я понимаю...

— И ты ведь знаешь про тот случай, с девочкой...

— Ну, еще бы! И сюда, в город, слава дошла.

Никита улыбнулся:

— А это хорошо, что дошла. Нам, гипнологам, это очень и очень помогает: слава!

— А ты разве не знаешь? Послушал бы ты, что о тебе наши солдатики говорят в палатах!

— Любопытно.

— Что ты и сквозь жернов видишь.

Рассмеялся:

— Сквозь жернов — это пустяки видеть! А вот сквозь душу человеческую — этого я еще не достиг. Так ты поняла, мама? Всей своей властью, всем своим авторитетом помогай мне. И чтобы весь твой персонал. Ни у кого, никогда ни тени сомнения! А сейчас пошли, пожалуйста, разыскать доктора Ерофеева: пусть привезут его сюда. Я хочу обсудить с ним.

Речь шла о постоянном хирурге госпиталя Якове Петровиче Ерофееве, который давно уже и в городе и в уезде слыл хирургом первой руки. Он обслуживал и прочие госпитали и больницы, но в госпитале Шатровой было основное место его работы.

Ольга Александровна молча слушала распоряжения сына. Вот она взялась было за ручку телефона, но задержалась на минутку и спросила его:

— А мне можно будет присутствовать на вашей операции? Или, по крайней мере, посмотреть, когда ты будешь его усыплять?

Никита аж вскинулся:

— Ни в коем случае! Именно тебе-то и нельзя! — И, чтобы не обижалась, пояснил: — Ты — моя мать. А для него, для того, кого я буду усыплять, как вы все выражаетесь, никого, никого во всем свете не должно быть старше, чем я... И тем более в операционной!

Случай с девочкой, о котором зашла речь, остался памятен ему на всю жизнь. С него он, по существу, и начал свой путь в гипнологии. Этим случаем он, как

врач, мог бы в особенности гордиться. Будь он честолюбив, он бы смело мог описать его и напечатать где-либо в «Русском враче» или, если бы не война, в любом «вохеншрифте»: это было открытие. До него никто не лечил так.

Двенадцатилетнюю Леночку Пиунову положили к нему в больницу с так называемой хореей, которую так верно и так страшно именуют и виттовой пляской, в память о том, как некогда, в средние века, последователи святого Витта были якобы одержимы неистовыми корчами, дерганиями, некоей «бурей движений».

У бедняжки Леночки это была поистине буря! Дергалось и металось все: голова, язык, руки, ноги. Речь, невнятная, каким-то влажным комком, прерывалась истязующими душу выкриками. Ребенок не мог есть, не мог поднести ложечку к своему рту: через одну-две секунды ложка далеко отлетала в сторону, словно выбитая из руки.

Больная исхлесталась бы в кровь на своей койке, если бы ее не охраняли от ушибов неотлучно бывшая при ней мать или нянечка и если бы не обкладывали кровать подушками.

Но даже ко всему притерпевшиеся больничные сиделки не выдерживали смотреть на нее и, закрыв глаза рукою, уходили из ее палаты, чтобы хоть немного не видеть этих корчей, подбрасываний, этих выпяливаний языка, похожих на дразнение.

Сердце несчастной девчушки металось в неистовом галопе — так что невозможно было и сосчитать число его ударов в минуту.

Уверенно, терпеливо он испытал все.

Но вот прошла неделя, другая, а состояние больной становилось все хуже и хуже.

Однажды ночью, когда все уже успокоилось в больнице, один сидел он возле постели несчастного ребенка. Изнеможденная, исхлеставшаяся, Леночка заснула, заснула сама собой, без снотворного. И... — да как же это он раньше не вдумался в столь явное, самоочевидное? — лицо ее, и руки, и ноги были совершенно спокойны! Хорошо: пусть ревматизм мозга, и потому — салицилка. Но ведь во сне и без всякой салицилки — ни одного подергивания! А если я буду держать ее в сне, в предель-

но глубоком, большую часть суток, часов по шестнадцать? Разве нельзя допустить, что этакий сон помогает защитным силам больного справиться даже и с ревмококком хореи, если только он есть?

Хорошо. Но с помощью каких средств усыплять ее на шестнадцать часов? Мединал? Веронал? Но девчушка и без того желтеет с каждым днем.

И вдруг — простая и в его положении неизбежная мысль: а если гипноз? Разве не приходилось читать, слышать, как Форель, Бернгейм, Бехтерев, Веттерштранд применяли и длительный, многочасовой гипнотический сон?

И, не откладывая, он принялся осуществлять свою мысль.

Девчушка поразительно скоро погружалась в глубочайший сон. И в то же время отзывчивость на него, на своего доктора, в этом глубоком сне была удивительно чуткой. Словно восковая, застывала ее исхудалая, костлявая ручонка в любой причудливой позе, которую только вздумалось ему придать ей: «Каталепсия полная!»

На его тихие вопросы она отвечала, не просыпаясь, шепотком полного повиновения и преданности.

Тогда он сказал ей властно, что она будет спать, не просыпаясь, всю ночь, пока он сам не разбудит ее. Если нужно будет повернуться на другой бочок — повернется и еще крепче заснет. «Будешь спать крепко-крепко, глубоко-глубоко. Никто и ничто тебя не разбудит, только один я. Когда я скажу тебе, чтобы ты проснулась. Это — особый сон. Он сильнее всех лекарств. После этого сна ты будешь совсем здорова, совсем здорова. И с каждым разом такого сна ты будешь все сильнее, все спокойнее, здоровее...»

Проверяя, сомнамбулическая ли у нее фаза, он внушил ей полную нечувствительность и спокойно, уверенно проткнул ей прокипяченной иглой складку кожи повыше кисти — даже и бровь у девчушки не дрогнула! «Спи!..»

Матери и дежурной сестре, когда они вошли, впущенные им, и остановились в ужасе, он подал знак полного молчания, а за дверью строго-настрого наказал, как следует им вести себя, когда он разбудит ее, что говорить и что делать.

Он и сам глазам своим не поверил, когда, проспавшая без просыпу от одиннадцати ночи и до одиннадцати утра, Леночка, разбуженная им, глянула на него светлым, радостно-смущенным взором и спокойным, негромким голосом стала отвечать на его вопросы. Корчей и судорог не было. Только изредка на верхних скулах чуть-чуть заметные пробегали короткие вздрагивания мышечных пучков — так уходит большая ночная гроза, оставляя за собой отдаленные и все затихающие зарницы...

Днем, чтобы еще углубить внушенный, гипнотический сон, он присоединил легкую дозу мединала, приказав запить порошек горячей водой.

Сон был глубокий, но раппо́рт между ними все время был самый чуткий, отзывчивый, сколько бы раз он ни заговаривал со спящей.

И скоро даже никто из врачей не сказал бы, что это — ребенок в самом разгаре жесточайшей хореи; сказал бы, что это выздоравливающая после тяжелой болезни, истощенная девочка.

Вот о какой девочке вспомнилось сейчас доктору Шатрову.

Но разве можно тот случай сравнить с тем глубоким и длительным хирургическим вмешательством, что предстоит сейчас? У девочки был ничтожный прокол иголкою складочки кожи — вот и все испытание обезболивания, а здесь?! И Никита внутренним зрением врача увидел, внутренним слухом услышал и длинный взрез живой кожи; и страшный, даже для привычного, хруст живого иссекаемого ребра, когда оно перекусывается хирургическими щипцами-кусачками; и весь этот холодный, жестко сверкающий никель хирургического инструментария, его нерадостное, душу леденящее звяканье; и сосредоточенное посапывание хирурга, склонившегося над разверстой кровавой раной; и почти безмолвную подачу сестрою то всевозможных зажимов для останавливания крови, то изогнутых вилок-крючков для раздвигания разреза, то комками захваченных в корнцанг пластин марли — как быстро из белоснежных становятся розовыми они, погруженные в рану!

Операция, которая предстоит Ермакову, продлится в лучшем случае полтора часа! И выдержать это все под гипнозом?! Нет, его, Никиту Шатрова, несомненно,

фанатиком, безумцем назовет доктор Ерофеев. Да и не согласится, конечно. Но ведь у Токарского выходило, у Подъяпольского выходило!

Предчувствие его оправдалось. Приехавший вскоре хирург только фыркнул сердито, потряс в безмолвном изумлении рукою и, по семинарской своей привычке бычась из-под косой челки, с нарочитой опасливостью обошел сидящего в кресле Никиту, устанавливая на лучшую видимость очки в железной оправе.

Никита рассмеялся:

— Что? Сомневаетесь, коллега, в моем душевном здравии?

От столь откровенного вопроса доктор Ерофеев смутился:

— То есть нет... Я, вы знаете, преисполнен самого глубочайшего почтения ко всему вашему семейству. Перед вашими познаниями, мой юный друг, готов преклоняться... Но... я не понимаю, я не понимаю. Я знаю, что вы в таком вопросе шутить не станете!

В семье Шатровых доктора Ерофеева, Якова Петровича, глубоко чтили и считали своим, близким человеком. Это был один из тех провинциальных хирургов-трудовиков, которые, как принято о них говорить, звезд с неба не хватают и до седых волос все слывут заведомой посредственностью и неудачниками. И это длится до тех пор, пока вдруг не узнают, что сам Федоров, или Спасокукоцкий, или другой кто из знаменитейших хирургов пожелал иметь именно эту самую провинциальную посредственность своим ближайшим помощником; или пока вдруг на очередном хирургическом съезде имя его не прозвучит в числе лучших хирургов России.

Так было и с Яковом Петровичем Ерофеевым.

В конце концов, зная и сам безнадежное состояние Степана, хирург согласился вести операцию под гипнозом. Только он обеспечил себе возможность, если больной проснется, в любой миг перейти на наркоз.

Беря со вздохом щетки, выдержанные в растворе сулемы, Яков Петрович, нащупывая ногою педаль умывальника, ворчал:

— Ужаснейшая процедура — это наше хирургическое мытье рук! У меня уже экзема не раз появлялась, ей-богу. При одном взгляде на эти щетки кожа на тыле руки начинает ныть. Хорошо вам, невропатологам, там,

гипнологам, психиатрам: никакой вам асептики не надо, никакой стерильности рук!

Никита усмехнулся:

— Очень ошибаетесь, дорогой коллега: гипнологу асептика, стерильность не меньше нужна, чем вам, хирургам. Только не рук, а... души!

Когда Степана Ермакова привезли в операционную, Никита просто и властно сказал ему, взяв за руку и глядя ему в глаза, что сейчас вот он, доктор Шатров, применит к нему особую психическую силу — гипноз, о котором он слышал, конечно. Владение этой силой изучается докторами особо.

Слушая его властное, не допускающее сомнений слово, Степан не смел оторвать своих глаз от него, не смел кивнуть головой, но во всем его лице отражалось одно только беззаветное приятие всего, всего, что говорил ему врач.

Никита Арсеньевич известил его, именно известил, поведал ему, раскрыл, что сейчас вот сила гипноза отымет у него всякое чувство боли, всякую чувствительность:

— Я наведу на тебя особый, гипнотический сон. Будешь слышать только мой голос. Будешь отвечать только мне. Но будешь спать, спать и спать. Спокойным, глубоким, исцеляющим сном. Вот сон уже охватывает всего тебя. Ты заснул.

И внезапно поднятая им кверху рука солдата — желтая, высохшая и впрямь похожая на восковую, застыла, отпущенная, в том сгибе, который придал ей Никита.

— Вот ты и спишь уже...

И, словно из-под земли, шепот:

— Сплю...

— Тебе хорошо. Спокойно...

Тот же, словно бы замогильный, шепот из едва раскрываемых, иссохших уст:

— Хорошо... Спокойно...

Подкрепив особым внушением полную, абсолютную нечувствительность, доктор Шатров тут же, на глазах хирурга, произвел проверку: толстой, с большим просветом иглою шприца он пронзил складку кожи на руке раненого — даже веки не дрогнули!

Сон уплотнялся, окреп до такой степени, что временами слышался храп. И тогда Шатров несколько ослаб-

лял глубину сна вопросом, требующим односложного ответа: он опасался, как бы гипнотический сон внезапно не перешел в обычный, а тогда и разорвалась бы эта незримая и таинственная связь между врачом и больным в гипнозе, связь всевластная, все другое оттесняющая,— раппóрт.

Раппорт был абсолютный.

Никита молча кивнул хирургу: начинайте!

И тотчас же рука доктора Ерофеева, державшая наготове скальпель, движением смычка провела лезвием по желтой от йода коже спящего. Мгновенно вдоль всего разреза брусничками выкатилась кровь...

Операция под гипнозом началась.

Никита явственно видел, как во время этого первого взреза кожи дрожала рука этого сурового и опытнейшего, видавшего виды хирурга. И еще видел он, как на лбу Ерофеева проступили вдруг большие капли пота. Операционная сестра сзади бережно сняла эти капли пота комком белоснежной марли.

Был один поистине страшный миг. Когда хирург вскрыл рёберную надкостницу — это вместилище адской болевой чувствительности — и стал отслаивать ее от кости, из груди спящего вырвался стон.

В глазах хирурга, обращенных в этот миг на Никиту, застыла безмолвная мольба и ужас: «Не прекратить ли? Довольно, хватит. Я не в силах выносить эту пытку!»

Никита Арсеньевич побледнел. Но его лицо, его голос стали в тот миг лицом и голосом существа нечеловеческого. Все с тою же непререкаемой властностью он приказал больному уснуть еще глубже, еще глубже уснуть.

И вновь воцарилась страшная тишина и молчание полостной операции, прерываемое лишь звяканием инструментов, треском замыкаемых кремальер, сопением хирурга.

Свыше полутора часов длилась эта истязующая пытка — не того, кто лежал сейчас на столе, прикрытый хирургической простынею, и спал, спал, а пытка тех, кто стоял над ним в белых халатах и шапочках, с марлевыми наустниками, закрывавшими нижнюю половину лица.

Когда все было закончено, когда исхудалое, ребристое туловище лежащего на столе человека окуталось белоснежным, толстым слоем бинтов, Никита разбудил Ермакова.

Мгновение взгляд его был далек и мутен. Затем взор его просветлел, и, вперившись в лицо Никиты глазами, исполненными неистовой веры, он произнес словно бы одним лишь, еле слышным веянием дыхания:

— Не спал я... А больно не было...

Ругнувшись вполголоса, Арсений Тихонович Шатров сердито глянул на обоих своих гостей, как будто ихняя в чем-то была вина, и отшвырнул ноябрьскую подшивку газеты «Речь»: вся сплошь, вся сплошь — в пролысинах цензурных изъятий! Он только что возвратился на мельницу из своих длительных, почти двухнедельных, разъездов по глухомани огромного округа, где убеждал и сколачивал множество мелких торговцев и маслозаводчиков, дабы изъявили свое согласие вложиться всем своим предприятием в затеваемый им, Шатровым, всеобъемлющий трест — «Урало-Сибирь», перейдя на положение его акционеров, а лавочники, кроме того, — и на положение прекрасно оплачиваемых его приказчиков. То была любимая, еще до войны взлелеянная, большая мечта Шатрова: вышибить из Сибири и Приуралья иностранных паразитов-комиссионеров, подвергающих постыдному и беспощадному ограблению не только все крестьянство Сибири, но и маслозаводчиков и крупных землевладельцев,— вытеснить их, этих услужливых чужеземцев, за одну только перепродажу чужого взимающих рубль на рубль; одолеть их силами русского треста — левиафана, со своим дальнего плавания торговым флотом, со своими отделениями в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке; а внутри страны уничтожить излишнее, тоже паразитическое звено между производителем товара и его потребителем — уничтожить лавочников.

Возвращаясь из подобных разъездов, Шатров любил, отдыхая за стаканом пивка в гостиной «под баобабом», поздно вечером, когда все уже затихали, перелистывать и читать подшивку, вдумываясь и обозревая.

Вслед за беглым просмотром сводки из Ставки верховного главнокомандующего, а затем заграничных из-

вестий он обычно сосредоточенно и надолго погружался в свой любимый раздел — «В Государственной думе».

Сегодня, к его вящему удовольствию, он мог не один предаваться этому занятию: после вечернего преферанса у него заночевали отец Василий и Кедров.

Ольга Александровна и Никита были в городе. За последнее время дела ее госпиталя и комитета все чаще и чаще вынуждали ее оставлять дом.

Хозяин и гости вечеровали втроем.

За хозяйку теперь все чаще и чаще управлялась старшая горничная Дуняша, цыгановатая, стройная смуглянка, похожая на осу. Дуняша все больше и больше из горничных становилась экономкой, домоправительницей. Была она расторопна и сметлива, распорядительна и неутомима. А главное, почти воспитанная в семье Шатровых от раннего отрочества, сирота, она искренне любила их всех и уж конечно была безупречно честной.

Особые, странные и ни для кого еще в доме Шатровых не известные отношения существовали между нею и Сергеем.

Она была старше его лет на пять: ему — семнадцать, ей — двадцать третий. Она без всякой обиды говорила про себя, что она уже старая дева.

Влюбчивый Сереженька не остался равнодушным к ее знойной, осиной прелести. С привычной опасливой оглядкой на родителей, отнюдь не склонных поощрять домашние амуры с прислугой, Сергей нет-нет да и норовил, будто бы ненароком, чувственно прикоснуться к ней, задержать, приобняв за плечи, а то и грубовато, по-деревенски, дать ей шлепка по упругому заду.

Дуняша принимала эти его приставания, это чувственное его озорство без фырканья и без жалоб, как-то матерински, что ли, снисходя к его истязующему возрасту. Но когда юнец становился уж слишком неотвязчив и грубоват, она вдруг мгновенно его охлаждала. Со снисходительным достоинством старшей, она спокойно, чуточку насмешливо отстраняла его: «Успокойтесь, Сереженька, остыньте!» — «Ну и дура! Что значит — остыньте?! Какое глупое слово!..» И, повторяя его, это «глупое слово», он все более и более начинал кипятиться от вдруг осознанного оскорбления. Дуняша отвечала

на это просто и невзыскательно: «Глупое не глупое, а какое уж есть!»

Однако и после такого лингвистического препирательства они оставались друзьями.

Он знал, что будет и на его улице праздник: стоило лишь ему взять в руки гитару, на которой неплохо играл он, и начать петь какой-либо старинный жалостный романс, как в комнату неслышно вступала Дуняша и, подперев щеку, останавливалась у порога.

Торжествуя и даже головы не поворачивая в ее сторону, Сережа говорил:

— Что, египтянка,— пожаловали?

И, прервав игру и пение, начинал:

— Возьми, египтянка, гитару!

Дразня ее, и уж в который раз, он объяснял ей, что египтянкою именуется цыганка, то есть она, Дуняша. А когда доходил до слов: «Исполнись сладострастна жару...», то удрученно, с напускной, полупрезрительной безнадежностью махал рукою:

— Ну, это не о вас писано, Дульцинея Тобольская! Какая вы там цыганка, Авдотья Хведоровна из села Раскатихи! Где там уж — сладострастна жару!

Дуняша в ответ только пожимала плечами и тоже с напускным равнодушием говорила:

— А я и не очень интересуюсь. От родителей своих покойных не отрекаюсь. Зачем мне цыганкой быть? Тятя и мама были русские.

Но не уходила.

Сменив гнев на милость, Сережа снова принимался за гитару и пение. Чаще всего он исполнял любимую — и свою и Дуняшину — «Две гитары за стеной жалобно заныли». Девушка слушала, бледнела, потом начинала беззвучно всхлипывать и убегала из комнаты, закрывая лицо руками. На какое-то время она исчезала, чтобы проплакаться где-нибудь в скрытом уголке.

Сережка молча глядел ей вслед и обычно произносил какое-нибудь ласково-бранное слово на немецком или французском языке, чтобы не поняла, если услышит.

Но однажды — это было в отъезд отца и матери — он отыскал ее, укрывшуюся в темном уголке, на дохах, сваленных на сундуке, и, размягченная его пением, гитарой, слезами, Дуняша не смогла или не за-

хотела защитить себя от его чувственных посягновений.

Сергей был горд и испуган своей неожиданной победой. Был удивлен и растроган, что эта двадцатидвухлетняя, выросшая в деревне, на чужих людях, девушка оказалась никем до него не тронутой.

Но и после того, что произошло между ними, оскорблявшее его — «Сереженька, остыньте!» — осталось в силе. Он из себя выходил!

Наступил канун отъезда его в город, в гимназию, и в эту ночь Дуняша сама прокралась к нему в комнату, босая, с бешено бьющимся сердцем...

Изнемогая от благодарной к ней мужской нежности, он в ту ночь сказал ей:

— Вот подожди: уйду из гимназии, через год стану независимым. Буду офицером. И женюсь на тебе!

Она вздохнула и грустно рассмеялась:

— Полно глупости-то говорить, Сереженька! Какая я вам жена?! Что уж я — не понимаю! Живите спокойно, Сергей Арсеньевич: от меня никакого вам огорчения, никакой заботы никогда не будет. Уж лучше я в Тобол брошусь!

Поцеловала, окапав на прощание слезами его лицо, и тихо-тихо ушла...

Наутро была такая же, как всегда: исполнительная, неутомимая, угадывающая без слов, что́ собирается приказать хозяйка.

Такою и оставалась. И никому и никогда даже в голову не приходила мысль о их близости с Сергеем.

Он сам в городе не выдержал и «под слово русского офицера» поведал свою тайну Гурееву.

Тот посмаковал, в меру приличий между друзьями, «деревенское любовное приключение мальчика из хорошей семьи», как выразился он, слегка позавидовал и, конечно, как старший друг и руководитель, не обошелся без поучительных изречений:

— Здоровая, свежая горняшка для начала, чего же больше и желать в твои годы, Сережа? Для того они и существуют!

Сергей возмутился:

— Ты циник, Саша. Если бы ты знал, какое сердце у этой девушки, как преданно она меня любит!

Гуреев изобразил умиление и недоверие:

— Ты счастливейший из смертных. Но ты должен помнить, дорогой: на горняшках не женятся!

Подав хозяину и гостям пиво, соленые сухарики и подшивку газет с палочками для переворачивания, как в заправской библиотеке, — даже и это входило в ее обязанности! — Дуняша спросилась у Арсения Тихоновича, не понадобится ли еще что и можно ли ей уйти.

— Нет, Дуняша, спасибо. Можешь идти...

Хозяин и гости остались втроем.

Отец Василий и Кедров листали подшивки «Русского слова» и «Биржевых ведомостей».

Все более накаляясь гневом на «гнилое, на продажное наше, с позволения сказать, правительство» — так среди близких, своих людей изволил он выражаться, — Шатров воскликнул:

— Черт знает что, буквально читать нечего! Не угодно ли, господа, вам послушать? Вот нумер от первого ноября. Извольте: «Первое заседание Думы по возобновлении сессии состоится первого ноября в два часа дня... Выбор президиума, а фактически обсуждению подлежит заявление бюджетной комиссии. В связи с ним возникнут прения, касающиеся общего политического положения...» Так?!

Ни отец Василий, ни Кедров на этот его риторический и грозный вопрос ничего не ответили. Он продолжал:

— Слушайте дальше. Нумер от второго ноября. Передовая. — Тут он злобно расхохотался. — Это называется: передовая! Слушайте: «От Государственной думы требовали, чтобы она «сказала правду». Государственная дума вчера говорила правду — и важную правду. От Думы требовали, чтобы она поставила «основной вопрос момента». Она его поставила».

Шатров с шумом развернул газетный лист и показал колонки передовицы: она вся как есть была в белых проплешинах. Ужасен был вид этих газетных листов: и неприятно пестр, и зловещ. Чуялось, что какая-то страшная для народа правда выдрана с них, что, уступая насилию цензора, в типографии попросту выбили вон часть готового набора, да так, ничем не заменив, и тиснули весь тираж. Но это был своего рода вопль!

Да! Государственная дума и на сей раз была созвана

для рассмотрения государственной росписи, но уж не те были времена, когда она терпеливо и кропотливо, день за днем, в горячих дебатах перелистывала приходно-расходную книгу Российской державы, — не те времена!..

Перебивая чтение возмущенными возгласами, Шатров продолжал:

— «Стенограмма речи Н. С. Чхеидзе задержана председателем... Керенский лишен слова Варун-Секретом... Стенограмма речи П. Н. Милюкова задержана председателем...» О, будьте вы прокляты, тухлоумные идиоты, мерзавцы! — честил он цензуру.

Отдышавшись от гнева, Арсений Тихонович извинился перед друзьями:

— Извините, господа! Но свыше сил моих. Ведь губят, губят страну и нас заставляют вместе с ними участвовать в этой дурацкой страусовой политике — голову под крыло! Вся читающая публика, она из этих лысин газетных куда больше поймет, куда больше ужаснется, чем если бы откровенно напечатан был весь ужас о той кровавой, мерзкой трясине развала, в которой мы тонем. Смотрите же: речи Шульгина, Маклакова, Родичева — их нету. Только означено, что речь такого-то. Речь Родичева выкинута вся целиком!

Родичева как думского оратора Арсений Тихонович любил в особенности. В побывках своих в столице он дважды, один раз с Ольгой Александровной, побывал в Думе — на хорах для публики, конечно, перекупив за большие деньги билет. Он слышал и Милюкова, и Маклакова, и Керенского, и Чхеизде, и Маркова, и Пуришкевича, и Шингарева, и Шульгина, и многих других из числа прославленных ораторов Думы, но больше всех пришелся ему по сердцу Родичев, его он считал сильнейшим.

И вот — речь Родичева выпластана вся целиком!

— Проклятые!.. — Руки Арсения Тихоновича тряслись от гнева, лицо стало красным. — Прямо-таки читать нечего!

Тут Кедров, с легкой усмешкой, не отрывая глаз от своей газеты, возразил ему:

— Как так нечего читать? А у меня сколько угодно!

И, с выражением голоса и лица, обманувшим сперва обоих слушателей, стал читать:

— «Мигрень, головная боль и несварение желудка быстро проходят от одной-двух таблеток Кефалдол-Стор; Бледное лицо делает розовым: песочно-травяной крем; Вытяжки из семенных желез доктора Калиниченко; Профессор Пель и сыновья. Вытяжки из семенных желез. Остерегайтесь подделок; Уродонал Шателена: подагра, ишиас...»

Арсений Тихонович горестно слушал этот перечень, не перебивая.

— «...Фотографические снимки с натуры. Любительского жанра. Получены с большими затратами из Парижа. Высылаются в наглухо зашитой посылке наложенным платежом. Цена одной серии три рубля пятьдесят копеек...»

Глядя на широчайшие газетные листы, можно было подумать, что Россия, бедная, больше всего страдает не от войны, а от несварения желудка, от подагры, мигрени и от выпадения волос.

Шатров гневно фыркнул:

— Шуты гороховые!

Впрочем, недалеко ушли от всего этого объявления и зазывы высших представителей «общественной мысли», искусства и литературы. Знаменитый поэт Бальмо́нт разъезжает из города в город с одною и тою же лекцией: «Мировые гении как певцы любви». А вот известнейший лектор по всем вопросам, народник, эсерствующий Поссе: «Душа женщины. Есть ли у женщины душа? Отрицательный вывод Вейнингера. Женщина у Ги де Мопассана. Женщина и Дьявол...»

А в театрах сплошь — арцыбашевщина: «Натурщица», «Змейка», «Ревность» да «Ночь любви».

— А это не угодно ли?! Что там твой Родичев, Милюков! — И, сказав это, Кедров показал собеседникам большую, всем примелькавшуюся рекламу: пышногрудая красотка, с волосами неимоверной длины и густоты, сбегающими целым власопадом по ее плечам и спине, прямо-таки одетая ими, стоит в соблазнительном полуобороте и взывает: «Я, Анна Чилляг». А далее, буквами помельче: что еще недавно она была чуть ли не лысой — так выпадали волосы! Но вот наконец обрела благодетельное средство для ращения их, и смотрите, мол, это — портрет мой, какая я теперь стала. Каждая женщина может стать обладательницей таких

же волос. Пришлите только по указанному здесь адресу почтовым переводом (можно марками) означенную здесь скромную сумму, и вам выслано будет то средство, которое спасло меня от отчаяния.

И верили, и слали со всех сторон матушки-Руси. И не знал в то время никто, что не было, никогда не существовало никакой Анны Чилляг, а был проходимец, да еще и лысый, придумавший ее и ставший за время войны миллионером.

Шатров сквозь слезы гнева рассмеялся:

— Вот, вот: «Я — Анна Чилляг!» В этом все и дело! Сплошная Анна Чилляг. О, проклятые! И этот Гришка... Правильно сказал Гурко: «Мы склоняемся перед властью с хлыстом, но не хотим власти, которая сама под хлыстом!» Кретин в короне!

И Шатров, расхаживая по залу, принялся — в который раз! — громить царя, великих князей, Штюрмера, казнокрадов, купечество, мародеров тыла. Внезапно он приостановился, сжал кулак и, обратившись к Кедрову и отцу Василию, сказал:

— Дайте мне власть: я знаю, что надо сделать, чтобы прекратить всю эту вакханалию грабежа, банковских спекуляций, взяток на железных дорогах!

Кедров искоса глянул на него:

— Любопытно... выслушать твой проект, Арсений.

— Проект простой. Поставить на откидную вагонную платформу три виселицы...

Пауза. Кедров и отец Василий — оба воззрились на Шатрова. Ждут.

— Три виселицы. На одной повесить банкира. На второй — купца. На третьей — начальника узловой станции... И этот поезд, с такой показательной платформой, прогнать по всем железным дорогам России!

Кедров усмехнулся:

— Радикально, радикально! Хотя, признаться, я ожидал, что ты и других назовешь кандидатов. Ну, что ж, для начала неплохо! Увы, неосуществимые мечты!

— Почему неосуществимые? Очень даже осуществимые!

Отец Василий, пощипывая бородку, проговорил протяжно-задумчивым баском:

— Крутéнько, крутéнько, отец, хочешь поступать. Крутéнько!

Шатров на него вскинулся запальчиво:

— А ты, батя, лучше бы помолчал! (Как со своим, родным человеком, Арсений Тихонович под горячую руку не очень-то с ним церемонился!) Вам, духовенству, разве в сторонке полагается стоять в такую годину? Громите! Обличайте! Анафеме предавайте! Да на вас и вина лежит перед Россией непростимая: кто Распутина в царские дворцы ввел? Вы, духовенство, епископы! А сейчас разве можно вам безмолвствовать, умыть руки?! Вспомните-ка Смутное время: разве Гермоген молчал? Церковь же — это сила, да еще и какая!

Отец Василий выслушал его громы с затаенной улыбкой, блеснув умными карими глазами, и заговорил:

— Ты кончил, Демосфен?

— Кончил. Чего ж тут? Все ясно. В стороне стоите, пастыри душ и телес наших: не трогает вас бедствие народное!

— Так, так... А теперь послушай, что иерархи нашей церкви говорят по сему поводу, обо всех этих злочиниях и хищениях.

Отец Василий неторопливо, почти торжественно вынул из внутреннего кармана рясы некий мелко исписанный лист и развернул его, готовясь читать.

— Не благоугодно ли будет послушать слово епископа пермского Андроника ко всем верующим? Вот, нарочно переписал. — И, возвыся голос, очистив его легким прокашливанием, отец Василий не прочел — возгласил, словно бы с церковного амвона: — «Как настоящие немецкие мародеры или дикие шакалы, набросились на обывателя иные торговцы и предприниматели. Прикрываясь тем, что фабрики и заводы в значительной степени снаряжены для войны, что рабочие руки дороги и что подвоз весьма затруднен и прочее, фабриканты и заводчики бешено взвинчивают цены на предметы *даже* первой необходимости...»

Кедров вполголоса перебил чтение архипастырского послания:

— *Даже* — слабоват, слабоват епископ в политической экономии!

Отец Василий ничего ему не ответил и продолжал чтение, все так же истово, голосом проповеди:

— «...даже первой необходимости. А чтобы больше оправдаться в этом хищничестве, они задерживают и скрывают продукты, чтобы их не оказалось на рынке...»

Здесь, на заключительных словах обращения, отец Василий еще выше поднял голос, глаза его засверкали, рука с поднятым перстом грозно сотрясалась в воздухе. Ему казалось в этот миг, что он и есть сам епископ Андроник:

— «...Мы, по данной нам от бога власти, таких хищных сребролюбцев предаем суду божию. Богатство ваше да изгниет и ризы ваши молие да поест! Вы — хищные шакалы для своих соседей, — вы — вредные и опасные злодеи для всего государства, наталкивающие на беспорядки, выгодные врагам!»

Пылая, встряхивая грозно обильной, волнисто-упругой гривой черных волос, отец Василий все еще стоял, простерши руку.

Успокоясь, спрятал обращение.

— А ты говоришь, Арсений Тихонович: духовенство, церковь! Как видишь, не безмолвствуют и наши уста! И разве же епископ Андроник — воистину Гермоген наших дней! — не пострадал тяжко за обличие Распутина?

Шатров отмахнулся:

— Эка — пострадал: переведен на другую епархию. Да и я разве о том говорю? Церковь, духовенство все в целом, святейший синод должен поднять голос. А то ведь срам сказать: у нас в городе — зачем далеко ходить? — недавно этот явный Распутина ставленник, полуграмотный, говорят, монастырский кучер, Варнава, епископ тобольский, разве ты не знаешь, какую он проповедь закатил? До сих пор анекдоты ходят. Ткнул будто бы перстом в декольте одной дамы и ко кресту не допустил: пойди, говорит, сперва прикрой наготу свою! И давай, и давай на этот счет — импровизацию, так сказать!

Отец Василий как будто смутился напоминанием о Варнаве, однако возразил:

— Оно, конечно... Но, с другой стороны, хотя и простец, слыхать, наш новый владыка, но сие — в духе древнего благочестия: сказанное им...

Матвей Матвеевич рассмеялся:

— Да-а! Но уж если Арсений наш Тихонович — Демосфен, то вы, отец Василий, не иначе как Савонарола! А я иначе смотрю на весь этот вопрос, чем Арсений. Андроника вашего, я вижу, главным образом то беспокоит, что от спекуляции, от дороговизны будут беспорядки, выгодные врагам. Так ведь он выразился?

— Так. Совершенно точно.

— Но мне кажется, ему, как служителю Христа, не о том надлежало бы скорбеть, а возвысить голос свой против человекоубийства, против войны между христианскими народами.

Отец Василий ответил на его выпад спокойненько: сколько раз приходилось ему давать подобные ответы в спорах с теми, кто считал войны несовместимыми с учением Христа, — и этим ли было смутить его, опытнейшего диалектика, изучившего до тонкостей богословскую эвристику — умение спорить!

— Превратно толкуете учение Христа, превратно толкуете! Нигде и никогда не воспрещал Христос войну. А казалось бы, имелись к тому и надлежащие случаи и обстоятельства: поелику даже и римские военачальники припадали к стопам его, прося о исцелении своих ближних. Возьмите хотя бы...

Священник остановился, припоминая.

Кедров помог ему:

— Матфея, глава восьмая, о римском сотнике...

— Вот именно. Вижу, что прилежны в чтении сей книги живота вечного. И не могу не одобрить! Тогда почто же сомневаетесь? Не сказал же Христос этому римскому, то есть вражескому, военачальнику: брось меч свой, не угнетай народа моего! Далее: не думайте, сказал, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч... Превратно толкуете!

Кедров, потупясь и с напускным смиренством покусывая жиденький ус:

— Возможно. Богословия и риторских наук не вкусих!

Хозяин почувствовал — пора вмешаться:

— Нет, что говорить, мужественное выступление Андроника, гражданственное. Но кто же его прочтет: где-то в «Епархиальных ведомостях» промелькнуло — и нет его! С думской трибуны голос хочется слышать в эти дни, в дни Страшного суда над Россией нашей. С думской трибуны. А тут весь лист газетный — сплошь белесый, пестрый. Просто срам! Я — читатель, подписчик, — я — гражданин, наконец, и я хочу слышать, что сказал депутат Милюков, что сказал депутат Родичев! Дайте мне их речи! На каком основании вы это превращаете в какую-то запрещенную литературу, черт бы вас побрал?! Они — мои представители, и я хочу знать, как расценивают они положение в стране и вашу работу, господин Штюрмер! Но я — Арсений Шатров, и я плюю на ваши эти цензорские, полицейские безобразия: вот они, эти изъятые из газет речи!.. Вот!..

Арсений Тихонович вынул из внутреннего кармана пиджака несколько листов тонкой, почти как папиросная, но крепкой бумаги и развернул. Было видно, что напечатано на машинке.

Стенограммы эти он получал через Кошанского.

Но прежде чем начать их чтение, он счел нужным предостеречь обоих своих собеседников — и Кедрова и отца Василия:

— Господа! Отец Василий, и ты, Матвей... я полагаю, что излишне...

И Арсений Тихонович выразительно глянул, не договорив.

Кедров усмехнулся, проворчал добродушно:

— Излишне, излишне...

Он понимал и даже снисходительно подыгрывал этой наивной конспирации Шатрова: говорилось сие явно для отца Василия, но ведь было бы как-то неудобно сказать лишь в его сторону: дескать, ты, поп, смотри не проболтайся! Тогда этим самым хозяин раскрывал некие особо доверительные отношения между собою и Кедровым.

Отец Василий ответствовал, как всегда, с некоторой выспренностью и семинарской витиеватостью:

— Будь благонадежен, будь благонадежен, Арсений Тихонович: зане́ ужи́ка (родственник) есмь дому твоему, но и таинством исповеди приучен хранить молчание!

Матвей Матвеевич, впрочем, не очень-то остерегался этого домашнего попа, встречаясь с ним у Шатровых: попу этому приходилось иной раз слышать здесь такие речи из уст хозяина, что пронеси он их в чужие уши, то прежде всех не поздоровилось бы именно Арсению Тихоновичу.

Отец Василий был из числа эсерствующих попов, которых иной раз можно было встретить в те времена во главе сельских причтов. Этот батя в бытность свою в духовной семинарии числился «красным», певал: «Отречемся...», «Сбейте оковы», «Варшавянку», собрал вместе с доверенными друзьями библиотечку запрещенных книг, издавал рукописный журнал — за совокупность каковых деяний чуть было и не вылетел из шестого класса семинарии. Однако ректор, благорасположенный к его отцу, простил его, не желая губить накануне получения прихода.

Будучи «рукополо́жен», женившись на любимой девице, родной племяннице Ольги Александровны, «красный батя» остепенился. Священствовал исправно. Благочинный доносил, что калиновский священник ни в чем предосудительном не замечен.

В девятьсот четвертом-пятом покрамольствовал в меру, как, впрочем, многие. И снова остепенился. Увлекся гомеопатией и кооперацией.

Сейчас у отца Василия была новая, и сильная, волна недовольства политическим строем и преступным, как говаривал он там, где не опасался, ведением войны с Германией. Считал, что если царь не даст конституции, не согласится на министерство «Общественного доверия», ответственное перед Государственной думой, то все пойдет прахом и престол может рухнуть.

Что же касается листочков с не допущенными в печать речами депутатов, то в те дни, на исходе *шестнадцатого,* обращение подобных думских стенограмм в интеллигентных кругах было столь заурядным, что в редком буржуазном семействе не почитывали их.

И уж само собой разумеется, никто, кроме самого Шатрова, не знал среди волостной интеллигенции, что второй из сегодняшних шатровских гостей — бежавший из ссылки большевик, ведущий и здесь свою подпольную работу, и что это сам Шатров, через старые свои связи с одним из волостных писарей уезда, выпра-

вил ему, Андрею Соколову, чужой, надежный паспорт, а через давнюю, домами, дружбу с земским начальником устроил волостным писарем в Калиновку.

Да, это были листки стенографического отчета ноябрьских заседаний Государственной думы, отчета, не разрешенного к печати.

И не самое ли удивительное заключено было в том, что эту Думу отнюдь никто не назвал бы «мятежной», как называли I и II, что была она самой что ни на есть царелюбивой и законопослушной, Думой не избранной, а подобранной по испытанному рецепту покойного Столыпина: один выборщик — от двухсот тридцати земельных собственников; один — от шестидесяти тысяч крестьян, и один же — от ста двадцати пяти тысяч рабочих.

Неожиданным для династии, для царя и царицы, было то, что в ноябрьских думских речах впервые сомкнулись силы, казалось бы навеки враждебные, люди, смертельно друг друга ненавидевшие и презиравшие: лидер кадетов — Милюков и вожак крайних правых, осатанелый монархист — Пуришкевич.

Имя Григория Распутина с пеною гнева на устах бросали в лицо правительству и он, Владимир Митрофанович Пуришкевич, и адвокат Александр Федорович Керенский, эсер, прикрытый в Думе званием трудовика.

Давно ли, кажется, и печать, и думские кулуары жили потасовками правых и левых, грозившими то и дело перерасти в заправскую драку, когда думские пристава уж начинали подтягиваться к трибуне — разымать!

Шатрову посчастливилось однажды своими глазами видеть одно из таких заседаний Думы.

На трибуну взбежал возбужденный, порывисто-вертлявый Пуришкевич. Трудно было не признать его: он забавно похож был на свои карикатуры, примелькавшиеся всей читающей России. Голова — как голый череп; черная, метелочкой, бородка; пенсне на заносчиво вздернутом, с вывернутыми ноздрями, сухом носу. Остроумен, горяч, порою непарламентски груб в выражениях, вплоть до бесстыдства.

Насупротив, в первом ряду кресел, сидел вождь «оппозиции его величества», кадетов, Павел Николаевич Милюков. Историк и археолог. Насквозь рассудочный,

дьявольски упорный, дотошно трудолюбивый; признанный теоретик русского либерализма. С виду — мешковатый интеллигент в золотом пенсне; с боковым гладким зачесом свинцовых волос и светлыми, реденькими, слегка распушенными усиками. Легонько их пощипывая, положа ногу на ногу, чуть отвалясь, он спокойно рассматривал Пуришкевича своими маленькими серыми глазками.

Вожак монархистов довольно беспардонно начал тогда свою речь:

— Павлушка — Медный Лоб, приличное название, имел ко лжи большое дарование!

И остановился. Председательствующий — Родзянко — настораживается. Зал заседаний притих.

Павел Милюков хранит полное спокойствие. Только щурится сквозь стекла золотого пенсне, рассматривая оратора, как некий любопытный экспонат.

И это ярит Пуришкевича. Он все больше и больше разнуздывается. Уж несколько раз Родзянко призывал его к порядку.

Невозмутим Милюков. Пуришкевич взрывается: цепкой, сухой рукой он схватывает с трибуны стакан с водою и запускает его в лидера кадетов. Стакан разбивается у ног Милюкова. Поднимается неистовый шум. Пуришкевича выводят из зала заседаний. Но, уходя, он оборачивается и кричит, что самое прискорбное для него — это пользоваться тою же самою дверью, через которую проходит «Пашка Милюков, жидомасон»!

И вот нечто невероятное: они — вместе! Пуришкевич и Милюков. Таранят правительство. Имена Распутина, царицы, царя — на устах у обоих.

Арсений Тихонович жадно листает пачку стенограмм. Он то начинает читать вслух, то прерывает чтение возгласами и пробегает дальнейшее молча, в одиночку, а ему кажется, что они — отец Василий и Кедров — слушают его. Спохватывается, извиняется. Снова — кусок вслух, и опять — глазами, и опять — восклицания: гнева, радости, изумления.

Он помнит этих господ депутатов. Он видит их перед собою. Сейчас не гостиная перед ним — колонный зал Таврического дворца.

Он в неистово-гневном восторге от милюковского знаменитого: «Глупость это или измена?!»

— Нет, вы только послушайте: «Когда с все большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать страну значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию, — что это: глупость или измена?! Голоса слева: «Это измена!» Аджемов: «Это глупость» (смех)...»

Отец Василий, потрясенный не меньше Шатрова, не выдерживает; мрачно:

— Ну, это какой смех?! Сквозь слезы разве, да и сквозь кровавые! Не годилось бы так в дни войны с величайшим врагом России и славянства!.. Колебать престол! И тем более господину Милюкову, профессору истории!

— Молчи, поп! — Арсений Тихонович изредка так, попросту, по-родственному грубовато позволяет себе иной раз прикрикнуть на отца Василия, и тот относится к этому беззлобно. — В том-то и дело, что не один Милюков. Стало быть, подперло — под самое горло! Вот тебе твой Пуришкевич — слуга престола! Слушай: «Откуда все это? Я позволю себе здесь, с трибуны Государственной думы, сказать, что все зло идет от тех темных сил, от тех влияний, которые двигают на места тех или других лиц и заставляют влезать на высокие посты людей, которые не могут их занимать, от тех влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным (слева и в центре движение; голоса слева: «Верно, позор!»)».

Ну что, поп? Вот тебе и Пуришкевич! И слышишь — на *левых*, на левых скамьях ему хлопают и кричат «верно». Да этого же за всю Государственную думу не бывало! Ты разную там логику изучал в духовной своей семинарии: так что-нибудь тебе говорит это? А ты: колебать престол!

И, отделав попа, Арсений Тихонович вновь кидается к речи Пуришкевича:

— «Пуришкевич (обращаясь лицом к совету министров): «Господа! Если вы — верноподданные, если слава России, ее мощь, будущее, тесно и неразрывно связанные с величием и блеском царского имени, вам дороги, — ступайте туда, в царскую Ставку, киньтесь в ноги

государю и просите царя позволить раскрыть глаза на ужасную действительность, просите избавить Россию от Распутина и распутинцев, больших и малых» (бурные рукоплескания слева и в центре).

Председательствующий: «Прошу вас, член Государственной думы Пуришкевич, помнить о предмете, о котором вы говорите!..»

...Шатров останавливается, отстранив зажатые в кулаке листки. Он смотрит, сдвинув брови, он всматривается в белоколонный зал заседаний в ярком сверкании и свете огромных хрустальных люстр...

Кидаясь и головою и руками в глубины зала, выставив далеко из рукавов белоснежные манжеты, Пуришкевич выкрикнул последние слова своей бешеной речи и под бурные рукоплескания и возгласы и центра, и левых, и правых кресел ринулся с трибуны, все еще сжимая кулаки, бел лицом, как смерть, и пронесся между рядами к выходу, все еще в конвульсиях и взмахах рук...

Шатров швырнул на стол листки стенограмм:

— Финита ля комедиа! Уж если он, он, монархист из монархистов, этак заговорил — значит, им крышка: Романовы отцарствовали. Летят в бездну. А, туда им и дорога! Выродившаяся династия!

Помолчав, он схватился за голову и застонал.

К середине девятьсот шестнадцатого чудовищный откат русских армий был остановлен. И это не только потому, что Гинденбург, Людендорф, Макензен уж не могли больше на Востоке бросать в наступление искровавленные лохмотья былых своих корпусов, а и потому, что в невероятной степени возрос огневой отпор.

Теперь не только снарядом на снаряд русская артиллерия могла отвечать германской, но и сплошь да рядом она подавляла артогонь противника. И все страшнее и страшнее день ото дня становилась огневая ударная сила русских сухопутных войск. Теперь, прежде чем пехоте двинуться в атаку, русские, сильнейшие в мире артиллеристы, истово и часами, часами молотили немецкие, до комфорта благоустроенные окопы, превращая их в одно сплошное древесно-кроваво-земляное

месиво, взламывая на всю глубину переднего края полевые укрепления врага, пролагая путь пехотинцу.

Вот мерило тех дней. Неимоверным, опрокинувшим все и всяческие предвоенные расчеты, оказался расход снарядов в многодневном сражении под Верденом. Русская армия, на исходе предпоследнего года войны, могла поддерживать, если бы только понадобилось, *верденской* силы огонь в течение целого месяца, день и ночь, непрерывно, на всем, решительно, протяжении полуторатысячеверстного фронта — от Балтики до Евфрата!

Фронт местами уже отказывался от подвоза боеприпасов: негде стало хранить.

Но и от людских пополнений из тыла рады были отказаться: не бойцы! Мало этого: с прибытием их резко падал боевой дух, учащались случаи неповиновения приказу.

Эшелоны с запасными нередко приходили на фронт с такой утечкою людей, что иной раз являлись со списком один лишь сопровождающий офицер с фельдфебелем и кучкою солдат.

Появилось и забытовало на фронте страшное слово: самострелы. Тайком учили один другого, как себя изувечить, чтобы не угодить под полевой суд, чтобы не расстреляли.

Калечили себя жестоко, безобразно, лишь бы только уйти от войны, вернуться в родную хату, к жене, к ребятишкам, к пашне. И ведь знали же наверняка, что не хата родимая примет его, не жаркие полати, а сырая, темная яма, вырытая недалеко от столба, к которому его привяжут, когда поставят под расстрел.

В одной из дивизий Северо-Западного фронта один такой не пожалел отстрелить и трех пальцев. Пальцы нашли. Не стал и запираться.

Военно-полевой суд на фронте скор и беспощаден, и приговор только один. И суды эти буквально изнемогали.

И это свершалось как раз в те дни шестнадцатого года, когда в думских и земских кругах, за самоварами в усадьбах и купеческих особняках, в гимназиях и на страницах солидных буржуазных газет воспрянули духом, стали быстро и гордо поговаривать, что теперь по-

беда не за горами, коль с боеприпасами грузовики идут на фронт с надписью: «Снарядов не жалеть!»

Степан Ермаков выздоравливал. Сам Яков Петрович считал это чудом. И какая-то почти отцовская нежность, впрочем нередкая у врача к спасенному им больному, трогательная заботливость о солдате возникла в душе этого сурового человека.

Он, большой хирург города, человек, для которого даже и сон не был защитой, ибо подымали с постели и увозили, ухитрялся первое время приезжать к Степану и утром и вечером.

На радостях привез ему бутылку кагора и два лимона. Велел ежедневно давать по столовой ложке рубленой печени, с лучком, с перчиком, дабы, как говорил он, быстрее восстановить кровь.

Ольге Александровне он, смеясь, говаривал:

— Ей-богу, давно так не был счастлив. Вдвойне, нет, втройне: за него, за Ермакова, за Никиту Арсеньевича и за себя.

И исчезал.

Каждую неделю, как всегда, приезжал Никита. Первые разы он привозил с собою и Константина.

Однажды, возвращаясь из палаты Степана, Костя увидел, как впереди него из распахнувшейся враз двери кабинета Шатровой, как все равно острокрылый стриж, выпорхнувший из песчаного крутояра, вырвалась и помчалась вдоль коридора молодая сестричка в обычном наряде сестры милосердия, но только уж както чересчур ловко, почти кокетливо облегающем ее упругое, стройное тело.

Ничуть не сдерживая своего бега — а именно так невольно все и каждые делали, вступая под своды коридора, — она отстукивала каблучками.

Костя ускорил шаги, рассчитав, что когда она будет сбегать по широкой отлогой мраморной лестнице вниз, то повернется к нему лицом, и он увидит ее.

Расчет был верен. Он успел-таки увидать ее нежнорумяное, круглое, еще отроческое лицо; ее сердитые глаза; ее алые, пухлые губы, которые она, словно бы гневно, разобиженно, покусывала.

Увидел — и оцепенел: это была Вера Сычова!

«Ушла-таки в сестры, ушла! А может быть, и на фронт едет. Какая ведь!»

Подумалось: окликнуть, остановить, догнать? Но разве же он не видел, что она узнала, узнала его?! Значит, не хочет. И взгляд у нее какой был: не подходи!

И сразу потускнел мир. Померкла даже и радость от свидания с братом, который уж стал поговаривать, как да где они заживут с ним, с Костенькой, когда его, Степана, уволят вчистую.

Вернуться к Ольге Александровне, расспросить? Нет, не посмел он. Да и зачем? И так все ясно!

А вернуться бы ему!

Встреча их произошла так.

Ольге Александровне доложили, что ее дожидается у дверей кабинета, в коридоре, какая-то молоденькая сестрица. Дело было обычное.

— Пусть войдет. Просите! Верочка?! Вот радость! Господи, да когда же ты успела сестрой стать?

Выйдя из-за стола, Ольга Александровна обняла и расцеловала ее в обе щеки. Отступила, по-матерински залюбовалась.

Верочка стояла, потупясь.

А затем, ушам своим не веря, Шатрова услышала:

— Ольга Александровна, я еще не сестра... Но я твердо решила. Окончательно. Я уж и в гимназию не хожу... Вот пришла к вам: помогите мне!

Ольга Александровна молча неодобрительно покачала головой. Быстро подошла к двери и закрыла ее на ключ.

Затем заняла свое место за рабочим столом. И все это — молча. Ей, Верочке, не предложила и сесть.

А тогда принялась отчитывать. Крепко, по-матерински. Верочка завсхлипывала.

— Знаешь, моя дорогая, этот наряд еще не дает знаний. И его надо заслужить!

Вся в слезах, новоявленная сестрица оправдывалась:

— Я думала: не имеет значения... Я не почему-нибудь заказала себе это все... — Она оглянула злополучный сестринский наряд. — А чтобы знать, что я решилась. Чтобы не было уж никакого возврата... Я даже гимназическую свою форму подарила одной девушке...

у нее родители бедные... так что даже носить ей нечего... Я хочу раненым помогать.

Ольга Александровна принялась ее утешать, отирать ей слезы. Поить водой.

— Дурашка ты моя! Возврат все-таки будет, хоть ты и решила. И форму придется новую купить, только так, девочка! Придется мне самой поехать к вашей начальнице: буду просить, чтобы тебя не исключили. А в этом, — она показала на ее сестринское одеяние, — никому больше не смей показываться.

Верочка, глотая слезы, пошвыркивая, глядела ей в лицо своими ясными, словно бы промытыми слезою глазами, как вот весеннее небо дождем, и только молча кивала головой.

А Ольга Александровна на прощание сказала ей:

— И если уж тебе так не терпится, то я договорюсь с вашей начальницей, чтобы и ты, и другие старшие девочки в свободное от занятий время посещали наши сестринские курсы... Только помни, помни, девочка, что этот красный крест... — тут Шатрова коснулась своего красного креста на сестринском переднике, — это очень и очень тяжелый крест! Ну иди. Да будь умницей!

Вот потому-то, как осторожный стриж из гнезда, и вырвалась Верочка из кабинета Шатровой. «Только бы никого не встретить, только бы никого не встретить!..» А тут нате вам: этот вечный Костя!

Встречи, страшнее этой, быть для нее не могло!

На помосте ослепительно освещенного электрическими лампионами городского катка рыдали и пели медные трубы духового оркестра.

Томительная, тоскливая зыбь старинных вальсов, чистая-чистая голубизна льда, этот яркий свет и размеренное, упоенное кружение-полет стройных, взявшихся за руки девушек и мужчин — все это больше напоминало какой-то странный зал под куполом бархатно-черного неба.

Стенами этого необычайного зала был плотный сплошняк из огромного соснового лапника, всаженного в снежный заледенелый вал. Это — от мальчишек, чтобы не лезли, да и чтобы не глазел снаружи простой народ!

Сторожам завсегдатаи ночного катка известны были наперечет: господа офицеры; купеческие семейства; учителя и учительницы гимназий — мужской и женской; ну, еще артисты зазимовавшего в городе цирка, а прочих не велено было пускать: могут и днем поупражняться, без оркестра!

Глубокая, зеркальная синева льда, отражающая лампионы, исчерчена белыми бороздками и зигзагами — росчерк лихих конькобежцев.

Словно алмаз стекольщика взрезал стекло!

Здесь, как, впрочем, и на вечерах офицерского собрания, царила одна непревзойденная пара: Кира Кошанская и Александр Гуреев. Перед ними сторонились. Ими восторгались.

Острых очертаний стальные полосы на их ногах сливались в сверкающие длинные молнии. Странным казалось, что эти двое могут, как все, *ступать*. Странным казалось, что эти полосы-молнии, несущие их в слитном, просторно-безудержном полете, могут быть отъяты от их подошв.

Поездки с Кирою на каток были счастливейшими часами в жизни Гуреева.

На обратном пути, на извозчике, блаженно изнемогая от одного того, что ее и его колени, охваченные туго застегнутой полостью на тесных саночках, невольно соприкасаются, поддерживая ее сзади занемевшей рукой, Саша Гуреев мучил свою спутницу любимыми модными стихами:

Маркиз изнеженный, с глазами цвета стали,
На все взирающий с усмешкой сатаны...

Голос его становился бархатно-сочным, глубоким, чуть с хрипотцою. Спутница молча претерпевала до конца.

Дальше об этом маркизе с глазами сатаны сообщалось, что «огромный дог — его всегдашний спутник», что маркиз этот, сверх ожидания, «не пьяница, не мот и не распутник». Однако у него есть любовница, которая хотя «вульгарна и стара», но — парень, видать, не промах! — «пользуется милостью двора». Кончалось же все это уверенным предсказанием, что оный маркиз в конце концов «вскроет себе вены», и не иначе как «в ванне мраморной» и «в венке из хризантем»:

— Как Петроний, Кирочка, как Петроний!

И однажды Кира не выдержала:

— Боже мой, как вам самому не надоест эта пошлость?!

Подпоручик Александр Гуреев растерялся: эти стихи пьянили и Сережу Шатрова, он тоже знал их наизусть. Вписанные рукою Гуреева, эти стихи можно было встретить в альбомах многих и многих гимназисток и молодящихся купчих. И надо сказать правду, маркиз с глазами сатаны исправно-таки помогал Саше Гурееву.

— Кирочка, но почему — пошлость? Или вам не нравится современность? Вот уж не ожидал!

— Такая — не нравится.

— Но что же тогда, по-вашему, не пошлость? От Бальмонта вы морщитесь. От Игоря Северянина, говорите, вас с души воротит!

Кира, закусывая губы, кивала головой:

— Воротит, Сашенька!

Гуреев морщился от этих грубых речей: оригиналка!

— А что же, по-вашему, не пошлость? Какие стихи, скажите.

— Мне, право, лень вспоминать.

— Ну, хоть что-нибудь, хоть строчку!

— Вы не поймете, Саша... Ну, вот вам: *коньками звучно режет лед...* — Еще? — *Морозной пылью подышать...* Еще? *И сани, и зарею поздней сиянье розовых снегов...*

Саша Гуреев неопределенно мычал:

— Что ж, пожалуй, неплохо... Но ведь это — из Пушкина!

— Вы проницательны, Саша!

— Но... *Для нас Державиным стал Пушкин!*

— Боже, какая глупость! А мне после этих ваших Северяниных и маркизов хочется... морозной пылью подышать!

— Опять — Пушкин? Я удивляюсь вам, Кирочка. Вы во всем такая... передовая, современная. А здесь, в поэзии, такая... староверка!

— Саша, отодвиньтесь от меня, а то я могу укусить вам ухо!

Кончилось все это тем, что Александр Гуреев, счи-

тавший себя неотразимым, смеявшийся над какой-то там любовью, «этой выдумкой меланхоликов», признававший лишь флирт — произносил он почему-то «флёрт», — вдруг заболел сам тяжкой и неисцелимой любовью.

Давно ли он поучал Сергея: «Ты идешь к женщине — не забудь плетку! Мужчина должен воспитываться для войны. Женщина — отдых воина... Женщины всегда были наслаждением для всякой сильной и глубокой души...» А вот теперь, приходя к Сергею, он со слезами, с надрывом, доходя до яростных стонов, до просьбы забрать у него наган, неистово изливал перед ним свои любовные терзания.

Он грозился застрелить Киру. Ругал ее последними словами, а затем вдруг, растерзывая безжалостно свой гладкий, в стрелочку, пробор, покаянно взывал к силам небесным о прощении за такое кощунство.

Сергея ужасало чудовищное бесстыдство, с которым Сашка ухитрялся как-то сочетать свою и в самом деле неистовую, похожую на помешательство любовь.

— Кокаинистом стану! Завтра же ухожу на фронт! Застрелюсь на ее парадном! Ты не знаешь ее, Сергей: это — не женщина, это — статуя изо льда! Это — не человек. Это — вампир!

Сереженька со слезами на глазах всячески утешал и успокаивал друга своего и учителя. Подносил к его стучащим о стекло зубам стакан с холодной водой, поил валерьянкой.

Это, последнее, вызвало у Гуреева сардонический смех сквозь рыдания и всхлипывания:

— Низко же я упал, Сережа, о как низко! Александр Гуреев пьет валерьянку! Ха-ха-ха!

Едва справившись с приступом гуреевского исступления, Сергей сказал ему:

— Саша, дорогой мой, все-таки так нельзя! Я за тебя боюсь. Ты и меня измучил. Я вот что хотел тебе предложить. Только ты не сердись. А что, если тебе полечиться у Никиты?

Гуреев, пораженный неожиданностью, вздрогнул, откинув голову, нахмурился.

— А что ж! Спасибо тебе, милый, за совет! Я как-то не подумал об этом... Да! Мне нужно лечиться. Иначе я погиб! Твой брат — о нем много говорят сейчас в го-

роде... Впрочем, нет... Нет, нет! Это будет унизительно: чужого человека в святая святых! Ты — другое дело. Питомец души моей. И вот, тебе одному, тебе одному — слышишь? — я открою: я решился на страшный разговор с ней. Скоро узнаешь!

И страшный разговор этот у него вскоре произошел. Он сделал Кошанской предложение.

Она посмотрела на него и таким уничтожающим голосом сказала: «Саша, да вы это серьезно?!» — что он, ударив себя двумя кулаками в голову, ринулся вон из комнаты.

Город готовил рождественские и новогодние подарки в действующую армию.

В госпитале Шатровой посылками, зашитыми в холст с перекошенными синими буквами под перекрестом бечевок, завалена была целая кладовая.

Ольге Александровне еще прибавилось работы. Приходили помогать комитетские дамы. В цветные кисеты с табаком и со всякой потребной солдату всячиной вкладывались надушенные письма, а иногда даже и снимки от «крестных матерей» — так, в подражание французским «les marraines», стали называть себя и наши дамы.

Расходились после чашки чаю у Ольги Александровны с чувством выполненного перед Россией, перед защитниками родины долга.

Эти дни Ольга Александровна была в постоянных разъездах по городу.

В легких, с лебединым изгибом, одиночных санках с подрезами, на сером в яблоках рысаке под голубой сеткой, она то выезжала на вокзал, чтобы самой наблюдать за выгрузкой и приемом очередной партии раненых, то мчалась к воинскому начальнику или в комитет.

А тогда распорядительной частью госпиталя заправляла Кира Кошанская на правах личного секретаря Шатровой.

Ее одну в кабинете и застал Никита в субботний вечер, приехав, как всегда, со своим Еремой.

Кира приветствовала его радостно. Вскочила из-за машинки— хотела сама принести ему стакан горячего чая.

Он остановил ее.

— Никита Арсеньевич, но вы же устали с дороги. И озябли, наверно!

— Что вы, Кирочка! Для меня эти пять-шесть часов снегами, в безлюдье — просто изумительный отдых. Закутаешься в доху... Так славно думается под звон колокольчиков! А дышится как!.. Сибирь. Богатырская, бескрайняя наша Сибирь!

Они перемолвились еще немного, а затем он сказал:

— Я подожду маму здесь. Можно?

— Боже мой! Никита Арсеньевич, и вы еще спрашиваете!

— Хорошо. Но только с одним условием.

— С каким?

— Что вы не будете обращать на меня ни малейшего внимания. И станете продолжать вашу работу.

Кира рассмеялась:

— Обещаю: ни малейшего. И, как видите, продолжаю.

Она подчеркнуто быстро, не глядя, прошлась пальчиками по клавишам машинки.

Никита невольно залюбовался:

— Еще один разочек помешаю, извините.

— Да?

— Как это здорово у вас получается, какая беглость пальцев!

— Вот и пригодились годы мои, проведенные за роялем.

Никита ужаснулся ее словам:

— Кирочка, кощунствуете! А кстати: неужели вы думаете, что Бетховен, Глинка, Чайковский — они раненым вашим не нужны? Это поможет им выздоравливать... Я даже удивляюсь, почему Ольга Александровна не просит вас, хотя бы раз в неделю, играть для них сонаты Бетховена, Шопена. И ведь приготовлений это никаких не потребует. И концертантов других созывать не надо! Впрочем, простите, замолкаю: обещал не мешать!

Она, улыбнувшись, наклонила голову. Работа и впрямь была срочной, и Ольга Александровна вот-вот могла ее спросить.

Дробный стукоток печатанья. Рокот поворачиваемого валика. Мелодичные звоночки в конце строки...

Никита Арсеньевич, отдыхая в материнском кресле, перелистал приготовленные для него скорбные листы раненых, позевнул и сладостно, до хруста в пальцах, потянулся. Его разморило в тепле, после зимней дороги: этак и заснешь, пожалуй!

Он встал и, мягко ступая в белых, тонких, выше колен фетровых валенках, подошел к огромному окну слева от Киры и стал смотреть в заснеженный сад.

Вдруг он почувствовал, что она своими нежными вздрагивающими перстами коснулась опущенной его руки. Еще мгновение — и она взяла его руку и жадно припала к ней губами. Тотчас же выпустила и, стыдясь своего порыва, скрыла лицо на скрещенных руках.

Он растерялся. Ему почудилось, что она плачет.

— Кира, что с вами?! Ну, не надо, успокойтесь!

А тогда она и в самом деле заплакала — все так же, не открывая лица.

— Кирочка! Ну, перестаньте... Могут войти...

Он ласково положил ей руку на затылок. Склонился над нею, шепотом уговаривал ее.

И, сам понимая, что нельзя этого, нельзя, но уже не в силах остановить неудержимое, уже вне его воли движение, он молча поцеловал ее в затылок.

Ни она, ни он в этот миг не видели, не могли видеть, как раскрылась бесшумно белая двустворчатая дверь и Раиса остановилась на пороге и пошатнулась.

Мучительной душевной болью исказилось ее лицо. В этот миг оно стало белее белоснежного ее сестринского халата.

Мгновение — и так же тихо, неслышно закрыла она за собою дверь.

Раиса. Легкая. Этэреа...

— О нет, Володья! Прошу вас: будем еще повторьят!

И снова — в который раз! — два упрямых подбородка, упертых в скрипку, сквозь платок прижимающих ее к плечу; два смычка, ведомые согласно, созвучно, как двойники; ритмическая дрожь чутких, звукопослушных перстов, то зажимающих, то отпускающих струны: Иржи Прохазка и Володя Шатров музицируют.

Сейчас, в две скрипки, снова и снова исполняют они тоскливую, заунывную песню, одну из тех, которые учитель избрал для первых ступеней ученика.

От Володи Иржи Прохазка узнал ее слова и сейчас негромко подпевает:

И никто, ребьята,
не вспомнит солдата
ни одной слезой:
как он, защищая
честь родного крайя,
падает в бойю!..

Подпевает и Володя. Он в свою очередь тоже учитель Иржи: чех прилежно, неотступно, изо дня в день учится русскому языку, правильному произношению. И уже достиг многого: пока лишь мягкое, русское произношение *л* не всегда ему удается да вот со словом Володя — нелады: Володья. Но с поистине чешским упорством Иржи совершенствуется в русском языке.

Жалостная песня о солдате еще и еще раз повторяется. А в соседней, Сережиной, комнате покатываются со смеху Сергей и Гуреев.

Подпоручик — две звездочки на погонах — падает на диван и, хохоча, хватается за живот:

— О, будьте вы неладны... с этим солдатом своим... Ох, ох! Ты знаешь, Сергей, я из прихожей, ей-богу, видел, сквозь дверное стекло: у обоих — и у Иржика этого, и у Володеньки — слезы на глазах, когда они эту панихиду в две скрипки тянут! А чех — тот еще и подпевает. Учитель стоит ученика, ей-богу! Оба малость тае́!

Он показывает пальцем на лоб.

Сергей при всем своем преклонении перед другом-наставником считает долгом своим вступиться за брата, да и за чеха тоже. Он перестает смеяться.

— Ну, зачем ты так, Саша? Этот чех, во-первых, он, если хочешь знать, старше тебя в офицерском чине!

Гуреев задет за живое. Привстает на диване, одергивает защитку, поправляет ремень:

— То есть как это — старше?

— Он у них там, в австрийской армии, был на́дпоручик.

— Ну?

— А у нас это соответствует поручику.

Гуреев оскорбленно передергивает носом.

— Надпоручик — эка важность, подумаешь! Я — офицер армии его величества, пусть пока только подпоручик. Производство — не за горами. А он, твой Ир-

жи, никто! Он — военнопленный. Не он меня, а я его взял в плен. Стоит мне захотеть — одно лишь слово воинскому начальнику, и этот скрипач снова будет в лагере, за колючей проволокой.

Видя, что Сергей встревожен, добавляет:

— Конечно, я такой подлости не сделаю... Я слишком уважаю вашу семью!

— Саша, да ты не сердись!

— А я и не сержусь. Это только так: для справки!

Сергей успокоился. Ему тоже нравится чех, хотя, вполне естественно, у него нет к нему столь восторженного отношения, какое у Володи. Иной раз, выполняя долг старшего брата — ведь ему принадлежит право даже и дневник Володи подписывать за неделю! — Сергей высиживает весь урок скрипки. Мало-помалу они поразговорились с чехом. Иржи как-то сказал — страстно, убежденно:

— Австрийское иго скоро будет свергнуто. Мы — с Россией навьечно!

Зашел разговор о только что скончавшемся Франце-Иосифе, ветхом, зажившемся, вступившем на австро-венгерский престол еще при Николае I, и его волей и военной помощью.

— А что, Иржи, новый ваш император представляет из себя, этот самый Карл?

Иржи сурово поправил Сергея:

— То не есть наш император! Австрийский. Венгерский. Только не наш. Мы, чехи, так говорим: это — последний Габсбург, это — государь, который посадит себя на чешские штыки. Так мы говорим. Чехи! — И, растроганный братским участием, Иржи продекламировал по-русски:

Красный петух зашумит крыльями
над Шенбрунном.
Вперьед, молодцы,
вперьед, сыны Чехии!
Императора поднимем на штыки!

Однажды Сергей спросил чеха, каковы успехи Владимира в скрипке. Иржи растекся в похвалах. Однако, тут же лукаво взглянув на Володю, оговорился чешской пословицей:

— Хвал, абыс непшехвалил! (Хвали, да не перехвали!)

Сказал, что если Володя будет посвящать скрипке по меньшей мере два часа в день, то скрипка станет *его* инструментом, покорится ему. А это самый гордый, самый непокорный инструмент на всем свете!

— Все будет, все будет! Если Володья запомнит: бэз працэ нейсоу колаче! (Не поработав — не будет калачей!) Ви поньял, Серьежа?

Сережа понял. Владимир был на седьмом небе от счастья, что старший брат благосклонен к его чеху.

Благосклонность к его чеху проявила совсем неожиданно для Володи и Кира Кошанская. Бывая у Сергея, она увидала Иржи Прохазку; познакомились; он ей понравился; она ему — тоже. Иржи хорошо знал французский язык. Но в этом захолустном сибирском городке, да еще военнопленному, чьи знакомства среди русских были все же ограничены, ему очень редко удавалось беседовать с кем-либо по-французски.

Кира французским языком владела в совершенстве. Английским — похуже. А вообще, у нее прямо-таки жадность какая-то была к изучению иностранных языков и несомненные способности.

Узнав, что она свободно говорит по-французски, Иржи Прохазка был обрадован, как дитя.

— О-о! Выборне! (Отлично!) — слышались его восхищенные возгласы.

И о чем только они с нею не переговорили в тот вечер!

Кира высказала сожаление, что не знает чешского.

— Это у вас бистро пойдет! Вы — лингвистка. Наша речь и ваша речь... — Тут он затруднился, подыскивая сравнение. Нашел и обрадовался: — То соу сэстры!..

Кира много смеялась. Уроки чешской речи тогда же и начались. Успехи она показала и вправду большие, но с произношением и ей пришлось немало-таки побиться. При встречах между ними установилась одна привычная шутка. Ошибаясь в произношении, Кира грозила Иржи пальцем и хмурила брови, передразнивая:

— Ну, конечно, русская речь и чешская речь — то соу сэстры!

Прохазка смеялся и осыпал ее похвалами:

— Вы имеетэ совсэм наш виговор. Еще чуточку, чуточку — и вы будэтэ настоящая пражанка. То йе йиста вьец!.. (Это действительно так!..)

Сближала их очень и музыка. Порой они играли в четыре руки. Кира знала некоторые вещи и Дворжака, и Сметаны, в чем он с гордостью и убедился. Но она попросила его, чтобы он ознакомил ее с чешскими песнями. Теперь, при встрече с ним, она приветствовала его словами чешской песенки:

— Красную ружичку (розочку), красную ружичку я тебье дарью!

Володя был горд за своего чеха!

Одно только огорчало его: мамочка, мгновение подумав, наотрез отказала ему в жалобной его просьбе, чтобы как-нибудь пригласить Иржи к обеду.

— Мамочка! Я понимаю: он — военнопленный, но ведь он же у них был офицером. А до военной службы он там, в Праге, уже дирижировал большим оркестром. Он, как скрипач, выступал даже в пражской филармонии, а это ты знаешь какая честь! Ну что, что он пленный? Они, чехи, если разобраться, и не пленные. Они сами переходили на нашу сторону. Целыми полками переходили. Они ведь чехи, а не австрийцы. И против России они воевать совсем не хотят. А Австрию они ненавидят... Мамочка, а?

— Нет, Володенька, нет. И не расстраивай меня, пожалуйста, не приставай!

Ушла. И на уроках ихних ни разу не присутствовала. Все переговоры с чехом поручила Сергею.

И все-таки, все-таки Иржи еще раз увидел лицом к лицу эту женщину. Был солнечный зимний день. Накануне, с ночи, нападало много снегу. Пухлое, мягкое блистание снегов, свет солнца придавали праздничный вид всей Троицкой улице, главной улице городка, по тротуару которой шел Иржи со своей скрипкой в футляре — на сыгровку в офицерское собрание. Он шел неторопливо. Было тепло. Отрадно было дышать. Думалось о родине, о матери, о сестренке — милой Боженке.

Шел и смотрел мечтательно на ясные, огромноцельные стекла магазинов, на большие стеклянные шары, чем-то ярко-красным и синим налитые, в витринах аптек; на обширный деревянный серый шатер городского цирка с кричащими желто-красными афишами, на сверкающие под солнцем золотые кресты собора...

Мало в этот час было проезжающих на заснеженной главной улице. Обозы по ней не пропускались: городо-

вым приказано было сразу от моста через Тобол заворачивать их на другие, глухие улицы и переулки. Изредка — офицеры на извозчике, заломив серую каракулевую папаху, заслоняя изящно рукою в кожаной перчатке озябшее ухо... И опять — никого.

Вот вывалила из переулка рота запасных, добротно одетая, в солдатских папахах, в тяжелых сапогах. Молодой поручик, ловко ступая спиною вперед, лицом к солдатам, взмахнул рукою, подавая знак песенникам, — и на всю улицу грянула и залихватская, и тоскливая, и, пожалуй, наилюбимейшая солдатская:

Мы случайно с тобой повстречались,
Много было в обоих огня.
Мы недолго в сомненьях терялись:
Скоро ты полюбила меня!..

Взмыли, залились тенора. Прохожие заостанавливались. Отцовски-жалостно смотрели на поющих солдат.

Засмотрелся и он.

Вдруг навстречу ему, навстречу солдатам, замедлив из-за них свой размашистый бег, словно из воздуха взялся, ниоткуда, серый в яблоках, под голубой сеткой.

А на высоких, крутого изгиба санках-голубках — снова она, женщина в меховой шубке, — теперь-то он знал, что это мама Владимира, — крупная, царственно-спокойная, с большими изголуба-серыми глазами, гордо созерцающая мир.

И снова — «Сэвэрни кньежна» (княгиня Севера) — невольно, как-то само собою, прозвучало в душе бедного чеха.

Когда Иржи очнулся от своего оцепенения и оглянулся, только облако искрящейся на солнце снежной пыли за уносящимся вдоль улицы рысаком вставало вдали.

Зимою на мельнице Шатров вставал затемно. В одиночестве, на своей половине, никого не обеспокоив, выпивал чашку крепкого кофе, завтракал и выходил на хозяйственный свой дозор — в короткой меховой куртке и в шапке, с электрическим фонариком в кармане и тяжелой, суковатой, железного дерева палкой в руке — хозяйственно-властный, зоркий, сосредоточенный, скорый в своих решениях.

Сперва, позвав с собою ночного сторожа с фонарем, он быстро обходил конюшни и стойла, а затем, вплоть до утреннего чая, оставался на крупчатке и на плотинах. Он успевал еще застать ночную смену засыпок. У Шатрова работали не в две, а в три смены. Кедров похвалил его за это. Сычов обругал: «Этак мы вовсе их избалуем! Сладу не будет. У меня и так чуть что: «Я к Шатрову подамся, у него легше: в три смены работают...» Шатров возражал: «Чудаки, да это же вам, хозяевам, выгоднее, поломок меньше будет и спросить больше можно с человека!»

Сегодня Арсений Тихонович поднялся на час раньше.

Подстригая перед зеркалом усы и подросшую малость бородку, вдруг поймал себя на том, что запел. Удивился: давно этого с ним не бывало! Как-то одна из гостивших девиц спросила: «Арсений Тихонович, а вы поете?» — «А как же — пою. Только раз в году, да и то — в бору». — «Почему в бору?» — «Из человеколюбия...»

И вот — запел! Да и тотчас понял, почему именно сегодня: сегодня суббота. «Через каких-нибудь пять-шесть часов увижу свою сероглазую!»

Ольга Александровна теперь подолгу оставалась в городе. В субботний вечер, с приездом в город Никиты, там собиралась вся их семья, кроме Арсения Тихоновича. Приходил Анатолий Витальевич Кошанский с дочерью. Иногда — Раиса, если не была занята в палатах.

«А я что ж — бобыль? Обсевок в поле?!» И, всегда скорый на решения, Шатров взял за обычай в субботу тоже уезжать в город, к семье. Да и дел в городе было невпроворот!

Вот и сегодня его верный юрисконсульт Анатолий Витальевич Кошанский ждет его в городе с целой грудой дел, писем, договоров.

Отдав последние по дому распоряжения Дуняше, помогавшей ему собираться в дорогу, Шатров, радостный, бодрый, уже отрешенный от здешних дел и забот, вышел в переднюю, к вешалке, протянул руку за кашне. Дуняша обеими руками держала, в ожидании, его выездной портфель, набитый бумагами, распяленный по всем своим складкам, как растянутая гармонь. Вдруг она ойкнула испуганно и уронила портфель. Шатров глянул через плечо на открывавшуюся из кухни дверь,

нахмурился: и кто бы это мог быть, столь ранний, непрошеный и бесцеремонный гость?! «Некогда мне. На выезде. Ну, говори скоро: что тебе?» — такими словами приготовился он встретить его.

Вошел лесничий.

Предчувствием недоброго заныло сердце. Молча смотрели друг на друга. Первым заговорил Куриленков:

— Простите. Вторгаюсь не вовремя... Я — не надолго.

— Раздевайтесь, раздевайтесь... Семен Андреевич. Проходите.

Лесничий снял — Дуняша приняла и повесила его отороченный мерлушкой, щегольской полушубок и рыжую меховую шапку. Отирая платком настывшую на морозе щеточку усов, посапывая и отдуваясь с холоду, мягко в фетровых валенках ступая вслед за хозяином, он проследовал в кабинет Шатрова.

Хозяин, указав ему на кресло впереди письменного стола, закрыл дверь. Оба забыли поздороваться. А теперь было уже неловко.

И когда шли, и когда затворял дверь, все время не покидало неприятное чувство затылка. Ждал выстрела. Легче стало, когда сел наконец в свое рабочее кресло, отдаленный всей шириною тяжелого письменного стола от своего незваного и недоброго (нисколько не сомневался в этом), затаенно-угрюмого гостенька: по крайней мере, лицом к лицу!

— Слушаю вас, дорогой Семен Андреевич!

Лесничий, все еще не начиная о цели своего внезапного и столь необычного приезда, оглянулся на дверь: заперта ли?

«Ну, так и есть! Объясняться приехал. Позаботились, видно, добрые люди: «Ваш доброжелатель» — так ведь, кажется, изволят подписываться они в своих анонимках обманутым мужьям. Но посмотрим, посмотрим. Надо быть готовым ко всему. Главное — спокойствие».

Глядя исподлобья на хозяина, гость все еще, все еще не начинал.

Вот его правая рука ощупывает карман вельветовой куртки, в котором прямыми очертаниями проступало что-то широкое, плоское. Арсений Тихонович хорошо знал, что лесничий никогда не выезжает без своего вось-

мизарядного браунинга. Как-то даже, во время объезда в бору очередной, отведенной ему, Шатрову, на вырубку деляны, они с ним, с лесничим, вздумали посостязаться в стрельбе из пистолетов, и лесничий, помнится, вышел победителем. «Нащупывает, проверяет. Ну что ж, будем настороже!»

И все ж таки не виделось, нет, не виделось Арсению Тихоновичу хотя бы мало-мальски достойного исхода из такого положения, в котором он почувствовал себя сейчас! Позволить ему застрелить себя? Так ведь не смерть страшна — тут-то уж он знает себя! — а нелепость, какая-то недостойность этой смерти, людская молва о ней. «Вы слыхали, слыхали, — будут говорить, — Шатрова-то, у него же в кабинете, муж застрелил, из-за жены! Вот тебе и Арсений наш Тихонович, кто бы мог подумать?!»

А убей он лесничего, опереди — еще хуже, еще позорнее: он, Арсений Шатров, убил в своем доме своего гостя, да еще и человека, им же тяжко оскорбленного! «О, будь же они прокляты, и тот майский знойный день в бору, и то синее озерко на поляне, и... Нет, нет, хвататься за свой пистолет не стану ни в коем случае. Буду только наготове: перехвачу его руку, не дам выстрелить».

Так он решил про себя, да и как будто вовремя: лесничий решительно опустил руку в правый карман.

Шатров был весь начеку.

Семен Андреевич вынул портсигар — серебряный, с витиеватой накладной золоченой монограммой, так хорошо знакомый Шатрову, — раскрыл его, взял папиросу, защелкнул и неторопливо спрятал в карман.

Хозяин быстрым движением вынул спички из коробка, зажатого в медной спичечнице письменного прибора, зажег и любезнейше поднес гостю.

Гость, поблагодарив безмолвным кивком, закурил, пуская дымок через обе ноздри.

Так вот почему, оказывается, оглянулся он на дверь, заперта ли:

— Арсений Тихонович, я к вам с большой-большой просьбой.

И замолчал.

— Слушаю вас, Семен Андреевич. Вы знаете, что я всегда...

Лесничий, кривя губы не то от горечи дымка, не то от горечи просьбы, стараясь прикрыть смущение легкой усмешкой, отвел в сторону папиросу и, понизив голос чуть не до шепота, сказал:

— Наличных, наличных, Арсений Тихонович! За тем только и приехал в такую рань: чтобы Елка моя не узнала. Если сможете — выручите! Я тотчас бы и домой вернулся, пока она спит... А мне вот так!

И лесничий провел краем ладони поперек горла.

У Шатрова отлегло от сердца. Так было с ним однажды, еще в молодости, когда из молодечества, где-то возле Златоуста, он полез почти на отвесную скалу за цветами для своих барышень, у них на глазах конечно, а там, у самой крыши утеса, уж близ цветочков этих проклятых, оказалось, что ему надо прямо-таки распластаться по скале, распялив руки, чтобы добраться до них, до цветочков, и чтобы не сорваться в пропасть, на острые каменья. На всю жизнь запомнился ему этот миг. На одних ногтях держался! А спутницы его оттуда, снизу, так-таки ничего и не заметили. Вот так же и тогда радостно, легко закружилась у него голова, когда он всей наконец подошвой надежно ступил на камень.

«Нет, видно, не знает ничего...»

А вслух, с готовностью, со сдержанной добрососедской благожелательностью спросил:

— Сколько же вам прикажете? Понимаю, понимаю: дело житейское, ну что там!

Он встал, готовый подойти к стальному сейфу в стене.

Лесничий, видимо смущаясь величиною суммы, наморщил лоб, развел руками и неуверенно вымолвил:

— Если бы, Арсений Тихонович, нашлось у вас для меня... тыщонки две, две с половиной...

Чуть было не сказал ему: «А может быть, вам больше требуется, Семен Андреевич?» Но вовремя удержал готовое сорваться слово: не возбудило бы и в нем это подозрений — такая готовность дать денег!

Отперев сейф набором условного слова, Шатров извлек из него двадцать пять шелковисто-шуршащих новеньких сотенных и положил их перед лесничим.

Куриленков привстал и растроганно потряс его руку.

— Выручили, вот как выручили, дорогой Арсений Тихонович! У меня ведь все мои капиталы в недвижимом. Спасибо!

— Ну что вы!

Лесничий вознамерился было писать расписку. Шатров остановил его укоризненно:

— Оставьте, оставьте это!..

— Как же, все-таки?.. Деньги, да и большие! И я еще вам должен.

Арсений Тихонович шутливо заткнул пальцами уши.

Семен Андреевич отложил перо и отодвинул бумагу.

— Ну, еще раз спасибо! — А потом добавил: — Да вы бы хоть спросили, Арсений Тихонович, куда, для чего мне такие деньги в пожарном порядке понадобились!

— Что вы, что вы, да разве я посмею вторгаться... — И запнулся, хотел сказать... в вашу семейную жизнь, но устыдился и закончил обычной деловой любезностью: — Рад, что могу оказать вам эту услугу.

Но лесничему трудно было удержать напор умиленной благодарности.

— Нет, нет, Арсений Тихонович... я знаю вашу деликатность. Но позвольте мне самому... Знаю, что вам ехать, но не задержу, не задержу... Это — в двух словах... — Придвинулся со своим креслом еще ближе к рабочему столу Шатрова и даже слегка перегнулся над столом и в полушепот заговорил — лицом к лицу:

— Помните — я как-то пошутил у вас: вот, говорил, одну-единственную Елочку вывез к нам, на Тобол, но ничего, погодите, разведем целый ельничек... Помните?

Арсений Тихонович только молча кивнул головой.

— И вот: уже семь месяцев... — Со счастливой и смущенной улыбкой первого и желанного отцовства он лукаво и доверительно глянул в глаза Шатрову. Убедился, что тот понял его, и продолжал: — Семь месяцев... А она, вы сами понимаете... Словом, всякие там страхи... Хочет, чтобы я ее без промедления отправил в Екатеринбург: у нее там старшая сестра ее, замужем за податным инспектором... Там чтобы и рожать... Вы сами понимаете: первая беременность. Она у меня трусиха ужасная. Они уже списались... Отправлю, говорю,

отправлю, не волнуйся. Успокоил. Хвать — а энтих-то у меня... — Тут Семен Андреевич как бы потер нечто в щепоти левой руки. — Все мои капиталишки, как знаете, в недвижимости. А надо же ее там, в Екатеринбурге, хоть на первое время прилично обеспечить. Сестра сестрой, а все же...

Шатров молча слушал.

Куриленков заторопился, боясь, что уж очень задерживает хозяина:

— Сейчас кончу, сейчас кончу, Арсений Тихонович, дорогой мой! Вы видите сами: я с вами — как на духу, вы для меня все равно что отец родной. — Поправился: — Все равно что брат старший! Так выслушайте уж до конца исповедь-то мою...

— Пожалуйста, пожалуйста, Семен Андреевич!

— Я бы с радостью продал вам, если только это для вас возможно, свою половину... компанейской мельницы нашей... Сами посудите: Елена моя Федоровна — теперь... какая она теперь мельничиха будет! А я — человек казенный: донесут — могу места лишиться...

Он воззрился в тревожном ожидании на хозяина. Ответ Шатрова, спокойно-деловой и в то же время исполненный сочувственного понимания старшего и опытного к младшему и неопытному, был немногословен и прост:

— Я согласен. Вы помните, конечно, что я согласился принять вас в компанию единственно из уважения к вашему давнему желанию. Сейчас вам это в тягость. Что ж, я согласен. Сегодня же в городе я скажу Кошанскому, чтобы он все оформил. Я немедленно дам вам знать. Но если вам срочно нужен задаток — скажите, не стесняйтесь.

Шатров сделал движение, как бы готовясь встать. Встал и лесничий.

Хозяин вышел из-за стола и ждал, когда гость протянет ему руку для прощального рукопожатия. И тот не замедлил. Но вдруг, не прекращая крепкого и длительного пожатия руки, он, прежде чем Шатров успел отшатнуться, растроганно, с невыразимой благодарностью поцеловал его.

Потом стремительным шагом рванулся к двери.

Арсений Тихонович, опомнившись, шагнул было вслед за ним, проводить, но лесничий, не оборачиваясь,

лишь отмахнулся рукой и набухшим от готовых прорваться слез, срывающимся фальцетом выкрикнул:

— Нет, нет, не надо... не провожайте!

Захлопнулась дверь.

Слышно было, как гость пробежал в прихожую, к вешалке.

Шатров секунду, две, три стоял, словно остолбеневший. Лицо вдруг побагровело. Он рванул наотмашь ворот дорожной косоворотки, и оторванные пуговицы горохом запрыгали по полу.

Потом, в приступе полного изнеможения, сам не замечая, что стонет, опустился-рухнул в кресло, только что оставленное гостем. Тылом руки отер крупный пот, выступивший на лбу, и, то сжимая кулаки, то схватывая себя за кудри, сквозь зубы выстонал:

— Уф... уф!.. Да лучше бы ты, проклятый, вкатил мне пулю в затылок!

Он долго сидел так, захлестнутый внезапным и неотвратимым накатом чувств, дум, воспоминаний.

А там, у крыльца, гнедая ретивая тройка нетерпеливо переступала копытами, погромыхивая бубенцами; кучер в тулупе уж в который раз оглядывал и обхаживал лошадей, вел свою особую кучерскую, ямщицкую беседу с ними, и уж успели заиндеветь усы у него, а хозяин все не выходил и не выходил.

И ни одна душа не смела напомнить ему о выезде: так заведено было!

Арсений Тихонович Шатров снова и снова пытал свое чувство к жене ближнего.

Как все почти мужчины его круга и воспитания, он в чувственном обладании женой другого, пускай даже товарища, друга, не видел не только что преступления, а и какого-либо особого, совестью не простимого проступка. Было бы только все по ее доброй воле! Так смотрели на это все, кто его окружал, с кем ему приходилось общаться. Одни исповедовали такие взгляды не таясь, другие — втайне. Этим был полон свет; об этом говорилось обычно с некой лукаво-умудренной усмешкой: дескать, дело вам всем понятное, само собой разумеющееся — мы люди взрослые, — но только бы мужчина, вступая в связь с женой другого, вел себя

благородно, достойно, ну, словом так, как должен вести себя порядочный человек!

И когда в его присутствии кто-либо изрекал, что в чужую, мол, жену черт ложку меда положил или что чужой ломоть лаком, Арсений Тихонович лишь снисходительно усмехался этим афоризмам народной мудрости. А будь уличен кто-либо из говоривших в том, что он и впрямь чужой ломоть украл, — и заклеймили бы, и извергли!

Конечно, каждый из его круга заведомо считал, что и он, Шатров, при его уме, при его красоте и силе, да еще и при этаких капиталах, человек не старый еще, живет, как все, по той же самой мужской заповеди. Никто его не допрашивал. Однажды только, подвыпив, Панкратий Гаврилович Сычов начал было лукавый допросец, подтыкая его в бок. Но Арсений Тихонович как-то ловко и необидно отшутился. Тогда великан-мельник нашел удовлетворение в том, что сам стал исповедоваться: «А я грешу, Арсений, ох грешу!» И признался, «под секретом», что у него не только постоянная «сударушка» есть в одном ближнем сельце, а что и на ярмарках он-таки погуливает «с девицами»: «Охоч я до женской ласки, Арсений, что делать, что делать! Уж не надо бы, думаешь, дак ведь, с другой стороны, было бы в чем попу на исповеди покаяться! Силушки у меня, сам знаешь, с целой оравой могу совладать. Господь, опять же, и капиталом сподобил: с собой в могилу не унесешь! А я их не неволю, нет, не неволю. Не нами ведь складено: были бы денежки — будут и девушки!»

И коснеющим языком в заключение еще раз выразил твердую уверенность, что и Шатров живет «по тому же манеру», только-де отмалчивается, не признается.

А он и не опровергал. Гордость не позволяла. Он привык считать недосягаемой для посторонних, наглухо закрытой для чужих очей и ушей святынею свою семейную, супружескую жизнь. И если бы пришлось ему в ясных, четких словах выразить это свое кровное, со всем его существом слившееся чувство, то оно прозвучало бы так: «То — у вас, а то — у меня, Шатрова!» А думать — пускай думают что хотят. Не сомневался, что иные и на смех подымут, узнай они, что за все свои двадцать пять лет брака он оставался верен жене.

Не то чтобы не испытывал он иной раз чувственного любования чужими женщинами, но любование это никогда не переходило у него в чувство вожделения к ним. *Сероглазая* его — так называл он ласково свою Ольгу Александровну — да ведь это же царица по сравнению со всеми другими! Иногда на него находил даже некий суеверный страх, особенно когда он прочитал как-то у Жуковского «Поликратов перстень»: уж слишком, слишком, вот так же, как этого Поликрата Самосского, балует его судьба удачами и счастьем. И прежде всего — счастьем супружества с женщиной, которая краше, и умом сердца умнее, и сладостнее всех других на свете.

Они поженились, когда ей было семнадцать, а ему — двадцать один. Для него это был год совершеннолетия и призыва на военную службу. Но Арсений Шатров в ту пору служил еще волостным писарем, и его в солдаты не взяли. До женитьбы, как повелось, должно быть, от века — быль-то ведь молодцу не в укор, — у Арсения были увлечения, влюблялся, были и сближения с женщинами, но и тогда в нем жило какое-то чувство отталкивания от мимоходной любви, от того, что в тогдашнем его провинциально-мещанском кругу называли «интрижкой».

Поженились они по страстной и неодолимой любви. И любовь эта все возрастала с годами, развертывалась, подобно тому как развертывается лист из почки. И ему искренне казалось, что Ольга все хорошеет с каждым годом. Теперь Ольге Александровне только что исполнилось сорок два года. И вот, когда они оставались наедине, Шатров говаривал ей, что если бы сейчас перед ним предстали на выбор *двое:* та, семнадцатилетняя Оля Снежкова, и вот *эта*, теперешняя Ольга Александровна, — так он, и даже не задумываясь, женился бы на этой. А окажись она замужем, от мужа увел бы!

Ольга Александровна смеялась счастливым смехом: «Бедная Оленька Снежкова, знала бы она!»

И вдруг... этот роковой путь в бору сыпучими, знойными песками, это синее озерко и эта непоправимость, невозвратность всего, что произошло!..

Теперь, во время заездов Шатрова к лесничему, Елена Федоровна либо совсем не выходила, сказавшись

больной, либо показывалась не надолго, кутаясь в пуховый оренбургский платок.

О том, что она беременна, он узнал только сейчас вот, от ее супруга.

«Возможно, что я — отец ее ребенка». Подумав так, он явственно представил себе: вот он добивается ее развода с лесничим — за хорошие деньги отцы духовные чего не сделают в консистории!.. Так. Что же дальше? И вдруг одна только мысль, что эта юная куропаточка, безропотно отдавшаяся ему женщина станет его женой, спутницей его на всю жизнь, станет *Шатровой*, а Ольга уйдет от него, — мысль эта наполнила его ужасом: «Нет, только бы не узнала, только бы не узнала! А что, если *знает* уже? Не потому ли она почти и не живет здесь, а все в городе и в городе? Ольга горда. А вдруг ждет, что он ей сам сознается во всем? А что, если уже утратил ее?!»

— Дуняша, Дуняша! Скажите, что сейчас выезжаем!

Нет, видно, сама судьба порешила задержать сегодня отъезд Шатрова!

Вот он опять возле вешалки, и Дуняша опять стоит с портфелем, как вдруг дверь из кухни одним толчком распахнулась — и в дохе, несущей стужу, страшно похожий на матерого бурого медведя, с намерзшими на вислых панских усах ледяшками, с белыми кустиками закуржевевших бровей, ворвался Кошанский.

У Шатрова, сколь часто ни проповедовал он сынам своим, что истинный мужчина всегда, при любых, при самых внезапнейших обстоятельствах, должен уметь сохранять спокойствие, ёкнуло сердце: «Примчался сам! А ведь условились, что встретимся сегодня в городе. Не дождался: что-нибудь стряслось! Уж не с нею ли, не с Ольгой ли Александровной моей? Жаловалась, что покалывает сердце».

Арсений Тихонович попятился в комнату, посторонился из дверей, чтобы светлее стало гостю разболокаться.

Однако, всегда столь воспитанный, учтивый, Анатолий Витальевич Кошанский так, в дохе и в шапке, запыханный, будто не на лошадях приехал, а в дохе по снегу бежал, громоздко ввалился в столовую.

Тут он остановился перед хозяином, обезумелыми глазами глянул на него и хрипло-шумным голосом выкрикнул:

— Гришку хлопнули!

Шатров, ошеломленный, мгновение стоял недвижим. Затем он простер навстречу Кошанскому широко раскрытые руки.

Неуклюже, по-мужски, они крепко обнялись и троекратно, со щеки на щеку, расцеловались.

А в воскресенье, под вечер, приехал Кедров. Дуняша, как всегда, встретила его радушнейше. Приказала поставить самовар. Но Матвей Матвеевич, едва только узнал, что хозяин еще в городе, хотел тотчас же уехать. Она с властностью гостеприимной хозяйки воспротивилась:

— И не думайте! Так я и отпустила вас, чайком не обогревши, да в эдакую стужу! Кто я тогда буду... А хозяева что мне скажут, когда узнают, как я с вами обошлась?

Кедров знал и чувствовал, что здесь, у Шатровых, его любят, что это — искренне, и, покачивая головой, стал расстегивать солдатский ремень своего нагольного полушубка.

— Ну вот и хорошо. Проходите в залу. Поразомните ножки. Обогрейтесь. А сейчас и Константин Кондратьич прибежит: я к ему послала — сказать.

Это было сказано о Косте Ермакове. И Кедров слегка насторожился: *просто так* это было сделано ею или же Константин проговорился перед этой девушкой о их, теперь уже далеко не личных отношениях, о своей подпольной, тайной работе и о своей партийной подчиненности ему, Кедрову? Не верилось! Не мог он обмануться так в этом ясноглазом и ясносердном пареньке! И Кедрову вспомнилось: когда, со всем пылом сердца и трепетом новообращенного, Костя принимал от него свое первое, еще незначительное, поручение, то он опять иначе не смог выразить обуявшие его чувства благодарности, преданности отныне *его* партии, как в клятве, — истовой, самозабвенной, которая в то же время чуточку и позабавила Кедрова. «Матвей Матвеич! Верьте мне. Ни под какими пытками не дрогну.

Хотя бы иголки под ногти стали загонять! — Тут дыхание у него зашлось, да и недостаточно, видно, показалось ему такой клятвы, помолчав, добавил: — Пускай хоть даже в испанский сапог обуют!»

Кедров как бы в недоумении вскинул на него глаза: «Постой, постой: что это еще за испанский сапог?!»

И, заалевшись от смущения, Костя объяснил ему, что испанский сапог — это особое орудие пытки в застенках инквизиции: завинчивают босую ногу несчастного в железное подобие обуви, и затем все сжимают и сжимают — до тех пор, пока в этом «сапоге» не начнут раздавливаться кости стопы.

Кедров покачал тогда головой, с трудом скрыв, дабы не обидеть парня, и невольную улыбку, и тоже невольную слезу отцовской растроганности этой чистотой душевной. Слегка обнял его за плечи, привлек к своей груди и сказал со вздохом: «Ох, Константин, Константин, друг ты мой! *Русский* сапог — он пострашнее испанского! Вот заберут в солдаты, загонят тебя в казарму царскую — тогда узнаешь, каков он, этот русский сапог, — сапог его высокоблагородий!»

И в ответ прозвучало юношеское, гордое: «А я и там не дрогну!»

Дуняша вскоре оставила их за самоваром одних, и Константин стал отчитываться перед Кедровым в самом последнем задании — не столь уж и редком в борьбе и в жизни подпольной организации, которое, однако, лично для Кости Ермакова было совсем неожиданным и сопряжено было с чувством стыда и душевной боли.

Кедров незадолго перед этой вот их беседой предложил Константину выяснить — бесспорно, быстро и точно выяснить, — не является ли его старший братец, Семен Ермаков, перешедший мастером на литейный завод Башкина, секретным сотрудником охранки?

Костя сперва возроптал — бурно и жалобно:

— Матвей Матвеич! Ну не могу я этого! Все, что угодно: велите взорвать кого-нибудь, бомбу кинуть, застрелить — сейчас же кинусь, ни слова не скажу, взорву, застрелю, кого только велите!

У! Каким холодом-гневом обдало его в ответ на эти слова:

— Боюсь, друг мой, что ты к эсерам или анархистам тянул, а случайно к нам постучался! Что ж! Не поздно еще исправить эту ошибку...

— Матвей Матвеич... — И замолчал, укоризненно, сквозь слезы, глянув на Кедрова.

В ответ — деловое, жесткое:

— Почему не можешь?

— Вы же знаете, что он здесь, на мельнице, вытворял, за что прогнан...

— Да. Знаю. Ну и что же?

— А то, что мерзит мне после того даже глядеть на него, а не то что разговаривать. Я и здороваться с ним перестал.

— Понимаю. Только и всего? Дешево же стоят твои клятвы, которые я недавно слышал от тебя! Тогда о чем нам...

В мучительном душевном борении Костя прервал его голосом раскаяния:

— Понял, понял я, Матвей Матвеич! Ничего не говорите мне больше... Понял. Надо — сделаю!..

Так принял он задание — разведать, узнать доподлинно, без всякого шума и как можно быстрее, справедливо ли возникшее у Кедрова подозрение, что Кондратьич — провокатор.

А возникло это подозрение таким путем.

Как волостной писарь, Матвей Кедров всегда сам доставлял своих новобранцев в призывное присутствие. И с первого же раза воинский начальник изволил высказать, что вот калиновский, дескать, писарь — этот не чета другим: непьющий, толковый, не суетлив, расторопен, видать, не взяточник, хорошо грамотен. А главное: и списки и люди у него в полном порядке! И, даже обратившись к нему на «вы», он тогда же начальственно похвалил Матвея: «Вы, Кедров, умеете обойтись с народом!»

Что правда, то правда: обойтись с народом Матвей Кедров умел-таки!

С тех пор волостной писарь из Калиновки назначался как бы старшим из писарей на все время воинского призыва. Он и дневал и ночевал в управлении воинского начальника. Все списки шли через него.

А о том, что именно кедровского приема призывные, попадая на фронт, в первую очередь и «оказывали акты

прямого вооруженного неповиновения», все чаще и чаще отмечаемые в секретных донесениях контрразведки; о том, что именно через его руки прошедшие «сибирячки́» и учиняли большевистские митинги, иной раз прямо среди фортов крепости; о том буквально *листопаде* большевистских прокламаций против царя и войны, который засыпа́л окопы и тыл сибирских дивизий, — обо всем этом здешнее воинское начальство и не подозревало!

Однажды работавшему вот так, временно, в канцелярии воинского начальника писарю Кедрову пришлось принять для срочной отправки на фронт сразу пятерых военнообязанных с чугунолитейного завода Башкина.

Так было заведено: как только администрация завода сообщала военному начальству, что такой-то и такой-то военнообязанный слесарь, молотобоец, доменщик «замечен» и, по-видимому, «неблагонадежен», его тотчас же забирали с завода и отправляли на фронт.

Всех этих пятерых рабочих Матвей Кедров знал лично и помимо списков: да еще бы не знать, когда все они были из его подпольной большевистской группы на заводе Башкина.

Отсылаемые на фронт, впрочем, горю и унынию не предавались. Угрюмо пошучивали:

— Посмотрим, где хуже, поглядим, пока зрячи: покуда глаза нам в башкинском аду не выжгло!

— Вот именно! А до чего хитер, паразит! В газетке про него пропечатали: городская, дескать, дума благодарность выразила владельцу чугунолитейного завода господину Башкину — неукоснительно снабжает лазарет госпожи Шатровой цветами из своих собственных теплиц. Без-воз-мездно!.. Вот он какой у нас хозяинушко. И не знали, какого благодетеля лишаемся!

— Не горюй! Вот погоди, покалечат тебя на фронте — попадешь в здешний наш госпиталь, тогда и цветочков башкинских нанюхаешься.

— Ха! Нанюхаешься! — когда нюхать-то нечем стало: за пятнадцать лет лёгки-то выгорели в литейной в его, проклятой!..

Отсылкой на фронт сразу пятерых из его большевистской группы Кедров был сильно встревожен. Тако-

го случая на чугунолитейном заводе Башкина за всю войну у него еще не было.

Было ясно, что всех выдал провокатор. Сопоставляя события, ведя через посредство старых рабочих-большевиков как бы тайное следствие, Матвей Матвеич пришел к подозрению, что здесь замешан брат Кости — Семен Кондратьич Ермаков. Отсылка пятерых на фронт произошла близко того времени, когда Кондратьич, уволенный Шатровым, поступил мастером на завод Башкина. На заводе про него стало вскоре слышно, что Ермаков «поругивает царя», собирает у себя кой-кого из рабочих... Выпивают...

Быструю, тайную и окончательную разведку можно было произвести лучше всего через брата Кондратьича — через Костю Ермакова.

Такое решение и принял Кедров. Так вот и возникло «особое задание», в котором теперь, на мельнице у Шатровых, отчитывался перед Матвеем Матвеевичем Константин.

Выполняя поручения хозяина по ремонту частей турбины, вальцов или чего-либо другого, Константин Ермаков нередко бывал на чугунолитейном заводе. Сам Башкин хорошо знал его как доверенного у Арсения Тихоновича Шатрова и принимал соответственно. Однажды даже спросил, виделся ли он со старшим братом. «Нет». — «А что так?» — «Да так, Петр Аркадьевич. Отвыкли друг от друга...» — «Ну, ну! И все же, я думаю, тебе не будет неприятно узнать, что он у меня на хорошем счету? Я им доволен: мастер преотличный!»

Константин промолчал.

Случайно братья встретились-таки в литейном цехе.

Костя стоял, ужасаясь: да как же это люди, с дыханием, с живой кровью, могут выдерживать этот ад?!

Когда огромным стальным жезлом прошибали лётку огнеупорной глины в домне, клокочущей адским варевом чугуна, и расплавленный чугун вдруг вырывался оттуда струею неимоверной толщи, и струя эта, слепящая глаз, раскаленная до белизны молока, разбрасывающая огромные бенгальские искры, кидалась, растекалась по земляным протокам и желобкам, заполняя земляные опоки, и полуголые, в черном, лоснящемся поту, изможденные, жилистые люди, вместо того чтобы спасаться от нестерпимого, обжигающего легкие

угарного жара, напротив, начинали спокойно железными лопатами направлять куда-то страшные потоки этой огнепышущей лавы — тогда у Константина сами собою смыкались веки. Он с ужасом подумал: «И все, и все это вынужден выносить человек за какой-то рублишко в день — выносить одиннадцать часов в сутки!.. Так вот она, проклятая эта «прибавочная стоимость», во всей своей страшной наготе!»

На заводе господина Башкина, в этом именно цехе, бытовала особая болезнь: высыхал глаз, сохло от непереносимого жару глазное яблоко. И человек слепнул...

Вот когда, во всей своей ужасающей правде, вспомнились Константину слова кедровских листовок: «Кровью и смертным потом своих рабочих утучняется капиталист-эксплуататор, и нечего искать от него защиты у начальства да у царя: вся свора — заодно!..»

— А ты чего глаза зажмурил, Константин?! Видишь, что старший брат идет, и хочешь вид показать, что не видишь?!

Так, врасплох, захватил Костю в литейном цехе однажды старший Кондратьич. Ответа не получил и, ругнувшись, пробежал дальше.

...И вот оказалось, что ради святого дела партии, ради народа надо пойти на все, надо преодолеть свое омерзение, первому навестить Семена, войти к нему в доверие.

Константин и тонко и скоро выполнил поручение Кедрова, и теперь уже никаких сомнений не оставалось, что Семен Ермаков — доносчик-«стукач» заводской администрации, а сверх того и сотрудник охранки.

Доверие его к младшему, пришедшему с «покаянкой» брату простерлось до такой степени, что однажды, под хмельком и за чаркою, Семен предложил и Косте перейти на завод Башкина, совмещая явную должность с такою же, как его, Семена, и заверил брата, что даст ему рекомендацию и в охранное отделение:

— На первое время сотнягу добавочных я тебе гарантирую. Да еще — наградные. Ну, это уж смотря по удаче и по заслуге. А ты у нас парень башковитый!..

Костя слушал не перебивая. И тогда, посчитав молчание за согласие, Кондратьич открылся перед ним в тайном и хищном вожделении:

— Жерлицу, жерлицу хочу, брательник, поставить

на самого главного. Чуешь? А о насадке, о наживке... ну, о приманке, попросту сказать, — об этом давай, братан, вместе помозгуем!..

Налегши пьяными объятиями на плечи младшего брата, «старшак» и тормошил его, и хрипло, глотая слюнки, бормотал ему на ухо:

— Да ты вникни, Костя, ты вникни: если мы его выследим да изловим, ну тогда ротмистр мой... ш-ш!.. фамилию его я даже тебе, брату родному, не имею права сказать... если, говорю, главного изловим, то ротмистр сказал, что прямо озолотит: требуй, что хочешь!.. Чуешь?!

Когда бы знал он, Кондратьич, с каким напряжением трудно скрываемой брезгливости сносит его слова младший; когда бы знал он, что за этого «главного» младший, не колеблясь, отдаст всю юную кровь свою — каплю за каплей!..

Скоро Константин Ермаков стал одним из надежнейших связных и разведчиков партии. Под руководством самого Кедрова прошел он многосложную, напряженно-изнурительную технологию подпольной работы. Овладел искусством быстрой шифровки и расшифровки. Научился брать на память, без всяких записей, множество лиц, фамилий, адресов, кличек. Видеть — не глядя. Слышать — не слушая. Запоминать, схватывать сразу впервые увиденную обстановку и всех наличных людей — словно бы мгновенным снимком!

Удивляясь и радуясь, Кедров находил его природно способным к работе профессионального революционера.

Правда, многое дала Константину его служба на большой мельнице, его непрерывное, изо дня в день общение с народом — с помольцами из разных деревень, с помочанами на плотинных работах. Тут всех надо было знать по именам и лицам. В народе любили это. Иначе — обида.

Кстати сказать, Кедров решительно запретил Косте уходить от Шатрова.

— Но, Матвей Матвеич, мне теперь слишком даже тяжело служить у них. Нету у меня к нему, Арсению Тихоновичу, прежнего отношения. Мутит меня, когда я вижу, как мужичок-помолец шапчонку перед ним

сдергивает, а он, в своей панаме соломенной, чуточку-чуточку только кивнет ему: «Ну, ну, что тебе?» — «Арсений Тихонович, я — до вашей милости!»

Нет, разрешения на уход не было! Еще раз напомнил он Косте, что своим каждодневным, нескончаемым коловращением народа, из множества волостей, и днем и ночью, шатровские мельницы, особенно — главная, представляют собою бесподобные, незаменимые очаги большевистской работы в массах.

И Константин смирился. Значит, так надо! А это — *так надо,* и в особенности прозвучавшее из уст Кедрова, стало теперь для Кости святым и непререкаемым законом.

Как-то наедине он в таких словах, смущаясь и рдея, выразил свою любовь и к Кедрову, и к тому, чьи предначертания и гений направляли волю и жизнь самого Кедрова:

— Матвей Матвеич!.. Вот я вас узнал, смотрю — и думаю: если вы — такой, так какой же *он* должен быть?!

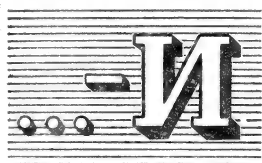
С неутолимою жаждою слушал он рассказы Матвея Матвеевича о его встречах с Владимиром Ильичем. Исходил в неистовом гневе, узнавая, как меньшевики и корифеи II Интернационала, предавшие рабочий класс, ставшие подручными всесветного империализма у рукоятей и приводов исполинской мясорубки войны, преследуют и травят Ленина за границей, всячески препятствуют его работе, клевещут на него, доводя порою Владимира Ильича до болезни. «Ух, я бы их!..»

Любил рассказы Кедрова о первых днях партии. О том, как Владимир Ильич даже из тюрем, даже из глухой сибирской ссылки руководил борьбой рабочего класса, выковывая партию, создавая свои гениальные труды.

Слушая рассказ Кедрова о том, как Владимир Ильич вырвался однажды тайно, зимою, в декабрьскую сибирскую стужу, к ним в Минусинск и устроил там, невзирая на все опасности и препоны, настоящую большевистскую конференцию, Костя воскликнул, пылая гневом и презрением против царских властей:

— Дурачье!.. Злобное, бесстыдное дурачье! До чего же их злоба ослепила! И чего они этим хотели добиться? Да разве может кто *Солнце* в сугробах погасить!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



все же я так скажу, господа: ну к чему уж такое идолобесие вокруг него, вокруг этого господина Керенского?!

Отец Василий медленно обвел красивыми бычьими глазами всех собеседующих сегодня, в этот августовский знойный день, в гостиной Шатровых и замолчал: знал он, что непременный должен воспоследовать чей-либо ответ на столь «заостренное» его замечание.

А пока, в ожидании такового, он слегка отвернул василькового цвета рясу, достал из кармана заправленных в сапоги шаровар золотую маленькую табакерку и принялся священнодействовать. Именно! Ибо у отца Василия это было не простое, как бывает у иных прочих, втягивание в разъятые жадно ноздри мелкомолотого золотистого зелья, с последующим блаженным ожиданием нестерпимо-сладостного, душераздирающего чиха, — нет, у отца Василия суть была совсем не в этом: суть была, скорее, в приготовлениях к нюханию.

Теперь отец Василий, пожалуй, и не вдруг бы вспомнил, с чего это у него началось. А началось это еще в семинарии. И с чего ведь! С безвестной пьески из времен Екатерины II — пьески, показанной в их городке какой-то заезжей труппой. Актер, игравший кого-то из ближних вельмож императрицы, да, кажется, чуть ли не самого Потемкина, именно таким манером изволил нюхать табак. И семинарист-выпускник Василий Паре́нский, долговязый выросток-бедняк, вечно полуголодный, в старой блузе с давно окоротевшими рукавами, жадно всматривался в неторопливые, сановитые движения блистающих, выхоленных рук со сверкаю-

щим перстнем, всматривался и запоминал: вот, сперва поиграв золотой табакеркой, слегка повращав ее меж перстов, вельможа раскрывал ее легким нажатием, захватывал щепоть и, небрежно-повелительным жестом передав подержать кому-либо из раболепствующей свиты, выставляя перед собой левую руку с оттопыренным большим пальцем, то есть так, чтобы сделалась впадинка меж пальцевых сухожилий, и в нее-то, в эту впадинку «соколка́», высыпал ухваченную понюшку. И тогда только, из нее уже, втягивал. А иногда и нет: отставлял, осыпая золотистым порошком грудь бархатного голубого кафтана и ослепительно-белое жабо. Беседуя и повелевая...

С тех пор, тайно и накрепко, образ этот как бы вперился в душу бедняги-семинариста! Конечно, явною несуразностью было бы, если б тогда же начал он подражать увиденному. Но и молодому священнику, только что свой приход получившему, приличествовало ли сие? Да и отец-благочинный, пожалуй, осудил бы, а то и прямо бы воспретил. И лишь через много лет, достигнув благоденствия житейского, почета и сановитости, отец Василий, вопреки недовольству своей Лидии, стал понюхивать табачное зелье. Правда, потакал он этому своему пристрастию довольно редко и только в избранном обществе. А из простых прихожан мало кто и знал о таковой слабости своего пастыря. Да и в обществе отец Василий зачастую даже и не доносил до ноздрей: неторопливо раскрыв табакерку, насыпав в ямочку «соколка», он, бывало, медлил и медлил, собеседуя, пока наконец табак не просыпался.

Чихали другие.

Так было и сейчас.

Передав — подержать — табакерку Володе, отец Василий стряхнул щелчком золотистый прах с шелковой рясы и продолжал витийствовать, меча перуны своего выспреннего красноречия на голову Александра Федоровича Ке́ренского, успевшего к тем временам сменить свой тощий адвокатский портфельчик сразу, оптом, на три министерских, необъятных: и председателя совета министров, и военного министра, и министра морского.

...Чихнул стремительно вошедший Шатров.

Он был только что с плотин. Гости были все свои, и потому он вошел в гостиную запросто: в красной,

мужицки длинной рубахе, с простой, черным крестиком, вышивкой по зарукавью и по кромке подола, в серых летних шароварах, заправленных в рабочие сапоги, с золотинкою соломинки, заплутавшейся в крупных и высоких его кудрях, жарко дышащий, не остывший еще от схватки с Тоболом.

И зноем и рекою веяло от него.

Чихнув от табачной пыли, рассеянной отцом Василием в воздухе, Арсений Тихонович рассмеялся, вынул платок, отер усы и весело, по-озорному вскричал:

— Ах, ты, долгогривый черт!.. Он, видите ли, табачок изволит нюхать, а другие — чихай за него! Ну, погоди ж ты!

Он протянул руку к пышной, лоснящимися волнами ниспадающей на плечи гриве отца Василия, как бы запуская в нее руку:

— Эх, должно быть, и частенько, Лида, таскаешь ты его за волосы, благоверного своего! Больно хороша у него шевелюра!

Он кинул взгляд на племянницу жены. Красавица попадья — глаза с поволокой, роток с позевотой! — только усмехнулась лениво в ответ на его слова. Вся в томной изнеге от зноя, дышащего в распахнутые окна гостиной, Лидия сидела, полуоткинувшись, расстегнув у белоснежного полного горла перламутровую пуговицу чесучовой кофты, слегка склонив набок светло-пышноволосую голову с рассыпающимися из-под всех гребенок и заколок волосами цвета спелой пшеницы.

Неохотница до слов, она все ж таки, помолчав, изронила словечко:

— Он меня слушается.

Все рассмеялись.

А отец Василий, «львообразно» тряхнув гривою, протяжным басом пророкотал:

— Да-а!.. У меня власы, аки у Авессалома, сына Давидова: когда он стриг голову, повествует Библия, а он стриг ее, сказано, каждый год, потому что она отягощала его, то волоса головы его весили двести сиклей по весу царскому!.. Да-с, — повторил, — не как-нибудь, а по весу царскому!

Усмехаясь, обвел глазами гостиную.

Анатолий Витальевич Кошанский, с привычной своей манерой стареющего красавца шляхтича, морг-

нув длинным и вислым усом, спросил, приостановясь против отца Василия:

— Это что ж еще за царский особый вес? Интересуюсь как юрист.

— Сиречь — полный, безупречный.

— Ага, понимаю: без обвеса.

— Истинно. — И, ощутив прилив благодушнейшего настроения, батя продолжал с шутливым бахвальством: — А посему, по причине сего благолепного пышновласия, еже и доныне чтится в народе, сказано о сем Авессаломе: «от подошвы ног его до верха головы его не было у него недостатка!»

Шатров только головой покачал:

— Ишь ты ведь, как вознесся, батя!.. А впрочем, ничего не скажешь: красивый у тебя поп, Лидия, статный, видный. Не ревнуешь?

Попадья молча, с легкой ямочкой улыбки на тугой щеке, отрицательно повела головой.

Неожиданно вступил в шутливый этот разговор Кедров.

Лукаво покусывая кончик золотистого жиденького уса, исчезающего в такого же цвета, чуть-чуточной бородке, усмешливо покосился на отца Василия, — сверкнули стекла сбрасываемых по привычке очков — и промолвил, словно бы так, в полушутку, но словно бы и наблюдая, какое действие произведут его слова:

— А однако, *отче*, вы как будто соизволили утаить от нас кое-что о судьбе этого самого Авессалома, сына Давидова? Я понимаю, конечно, поелику сходство с этим библейским персонажем вы считаете, по-видимому, довольно-таки лестным для себя... Но... все ж таки утаиваете нечто!

— Утаиваю?.. Отнюдь!.. А впрочем, что именно вы подразумеваете, дражайший Матвей Матвеевич? История Авессалома обширна...

И тотчас же смолк и покраснел почему-то. Кедрову показалось даже, что легкая дрожь передернула под шелком васильковой рясы тучные плечи отца Василия.

С полслова они поняли друг друга: о чем именно зашла речь.

— Вот-вот, я как раз это и подразумеваю: что довольно-таки дорого обошлись Авессалому эти двести сиклей его шевелюры!

Отец Василий, безмолвствуя, не перебивал, а лишь время от времени наклонял голову, как бы подтверждая правильность текста, который произносил Кедров, подражая чтению в церкви:

— «Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Тут, как гласит стих девятый главы восемнадцатой Второй книги Царств, настиг его Иоав и, если память мне не изменяет, «взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе...». Да, да, «и вонзе я в сердце Авессалому».

Попадья Лидия всплеснула ладошками, широко раскрыла большие синие глаза:

— Боже мой, и зачем вы ужасы-то эти вспоминаете? И без того только то и слышишь, только то и слышишь!

Отец Василий супружески отмахнулся от нее. Вернул утерянное на мгновение свое обычное расположение духа, весело крякнул, прочищая голос, и, обратясь к собеседнику, сказал:

— Да не будет сие припоминание ваше провещательно! Однако изумлен свыше меры: да уж не из духовного ли вы звания, Матвей Матвеевич? Скрываете?

— Ну что вы! Вы же знаете: потомственный пролетарий!

— Однако столь нечастое среди светских знание Библии и, как могу умозаключить, — церковнославянского... Откуда сие?

Кедров рассмеялся:

— Ну, это уж я столыпинским одиночным пансионам обязан. Вам же известно: нам, особо избранным, тем, кто подлежал строгому тюремному заключению, подчас никакой другой литературы не дозволялось иметь, кроме Библии: надо полагать, ввиду закоснения нашего «во гресе́х»! А мы требовали Библию-полиглоту или же хотя бы русскую и французскую вместе. Русскую и немецкую. И таким манером многие из нас, тюремных завсегдатаев, достигали доброго знания иностранных языков. Из них же аз есмь!

— Так, так!

— Но и безотносительно к этому, сама книга... Прежде всего как источник исторический и, наконец...

Но здесь отец Василий с привычной в таких случаях для него строгостью и даже обеими ладонями как бы отстраняя его слова, прервал Кедрова:

— Полноте, полноте, Матвей Матвеевич! Скажите лучше: богодухновенная книга. И не прекословьте!

Он вынул опять золотую свою табакерку и, совершая ритуальное свое нюхание, помогавшее ему обдумывать предстоящие слова, сказал, пристально и с какою-то пытливой тревогой всматриваясь в лицо Кедрова:

— Однако, скажу я вам, достоуважаемый Матвей Матвеевич, трудно человеку быть совопросником вашим. Трудно! Слышал я вас однажды на митинге в цирке гра́дском и, признаться, вчуже восскорбел душою за того — помните? — эсера (отец Василий по-семинарски мягко произносил в этом слове «се»)... и меньшевичка, после коих вы изволили взять слово: тяжко им было, и тому и другому, быть совопросниками вашими... Восскорбел! — Потряс головою.

С напускной обидою в голосе накинулся на него шатровский юрисконсульт:

— А что ж за меня не «восскорбели», отец Василий? Что ж так? А я полагал, что наша партия — «Народной свободы», членом коей имею честь быть, и вас в какой-то степени не чужда... политическим вашим воззрениям. А можно было и «восскорбеть»! Уж я ли, кажется, не многоопытен в словесном фехтовании, однако и мне в тот раз, на этом памятном митинге в нашем местном Колизее, такие пришлось получить удары от Матвей Матвеича, что некоторые из ран и до сих пор... напоминают о себе!

Обернулся в сторону Кедрова и этаким соколом, все с тою же барственной снисходительностью к собеседнику произнес:

— Но ничего, милейший, мы еще скрестим с вами шпаги!

И оцепенел в растерянности от угрюмых, с нескрываемой неприязнью слов Кедрова:

— Боюсь, как бы не штыки!

Сказал — и смолк. Никому из этих людей не дано было знать — да и не надлежало, — что этот вот, почти всегда среди них молчаливый, чуть ли не застенчивый человек, этот еще недавно скромный «волостной писа-

рек», как всем нутром его ненавидевший называл его за глаза Сычов, что человек этот только-только что возвратился с *шестого*, что среди очень и очень немногих ему дано было посетить Ленина, укрытого от кровавой расправы, и что из его уст узнал он, что после третьеиюльских расстрелов должны быть оставлены все надежды на мирное развитие революции и что кровавая диктатура «окорнилевших» керенских, открыто подымающих вместо алого знамени черный флаг смертных казней, должна и будет низвергнута лишь вооруженным восстанием рабоче-крестьянских, солдатских масс, что на очереди штыки!..

Обескураженный ответом, Кошанский замялся:

— Ну что вы, что вы, дорогой мой... Я все же не такой пессимист!

Но уж спешил вмешаться сам Арсений Тихонович Шатров, в глубочайшем и постоянном своем убеждении, что священный, непререкаемый долг хозяина — это ни в коем случае не допустить, чтобы размолвка гостей переросла в ссору:

— Господа, да хоть у меня-то в доме давайте побудем без штыков... без шпаг... без кровопролития!

И, желая отвлечь на другое да и положась на благодушие своего родича, он вновь к нему и обратился голосом веселым и легким:

— Так что же ты, поп, вещал тут о Керенском?

Ох, лучше бы ему и не вступаться было, да еще с таким вопросом!

Минута — и, вопреки усилиям и воле хозяина, под этим гостеприимным семейным кровом безудержно зашумел один из тех неистовых, мятущихся споров, которые в те дни, в самых что ни на есть тишайших и дотоле кротких обиталищах, рушили навсегда родство и дружбу, — началось одно из тех словесных сражений, коими, но уж в поистине грандиозных размерах, полнились и сотрясались в ту пору залы всех общественных зданий города, а в особенности округлошатровые, народоёмкие здания цирков — столичных и провинциальных, — здания, которые словно бы через века и тысячелетия волею взбушевавших народных масс вдруг вернули себе их древнеримское и византийское назначение: быть не только ареной ристаний, конных и пеших, но и форумами словесных гражданских битв,

порою кровавых, — местом яростной, стихийно-беспощадной борьбы партий, сословий, классов.

— А я то́ вещал, Арсений Тихонович, дорогой, что не настала ли пора покончить с этим идолобесием всероссийским вокруг сего господина Керенского, адвокатишки этого?

Тут снова вскинулся — полушутливо, полусердито — Кошанский:

— Что-о? Не забывайте, отче благий, что среди здесь присутствующих есть также представители столь презираемого вами сословия «адвокатишек»!

И церемонно склонил голову, и полусогнутой ладонью показал на свое сердце.

Отец Василий смутился, и уже извинение готово было излететь из его уст, однако последовавшие затем слова Кошанского вполне его успокоили:

— Жаль, жаль, отец Василий, что ваш духовный сан исключает возможность, как говорится, сатисфакции, а то я пригласил бы вас к барьеру! Не за Керенского, конечно, ибо я и сам в достаточной степени презираю ныне истерического этого краснобая.

Тут, едва ли не впервые за все время многолетнего, хотя и полувраждебного их знакомства со «злокозненным масоном», сочувственно прорычал Панкратий Гаврилович Сычов:

— Истинно! Истинное слово молвили, Анатолий Витальевич: истерический краснобай. Болтун. Кликуша. Погубитель отечества!

Могучий мельник гневно потряс дремучей своей бородищей и даже кувалду богатырского кулака сжал, словно бы «адвокатишка» Керенский уже зажат был в этом страшном кулаке:

— Я бы его!..

Кошанский усмешливо, но и вполне учтиво смотрел на Сычова и несколько мгновений молчал, видимо обдумывая ответ.

Страстная эта и беспорядочная беседа, ежесекундно готовая разразиться столкновением, происходила как раз в те смутные и грозные дни, когда под сводами Большого театра только-только успело отбушевать наспех, после ужасов Тарнопольского прорыва, отчаявшимся Керенским созванное московское государственное совещание.

Почта на большую Шатровку доставлялась из волости один раз в неделю, а потому и на газеты трех- и четырехдневной давности набрасывались, как на самые свежие.

Арсений Тихонович наскоро просматривал все три большие газеты, что из года в год выписывали Шатровы, — «Русское слово», «Речь» и «Русские ведомости» — и, омраченный и раздраженный тем, что вычитывал в них, передавал их затем в полное распоряжение Володи. С недавних пор мальчуган, наряду со старым прозванием — «начальник штаба верховного», стал все чаще и чаще именоваться «пресс-атташе».

За почтой в Калиновку, за четыре версты, ездил почти всегда он, и непременно верхом, с заседельными сумками в тороках, на спокойном гнедом иноходце Орлике, который так и считался его.

Эти выезды преисполняли его гордостью.

Только вот пистолета — «Ну, хотя бы маленький браунинг!» — отроку так и не удалось выпросить у отца: мама не разрешила!

Из привезенной почты «Огоньком», «Нивой», «Искрами» Володя завладевал надолго. Еженедельники эти щедро уснащались в те дни портретами и хвалебными жизнеописаниями новых прославленных генералов, которых с быстротою опытного картежника то и дело перетасовывал на высоких постах Керенский.

По этим снимкам и жизнеописаниям мучительно силился четырнадцатилетний страдалец угадать: кто же в конце концов из них «спасет родину», остановит «развал армии», «обратит вспять полчища тевтонов»?

А для газет, немного спустя, придумал он совсем особое применение, за что главным образом отец и прозвал его «пресс-атташе».

И не думал Володенька, и не предчувствовал, какие неожиданности, какие бури душевные ждут его на этом новом посту!..

Началось все с того, что Володю перестали зазывать на воза помольцев — читать солдатские письма солдаткам и старикам. Да и надобность в том перестала быть, когда сами они, окопные страстотерпцы, пахари и кормильцы, были теперь во множестве налицо. Считалось — уволенные на побывку, а поди спроси милиционер или кто другой из сельских властей: где, мол, твое

отпускное свидетельство, солдатик? Айда спроси, ежели тебе жизнь надоела!..

Правда, почитывались и теперь на том, на другом возу письма с фронта, но уж читал их, бойко и складно, да еще и с приговорочкой, кто-либо из самих солдат. И уж не теми, не теми словами были написаны эти окопные письма, что прежде! Не жалостно-обреченные они были, не с просьбою слезной к старикам родителям о молитве родительской, которая, мол, и на море и на суше спасает и от штыка и от шрапнели сохранит, — о, нет! — а такие теперь стояли в этих солдатских, ржаным мякишем склеенных треугольниках словеса, что когда «хозяйский сынок» проходил близ того воза, где читалось письмо, то читавшему подавали знак: приостановись, дескать. Тот переставал. И Володя с закипавшими на глазах слезами горькой обиды проходил, не оглядываясь, спиной и затылком чувствуя провожавшие его недобрые взгляды.

Однажды все же донеслись до него кое-какие из теперешних посланий солдатских слова: «А ты скажи им, Настенька, прямо в глаза, не бойся: что сволочи, мол, вы, тыловые паразиты-експлоататоры! Наживаетесь на крови народной. А ее уж не стаёт, кровушки нашей. И вам от этого тошно, что некому скоро будет воевать за ваши ненасытные карманы. Посидите-ка сами в окопчиках! А мы, солдаты, решили так, что хватит. И постановляем через свои солдатские комитеты положить конец международной кровавой бойне народов, которую запрещает наш товарищ Ленин. Ждите скорого мира. А тем скажи, паразитам, что скоро, мол, Иван мой вернется, — тогда он с вами хорошо поговорит. По-солдатски!»

Все понял Владимир! Понял и ужаснулся. Разве не об этих вот настроениях и в народе и в армии изо дня в день вопили и «Речь», и «Русское слово», и «Русские ведомости», называя их, эти настроения, и «нездоровыми», и «навеянными вражеской пропагандой», и «грозящими гибелью нашему великому, но изнемогающему отечеству»?!

Обидно, горько до слез было и за себя. Но свои обиды, подумалось, можно и забыть и простить! А родина?! Да ведь если бы до этих людей дошло, если бы они могли прочитать хотя бы воззвание генерала Брусило-

ва, этого героя, главнокомандующего, против братания с коварным врагом, разве бы они стали так думать и говорить?! Но в том-то и беда, что они газет не читают, а попадется им «газетина», так пойдет на цигарки.

Так решил он в своих тяжелых раздумьях и однажды, воспользовавшись отъездом отца, на свой риск и страх велел одному из плотников, заплатив ему из «своих», вытряся серебряные пятачки из копилки, устроить недалеко от мельницы, на пригорке, большую стоячую доску на столбах, с покатым козырьком над нею — на случай дождя. Видел такое в городе.

Затем наклеил сверху печатный заголовок газеты «Русское слово» вместе с передовицей, зовущей к наступлению, к верности «благородным союзникам», а дальше, на остальные гранки, сделал тщательно избранную подборку из всех трех газет — что казалось ему наиболее способным поднять дух патриотизма в народе.

Местами печать перебивалась портретами героев, награжденных Георгиевскими крестами, и над всем главенствовал портрет генерала Брусилова в полушубке, вырезанный из «Огонька».

Отец, вернувшийся вскоре, и удивился, и рассмеялся, и похвалил. Назвал эту его выклейку стендом.

Печатные столбцы в своей выклейке он решил обновлять еженедельно. Портрет Брусилова оставлен был навсегда.

Сначала народ подивился было, постоял кучками перед его стендом. Потом, к великому огорчению Володи, редко-редко кто стал останавливаться перед выклейкой.

Но вот однажды заметил он перед своей выклейкой особенно плотную, сочувственно галдящую и долго не расходившуюся толпу. О чем это они? Что им так пришлось по душе?! Подойти и послушать при народе постеснялся: «хозяйский сынок»! Выждал, когда никого не осталось, и подбежал.

Вот самые боевые столбцы, как раз под портретом Брусилова. Но что это?! Брусилов звал к наступлению, он велел на все попытки немецких солдат вступать в мирные переговоры «отвечать пулею и штыком». А тут что написано?! Да нет, не написано, а *напечатано*. Чер-

ным по белому. И целый газетный столбец. Володя быстро читал, вполушепот: «Товарищи! Рабочие, крестьяне, солдаты! Временное правительство, Керенский, стакнувшийся с контрреволюционными генералами и капиталистами, еще не насытились кровью трудового народа! Они вновь хотят погнать в наступление обескровленную, истерзанную трехлетней бойней, разутую и голодную армию. Жестокий молот войны дробит и стирает в порошок последние уцелевшие остатки накопленного народного труда. Война, точно огромный вампир, высасывает все соки, всю кровь из народа, пожирает все силы. Довольно!.. Солдаты всех стран, рабочие и крестьяне должны остановить эту бессмысленную мясорубку войны, братски протянуть друг другу свои мозолистые руки через головы своих подлых правительств. Долой войну! Долой Временное правительство! Долой предателя-корниловца Керенского!.. Вся власть Советам!..»

В гневном недоумении он стоял, не зная, что делать. Рука протянулась было: сорвать. Сдержался. Смеяться станут! Конечно, он сразу понял, что это столбцы из чужой газеты кто-то вклеил в его подборку. Нетрудно было догадаться, и зачем это сделано! Но вот кто́ посмел это сделать?!

Первой мыслью его было: пойти сказать отцу. Отверг. Гордость и стыд восстали.

В это время высоко на балкончике белобревенчатого здания крупчатки появился Костя Ермаков. Володя обрадовался: вот кому сказать! Любовь-дружба у них с Константином была прежняя.

Константин теперь уже не плотинщиком был, а крупчатным мастером: заступил старшего Кондратьича, брата, когда Арсений Тихонович прогнал Семена из-за солдатки. Народ был им доволен. Доволен был и хозяин. Из Кости отличный вышел механик. В свое время он поучился кой-чему и у брата, да и у отца Раисы Вагановой, когда тот устанавливал турбину и вальцы.

С народом был обходителен и справедлив — не то что Семен. «Да вот, — говорили, — от одной яблони, да, видно, в разны стороны яблоки падают!»

Хорошего подобрал он себе и помощника: свой, тутошний, всему народу знакомый, инвалид одноногий,

на деревяге, из солдат, с Георгиевским крестом, ноги лишился еще в первые месяцы войны, когда Львов брали, — Егор Иванович был в артиллерии, золото, а не человек, на все руки мастер!

Помольцы и от этого человека обидного слова не слыхивали. Да и писарь, что очереди писал и ярлыки выдавал, был им в ту же стать да в масть: середний Ермаков, Степан.

Когда поправился он после тяжкого своего ранения и не менее тяжкой операции, Ольга Александровна Шатрова велела мужу устроить его у себя на какую-нибудь работу полегче. «Засыпкой?» — «Нет, засыпкой ему нельзя: мучная пыль, вредность...» Шатров взял его писарем. И тоже нахвалиться не мог: честен безупречно, с народом — умеет, быстр и сообразителен, — Константину брат, не Семену!

Иной раз, довольнешенек, хвалился: «Я давно говорил: все дело — в подборе людей! По уезду только то и слышишь: там — сожгли; туда — воинскую команду поставили для охраны; у Башкина — забастовки, на самого — покушались! А у меня, в добрый час сказать, тишь да гладь!»

...На балкончике главного здания Костя постоял всего один какой-нибудь миг. Володю у стенда он, по-видимому, не успел и заметить. А Володя тем временем раздумал и ему говорить. «Да что я — маленький, что ли? Неужели я сам не могу этого человека выследить да и отучить его от этих... художеств?! Не справлюсь один — Костя мне поможет!»

И человека этого он уследил!

Это был... — сердце у него зашлось кровью! — Егор Иванович! И, ошеломленный, подавленный, Володя не посмел даже подойти к своему стенду, пока инвалид с удивительной, словно бы привычной, ловкостью наклеивал свои, совсем другие столбцы поверх столбцов «Русского слова». И что же делать теперь?! Володя уже успел привыкнуть к этому человеку, он особо из всех выделял и чтил Егора Иваныча: герой и жертва войны. Георгиевский солдатский крест навесил ему при обходе госпиталя, где отняли Егору Иванычу ногу, сам генерал Брусилов — за отвагу, проявленную в боях под Львовом. Да неужели же этот человек хочет того же, к чему призывают народ эти ужасные большевики: заключить

с германцами мир — мир без всякой победы, и это — после стольких жертв?!

И в полном смятении чувств, в горестном своем недоумении, Володя решил, что лучше всего, а уж для заблудшего Егора Иваныча заведомо и безопаснее, если обо всем, само собой разумеется под великим секретом, рассказать Константину и с ним посоветоваться.

Так он и сделал.

Костя был на ночной вахте в крупчатном корпусе, наверху, возле вальцов, когда Володя взошел к нему.

Так бывало нередко. И Константин обрадовался: он ждал его. Володя все ему рассказал. Тот слушал молча. Когда же Володя кончил, Константин Ермаков, ни слова не говоря, поднялся и первым делом опустил наглухо крышку над лестничным входом, хотя и без того нельзя было бы подслушать их негромкого разговора из-за того непрерывного и равномерного гуда, шума и хлёста, перебиваемого ритмичным звяком и щелканьем, какими заполнен был весь турбинно-крупчатный корпус.

Недаром же и Матвей Матвеевич Кедров, по совету всех ближайших своих помощников — и Ермакова Константина, и Ермакова Степана, и Егора Ивановича, — признал, что нет и не может быть лучшего, чем здесь, безопаснейшего места для довольно-таки изрядной, хотя и подвижной, подпольной типографии, которая и размещена была здесь, в турбинно-крупчатном корпусе главной мельницы Шатрова!

— А теперь, Володенька, друг мой, давай поговорим! — Сказав это, Константин взял дружески ласково Володину руку, слегка потрепал ее и глубоко-глубоко заглянул ему в глаза: — Только вперед скажи мне, Володя: *веришь* ты мне? Веришь во всем?

— Во всем. Во всем верю, Константин Кондратьич! — Володя ответил истово и почему-то — что случалось лишь изредка, на народе, — назвал его по имени и отчеству, как старшего над собой, а не Костенькой, как всегда.

— Тогда слушай! Спрошу — отвечай. Только отвечай прямо, искренне, по всей своей совести. А ты спросишь — и я тебе отвечу так же. Согласен?

— Да.

— Для начала скажи мне: хотел бы ты, чтобы Егора Иваныча за это дело арестовали, упрятали в тюрьму... а там, может быть, и под расстрел бы поставили?! Да, да, не перебивай: под расстрел! Ты сам знаешь из газет, что вот-вот могут смертную казнь объявить и в тылу! К тому идет...

Володя ответил в пылкой тревоге и как бы даже в неком негодовании: что вот о нем — и кто же? — его друг может подумать, что он посмел бы хоть какое-нибудь зло причинить Егору Ивановичу, когда он — герой, когда он кровь проливал за отечество!

— Ясно.. Ну тогда, значит, об этом деле — молчок. Раз и навсегда. Ничего не видал ты, ничего не слыхал!

— Понял.

— А теперь отвечай мне: зачем это он, кровь проливавший за отечество, самим Брусиловым награжденный за подвиг боевой, за отвагу, — чего ради он теперь против войны восстает?

Володя начал было ответ, смутился, но, вспомнив, что обещал отвечать Константину прямо и искренне, сказал, вздохнув:

— Думаю, что он... верит, что большевики... правы...

— Так... А ты как думаешь?

— Я думаю, что — нет. Не правы. Германия первая на нас напала. Если не победим их, немцев, — Россия погибла! Нас поработят. Разорвут ее на части: и немцы, и австрийцы, и турки...

И, словно бы продолжая этот его перечень, Костя сказал ему в голос:

— ...и англичане, и американцы, и японцы, и французы!

— Почему?! Они с нами — союзники!

— Ах, Володя, Володя! Сколько же всякого мусора в бедную умную твою головушку накидали всякие эти газетищи лживые, которым ты веришь, из которых ты расклеиваешь! Боже мой! Нет, я вижу — ты на меня не обижайся: я от любви к тебе говорю, — но разве под силу мне выгрести сразу всю эту наносную ложь из твоей души юной! Не будь же ты столь доверчив, Володя! Лгут они — корысти ради и власти своей над народом! Скажи, кто́ большевики: патриоты они, защитники родины, родного народа, или... ну, как там, в

газетах, которыми ты просвещать народ вздумал, пишут, — предатели? Так?!

— ...Так они пишут... Раз, говорят, большевики требуют мира — значит, они предают Россию, губят народ свой!

Константин встал. Необычайным светом зажглись его глаза. Положив руку на плечо сидевшего перед ним Володи, он воскликнул гневно и горестно:

— О, проклятые! Сколько, сколько чистых, юных, доверчивых душ растлевают, отравляют они изо дня в день этой своей гнусной клеветой на Ленина, на большевиков! Володенька!.. Родная ты душа моя!.. Ты сказал: верю, верю тебе, Константин, во всем... Так вот, слушай же и запомни, запомни навеки. Истинно любят Россию, народ свой, родину только они, большевики! *Ленин* — истинный патриот, *он* есть самый верный, самый чистый и преданный сын своей матери-родины. Он знает, видит, что Россия, весь народ наш захлебывается в крови. Увязнул по пояс в кровавом бучиле, изнемог, последними силами исходит. Большевики, Ленин руки ему протягивают — да и всем другим народам — вытащить, вызволить из кровавой пучины и родину свою, и трудящихся всего мира, восстали против войны, неслыханно чудовищной, преступной, бессмысленной, — это ли не патриотизм, это ли не любовь к родине, когда они под расстрел идут за это, когда они жизни свои кладут в этот мост, по которому Россия только и может выбраться из неминуемой гибели! Помни, Владимир: *те* — предатели, *кто* затягивает войну, кто навалился на народные плечи и глубже, глубже топит его в кровавой трясине! А вот когда обессилеет Россия наша совсем, тогда-то и свершится то злое дело, которое так страшит тебя: тогда-то и раздерут, разорвут на части нашу родину. Найдется, что загребать! За наш счет договорятся: и вильгельмы, и ллойд-джорджи, и клемансо, да и те «союзнички», что за океаном; и японские капиталисты запустят свои клыки! И уж он ведется, этот сговор, за счет России! Знаю: нелегко тебе слушать все то, что ты сейчас услыхал от меня. Другое ты привык слушать вокруг себя — и в семье, и там, в городе, в гимназии в своей! Не просто достанется тебе увидать, понять нашу правду. Но ты с кровью, с болью, а рви! Народа слушай. В народ учись вслушиваться.

Егоры Иванычи эти — они *истинно* Россию любят, а не так, как те, кто с высоких трибун клянется ею, в грудь себя стучит, что свобода, родина, народ дороже, мол, ему и самой жизни!..

Обращаясь к Сычову, Анатолий Витальевич раздельно, многозначительно и как бы с некоторой таинственностью продекламировал, кивнув на огромный сычовский кулак:

— О-о! Не сомневаюсь, дражайший, что никто бы не позавидовал Александру Федоровичу Керенскому, если бы ему пришлось быть в этом кулаке! Однако будьте спокойны: не миновать ему быть зажатым в другом кулаке, хотя у этого человека рука почти миниатюрная... Я ее сам видел, на Московском государственном, не столь давно, как знаете. И даже удостоился чести пожать! Да, да! И я вам скажу: жесткое рукопожатие у Лавра Георгиевича! Да вот, не угодно ли посмотреть, о ком речь?

Сказав это, Анатолий Витальевич высоко поднял перед глазами Сычова развернутый на огромном снимке еженедельник. Но рассчитано это было на всех.

Снят был крупным планом новый, после Брусилова, верховный главнокомандующий генерал Корнилов, только что прибывший на Московское совещание, на Александровский вокзал: самая его встреча всеми, кто уповал на него. Видна была заполнившая площадь перед вокзалом густая толпа котелков, шляп, цилиндров; огромнейших, похожих на раскрашенные торты или даже на клумбы дамских шляп; студенческих и офицерских фуражек.

«Уповающие» несли своего кумира на руках. Но генерала подхватили как-то неладно: растянутого плашмя, навзничь, с растопыренными, в ярко начищенных сапогах ногами, и при этом так, что ноги были выше головы. Это неудобное для кого хочешь положение несомого происходило оттого, что одну его ногу захватил и торжествующе поднял над своим плечом один, невероятно высокий офицер, прямо-таки жердяй, в пенсне, в лихой фуражечке, с длинным, страшным лицом, а другой ногой генерала завладел второй офицер, почти такого же роста, как первый. Что же касается

тех, кому досталось нести руки и плечи генерала, то они были маленького, как видно, роста, а потому голова и плечи Корнилова заваливались. Главнокомандующему было явно не по себе от такого несения: видно было, как силится он поднять голову, чтобы видеть площадь и чтобы люди видели лицо его, а не подошвы и голенища сапог.

Несомый столь несуразно, Корнилов, видимо, говорил, приказывал, что довольно, дескать, отпустите,— рот его был жалостно приоткрыт, виднелись реденькие, темные зубы, монгольские усы и бородка напряженно приподнятого клинообразного лица...

...Каждый из присутствующих в доме Шатрова успел взглянуть на снимок.

Кошанский, явно наслаждаясь эффектом и готовя очередное свое «мо», уж приподнял было жестом древнеримского оратора левую, свободную руку, но в это время Кедров, тоже глянувший на снимок, негромко и как бы этак мимоходом бросил коротенькое замечание:

— Любопытно... похоже на *вынос*: ногами вперед... цветы... Но только почему ж — без гроба?!

Покончив с одним, Матвей Матвеевич оборотился к другому:

— А вы, Панкратий Гаврилович, давно ли, в дни злосчастного июньского наступления, вы прямо-таки дифирамбы пели этому же самому Керенскому, которого вы сейчас жаждете раздавить в своем богатырском кулаке? Ведь вы помните, надеюсь, с каким гневом вы обрушились на меня, когда я имел неосторожность назвать его «Петрушкой революции»: «Не смейте, господин Кедров, оскорблять главу всероссийского правительства!»

Сычов молчал.

И Кедров заключил усмехаясь:

— Впрочем, вещь исторически не новая: бичевание свергаемого Перуна́!

Тут Сычова прорвало — прорычал:

— Покуда никем не свергнут. А будет свергнут, коли дурацкие свои поблажки вам, с вашим Лениным, продолжать станет! И очень даже скоро. К тому идет. Правильно изволите вспоминать: и я этому Керенскому

верил, как дурак, покуда не дознался насчет его мамаши!

Кедров с трудом удержался от смеха. Удивленно переспросил:

— Мамаши?!

— Так точно.

Голос мельника звучал загадочно, с каким-то затаенным злым торжеством.

— Ничего не понимаю, достоуважаемый Панкратий Гаврилович! Дознались насчет мамаши... Что же именно? Если не секрет...

— Это господа социалисты хотят секрет из этого сделать! Насчет фамилии ее дознался: Адлер!

И грубовато, с вызовом бросил:

— Вы — да не знаете?!

Хотел еще что-то выкрикнуть — резкое, но вдруг смолк: знал он, что здесь, в шатровском доме, никто не позволит ему оскорбить этого, с давних пор кровно ненавистного ему человека!

Кедров ответил с холодным, презрительным спокойствием:

— Я понял, что́ вы хотели этим сказать. Вот оно в чем дело, оказывается! Но не мешало бы вам и вашим соумышленникам в этом, с позволения сказать, «вопросе» почаще вспоминать, что некий «сын плотника из Назарета» тоже был... не англичанин! Вот отец Василий, если понадобится, разъяснит вам это!

Обескураженный великан, лишенный находчивости, молча раскрывал и закрывал рот и только глазами, злобно сверкавшими сквозь хворост нависавших бровей, уничтожал Матвея.

А этому как будто даже чуточку жалко стало сраженного противника. «Зоологический монархизм» Сычова, как выражался Матвей, вовсе не казался ему опасным для революции, скорее — чудовищно нелепым. Слишком хорошо он знал, с каким неистовым омерзением и гневом, и это уж навсегда, навеки, отринули народные массы и царя, и монархизм, и всякие чьи бы то ни было поползновения и помыслы к восстановлению царского строя. Недаром же на митингах в городе, при самой, казалось бы, беззапретной, безудержной свободе речей, никто еще, и до сих пор, из среды заведомых в городе монархистов не посмел и пикнуть про

своего «обожаемого монарха», как еще совсем недавно, всего лишь пять месяцев тому назад, всенепременнейше именовали они его: знал каждый, что заикнись он про *этакое*, и ярость масс не ограничится свистом, топотом, криками: «Долой!», а не миновать оратору и выволочки с трибуны, и расправы! Только дома, в своем кругу, за самоварчиком, да кое-где у знакомых — если, конечно, прислуга не подслушивает — отводили душеньку такие вот Сычовы. «Музейная фигура. Политический мамонт. Вымирающий вид!» И тем любопытнее иной раз разъярить такого, понаблюдать!

Правда, вплоть до революции, повинуясь привычно строжайшей конспирации подполья, Матвей даже в доме Шатровых избегал произносить что-либо, способное вызвать подозрение у неистового царелюбца.

Совсем иное чувство вызывал в его душе Кошанский: изворотливый и умный, затаенно-честолюбивый, убежденный кадет едва ли не от основания этой партии Милюковым — юрисконсульт Арсения Тихоновича всегда вызывал у Матвея чувство ясно ощутимой вражды и настороженности. Этот враг — совсем иной выделки и покроя: опасливо-скрытый, тонко-учтивый даже и с политическими своими врагами. Этот сам повесить, пожалуй, и не способен, но веревку намылить и табурет выбить из-под ног — будьте спокойны!

«Ну а Панкратий... Мастодонтыч этот... да пускай его погромыхает... за самоварчиком!»

И, полузабавляясь, с каким-то странным задиристым мальчишеством в этот день, Матвей Кедров опять кинул Сычову:

— Так, так... любопытно! Стало быть, вы пророчествуете, уважаемый Панкратий Гаврилович, скорее падение Керенского? Я тоже так думаю. И что же? Вся власть Советам?

Голиаф-мельник захлебнулся от негодования. И вот уже растворил бородастый рот, и видно было — для недоброго слова! Но, взглянув в этот миг на хозяина, ответил, подбирая слова в пределах благоприличий. Однако с достаточной резкостью и прямизной:

— Знаю, знаю, чего вам хочется... большевичкам! Временное правительство долой! Войну — прикончить! Имущих людей... вроде нас, многогрешных, — е-к-с-п-р-о-п-р-и-и-ровать, — глумливо растянул сло-

во, — на каторгу нас, имущих людей! Как же, мы ведь нéлюди для вас — эксплоататоры, буржуи, вампиры: кровь пьем из рабочего люда, или — класса, по-вашему! Все знаю, все! Жалко, что раньше не знал, не знал, что за волостной писарек писарствует в нашей области! Скромненько себя держали. А как несчастного государя императора свергли — тут и вы, госпо... виноват, товарищ Кедров, загремели на сходбищах, заораторствовали! А до тех пор нашему уху... — тут великан-мельник дотронулся пальцем до своего огромного, мясистого и волосатого уха, — нашему уху что-то не слыхать было!

— А *вашего* уха мы вынуждены были тогда избегать, почтеннейший Панкратий Гаврилович! Теперь — пожалуйста! И я даже с большим удовольствием убедился сейчас, что из нашей программы, из ближайшей, самое основное в общем понято вами неплохо. Очень неплохо!

Кедров встал. Голос его, который в домашней, простой беседе звучал чуть глуховато и мягко, вдруг, помимо его воли, зазвенел тем митинговым металлом, в котором и суровый допрос политического противника, и страстный гнев обличения сливались воедино.

Да в этот миг и казалось ему, что не одному только громоздко высящемуся перед ним Сычову кидает он эти слова:

— Да! Еще и еще раз повторяю: с войной, господа хорошие, мы зовем покончить. Зовем и свой народ, и все другие народы. И мы не одиноки. В Германии то же самое делает Либкнехт, в Англии — Мáклин. И многие, многие другие. Их устами вопит, предсмертным воплем вопит в кровавой трясине по пояс увязшее человечество! И меня тó удивляет, что... — тут он взглянул, усмехнувшись, на заросшее глянцевитыми кудрявящимися волосами ухо своего собеседника, — то удивляет, что этот предсмертный вопль до уха господ имущих, как вы их называете, почему-то не доходит!

— Позвольте, позвольте!..

— Сейчас я кончу... Экспроприировать, говорите, хотим *людей имущих*? Мы их, правда, привыкли называть несколько иначе: *капиталистами*, — нет, сейчас мы к этому не призываем. Но под строжайший контроль поставить, — а легче, естественнее всего это сделать через *Советы*! — на глаза всему народу выставить пре-

ступные военные прибыли господ имущих и карать, карать за это беспощадно, — да, к этому мы зовем, этого требуем! Ну, что же еще? Ах, да! На каторгу, говорите, хотим послать? Ну, это, мягко говоря, преувеличение! Но и на них, на эту категорию граждан, распространить всеобщую *трудовую* повинность, только всамделишную, без откупа, без отлынивания, без обмана, — да в чем же вы здесь видите каторгу и наши, большевиков, козни?! — Слегка повел рукою в сторону Шатрова: — А я вот знаю кой-кого из этих имущих, которые решительно ничего и против контроля, и против этой, по вашему выражению, каторги, решительно ничего не имеют и эти действительно нами предлагаемые мероприятия вполне разделяют! — Он посмотрел на свои ручные, в кожаном браслете, часы (тогда еще новинка в уезде) и, обращаясь к хозяину, сказал: — Засиделся я у тебя, Арсений Тихонович, мне пора! Общий поклон, господа!

— Погоди, Матвей, я тебя провожу до плотины.

Шатров извинился перед остальными, что вынужден их оставить, и попросил Лидию Аполлоновну быть за хозяйку.

— Зане, — сказал, — хозяюшка моя что-то зажилась в городе, при сверхбоготворимом госпитале своем, так что я, как видите, на положении соломенного вдовца!

Нет, не госпиталь «сверхбоготворимый» был виною того, что Ольга Александровна Шатрова почти безвыездно пребывала в городе, — нет, не госпиталь!

И Арсений Тихонович Шатров, разумеется, знал об этом. И она знала, что он знает, хотя и не было между ними произнесено того последнего, столь страшного для обоих супругов, слова обнажающей откровенности, слова *исповеди,* после которой нет и не может быть возврата к прежнему: либо рушится брак, гибнет супружество истинной, кровной, святой любви, а либо искажается оно, супружество это, и перерождается, прикрытое кое-как взаимным молчанием, в привычное супружество ложа.

Проще — когда не любят!

Но Ольге Александровне казалось, что у них, у нее и у Арсения, все еще может быть спасено: пусть только признается, скажет! Ведь не по любви же это у него

с той, с лесничихой, было, а... *так*. Об этом *так* она, слава богу, уж достаточно успела наслышаться от замужних женщин своего круга, да и в народе тоже! «Мужнин грех — за порогом, Ольга Александровна! Да ведь и как с имя́? *Мужики* ведь они!» Такие житейской мудрости изречения нередко слыхивала она и от окрестных крестьянок — и это после горестных жалоб на неверность, измену мужа! Правда, слово «измена» крестьянские женщины как будто даже и не знали. И еще то удивляло ее, что в слово «мужики» — о мужьях своих — крестьянки эти вкладывали некий особый смысл — благодушного, что ли, снисхождения, некой заведомой индульгенции.

Удивлялась. Да что у них, ревности, что ли, нет совсем?! Или только чтобы не ушел от семьи?

А отношение к неверности мужей среди женщин ее круга вызывало в ней с трудом скрываемое омерзение. «Ну, ничего! — приходилось ей слышать. — И я ему *отомщу*!»

«Боже! Какая пошлость, какое поругание кровной святыни брака, какое кощунство! Да после этого, кажется, и жить не стоит!»

Так, в глубине души, рассуждала она об *этом*, заведомо убежденная, что ее *это* никогда, никогда не коснется. Всю жизнь жила она в непререкаемом, самоуверенном чувстве, что их брак с Арсением, их супружеская любовь — совсем особые, что таких ни у кого, ни у кого быть не может!

И вот — «коснулось»! И что же? Давно ли, если в полушутку зайдет, бывало, у них разговор с Арсением: что, мол, сделает она, если изменит он ей, как поступит? — давно ли гордо и не раздумывая заявляла она: «Уйду! Ни минуты с тобой не останусь. Живи как хочешь, с кем хочешь! Мне ты станешь не нужен. Безразличен. Быть может, даже отвратителен...» — «А дети?» — «А что мне тогда и дети?!»

Так было. А вот теперь, всем гордым, тайно кровоточащим сердцем своим, даже и не пытая в нем, знала: пусть признается только, перестанет скрывать, обманывать, — и она простит. Да нет, мало — простит, а *забудет*, в самом прямом смысле забудет; слезами горькой обиды, в которой, однако, увы, так много материнского, измоет она из своей души даже самую память

о его измене! А это ничего, если когда-нибудь, после, и заноет вдруг сердце, словно от пореза осокою... Ничего. Пусть только скажет, признается.

И сколько, сколько раз был он близок к тому! И — молчал, молчал! Не из трусости перед женой и не из боязни, как бывает в других супружествах, семейного скандала, слухов и пересудов в обществе — нет, но, едва только пытался представить себе, что́ будет с нею, когда узнает, так сейчас же стынула у него душа от ужаса за нее. «Нет, только не сейчас. Пусть когда-нибудь, когда-нибудь, там... Пусть догадывается, подозревает, пусть узнает даже, только не из его уст!..»

И вспомнился ему невольно при этом старик Евлаша — тот самый, у которого они остановились на ночь тогда с Еленой Федоровной. С каким ведь веселым полупрезрением, с каким брезгливым любопытством смотрел он, Шатров, на его присунувшуюся чуть не вплотную смугло-маслянистую рожу: «Что делать, Арсений Тихонович, что делать! Кто из нас без греха?!» И это блудливо-угодливое, как бы ставящее их на одну доску, делающее их как бы соумышленниками: «Не всяку правду жене сказывай!»

Да! Этой «правды» так и не смог сказать своей Ольге он — Арсений Шатров!

Из чужих уст, не из его, узнала Ольга Александровна обо всем. И как просто, как грубо, безжалостно было обнажено все и раскрыто перед нею!

Случилось это ранней, светлой осенью прошлого года. Он уговорил ее хотя бы на недельку приехать, захватить последние ясные и теплые дни — отдохнуть хоть немного от своего госпиталя: от стонов раненых, от бинтов, от жесткого звяка хирургических инструментов, кидаемых в эмалированные тазы, полные окровавленной марли, от всепроникающего запаха йодоформа...

Стояло бабье паутинное лето — солнечный, чуть не жаркий день сентября. Она возвращалась из-за реки с прогулки, надышавшись вволю. Скошенные луга, светло-пустынные, окутаны были там и сям сверкающим на солнце паутинником. Отдельные нити его носились и в воздухе, то становясь невидимыми, а то снова на миг взблескивая и обозначаясь. Босоногая стая мальчишек — все почему-то белоголовые, — бесстрашно

ступая и прыгая по колючему жнивью, старалась поймать их и звонко кричала, поглядывая на Ольгу Александровну: «Вот бабье лето, бабье лето летает!»

И ей тогда грустно подумалось: «Да!.. Вот и мое «бабье лето» кончится скоро!..»

Перейдя большой, затем малый мост, она довольно долго шла тесной и длинной улицею помольских распряженных возов с поднятыми к небу оглоблями.

На возах, а местами вокруг них толпился кучками беседующий меж собою народ. Издали ощутим был в свежем воздухе запах махорочного дымка.

Слышались взрывы мужского хохота, озорные шутки и взаимные поддразнивания: между крестьянами и казаками, между «чалдонами» и «расейцами».

В последние месяцы явно поприбавилось мужчин среди помольцев, и еще нестарых, иные — в солдатских трепаных шинелях, и Ольга Александровна знала — муж объяснил ей, — что это вовсе не отпускники из армии, а самовольно бежавшие, попросту говоря — дезертиры. Местные урядники, да и начальство из города, наезжающее в деревню, предпочитают не замечать: страшатся за свою жизнь! Почти каждый из этих солдат унес с фронта или из тыловой части, откуда ушел, винтовку без штыка или наган.

Уж были случаи убийства в уезде: там — станового, там — урядника, а там — волостного писаря или старшины, если только они проявляли излишнее рвение в поимке дезертиров, давали списки или помогали команде, высылаемой воинским начальником, вылавливать и арестовывать их...

...Ольга Александровна шла спокойно. Она привыкла к солдатской среде у себя в госпитале, а потом ведь у них, на шатровской мельнице, пока, слава богу, не было еще ни одного столкновения с этими людьми.

Сычов, Панкратий Гаврилович, — тот жаловался, что ему, когда шел к себе на мельницу вечерком, вот так же, между возами, запустили острым камнем в голову, рассекли бровь: «Счастье, что череп не пробили, глаза не лишился! А кровью все лицо залило! Кто кинул — поди дознайся!»

...Проходя тесной улицею возов, Ольга Александровна иных, кто постарше, приветствовала первая. Иные — сами здоровались.

И вот тогда-то и донеслись до нее страшные те, роковые слова, что навеки, до гробовой доски, исковеркали и осквернили ее жизнь!

Сначала один из голосов, по-мужицки просто и грубовато, выразил чувственное свое восхищение всеми ее ста́тями и красотой.

Ольга Александровна ничуть не была шокирована этим: наслышалась она, ненароком, и у себя в госпитале, от выздоравливающих солдатиков, таких вот, из-под самого сердца вырвавшихся мужских одобрений своей красоте! Что с ними сделаешь!

Усмехнулась только. Да убыстрила шаг.

Другой голос из-за возов попытался, однако, как бы умерить похвалу:

— Что и говорить! Да только ведь с лица не воду пить — умела бы пирог слепить!

— Ну, этой пироги лепить не приходится: за нее слепят. Ей — только кушай, пожалуйста! Ишь, видать, аппетиту нагуливала... за речкой!

И снова — первый голос:

— Да-а, робята, от этакой бабы, кажись бы, и ввек не отошел, а он, муженек-то ее, гляди-кась, на чужу жену кинулся... на лесничеву!

Молчание — и затем хриплые мужские возгласы возбужденного любопытства и недоверия:

— Полно тебе!

— Не выдумывай!

Последовало уверенное, и сквозь обиду, возражение:

— Сам ее видал... Ту, лесничева-то жену... Не знаю только, как звать... Уж видать было, что в тягости... А бабы и говорят, смотрят на нее — они, бабы, все вперед всех знают! — ишь, говорят, гордо ходит, а даром что не от мужа и понесла! Шатровское носит!

Молчание. И сквозь тяжелый чей-то вздох до слуха Ольги Александровны донеслось:

— Все может быть, все может быть! Тут ведь как знать? Только раньше не слыхать было про него: некидко́й был на баб!

— Да вот же! Ну, сами знаете: в чужу бабу черт ложку меду положил.

Засмеялись.

И чей-то — назидательно, голос постарше:

— Да оно, конешно... Бабы не избегнешь, а греха не

избежишь! — И добавил, озлобленно пророчествуя: — Только ведь чужу пашенку пахать — понапрасну семена терять!

С таковым изречением старинной житейской мудрости все, по-видимому, согласились, даже и тот, самый молодой голос, что начинал:

— Точно! А только и та хороша, еретица!

— Не была бы хороша, разве бы старый Шатров позарился!

— Все может быть! Мир — не без притчи. А что мы будем чужи грехи разбирать — свои не оберешь! А вот давайте-ка возы подвигать поближе к мельнице, а то как раз очередь потеряем: казачишки живо отсадят, поди потом тяжись с ними. Ныне и хозяина не послушают, не то что засыпку али мастера!

...В тот же день, без объяснений с мужем, сославшись на неотложные, но позабытые дела по госпиталю, Ольга Александровна уехала в город.

О, как легко стало, какое вдруг единодушие объяло всех оставшихся после ухода Кедрова шатровских гостей на этом своеобразном, но и столь обычном в те времена домашнем митинге!

Привычный трибун гостиных, Анатолий Витальевич решительно стал забирать верх.

В домах, где он бывал, его звали «наша Шехеразада».

Если бы зашла речь о Ноевом ковчеге, то хотя Анатолий Витальевич, само собою разумеется, не стал бы выдавать себя за участника сего беспримерного «рейса», но, однако, он с поразительной точностью мог сообщить озадаченным слушателям, что этот праотец всех кораблей имел в длину сто семьдесят пять и три десятых метра, в ширину — двадцать девять, высота же ковчега была семнадцать с половиной метров.

Словно бы сам рулеткой измерил!

Нечего и говорить, что в древнеримском сенате он, широко эрудированный правовед, влюбленный в римское право, был как у себя дома!

Латынь юриста он знал превосходно. Любил озадачивать своих противников к месту приведенной цитатой, однако следует отдать ему справедливость: учти-

вость его в обществе простиралась настолько, что он вперед произносил русский перевод, а затем уже самое цитату.

Приняв на себя юрисконсульство у Шатрова, Анатолий Витальевич лучшего и не искал. Ширился размах предприятий у многозамышляющего, все набирающего и набирающего силу да и удачливого урало-сибирского промышленника, щедрого к высшим своим служащим, возрастало и вознаграждение юриста. Хозяин помимо оклада время от времени вручал ему крупные суммы поощрительного и наградного порядка,— Кошанский отнюдь не стыдился их принимать: он называл это «тантьемой» и обычно вскоре уезжал в Петербург, в Москву или на курорт — до войны на какой-либо заграничный, и тогда дочь сопровождала его. В Петербург же, а после — в Петроград, или же в Москву он почему-то предпочитал уезжать один. Быть может, она стесняла его: Кошанский, как знали все, вращался там в больших политических кругах, среди депутатов Государственной думы, и даже был слух, что сам Павел Милюков намечает его кандидатом на пост руководителя всесибирского комитета партии кадетов: новое, после революции данное ей название — партия «Народной свободы» — никак не внедрялось в общественный обиход!

...Когда хозяин, проводив Кедрова, вернулся к гостям, Анатолий Витальевич был в самом, как говорится, разгаре своего рассказа о том, как выпало ему счастье получить гостевой билет на все три дня Московского совещания от Ариадны Владимировны Тырковой. Видя, что не знают, кто это такая, он пояснил:

— О! Это ведущая ось нашей партии — партии каде, или, как теперь принято нас именовать, угождая духу времени,— партии «Народной свободы». Ариадна Владимировна — бессменный секретарь нашего цека. Правая рука Павла Николаевича. Впрочем, судя по некоторым данным, между ними за последнее время пробежала черная... кошечка, скажем мягко. Причины? Боюсь, что — обычные... — Тут он коснулся перстами сердца. — То есть обычные, какие устанавливаются между обожаемым шефом и обожающей его помощницей, вернее — бессменной спутницей и оберегательницей. Ари-

адна Владимировна — дама очаровательнейшая. Но... *единовластная!* А что касается шефа нашей партии, Павла Николаевича Милюкова, то... — Тут Кошанский в некотором затруднении покосился на Володю. — Как бы это вам изъяснить?.. То я бы сказал — парафразою, конечно, как вы сами понимаете! — его в высшей степени *стимулирует* присутствие нравящейся ему особы женского пола. В высшей степени! Мне однажды пришлось наблюдать его в таком... если можно так выразиться, «транс амурёз». Я приглашен был к графине Паниной. Вечер узкого круга. И я прямо скажу: в обществе нравящейся ему особы наш глубокочтимый Павел Николаевич становится несколько забавен!

Сказав это, Кошанский не преминул сделать опасливую, обращенную ко всем оговорку:

— Господа! Я знаю, что здесь — среди своих, и если я, как-то неожиданно для самого себя, коснулся попутно этой, так сказать, «сфер интим», то я надеюсь...

Его успокоили, и он продолжал:

— Прежде всего он возле избранной им дамы прямо-таки пунцовеет лицом. Я бы сказал, до помидорной — простите за вульгарное уподобление — томатной пунцовости. А это, при его свинцовой седине, с гладким косым зачесом, при его седых, этак вот распушенных, ну, словом, «милюковских» усах на круглом лице, сразу и неприятно, я бы сказал, кидается в глаза. Затем, как все, вероятно, вы знаете, он — приземист, коренаст и невысокого роста. Так вот, возле дамы, за которою он ухаживает, Павел наш Николаевич то и дело приподнимается на цыпочки и этак кочетком, кочетком — вокруг нее!

Анатолий Витальевич змеевидным движением руки попытался даже изобразить эти движения Милюкова вокруг обольщаемой им особы.

Шумный хохот Сычова заставил его вздрогнуть. В негодующем недоумении он прервал свой рассказ. Замкнулся. Потом достал папироску и, собираясь закурить, направил свои шаги на веранду.

Шатров остановил его:

— Полноте, Анатолий Витальевич! Не надо обижаться. Панкратий Гаврилович — человек непосредственный. А вы так красочно изображаете... Так что вините свое искусство рассказывать!

Эта маленькая, но в самую, что называется, точку попавшая лесть успокоила Кошанского. Да и всем хотелось послушать личные его впечатления от Московского совещания, и его упросили продолжать.

А Сычов, утирая огромным платком слезы смеха, даже попросил у него прощения:

— Вы на меня не сердитесь, на старика! Комическое люблю дó смерти... А вы так это изобразили... И чуднó показалось: Милюков, Милюков! Царьград хотел отнять у турок. Глава такой, можно сказать, партии — и вдруг это: вокруг мадамы — петушком, петушком!

И опять затрясся в смехе, но на этот раз уже беззвучном.

Покусывая губы, отвернувшись от Сычова, Кошанский спросил — как бы нехотя и принуждаемый лишь вежливостью к продолжению своего рассказа:

— Да, так о чем же я начал было? Простите, отвлекся!

Опередил всех Володя:

— Про Корнилова вы начали рассказывать.

Прогудел и Сычов:

— Вот, вот, расскажите-ка нам лучше про Корнилова! Не знаю, как кто, а я про себя, не таясь, скажу: моя последняя надежда! Как-никак, а верховный главнокомандующий всех русских армий: двенадцать миллионов штыков у него в руках!

Кошанский усмехнулся:

— Ой ли?.. В том-то и дело, что не в руках, а... отбились от рук! Мне же самому из его уст довелось слышать на Московском — с кровавой слезой возопил генерал: развал армии — полный. Наступать не хотят: кончай войну! Братание. Наши и немцы выходят из окопов с белыми флагами. Обмен: те — нашим электрический фонарик карманный, наши — им так называемую буханку хлеба... И так далее... Офицеров, побуждающих наступать, убивают!.. А вы говорите: «в руках»! Что вы?!

— Знаю все. Знаю, что на фронте творится. Хотя на Московском государственном и не был, а газеты и мы, провинциальные сидни, почитываем. Но я разве даром на его уповаю? Чать я не мальчишка!.. Но я потому в его уверовал, что этот шутить не любит! Смертную казнь ввел на фронте? Ввел! Вымогнул-таки у Ке-

ренского, у Чхеидзев этих, у советов рачьих, казачьих и прочих там депутатов!.. Говорят, целыми ротами расстреливает. Полки к расстрелу приговаривает. По телеграфу. Вот это так!.. И не сомневаюсь: и в тылу введет смертную казнь. Пора и тыл оздоровить!

Вздохнув, отозвался отец Василий:

— Истинно!.. Пора, ох, пора!.. Мера, конечно, лютая, но что ж делать?! Иногда посмотришь, послушаешь на сходбищах этих, митингами именуемых,— и только руками всплеснешь: и это, думаешь, наш русский человек — издревле трудолюбивый, богобоязненный?!

— Пугачевщину забыл, поп?.. Разина запамятовал?

И, разом пресекши эти «воздыхания» и «сетования» своего родича, Шатров счел долгом хозяина восстановить права рассказчика:

— Господа! Что же это, в самом деле: «Расскажите, расскажите...», а не даем и слова вымолвить Анатолию Витальевичу! Вы уж нас извините, Анатолий Витальевич! Так что же вы — про Корнилова?..

Возобновляя повествование свое, Кошанский не преминул уязвить, хотя и отсутствующего, Кедрова:

— Вот, покинувший, к сожалению, наше скромное общество, друг ваш, Арсений Тихонович, изволил довольно непочтительно пошутить по адресу нашего верховного главнокомандующего: «Цветы, цветы... вынос...» О нет! Здесь Матвей Матвеевич, уважаемый, допустил, мягко говоря... — Кошанский замялся, ища необидное слово, — допустил увлечь себя политическому пристрастию!.. Я ему возразил бы, возразил бы как очевидец. Ибо прежде всего следую древнему правилу всякого порядочного юриста... — Здесь последовала латинская, с предварительным переводом, цитата, смысл которой попросту был тот, что пускай, дескать, провалится весь мир, лишь бы восторжествовала справедливость! — Да, действительно, цветов было много. У иной дамы из-за охапки цветов не видно было лица! Мало этого, авто генерала, ожидавшее его перед вокзалом, было полно букетов. Но... — Кошанский выдержал паузу. И, когда убедился, что ждут, эффектно закончил: — Что же сделал наш генерал? Он, и в довольно-таки жесткой манере, ему свойственной, приказал сейчас же убрать, все

до единой, эти розы, азалии и гвоздики! «Я, говорит, не тенор! Я — солдат. Верховный главнокомандующий русской армии. Убрать все это! А вот георгиевский флажок на радиаторе — его оставьте. На это я имею право!..»

Сычов слушал с неистовым, едва подавляемым восторгом. Он весь был *там*, на площади перед вокзалом. Многое, многое простил он сейчас ненавистному «злокознейшему масону» за этот вот его рассказ!

Выждав и насладившись молчанием слушателей своих, Кошанский снова, и с каким-то затаенным пафосом, возвысил голос:

— А теперь, в такой же ситуации, в тот же самый день и в той же самой Москве, у священных колонн Большого театра, — посмотрите, как ведет себя наш премьер!

— Керенский?! Ну-ну!..

Это Сычов не выдержал — спросил больше так, для того чтобы усилить удовольствие от ожидаемого рассказа.

И даже глаза закрыл и руки скрестил на животе!

Керенский был страшно похож лицом на Гришку Отрепьева, на Самозванца. Но этого почему-то никто не замечал. Хотя на любых провинциальных подмостках, да и на исполинской сцене того самого Большого театра, где в августе тысяча девятьсот семнадцатого года трагически лицедействовал на глазах народа глава всероссийского Временного правительства, — сколько ведь раз на протяжении десятилетий ставили там «Бориса Годунова»!

И стоило лишь всмотреться попристальнее в лицо Александра Федоровича, как сейчас же и бросилось бы в глаза это несомненное сходство с примелькавшимся, затверженным всеми режиссерами обликом Лжедимитрия, обликом, со всей тщательностью восстановленным — уж будьте спокойны! — по уцелевшему портрету Расстриги, писанному с него самого.

У того и у другого — у обоих *самозванцев*, у Отрепьва, и у Керенского — одна и та же прическа — ерошкой, нагловатым этаким «бобриком»; лицо — *босое*, как говаривали в старину, то есть обритое наголо, — лицо и вытянутое как будто, но в то же время и одутловато-надменное. Нос у обоих крупный, ядреный — *налито́к:* ну

вот которым ребятишки-то в бабки играют — кон разбивают.

Только у того самозванца, что Годунова сменил, лицо, видать, было куда свежее, да и гораздо моложе.

А у этого, что после Романова объявился, уж под глазами темные мешочки набухли, а носо-губная борозда — от носа к губам — резка. Лицо — изношенное, серое: говорят, кокаинчику прихватывал премьер!

Правда, вот отрепьевской крупной бородавки на правой щеке у Керенского не было.

Про *того* сказано в летописях, что лицо имел «вельми помраченное» и что был *«многоречив зело», —* а *этот?*

О том повествуют очевидцы, что уж чересчур был непоседлив и подвижен, — ну а *этот?* Да ведь уж у всего народа прямо-таки в глазах мельтешило от неистовой этой непоседливости главы правительства: Керенский — здесь, Керенский — там!

И безудержное, припадочное словоизвержение! Со свитою из генералов и комиссаров Временного правительства в полках, в дивизиях, в корпусах, с адъютантами и охраной носится он из конца в конец всего Юго-Западного фронта. С наспех сколоченной трибуны под кумачом или же стоя в своей роскошной и многосильной великокняжеской машине простирает свои вибрирующие длани к солдатам-окопникам — заклинает, стращает, молит.

Случалось — вдруг разражался рыданиями, падал перед согнанной на его митинг воинской частью на колени, целовал землю, умолял солдат наступать, наступать во что бы то ни стало. Клялся, что эту самую землю оросит он своей собственной кровью, когда сам, впереди ударных батальонов, поведет их на врага.

И мчался дальше: на другой заокопный митинг!

Хмуро, в злобном недоумении, а то и прямо с мужицкой глумливо-снисходительной усмешкой слушала и взирала на всю эту трагическую клоунаду, на все это кликушество впервые узревшая *эдакое* от начальства тысячеголовая людская масса в серых, заскорузлых от окопной грязи и крови, завшивевших шинелёшках, — слушали и смотрели обреченные на гибель ради чудовищно-бесстыдной наживы русских и чужих капитали-

стов измученные люди; слушали и взирали те, которых уж целых три года, изо дня в день, из ночи в ночь, опухлых от цинги, искореженных окопным ревматизмом, гноили и умерщвляли в простершихся на тысячи верст сырых братских могилах, именуемых окопами; слушали те, которых гнали, почти безоружных, с одной винтовкой на десятерых, а то и просто с камнем, с дубинкой в руке против всеми огневыми средствами дьявольски оснащенного противника.

Он кликушествовал, вопил, трагически сотрясаясь, — «главноуговаривающий», как вскоре же успели окрестить его в народе, — еще и еще вымогал у них крови и жизней «на алтарь родины и революции», звал их наступать, наступать «во имя чести, во имя верности нашим благородным союзникам».

Что могли испытывать по отношению к нему эти люди, до последних глубин человеческого естества вычерпанные невыносимыми страданиями, да еще и прозревшие наконец в страшном свете большевистской правды, что от них требуют, чтобы они, ради хотения и корысти богатых и властвующих, еще и еще умирали и умерщвляли своих братьев — рабочих и крестьян с немецкой кровью?!

И предусмотрительно поступали высокие фронтовые военачальники, когда без ведома «главноуговаривающего» отдавали тайный приказ — придвинуть какую-либо из надежных частей казаков или ударников для его охраны от солдатского самосуда.

Еще одно — пусть последнее! — сходство невольно бросается в глаза между Отрепьевым — *самозванцем* престола и Керенским — *самозванцем* революции: это — неистово-стремительный взлет того и другого, буквально — во мгновение истории, и вдруг — еще более стремительное и неудержимое падение! У того и другого — сперва полоса безрассудного, неодолимого обожания со стороны мятущихся людских толп и великого множества юных сердец, а затем — столь же неодолимое презрение у всех, даже и среди тех, кто *классово* уповал на недавнего кумира.

Московское государственное совещание, им наспех созванное, явило, однако, — правда, в последний, в предсмертный раз! — яростную, многошумную, а по внешности даже и торжественно-мощную попытку под-

держать неудержимо валившегося с пьедестала Керенского, объединиться вокруг него со стороны многих кругов и лиц.

Офицерство — и фронта и тыла; купцы и домовладельцы; помещики и хозяева заводов; студенты-белоподкладочники; маститое чиновничество; меньшевики, эсеры; богатенькие мужички и хуторяне; атаманопослушные громады казацких шашек, набранные из всех двенадцати казачьих войск Российской империи; да, наконец, и какое-то число солдат фронта, одурманенных шовинистическими воплями правительственной печати, которых изо дня в день многомиллионнотиражные кадетские, эсеровские, меньшевистские листы лжи науськивали и озлобляли против петроградского гарнизона, которому, дескать, давно бы уж пора быть в окопах, натравливали против Ленина, против партии большевиков, — вот оно, то необозримо-многоголовое скопище, тот чудовищный белый заквас надвигавшейся уже гражданской войны, который в дни Московского совещания бурлил и неистовствовал вокруг Керенского, силясь еще спасти своего идола.

Когда-то язычники-новгородцы, еще верные своему Перуну, уже низринутому в Волхов, бежали толпами по берегу, вослед уносимому волнами богу, простирали руки к нему и жалобно взывали: «Выдыбай, выдыбай, Перуне!»

И ждали чуда: ждали, что их бог выдыбает!

А те, кто свергал или разуверился в боге своем, — те тоже бежали вдоль берега, но отталкивали идола шестами и, обозлясь, кричали: «Плыви, плыви прочь, Перуне: досыта пожрал-поел, а теперь плыви прочь!»

Так вот было в те дни и с ним, с Керенским.

В дни Московского государственного совещания многие еще, очень многие уповали, что а вдруг да и «выдыбает» их Перун, уносимый безвозвратно бурными волнами истории?!

Нет, не «выдыбал»!..

С присущим ему искусством Кошанский изобразил, как, полузасыпанный цветами по пояс в своей открытой машине, словно пест, воткнутый в цветочную корзину, сидел Керенский и, отбывая от царского подъезда Большого театра, утомленно взмахивал ручкою, приветствуя неистовую ораву восторженно вопящих девиц, влеку-

щихся вослед автомобилю, готовых, кажется, вот-вот кинуться под его колеса.

— А я смотрел на все это зрелище и думал: «Что ж удивительного, если этот, сравнительно еще молодой человек — ему же тридцать семь лет только! — и не выдержал наконец опьянения своей популярностью, своим ореолом власти?!»

И снова перебивает Сычов, презрительно хохотнув:

— Еще бы — не «ореол» власти! Дорвался, можно сказать: мадам Керенская на царских выездных и с царским кучером в берете подкатывает к самым роскошным магазинам на Невском — туалеты себе заказывает, драгоценное белье покупает, бриллианты... Сам гражданин Керенский на царской кровати разлегся! Еще бы — не «ореол»!

Кошанский слушал, болезненно искривя лицо: дескать, ну что с ним делать — приходится страдальчески претерпевать этот обывательский бред от заведомого дикаря, от фанатика!

Ограничился лишь язвительным замечанием, вся тонкость которого, быть может, и не дошла до сознания великана:

— Да?.. Вот как?! Но я, признаться, не в столь интимных отношениях с Александром Федоровичем Керенским, хотя мы и коллеги, чтобы знать, на какой кровати он спит и... какое белье у его супруги!.. Разрешите продолжать?

И слегка поклонился Сычову.

Тот был малость смущен: дошло!

— Ну-ну... продолжайте!

— Благодарю вас! Так вот, и я говорю: многими винами виноват он перед Россией. И недостатков, пускай даже пороков, великое множество у этого человека. И среди неистовых поклонниц его и поклонников, забрасывающих его цветами и готовых в экстазе лечь под колеса его авто, как под колесницу Джагерна́ута, моего лица среди них вы не увидали бы, нет, не увидали бы! Но... — Тут Кошанский искусной паузой, нагнетающей силу утверждения, рассек свою речь и закончил патетически: — Но оратор Александр Федорович — непревзойденный! Он говорил полных два часа. В некоторых местах его речи у меня мурашки бегали по спине. Закипали слезы. В ложах я слышал рыдания. Старый

свитский генерал Вогак, монархист, надо полагать, до мозга костей, отъявленный ненавистник Керенского, весь трясся в рыданиях... Жена известного миллионера... запамятовал его фамилию... сорвала со своей шеи драгоценное ожерелье и бросила его на сцену: как свое пожертвование на армию! Я изучил многих знаменитых ораторов Франции — от Дантона до Жореса и... не знаю, с кем можно сравнить его. Пожалуй, ближе всего к Дантону...

При этих его словах Сычов опять не выдержал — буркнул-таки неуклюжую остроту:

— У них — Дантоны, а у нас — болтоны! — И, словно бы созоровавший мальчуган, спохватившийся и ожидающий нагоняя, втянул бородастую голову в плечи и как-то упрятал свои медвежьи глазки. Сошло! Тогда опять осмелел: — Не-ет! В окопы нашего мужичка речами своими он не вернет. Отвоевался... «сеятель наш и кормилец»: дочачкались вы с ним, господа интеллигенция!.. К черту он вас посылает с вашими уговорами: айдате, говорит, сами повоюйте!

Нет, не хлебом-солью и уж отнюдь не пирогами, но булыгою, вывороченной из мостовой, хмуро и грозно встретила рабочая, трудовая, пролетарская Москва всероссийский земский собор, как выспренне заименовала услужающая правительству печать трехдневное государственное совещание, созванное Керенским в Москве.

Однодневная, разразившаяся по призыву большевиков, всеобщая забастовка в первый день совещания словно бы омертвила огромный город.

Залегли, затаились в своих железных убежищах бесчисленные трамваи, изо дня в день своим веселым звоном и грохотом переполнявшие улицы древней столицы; стояли незапряженными конки; забастовали извозчики. А если какой-либо уж слишком корыстолюбивый из них или *«сочувствующий* Временному правительству» — так тогда выражались, — брал-таки седоков, то с таковым штрейкбрехером поступали очень просто: из ближайшего темного подъезда наперехват несознательному извозчику выходили двое добрых молодцев с суровыми лицами, выпрягали лошадей, а эки-

паж, вместе с ездоками, их корзинами и чемоданами, оставляли торчать на мостовой — в назидание всем остальным и как бы на всеобщее позорище.

Застыли на полном ходу все фабрики и заводы. Наглухо закрылись гостиницы, столовые, рестораны.

Горло промочить стало нечем на улицах, крошки хлеба не ухватить.

Вот когда, как грозное предостережение обладателю толстого кармана и распяленного крупными кредитками бумажника, каменная, безотрадная голизна улиц как бы крикнула в заплывшие уши: смотри, дескать, дружок, булыгу бы не пришлось тебе глодать вместо булки!..

Из трех тысяч съехавшихся отовсюду участников Московского совещания только члены правительства, крупнейшие из военных, да и то не каждый, могли рассчитывать на автомобиль. И вот в день открытия можно было узреть довольно странное шествие: со всех концов города, кучками и порознь, шли, шли и шли к Большому театру, изнемогая от непривычной ходьбы, *обливаясь* пóтом, иной с чемоданом, перемежая руку, солидные, респектабельные господа, обескураженно-важные, седоголовые и впроседь, в мягких шляпах и в котелках, в бостонах и коверкотах, — парламентарии, и не какие-нибудь, а самим правительством званные спасать Россию! — участники Государственного совещания.

И в том опять-таки чуялось предостережение: смотрите, мол, господа хорошие, пешочком находитесь!

И нельзя сказать, чтобы втуне осталось оно. Да! Как будто еще в руках правительства была и армия, и все верховные рычаги управления. Еще *своей* в те дни посмел назвать армию Керенский: «Я знаю мою армию, я верю в нее!» Еще грозился с трибуны совещания: «А сейчас мы сами, своей неограниченной властью, там, где есть насилие и произвол, придем с железом и со всеми силами принудительного аппарата государственной власти!»

И все ж таки, все ж таки это был не всероссийский земский собор — отнюдь! — а согнанное бичом предсмертного ужаса трехтысячеголовое сборище людей власти и веками вскормленного господствования над народом.

И разве не этот неодолимый ужас исторг у Авксентьева, который и держал в своих руках весь «аппарат принуждения», вовсе, казалось бы, неуместные из уст министра внутренних дел слова: что если, дескать, найдутся «посягатели», то им придется прежде всего «переступить через трупы Временного правительства». Через трупы! Не так уж много времени прошло, когда все эти «трупы» с изрядной долей государственной казны преблагополучно оказались в эмиграции!

И в речах всех, решительно, коноводов и главарей совещания, а в первую очередь сквозь угрюмо-напыщенные угрозы, бросаемые самим главою правительства в сторону тех, кто осмелился бы «посягнуть», про́визгом прорывался тот же самый предсмертно-животный страх — страх перед человеком, по следу которого день и ночь рыскали самим правительством пущенные ищейки — двуногие и четвероногие; страх перед человеком, которому как раз в эти дни на безмерных просторах страстно любимой им родины убежищем и укрывищем был убогий, потаенный шалашик среди студеных болот; страх перед человеком, которого велено было убить без суда и следствия, едва только опознают!

А снаружи исполинское здание театра, со своей четверкою коней впереди, было подобно старинных времен роскошному, до отказа набитому, огромному дормезу, запряженному, увы, несоразмерно маленькой четвернею, которая силится все же умчать, унести переполняющих его беглецов от настигающей грозной и неотвратимой опасности!

Разгоряченный своим собственным рассказом-воспоминанием, Кошанский отер выступивший на лбу пот, передохнул и затем, как всегда, не преминул ввернуть латинскую, с предварительным переводом, пословицу:

— Говорят, поэтами, мол, рождаются, а ораторами делаются. Но этот человек оратором и родился! Когда он кончил эту свою двухчасовую речь, он почти без сознания, в обмороке полного изнеможения упал на руки своих адъютантов... У меня было чудесное место в партере, и, знаете ли, в свете прожекторов лицо у него было мертвенной белизны! Я сам это видел. Было даже страшно за него... Да и шутка ли: три дня и три

ночи! — Тут Кошанский доверительно понизил голос: — Говорят, вынужден прибегать и к морфию и к кокаину...

Сычов презрительно фыркнул:

— Это что же? Белый понюшок, значит, в ноздрю забил — и айда валяй государством править?! Не-ет, на кокаинчике далеко не уедет — разве что в сумасшедший дом!

Кошанский, минуя эти его слова, продолжал:

— Вообще, здоровьем Александр Федорович очень хрупок. Питается почти одним только молоком...

И замолчал.

Шатров:

— Это почему же?

— Несколько лет тому назад ему удалили почку...

Медвежьи глазки мельника-великана зажглись хищным огоньком предвкушаемого удара по противнику. Неожиданно тонким голосом он спросил:

— Почку, значит, отрезали?

Кошанский, с подобающим предмету печальным выражением лица, молча кивнул головой.

Тогда Сычов, гоготнув глумливо, сказал:

— Жа-аль! Ошиблись хирурги: надо было — голову! — И, довольнешенек своей злобной остротой, заключил: — Ну, по всему видать, большевики эту хирургическую ошибку скоро исправят!

Молчание...

Тогда, словно бы доводами желая оправдать грубость своей шутки, неистовый Панкратий добавил:

— А что он, в самом деле: туда-сюда, туда-сюда?! Поворачивать надо, а не вертеться! Это тебе не качели, а государство. Империя! Армию развратили... Вожжи упустить — не скоро изловишь!

С тяжким вздохом к нему присоединился и отец Василий:

— Истинно! С горы и дитя столкнет, а в гору и десятеро не вскатят! Армия наша в неизбывном недуге. Сей злополучный приказ номер первый — с него и началось: отмена титулований господ офицеров, неотдание им чести вне службы, разного рода вольности солдату... А кто же виноват, ежели не глава правительства? Когда центр неверен и колеблющ, никогда черта круга верно не сойдется!

Анатолий Витальевич Кошанский не преминул изловить отца Василия в некой погрешности против истории:

— Простите, отче! Я отнюдь не хочу зачесывать «бобрик» под Александра Федоровича. И если в ближайшее время, как по всему можно заключить, ему предстоит политическая кончина, то я первый скажу: да будет тебе земля легка — сит тиби терра левис! Но вот в приказе номер первый вы Керенского напрасно обвиняете: военным министром был тогда Гучков, а премьером — князь Львов!

В защиту несколько смутившегося отца Василия ринулся Сычов:

— Вот именно: Гучков и князь Львов! Оба — масоны. Завзятые! А князь Львов — даже магистр всероссийской ложи! Вот оно как!

Он побагровел.

Кошанский начал было язвительно и учтиво возражать, но неистовый великан-мельник не дал себя остановить:

— Да что там! Захотели победить без царя — вот и доигрались. Доперли! Букет масонов поставили во главе государства, и это во время войны! Ведь вы только посмотрите: из кого Временное правительство составили... — И, пригибая один за другим свои огромные пальцы, Сычов принялся называть: — Керенский? Масон! Князь Львов? Масон! Милюков? Опять же масон!

Тут Кошанский попытался было как-то вступиться за лидера своей партии, но разбушевавшийся мельник от этой попытки его прямо-таки осатанел:

— Бросьте! Сами про него эки штуки рассказывали!

Кошанский — гневно-предостерегающе, протяжно:

— Панкратий Гаврилович?! Я полагал, что, апеллируя к порядочности моих слушателей...

Сычов только отмахнулся, издеваясь, передразнил:

— «Апеллируя, апеллируя»! Для вас он — ученая голова, профессор, знаток иностранной всей политики... лидер кадетский, а для меня он был и есть — Пашка Милюков! Погубитель государя... Шабес-гой господина Винавера... Треклятый масон!

Сегодня он — как с цепи сорвался! Шатрова, когда тот стал его унимать, он попросту отстранил рукой. Да еще и перстом погрозил:

— И тебя, друг, знаю! И ты, Арсений Тихонович, туда же, на их сторону, око скосил. Обошел тебя этот писарек... бывший! Оборотень этот, нынешний *товарищ* Кедров! Но, смотри — пригрел ты змею за пазухой! Ох, не знали мы раньше, что Шатров наш, от большого-то ума, большевичков прикрывает!..

Он стоял, тряся бородищей; лицо и в особенности губы стали сизо-багрового цвета и налились, набухли, будто мясистое надклювье у индюка, когда он, раздраженный, начинает кричать.

Задохнулся. И этим как раз мгновением воспользовался Кошанский, чтобы перенять слово.

Он был что-то нарочито спокоен. Нет, даже вкрадчиво любезен, до приторности! Только вот глаза у него что-то уж очень сощурились и как бы узкой-узкой, как лезвие бритвы, полоской испускали недобрый свет в гневное лицо врага.

— Дорогой мой! Досточтимый мой Панкратий Гаврилович! — Так он начал, и при этом каким-то протяжным, певучим голосом. — Вы сегодня столь удивительные познания обнаружили перед нами касательно личного, так сказать, состава братства вольных каменщиков — назовем их привычно: масонами, — что я, право, желал бы, хотя я и занимался специально этим вопросом, получить из ваших уст некоторые... сведения...

— Ну-ну?!

— Скажите, не известны ли вам среди масонов имена Георга Вашингтона... Вениамина Франклина... Лафайета... Вольтера... Мирабо... Гете? Простите, я называю вне всякого порядка!

Сычов, уклонившись от прямого ответа, грубовато пресек его перечень:

— Хотя бы! Дак что из этого?!

Голос Кошанского стал суше и подобраннее:

— Прекрасно! Будем считать, что вы ответили нам фигурою умолчания и что эти имена вам, конечно, известны как достойнейшие в братстве вольных каменщиков! Ну а скажите нам, если и далее вы будете столь же любезны, — среди избранного, передового русского дворянства разве вам не известны имена таких масонов, как Новико́в Николай Иванович, как Батенко́в Гавриил Степанович, Тургенев...

Не дав ему закончить, Сычов — угрюмо и вызывающе, однако и с некоторой тревогой:

— Какой Тургенев?!

— А!.. Я вижу, это имя вас несколько обеспокоило? Но успокойтесь: *Николай* Тургенев!

— То-то же!

— Преждевременно торжествуете! Сейчас вы услышите имена, я думаю, не менее знаменитые в анналах нашей истории... Пестель, вам для начала, Павел Иванович...

— Это декабрист который?

— Вот-вот, вы правы!

Сычов махнул рукой:

— А император Николай Павлович его и повесил!

Такого ответа Кошанский все же не ожидал!

— Ну, знаете ли?!

И стало видно по выражению лица его, слышно стало по звуку голоса, что и его искусственное спокойствие сейчас сорвется:

— Повесил... Да! Но не понимаю вашего злорадствия, сударь! Сейчас я назову вам среди русских дворян — и даже выше! — имена таких вольных каменщиков, которых не только никто не вешал, но перед которыми и вы, я думаю, не раз склоняли голову: Петр Первый. Император. Тот самый, которого мы все, и, думаю, не напрасно, привыкли именовать: Петр Великий!

Общее молчание. Сычов хрипло прочищал перехваченный внезапностью голос — не мог собраться с мыслями. Оторопел!

Но когда оглушенность от этого имени у него прошла, он возразил противнику своему с полной бесцеремонностью:

— Извиняюсь, но это вы сгрохали! Оно понятно: давай загребай всех к себе — прославленных и знаменитых, — все, мол, масоны! Поди проверь: всюду у вас тайна на тайне!

Но отца Василия не слишком и удивило в этом перечне имя Петра.

— Мудреного тут ничего не вижу: мог наш Петр Алексеевич и поозоровать за границей, в молодые годы: что, дескать, оно за штука — масонство это? Вроде как в кунсткамеру заглянул! Все ведь ему было любо-

пытно, до всего дознаться хотел... своей собственной персоной!

Помолчал. Вынул золотую табакерку. Насыпал на «соколок» и заключил:

— И я так скажу: ничто же есть благоудобнее, нежели возвести нечто посрамляющее ложное на мертвого: опровергать не встанет!

О, как возликовал Сычов от этой неожиданной поддержки от многоученого служителя алтаря! Загрохотал, загудел во весь свой богатырский голос:

— Правильно, правильно, Василий Флорентьевич, батюшка! Эка, подумаешь, важность, что тот-другой из знаменитых наших мужей, хотя бы и из высших дворян, вступали в ложи масонские. Пялилось дворянство над прочими сословиями — чем-нибудь, а возвыситься, отличиться!.. Вот господа масоны и околпачивали их... разными бирюльками своими... клятвами, подземельями, шпагами, кинжалами! А главное: тайна, тайна!.. Как же: всемогущий, всеведущий, всесветный орден! А им одно только и надо было: русского государя свергнуть. Он один только и являлся препоной. А теперь...

Раскатистый, звонкий, сверх обыкновения, хохот Кошанского прервал его речь.

Секунду, с гневно выпученными глазами и опять с побагровевшим лицом, Панкратий Гаврилович молча смотрел на своего врага, ожидая, когда он кончит смеяться. А тот даже и платок вынул — отереть слезы смеха. Никогда, до этого рокового дня, ничего подобного с ним не бывало: словно бы и не Анатолий Витальевич Кошанский с его ледяной, светской выдержкой и учтивостью!

Сычов угрюмо спросил:

— Что так весело стало?! Что, добились-таки цели своей господа масоны: устранили главнейшую препону своему властвованию?!

Кошанский будто бы не понял:

— Какую «препону»?

— Неужто не понимаете? Государя императора!

— Какого?

— Да вы что? Издеваться, что ли, вздумали?! — И — с вызовом, с нажимом, словно бы с амвона провозглашая: — А того самого, которого верноподданным и вы еще недавно подписывались: государя императора Ни-

колая Александровича, ныне сверженного и в тобольском узилище с семейством заточенного! Вот какого!

Кошанский уже не смеялся. Напротив, всем лицом своим он изобразил крайнюю степень сострадания и жалости к противнику:

— Эх, Панкратий Гаврилович, Панкратий Гаврилович! Не хотел я вас, признаться, столь страшно огорчать!.. Хотя часто этот факт у меня вертелся на языке в наших не всегда приятных дискуссиях с вами. Но, думаю, зачем разрушать у человека иллюзии, которыми он живет и дышит? Но... вы сами вынуждаете! Так вот, слушайте же! Никакой «препоной» масонству, если уж на то пошло, ваш обожаемый монарх быть никоим образом не мог, потому что «мы, Николай Вто́рый» — и сам был... масон! Да, да! Один из братьев масонской ложи «Крест и Звезда». Мартинистского устава. Не сомневайтесь! Я могу представить вам абсолютные доказательства!.. Я специально занимался этим вопросом. — Он язвительно усмехнулся и добавил: — А не поверите мне и представленным мною данным — что ж, прокатитесь в Тобольск. Добейтесь свидания — говорят, его не так уж строго там содержат — да и спросите его самого. Теперь, когда он сложил с себя корону, может быть, он и не станет утаивать сего факта своей биографии от... столь преданного ему верноподданного!

В наступившей вдруг тишине — ибо и все поражены были страшно! — вдруг раздался треск дубовых подлокотников кресла, в котором сидел Сычов: это великан-мельник всей силой оперся на них, вздымаясь из кресла.

На посинелых, дрожащих губах его пузырилась пена. Черным медведем надвинулся он на оробевшего Кошанского. Левой рукой порывался схватить за отворот сюртука, кулачище правой наднес над его головой.

Клокочущая, невнятная речь излетала из его горла. Силился выкрикнуть: *лжец!* Но язык уже не повиновался ему. И вырвалось наконец из его уст яростное и какое-то жуткое в своей нелепости слово:

— Ржец!..

Опомнился раньше всех Шатров, кинулся предотвратить... Но уж и не надо было!

Панкратий вдруг зашатался, вскинул руки, разверз рот, хапая воздух, и во весь свой рост грянулся об пол...

Уже была отпета заупокойная служба в доме Сычовых. Готовились к выносу. Священник, дьячок, псаломщик, купно с церковным хором близлежащего сельского храма, коего зиждителем и жертвователем был усопший, намеревались вот-вот подать знак к исходу погребального шествия.

Двери и окна сычовского старинного дома, переполненного съехавшимся на похороны народом, стояли настежь, и смертный дымок ладана, износимый ветром, ощутим был не только во дворе и в саду, но достигал и окрестного бора, примешиваясь — необычайно и страшно — к свежести, дыханию, ко всем тем запахам осеннего леса, которые так отрадны, так радостны бывают для человека!

У открытого гроба, с накинутым на него до половины парчовым покровом, по одну сторону возглавия стояла, вся в черном, вдова покойного, а по другую — его дочь Вера Панкратьевна, в строгом одеянии сестры милосердия, с повязкою черного крепа на рукаве.

Проводить Веру в город после похорон, к месту ее работы в шатровском госпитале, Арсений Тихонович велел Косте Ермакову на ямщицкой паре своего постоянного ямщика Еремы, а сам на своих лошадях сейчас же, немедленно после отпевания, должен был поспешить к себе, на главную мельницу: его известили, что сегодня же — и, очевидно, с ночевóй — к нему прибудет целая комиссия военно-промышленного комитета вместе с уездным комиссаром Временного правительства — определять валовой помол и на крупчатке и на раструсе, так как было намечено всю его главную мельницу, целиком, загрузить помолом на нужды военного ведомства; а он, Шатров, следуя совету и предупреждению Константина, решил этому воспротивиться. Константин же заранее предупрежден был Кедровым, что есть такие намерения у военных властей и что никак, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на шатровской главной, где и тайная типография укрыта и где один из надежнейших узлов всей подпольной работы в уезде, — чтобы здесь воссел чиновник военного ведомства!

Константин предостерег Шатрова: если согласимся, Арсений Тихонович, на такую меру, то как бы худого чего не получить нам от населения! Окрестный народ

искони считает, что раз ваша мельница стоит на его берегах, то в первую очередь ему и должна служить, а не на казну. Подумайте, Арсений Тихонович: настроения, сами знаете, какие теперь в народе! А не лучше ли, дескать, предоставить военному ведомству ту, дальнюю, близ станицы: мы ж ее как перестроили! Ее пускай и возьмут на казну!

И Шатров согласился. Эти доводы он и решил сегодня выставить на встрече с комиссией.

Вот почему и не мог далее оставаться он в доме умершего, не мог следовать за гробом до места последнего упокоения, тем более что сельское кладбище было расположено верстах в трех от мельницы Сычовых.

И уж само собой разумеется, не было у него возможности остаться на поминках.

Сказать об этом самой Аполлинарии Федотовне, даже и подойти сказать ей прощальное слово, он попросту не решился. Да и надо ли?! Как-то не по себе ему становилось, когда во время отпевания он взглядывал на ее скорбное, почерневшее и осунувшееся лицо, на весь ее как бы от всего житейского, мирского, отрешенный, в неутолимой скорби застывший облик!

А потому, уходя после окончания панихиды, и, как казалось ему, уходя незаметно, Арсений Тихонович наказал Косте, чтобы тот сперва объяснил все Вере Панкратьевне — необходимость его неотложного отъезда, а она сама решит, когда и в каких словах сказать об этом матери.

Что Ольга Александровна не смогла ни на единый час оставить ради похорон свой госпиталь, об этом Верочка Сычова и сама знала и матери сразу же втолковала: это были как раз те страшные для городка на Тоболе дни, когда наконец и в здешние, дальнетыловые госпитали и больницы, после длительного затишья, стали выплескиваться, денно и нощно, волны кровавого урожая злополучного июньского наступления Керенского — Корнилова.

Тяжело раненные и перекалеченные солдаты, выгружаемые из теплушек, наспех переоборудованных в санитарные, сутками оставались под навесами товарных складов, поодаль самого вокзала, дабы «не снижать настроение публики», как выразился на заседании председатель городской думы.

Здесь их питали, здесь делали им и перевязки, доколе не освобождались койки в госпиталях или места в убежищах для инвалидов.

Не хватало врачей, фельдшеров, сестер милосердия.

И самое Веру главный врач, невзирая на вызов к похоронам отца, отпустил скрепя сердце, и только на один день, только на один!

Тихонько подойдя к вдове, склоня перед нею голову, священник, совершавший отпевание, негромко спросил ее о выносе. Она сначала словно бы и не поняла его слов. Он хотел повторить. Тогда вдруг диким блеском сверкнули ее ввалившиеся, в черных кругах глаза,— выкрикнула, как в беспамятстве, хрипло и гневно:

— Постой, поп! Куда торопишься?! Тяготитесь, вижу, и малое время побыть, в последнее, с моим Панкратием Гавриловичем: земле его поскорее хочешь предать?! А не тяготились вы им, когда его хлеб-соль кушали, его винцо испивали, созастольничали с ним, бывало, всю ночь, до свету белого?! Пусти, поп, меня к нему!

И она властно и сильно отшатнула испуганного священника в сторону:

— Ну, так я с ним, с моим соколом, не набеседовалась, я на его лицо белое не нагляделась!

И совсем уже неистовым не голосом — воплем выкрикнула:

— Пустите! — И рванулась к гробу, и обхватила его распростертыми руками, и, припадая мокрым от слез лицом и седыми космами волос к сложенным на груди большим, странно-белым и закостенелым рукам покойника, как бы держащим — непривычно, по-мужски — маленький образок, заголосила и запричитала, временами будто и впрямь разговаривая с умершим, словно с живым: — Да изрони ты из ледяных своих усте́н хоть единое словечушко! Злою смёртонькой погинул ты, напрасною, внезапною: не услышала я от тебя последня слова мужнева, наставленьица не приняла я от тебя предсмертнова, злосчастная! Нет кому поверить мне ночные свои думушки!

Захлебывалась слезами, целовала мертвые, закостенелые руки, и прижималась к ним губами, и пыталась

согреть их своим дыханием, как все равно мать пришедшему со стужи дитяти!

От истошного, душу раздирающего вопля, взывающего восстать из гроба — «из хоромины своей немшонной, из холодной»,— вдруг переходила почти к шепоту, словно бы затаиваясь от чужих людей — так, чтобы только он один, Панкратий, слышал ее эти ласковые, потаенные слова — жены, супруги: зачем не пришлось ей на своем белом локте подержать бессонными ночами его головушку больную, скорбную?! Попоить его уста иссохшие питьецом горячим?! Повзбивать ему подушечки пуховые, жаркие своей рученькой заботною?!

И сетуя и ропща жалостно, говорила ему, с безнадежной скорбью покачивая головой и стараясь заглянуть ему в глаза меж неплотно сомкнутых ресниц, что вот, дескать, бессильна она согреть его холóдно изгловьице, чтобы не осудил он ее за это, не огневался!

И не ей одной, а и всем, кто стоял в этот миг вблизи гроба, начинало казаться, что умерший слышит, что не может он не услыхать ее!

Он лежал, истово опрятанный, по всему обряду и обычаю православной церкви, и почему-то страшен, страшен казался на большом мужском лбу этот бумажный венчик с напечатанной на нем церковнославянскими буквами отпускною молитвою, в которой отпускались умершему его согрешения и с которою на челе должен он был восстать из гроба в день Страшного судилища!

Вере и прежде приходилось слыхать, как причитают и воют над гробом женщины деревень, но то были *чужие* похороны, и ей никогда и в голову не приходило, что и ее родная мать может быть точно такой же.

Не выдержала — сама вся в слезах, подошла к ней и тихонько стала отымать ее руки от краев гроба и целовать их, уговаривая мать хоть немножечко дать своей душе отдых, не терзать себя этими душу истязующими плачами — не изнурять.

Тщетно! Тогда Вера попросила священника воздействовать на мать: «Вас как священнослужителя послушается — отойдет!» Нет, не послушала и его: взглянула, как на врага.

Смущенный, он отошел.

Тогда Вера, не зная, что и делать, а только чтобы отвлечь хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь в другую сторону ее мысли, шепнула ей, что Арсений Тихонович уехал, непременно должен был уехать, не остался на поминки.

Тут старуха взметнулась! Страшным стало ее лицо. Выкрикнула хрипло:

— А-а! Уехал?! Знал, погубитель, что застрянет в горле у него кусок хлеба нашего на поминках, — кого он осиротил, злосчастный! Добро и сделал, что уехал!

— Мама?! Опомнитесь, что вы?!

— А, и ты, отцовская дочь, за их заступаться?! Отойди тогда от гроба родительска, отойди, не место тебе тут, коли ты за убийцев его, за лиходеев его, погубителей заступаешься! Они, они его погубили, Шатровы: в их доме он смерть принял, скоропостижную! Они, да этот их адвокатишка, черный ворон проклятой, да этот писарек, дружок ихний... оборотень! Нарошно они его заманили! И не было ему на ту пору друга верного — защитника!..

И словно бы враз вскрыла этими обезуме́ло-злобными, как в бреду, выкрикнутыми словами затаившийся в ее душе очаг страшных подозрений — и вдруг хлестнулась снова на гроб и, приподняв лицо и выдирая горсти седых распустившихся волос, начала опять свою надгробную при́четь. Но только теперь это не был жалостный плач по умершему и не тихая с ним беседа, нет, это были проклятия — неистовые, ужасающие, способные кровь оледенить в жилах человека!

Она проклинала этих людей и солнцем, и месяцем, и землей, и водою, и хлебом, и солью — погубителей-злодеев друга-мужа мудрого. Она сулила им голод вечный и ненасытный: так что будут-де есть и есть, а сытыми никогда не будут. Пить будут ключевую воду, но жажды лютой утолить никогда не смогут.

— Глазоньки бы их иссохли, как пески горючи-перекатные!

Воронье бы да расклевало их черны печени!

На ноже бы им поторчать!

Но когда она с хриплым провизгом выкрикнула протяжно это последнее свое проклятие, содрогнувшаяся от ужаса Вера, сама не своя, метнулась к матери, упала

перед ней на колени, обняла ее колени и, подняв к ней полные слез глаза, стала умолять-запрещать:

— Мама! Мамочка! Опомнитесь! Не надо! Пойдемте... Нехорошо... Перестаньте, мама!

Хотела ее увести.

В злобном полубеспамятстве, одержимая духом злобы и мести, Сычиха одной рукой схватилась за край гроба так, что гроб пошатнулся, а другой рукой оттолкнула дочь:

— Отойди, я тебе сказала! Кто ты есть? Ты предательница отца своего! Прочь!

Вера встала. Теперь и ее лицо, недавно еще столь отроческое, но успевшее ныне возмужать и осуроветь — и в пучине страданий людских, тяжких ран и увечий, что изо дня в день, из ночи в ночь были у нее перед глазами — там, в госпитале, и от семейного неизбывного горя, — теперь и ее лицо стало страшным!

Глянув в глаза матери, она произнесла негромко, но внятно:

— Так вот ты какая?! Не знала! А еще христианкой называешься: все со крестом, все с молитвою! Хорошо. Уйду. Но только долго вы меня не увидите... Ох долго!

Отвернулась и сквозь расступившуюся перед ней толпу быстрым шагом вынеслась на крыльцо. Здесь приостановилась. Глянула под навес и повелительно махнула рукою Константину, который вместе с пареньком от ямщика Еремы ждал наготове возле ходка, запряженного парою крепких и уже застоявшихся коней.

Увидав ее взмах, Костя сказал что-то пареньку, и лошади тотчас же были поданы ко крыльцу.

Вера молча сошла, не оглянувшись. Молча села на приготовленные для нее в плетенке ходка дорожные подушки и приказала ехать.

Костя, глянув на ее лицо, ничего не посмел спросить.

Они были уже по ту сторону Тобола, но их еще довольно долго можно было видеть с крыльца.

Тем временем немного как бы приутихшую и ослабевшую Аполлинарию Федотовну успели отвести от гроба, дали ей испить водицы, старались успокоить и уговорить.

Кто-то упомянул о Вере:

— Не надо бы уж вам так с нею, Аполлинария Фе-

дотовна, матушка! Обидели вы ее, да и на людях. Сердце молодое, ретивое: отцовска кровиночка! Глядите, как выбежала!

Мать лишь рукою отмахнулась:

— Ничего с ней не будет! Пробегается — така же будет! Сама прощения попросит!

Тут кто-то сообщил ей, что Вера уехала.

— Как уехала?! Куда?! С кем?!

Ей сказали. И когда она услышала, что Вера уехала с Костей Ермаковым на лошадях, которые присланы были от Шатрова, неистовой старухой вновь овладел приступ гнева:

— Догнать! Сейчас же догнать! Возвратить ее, окаянную!

— Ерему, Аполлинария Федотовна, разве догонишь?!

И тогда она сызнова завопила:

— А-а! Все у них, стало быть, заране подстроено, у лютых злодеев моих! Отца сгубили, теперь единственную дочь у меня отняли, треклятые! Так нет же, нет, я еще Сычова, Сычова!

И с выкриком этих слов она вырвалась от окружавших ее людей и рванулась на крыльцо.

Остановилась — глянула из-под руки на тот берег Тобола: в облаке быстро несущейся над проселком пыли лишь просверкивало на солнце железо ходка да серебряное убранство парной сбруи Ереминых ярых коней.

И, уразумев наконец, что случилось, исступленная старуха вдруг вскинула обе руки жестом древнего отрешения, и отвратительные проклятия, ужаснувшие всех притихших возле нее людей, понеслись вослед дочери.

Потом у нее подкосились ноги. Расслабла. И, уже безропотную, покорную, ее подхватили под руки и увели в дальние покои.

...С похорон ее уже привезли.

— Видать, занемогла старая!

Однако на поминальной трапе́зе, к концу этого же самого дня, Сычиха появилась сама.

Поминки по своем Панкратии Гаврилыче она подняла такие, каких никто из старожилов не запомнил во

всей округе. Да нет — это скорее и не поминки были, а поистине некая древняя, былых времен тризна!

Кормили-поили всех, и старых, и малых — ну, словом, всех, кто только поднялся прийти или приехать — со всей волости!

Столы, изнемогавшие от множества яств — и постных и «молосных», — расставлены были, сомкнутые один с другим наподобие прилавка, и в хозяйском доме, и в огромной людской избе, и, наконец, прямо под навесами.

День выдался теплый, да и хватало чем подгорячить кровь!

Огромные, четвертные, с зеленоватым отливом на свету бутыли с самогоном высились вехами вдоль каждого из столов. А водки уж достать, казенной, в ту пору было негде.

Правда, на одном-единственном столе, в самом доме, для почета духовенству и особо чтимым у покойника людям, стояла и водка в графинах, и рябиновая, и коньячок, и кагор.

А на дворе дивился неслыханной щедрости поминок успевший уже кое-где изрядно захмелеть народ:

— Ну, паря, эдакие поминки и сычовску казну повыгребут!

— И не говори: кому хочешь карман выворотят!

— Другому после таких поминок — хоть в петлю полезай!

— А вот! Достойная, стало быть, была ему жена — достойная и вдовица! Другим-прочим учиться надо!

«Сама» во главе с подручными и распорядителями нет-нет да и пройдется дозором — не обидели бы кого из народа! — прошествует по всему двору, между всеми «людскими» столами, закипавшими кое-где пьяным говором-шумом.

Теперь уже молчаливо-строгая, истово-чинная, во вдовьей черной наколке, а поверх — в черном полушалке, похожая на игуменью, Сычиха, проходя мимо длинных застолий, приговаривала с поклоном народу:

— Трапе́зуйте, трапе́зуйте, православные миряне! Да вспомните в молитвах ваших раба господня Панкратия... Панкратия моего Гаврилыча... Любил он вас!

И слеза катилась по ее опавшим щекам...

Денька через два после поминок Аполлинария Фе-

дотовна в кабинете покойного супруга своего впервые сама принимала доклад главного приказчика — тихого и робко-почтительного перед хозяевами человечка, который, отвечая на очередной вопрос хозяйки, всякий раз даже привставал со стула.

Этому не мешало нисколько даже и то обстоятельство, что у Анания Уварыча и у самого не одна уже тысяча лежала в банке и что сам он вот-вот готовился отойти от Сычовых «на свое дело».

Большие счеты Панкратия Гаврилыча, коими сама хозяюшка по малограмотности не владела, лежали сейчай под рукой у приказчика, и он отщелкивал на них, называя ту или иную цифру.

Когда прозвучала сумма, истраченная на поминки, Аполлинария Федотовна только покачнула своей большой седой головой под черной наколкой, сдвинула брови, но не промолвила ни словечка.

Доклад-отчет продолжался.

Отпуская приказчика и у самого порога как бы внезапно вспомнив, хозяйка деловитым приказом произнесла:

— Да! Вот что, Ананий: с той недели за помол надбавляем по пятачку с пуда!

Приказчик испуганно моргнул. Молча поклонился.

Идя на мельницу, он прикинул в уме, исходя из суточного помола, сколько же это будет в среднем, если «по пятачку с пуда»? Затем сопоставил с расходами, понесенными хозяйкою на поминки, и вдруг остановился, будто в лоб ударенный; усмехнулся и, покачивая головой, забормотал сам с собою. Выходило, что все, что истрачено было Сычихою и на похороны, и на угощение народа в тот памятный день, добрая слава о котором долго не затихала в ближних селах и деревнях, на обоих берегах Тобола, — все это с лихвою должно было возместиться за одну лишь неделю этим вот «пятачком с пуда»!

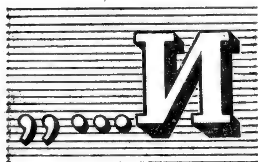
Вздохнул. И сам себе в назидание и не без зависти прошептал:

— Учиться надо!

Книга вторая

СТРАШНЫЙ СУД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



как вы, гр. Шатров А. Т., также являетесь одним из членов класса эксплуатирующих пролетариат магнатов сибирского капитала, то, согласно раскладке особой комиссии при исполнительном комитете Совдепа, на вас падает часть налагаемой контрибуции, а именно в сумме *сорок пять тысяч* рублей, каковую сумму и предлагается вам внести в кассу Совдепа в течение ближайших десяти дней, то есть не позднее двадцатого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года.

В случае неисполнения данного предписания подлежите суду Ревтрибунала...»

Арсений Тихонович Шатров, подперев смуглыми длинными перстами многодумную свою крупнокудрявую головушку, молча уставившись на лежащую перед его глазами, на письменном столе, исполкомовскую повестку, казалось, снова и снова перечитывает ее.

А и что было перечитывать!..

Только что привезший ее из города Анатолий Витальевич Кошанский с некоторой тревогой и даже слегка подавшись всем корпусом из кресла, однако сохраняя свойственное ему корректное молчание, смотрел через стол на склоненное над зловещей бумажкой лицо Шатрова. Испытанный друг, юрисконсульт ждал взрыва.

И вдруг — вот уж чего никак не ожидал он! — Арсений Тихонович громко расхохотался, откинувшись.

Отлегло!..

Рассмеялся и Кошанский. Закуривая сигару, привычно оправив красивые панские усы — вислые, по обе стороны гладко выбритых, сытых щек, — он облегченно заговорил:

— И я смеялся, Арсений Тихонович, дорогóй!.. Когда я получил для вас в Совдепе, эту, с позволения сказать, декреталию и глянул на цифру — я глазам своим не поверил от радости: ну, думаю, прошиблись наши совдепские финансисты — дешево же они оценили фонды Шатрова!.. Скорее сию бумажку в портфель, пока не одумались, — и на ямщицких к вам!

И вдруг — осекся: что-то не тот был шатровский хохот, не тот! Да и смолк вдруг.

Побагровев лицом, хозяин резко восклонился от стола, схватил постановление исполкома и почти швырнул его через стол Кошанскому.

— Можете вернуть им обратно! И я не понимаю, что вас здесь так обрадовало? Чего вы так спешили ко мне с этим... новогодним поздравлением? Верните. Не стану и расписываться!

У Кошанского выпала сигара из задрожавшей руки. Он не стал ее поднимать. Умоляюще сцепил пальцы обеих рук и потряс ими перед лицом Шатрова:

— Арсений Тихонович! Боже вас упаси! Это же гибель, гибель! Они же здесь прямо грозят Ревтрибуналом. Тюрьма обеспечена. А черт их знает, могут и расстрелять. Для внушения страха всем прочим. У этих господ, то есть, извините, у товарищей, абсолютно отсутствует правовое сознание. Вы знаете, кто у нас председатель Ревтрибунала?! — И, не дождавшись ответа: — Портной, да, да, портной! Ему, видите ли, Фемида вручила свои весы! Умоляю вас: не ставьте под удар все свое достояние. И... еще раз повторяю: не рискуйте жизнью!

— Пускай расстреливают. По этой бумажке не получат они от меня ни гроша!

Шатров ткнул пальцем в отброшенную повестку.

Несколько мгновений шатровский юрисконсульт смотрел на своего доверителя как на впавшего в острый приступ помешательства. Затем снова принялся за уговоры:

— Дорогой мой Арсений Тихонович, простите, но я прямо-таки не понимаю вас сегодня. Если бы я не знал состояния ваших дел и какими средствами располагает Арсений Тихонович Шатров, я мог бы еще подумать, что вас ужаснула эта цифра контрибуции: сорок пять тысяч... Но я столько лет имею честь быть вашим бли-

жайшим доверенным лицом и знаю, что вам, Шатрову, внести эту сумму — это все равно что мне... — Тут он чуть призадумался, соображая: — ...все равно что вашему покорнейшему слуге — четыре с полтиной! Ну право же, дорогой Арсений Тихонович! Умоляю вас! И повторяю: я не в силах понять...

Шатров ударил кулаком по столу и поднялся весь в гневе. Кошанский оцепенел: никогда, никогда за все годы, что он работал у Шатрова, хозяин ни разу не позволил себе оскорбить его даже резкостью замечания, даже возвышением голоса. А сейчас он орал!

— И *этого* вы тоже, сударь, не понимаете?! — И тыкал пальцем в какое-то слово на повестке Совдепа: — Нет, вы прочтите, прочтите вслух!

Кошанский нехотя повиновался:

— Ну что ж, извольте: «...налагаемой контрибуции...»

— А! *Контрибуции?* И вы хотите, чтобы я, Арсений Шатров... — Он задыхался. Он слов не договаривал в гневе. — Да что я — турок побежденный, или — австрияк, или — немец?! Придумали: с Шатрова — контрибуцию! А вы спросили бы, господа хорошие, что стоит мне госпиталь, хотя бы один, — в полмиллиона не уложить! Ведь с первых дней войны взвалил на себя этот крест, и по сие время ранеными полон. Свой дом в городе и со всеми усадьбами — все, все отдал для защитников родины! Сама Ольга Александровна четвертый год — страшно вымолвить! — всю жизнь, все силы свои кладет на госпиталь этот! Так нет же: давай контрибуцию, Шатров, ты — эксплуататор!

И в это время как раз благозвучный и полный и словно бы чуточку отсыревший женский голос произнес от порога:

— Кто это здесь у вас *турок побежденный?* С кого здесь контрибуция?!

Прозвучало это как бы строгим допросом, но в самом голосе, напоенном чувственной прелестью и светом спокойствия и здоровья, было столько неосознанно-привычной, радушной ласковости хозяйки большого дома, что у обоих — и у Кошанского, и у самого Шатрова — вдруг словно светом взялись лица.

На какой-то миг они словно бы и забыли про свой тяжкий спор.

Да! Это была *сама* — так привыкли называть Ольгу Александровну Шатрову и в ее госпитале, в городе, да и здесь тоже — в доме на главной мельнице — засыпки и мастера, работники и прислуга.

Ольга Александровна не вошла, нет, она *вступила.* Поступью упругой и легкой. Рослая, полная, утренне-свежая, словно солнечное, морозное утро, что прореза́ло сейчас сверкающими пальмовыми листами стекла огромного шатровского кабинета.

— А вот и ты! Легка на помине!

Кошанский же стремительно сорвался со своего кресла. Галантно, как всегда, подошел к ручке. В почтительнейшем полупоклоне пригласил Ольгу Александровну занять второе кресло, стоявшее перед письменным столом. И не садился, пока не села она.

Шатров тоже стоял. И в который, в который раз снова залюбовался женственно-мощной красотою жены.

Ольга была в светло-сером, стального отлива, глухом платье, тесно облегавшем ее стан; на плечи был наброшен белый пуховый платок, в который она что-то куталась сегодня. И на этом белоснежном поле, когда она откидывала голову, с неизъяснимой прелестью чеканился лоснящийся от тугизны зачеса, темно-орехового цвета, тяжелый узел ее волос, и казалось, что именно тяжестью своею он и отклоняет ее голову назад.

И еще прелестнее становилось тогда в своем нежном очерке ее полногубое, слегка курносое лицо.

Улыбаясь, Ольга повторила свой вопрос.

И тогда снова забушевал ее супруг:

— С кого здесь контрибуция, ты спрашиваешь? А вот взгляни!

Он протянул ей исполкомовскую бумажку.

Прочитав, она ответила ему удивительно спокойно, и это поразило его:

— Ну что ж... Надо внести... Городские уже вносят...

Кошанский обрадованно подхватил:

— Да, да, Арсений Тихонович, когда я был в Совдепе, то на первом этаже у дверей, так сказать, финансового департамента уже большая очередь клубится наших заводчиков, коммерсантов, домовладельцев... Двое при мне подрались из-за очереди: кому вносить первому!

Шатров язвительно и горестно усмехнулся:

— Нет, меня в этой очереди вы не увидите!

— Арсений Тихонович, но я же вас самым серьезным образом предостерегаю: не становитесь на этот гибельный путь. Ольга Александровна, воздействуйте на супруга. Ведь, в конце концов, эта контрибуция — это же сущие гроши для вас!

Но Арсений и слова не дал вымолвить жене:

— А хотя бы и трешницу, но раз это — *контрибуция*, Шатров — наотрез! Почему не заявить прямо: граждане хорошие, война с Германией не окончена. Лютый враг глубоко вторгся в пределы нашего отечества. Фронт рушится. Страна в разрухе. Средства казны исчерпаны дотла. Имущие сословия, тряхните мошной! Мы, Советское правительство, объявляем срочный чрезвычайный налог на всех имущих граждан. Или, там, военный заем... Дело, в конце концов, не в названии. И вот я, Шатров, одним из первых приду государству на помощь. Всем своим достоянием. Последнюю рубаху сымите, только не пускайте вы в глубь земли русской немецкие полчища! А разве я один такой? Кликните клич, а не контрибуция! Нет, нет, и не просите, не уговаривайте!

Выждав, когда он выкричится, Кошанский начал как бы в раздумье:

— Арсений Тихонович, я понял теперь, что вы считаете несовместимым, что ли, с чувством собственного достоинства вашего...

— Считаю!

— Я понял. Но вот о чем я хотел спросить. Ведь ваш старинный и преданный друг, к тому же, как мы знаем теперь все, ибо он уже не конспирирует более, тесно связанный с вами еще по девятьсот пятому и многим вам обязанный, — словом, наш уважаемый Матвей Матвеевич Кедров, где он теперь?

— А что? Собирался в Пермь. Там у них что-то неблагополучно. Не поделили власти с меньшевиками, с эсерами. Страшная идет распря! А где он сейчас — не знаю. Он мне не докладывался. Куда его Цека ихней партии кинет — там он и должен быть! А зачем вам это?

— Видите ли, он сейчас птица очень и очень большого полета. Простите мне это несколько вульгарное

выражение! Неоднократно, как знаете, бывал у самого Ленина. Выполняет какие-то особые задания и по Уралу и по Сибири... Так вот я и подумал: разве товарищ Кедров, будь он здесь, у нас в городе, — разве позволил бы он местным Робеспьерам, Маратам внести вас в список подлежащих контрибуции?!

Шатров в ответ на это лишь слегка махнул рукой:

— Плохо вы знаете моего Матвея! Он и на родную свою матушку контрибуцию наложит... Да еще и с надбавкой против других: дабы никто из народа не посмел про него подумать, что вот, дескать, и товарищ Кедров не прочь-таки порадеть родному человечку!

Помолчав, добавил, вскинув голову и выпрямляясь:

— Да мне бы и в голову не пришло просить его об этом. Уверяю вас! Но, будьте спокойны: никакой контрибуции — ни копейки! — я им платить не стану. Завтра поеду к ним, в Совдеп. И прошу вас, Анатолий Витальевич, больше даже и не заикаться об этом. Категорически прошу. И тебя, Ольга!..

Арсений Тихонович давненько не бывал в городе. Будто глуше, тише стал городок. А возможно, лишь чудилось ему это, когда проезжал широкой пустынной главной улицей, — из-за не тронутых снеговою лопатою пухлоблистающих толщ свежевыпавшего снега: глохнет в сугробах звук!

Он ехал в нарядной одиночной кошевке, без кучера, на темно-рыжем сильном коне. Хозяйственным, наметанным оком и не глядя видел многое. Да, еще кое-где лучисто голубеют на солнце, радуя глаз, огромно-цельные зеркальные стекла магазинов, но уж многие наглухо заставлены деревянными щитами во все окно, а иные крест-накрест заколочены досками. Тяжко, горестно было ему смотреть на них, как все равно на око с бельмом!

И давно ли, кажется, вдоль этой самой Дворянской и через Соборную площадь, где сейчас его кошевка кладет едва ли не единственный полоз по нетронутой снежной целине, — давно ли здесь мчались и мчались непрерывною чередою и офицерские щегольские санки-голубки, и осанистые ковровые пошевни «отцов города».

«Говорят, кто из Петрограда, что и Невский вот так же запустел... Да, крутую, крутую кашу заварили — и как-то народу будет расхлебывать!»

Навстречу близился, быстро вырастая в размерах и все резче обозначаясь лицами сквозь морозную мглу, черный большой колышущийся четвероугольник людей. Не толпа, нет, — колонна. Шагают стройно. Будто бы и солдаты. Только одеты кто во что! Одни — в по́льтах, другие — в рабочих стеганках, а иные — в черных и рыжих полушубках. На головах — у кого обымистая меховая шапка-ушанка, у кого — щегольская черная каракулевая шапка, а на ином — суконная зимняя кепка или солдатская папаха.

И обуты — кто в валенках, кто в сапогах. Без винтовок. Издалека слышно: поют. Звонко, четко и грозно колонна пела:

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда!..

И вспомнилось, почти увиделось Шатрову: девятьсот пятый; и вот на этой же самой Соборной площади, и тоже зимой, шел он в голове гневно ропщущих толп под красным, под красным знаменем, и рядом со знаменосцем, и выкрикивал-выпевал — звонко и вызывающе — эти же вот самые боевые, грозные зовы, готовый на все! «Однако, что ж это за отряд? Не иначе, знаменитая Красная гвардия наша. Учатся, видите ли, маршировать! То-то страху нагонят на Гинденбурга, на Людендорфа! Эх, Расея-Расеюшка наша, бедная!»

Отряд между тем надвигался. Шатров крепко хлестнул голубой плоской вожжой коня и стрелой пронесся мимо, объезжая. И вдруг — громкий окрик вслед:

— Гражданин Шатров, гражданин Шатров, остановитеся!

Он осадил коня. Не по себе стало: хорошего не ждал!

Рослый, прямой солдат в серой, ремнем схваченной шинели и в солдатской серой папахе — тот, что шагал то впереди, то сбоку отряда, по-видимому командир, — неторопливым, но скорым шагом приближался к нему.

Стараясь быть спокойным, удерживая левой рукой лошадь, откинувшись вполоборота, Шатров ждал.

— Здравствуйте, Арсений Тихонович! Не узнаете?

И тогда он узнал его. Это был Степан Ермаков, солдат, брат Кости-плотинщика.

Шатров смотрел на него и невольно дивился:

«Да неужели это и впрямь тот самый солдат Степан, что был при смерти год назад в госпитале у Ольги Александровны; которого никто и не чаял видеть живым; тот самый, у которого извлекли из грудной клетки едва не смертельную пулю под гипнозом Никиты свет-Арсеньича моего? Неужели это он? Богатырем глядит. Суворов от такого не отказался бы. Хоть снова на фронт. Такой не дрогнет. За таким — пойдут!»

По-молодому выпрыгнув на снег, Шатров радушно и весело поздоровался за руку:

— Узнал, узнал, Степан Кондратьич! А сперва было нет: прямо-таки витязь стал. Поди узнай тебя!

Степан усмехнулся:

— Богатым быть! — И тотчас же добавил: — Хотя не в моде по теперешнему времени.

— Вот именно. На самом себе чувствую!

Ермаков промолчал.

— Далеконько путь держите, Арсений Тихонович?

— В исполком.

— А! Ну в час добрый, в час добрый!

Затем повернулся к своему отряду, стоявшему по команде «Вольно!», и громко позвал кого-то по фамилии.

Подбежал молоденький, разрумянившийся на морозе паренек-красногвардеец. Запыхавшись, вытянулся перед командиром.

Степан Ермаков секунду молча окидывал его взыскательным взглядом, потом произнес не сурово, но строго:

— Бежать не надо! Позвал командир — подойди скорым шагом. Вот что...

И отдал ему распоряжение, чтобы он сел в кошевку с Шатровым и, пока тот будет беседовать в Совдепе, ввел бы шатровского коня во двор и там побыл, сколь надо.

— Понял?

— Так точно!

Арсений Тихонович спросил Степана о Косте: где он и что с ним?

Жесткое лицо солдата осветилось отцовской улыб-

кой. В полушутку, однако с нескрываемой гордостью в голосе, он сказал:

— Ну-у, до Костеньки нашего теперь и шестом не достанешь! Надо мною, над старшим братом, начальство сделался: военный комиссар красногвардейских формирований при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — вот какой у него титу́л, если его полняком написать. Натощак и не вымолвишь!

Засмеялся.

Шатров и сам был рад подкинуть доброе слово о Константине. О третьем же Ермакове, о Семене, обоим тяжко, муторно было бы и вспоминать. Оба знали, что, раскрытый, как заведомый сотрудник охранки, Семен все же успел бесследно исчезнуть с завода Башкина сразу вслед за свержением царя...

Попрощались.

Когда Степан вернулся к отряду, оказалось, что не все спокойненько отнеслись к его беседе с Шатровым. Пришлось услыхать — впервые — насмешливую и горькую укоризну:

— Что, Степан Кондратьич, видно, тянет твоя душонка поручкаться со старым хозяином, с господином Шатровым?

Он вспыхнул. Но, привыкший к самообладанию, удержался от гневного ответа. Лишь сказал сурово:

— Большой разговор затеваете... Сейчас — не время.

Помолчал. Отогнув рукав шинели, строго глянул на ручные часы в кожаном браслете. Кашлянул, готовя голос для подачи команды, и все же счел нужным заключить:

— Человек человеку рознь!

Знала бы Ольга Александровна, какое решение — и решение давно созревшее — утаил от нее супруг, когда сказал, что никакой контрибуции он платить в Совдепе и не подумает, — знала бы! — тогда еще вопрос: всей своей властью и силой, которыми обладала она и в доме, и в сердце мужа, и во всех его начинаниях и предприятиях, не отважилась ли бы она попытаться остановить решенный им шаг? А он этого и боялся. И потому скрыл.

Арсений Тихонович Шатров принял бесповоротное

решение: добровольно и полностью передать все свои предприятия, заводы, мельницы, вклады в банке в полную собственность государства, народа, власти. Мало этого: он и других промышленников, больших купцов и города и уезда намеревался открыто, быть может даже через воззвание в печати, призвать к тому же. Никакой душевной ломки при этом он отнюдь не переживал: это было в полном смысле *шатровское* решение.

Лицемерие было чуждо Шатрову. Корыстолюбие — это была не его страсть! Корыстолюбцы, скопидомы, стяжатели вызывали у него гнев и брезгливость. Он считал это скудоумием. «Капитал — орудие, сила, рычаг, — говаривал он. — Умеешь им ворочать на благо отечества — владей! А нет — и не прикасайся, не оскверняй! Да разве не я сам вопил еще при Николае, что вешать надо, для вразумления всего имущего сословия, господ банкиров, спекулянтов, утайщиков хлеба, товаров — словом, всех тех, кто наживается от войны, от разрухи, от голода, от крови народной?! Вешать — не вешать, а узду накинуть давно было пора. Будь умнее Керенский да и все Временное правительство, сразу взяли бы под страшнейший, неуклонный, беспощадный контроль всю частную промышленность, банки, оптовую торговлю. А то — ча́чкались, кланялись, уговаривали!

Собрать воедино силы всей земли — только этим, быть может, и спасется Россия!..»

...Совдеп занимал отобранный у старообрядца купчины Вохрамеева просторный, но неуклюже-причудливый каменный двухэтажный дом.

Приходилось Шатрову, да и не раз, побывать у прежнего хозяина этих палат в те еще времена, когда он, Арсений Шатров, обивал пороги здешних толстосумов, пытаясь объединить их нерадивые, ме́шкотные, вслепую и вразнобой ворочавшиеся капиталы в единую и всемогущую в его мечтаниях «Урало-Сибирь».

Трудновато было узнать бывшую вохрамеевскую приемную внизу, с ее мертви́зной и пустынной чистотою покоев, озаренных скупыми окнами да бледным светом неугасимой лампады перед образа́ми!

Сейчас Шатрову показалось, что он протиснулся в

переполненный людьми вокзал — такой стоял несусветный гомон, до того было тесно, душно и парно! А главное — тоскливо и тревожно!

Всех людей, теснившихся здесь, Шатров заведомо знал. А признал не вдруг: вот до какой степени изменяет облик человека его одежда!

Вот Бычков, Сударкин, Загуляев — всю войну крупнейшие поставщики на армию, наследственные миллионщики; вот скотопромышленник Седых, владелец больших кожевенных заводов; мучник Чашников; хозяин городских бань Дунькин; владелец единственного в городе синематографа Лихерман, и аптеки — Рубинчик... А там уже толклись предприниматели помельче и просто домовладельцы.

Но где бобровые, с черным котиковым верхом, княжеские шапки? Где необъятные, распашистые оленьи и медвежьи до́хи? Скунсовые и собольи воротники?! Нету их! И не вдруг-то признаешь Агапия Седых или Калистрата Чашникова в поношенной дубленой борчатке или в порыжелом пальтишке. Головные же уборы столь были жалостны, что у всех были попросту засунуты в карман, смятые в комок.

И ни один не посмел остаться в шапке!

Тесовой, неструганой, как видно, наспех ставленной переборкой огромная комната была перегорожена надвое. Там, за перегородкой, в головной, малой части, сидело совдеповское, незримое для толпы вызванных, начальство вместе с мобилизованными бухгалтерами и счетоводами из местного банка.

У переборковой двери стоял с винтовкою на ремне слесарь с металлургического завода Башкина — красногвардеец. Выпуская очередного, он по списку выкликал следующего и затворял за ним дощатую дверь. Изредка возвышал голос, просил быть потише.

Но едва только из распахнувшейся дверцы выпускали очередного «облегченного» через контрибуцию, с лицом распаренно-красным, как только что из бани, — тут сразу стихали все! А этот шел, все еще без шапки, никого не видя перед собою широко разверстыми очами, что-то шепча и никому ничего не отвечая.

В наступившей тишине красногвардеец громко называл очередную фамилию «стригомого».

Иной не выдерживал, украдкой крестился.

Шатрова почему-то встретили громкими возгласами, не то радостными, не то злорадными:

— Шатров?!

— Арсений Тихонович?!

— И тебя, значит, потревожили!

Его окружили толпою. Засыпали вопросами и советами. Кто-то из благожелателей шептал на ухо, что начальника «контрибуционной комиссии» зовут Агат Петрович Копырников. И что лучше, если не называть его «товарищ Копырников», а наименовать по имени и отчеству.

Шатров, протиснувшись сквозь толпу, стоял спиной к подоконнику. Осматривался. Шум вокруг него не утихал. Он смотрел на них и невольно усмехнулся от мысли, пришедшей ему в голову: «А знали бы вы, голубчики, с чем сюда приехал Шатров, — на мелкие частички разорвали бы Шатрова!»

Усмешку эту заметил на его лице кто-то из стоявших поближе и назидательно и предостерегающе произнес:

— Смешного тут мало: плакать надо!

В ответ Шатров громко рассмеялся:

— Я тому смеюсь, что к чему этот маскарад? — Он повел рукою над головами толпы. — Прямо-таки ряженые! Кто это вас надоумил?

Дождаться ответа ему не пришлось. Внезапно дощатая дверца распахнулась, и, наклонясь, чтобы не ушибить голову, вышагнул в приемную высокий тощий солдат в защитке, в синем галифе и обмотках.

Когда он распрямился, Шатров увидел, что глазная впадина левого глаза закрыта у него черным шелковым кружком, на черном же шнурке через затылок. Увидел — и узнал, и невольно содрогнулся. Это был тот самый, с выбитом оком солдат, чью солдатку «сводил на мешки» Кондратьич, Семен, проклятой памяти. Так вот он, оказывается, кто — этот грозный Копырников Агат Петрович! Ну что ж!..

А солдат, поведя головою, осмотрел всех и вдруг выкрикнул гневным, высоким голосом:

— Что расшумелись?! Сколько раз говорил вам: пришли в государственное учреждение — будьте любезны, граждане, соблюдать дисциплину: людям работать нет возможности!

Затем обратился к Шатрову:

— А! Господин Шатров изволили пожаловать? Милости просим, милости просим!

И затем — язвительно:

— А шапочку-то у нас здесь сымают, сымают! Хотя богов мы отсюда и повыносили! Шапочку-то уж извольте снять!

Шатров почувствовал, как волна гнева ударила из глубины сердца во всю его голову. Секунду боролся он с нею, силясь удержаться от резкого ответа, и — не смог: «А! Будь что будет!»

На его беду, он, в накате гнева, ненароком переиначил фамилию кричавшего на него солдата:

— Позвольте, товарищ Купырников, я только-только вошел! Не успел оглядеться, и вы мне замечание делаете, при всем честно́м народе! Можно бы и без этого: мы люди взрослые, я не школьник-мальчишка, вы — не директор училища!

И тогда солдат, в беспамятстве ответного гнева, неистово заорал:

— А! Так вот *ты* как разговариваешь в Совдепе рабочих, солдатских и крестьянских депутатов? Провокации сюда пришел устраивать?! Подрывать авторитет рабоче-крестьянской власти?!

— А вы мне не *тыкайте,* товарищ Купырников! Вы — помоложе меня: я в отцы вам гожусь!

— Вон еще что! Уж вы извините нас, *господин* Шатров: мы — народ неученый, в гимназиях не учились! Очень уж гордо вы себя выставляете! Но я хоть и оставил одно око свое там, в Галиции, куда вы нас гнали на убой, господа капиталисты, а я нутро ваше классовое вижу и одним глазом насквозь: кто вы есть! Я сейчас вами распоряжусь!

Выкрикивая эти слова, товарищ Копырников вне себя сбросил на пол наглазную черную повязку, словно бы она мешала ему, и открыл свой истёклый глаз.

Обернулся к часовому-красногвардейцу:

— Двоих! И — со стола мой блокнот!

Тот исчез за тесовой дверью. И тотчас же, с винтовками на ремнях, оттуда вышли еще двое красногвардейцев-рабочих и остановились, ожидая приказа.

Товарищ Копырников подал им размашисто напи-

санную записку, вырвав лист из блокнота. Пальцем указал на Шатрова.

— Этого вот... гражданина! А это, — кивнул на записку, — вручить комиссару тюрьмы!

Шатрова вывели на улицу. Красногвардейцы шли — один справа, другой слева от него. Городская тюрьма стояла на окраине. Шли долго. По мостовой. Было убродно от обильно выпавшего снега. С лица капал пот. Арсений Тихонович расстегнул шубу.

С тротуаров глазели. Иные долго провожали глазами. И однажды донеслось:

— Ой, да смотрите вы, смотрите: опять кого-то ведут!

И другой голос — тоже женский, охнув, подхватил:

— Да никак Шатрова, никак самого Шатрова повели!

Заждался возвращения «гражданина Шатрова» из Совдепа паренек-красногвардеец! Давно уж управился он с лошадью, как велено было от командира, от товарища Ермакова, — и заскучал, и перезяб, и накурился, что аж зазеленило в глазах и сделалось моркотно.

Пошел поискать. Шатров — человек в городе приметный. Спросил сторожа исполкомовского, истопника. Тот долгонько-таки молча оглядывал паренька: не то посмеивался глазами, не то соболезновал. И сперва спросил:

— А ты кто ему будешь: свой али в работниках у него?

— Нет, а велено мне...

И не сказался — кто. От смущения.

И тогда старикан провещался:

— В тюремном за́мке ищи своего Шатрова. В остроге.

Зловеще подмигнул и отошел.

Остолбенел...

Еще не скажи бы он так, старик, а скажи попросту: мол, в тюрьме, — не ошеломило бы так! А то — в остроге, в тюремном замке, — дело, видать, нешуточное!

На шатровской же лошади красногвардеец помчался к своему командиру — доложить.

И виду не подав, сколь взволновало его это внезапное и недоброе известие, Степан Ермаков сразу же решил, что нужно немедленно известить обо всем брата: Константин — уездный военком, а через это самое — он

и член Совдепа, заведующий военным отделом исполкома: для тюрьмы он — начальство!

Похвалив красногвардейца за сметку и быстроту, Степан отпустил его и один, без кучера, на шатровской лошади помчался к брату.

Шатров услыхал, конечно, клямканье и лязг железных дверных затворов, и шум и стук шагов, когда Константин Ермаков с комиссаром тюрьмы входили к нему, в его полутемную, сырую и холодную одиночку, однако и головы не поднял, и не повернулся даже.

Тюрьма отоплялась плохо, и Арсению Тихоновичу оставили и шубу, и шапку, и вообще всю его одежду, в которой его взяли. Новое, советское начальство тюрьмы еще не установило новых тюремных распорядков. Старых — стыдились. Одним из немыслимых в старое время послаблений было и то, что заключенных оставляли в своей одежде: в пальто, ватниках, полушубках и даже шубах. Меньше заботы и меньше жалоб, что мерзнут. Подвоз дров в город сильно упал — мужик в керенки не верил, пресытился, а дровяную и гужевую повинность наложить на окрестное население исполком Совдепа еще не решался: не озлобить бы «мужичков» — сибиряк лют!

Комиссар тюрьмы оставил Константина Ермакова наедине с заключенным: так было условлено.

Шатров не шевелился.

«Спит, должно быть!»

Осторожно ступая, Константин приблизился. Тяжко вздохнул от нахлынувших дум и воспоминаний. Негромко позвал:

— Арсений Тихонович!

Шатров поднял на него мутно-далекий взор. Свел брови, всматриваясь. Не узнал. Да и трудно было узнать былого Костеньку, румянощекого и круглолицего паренька, светло-русого и синеглазого, вечно веселого, в этом строгом, властно-подтянутом военном начальнике, офицерски одетом, только что без погон.

Не вдруг узнал бы и Костенька своего бывшего хозяина: «Эк перевернуло старика! Ну еще бы!»

В глазах Шатрова сверкнула искра душевной боли и гнева. Отчужденно-язвящим голосом, и враз выпрямившись, он сказал:

— Ну?! Что вам еще от меня угодно?

Костя чувствовал, как слеза хочет вот-вот пробиться у него — и от этих слов Шатрова, жалостно-высокомерных, и от всего его вида: и подавленного унижением, и несломленно-гордого, — и внутренне подверг себя волевому окрику: часто, ох как часто приходилось ему теперь, комиссару красногвардейских добровольческих формирований в городе и в уезде, прибегать к такому окрику на самого себя, дабы остановить накатывавшуюся не вовремя душевную размягченность!

Светлым и как бы прежним, что на Тоболе, голосом он проговорил:

— Это я, Арсений Тихонович, Костя Ермаков! Неужто не узнали?

Шатров был явно ошеломлен. Дрогнуло что-то в его лице. Еще мгновение — и его осунувшееся, омрачневшее лицо облилось бы слезами. Но и он совладал с собой! И опять, напустив на себя покорствующую подневольно, но и язвящую гордость, ответил на этот возглас Кости сурово и отчужденно:

— Теперь вижу. Узнал... Жду приказаний ваших, товарищ комиссар. Шатров готов ко всему!

И встал, уронив с плеч на железную, впаянную в каменный пол острожную кровать свою пышную шубу, накинутую нао́тпашь.

Константин рассмеялся — не обиделся: уж ему ли, за столько лет, проведенных у Шатровых, не знать было норов старика!

— Да что вы, Арсений Тихонович! Просто обидеть меня хотите! Я сломя голову мчался — на вашей же, кстати, лошади, — как только Степан сказал мне, что с вами... что какой-то дуролом этак обошелся с вами. Я за вами приехал. Формальности все я сделал. Едемте!

Шатров, не покидая в голосе все той же отчужденности, угрюмо спросил:

— Куда?

— Да куда хотите, хоть к себе домой. Или в госпиталь, к Ольге Александровне. — И, спохватившись, добавил: — Только вперед повидаться вам придется с одним... начальником. Хотел лично с вами поговорить...

— А это еще зачем? Ведь вы сказали, что я совершенно свободен. Так нельзя ли без этого... визита?

— Никак нельзя, Арсений Тихонович, ну никак! Он над всеми нами начальник, не только надо мной. Приказ есть приказ, Арсений Тихонович!

— Ну что ж! Тогда ведите. В вашей власти!

Начальник, по приказу которого военком Ермаков ехал к нему с Шатровым, обитал в «Сибирской гостинице». Номер на втором этаже был однокомнатный, но с прихожей, узкой и довольно светлой, где стояла пишущая машинка на особом столике. За нею сидел и печатал некто, вроде вестового, с длинным зачесом прямых волос, молодой, безбородый, в пенсне в золотой оправе, со шнурком.

Когда вошли, он приветливо их встретил. Пригласил раздеваться. Указал на большое зеркало в передней. Помог Шатрову снять его тяжелую шубу.

«Начало как будто неплохое. Что-то будет дальше?»

А дальше произошло нечто совсем неожиданное.

Едва только Арсений Тихонович, приняв сугубо замкнутый вид и осанку независимого, хотя и угнетенного достоинства, шагнул в большую, зимним солнцем озаренную комнату, раздвинув дверные завесы, как навстречу ему стремительно кинулся некто в военном и, приобняв за плечи, радостно расцеловал.

И тогда только Шатров узнал в нем Матвея Матвеевича Кедрова.

До чего ж может измениться человек!

Где былая сутуловатость? Где впалость щек? Очки? Где, наконец, золотисто-рыжеватый, тупой клинышек «интеллигентской» бородки и мягкий, жиденький, опущенный в бородку ус? Ничего этого нет. Перед Шатровым, уже усаженным в кресло, то упруго шагал, то вдруг останавливался, обращаясь, крепкогрудый, подбористый, легкий в движениях, нестарых лет военный, румяно-бритый, с короткой щеточкой усов.

Военком Ермаков почти тотчас же оставил их беседовать наедине. Вообще, Шатрову бросилось в глаза, что Константин вроде бы по-военному *тянется* перед Матвеем: даже не сел, несмотря на приглашение. И вскоре же, взяв под козырек, сослался на неотложные дела и распрощался.

Напоследок, обращаясь к Шатрову, он сказал заботливо:

— Арсений Тихонович, вы уж, пожалуйста, не беспокойтесь: я, еще едучи к вам... — тут он слегка замялся, стараясь избегнуть слова «тюрьма», — туда, позвонил Ольге Александровне: что будьте спокойны, недоразумение, что все хорошо.

И впервые, когда он произносил эти слова, слегка склонясь перед Шатровым, словно перед больным, Арсений Тихонович посмотрел на него потеплевшим взглядом. Но ничего не промолвил в ответ, лишь кивнул головой.

Как только они остались одни, Матвей Матвеевич, скрестив руки на груди, слегка привалясь спиною к письменному столу своему, ласково улыбнувшись, обратился к Шатрову:

— Ну, дорогой мой *узник*, что же все-таки случилось? Расскажи мне.

Но не надо было ему произносить этого злополучного слова «узник»! Он и сам тотчас же увидел это, но уж было поздно.

Судорога внезапно остановленной душевной боли пробежала по исказившемуся лицу Шатрова, и оно вновь застыло в замкнутости. С горькой, но и полунасмешливой укоризной — не то к самому себе, не то к тем, кто подверг его только что перенесенному унижению, — он, отводя взор, ответил:

— Что вы, товарищ Кедров, какой там «узник»! Чересчур важно! Провели по городу с двумя стражниками *арестанта* Шатрова — только и всего. Что ж тут рассказывать? Если, товарищ Кедров, нету касательно меня никаких распоряжений, если могу считать себя свободным, так позвольте мне избавить вас от своего присутствия!

Говоря это, он уже стоял перед Кедровым, склонив даже голову перед ним, и ждал.

И тогда перед взором Матвея Кедрова словно бы распахнулось на миг это уничиженное сердце!

— Нет, нет, Арсений, больше — ни слова! И слушать ничего не стану. Давай сперва чайком подкрепимся. По-сибирски. Вдосталь. Ты посмотри, какой чаек завариваю! Хозяйка ни одна такого тебе не сделает: отваги не хватит. В неженатой жизни тоже есть свои преимущества! Подыми-ка стакан против света: темно-вишневый, с пламенем! А запах, благоухание? Да ты только вдох-

ни! И стынуть, стынуть ему не давай! И вот эту скалу рафинада — туда ее: чтобы и горяч да и сладок был чай. Ей-богу же, богатырский напиток! Грешен: страстишки этой никак искоренить не могу!

Тут, на этом слове, уже немного оттаявший душою Шатров, улыбнувшись, перебил его:

— Совсем святым хочешь быть?

Матвей смутился. Мальчишески зардевшись, пробормотал:

— Ну ты это тово... Тихоныч! Я вот чуть себе руку не обварил из-за тебя. Полно! Давай-ка вот принимайся, не чинись: перемерз ведь! И я хорош хозяин: должен был сообразить, до чего эта вся идиотская история вымотала, изнурила тебя. Пей, пожалуйста, ешь! Сколько разов — без счету! — я у тебя бывал гостем, побудь в кои-то веки и ты у меня!

И не хуже любой хозяйки, и радушной и опытной, хлопотал Матвей Матвеевич Кедров над клокочущим на расписном цветастом подносе самоварчиком, заваривая и разливая крепкий, душистый чай и угощая. Но не судьба, видно, им была отдохнуть беззаботно за чайком, без разговоров о наболевшем, — нет, не судьба!

Началось как-то неожиданно для обоих.

В комнате Матвея, хотя это было и в гостинице, пространство между оконными рамами зимою служило как бы домашним холодильником. И сейчас, отпахивая раму, Кедров доставал оттуда хлеб, сало, колбасу, сливочное масло.

С масла все и началось!

Развертывая над столом хрусткий пергамент, хозяин озабоченно понюхал белоснежную, лоснящуюся поверхность застылого масла с выпуклым, выдавленным на ней цветком — знаком фирмы. И тогда гость позволил себе гордо пошутить:

— Что нюхаешь? Шатровское маслице: можешь быть спокоен! К завтраку английского короля требовали только шатровское «парижское» масло. Хотя господа датчане ухитрились выдавать его за свое.

В последний год войны Арсений Тихонович вновь, и даже по соглашению с Союзом артелей, взял на себя открытие новых маслодельных заводов там, где считал это нужным. А союз перестал расширять свою сеть. Причиной была беспощадная подводная блокада, объ-

явленная Германией: морской вывоз масла за границу стал затруднен. Однако право общего экспорта принадлежало по-прежнему Союзу артелей; за Шатровым же оставлено было право на его масле ставить его собственный знак.

Кедров ответил:

— Знаю. А вот не угодно ли будет узнать прославленному маслозаводчику и мукомолу, что буквально вчера комиссия Совета забраковала, пустила на смазку около трехсот бочонков шатровского масла? Ибо есть его никто не станет. И не угодно ли ему узнать, что и шатровская мучица — двенадцать вагонов, которую мы погрузили было для фронта, — тоже пойдет на свалку?

Шатров побагровел. Голос перехватило. Хрипнул. Порывисто оттолкнул стакан чаю, расплескав его на блюдце. Хотел встать.

— Матвей... этим не шутят!

Кедров удержал его:

— Не шучу. Но ты здесь ни при чем. От тебя и масло и мука приняты были по самой высшей кондиции. Как всегда, надо сказать, к твоей чести. Есть акты. А за дальнейшее ты не ответчик. Только и мука и масло насквозь провоняли керосином. Просто? Да? Да не так-то просто! Ведем следствие. И прямо тебе скажу: дешево не отделаются, голубчики!

И вот что из уст Матвея услышал Арсений Тихонович Шатров...

...Когда разруха железных дорог, неимоверно возросшая от неслыханных дотоле снежных заносов, от неподачи топлива, от стужи, от преступного саботажа, почти совсем остановила еще недавно непрерывно-могучий поток продовольственных грузов из Западной Сибири за Урал — к заголодавшим городам России, к фронту, — то отправители этих грузов — мучники, мясопромышленники, маслоделы — принуждены были все осевшее на месте заготовок продовольствие разместить на городских складах.

Ведала, руководила этим размещением прежняя продовольственная управа, преобразованная при Керенском в комитет. Совдеп еще не успел к тому времени создать своего продовольственного отдела. Было не до того. В середине ноября полковник генерального штаба, председатель совета Всероссийского союза ка-

зачьих войск, он же наказной атаман Оренбургского казачьего войска, и по совместительству чрезвычайный комиссар Керенского по продовольствию, Александр Ильич Дутов захватил Оренбург и тотчас же от имени казачьего войскового круга объявил не больше не меньше, как «войну» Совету Народных Комиссаров. К нему примкнули казахские и башкирские матерые националисты, баи, обладатели несметных отар и табунов, наследственные, родовые феодалы неисследимых тургайских саванн и прерий. Осажден был Челябинск. Кустанай не пустил к себе советскую власть. Дутовцы похвалялись: «Через Урал Советы перехлестнули, а о Тобол споткнутся!»

У Совдепа были все основания оставить дело продовольственного снабжения в старых, опытных руках продовольственной управы. Ее состав был известен: заслуженные кооператоры и почти сплошь специалисты, большей частью эсеры, несколько меньшевиков — членов Совдепа. Из людей торгово-промышленного сословия — наиопытнейшие «спецы» своего дела, такие, как Чашников или Бычков. Однако высшее руководство принадлежало кооператорам и заведомым специалистам. Так что и не было как будто и причин у Совдепа бить тревогу, ломать готовый уже многоопытный аппарат снабжения. Искать новых людей, которых, кстати сказать, и не было под рукою.

Совдеп взывал в листовках и в газете:

«Все силы на разгром Дутова! Многомиллионная армия — там, на далеком западе, на тысячеверстном кровавом фронте, в заваленных сугробами окопах, — и мерзнет и голодает.

Когти голода терзают пролетариат столицы и многих, многих городов России. Красногвардеец! Доблестный сын трудового народа! На тебя надежда: разбей сокрушительным ударом гнусную дутовскую «пробку» на железных путях под Оренбургом и у Челябинска!»

И когда наконец «дутовская пробка» была пробита рабоче-красногвардейскими отрядами, Совдеп стремительно двинул составы с продовольствием в Петроград, в Москву и на австро-германский фронт, который все еще удерживала, изнемогая, преданная на муки голода, холода и болезней, старая армия.

Срочно опустошались склады.

И вот двенадцать вагонов муки, триста бочек сливочного масла, взятые со складов, оказались столь провонявшими керосином, что оставалось их выбросить!

— Да что они — облили их керосином?!

Кедров горестно усмехнулся:

— Зачем? Люди многоопытные. Работа в перчатках: чтобы отпечатков пальцев не оставить! Просто-напросто велели и мешки с мукою, и масло поместить в склады, в коих до этого стояли бочки с керосином. А мука и масло — они хватки на запахи! Поди уличи! В крайнем случае ошибка, скажут, недосмотр!

У Шатрова глаза налились кровью:

— К расстрелу, к расстрелу, сукиных сынов!

— Однако ты суров, Арсений Тихонович! А мы вот, советская власть, «жестокие большевики», все еще слабеньки насчет этого. Либеральничаем. Генерала Краснова, разгромив, отпустили домой, на «тихий» Дон, под честное его офицерское слово! Пуришкевича — подумать только, самого Пуришкевича! — да еще и пойманного во главе военного заговора, подержали, подержали малость под арестом да и выпустили! А уж его ли было не расстрелять?! Нет, видать, не расстрельщики мы. И не хотим ими быть. Ибо за нами сила, масса, народ. Нас «узурпаторами» лают, захватчиками власти, насильниками над революционной демократией. Мерзкая эсеро-меньшевистская, кадетская ложь! Злобная и своекорыстная. Мы — избранники народа. Да, избранники! Истинные. Неодолимым, неисчислимым большинством народа призванные к государственной власти. Несметный, многомиллионный, могучий, но на самом краю погибели стоящий народ ринулся к большевикам, к Ленину, к подлинно советской власти — к единственному своему спасению. Так склонитесь же перед волей *большинства* вы, кричащие о *демократии!* Это я не тебе говорю. Это я *им* кричу, зачинателям кровавой гражданской войны, гнусной кучке — милюковым, керенским, калединым, дутовым и всем, иже с ними: бросьте, бросьте, господа, свои кровавые затеи! Они дорого могут вам обойтись! Никто власти у Советов не отнимет. А только — больше озлобления, больше крови, больше муки народной. Затяжка голода, разрухи, затяжка бессмысленной, преступнейшей — да, из всех войн преступнейшей! — чудовищной бойни, обращающей в трупы, в тру-

пы и в неисчислимые полчища калек цвет России, да и не только одной России, а и всего человечества!

Шатров слушал угрюмо. Молча. Кедров пытливо посмотрел на него. Наконец не выдержал:

— Вот что, Арсений, давай по совести. В открытую. Не таясь. Как прежде. Верной дружбы и старой приязни ради. Чать, не один пуд соли съедено! Я ль не знаю тебя, ты ль меня не изведал! В девятьсот пятом одной душой жили. Одинаковую смерть готовы были принять. Знаю, что не обо всем ныне одинаково мыслим. Но вот хотя бы и теперешнее решение твое, с чем ты приехал к нам, в Совет, — разве же одно решение это... не говорит мне оно — да и каждому, кто способен мыслить, — что в твоем лице отнюдь не врага советской власти мы должны видеть?

— Был бы враг — не дождались бы Шатрова! Только, видно, не все так думают, как ты... По всему городу провели!

И опять от воспоминания о только что перенесенном унижении влажно блеснули сузившиеся глаза, кровь кинулась в лицо.

Кедров досадливо поморщился:

— Да уж полно тебе об этом! Все выяснилось. Головотяпства, срывов у нас еще немало. С товарища спросится! Должен же ты учесть, какое время переживаем... Не будь злопамятен!

— Ну-ну! — В голосе Арсения Тихоновича прозвучал как бы стыд за свою укоризну. — Продолжай, о чем хотел. Откровенно отвечу.

— Чудесно. Ты вышел из народа. В пятом году был с нами. Свержения самодержавия добивался. О народе скорбел. Царскую клику всегда ненавидел. Керенского презирал. Стяжателем, выжимателем пота не был. С окрестным крестьянством отношения у тебя были хорошие. Служащие твои, рабочие и по сие время к тебе относятся хорошо. Рабочему контролю ты ничуть не противился. Не то что другие из твоего, уж извини, пожалуйста, торгово-промышленного сословия, или, по-нашему говоря, класса. А у нас ведь Совдеп прямо-таки завален жалобами, протестами, постановлениями рабочих. Вот, к примеру, решительно требуют отобрать турбинный завод у господина Башкина... А он, в свою очередь, тоже жалобами нас засыпает: рабочий контроль,

видите ли, мешает ему руководить производством, снимаю, говорит, ответственность за выполнение срочных военных заказов!

При этих словах Матвея Шатров самодовольно усмехнулся:

— Нет, мне мой деловой совет из моих же рабочих, засыпок, служащих — словом, «пятерка» моя ничуть не помеха! Да и Ольга Александровна не жалуется. На своих.

Кедров спросил удивленно:

— Ольга Александровна?

— А как же! И у нее в госпитале совет. Совет содействия, так он, кажется, именуется. Санитары. Фельдшер аптечный. А председатель — санитарка, заведующая бельем. Кастелянша. Ну вроде завхоза.

— И что же?

Кедров необычайно оживился. Залюбопытствовал с каким-то особым и несколько лукавым весельем:

— И неплохо идет дело? Без трений?

— Никаких трений! Напротив: очень, говорит, разгрузили. Вздохнула свободно.

— А председательница эта — она кто такая?

— Вдова, солдатка... Мужа убили на фронте. Уж после революции, как раз во время этого злосчастного июньского наступления... А у нее двое ребятишек. Нужда. Ну и попросилась на работу в госпиталь. Ольга Александровна приняла. А теперь вот сия Ефросинья Филипповна в новой роли: вроде бы и начальство над всеми! «Комиссар Фрося» — так ее и зовут в госпитале: за глаза, конечно. Я видел ее: женщина энергичная, мощная. И... к слову пришлось: хороша и собой. Встречный и на бегу оборотится. Да и не раз!

При этих словах как бы улыбка припоминания осветила лицо Матвея Матвеевича.

— Постой, постой... Да и я ее знаю. Ну как же: когда я еще писарем волостным был в твоей Калиновке, она же сколько раз приходила ко мне в волость за пособием своим, как солдатка. Да, да, как сейчас, ее вижу: дородная эдакая, но не через меру. Русская красавица. Громкоголосая. Глядит смело. Черные волосы, гладко причесанные. На прямой пробор. Глаза черные, большие. И еще что мне запомнилось: большущие у нее серьги были, дутые, висячие. Тоже бросались в глаза...

— Эти сережки свои она давно сняла. Ну их, говорит, к лешему. Из-за них, говорит, на тебя несерьезно смотрят, куда если придешь за делом. Да и в госпитале из-за них, из-за этих висюлек бабьих, тоже дисциплина, говорит, среди солдатиков падает...

Кедров рассмеялся:

— Представляю! И что же, Ольга Александровна ладит с ней, с «комиссаром Фросей»?

— О, еще и как! Если бы, говорит, мне раньше такую Ефросинью Филипповну судьба послала, сколько силы, сколько здоровья я бы сберегла! Да и для всего госпиталя было бы куда лучше. Она и быстра, и строга, и душевна. Соринку своими глазищами черными и ту увидит. А в палатах тяжелые раненые и те по утрам ждут ее не дождутся: и развеселит и утешит. А уж если для госпиталя, будьте уверены: добьется. Ольга Александровна мне про нее в шутку, бывало, и говаривала: Фросенька моя — это другая *я*, алтера эго! Власти, говорит, перед ней трепещут городские. Но одним огорчается: с другой ее помощницей ближайшей Ефросинья Филипповна прямо-таки на ножах!

...А они и впрямь — Кира Кошанская и Ефросинья Филипповна Голубых, «правая и левая рука» Ольги Александровны Шатровой, — были действительно на ножах друг с дружкой.

И начала Фрося. Кошанская же — та словно бы и не обратила сперва особого внимания на ее приход в госпиталь. Свое место при Ольге Александровне: личный секретарь, машинистка, «министр внешних сношений» (как в шутку иной раз называла ее Шатрова), Кира Кошанская считала прочным, от всех посягательств огражденным.

К тому обстоятельству, что солдатка Фрося оказалась, по своему назначению от Совдепа, еще и председателем военно-рабочего контроля в госпитале Шатровых, Кира отнеслась, как многие из ее круга, с гримасой умудренного долготерпения: пусть их потешатся товарищи! Чистейшая демагогия. Лишь бы всерьез не забрала себе в голову, что она, мол, начальство!

Но у Ефросиньи Филипповны как будто и в мыслях не было этого. Правда, иные бумаги по госпиталю помимо подписи главврача полагалось теперь «скреплять» еще и подписью «комиссара Фроси», и, принимая такую

бумагу для перепечатки, Кира Кошанская с плохо скрываемой, хотя и безмолвной насмешкой задерживала свой взгляд на разлатых, перекошенных каракулях: «Ф. Голубых».

Возможно, Ефросинья Филипповна когда-нибудь и заметила это. Заметила — но смолчала.

Что-то вроде беспокойства и ревности начала Кира испытывать, когда не раз и не два ее поездки к властям на добывание разных необходимостей для госпиталя окончились ничем, а посланная вслед за нею Ефросинья Филипповна добилась всего.

Ради пользы дела и Ольга Александровна, и главврач доктор Ерофеев принуждены были и впредь считаться с этим.

Так вот и возникла на первых порах у Шатровой поговорка: «Кирочка и Фросенька — это у меня как правая и левая рука!»

Но если правая с левой на ножах, то долго ли и до беды?!

Кстати сказать, если Кира Кошанская вплоть до появления Ефросиньи Филипповны в госпитале даже и не подозревала о бытии таковой, то для Фроси она была и презираемой и ненавистной еще с тех пор, когда солдатка Ефросинья Голубых, приезжая со своим жалким помолом на мельницу к Шатровым, видывала не раз, как в кавалькаде, выезжавшей из шатровских ворот, красовалась и эта, похожая на тюльпан, девушка — гордая и словно бы поверх людей глядящая, как с трона, со своего дорогого седла.

Однажды, когда Ефросинья Филипповна, взвалив с помощью других помольцев мешок с зерном на плечо, убыстренным шагом несла его в проезде меж возами, Кира чуть не наехала на нее.

Фрося, окликнутая кем-то, посторонилась.

А у Киры лишь вырвалось:

— Ну что вы, голубушка? Надо смотреть!

...Как-то в кабинете Шатровой, в ее отсутствие, между Кирой Кошанской и Ефросиньей Филипповной произошел роковой разговор.

Кира печатала что-то на машинке. Тут же была и Ефросинья Филипповна.

Кира приостановила бег своих пальчиков, вынула из сумочки зеркальце.

— Кира Анатольевна...
— Да? (Не отрываясь от зеркальца.)
— У вас какой номер туфель?
Удивленно:
— А что?
И потом — с гордостью:
— Тридцать четвертый!
Молчание. И затем полнозвучный, спокойный голос Фроси произносит как нечто заведомо решенное:
— Ну тогда вот эти вам как раз будут впору!
Тут, изумленная, не могла бедная Кирочка не взглянуть:
— Что «впору»?! Я вас не понимаю.
— Тапочки.
— С ума сошли! Да кто вас просил?!
— Никто не просил. А непорядок. Должны бы и сами понимать! Госпиталь. Не на бальные танцы приходите. Все в тапочках, а либо ходят, как в больницах положено, — не беспокоят больных, а от вас только стукоток по коридору стоит!
И Ефросинья Филипповна и голосом попыталась изобразить этот Кирочкин «стукоток», и быстрым-быстрым перебиранием пальцев.
Кира вспыхнула от негодования. И в первый миг слов лишилась.
А Ефросинья Филипповна еще и добавила:
— Да и локоны свои надо бы вам не распускать, а под косыночку забрать: аккуратнее будет!
— Черт знает что! Но я же, как вам известно, не палатная сестра, в палатах не бываю. Я — секретарь Ольги Александровны...
— Все едино! Секретарь не секретарь, а все равно, когда вы простукаете по коридору, то даже в голове отдается у раненого, который коешный. Да и то неправда ваша, что в палаты не ходите. Когда австрияков привозили, так за вами специально посылали: разговаривать с ними по-ихнему!
Кирочка отфыркнулась возмущенно:
— Каких «австрияков»?
— Ну, ин чехов, по-вашему.
— Так бы и говорили! Кто же виноват, что вы почешски говорить не выучились?
Ефросинья Филипповна в ответ сперва лишь осуж-

дающе покачала головой: дескать, э-эх! И все же нашла ответ:

— Извините за необразованность нашу: не удосужилась! А напоследок и то вам скажу, что в нижнем этаже, сами знаете, нервные трамватики у нас: им эти каблучки прямо по мозгам отдаются!

Кира усмехнулась, не преминула поправить:

— *Травматики,* вы хотели сказать... товарищ Голубых?

Но Ефросинью ли Филипповну смутить было насмешкой:

— Абы поняли! — И царственно изошла, не забыв, однако, поставить тапочки поближе.

Вернувшуюся из поездок по городу Ольгу Александровну Кирочка Кошанская встретила дичайшей истерикой. Шатрова наглухо закрыла тяжелую дверь, чтобы не слыхать было в коридоре госпиталя, и даже заперла на ключ.

Сквозь скрежетание зубов и всхлипы вырывалось:

— О, как я ее ненавижу! Хамка! Со мной, со мной посметь разговаривать так?! И всех, всех их ненавижу! Господи, скоро ли им конец?!

Когда же пришла в себя, решительно заявила, что с этой «горгоной» она больше ни единого дня работать в госпитале не будет.

Опечаленная потерей такой давней и безупречной в работе своей помощницы, Ольга Александровна все же принуждена была откровенно сказать, что сейчас, при новой власти, она, Шатрова, уже не хозяйка в госпитале — он в ведении исполкома. Фрося же и член Совдепа, и председатель совета содействия у них в госпитале.

— И по существу, Кирочка...

Тут Ольга Александровна остановилась, подыскивая слова, которые не обидели бы ее.

Та вскинулась:

— Что «по существу»?

— По существу, она... имела известное право сделать такое замечание... пусть даже и не совсем удобное по форме...

— Ах так?!

И Кошанская с мрачною укоризной лишь покачала головой. Обе смолкли.

Кира призадумалась. Хорошо, из госпиталя она уйдет сегодня же. Это решено. Ну и что потом? Придется срочно куда-нибудь устраиваться. Ведь по городу упорно ходят слухи, что вот-вот введены будут «трудовые книжки», да еще с еженедельной отметкой: где и какую работу выполняешь? И если ты совершеннолетняя, а нигде не служишь, то пошлют либо на заготовку дров, а либо «сортиры чистить», хоть ты с каким угодно будь образованием. Любимое словечко теперь «спущено» из центра на вооружение этих наших, местных Маратов: «тунеядцы»!

Вошел Никита Арсеньевич — «доктор Шатров» — так чаще всего здесь, в стенах госпиталя, именовали его, и даже родная матушка: на людях — непременно, во имя дисциплины, но иногда и наедине, ради материнской, ласково-гордой шутки. Все еще не могла никак привыкнуть, что Никита и в самом деле врач, да еще и «местное светило», как поговаривали о нем в городке. В качестве такового он и сейчас, как психиатр и невропатолог, только что отбыл внизу трудный, многочасовой консилиум и сегодня же хотел успеть к ночи в Калиновку, в свою больницу, все еще именуемую «земской», хотя земство было уже и разогнано.

Ольга Александровна страшно обрадовалась приходу сына:

— Ника, вот как ты кстати! У нас тут такая беда! Успокой ее, пожалуйста, Кирушу: как раз ведь по твоей специальности. А я прямо-таки не знаю, что делать с нею! — И, улыбнувшись светлой, а в то же время и строгой своей улыбкой и докоснувшись ласково белоснежными перстами своими плеча Никиты, добавила: — Доктор Шатров, я очень вас прошу: займитесь Кирочкой!

Уверенно кивнула головой и вышла.

Никита Арсеньевич молча выслушал прерываемый слезами рассказ Кошанской о ее столкновении с Фросей.

Что и говорить — огорчился! Жалко было и Киру: по-видимому, замечание насчет тапочек было сделано и неожиданно и грубовато, но и он, подобно Ольге Александровне, по совести не мог не признать, что в существе своем это было справедливое замечание.

«Но что же делать теперь? В чем выход?»

Внешне он был спокоен. Только не смог оставаться в кресле, а, заложив руки за спину, время от времени встряхивая темновóлной гривой пышных, легких волос, крупно и бесшумно шагал по ковру. В напряженном раздумье остановился перед огромным зеркальным окном, глядя на заснеженные деревья сада.

Всхлипывания Киры сделались громче.

Вдруг врач круто повернулся к плачущей, подошел и, нагнувшись к ней, сильными своими руками подхватя под локотки, он поднял ее на ноги.

Изумленная, она расширила свои промытые слезами кофейные глаза и устремила их кверху: Никита был очень высок.

А он, обрадованный внезапным выходом, который пришел ему в голову, громко и властно проговорил:

— Бросьте, Кирочка, рюмить! Нейдет вам! Свежесть ланит ваших может потускнеть от горючих этих слез, недаром же они *горючие* называются! Выход найден. Раз вы решили, и бесповоротно, уйти из госпиталя — я беру вас к себе, в мою больницу, в Калиновку. На должность сестры-хозяйки. У меня там — страшный завал: нет человека! А больных чуть не втрое прибавилось.

Ему показалось, что она готова воспротивиться: откачнулась и даже слегка отступила.

— Не отказывайтесь, Кира! Ведь это же всего каких-нибудь пять-шесть часов хорошей езды — и вы опять в городе, возле своего папы... Если вы так боитесь оставить его одного! И я вовсе не из какого-нибудь там сострадания... А это и для меня счастье... то есть я хотел сказать, для боль...

Но, увы, уточнения его не пожелали и дослушать! Благоуханные девичьи руки и нежно и властно охлестнули его сильную шею. Слегка подпрыгнув, словно вздумавшая поозорничать девчонка, и с радостным взвизгом-смехом она повисла у него на груди.

И с блаженно закрытыми глазами длительно поцеловала его прямо в губы.

А дверь... а дверь после ухода Ольги Александровны оставалась полуоткрытой, и Раиса, бедняжка, снова не постучав, вбежала.

В глубинах своей еще столь детской души бедная девочка явственно услыхала свой стон-вскрик: да разве удержишься, если ножом под сердце!

Отшатнулась.

И — выбежала...

Нет, душевного ее стона-вскрика не услышал никто!

Разговор-поединок Кедрова и Шатрова продолжался.

— Повторяю. Ты, Арсений Тихонович, человек из народа. И в дальнейшем, невзирая на огромное богатство свое, в самом лучшем смысле — без всяких там научных, социологических определений скажу — истинный, нелицемерный народник. Миную девятьсот пятый: обоим памятно! Но вот июль этого года. Дикая, бесстыдная травля против нашей партии. Вся буржуазная печать из дня в день полнится гнуснейшею клеветою: «Большевики — немецкие шпионы! Ленин в запломбированном вагоне заслан Вильгельмом в Россию, чтобы развалить русскую армию изнутри!» Нас пытаются затоптать репрессиями. Давно ли на Ленина шла охота целой своры, целой своры двуногих ищеек! Объявлен вне закона. Вот-вот схватят и, конечно, убьют «при попытке к бегству». И многие тогда — ох как многие! — ведь поверили в этот «запломбированный вагон»! Интеллигент какой-нибудь, мелкослужащий, всю жизнь, по существу, наемный грошовый раб какого-нибудь Рябушинского или Чашникова, да еще и социалистом себя мнящий, — сколько их, таких, поверили в эту мерзость! А вот некий Шатров — капиталист, что греха таить, — он в этот «запломбированный вагон» наотрез не поверил. Мне рассказывали тогда, как в Народном доме, в бывшем Благородном собрании, руку отдернул свою этот Шатров, когда, здороваясь с ним, некий гражданинчик поспешил его, видите ли, этой свежей газетной «новостью» «осчастливить». Было так?

Арсений Тихонович наклонил голову.

— Было...

— Ну а почему?

И Матвей смолк, глядя испытующе в лицо Шатрову.

Тот вскинул голову и глаза в глаза встретил взор Кедрова. Истово, из глубины души произнес:

— А я на Ленина привык *сквозь тебя* смотреть! Пусть, думаю, во многом и не согласен я с его Владимиром Лениным, но если такой человечище, как Матвей мой, верит ему во всем... Прости, что этак я тебя

в глаза... Но ты знаешь, сколь я не льстив! Если, думаю, Матвей Кедров идет за ним беззаветно, верит...

Кедров тут перебил его, как бы с нажимом исправил последнее слово:

— *Знает! «Верить»* у нас, большевиков, мало! Он и сам, Владимир наш Ильич, этого от нас требует: верить, то есть доверять, нужно. Без этого в такой партии, как наша, никакое дело не пойдет. Но верить — и знать! Доверять, но и — проверять. А слова проверяются делами, только делами. У меня сейчас в ушах звучат эти его слова. Ведь я же недавно, совсем недавно имел счастье беседовать с ним!

И замолчал, в светлом, благоговейном воспоминании.

Это чувство его невольно передалось и Шатрову. Молчал и он. Матвей Кедров возобновил свою безжалостную допросную анкету:

— Задумывался я о тебе часто. Заведомо знаю: не эсер, не меньшевик. И само собой разумеется, не кадет...

Шатров даже руками отстранился. С коротким смехом ответил:

— Боже меня упаси! Вспоминаю: вскоре же после революции один из заезжих петроградских кадетов, самого Павла Николаевича Милюкова коммивояжер, чуть фалды мне не оторвал — тянул меня в кадеты: «Мы — ваша партия, господин Шатров, ваша партия! И почему это вы, господин Шатров, до сих пор не поймете этого? И я очень прошу вас, господин Шатров, это понять! И тогда мы с вами идеологически будем править всей Сибирью — от Урала до Владивостока!» А я ему: «Нет, говорю, этот номер не пройдет!» — «Но почему?» — «А потому, говорю, что кадеты — это самая что ни на есть нерусская партия!» А он: «Что вы этим хотите сказать?» — «А то, говорю, что попробуйте себе представить... Ваську Буслаева членом кадетской партии!» Обиделся. Поежился этак... А все-таки полюбопытствовал: «Позвольте, говорит, спросить: а в какую партию ваш Васька Буслаев пожелал бы вступить?» — «В какую? Да скорей всего, говорю, к Ленину бы подался. К большевикам!»

Кедров расхохотался. А потом вдруг прервал свой смех и снова спросил в упор:

— А почему же он, Васенька этот Буслаев, до сих пор не с большевиками, не с Лениным? И что же его с ними разделяет?

И даже вздрогнул, даже растерялся на мгновение — он, Кедров! — когда в ответ, и так же вот в упор, с предельной откровенностью, собеседник его четко произнес:

— *Родина!*

Разговор их все более жесточал.

Роковой свой допросник Кедров начал такими словами:

— Родина, говоришь ты, разделяет нас с тобою? Большое слово бросил ты, Арсений Тихонович, большое! Знаю, что ради красного словца, эффекта ради ты этого слова не произнесешь всуе!

— Нет, не произнесу.

— Ясно. Не станем вдаваться, кто что понимает под этим словом. Оно и для нас, для большевиков, великое. Одно сейчас, в нашей беседе, важно: родина нам, большевикам, никому другому, велела: станьте у руля государственной власти! И вот я, старый партийный работник, политик-профессионал, хочу знать: во внутренней нашей политике с чем ты не согласен? И какая *позитивная* твоя была бы политика, если, допустим на минуту, от тебя зависело бы ее направление?

Шатров подумал, помолчал.

И, словно бы помогая ему начать, «раскачаться», Матвей спросил:

— Социалистическая республика Россия — это удовлетворяет тебя? Возражений нет?

— Нет. Ты знаешь, что я всегда был социалистом. Хотя никакой партией и не хотел себя стеснять. И социалистическая, и республика — я целиком за это!

— Прекрасно. Заполняем «анкету» дальше. Власть Советов, правительство Совета Народных Комиссаров во главе с Лениным...

Шатров не дал ему и договорить:

— Приемлю! Ты уже слышал от меня об этом. Да я и в народе не таясь об этом говорю. И среди нашей интеллигенции не раз. «Бросьте, говорю, бросьте копать волчьи ямы под ногами нового правительства России.

Ибо это ее последнее правительство! Да, да, говорю: последнее! Сва́лите большевиков — рухнет в пропасть и Россия! На клочья нас раздерут. Союзнички за наш счет прекрасно договорятся с немцами: есть что делить! А большевики — эти не дадут!»

Кедров слушал его с все более и более яснеющим взором. А когда Арсений Тихонович убежденно и крепко произнес это свое «не дадут», Кедров от души рассмеялся — смехом радостного и глубокого удовлетворения:

— И не дадим. Ей-богу же не дадим! Вот в чем ты прав так прав, Арсений! Охотников много, но обожгутся! Руки коротки. Послушай, Арсений, да тебя, знаешь, я бы прямо агитатором нашим посылал за советскую власть. Особенно в некоторые определенные круги.

Шатрову явно была отрадна его похвала, однако он что-то слишком раздумен оставался и серьезен, не улыбнулся даже в ответ на этот порыв Матвея, и, заметив это, Кедров внутренне насторожился.

Далее «исповедь» Шатрова содержала, на взгляд Матвея, удивительную в своей противоречивости мешанину пожеланий и взглядов:

— Ты, Матвей, о прежних моих воззрениях в этой внутренне-экономической, так сказать, области довольно от меня наслышался в былые годы. Повторяться не буду. Конечно, я не бетонноголовый какой-нибудь фанатик частнокапиталистического строя. Понимаю, что возврата к прежнему нет: социализм так или иначе победит. Насчет заветнейшей мечты своей жизни — создать «Урало-Сибирь», на страх всем ротшильдам и морганам, нобелям и сименс-шуккертам, юзам и уркартам! — я, конечно, теперь убедился, что это все бесповоротно кануло в прошлое. Вы, большевики, *интегральщики* куда покрупнее: в государственном масштабе! А там, глядишь, и на мировой масштаб замахнетесь.

— Замахнемся. Всенепременнейше! Но продолжай, продолжай!

— Продолжаю... Я на этот счет даже сколько раз, наезжая в город, схватывался с вашими же, из РСДРП, только с меньшевиками, конечно...

Кедров усмехнулся, крутнул головой:

— Вот уж — не наши! Незаконный брак, говорим

мы, эти объединенные с меньшевиками организации! Пакостят они нам во всем. Но скоро, скоро — развод! Ну их к черту! Змея за пазухой! Но извини, пожалуйста! О чем же ты с ними схватывался?

— А вот о чем. Принялся ругать он Ленина: фантаст, фанатик-де, задумал, говорит, социализм устроить в одном Царёво-Кокшайском уезде! Теоретик уездного социализма! Да разве, кричит, возможен социализм в одной стране? Нет, это не по Марксу! Ну и все в таком духе. Ему поддакивают, подхихикивают: несколько инженеров, техников было тут. Главный бухгалтер. Это в конторе было у Башкина. А на стене — огромная карта географическая... Меня взорвало. Я беру его за рукав и тяну прямо к этой карте. Он даже испугался: что со мной? «Ничего, говорю. А вы, господин хороший, полюбуйтесь-ка, говорю, на этот «Царево-Кокшайский уезд»: видите — на большую часть Азиатского материка распластался да на большую часть Европы! Да и племен и народов в нем, в этом «уезде», обитает никак не менее сотни! Вот вам и «уезд»! Вот вам и «одна страна»! Нет, говорю, в чем другом ошибается Ленин, а только здесь он не фантаст, отнюдь. Россия все может! Тут он не ошибается!»

— А в чем же?

Этот вопрос Матвея прозвучал грустно и тихо. Как ему хотелось, чтобы на только что рассказанном своем столкновении с меньшевиком и остановился Шатров.

— Сейчас скажу. Ошибаетесь вы, большевики, в том, что угашаете индивидуальную частнопромышленную инициативу. Насильственно подавляете ее. Смейся не смейся, а я и сейчас — пускай Советы, пускай диктатура пролетариата, как вы, большевики, ленинцы, изволите провозглашать, — я и сейчас не утратил веры в честный русский промышленный капитал.

Кедров с какой-то жалостной к собеседнику усмешкой слегка язвительно переспросил:

— *Честный* или частный? Прости, я недослышал.

— И то и другое. И частный и честный!

— Так, так... И — честный, и — частный... случай не частый! — И усмехнулся своему невольному каламбуру. А потом сказал: — Верю твоей искренности. Удивляюсь твоей наивности! Не тех ли, кто керосином муку,

масло, мясо обрабатывает, а потом орет: война до победного конца...

Шатров перебил его негодуя:

— Ну что ты говоришь?! Таких — карать, карать всей мощью государства — и судебной, и уголовной, и общественной! Сказал — и не отрекаюсь: таких расстреливать на месте!

Кедров ответил жестко:

— Боюсь, что если мы последуем этому твоему совету, то... нас, большевиков, обвинят... в массовом терроре, ибо кто из господ промышленников, из купцов...

Шатров не дал ему договорить:

— Не разделяю твоего пессимизма. Разве можно так... — Он искал слова. — Разве так, *огульно*, можно смотреть на целое сословие?! Призвать всех честных промышленников, всех, в ком не угасла любовь к родине, к России, принять участие в борьбе с разрухой, в воссоздании народного хозяйства... Конечно, под контролем правительства...

У Матвея в печальной и сострадательной усмешке вздернулась бровь. Качая головою в знак полной безнадежности спора, он сказал:

— Переубеждать тебя, я вижу, поздно... «Сословие» — ты говоришь. А мы говорим — *класс*! И в этом, только в этом весь трагический узел того политического момента, который поставила перед нами, перед всей Россией история. А скоро и перед всем человечеством поставит. Коротко тебе скажу, Арсений Тихонович, дорогой: ты все еще *девятьсот пятым* живешь. Тогдашними своими представлениями о революции. Не та революция, друг мой! *Социальная,* говорим мы. И — *социалистическая*! Идиллическими простачками, которые бы растворяли объятия и звали бы к сотрудничеству тот класс, который подымает на нас что ни день все новых и новых корниловых, калединых, дутовых, тот класс, который мы тесним, поторапливаем к его исторической могиле, — нет, такими простачками большевики никогда не были и не будут!

...— А Вильгельма вы спросили? Разрешит ли он вам, германский кайзер, эту вашу «*социальную* революцию»? И кому вверяетесь? Гинденбургу, Гофману, Людендорфу, германскому генералитету? Над вами на-

висает бронированный, чудовищный кулачище из сотен немецко-венгерских, турецких дивизий; и не сегодня-завтра он опустится на наши безумные головы и размозжит нас всех, не разбирая, кто какой партии. А вы, социальные мечтатели, что делаете? Разлагаете армию на фронте, зовете обнаглевшего, глумящегося над вами победителя к мирным переговорам, то есть этим самым русский народ обнажает свою слабость и в глазах врага, и перед лицом всего мира! Нет, втыканием штыка в землю мира вам не добыть!

Шатров клокотал!

Это не ответы были теперь, но — удары! Неистовствуя, он осыпал ими Кедрова. Оттолкнув кресло, Шатров шагал по комнате, внезапно останавливаясь и, в свою очередь, допрашивая.

И напротив — словно бы и в этом противоборствуя ему! — Кедров сел.

Со спокойным будто бы прищуром, почти неподвижно, лишь изредка отбрасывая назад волну темных, тронутых сединою волос, внимал он неистовству Шатрова. Не перебивал. Казалось, он, слушая, наблюдает. Дружественно и невозмутимо. Но если бы глянул в эти мгновения Арсений Тихонович в его глаза, — пожалуй, запнулся бы на полуслове!

— Ты кончил? Теперь изволь послушать меня. Буду немногословен: мыслительными способностями природа тебя не обидела! Так вот. Напрасно полагаешь, что русский народ показал свою *слабость* своим *кличем* — ты слышишь: *кличем!* — ко всем народам и правительствам всего мира обращенным: давайте кончим войну! Войну безумнейшую и преступнейшую. Войну, которая кровавым своим жерлом поглотила уже, схрястала цвет человечества, сожрала дотла все его производительные силы! Привела к обнищанию, к голоду, к моральному растлению и одичанию сотен миллионов людей! Ошибаешься, Арсений Тихонович: именно тем-то и показал русский народ, что он всех, всех сильнее, если в омуте кровавого шовинизма нашел в себе силы крикнуть во всеуслышание всего мира: хватит! Довольно! Не народы затеяли войну, а...

И в этот миг, обернувшись к нему, Шатров насмешливо за него закончил:

— ...не народы, а капиталисты!.. Без аннексий и

контрибуций? Господи! Матвей, дивлюсь я: как ты, с твоим умом, с твоим чувством реальности, можешь веровать в эту несбыточность?

— Какую «несбыточность»?

— Что Вильгельм, Гинденбург, Людендорф, что вообще Германия согласится на этот ваш мир без аннексий и контрибуций!

— А мы не только к ним обратились — мы ко всем народам и ко всем правительствам. Все вычерпаны до дна! К счастью, не все, далеко не все от позволения кайзера Вильгельма зависит. Я думаю, ты понимаешь, что не с его позволения только что пробушевал неслыханный мятеж в германском военном флоте! В *германском* флоте, а не в чьем-либо другом! И чего же они требовали? Мира, немедленного мира без аннексий и контрибуций! И ты изволишь иронизировать! Нет, дорогой, провоевав три года с половиною, кто в народе, из числа честных людей, восстанет против именно такого мира: и демократического, и без аннексий и контрибуций?

— *Я* восстаю!

И Арсений Тихонович, почти с вызовом во всей своей осанке и в голосе, остановился перед Матвеем.

Несколько мгновений длилось молчание. Покачав головою и шумно, горестно вздохнув, Кедров попытался быстро обратить эти его слова в шутку:

— Да, я и забыл: «твой щит на вратах Цареграда»... Крест на Святой Софии! Проливы!

— Не смейся!

И Шатров, с гневной обидою и все тем же вызовом в голосе, принялся сбивчиво и горячо доказывать, что без проливов, без Константинополя в руках России Русское государство вечно будет данником турецкого султана.

— Дальше?

— А дальше — в военном отношении взять. Давно ли «Гебен» и «Бреслау» — всего лишь два немецких крейсера! — пиратствовали у нас в Черном море невозбранно?! Давно ли громили наши города по Черноморскому всему побережью? Корабли наши топили?! Счастье наше, что нашелся талантливый, с хорошей головой адмирал: забил им минные поля чуть не в

самый Босфор. Заткнул, как пробкой! Да я вот тебе сейчас наглядно покажу, что такое для России проливы!

Негодующе выкрикнув это, Шатров неожиданно подступил к самому креслу Матвея, приблизил к его лицу свою голову и, чуточку присев, настойчиво потребовал:

— А ну, схвати меня рукой за горло! Не бойся, не бойся, схвати!

Ошарашенный его просьбой, столь неотступной, Матвей, сколь ни упирался, а принужден был исполнить ее. Бережненько, чтобы не сдавить, охватил он левой рукой горло Шатрова.

Но Арсений Тихонович остался этой его бережностью крайне недоволен:

— Да что ты так... руку только на горло положил! Сожми крепче. Не бойся: я сам тебе скажу, когда довольно. Ну?!

— С ума сошел, Арсений!

И Матвей Матвеевич сжал сильнее. Лицо у Шатрова побагровело. Но он еще несколько мгновений терпел, пока наконец не просипел хрипло:

— Хватит!

Кедров отпустил.

И тогда, выпрямившись, отдышавшись, Шатров, голосом все еще сипловатым, проговорил:

— Вот и скажи теперь: можно или нет дышать с горлом, в чужой руке зажатым?! Ага! Так вот то же самое и проливы для России!

Ответом ему был раскатистый хохот Матвея. Давно, очень давно не хохотал так Кедров! А когда, наконец поуспокоившись, поотошел от смеха, то с восхищением сказал:

— Знаешь ли, Арсений, опять повторю: ты — прирожденный, брат, массовик-агитатор! Только не туда ты свой путь проложил! Ей-богу, не туда!

Эта неожиданная выходка Шатрова разрядила нагнетенную было атмосферу их встречи. Не мог не рассмеяться и сам Арсений Тихонович.

И словно бы с промытым сердцем, снова и доверчиво и дружелюбно, стараясь от всей души взглянуть на все происходящее в стране глазами Матвея, слушал он теперь его возражения и доводы.

— Нет, Арсений, я вижу: либо ты засиделся очень в своей глуши, а либо информацию свою политическую черпаешь ты из недоброкачественных и даже — прямо скажу — из злонамеренных источников.

— Я слушаю тебя. Говори.

И Матвей Матвеевич Кедров просто, доходчиво, не мудрствуя, а так же вот, как разъяснял он обычно в народе политическое положение в стране и отчаянные меры правительства, предпринимаемые к спасению отечества и революции, развернул перед умственным взором Шатрова неприкрашенную действительность тысячеверстных фронтов, на которых изнемогала и рушилась неудержимо старая, царская армия, все еще девятимиллионная, но уже отказавшая в своей крови Молоху всемирной бойни, — голодная, больная, раздетая и разутая, почти сплошь покидаемая офицерами.

— Вот ты, Арсений, бросил нам сейчас обвинение: вы, большевики, разложили армию — нет, дорогой, это не так. И не верь ты этой вражьей брехне! Этак за все, что творили над народом Романовы, ответственность, пожалуй, тоже могут возложить на большевиков: вы, скажут, правительство, вы и отвечайте! Но кто же смеет забыть, если только не клеветник, что не кто иной, как именно царское командование, преступное и бездарное, уложило миллионы отборнейших бойцов, весь *кадр* армии, обратило ее в искровавленные лохмотья, в многомиллионные толпища бородачей в серых шинелях, поставленных на грань полного отчаяния неслыханными лишениями в мокрых, вонючих или же в промерзлых канавах, именуемых окопами? А знаешь ли ты, что первые попытки братания солдат немецких с нашими отмечены в секретных сводках еще при царе? А знаешь ли ты, что накануне Февральской революции количество солдат, самовольно оставивших фронт, было — сколько ты думаешь? — свыше миллиона человек: каждый десятый!

Шатров этого не знал. Он ужаснулся. Не знал он и того, что и поныне там, на фронте, захлестываемые безудержным навалом стихийно уходящей «по домам» солдатской массы, удерживают окопы лишь те очаги сопротивления, где властны комиссары частей — большевики.

— Если хочешь знать, *Керенский* окончательно надорвал смертельно больную армию своим безумным июньским наступлением. Вздумал впрыснуть ей, видите ли, камфору!

Арсений Тихонович внимал ему сумрачно, в страдальческом молчании. Наконец спросил:

— Так что же? Значит: штык в землю, и — на милость победителя?

Испытующе и тревожно воззрился в лицо друга. И вдруг лицо у Арсения Тихоновича стало светлеть-светлеть: не веря ушам своим, он услыхал в ответ уверенно-гордые слова Кедрова:

— Полно! Что ты?! Мы далеки от этого. Конечно, *старую* армию неизбежно придется демобилизовать. А отдохнут хоть немного люди от шока, — глядишь, опять станут бойцы! Вольются в новую, в свою, родную рабоче-крестьянскую армию. Только кликни клич! А закваc у нас крепкий: Красная гвардия у нас во всех городах. Это — костяк, это кадр нашей новой армии. Строим! — Помолчал и добавил: — Да мы ее еще и в *пятом* году начали строить, если хочешь знать. А что касается старой армии... что касается старой, то все боеспособное в ней всячески стараемся удержать. Чего же ты хочешь, если сам Ленин, если Цека нашей партии, Совет Народных Комиссаров — мы все призываем солдат и офицеров на фронте удерживать свои позиции, пока ведутся мирные переговоры. Если хотите, говорим, чтобы с развязанными руками и свободно, а не с германским генеральским сапогом на горле, ваше родное, кровное ваше правительство добилось для вас немедленного прекращения войны, добилось мира — справедливого, демократического, — удерживайте позиции, не бросайте оружия, будьте в боевой готовности.

— Словно бы жернов ты у меня от сердца отвалил! Ну а если?..

Кедров договорил за него:

— Ну а если, ты хочешь сказать, германское правительство не захочет такого мира, тогда что?

— Да. Вот именно! Ведь не этого же ради начинали они войну, чтобы «без аннексий и контрибуций»?!

— А тогда... тогда народ, трудящиеся массы, рабочие и крестьяне — они покажут миру еще не слыхан-

ные чудеса героизма и самоотвержения. Дрогнут и гинденбурги! А мы — мы возглавим народ. После двадцать пятого октября мы, большевики, все до единого, *оборонцы*. Самые беззаветные и уж подлинно до последней капли крови. Тогда — *отечественная* война!

Произнося эти слова, Кедров поднялся на ноги и словно бы ростом вдруг выше сделался! Глаза у него сверкали.

Лицом к лицу и глаза в глаза, истово стоял Арсений Тихонович Шатров. Потрясенный, он отрывисто повторял:

— Жернов, жернов — с моего сердца! Так слушай: значит, если что, если вдруг отвергнут мир... вторжение... то... — И не нашел, не смог найти других, лучших, более всего выражающих его душевное состояние в этот миг слов, как всем и каждому известные слова старой солдатской песни первых дней войны: — *Мы Расею не сдадим?*

— Не сдадим, Арсений!

Шатров решительным движением протянул ему руку:

— Тогда Арсений Шатров — с вами!

Совсем не та беседа — и по началу и по исходу ее, — вскоре же состоявшаяся, была у товарища Кедрова с неистовым обидчиком «арестанта Шатрова» — товарищем Копырниковым Агатом Петровичем!

Вызванный срочно в гостиницу к Матвею, Копырников заранее приготовился к разносу. От Константина Ермакова он узнал, что человек этот, столь скоропалительно им арестованный и посаженный в тюрьму, хотя и не последний среди крупнейших промышленников Сибири, но в свое время крепко и щедро помогал большевистскому подполью и даже не только свободу свою и состояние, но и самую жизнь подвергал смертельной опасности в черную пору «столыпинских галстуков».

Узнал и о его дружбе с Кедровым.

«Видать, мало мне не будет!»

А потому и повел он себя в номере у товарища Кедрова сразу же с подчеркнутой, чисто военной, суховатой подтянутостью, ограждая этим свое достоинство, свою гордость.

— Приказали явиться, товарищ Кедров!

И рука взметнулась под козырек, и пристукнул каблуком о каблук.

Кедров приветливо поздоровался за руку. Предложил снять шинель и стоял, ожидая, у раскрытой в номер двери, пока посетитель проследует в комнату.

— Проходите, проходите, Агат Петрович!

И Копырников сильно-таки смутился от столь неожиданного приема.

Унтер-офицер, за боевые отличия (четыре георгиевских медали и три креста) представленный было в подпрапорщики, но не успевший получить производства из-за тяжкого, едва не смертельного ранения, с потерею левого глаза; еще на фронте член РСДРП, яростный большевик и председатель полкового комитета; в городке же на Тоболе — товарищ председателя солдатской секции Совдепа, — Агат Петрович Копырников принадлежал как раз к тем членам партии — фронтовикам, которые как-то само собою, естественно перенесли все навыки своей военной выправки и дисциплины и во внутрипартийные свои отношения.

Но сейчас вот, при таком *гражданском*, штатском, что ли, приеме со стороны Кедрова, товарищ Копырников испытывал даже некоторую неловкость от своего прицепленного к ремню маузера в деревянном прикладе: «Эк ведь, скажет, вооружился!»

О Кедрове он знал, что это высокого назначения партийный руководитель, член Уральского обкома РСДРП и осободоверенный, как говорили, посланец будто бы самого Ленина.

И осуждения со стороны такого человека — не взыскания и выговора, а именно внутреннего, пусть даже и не высказанного осуждения — он сейчас в особенности боялся.

Поэтому большой и отрадной для него неожиданностью было, когда товарищ Кедров, лукаво блеснув глазами, звонко постучал ногтем по деревянному вместилищу его маузера, произнося при этом:

— Чудесная вещь! К сожалению, не для кармана. У меня — браунинг.

И не успел Копырников опомниться, как, словно бы два заправских оружейника, они уже обсуждали с Кедровым, и с незаурядными тонкостями обсуждали,

оспаривая и перебивая друг друга, все преимущества и недостатки всевозможных видов стрелкового оружия — от винтовки и карабина до кольтов и наганов: солдатских — простых и офицерских — самовзводных.

Оба сошлись на том, что иностранное стрелковое все еще ни в какое сравнение не может идти с нашей «трехлинейной, мосинской, образца 1891 года»: и безотказна, и дальнобойна, и метка, и прочна!

— Жаль только, что не автоматическая!

Это — Кедров.

— Ничего! Пулеметик-братишечка сестрице-винтовочке помощник добрый будет!

Это — Копырников.

И уж следа не осталось в его душе строгой настороженности, с которою шел он на вызов высокого партийного начальства. Отрадно и просто было. Осмелел.

— А что, товарищ Кедров, давно ли солдатскую шинельку сняли?

— То есть как?

— Видать, вы военный.

Матвей Матвеевич помолчал. Усмехнулся. Сперва, видно было, хотел наотрез отречься. А потом сказал:

— Ну как же — военный! От младых ногтей. Только вот на военной службе побывать не пришлось.

Копырников посмотрел ему в глаза. Понял!

— Ясно...

От стакана горячего чая не отказался:

— Не откажусь: с морозцу — хорошо!

Принял и сигаретку. Японскую. Русский, асмоловский табак и настоящие, хорошие папиросы уже исчезли из продажи: припрятаны!

Отсюда зашла речь о свистопляске бесстыднейшей спекуляции; о грабительских ценах; об увольнении заводчиками и оптовыми торговцами служащих: якобы из-за невозможности продолжать дело при новой власти; о самовольном закрытии предприятий; о сокрытии продовольствия, товаров первой необходимости и, наконец, о саботаже со стороны служилой интеллигенции, который все более и более разрастался, подобно раннему раку, губительно разъедая молодой, не окрепший еще организм Советов.

О засилии эсеров и меньшевиков:

— Хватают за руки, товарищ Кедров, при каждом мероприятии! Чуть что — у них один истошный вопль: скоро Учредительное собрание, считанные дни остались, до Учредительного собрания не имеете права!

О прямом ультиматуме эсеровского гарнизонного комитета:

— Обнаглели настолько, товарищ Кедров, что требовали от нас в двадцать четыре часа разоружить Красную гвардию, распустить Совет!

— Ну и что же?

— Самех распустили, сукиных детей! Простите за выражение!

— Каким же это манером? Маневром, вернее? Расскажите-ка поподробнее: другим пригодится!

И Матвей Матвеевич даже стул свой придвинул поближе.

— Рассказ мой будет недолгой, товарищ Кедров! Обсудили на партейном комитете. С президиумом, конечно, Совдепа. Послали отборных товарищей в казармы: поговорить с запасными по душам. Поговорили. Разъяснили им политический момент. Убеждаем сдать оружие. Весь полк — за! А учебная команда — ни в какую. И офицерье: «В ружье!» Спасибо, начальник нашей Красной гвардии, не будь плох!.. Да вы, товарищ Кедров, хорошо знаете его: Ермаков Константин... Выкатил против них два пулеметика: клади оружие! Ну и положили.

— А что же с полком?

— Мы, товарищ Кедров, полку объявили демобилизацию. Кто хочет — по домам. А кто хочет — вступай в Красную гвардию. Конечно, пришлось поагитировать!

Кедров похвалил:

— Правильно. Отлично. Молодцы! Мы, большевики, должны уметь кого убеждать, а кого и подавлять! Учредительное — Учредительным, а о винтовочке не забывайте. Кстати: как часто боевые стрельбы?

Ответил.

— Маловато! Почаще, почаще надо выводить на стрельбы! По себе знаю: день-другой не пострелял — и уже мазать начинаешь! Это — как пианист!

Агат Петрович пожаловался, что маловато боеприпасов, в особенности патронов.

Кедров посоветовал в непременном порядке разоружать эшелоны, идущие с демобилизованными частями на восток. Вернее, ставить их под угрозу оружия. Как делают на Урале. И на Волге. Но и, само собою разумеется, в каждую теплушку — хорошего агитатора-большевика, рабочего или солдата!

После длительного отсутствия своего Кедров решительно обо всем и в городе и в уезде хотел знать. Одобрил, и даже весьма, разгром земской управы; предание суду заправил продовольственной управы: за срыв продовольственного снабжения Москвы и Петрограда. Но удивился, что дали улизнуть свергнутому уездному комиссару Временного правительства, а он объявился у атамана Дутова.

Напомнил, предупредив, что говорит об этом строго доверительно, о необходимости взять под самый бдительный надзор вожаков из числа местных кадетов.

— Революция, товарищ Копырников, есть всегда *война*. Если она подлинная, настоящая революция. Будем смотреть правде в глаза: мы гражданской войны и не хотели и не хотим, но ее уже против нас начали. Слюнявыми непротивленцами, пацифистами во что бы то ни стало мы никогда себя не объявляли и — не будем! Будьте бдительны: войны готовятся не на площадях, а втихомолку.

Заговорив о тяжелом финансовом положении Совдепа, Агат Копырников несмело спросил, можно ли надеяться на помощь из центра. Рассказал, что наложенная на купцов, промышленников и домовладельцев контрибуция дала около трех миллионов рублей, чем обеспечены на ближайшее время (если только остановится падение рубля) и больницы, и школы, и общественные столовые с бесплатным питанием для безработных и для инвалидов войны, и, наконец, только что созданный Совдепом уездный сельскохозяйственный университет, а самое главное, обеспечивается снабжение всем необходимым отрядов Красной гвардии.

И товарищ Кедров решительно все одобрил: и контрибуцию, и уездный сельскохозяйственный университет.

— Да, кстати: что там у тебя произошло с Шатровым?

У товарища Копырникова колотнулось и зашлось сердце. Скраснел вдруг. «Вот оно, началось: ну, становись на ответ, товарищ Копырников!» Так он подумал про себя, однако тотчас же и подавил в себе волнение, и, ничего не тая, рассказал, за что и при каких обстоятельствах арестовал он Шатрова и посадил в тюрьму.

Кедров молчал.

И тогда Копырников счел необходимым подбросить довесок:

— Вымотали они меня в тот час, буржуи наши окаянные, товарищ Кедров! Побыли бы вы сами при этом деле! Ужас! Я думал, с ума сойду. А тут, как нарочно, гражданин Шатров пожаловал. Начал свысока эдак насмешки строить над своей братией: что, мол, вы как все равно ряженые? Это он к тому, что все эти, которые контрибуцию пришли платить, они, все до одного, переоделись как только победнее! Выскочу в приемную, гляну — аж самого и смех и злоба берет: чисто нищие на паперти, — ах вы, думаю, черти окаянные, кого думаете обмануть? Рабоче-крестьянскую власть! Слышу: гражданин Шатров подымает голос в приемной. Зашумели вкруг его. Я с ним, конечно, лично не имел чести быть знакомым: где уж нам! Но что капиталы у него большие, влияние огромное... на своих, это я знал. И решил вовремя пресечь. Думаю: не провокацию ли затеял — сорвать нам это дело?

Кедров молчал.

И от этого молчания бедному Копырникову стало до того муторно, что хоть своим каким бы то ни было словом, а надо было заполнить это мучительное зияние. И он опять заговорил было:

— Так ведь, вот сами говорите, товарищ Кедров, что надо бдительну быть! Ежели мы...

На этом слове Кедров его перебил:

— Ежели мы всех людей чуждого нам класса огульно, без разбору будем этак вот, по одному лишь подозрению, хватать и карать, то много лишних врагов, товарищ Копырников, наживем советской власти! Лишние враги — лишние и наши жертвы! — И вдруг спросил: — Скажите: в Красной гвардии у вас офицеры старой армии имеются?

— А как же? Инструктора... которые обучающие. С которыми, ежели они к нам не как сочувствующие

пришли, а по найму, даже и договорчик подписываем: чтобы ему честно полгода у нас отслужить, а ему быть при хорошем жалованье, ну и все там прочее. Без военспеца дело кропотно пойдет!

— А Шатровых арестовываете, в тюрьму сажаете!

Копырников был искренне удивлен:

— Так разве же я знал, что он военспец!

— Не военспец, а побольше, куда побольше!

Теперь замолчал Копырников.

А товарищ Кедров четко и просто объяснил ему, как смотрит партия, и в первую очередь сам Ленин, на чрезвычайную, крайнюю необходимость привлечь к быстрейшему воссозданию народного, государственного хозяйства отборные кадры из числа знатоков торговли, промышленности, банкового и продовольственного дела.

— А где они, эти *спецы*, товарищ Копырников, в нашей среде, среди большевиков? И я никогда в жизни не то что банком, а и захудалой сберегательной кассой не управлял, да и у вас, насколько я знаю, даже и лавчонки не было!

Усмехнувшись, тот слегка отмахнул рукой:

— Что вы, товарищ Кедров!

— Ну, так вот: как я сейчас беседую с вами, так же вот примерно с месяц назад мне от Владимира Ильича довелось слышать буквально такие слова: «Не бойтесь привлекать к делу даже и крупных капиталистов вашего края. Особенно важно для Сибири. Я ведь знаю: там на умелых людей всегда был голод. Кто хочет работать — милости просим! Мы и бывших миллионеров поприглашаем в консультанты, лишь бы ты без камня за пазухой к нам пришел! За науку согласны и заплатить. И — хорошую плату! Но, господа хорошие, говорим мы таким консультантам, помните, что, когда мы произносим слова «диктатура пролетариата», мы произносим их со всей серьезностью! Имейте это в виду!»

Понуривший было голову и явно помрачневший от первых слов Кедрова, Копырников тут взбодрился и обрадованно возразил:

— Так вот же! Сам товарищ Ленин: диктатура, говорит, пролетариата. Что же — их по головке гладить?

Кедров ответил на это жестко, сурово:

— Очень односторонне понимаете диктатуру пролетариата, товарищ Копырников, если мыслите ее толь-

ко как беспощадные кары и аресты! Очень односторонне. А знаете ли, что товарищ Ленин сказал на этот счет, и сказал не где-нибудь в узком кругу или с глазу на глаз, а всему Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов? Да еще и представителям фронтовых организаций. Знаете ли, я вас спрашиваю?

Нехотя, сумрачно и глядя в землю, Копырников принужден-таки был ответить на повторенный, настойчивый вопрос Кедрова:

— Не знаю. Где мне знать: я человек маленький!

Матвея Матвеевича эти слова ужасно рассердили. С трудом сдержался.

— Ай-ай-ай, товарищ Копырников, не идет вам напускать на себя такое смиренство! И к чему вы это так? Сказали бы просто: я, дескать, этих слов товарища Ленина не знаю, не слыхал. А они вот какие слова: юнкера московские, говорит, в Москве устроили восстание, расстреливали на кремлевской стене солдат, но, когда народ победил их, юнкеров, обезоружил, мы не стали их расстреливать, а дали им пощаду...

И здесь-то с одноглазым солдатом произошло нечто такое, чего никак не ожидал Кедров.

Агат Копырников распрямился, лицо его налилось кровью, и — привычным, должно быть, когда в гневе, движением — он сбил с вытекшего глаза черную тесьму, словно бы и этим глазом хотел смотреть, и, заикаясь, ибо кощунственными, несомненно, казались ему его же собственные слова, выговорил с яростным и мучительным убеждением:

— Отпустили, значит, юнкерей?! Ну и ну! Зря, зря это, товарищ Кедров! И хотя он и товарищ Ленин, но это он — зря! Мякотно больно обошлись с ними, с юнкерами. Они еще нам покажут! Нет, тут я несогласный!

Резко встал. Снова, как при встрече, подчеркнуто вытянулся перед Кедровым и спросил с плохо скрытым негодованием, но якобы готовый подчиниться приказу:

— Товарищ Кедров, когда прикажете извинение принести перед господином Шатровым за... неповинный арест?

Кедров молча смотрел в его душу.

Слегка дотронулся до его локтя и опять усадил его.

— Оставь. Ты это оставь, Агат Петрович. Не люблю.

Не торопись. Беседа наша не окончена. Как же это мы с другими людьми хотим договориться, разговаривать по душам, если мы с тобою — двое сынов одной большевистской партии — и то не можем понять друг друга! Побеседуем!

И они беседовали еще.

Но это была для обоих истязующая, изнурительная беседа!

Внешне Агат Копырников как будто и начинал соглашаться, правда, через силу, что ежели бывший капиталист-эксплуататор, или, там, высокооплачиваемый инженер, руководящий бухгалтер банка, или другой кто из верхушки торгово-промышленного сословия и администрации честно, без подвохов и задних мыслей, соглашается засуча рукава помогать рабоче-крестьянской власти, то уж, во всяком случае, его справедливо будет приравнять к тем полковникам и даже генералам, которых Советское правительство приглашает и принимает для участия в деле создания новой, рабоче-крестьянской армии.

Но едва только Кедров пытался применить это и к Шатрову, Копырников утуплял взор, начинал порывисто и часто дышать, привставал, словно бы намереваясь покончить этот разговор, и Матвей явственно ощущал, как слова его глухо, безответно падают, будто бы в земляную насыпь окопа.

Дошло и до того, что и ему самому этот упорный человек бросил обвинение ни больше ни меньше, как... в соглашательстве:

— Это что же получается, товарищ Кедров? Я извиняюсь, конечно, но вроде бы вы нас к *соглашательству* зовете?

Кедров жестко возразил ему, что напрасно он привыкает бросаться политическими понятиями, смысл которых понимает извращенно: *соглашательством* наша партия именовала и именует попытки добиться своих прав путем мелочного выколачивания и выпрашивания у капиталистов без свержения их, без социальной революции. А когда народ щадит поверженного и отбросившего оружие противника, это он делает от сознания могущества своего, а отнюдь не из соглашательства.

Но Агат Копырников, что называется, закусил удила:

— Буду знать! Спасибо за науку! А только вот что и я вам скажу, товарищ Кедров: эти *бросившие оружие*, они-то и есть самые опасные для советской власти... Опять же извините меня, но *добрые шатровы* — они для нас вреднее, я считаю, тех, кто прямехонько к Дутову подался!

Еще никогда и ни в чьей душе не встречал Кедров столь страстного, упорного сопротивления своим словам. Да и когда бы речь шла только о каком-то личном озлоблении этого человека против одного лишь Шатрова, это можно было бы еще и оставить без дальнейшего вмешательства. Но в том-то и дело, что этот сидящий перед ним одноглазый солдат был подлинный солдат Революции, большевик до мозга костей, умный и волевой; он как раз и есть один из тех, кто представляет собою в подлинном смысле «власть на местах», о которой с такой любовью и верой говорил и с ним, с Кедровым, и с другими товарищами совсем недавно Владимир Ильич! Но если эта «власть на местах» и к другим представителям свергнутого класса будет относиться с такой же вот страстностью озлобления личного, коренящегося в тех или иных столкновениях в прошлом, то, пожалуй, и наломает, как говорится, дров такая «власть на местах»!

Знал он, и до́бре знал и помнил то омерзительное и страшное событие на шатровской мельнице, которое превратило этого человека — и, по-видимому, уж до конца его дней — в кровного и, при случае, беспощадного к Шатрову врага. Но разве бы посмел он, Кедров, лезть, что называется, с сапогами в поруганную душу этого человека! Нет, начиная беседу, он и в мыслях своих не держал хотя бы намеком коснуться этого!

Беседа угасала.

— Вот так-то, Агат Петрович, дорогой... А какое у вас замечательное имя: Агат! — И еще раз повторил, закрыв на мгновение глаза и как бы вслушиваясь: — Агат...

Но от этой его похвалы Копырников прямо-таки застыдился:

— Да не смейтесь надо мной, товарищ Кедров! А было еще чуднее. Агапит! Батька говаривал мне, что

это поп наш за что-то осерчал на него да в отместку и окрестил меня Агапитом. Это у них бывало, долгогривых: богатому — чего изволите, любое имечко на выбор, а бедняку, значит, какое имя в святцах на этот день значится, то и получай младенцу своему: нельзя, дескать, обижать святого этого дня! А если озлится на родителей, так вот нате, к примеру, имечко вам: Повсикакий, Анемподист, Агапит! Это уже после матушка моя стала меня Агатом звать. Спасибо ей! Но тоже стесняюсь. Правда, теперь запросто имена меняют. И даже фамилию свою. Помню и прежний случай один. Еще при Временном правительстве. Только-только что Николашку свергли, и читаю в газете: крестьянин такой-то волости, такого-то уезда обратился к товарищу Керенскому с ходатайством, чтобы разрешили ему переменить фамилию *Романов* и впредь именоваться бы *Республиканский*... А я ведь только одно имя хочу переменить...

Кедров руками развел:

— Что вы, товарищ Копырников! Я думал: вы шутите. Уверяю вас: чудеснейшее имя... благозвучное... Да агат и камень есть благородный... черный этакий, знаете? Видали, наверное, на перстнях?

— Приходилось.

— По учению древних, агат и сердолик веселят... Вот видите. А вы такое имя хотите менять!

И вдруг, сказав это, как бы запечалился, охлынутый каким-то скорбным воспоминанием. Замолчал, прикрыв глаза рукою. Казалось, забыл о собеседнике.

Молчал и Копырников.

Наконец он пошевельнулся, скрипнул креслом, намереваясь встать.

— Утомил я вас, товарищ Кедров! Пора бы мне и честь знать. Уж вы простите.

И опять Кедров удержал его. Тяжело вздохнул и заговорил, словно бы преодолев некое мучительное душевное борение:

— Я-то хотел вам сказать, что и для меня, в моей жизни, это имя страшно мне дорого. Сказать прямо: свято. Только у женщины оно было: *Агата*. Агата Сергеевна... Эх, да что я стану таиться перед вами, ежели сам заговорил про это! Но, Агат Петрович, прошу вас: дайте мне слово, слово коммуниста, что никому, слы-

шите — никому, ни единой душе вы никогда не промолвитесь о том, что вы сейчас от меня услышите. Ибо и самые мне близкие люди никогда об этом от меня не слыхали ни слова... Понятно вам?

— Будьте спокойны!

И Агат Петрович Копырников со всей истовостью заверил Кедрова в своем полном молчании.

И вот о чем пришлось услыхать ему.

Года за два до первой революции была у Матвея молодая жена, самозабвенно и страстно любимая. Ее звали Агатой. В одну осеннюю ночь жандармы застигли и схватили ее на конспиративной квартире за изготовлением взрывного снаряда. Тюрьма. Глухой, тайный суд. Истязующие допросы. Избиение. Была она в первых месяцах беременности. Однако вынесла все, не дрогнув юной душою, и никого не выдала из боевиков, которым наверняка грозила бы смертная казнь. Присуждена была к ссылке навечно в Якутскую область. Через пересыльные тюрьмы везли ее туда зимою. На погребение в якутских сугробах! На одном из глухих полустанков Якутии сопровождавшие ее конвоиры ночью надругались над нею. И в ту же ночь она повесилась в пригоне зимовья...

Не то со вздохом, не то со стоном Агат отер ладонью выступивший у него на лбу пот.

Долго молчали оба.

Кедров сидел, затенив ладонью глаза, понурив голову.

Уж несколько раз порывнулся было Копырников сказать этому большому человеку хоть что-нибудь, не ради утешения, а потому, что не в силах он был оставаться глухобезответным, когда про такую скорбь своей жизни поведал ему, Агату Копырникову, и поведал впервые, этот человек! Но долго не приходило ему на ум должное слово!

Кончил тем, что сбивчиво, не мудрствуя, сказал:

— Ведь что вытворяла, что вытворяла царская свора над беззащитными людьми! Душа стынет! Да как же теперь, когда кончилась их власть, когда в народных руках они очутилися, как с имя́, с этими кровохлёбами, с палачами, мы — пролетариат — можем добрыми быть?! Я так полагаю: что, окажись они, эти двое зверей в ваших руках, вы бы, товарищ Кедров, и казни

бы им, по их злодейству, не придумали бы! Я так сужу...

Кедров поднял на собеседника свой неуклонный и строгий взор:

— Нет, Агат Петрович, нет! Тут мы с тобой не сойдемся. Что и говорить: у каждого из нас на этих господ счетец немалый: личных своих мук, надругательств, унижений. Щедро, до последней степени щедро отмеривал капиталистический строй, царизм всевозможных этих ужасов, измывательств и каждому из трудящихся, любому из своих каторжников рубля. Не говорю уже о революционерах. Так, само собою разумеется, захоти только мы, в чьих руках сейчас и сила, и власть, и оружие, *каждый за себя* воздать полной мерой каждому из этих господ — мало бы им не было! И могли бы... Но... ты не пойми меня ложно: я отнюдь не евангельский всепрощенец! Нам, большевикам, никогда и в голову не приходило, что если бьют тебя по правой ланите, подставлять и левую. Но одно дело — личное озлобление, личная месть, пускай даже трижды справедливая, а другое дело — кара народная. Кара. Историческое возмездие! Они — святы... И я первый не устрашусь! И ведь главное, главное, Агат Петрович, друг ты мой, в том, что вот мы — рабочий класс, солдаты, крестьяне, пролетарская интеллигенция, с нашей партией во главе, — опрокинули наконец на свалку истории все это кровавое, зловонное кубло царизма, капитализма, очистили и очищаем Россию, что мы трехлетней преступнейшей бойне хотим положить предел... Вот в чем главное. А классу эксплуататоров, и каждому в отдельности, и всем вкупе, это и есть самое страшное возмездие. Кара всенародная! Я так смотрю, друг мой Агат Петрович.

Слушая эти его речи, Копырников явно не в силах был принять их. Тяжко это ему было! Отрицающе потрясал он головой, отдувался, пощипывая щеточку усов. Но — безмолвствовал. Когда же товарищ Кедров смолк, то заговорил он, и заговорил, решаясь, в свою очередь, на полную, ни с кем другим у него не случавшуюся откровенность:

— Понимаю: очень, очень вы высоко смотрите, Матвей Матвеич! — Это он впервые за всю их беседу назвал его по имени и отчеству. — Может, эдак нам и

надо смотреть, большевикам... Но про себя прямо должен сказать: попадись бы мне опять в руки... — Тут обе руки Копырникова словно бы свела внезапная судорога, словно бы он уже *закогтил* человека, о котором вспомнил. — Попадись бы, говорю, в мои руки снова тот пресмыкающий гад, бывший мастер крупчатный на шатровской мельнице, тот, что над моей солдаткой, над Машенькой моей бедной, так же вот само надругался, как... над вашей покойницей, над Агатой Сергеевной, те два зверя... то я бы из него душонку его поганую вытряс бы, не пощадя!

Он замолчал. Его коробило, поводило всего, как бересту над огнем. А когда овладел снова речью, то сказал:

— Вы, конечно, и не знаете про все то дело, что случилось тогда на ихних плотинах, на шатровских. Но зачем он тогда, на плотине, Шатров этот, встрял — кинулся спасать, выхватил его, этого своего пса, из вешняков? А я утопил было его, собаку! Уж весь народ считал, что не выплыть ему! И пускай бы какое угодно уголовное наказание я бы понес за этого гада, все ж таки легче бы мне было! А что же теперь Маша моя — как все равно колесами переезханная! Не человек стала. Голоса моего страшится, шагов моих. На люди выйти не смеет. Как все равно умопомешанная сделалась... Но я ж ее не корю, не тираню. Велю забыть. Простил. Ну что же? Она ведь у меня карахтером будто бы девочка была. При муже — и самостоятельная вроде бы: когда видит — есть ей защита. А угнали меня в солдаты, ну что же: робкая, оборонить себя не умела!

Арсений Тихонович Шатров, попросту говоря, отсыпался в городском своем доме после всех перенесенных им треволнений, когда на дом к ним, узнав о его аресте и о заключении в тюрьму, но еще не ведая о его освобождении, пожаловал с визитом соболезнования собственной своей персоной Петр Аркадьевич Башкин. Однако предстал он в столь непривычном облике, да еще с черного хода, что Ольга Александровна сперва и не узнала его: думала, что электромонтер. А было уже темно: зимою рано темнеет.

— Привыкла, что о вашем прибытии извещает гудок вашего красного гиганта «рено».

Прежде чем ответить, Башкин, приглушая голос, осведомился:

— Посторонних нет?

— Никого. Что же вы не раздеваетесь?

И Ольга Александровна показала ему на вешалку.

— Сейчас, сейчас, дорогая Ольга Александровна! Но прежде...

Петр Аркадьевич положил свою поношенную шоферскую кепку на полку для головных уборов, затем с необычайной бережностью расстегнул меховую, тоже изрядно выношенную и местами облысевшую куртку и извлек из внутреннего кармана довольно длинный, из картона, цилиндр, вроде тех, в которых пересылают чертежи, а из него, с какой-то особенной ловкостью и сноровкой, вынул темно-пунцовую, почти черную... розу.

Со старинным, учтивейшим поклоном преподнес ее Ольге Александровне.

Вспыхнув и немного смутившись, она поблагодарила и приняла.

— Спасибо, Петр Аркадьевич! Какое постоянство! И как во всем виден инженер, человек порядка!

Ольга Александровна кивнула на картонное вместилище, в котором Башкин принес розу.

— Я очень давно не видела вас. Но вы все тот же. Только, повторяю, непривычно, что не на своем красном гиганте и... — Тут хозяйка запнулась, но сам гость договорил за нее:

— И, хотели вы сказать, почему в столь скромном одеянии?

Он многозначительно помолчал, протирая кусочком замши запотевшие с мороза очки в толстенной роговой оправе. Да, это был все тот же Петр Аркадьевич Башкин: рыжая, коготком, бородка, сухой, жестко очерченный нос, серые, чем-то напоминающие камень колчедан, пристально смотрящие глаза с рыжеватыми ресницами, литой пробор темных, с рыжеватым отсветом, волос.

— Да. И почему в столь скромном?

— Ах, Ольга Александровна, Ольга Александровна! И вы еще спрашиваете! Что ж, отвечу вам сразу на оба ваши вопроса. Насчет моей машины, «красного гиганта «рено», как вы изволите его называть... Ради всего свя-

того, не терзайте мне сердце этим эпитетом — «красный»! Кляну себя! При первой же возможности велю перекрасить. И, увы, это уже не мне принадлежащий «гигант»! То есть, если быть точным, у меня появились совладельцы: деловой совет, видите ли, признано необходимым посадить мне на шею, без этих «советчиков», дескать, инженер Башкин никак не управится со своим металлургическим заводом. Ну-с, и дело доходит до того, что если Башкин хочет поехать куда-либо на своей, на собственной машине, то изволь сообщить: с какой целью, куда? Но если, скажем, я говорю, что нужно отослать очередную партию цветов из моих оранжерей в ваш госпиталь, то для этой цели — пожалуйста: ордер на бензин будет выдан. Да, и теплицы мои, и садовника разрешено пока что оставить, «считаясь с тем», как сказано, что «цветы поступают для ускорения выздоравливания раненой солдатской массы»!

Башкин рассмеялся желчным смехом.

— А вздумай сей окаянный, злокозненный буржуй и эксплуататор Башкин сесть в свой «рено», чтобы отвезти корзину цветов жене другого злокозненного буржуя и эксплуататора... — при этих словах он слегка склонил перед нею голову, — пожалуй, и остановят... мои же собственные вахтеры в воротах! Так что уж...

Шатрова перебила его:

— Не огорчайтесь: одна такая красавица... — приблизив розу к губам и вдохнув ее запах, — стоит целой корзины! Какая черная... Совсем черная!

Инженер слегка развел руками и, как бы в знак скорбного сочувствия, утупил глаза в землю.

— Простите, Ольга Александровна, поехать к вам без цветов... ну я прямо-таки чувствовал бы себя както не по себе! Но, само собой разумеется, должен был я посчитаться и с тем, что произошло в вашей семье... Я сознательно избрал сегодня для подношения вам *черную* розу... Как-то неудобно казалось ехать к вам с розой другого цвета. Ну, скажем, с розовой или белой...

— Почему?

Башкин в недоумении посмотрел на ее искренне удивленное лицо.

— Но ведь Арсений Тихонович в тюрьме?!

Ольга Александровна рассмеялась:

— Что вы, что вы! Да он преспокойно здесь, у меня, почивает.

Она прислушалась: из шатровского кабинета донесся кашель.

— Кажется, проснулся.

И в это время через гостиную сквозь полуоткрытую дверь раздался громкий, бодрый и радушный голос самого Шатрова:

— Проснулся, проснулся, Оля! Слышу: Петр Аркадьевич? Очень рад, очень рад! Петр Аркадьевич, проходи, пожалуйста, сюда, ко мне, без церемонии.

И опять, как при встрече с Матвеем, когда привезли из тюрьмы, резануло Арсения Тихоновича обращенное к нему слово: *узник*. Ведь вот далось им! И от столь разных людей приходится слышать одно и то же: должно быть, неизбежная, что ли, ассоциация с тюрьмой?

Однако если из уст Матвея оно прозвучало тогда, как проникнутое болью, полушутливое извинение за оскорбительную несправедливость, к нему, к Шатрову, допущенную, — было в нем, в этом слове, тогда и приглашение забыть, плюнуть, как говорится, на все это нелепое злоключение, — то сейчас, на устах Башкина, слово «узник» прозвучало не без умысла, как поворачивание ножа в горячей ране.

Шатров не мог не понять этого и насторожился. А сначала он искренне было обрадовался приходу неожиданного гостя: как-никак, а многое и на протяжении многих лет объединяло их взаимными деловыми отношениями, в которых Башкин был безупречно честен, даже предупредителен к Шатрову; да и ценил Арсений Тихонович в этом человеке то бесспорное его достоинство, что Петр Башкин был зачинателем турбостроения в Сибири, что с неистовой неуклонностью и от юных лет шел к поставленной им цели, унаследовав от родителя всего лишь полукустарную мастерскую, нечто вроде кузницы за чертой города. А теперь у этого «кузнеца» свыше трехсот человек рабочих и служащих!

Зачинателей-волевиков на неломаной, в сущности,

целине сибирской русской промышленности, все еще скудной, и особенно тех, кто дерзал подыматься на неравную борьбу с маккормиками и рандрупами, урквартами и зингерами, Арсений Тихонович заведомо жаловал, не находя нужным считаться со слухами о черствости к людям со стороны того или иного промышленника: «Это меня не касается. Это — область морали. Я не за то его ценю!»

Башкин по своим душевным свойствам был, скорее, даже и неприятен Шатрову. Тем не менее, и в особенности сейчас, его приход сперва прямо-таки растрогал Арсения Тихоновича: не каждый-то и отважится теперь на такой визит к человеку, только что претерпевшему и арест и тюрьму!

И Шатров, ответно, протянул гостю широко раскрытые для дружеского объятия руки. Да они бы и облобызались даже, если бы гость не испортил встречу этим вот непереносимым для хозяина словом: *узник*.

— *Ну, дорогой наш узник, дай тебя обнять! Посмотреть*, каков ты стал после каземата, после советского острога?

Башкин отступил на шаг, как бы осматривая Шатрова.

Шатров потемнел в лице, отступил в сторону и, приглашая сесть, показал гостю на кресло. И Петр Аркадьевич понял, что лобзание не состоится.

Помолчали.

Шатров не выдержал:

— И что вам далось: узник, узник... каземат, острог! Ты видишь: я в добром здравии. Возвратился к пенатам своим... Глупейшее произошло недоразумение. Сгоряча посамоуправствовал один из власть имущих... Выпустили, как видишь. Принесли извинение...

— О?! Даже? Поздравляю! А еще твой Кошанский все твердит, что у совдепщиков примитивные понятия о юрисдикции, о правовых нормах. И не боишься... *рецидива?*

— Нечего мне бояться. Никаких политических преступлений за собой не чувствую.

Башкин усмехнулся. Щепоткою потянул в рот рыжий коготок бородки. Помолчал. А затем, видимо, решил говорить напрямик:

— Что-то очень доверчив ты стал к господам това-

рищам, Арсений ты мой Тихонович! А я думаю, что счастье твое, что у них еще трибунал не сформирован. Хотя председателем, по-видимому, будет некий небезызвестный портной. — Сухо рассмеялся. — Мы с Кошанским твоим поспорили насчет этой кандидатуры. Анатолий Витальевич пошутить изволил: что́ общего, говорит, у портняжных огромных ножниц с весами богини правосудия, не понимаю. Фемида — с портняжными ножницами?! А я ему: с точки зрения механики общего много: и ножницы — рычаг, и весы — рычаг! Но здесь, говорю, другая дама греческой мифологии будет зато отлично представлена: одна из трех парок, та, которая ножницами перерезает нить человеческой жизни! Забыл ее имя: я ведь человек не классического образования! В гимназии не учился.

— А я и подавно.

Ответ хозяина был суховат. Но, не обращая на это внимания, гость продолжал:

— Ножницы, перестригающие нить человеческой жизни, в руках портного — чем не эмблема? А для чего ж иного и создаются эти их ревтрибуналы? Вот я и повторяю: счастье твое — и наше, конечно! — что тебя выпустили сейчас, когда еще Ревтрибунал здешний не сложился. А то бы.. *чик*!

Он изобразил из двух пальцев подобие сомкнувшихся ножниц.

Шатров хмуро отмалчивался.

Башкин продолжал:

— А вот Сычихе — той худо будет!

— Какой Сычихе? Ах да!

— Той самой. Вдове нашего незабвенного Панкратия Гавриловича Сычова. Аполлинарии Федотовне.

— Ну-ну?

— Ей, повторяю, худо будет. Забрали ее прямо с ее мельницы, с заимки сычовской. Посадили неделей раньше твоего... И до сих пор сидит. Очевидно, досидит... до ножниц, пересекающих нить жизни, так как состав трибунала, по словам Анатолия Витальевича, вот-вот будет объявлен...

Шатров спросил, за что арестована была и заключена в тюрьму Сычова.

Башкин рассказал.

У Сычихи в воскресный день были гости: богатень-

кие дружки-мужички из окрестных сел. И надо же было случиться такой беде, что прямо с митинга мужики из соседнего села, приняв постановление об отнятии многоверстного пастбища у Сычовой, двинулись туда и прогнали ее скот с пастбища, вогнав всю скотину прямо к ней во двор. Разъяренная и подвыпившая старуха сперва переругивалась с крестьянами со своего крыльца, грозилась, что стрелять будет. Гостеньки подначивали: «Покажи им, Аполлинария Федотовна, чалдонам!» Пригнавшие скот задразнивали грозную бабищу, зубоскалили над ней. И старуха грянула в одного из двустволки покойного супруга и тяжело ранила в плечо.

— Кошанский считает, что ей не миновать расстрела! Одна из первых предстанет перед трибуналом... Так что действительно, счастье твое, Арсений, что тебя сейчас выпустили! Впрочем... — И, вздохнув, горестно заключил: — Впрочем, что им стоит и повторить? Пожалуют этак около двух часов ночи — самое, говорят, их излюбленное время — ну и *забероу*, и *поведоу!*

Шатров — раздраженно:

— Арсений Шатров не Сычиха... В народ не стрелял. И не собирается! А что это у тебя за слова: забероу, поведоу? Новый жаргон?

Гость улыбнулся:

— А разве не понятно? Ну, заберут, поведут! Это не жаргон. Это по-чешски. Я от них, от братьев славян, как говорится, и понабрался. Да я с ними и по-чешски недурно объясняюсь. Они у меня больше года. Военнопленные наши. Я их немало к себе на завод выпросил. А то бы им гнить в лагерях или Мурманскую железную дорогу строить. За Полярным кругом! А там всех, кто туда был взят, переморили цингой. Да и в других лагерях тоже. Я ими доволен сверх меры: отличный народ, прилежный, образованный, дисциплинированный. Я бы сказал: сплав славянина с немцем — по навыкам, по аккуратности, по трудолюбию. Не то что наша митингующая днем и ночью орда! Чехи — те знака моего слушаются. Любят беззаветно. И ты знаешь, Арсений, как меня они прозвали?

Помолчав и не дождавшись вопроса:

— Наш русский *татинек!* Я думаю, и без перевода понятно: наш русский отец!

На кухне послышался молодой женский голос, набухший слезами со взрывами выкриков — жалобных, полных испуга и негодования.

А голос Ольги Александровны, исполненный соболезнования, прерывал расспросами и утешениями.

Башкин и Шатров прислушались.

В тот же миг, поспешно и все же не забыв постучаться, Ольга Александровна отпахнула дверь мужнина кабинета, отстранила тяжелую, на медных кольцах, дверную завесу и пропустила вперед себя Киру Кошанскую.

Девушка, стремительно войдя, лишь кивнула головой Башкину, а затем подбежала к Шатрову, как-то судорожно схватила обеими руками его руку и залилась слезами, не в силах что-либо сказать.

И тогда Ольга Александровна печально и тихо произнесла:

— Ты знаешь, Арсений, арестовали Анатолия Витальевича!

Кира кивнула:

— Да, да, папу увели... два часа тому назад. Сказали: в тюрьму! — Помолчав, добавила: — Я не позволяла им его увести. Кричала, что арестуйте и меня с ним. Но они... но они... эти палачи, опричники... еще поглумились надо мной: «Вас мы арестовать, гражданка, не имеем права: на вас пока что ордера нет. На папашу вашего есть — его и арестовываем!»

При этих ее словах Башкин, невзирая на горестное известие, позволил себе мрачную шутку:

— Но вот вам и «правовое сознание», об отсутствии коего у наших сегодняшних властителей так, бывало, скорбел несчастный друг наш Анатолий Витальевич: «без ордера арестовать не имеем права»!

И, не в силах сдержать негодование, обратился было к Шатрову:

— Что я говорил тебе, Арсений? И теперь вот еще больше имею право сказать тебе...

Шатров остановил его:

— После, после, Петр Аркадьевич! Дай расспросить... Подумать надо, как помочь Кирочке.

Но, увы, и на расспросы его Кира Анатольевна ничего не смогла добавить, как: пришли, предъявили ордер, забрали! Это словечко «забрали», означавшее

арест, уж мало-помалу стало входить в житейский обиход.

Быстрый на соображение, особенно в час беды, опасности для себя или для близких, Арсений Тихонович, по-видимому, уже нашел выход: лицо его прояснилось. Он сказал Ольге Александровне, чтобы она взяла Кирочку на свое попечение, дала бы ей чего-нибудь успокоительного, а самой Кире уверенно и спокойно сказал, что все уладится, что сейчас он переоденется и поедет к Матвею, благо Петр Аркадьевич не отпустил своего извозчика...

Ольга Александровна увела Киру к себе.

Но едва только закрылась за ними дверь, Петр Аркадьевич Башкин отбросил всякую сдержанность и, продолжая прерванный Кирой разговор, стал не говорить — выкрикивать:

— Что, Арсений Тихонович, что?! Пророком, ясновидцем оказываюсь? Тебя выпустили — юриста твоего забрали! Придет и опять твой черед! Не обижайся за такое предсказание: каждую ночь и сам жду незваных гостей... Да только Башкин не так-то прост! Знаю, что каждый шаг мой просматривают: ну как же — у меня ведь *военный* завод, гранаты делаем! А Дутов — вот он, рукой подать! Напрасно они уповают, что с ним покончено все! Да и казачки́ — казачка́ми, и сибирячок наш, мужичок — он тоже без радости их терпит!

Шатров хмуро, почти озлобленно прервал инженера:

— К чему ты мне все это говоришь?

— А к тому, что довольно нам, *большим* людям Сибири, патриотам, творцам промышленности русской, творцам изобилия народного, каких-то цыплят из себя изображать в курятнике: сегодня одного лиса выхватит из курятника, завтра — другого! Объединяться надо! Сказать властно: нет! Интеллигенция вся — против! Я не про ту «интеллигенцию» (в кавычках) говорю, которые в спасители человечества пялятся, «Вихри враждебные веют над нами» петь научились, а больше ничего и не знают. Для меня тот истинный интеллигент, кто машиной управлять умеет, кто ее строит! Человек знаний! Хозяин материи! Тебе дивлюсь, Арсений: в жилах у тебя как будто отнюдь не сукровица, а настоящая кровь, бурная, могучая, — и как же ты

сдал, до чего стал легковерен! Знаю, что очень ты веришь одному человеку... Не хочу его называть. Всегда он был мне антипатичен! И напрасно, напрасно. Обманешься! Неужели же ты не видишь, в чем единственное спасение наше, что и кто нас всех и всю Россию спасет?

Шатров неприязненно, с нескрываемой иронией прервал его вопросом:

— Не таи! Открой свой чудотворный рецепт. Что ж ты так долго его не сказывал?

Башкин ожесточился — ответно:

— Что *не сказывал*?! А то, что не хотел прежде времени очутиться там, откуда тебя только что выпустили. Куда беднягу Кошанского увели! Спрашиваешь: что и кто нас спасет? *Бархатная перчатка на железной руке!* Человек железа и крови! Вроде того, которым уж обладала наша несчастная Россия и которого не сумела уберечь. Знаешь, о ком говорю: я счастлив тем, что он вдвойне мне тезкою приходится — и по имени и по отчеству: Петром Аркадьевичем именовали!

Шатров презрительно усмехнулся:

— Ну, договорились! Нету у меня сейчас времени опровергать тебя... «двойной тезка» столыпинский! Один из его «галстуков»... пеньковых чуть было в девятьсот пятом вокруг моей шеи не захлестнулся! Отношение мое к покойнику ты всегда знал... А вообще, скажу тебе, не верил я никогда и не верю в этих *единоспасателей* России!

Кедрова «дома», то есть в гостинице, Шатров не застал. Секретарь-порученец, тот самый, с длинными назад волосами и в старомодном пенсне со шнурком, узнал его сразу, был чрезвычайно любезен, усадил в кресло, придвинул столик и притащил ему целый ворох газет, чтобы занять; даже предложил чаю, но все это — в приемной, а в комнату кедровскую все же не пригласил.

Арсений Тихонович отметил это в душе с невольной грустью: да, а давно ли, кажется, было время, когда у тебя, друг мой Матвей, не было никаких тайн от Арсения Шатрова?

Секретарь объяснил, что Матвей Матвеевич сейчас на телеграфе: ведет переговоры по прямому проводу с Екатеринбургом, с областным комитетом РСДРП. Но только что звонил и сказал, что если у него есть посетители, то чтобы дождались его: кто, конечно, хочет и сможет.

— Не торопитесь?

— Нет, я подожду.

Матвей и в самом деле явился вскоре. Вид у него был крайне утомленный, но Шатрову он обрадовался искренне, приветствовал радушно и даже повеселел. Пригласил пройти с ним во вторую комнату, изображавшую кабинет.

И все ж таки Арсений Тихонович был несколько в обиде. Он ожидал, что Матвей сделает упрек секретарю: почему заставили, мол, гостя, столь явно близкого мне, ожидать в приемной? Но замечания такого не последовало.

Кольнуло легкой обидой и то, что, указав гостю на кресло, Матвей быстро прошел к своему рабочему столу, собрал бумаги, на нем лежащие, и запер их в небольшой настольный сейф в углу комнаты. «В годы подполья, строжайшей конспирации и то не таился от меня так! Что значит власть!»

Кедров приветливо обратился к нему:

— Ну рассказывай, что там у тебя стряслось? По твоему лицу вижу, что неспроста заглянул. А впрочем, если я ошибаюсь, то я всегда — ты сам знаешь — рад тебя видеть!

— Нет, не ошибаешься!

И Арсений Тихонович коротко, но с нескрываемым возмущением рассказал об аресте Кошанского.

— Да ты столько раз бывал с ним вместе у нас в доме, знаешь его хорошо!

— Лучше, чем ты, лучше, чем ты, дорогой Арсений Тихонович!

Ответом Кедрова Шатров был озадачен.

— То есть как это лучше, чем я? Он у меня юрисконсультом с девятьсот двенадцатого года. И принят у нас в семье. А ты знаешь, что это далеко не для каждого было доступно.

— Знал. И весьма огорчался, что господину Кошанскому эта честь была оказана.

Шатров вспылил:

— Матвей! Во имя прежних наших отношений прошу тебя, брось говорить загадками! Ведь если бы не ты, не твое вмешательство, так и твой покорный слуга, Арсений Шатров, отягощал бы и по сие время тюремный бюджет!

— Ошибаешься. Разобрались бы и без меня. И зачем ты ставишь себя на одну доску с этим... негодяем, с этим...

Тут, как бы не желая его дальше слушать, Шатров сделал попытку встать с кресла. Но властным жестом обращенной к нему ладони Кедров заставил его снова сесть. И, ничуть не обнаруживая желания взять обратно столь резкий свой отзыв о Кошанском, а, напротив, еще раз повторив и подчеркнув, он закончил так:

— Да, да, Кошанский твой — негодяй. Активный контрреволюционер. Враг народа.

— Ты меня оскорбляешь: я *просить* за него пришел!

— Весьма прискорбно!

Шатров, побагровев, отдувался, пытаясь быть сдержанным: только бы не испортить, только бы не испортить все дело неуместной вспышкой! Но ответил прямо:

— Не слишком ли много у вас, товарищи большевики, стало контрреволюционеров?! Чуть что: а, ты — буржуй, паразит, контрреволюционер! Так, пожалуй, многих вы поставите против себя. А главное, без суда и следствия: пришли в дом, забрали, увели. Где же законность? Ведь если арест, заключение в тюрьму, так должно же быть для этого... ну какое-то законное право?

Ответ Матвея был короток и прям:

— Революционные события вызывают к действию революционное право!

— Так, так...

— Да! А насчет закона, так здесь, в отношении этого субъекта, как, впрочем, и в отношении многих таких господ, не только все делается по закону, но даже мы, советская власть, здесь, в Сибири, недопустимо, преступно перед судьбами русской социалистической революции, продержали под сукном этот самый закон, иными словами, декрет: об аресте господ Кошанских и о предании их трибуналу. Вот изволь, ознакомься!

Кедров быстро встал, быстро открыл запертый сейф,

уверенно взял оттуда папку с бумагами, и через мгновение перед глазами Шатрова лежали «Известия ЦИК» от 29 ноября 1917 года с декретом «Об аресте вождей гражданской войны против революции», отчеркнутым красной чертой от остальной газетной полосы.

И Шатров прочел:

«Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов.

На местные Советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с корниловско-калединской гражданской войной против революции.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета Народных Комиссаров

ВЛ. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

Петр., 28 ноября 1917 г.
$10^{1}/_{2}$ час. вечера».

Шатров сумрачно опустил газету. Тяжело вздохнул.

— Прочел?

— Прочел.

— Стало быть, ясно тебе, что никакого самоуправства местных властей здесь нет и в помине. И разве не ясно, что именно хотел сказать товарищ Ленин, когда *собственноручно* означил не просто десять часов или там одиннадцать, а вот — точно *десять часов и тридцать минут*? Это — сполох! Набат! Товарищи большевики! Советы на местах! Рабочие и крестьяне! Довольно благодушной доверчивости, столь нагло обманутой кадетами, этой партией врагов народа, зачинщиков гражданской войны! Не медлить более и получаса! Вот что означает эта скрупулезная точность в датировке декрета... Вот что она означает!

Кедров смолк. Стремительно встал.

Поднялся и Шатров. Молча посмотрели в глаза друг другу.

Протянув ему руку в знак того, что беседа окончена, Кедров сказал:

— Я всегда верил тебе, Арсений Тихонович. Верю и сейчас. Верю, что ты кинулся ко мне просить за Кошанского, движимый простым человеческим состраданием. И только потому кинулся, что не знаешь, кто он

и что он, этот господин... Иначе такое заступничество твое легло бы пятном и на твое имя... Прости за откровенность!

А дома его ожидала дочь Кошанского.

— Ну что, ну что? Ради всего святого, не томите меня! На вас, на вас вся надежда, Арсений Тихонович, дорогой! Скажите: освободят папу?

Этими словами она встретила его еще в прихожей, открыв ему дверь: Ольга Александровна была на вечернем обходе в госпитале и оставила Киру одну дожидаться возвращения мужа. Уходя, обнадежила ее снова:

— Думаю, что он не откажет Арсению. Ведь он столько лет был у нас как родной! Не плачьте. Лучше вот похозяйничайте за меня. Придет Арсений Тихонович — напоите его чайком. Он так устал душевно! Так измучен!

Кира не дала даже повесить ему шубу и шапку — выхватила из рук. Но и сама забыла их повесить: так и стояла перед ним — вся в мучительном ожидании.

Встретив ее вопрошающий взгляд, Шатров безмолвно и сумрачно покачнул головой.

Вскрикнув жалобно, она уронила на пол и шубу и шапку. В горестном отчаянии закрыла лицо руками. Пошатнулась.

Арсений Тихонович увел ее в комнату. Усадил. И откровенно сказал ей о полной неудаче своей попытки ходатайства.

Скорбно сцепив пальцы рук, прижатых к заплаканному лицу, она слушала его молча. Слегка покачивалась, закрыв глаза.

И даже когда он кончил, долго не говорила ни слова.

Вдруг — злобным шепотом:

— О, проклятые!

И открыла лицо, и распрямилась в кресле, и, гневно дыша сквозь тонкие, затрепетавшие ноздри, бросила с вызовом:

— А вы, вы — Арсений Тихонович Шатров! — я вижу, так и не посмели заступиться за вашего задушевнейшего друга. Не посмели? Да? Бедный отец! Он так предан был вам, так верил всегда вашей чести. Вашей совести! Вашему гражданскому мужеству!

Не ожидавший такого ее выпада, Арсений Тихонович начал было говорить, но она прервала его, резко встала и даже сделала отстраняющее движение рукой.

— Оставьте! Я не хочу вас слушать! С этих пор ноги моей не будет в вашем доме. Шатровы умерли для меня!

Выбежала в переднюю — к вешалке. Наступив, словно на половик, на лежавшую на полу шатровскую шубу, торопливо оделась. Но, уже держась за дверную скобу, еще нашла нужным выкрикнуть ошеломленному Шатрову:

— Будьте любезны передать Ольге Александровне, чтобы *они* не ждали моего появления на работе!

А вскоре отнята была у Ольги Александровны Шатровой и другая ее любимица, другая ее бесценная помощница по госпиталю, вторая из ее «старших девочек» — Раиса Ваганова. («Младшей девочкой» именовалась Вера Сычова.)

Отнял Раису беспощадный душевный недуг. Исподволь подкрадывался он к бедняжке.

И с чего ведь началось...

Несклонная и вообще-то к девическому щебетанию и пересмешкам с подружками да и не имевшая таковых, Раиса давно приучила всех в госпитале к своей молчаливости. И оттого, может быть, и проглядели, когда молчаливость эта стала угрюмой, болезненной, переходящей в нелюдимость. Перестала смеяться даже и в палате со своими больными и ранеными. Иной раз через силу разговаривала с ними. Застывшее нерадостное раздумье все об одном о чем-то, все об одном явственно налегло на ее столь светлое, детски пытливое, приветливое лицо.

Появились неловкие, неуверенные движения во время поручаемых ей обычно внутривенных вливаний, и вскоре она сама попросила главного врача Ерофеева снять с нее временно эту ответственную и чрезвычайно тонкую работу, доверяемую далеко не каждой из медсестер и даже не безопасную в неумелых руках.

— Ну что ж, отдохните, Раисочка. Переутомились вы страшно, деточка. В отпуск бы вас, да ведь... — И не договорив, Яков Петрович с тяжелым вздохом лишь развел руками: — Какие теперь отпуска!

Он долго в жалостном, отцовском раздумье глядел ей вслед:

«Да, что-то неладно с ней. Вот и походка у нее стала будто бы не та: нет прежней легкости! Надо будет поговорить с Ольгой Александровной...»

И вспомнилось старому хирургу про тот самый день, когда Никита Арсеньевич как-то сказал, что «Раиса» на древнем каком-то языке означает «легкая», а он, доктор Ерофеев, подхватив шутку, перевел тут же на свою любимую латынь: легкая — эфирная — «этэреа»!

Всем тогда страшно понравилось. А у него стало даже и привычкой называть ее так: «Вот что, Этэреа... Вы за этим больным, голубушка Этэреа, ужу особо понаблюдайте!»

И Раиса привыкла слышать от него это второе свое имя, да и не только от него.

«А теперь вот, пожалуй, и не назовешь ее так! Любопытно бы знать, замечает ли Ольга Александровна эту в ней перемену? Тем более что она у них же теперь и обитает...»

А она-таки замечала! Только не придала вначале всему этому никакого особого значения: «Переутомилась. Такая хрупкая, а ведь не выходит из госпиталя. Чуть не насильно увожу домой».

И ласково напоминала Раисе перед выходом из дому, что не подтянут у нее как следует чулок: складочки! Или — что небрежно причесана, а ведь никогда с ней этого, с такой строгой к себе, четкой, изящно одетой, никогда не бывало!

В ответ Раиса досадливо морщилась. Нехотя поправляла сбившийся чулок. Да и в работе по госпиталю у медсестры Раисы Вагановой стали нет-нет да и случаться упущения, недогляд, небрежность. И не миновать бы ей выговора от «самой», несмотря на всю любовь к ней Ольги Александровны, но Раису, дружа с нею и любя, каждый раз покрывала — а и не надо бы! — ее напарница по палате Вера Сычова — доделывала без укора и молча, так что никто и не замечал.

И все ж таки, все ж таки свойственная Шатровой материнская чуткость сердца заставляла ее с каждым днем все пристальнее, хотя и скрытно от самой Раисы, всматриваться в ее необычное поведение.

Да и подлинно *материнским* долгом обременила себя с недавних пор Ольга Александровна в отношении Раисы. Дело в том, что Шатровы согласились взять девушку к себе на все время, пока отец и мать Раисы находились в длительном отъезде, в Петрограде. Антон Игнатьевич Ваганов был послан с военного завода Башкина в Петроград, в Смольный, в коллегию Народного комиссариата по военным делам, с чрезвычайным заданием Совдепа. Зная житейскую неприспособленность мужа и его частые прихварывания, Анна Васильевна решила сопровождать его. И Шатровы по ее просьбе охотно приняли Раису в свой дом: «Не тревожьтесь, Анна Васильевна, поезжайте: от такой дочери, как ваша Раисочка, никто не откажется».

Терзаясь попреками к самой себе, вспоминала Ольга Александровна, какое лицо — весело-радушное! — какой голос — заверяюще-ласковый! — были у нее в тот миг, когда она, Шатрова, ничуть не задумавшись, приняла на себя это нравственное бремя, оказавшееся столь тяжким.

«А теперь вот гляди на нее да и казнись!»

А «казниться» была у нее одна особая и от всех, кроме Никиты, утаенная ею причина!

Да! Ольга Александровна вперед всех заметила самые первые, сразу встревожившие ее признаки душевного недуга Раисы: и нелюдимую замкнутость; и приступы мрачной молчаливости; и слезы в одиночестве; и тяготение к отдыху в полутемной зачем-то комнате; и странные, столь чуждые ей всегда проступки неряшества; и внезапную неприязнь к прежде милым для нее предметам и людям — все заметила! Но, увы, мало этого — ей пришлось воочию убедиться, что не без вины — и далеко не без вины! — во всем этом именно они, Шатровы. Вернее, один из них.

У Раисы в их доме была своя отдельная комната. И вот, еще когда все шло как следует, по-здоровому, Этэреа испросила к себе в комнату семейный шатровский альбом со множеством снимков: «Можно, он будет находиться у меня?» А тут вдруг он вновь очутился в гостиной. Однажды в часок досуга Ольга Александровна стала просматривать его — вспоминать ушедшие дни. Внезапно внимание ее остановилось на одной опустевшей, как сперва показалось, клеточке, и как раз

той, в которую вставлен был чудесный, очень любимый у них в семье снимок Никиты Арсеньевича. Доктор Шатров снят был минувшим летом, снимал «младшенький», Володенька, и очень этим снимком гордился. Светопись была четкая, крупная, в полную прямь строгого, умного лица. Удивительно запечатлелась на снимке неуклончивая, открытая прямизна взгляда его больших изголуба-серых, «материных», как принято было говорить, глаз — светло-безмятежных в покое, но и грозных, страшных порою, которых в такие мгновения побаивалась и сама Ольга Александровна.

«Кто же это вынул портрет?»

И тотчас же убедилась, что снимок не вынут из своего гнезда, а лишь перевернут наизнанку. Белая оборотная сторона и показалась ей дном опустевшей клеточки.

И Ольга Александровна позволила себе материнскую шутку: спросила, смеясь, чем же это так провинился ее старший сын перед одной из чудеснейших девушек, что его «повернули лицом к стене»?

Раиса вспыхнула. Не нашлась ответить. Потом заплакала — горестными и тихими слезами.

И Ольге Александровне пришлось услыхать нечто такое, что еще больше встревожило ее в отношении Раисы.

— Я не могу! Он смотрит... смотрит!.. А я не хочу, чтобы он видел меня *такую*...

Это было сказано совершенно всерьез. И тогда Ольге Александровне стало до ужаса ясно, что и сама бедняжка всем своим смятенным душевным существом *чует*, осознает, что с нею творится что-то неладное и неодолимое.

В глубокой тайне от всех Шатрова, в самый же ближайший приезд Никиты Арсеньевича на очередную его психиатрическую консультацию в городе, обо всем, что с Раисой, рассказала сыну.

Доктор Шатров слушал ее рассказ встревоженно. Помрачнел. Решено было, что он поисследует больную, побеседует с ней незамедлительно. Но препятствием было то, что она явно и всячески избегала попадаться ему на глаза там, в госпитале.

Условились: дома, врасплох. И чтобы Ольге Александровне настоять на этом, а не ему.

Так и сделали, когда дома были все трое и больше никого.

Ласковая властность Шатровой все еще была для Раисы непреодолимой, и она подчинилась. Ее действительно захватили врасплох. Постучавшись и услыхав: «Можно!» — Ольга Александровна вошла к ней не одна, а вместе с Никитой.

Раиса была в голубом, с золотыми искорками халатике. Толстенные жгуты ее золотисто-пшеничного цвета длиннущих кос рыхло, небрежно лежали вкруг головы. Смутилась.

Но Ольга Александровна обняла ее, расцеловала, а затем, слегка отстранив ее и легким движением откинутой руки укоризненно указав на Раису, произнесла, обращаясь только к сыну, и как заведомо решенное:

— Вот. И ты извини, но я давно хотела просить тебя, Никитушка: выслушай ты мне ее, выстукай и назначь ей лечение и режим. Не хочу быть в ответе. Скоро отец-мать могут вернуться: хороша я тогда буду перед ними!

И вышла.

Мгновение они оба стояли друг перед другом молча.

Раиса, зардевшись, жалобно взглянула на него.

Он понял значение этого ее взгляда, но был неумолим:

— Да. Уж, пожалуйста, Раисочка! Что же вам меня стесняться? Я же врач! — Улыбнулся и добавил: — И притом старый... И вы же для меня — как младшая сестренка... Ну?

Вздохнув, она сбросила халатик и осталась перед ним в одной коротенькой батистовой рубашонке — открытом, прозрачном хитончике, чуть повыше ее округло-полных колен, и который поддерживался лишь двумя надплечными голубыми держалочками. Но и то одну из них, на левом плече, она попросту оторвала для выслушивания сердца, и он с внутренним одобрением понял, что она поступила так, дабы избегнуть неловких движений выпрастывания руки.

То, что она ему как сестренка, он сказал вполне искренне. Он так почти и привык думать о ней все это время. Но сейчас, когда она внезапно предстала пред ним нагая по пояс, закрывая сгибом локтя глаза, у бедного доктора дыхание зашлось. Он потерялся. Нет, это

не было вдруг ворвавшееся в душу вожделение — такое он еще и в студенческие годы считал бы постыдным для себя, для будущего целителя любого страждущего, будь то мужчина или женщина, — нет, это была некая внезапная душевная потрясенность извечным чудом девственно-зрелого, непререкаемого в своей совершенной красоте нагого девического тела.

А еще и то, что прежде привык он видеть ее всегда либо в целомудренно-просторных, скрывающих очертания тела одеждах, а либо в сестринском белом халате, который Раиса выбирала себе и подлиннее и посвободнее — «на вырост», как подшучивали над ней другие сестры.

А сейчас ничем не прикрытые, млечной белизны ее зрелые груди, твердые и словно бы выточенные в конус, с бледно-розовыми вершинками, дерзко сверкали перед его глазами, трогательные до слез в своей неизреченной прелести.

Нет, это не груди были — это были *перси*!

И ему показалось прямо-таки святотатством, что, выстукивая пальцем по пальцу границы ее сердца, ему придется наложить на это чудо девической белоснежной плоти свой жесткий, сдавливающий, мужской палец. И он воздержался от этого — ограничился бережным приложением стетоскопа в точках, где прослушиваются обычно тоны сердца.

«Боже мой, однако, за это время, что я знаю ее, как же вызрела она, эта наша *Этэреа*!» Так невольно подумалось ему снова, когда, усадив ее на табурет, нога на ногу, он врачебным обоюдорезиновым молоточком наносил легкие удары пониже ее коленной чашечки. «Кто, когда мог подумать, до чего совершенны у этой девушки, даже и в глазах наивзыскательнейшего скульптора, очертания ее высоких ног, плавно восходящие от маленькой, с крутым подъемом стопы, от тонкой в обхвате щиколотки к упруго-сильным, слегка удлиненным икрам и к женственной, зрелой полноте и крупности ее коленей.

Раиса. Легкая. Этэреа...

Да ведь именно потому и легка ее поступь — «Те пройдут, а эта провеет!» — что несущие ее тело ноги и стройны, и скрыто, потаенно сильны!»

Не посмев даже и легким постукиванием невроло-

гического своего молоточка проверить у нее лицевой рефлекс, он перешел к зрачковым.

Затеняя ей ладонью то один, то другой глаз, он попросил ее смотреть ему прямо в глаза.

Она молча повиновалась, но вздрогнула и страшно побледнела.

— Ну вот и все, Раисочка!

Она безмолвно сделала ему знак, чтобы он оставил ее одну.

— Ну что твой Подсолнух бедный? Не мучь меня, Ника, говори скорее: займешься ты ею? Вылечишь?

Доктор Шатров угрюмо покачал головой.

— Отказываешься? Ты? Ведь о твоем гипнозе даже доктор Ерофеев... Да ведь я же и сама убедилась... В нервных, ну, в психических пускай, расстройствах все наши врачи считают тебя прямо-таки всемогущим...

— Оставь, мама! — И передразнил раздраженно: — «Считают»! «Считают» от невежества в душевных заболеваниях. Здесь гипноз противопоказан. И не только не улучшит ее состояния, а может еще более углубить бредовые, по-видимому, ее установки. Тем более *мой* гипноз!

И Никита объяснил ей, горестно недоумевающей, что он почти убежден: у Раисы — начало шизофрении. И здесь применение гипноза может лишь обострить бред отношений, бред преследования: у больных этой тяжкой душевной болезнью и без того не редкость навязчивая идея, что на них кто-то помимо их воли и даже на расстоянии воздействует «гипнотической силой». И они мучаются этим жестоко. Настолько, что иные из них находят единственное спасение в самоубийстве. Что же касается его самого, то разве не ясно, что именно с его личностью у нее и связана такого рода болезненная, навязчивая идея. Эта перевернутая Раисой его фотокарточка: «Он смотрит... смотрит... Я не хочу, чтобы он видел меня такую!»

— Мои глаза, видишь ли, способны смотреть через толщу альбомной покрышки! А что же возникнет в ее больной психике, если я усажу ее в кресло и начну, в самом деле, обычную в нашей практике фиксацию взгляда? Нет, мама, я-то еще не сошел с ума!

— Ника, но это ужасно! Что же делать?

— Не будем отчаиваться, мама. Понаблюдаем еще. Я обдумаю лечение. Режим. Буду приезжать к вам два раза в неделю. А ты незаметно присматривай за ней. Уговори ее совершать с тобой перед сном непременную часовую прогулку. Понаблюдай, как спит. Я выпишу для нее снотворные.

В тот же вечер Никита Арсеньевич срочно должен был уехать в свою калиновскую больницу.

Но его вызвали вскоре. Нарочным. Заболевшая совершила поступок, узнав о котором он уже больше и не смел сомневаться в своем диагнозе шизофрении. В палатах шатровского госпиталя, ужасаясь и горестно недоумевая, солдаты и красногвардейцы шептались о том, что сестричка Ваганова ни с того ни с сего водою из промываемого ею шприца вдруг, «озорничая», облила лицо и голову всеми уважаемой старой хирургической сестры. Раису пришлось отстранить от работы.

И стало ясно, что сколь это ни прискорбно, а небезопасно и для нее самой оставлять ее теперь без психиатрического надзора, без помещения в больницу.

— Только стационар, только стационар, мама! Лечить эту болезнь вне больницы нельзя!

Но психиатрическая лечебница на всю Сибирь только одна: в Томске!

Горестно поникли оба — и мать и сын!

Наконец, после тягостного раздумья, осушив заплаканные глаза, Ольга Александровна сказала:

— Буду сама сопровождать ее. Никому не могу я ее доверить: сама поеду с ней в Томск. С профессором Топорковым мы уже давно в деловой переписке по госпиталю... И отца он знает... Да и Сережа сейчас там: будет о ней заботиться... навещать ее.

Сергей Шатров был студентом Томского технологического института: грозный отец не дал-таки осуществиться его заветной мечте стать юнкером!

От слов матери просветлел страдальческий взор Никиты. Он поцеловал ее руку и с благодарностью и надеждой посмотрел ей в глаза:

— Мамочка! Как хорошо ты это придумала! Мне ведь никак не вырваться, ты знаешь: не на кого оставить больницу. Смотрю я на тебя и думаю: воистину

матэр долороза (мать страдающая) ты у нас. Не знаю, что бы мы без тебя делали!

Вспомнил, что старшим ассистентом у профессора Топоркова в Томске товарищ его и соученик: вместе окончили медицинский факультет в Петрограде.

Не откладывая, он послал товарищу пространную и обстоятельную телеграмму насчет Раисы с горячей просьбой помочь.

Сергею тоже была послана телеграмма и велено было встретить.

Но выехать в Томск с Раисой без ведома и разрешения исполкома Совдепа Ольга Александровна считала неудобным. Она посоветовалась с Ефросиньей Филипповной, как с представителем совета содействия, и та горячо поддержала ее. Вызвалась поехать с ней в Совдеп вместе. Разрешение дано было без малейших препятствий. И об этом шаге Шатровой с удовлетворением и похвалою отзывались на одном из ближайших заседаний исполкома. Разрешено было взять и сопровождающего санитара...

Они уехали. «Сестричка Ваганова», по особо ласковому ее прозванию, исчезла из госпиталя навсегда!

Скорбно и почти неотступно думал о Раисе теперь и Никита Арсеньевич, доктор Шатров. Опустело в груди. Страшно стало приезжать в госпиталь, где ее уже не было...

Нежная, застенчивая, умная, она теперь, непрошеная, вступала в его сознание с горестной укоризной на устах. Особенно, когда настигала бессонница.

«Да неужели я... *любил* ее? Ведь я о ней мало и думал. Знал, что она есть. Но и только. Почти не замечал. Было, правда, приятно, польстило самолюбию, когда как-то услыхал от матери: «Твой *Подсолнух:* так и поворачивается, так и тянется за своим солнышком!» Рассмеялся: «Брось, мама, выдумываешь! Да и какое же я солнышко!»

Часто и с явственностью галлюцинаций стал видеть ее такою, какой предстала она перед его глазами тогда, во время осмотра.

Целомудренный, еще не познавший женщины, человек с чудовищной и целеустремленной волей, годами воспитывающий себя в обуздании страстей и вожделений, доктор Шатров отнюдь не ставил своим идеалом

аскетизм и безбрачие! Нет! Но еще в пору первой юности в глубинах души своей он взлелеял чистый и строгий образ жены-сподвижницы, жены-друга, но и супружески страстно любимой. И вот Раиса, думалось ему теперь неотступно, Раиса... Да ведь это она, это она и была рядом с ним, его прелестный Подсолнух, столь долго им, столь преступно пренебрегаемый!

«Не Пигмалион ли я, обретший наконец свою Галатею? Но ведь *тот оживотворил, оживил* ее, а я... я умертвил!»

И тотчас же яростно восставал против этого: «Но в чем же, в чем же моя вина перед нею? Ну в чем? Что я — ухаживал за нею, подавал ей какие-либо надежды, обольщал? Нет, нет и нет! Пусть даже бедная девочка и полюбила меня... Да! Уж мне ли не знать, что шизофрения в таком юном возрасте — это действительно духовная смерть. Не можем, не умеем еще излечивать ее. Но я-то здесь при чем? И почему истязует меня совесть, когда я ничем, ну ничем не виноват в ее гибели?!»

Да! Не спрашивал бы он себя так, не пытал бы свою совесть, если бы *тогда*, в то злополучное мгновение, поднял он глаза свои и оглянулся на отпахнувшуюся дверь, в которой снова остановилась тогда — на одно лишь роковое мгновение! — Раиса — Легкая — Этэреа!

Кира Кошанская вздрогнула, приподнялась и выронила на тахту книжку Реми де Гурмона «Волосы Диомеда» на французском языке: стук с черного хода, в кухонную дверь, негромкий, как бы намеренно сдерживаемый, но явственный, повторился.

«Что за черт? Неужели моя Марго так скоро пресытилась зрелищами и объятиями?» Она выключила тускло горевшую лампочку торшера над изголовьем (электростанция городка работала с перебоями из-за недостатка топлива). Еще раз прислушалась: да, стучат!

Во всем огромном, с мезонином, доме она была в этот час одна: после ареста Анатолия Витальевича кухарка взяла расчет, кучер тоже ушел, так как щегольской выезд Кошанского был реквизирован распоряжением Ревтрибунала полностью, вместе, конечно, с примелькавшейся всему городку знаменитой парой его буланых.

Не оставила свою «госпожу» и доверительницу одна только горничная Феклуша, взятая еще дичком-подростком из деревни, тогда же и переименованная в Марго и вышколенная Кирой согласно всем ее причудам и капризам, преданная и развращенная.

Феклуша-Марго была отпущена после обеда в кино. Трудно было и усидеть дома: в синематографе шел боевик «Кровавая харчевня».

Набросив на плечи пуховый платок, Кира пошла открывать. Уверенная, что это именно Марго, она спокойно сняла крючок, дверь отпахнулась, и, вскрикнув от испуга: «Что, что вам надо?!» — Кошанская попыталась захлопнуть дверь. Но ей не удалось это: носастый парень в низко надвинутой шапке-ушанке табачного цвета, матерчатой и довольно поношенной, в засаленной солдатской стеганке, затянутой ремнем, — одежда многих и многих в то время! — не дал ей закрыть. Удерживая дверь снаружи за скобу, но не делая рывка к себе, он вдвинул грубый большой сапог в растворину двери клином.

И вдруг полушепотом произнес:

— C'est moi! (Это я!) Бога ради, не бойтесь: это — я! Саша...

И только тогда она признала в подозрительном парне подпоручика Гуреева. Сердитые слезы от обиды за пережитый ею испуг выступили у нее на глазах. Не в силах что-либо вымолвить, она только махнула рукой, чтобы входил, и пошла в глубь комнат.

Закрыв дверь, быстро сняв «робу», офицер на цыпочках заскользил за нею по довольно-таки запущенному паркету.

— Саша, вы? Какими судьбами?!

Да! Вот уж кого она меньше всего ожидала после обрушившейся на их семью кары! Прежние знакомые, как водится, теперь избегали дома Кошанских, а с нею еле раскланивались, пробегая. Что же касается Гуреева, то в городке знали, что он, как говорилось в этих кругах, «делает карьеру»: пошел на службу к большевикам — работает военным инструктором. Мало этого! Былые друзья и знакомые перешептывались, что Сашка Гуреев — слыхали? — не чурается будто бы даже и карательных прогулочек по уезду с отрядом кронштадтских морячков!

И вот он — у нее!

Разговор начался не сразу. Гуреев сперва пробежался молча из угла в угол скользящим шагом, затем остановился возле тахты и, скосив над брошенной Кирою книжкой голову, прочел вслух:

— «Реми де Гурман...» Интересно?

Кира страдальчески рассмеялась:

— Де Гурмон, Саша. Вы неисправимы!

— Да, да, конечно! Простите, не рассмотрел...

Помолчали.

Кира спросила зло:

— Рассказывайте... Чему приписать честь вашего визита?

— Любви!

Кошанская только пожала плечами.

Гуреев молча опустился перед ней на колени. Она поняла, что он вознамерился поцеловать ей опущенную руку, и отвела ее. Тогда он с подчеркнутым священнодейством, словно кромку полкового знамени, поцеловал бережно взятый на ладонь край ее юбки.

Кира озлилась:

— Знаете, Александр... Игоревич, я, право, не в таком состоянии, чтобы участвовать с вами в этом... *скетче*!

Душевный взрыв, разразившийся в ответ на ее слова, заставил ее поверить.

Не вставая с колен, Александр Гуреев извлек из кармана маленький кольт и, приставя дуло к своему виску и страшно побелев лицом, сказал глухо и обреченно:

— Кирочка! Если вы сейчас же, немедленно не возьмете своих слов обратно, я, не вставая с колен, застрелюсь... Клянусь честью офицера!

Она подняла его. Положив руки на его плечи, долгим испытующим взглядом посмотрела ему в глаза.

И поцеловала.

Они беседовали — жадно, сбивчиво, обо всем.

— Но ведь вы рисковали, Саша! Вы же теперь командир Красной Армии, военспец, говоря на этом очаровательном языке.

Он, рассмеявшись, подтвердил:

— Да, да, военспец, военрук, и даже в уездном масштабе! Вы говорите: рисковал. Что ж, отрицать не стану. И, может быть, больше, чем вы думаете! *Они* меня за это по головке не погладили бы! Не говорите об этом никому, но иногда мне казалось, что за вашим домом установлено наблюдение... Я нарочно выбрал время, когда и рабыни вашей нет дома.

Рабыней именовать свою горничную, *предками* — родителей стало в обычае у Кошанской после очередной поездки в Петроград: так принято было у избалованных дочек в «лучших семействах»!

— Как же вы об этом узнали, что рабыня мною отпущена?

— Не спрашивайте, Кирочка.

— О, какая, однако, таинственность! Да уж не чекист ли вы, Сашенька?

Он взметнул бровями и с ужимкою ответил:

— Увы, не хватает рекомендаций. Кстати, не могли бы вы мне, царица души моей, посодействовать в этом?

Она удивилась. Тогда он ей объяснил, и уже не шутя, ход своих мыслей и расчетов: через Шатровых Кира, дескать, могла бы добыть ему рекомендацию Кедрова.

— А этого одного человека рекомендация сделала бы ненужными все остальные!

Но он испугался даже, когда взглянул на исказившееся вдруг презрением и злобой ее лицо. Откинув голову, гневно-протяжно она пропела через нос:

— Ша-тро-о-вы?! Они *мертвы* для меня! Не говорите мне больше о них. — И, отвечая на его изумление, рассказала ему о своем разрыве.

Гуреев не одобрил ее поступка.

— Я понимаю вас, Кирочка, понимаю. И все ж таки не надо было так поддаваться эмоциям. Особенно в такое время. И, простите меня, не надо было уходить из госпиталя. Не надо было рвать с Шатровыми.

Не отвечая ему ни словом, Кира встала и сделала вид, что в негодовании уходит. Он испуганно удержал ее. Стал просить прощения. И когда убедился, что прощен, не удержался от изъявления чувств:

— О, как вы хороши в гневе! Эти вздрагивающие ноздри дикой лошади!

— Вы неисправимы, Саша.

Он спросил, соболезнуя, о ее отце.

Кошанский все еще сидел в тюрьме. Суда над ним еще не было. Кира носила ему передачи. Ей удалось добиться и свидания. Он обрадовался страшно. Но своими упреками она омрачила их встречу: попрекала его, что он всегда оставался глух к ее настойчивым и многократным просьбам переехать в Петроград: «С твоими связями, с твоими талантами и умом, папа, разве ты не был бы министром? Или директором банка, на худой конец? И я не прозябала бы здесь, в этом провинциальном, богоспасаемом болоте! Но ты приковал себя к триумфальной колеснице Арсения Шатрова, а он...» Отец взволнованно перебил ее: «Нет, нет, Кира, ты говоришь о том, чего не знаешь: не «колесница Шатрова», а иные, иные, *священнейшие* обязанности держали и держат меня в Сибири! Но я не вправе, прости, говорить даже и с тобою об этом!»

Разговор этот они повели было меж собою по-английски, но, вслушавшись, молоденький красноармеец окриком прервал их: «По-иностранному — нельзя!»

Услыхав о «священнейших обязанностях» Кошанского по Сибири, Гуреев с плохо скрываемой тревогой спросил:

— Но все же, Кирочка, неужели и вам, своей единственной, боготворимой дочери, Анатолий Витальевич так и не открыл, хотя бы намеком, что это за священные обязанности его перед Сибирью, которые удерживают его здесь?

— Нет. Он ничего мне не открыл. Вы плохо знаете папу! Он умеет и поговорить в обществе, но умеет и молчать. И не раз у него вырывалось, что работа юрисконсульта — прекрасная школа профессионального молчания...

Гуреев успокоился.

Спросил, что же, собственно, думает о причинах своего ареста сам Анатолий Витальевич?

Кира ответила, что, по его догадкам, виною всему была та откровенная, хотя и в «строго своем» обществе, его суровая критика — критика правоведа, юриста, которой он безбоязненно, и даже желая помочь молодой советской власти, подвергал иной раз в беседах *правовую*, так сказать, сторону ее деятельности. Большевики, говорил он, сломали стройную, веками слагав-

шуюся, на основе бессмертного римского права, структуру всех судебных органов. И что же взамен? Вплоть до опубликования новых законов, уголовных и гражданских, дорогие товарищи вздумали руководствоваться лишь наспех испеченными декретами, социалистическим, видите ли, смыслом совершившейся революции, а еще, как изволят они выражаться, «революционной совестью членов суда». А где же гражданский правопорядок? Где кодекс? И возможно ли найти лучший, чем бессмертное римское право?

— Вот так он, приблизительно, Саша, и пооораторствовал где-то, в «строго своем» обществе. Ну и кто-то донес!

Она осушила батистовым платочком глаза.

Гуреев стал ее успокаивать.

Кира, однако, вскоре же справилась со своим волнением.

— Стыд и позор: совсем рева стала! — И, тряхнув головою, с насильственною улыбкой на красивом лице, произнесла: — Но в небольшом количестве слезы, как мне говорили, идут мне.

— О да, да, Кирочка! Вы божественны! Но я, я... не нахожу слов!

— Что правда, то правда: природа не баловала вас в этом отношении. И все-таки, все-таки...

Тут она загадочным и ласковым взглядом своих больших темных глаз обдала бедного офицера. Он замер в ожидании, чем закончит она свое «все-таки».

— И все-таки, Саша, иногда мне кажется, что я могла бы полюбить вас.

Он взревел от восторга:

— Кирочка! Если бы вы знали, как я счастлив слышать эти ваши слова! Я считал, что вы... мне тяжело произносить это!.. что вы влюблены в Никиту...

Она презрительно искривила губы:

— Вы ошибались. Буду откровенна. Я знала, что я нравлюсь ему. Одно время и он мне был... приятен. Я идеализировала его. Но теперь... когда у него недостаточно смелости вот так, как сделали это вы, благородно, мужественно, с опасностью, быть может, и для жизни, прийти и выразить простое человеческое сочувствие в такой беде, я ненавижу его!

— Кирочка!

Но в ответ на неистовый возглас поклонения ему пришлось услыхать нечто вроде сурового и неожиданного допроса:

— Саша! Способны ли вы служить мне, как... раб?

— И вы еще спрашиваете! Вытирайте о мое сердце ноги! Я все стерплю. Но только от вас, от вас единственной!

— А если я... чудовище?

— Все равно!

— Я верю вам... Тогда вы должны знать обо мне все. Я безмерно властолюбива. Я хочу поглотить весь мир. Но этого мало. И сейчас вы испуганно отпрянете от меня. Все человеческие страсти бушуют во мне. Я хочу быть в одно и то же время и Цезарем Борджиа и... Манон! Ну что? Вы готовы отпрянуть?

Не отвечая ей, Александр Гуреев лишь отрицательно потряс головой:

— Я слушаю, Кира. Продолжайте.

— Моя единственная всепоглощающая страсть — тщеславие. Что ж делать? Ваша беззаветная преданность обязывает меня к полной... исповеди. Я вся — перед вами! А иногда... иногда, Саша, мое единственное желание — быть... бабой. Как все!

Гуреев издал восторженный возглас, глаза его радостно сверкнули, он гордо выпрямился:

— Кирочка! Но это же чудесно, чудесно! И если бы мне позволено было, то я...

Он сбился, но она поняла, что он хотел сказать.

— О нет, вы не так меня поняли. Я знаю: рука и сердце *поручика* Александра Гуреева... или, простите, уездного военрука товарища Гуреева — к моим услугам. Нет, выйти замуж... нарожать детей — это может сделать любая прачка. Но если этот бывший поручик, ныне военрук, будет помнить, день и ночь помнить о том *поручике* военной Сен-Сирской школы, с которым в Тильзите, как равный с равным, обменивается объятиями и поцелуями сам император всероссийский, то...

Она смолкла.

— Я вас понял. О, как я вас понял, Кира! — Загадочно хмыкнув, он спросил: — А если — допустим на минуту! — я, Александр Гуреев, достигнул бы власти, близкой к той, которою обладал — ну, вы понимаете кто! — чего бы вы потребовали от меня?

Она почти с презрительным сожалением посмотрела на него:

— Боже мой, неужели вы не догадываетесь, и я должна вам сказать, чего бы я больше всего на свете хотела сейчас!

Он понял. И, слегка понизив голос, сказал:

— Чтобы освобожден был из тюрьмы ваш папа́?

— Ну конечно!

Порывисто сжав ее руки и вновь отпустив, он стал ее утешать:

— Кирочка, ради всего святого, не беспокойтесь за исход. Заведомо знаю... от друзей... что Вера Михайловна ему не угрожает.

В недоумении она даже отшатнулась от него:

— Что вы говорите, Саша? Какая Вера Михайловна?

Он рассмеялся:

— Простите, простите! Это на нашем арго́: Вера Михайловна — то есть высшая мера... Так вот, я ручаюсь: страдать Анатолию Витальевичу осталось совсем, совсем недолго! Пока они играют в гуманность... А вскоре... Но, ради всего святого, не спрашивайте меня, божество мое, ни о чем, ни о чем! Буду ли я похож на поручика Сен-Сирской школы, не знаю. Но знаю одно: скоро вы убедитесь, что в жилах Александра Гуреева течет отнюдь не сукровица интеллигентов!

Он вскинул голову. Его слова звучали присягой.

Володя Шатров иной раз места себе не находил от приступов тоски о своем чехе. Скрипку он не забросил, но поискать другого учителя вместо Иржи наотрез отказался. Сослался на перегрузку по алгебре и тригонометрии, с которыми у него были давние нелады, и Ольга Александровна оставила его в покое: «А то и впрямь, чего доброго, застрянет на переходе в седьмой, и без того этот «Союз учащихся» да эти их какие-то суматошные, никому не нужные собрания совсем отбили мальчика от предметов». И удовлетворилась тем, что скрипки он все ж таки не бросает: честно водит смычком по часу в день и все, что успели они со своим Иржи Прохазкой разучить, исполняет и теперь неплохо и с большим чувством.

Ей и в голову не приходило, что для Володеньки

бедного святотатством бы показалось стать чьим бы то ни было учеником после Иржи. Он все еще верил, что Иржи вернется с Юго-Западного фронта жив-здоров, хотя и знал из газет и по слухам, что в злополучном у Зборова и на Красной Липе сражении три чехословацких добровольческих полка были брошены русским верховным командованием в качестве тарана напролом и понесли тяжкие потери. В одном из них, командуя ротой, был надпоручик Иржи Прохазка.

Сражение под Зборовом было кровопролитным. Ударные полки после успешного прорыва трех рядов австрийских укреплений, с захватом тысяч пленных и множества орудий и пулеметов, принуждены были отступать из-за отказа прочих воинских частей идти в наступление.

Прикрывая стихийный откат покидавших окопы войск, ударные части потерпели снова тяжкий урон.

И все же Володя и думать не хотел, что его Иржи нет более в живых. Они очень полюбили друг друга. Расставались в слезах. Застенчиво-гордый, Иржи сказал своему ученику, чтобы никто в семье Шатровых не знал, что это их прощальный урок. По-видимому, боялся, что, узнав о его отъезде на фронт, Шатровы-старшие станут ему навязывать прощальные наградные деньги сверх того, что он получал за уроки. Так, по крайней мере, думалось Володе, а то с чего бы заалелся, как красная девица, воин такой, когда попросил его об этом?

И трогателен был этот их последний урок! Сперва исполняли высокие и трудные вещи, а под конец учитель снисходительно к самому себе усмехнулся, слегка кивнув головой, и Володя тотчас же изготовился, понял его без слов — и они заиграли и запели в два голоса ту самую жалостную песенку о солдате, которая в самом начале их дружбы была первой цельной вещицей, сыгранной учеником.

Иржи Прохазка уже хорошо знал русский язык, но легкие особенности чешского произношения — Володья, ребьята, крайя — все еще оставались у него, и Володю это слегка забавляло и трогало, даже нравилось.

Во всем доме в тот час никого не было, и они всей душой, не боясь ничьей насмешки, отдались бесхитростно-скорбному напеву:

...И никто, ребьята,
не вспомнит солдата
ни одной слезой:
как он, защищая
честь родного крайя,
падает в бойю!

И Володя, сам не замечая, тоже выпевал: ребьята, крайя, и бойю...

И не стыдились друг перед другом затуманившихся слезою глаз.

И уж очень долго в этот раз укладывал Иржи свою верную подругу — скрипку, отвернувшись от ученика!

А потом, грустно улыбнувшись, достал из внутреннего нагрудного кармана серебряный плоский портсигар. Володя удивился: чех с гордостью говорил ему, что вот, дескать, несмотря на все и всяческие испытания солдатчины и войны, он воздержался от курения, чему очень дивились товарищи и даже называли его за это *гóлка*, то есть девушка.

Щелкнул разомкнутый портсигар, и чех извлек оттуда снимок и протянул Володе:

— Володья, милый, что я дарью тебе на памьять! Просим! (Пожалуйста!)

Володя радостно принял.

Иржи добавил:

— Я написал. Прочти.

На обороте стояло по-русски:

«Свободу народа защищают оружием!» А далее по-чешски: «Валчит аж до витезстви!» Но Володя легко справился с переводом: «Война до победы!» Подпись — по-русски: «Твой брат навеки — Иржи Прохазка».

Не успел обрадованный подарком Володя спросить: «А что я вам?» — Иржи опередил:

— А вы мне, Володья, просим даруйте *свой* маленький портрет!

И Володя с готовностью вручил своему чеху большой семейный альбом, лежавший на круглом столике:

— Выбирайте, Иржи. С меня тут много... И один я, и... с другими.

— Добже, добже... Декуйи! (Спасибо!)

Иржи сел в мягкое кресло, положив альбом со сним-

ками на колени, стал перевертывать листы, всматриваясь. Пальцы его слегка дрожали.

Володя, по его знаку, тоже присел на широкий, упругий локотник слева от Иржи и чуть сзади него, и они стали просматривать и выбирать вместе.

Наконец при виде одного из снимков у Иржи вырвалось столь свойственное ему восхищенно-протяжное «О-о!», с полувопросительным каким-то оттенком.

Но на этом снимке Володя был не один, а с мамой. Они сидели рядом, склонив головы один к другому. Беззаботная улыбка Ольги Александровны чуть открывала ее ослепительные зубы. Володя смотрел на снимке важно и строго.

Не перекидывая больше плотных листов альбома, Иржи жалобно взглянул на Володю большими голубыми глазами под светлой бровью и со светлыми же ресницами и, покраснев почему-то всем своим тонким, удлиненным лицом — словно и впрямь го́лка! — певуче спросил:

— Володья! Когда бы вы мог подарить мне этот?

— А почему же нет? У нас ведь сохраняются негативы. Пожалуйста!

И Володя вынул снимок и, по просьбе Иржи, начертал дарственную на обороте, довольно-таки пространную надпись: «Другу-учителю моему Иржи Прохазке, доблестному борцу за свободу и независимость чешского и русского народа — против вековых угнетателей славянства, — на добрую память. Владимир Шатров».

Иржи, стоя навытяжку, благоговейно, растроганно принял этот прощальный дар, бережно замкнул его в серебряном портсигаре и спрятал во внутренний карман френча, против сердца.

Сжав до боли Володину руку своей маленькой, но страшно сильной рукой, произнес:

— Спасибо, спасибо, Володья! Я верью... — тут он коснулся своей груди, — вы спасете меня от австрийской пули!

Затем обнялись и расцеловались в слезах — и расстались, да уж не навечно ли? «Видно, плохо мы с мамой оберегали его сердце от австрийской пули! Обещал писать — и ни одного письма, ни одного письма до сих пор!»

И вдруг, когда совсем уже стал отчаиваться, весточка от Иржи достигла его. Произошло это и неожиданно и просто.

В зрительном зале бывшего Благородного собрания, бывшего Делового клуба, бывшего Офицерского собрания, а теперь Народного дома только что закончилось многочасовое, шумное и до мелочей повторявшее взрослых по своему распорядку общее собрание старших четырех классов мужской гимназии: малышей не тревожили!

«На повестке дня» — так именно со всей важностью огласил председательствующий, чернявый, вертлявый гимназист-шестиклассник, завзятый вития ученических собраний, — стояли следующие вопросы: «Полная отмена отметок по всем предметам. Право учащегося отказаться отвечать урок, если таковой... (Тут, конечно, последовали задорные выкрики и смех: «Кто *таковой*? Урок или учащийся?!» И председатель, покраснев, зазвонил в колокольчик.) Если таковой, то есть учащийся, чувствует себя неготовым к ответу. Третий вопрос: о переводе из класса в класс без испытаний, экзаменов и переэкзаменовок. И, наконец, четвертый и последний: о прекращении занятий вообще ввиду тревожного времени, переживаемого родиной».

Прения затянулись. Скоро должен был начаться платный концерт, а потому старый брюзга-швейцар, все еще в одежде с потускневшими золотыми галунами, который и в самый разгар речей нет-нет да и входил без нужды шумно в бывшую ложу исправника и, усевшись в кресло, созерцал и слушал, позевывая и усмехаясь: «И *эти* туда же!», страшно обрадовался, что на законном основании может поторопить наконец собравшихся. На виду у всех он через всю сцену подошел к говорившему председателю сзади, пресек его речь и, для видимости заслонив рот ладонью и якобы шепотом, но так, что слыхать было всему залу, предложил освободить помещение.

А сзади стола президиума уже выходили из-за кулис и задника, изображающих березовый лес, оркестранты-солдаты — кто с чем.

Среди поднявшегося шума председатель, бедный, наскоро зачитал резолюцию, проголосовали без подсчета и начали расходиться.

Володя Шатров, пережидая, стоял лицом к эстраде и смотрел, как размещался оркестр. Всем заправлял, бесшумно и проворно, больше жестами, чем словами, упитанный, румянощекий, тщательно выбритый, с комочками усиков под носом, энергичный и веселый крепыш в новеньком солдатском, но в белых щегольских бурках. Сбоку у него слева видна была плоская надбедренная сумка желтой кожи, с прозрачной, как стекло, наружной стенкой — такие Володя привык видеть только у офицеров.

И вдруг он узнал этого человека: то был Ян Пшеничка, тот самый чех из квартета бывших военнопленных, управляемого в ту пору Иржи Прохазкою, тот самый Ян Пшеничка, что с таким радушием и гостеприимством освобождал его тогда от фуражки и шинели, а потом угощал.

Застучало сердце.

Выждав, когда Пшеничка пробегал по краю эстрады, над так называемой «ямой», где обычно размещаются оркестры, Володя с неловкостью окликнул его по-чешски:

— Добри вечер, Яне, наздар!

Изумленно глянув и тотчас же узнав, чех воскликнул, приостановясь:

— О-о! Пане Володья! Наздар, наздар! Теши мне, же вас видим! (Очень рад, что вас вижу!)

А в следующее мгновение он, сбежав по лесенке, был уже перед ним, радостно потряс ему руку, подхватил под локоток и быстро провел в небольшую буфетную, по-видимому «для своих», шепнул что-то сонной буфетчице в белом халате, и, несмотря на то что она явно томилась бездействием и скукой перед пустыми застекленными полками, в кою пору перед Володей и Яном Пшеничкой на столике с мгновенно перемененной скатертью очутилась бутылка холодного пива и тарелка с кружочками отличной колбасы.

По всему видно было, что этот веселый, общительный и расторопный чех здесь в особом почете. Да оно так и было. С первых же слов сбивчивой их беседы Володе Шатрову стало ведомо, что Ян Пшеничка ныне дирижер гарнизонного красноармейского оркестра.

Пшеничка радушничал:

— Не́мате хуть на скленку пива, пан... — и тотчас же исправил обращение на «соудруг» — товарищ: — соудругу Володья? — А сам уже наполнял бережно Володин стакан, умело остановив на переливе шапку белоснежной пены. — Просим! (Пожалуйста!)

Володю всегда удивляло, до чего же часто в разговорах чехов между собою слышится это певучее «просим».

За время общения и дружбы своей с Иржи он многое стал понимать из чешской речи, а иногда, преодолевая смущение, пытался даже и вести незатейливый житейский разговор, перемежая русскими словами, а порою и помогая жестами и выражением лица.

Так было и сейчас. Да и трудно ли было понять, что «хуть» — это аппетит, желание, а «скленка пива» — это стакан пива?

Что же касается Пшенички, то он хорошо владел русским языком, но, в угоду гостю, тоже мешал русскую речь с чешской.

Подмигнув на бутылку с пивом, он сказал:

— Это, правду сказать, пиво не пильзенское! Но... — И не договорив, с мечтательною тоскою в голосе, на миг зажмурился и громким шепотом, со вздохом воспоминания произнес: — О-о, плзенске пиво! — Тут он округлым движением сблизил обе горсти над своим стаканом, изображая, как пышная пивная пена белым куполом наплывает на края толстогубой кружки. Напрягши лоснящиеся щеки, слегка даже отдул воображаемую пену, прежде чем припасть к жаждоутоляющему, прохладному, излюбленному напитку чехов.

Вскинулся. Поднял свой стакан, приветственно протянул его к Володе: *чокнуться и выпить за дружбу!* Так и сказал по-своему:

— Тюкнеме си! Пршипиеме си на пршателстви!

Володя поднял свой — «тюкнулись» и выпили за дружбу.

Володя похвалил пиво.

Пшеничке это было приятно.

— О, они знают, — тут он кивнул на буфет, за которым уже никого не было, — они хорошо знают мою строгость в этом. На отчизне нашей... там я сам был неплохой пивовар. — И пошутил заученными, должно быть, с молодых лет словами, указывая на колбасу

и на пиво: — Здраве масо говьези, телеци а вепржове йе пул здрави. Добре плзенске пиво йе опьет пул здрави!

И по выражению лица своего собеседника понял, что им понято все. Да и чего тут было не понять: «Доброе мясо: говядина, телятина, свинина — это половина здоровья. Доброе пильзенское пиво — опять-таки половина здоровья!»

До начала концерта оставалось еще свыше часа. Сбегав на сцену и передав, очевидно, все дальнейшее кому-то из ближайших помощников своих, чех вернулся к столу и лишь тогда, после распития всей бутылки, стал вкратце, и явно о многом умалчивая, отвечать на жадные вопросы Владимира о судьбе Иржи Прохазки, а попутно и о двух других сотоварищах его по квартету: о *Ярославе Чехе* и о *Микулаше Соколе*.

Вздохнул облегченно: Иржи Прохазка жив!

— А где он теперь?

— Все еще в Киеве. Большие дела у него. Скоро вся наша легия, все чехи и словаки поедут на восток. Железницею. Опустим Украину.

— Но скажите, соудругу Яне: Иржи здоров, не ранен и... ничего с ним?

Пытливо посмотрел в лицо собеседника.

Пшеничка отвел глаза, однако решительно и поспешно успокоил:

— Ани, ани! (Ни-ни!)

Заметил тень тревоги и недоверия и счел нужным расширить ответ свой:

— Вы спросите: тогда почему же он нэ писал вам? Но он йест дустойник и вóяк. Офицер и солдат: такие — из теплушки прямо в бой!

И объяснил далее, что, едва Иржи прибыл в Киев, ему, как офицеру опытному и храброму, сразу, без промедления дана была рота, которую он и водил в бой. Да, он сражался под Зборовом. Но вышел из боя цел и невредим.

И, спохватившись, весело воскликнул:

— Нынче почта с *курьером* надежнее. У меня есть его письма, его и Ярослава Чеха. Привезли гóши (парни)... Вы умеете читать чешски?

Володя ответил, что ему это даже несравненно легче, чем разговаривать: латинское начертание слов его затруднить не может, а глазами он больше, и гораздо, понимает чешский язык, чем на слух.

Пшеничка извлек из набедренной кожаной сумки целую кипу солдатских писем от чехов с фронта и, пробегая их наспех, бормотал, откладывая ненужные ему в сторонку:

— Олдржих Пэкач... Павел Вискочил... Петр Голуб... Вацлав Врана... Ян Дедина... Так, так... О, вот: Ярослав Чех... Просим! Сейчас будет вам Иржи!

И передал Володе одно из писем Ярослава Чеха.

Прочитывая крупным, красивым почерком написанный лист и почти все в нем понимая, Володя невольно увидел в своей памяти крупное и красивое, мужественно-суровое лицо того молчаливого богатыря чеха, которого он сперва посчитал было за старшего, — тогда, в общежитии четырех. И почерк, и самые выражения письма — твердые, не допускающие никаких сомнений, немногосложные — вызывали в сознании похожий образ и человека, начертавшего их.

«Да, *этот* шутить не станет!»

Ожидая, когда же Ян Пшеничка доберется до Иржиного письма, Владимир письмо Ярослава Чеха читал поверхностно, пропуская труднопонятные для него места, но и притом явственно вставал перед ним облик этого воина-чеха. Гневался, укорял, бичевал он, как бы через посредство Яна Пшенички, всех инакомыслящих чехов, всех бывших военнопленных, отказавшихся или все еще медливших с добровольным вступлением в ряды чехословацкого войска.

Одно из мест этого послания скорее, а не письма, прямо-таки ужаснуло Володю, и настолько, что он, понимая, о чем идет речь, все ж таки спросил Яна, что означает слово «завраждили»: убили, значит?

Ян Пшеничка печально кивнул и развел руками.

— Да, да!

— Чехи — чеха?!

Тот опять молча подтвердил.

В двух строчках письма спокойно и кратко, словно о чем-то заурядном, чему быть должно, Ярослав сообщал, что вот, дескать, к ним, в казармы первого полка, тоже пришел чех-большевик, Франтишек Покорный,

и стал агитировать «братьев», чтобы уходили из русской чехословацкой легии и вступали в Красную Армию, но мы «завраждили го (его), яко шпиона а провакатера».

Он переводил про себя дальше. Изредка спрашивая Пшеничку:

«Ибо у нас идет ныне тяжкий бой с немцами, австрияками и большевиками за каждую солдатскую душу солдата-чеха. Мы должны быть беспощадны! Чехи и словаки... Солдат должен не политиканствовать, а честно служить. Пади и умри, как повелевает нам Родина и Закон! Офицер — начальник. Солдат — подчиненный! Полковые комитеты? Зачем? Их дело — только снабжение, устройство разумных развлечений и — ничего более! Ты знаешь, Янэ, куда привели русскую армию эти «делегаты» и «комитеты». Знают все. С нами да не будет этого! Пускай под Зборовом «землячки» предали нас...»

— «Землячки» — это он наших, русских солдат называет?

Ян Пшеничка молча кивнул головой.

Володя тяжело вздохнул.

«...Но мы не ради их сытости и покоя взялись за оружие, мы великой России присягали на верность! И она есть и всегда будет великая Матерь всего славянства! Пусть предатели, трусы, австрийские выродки, раскольники национального чешского единства еще корчатся на нарах бараков, прикрываясь все еще званием военнопленных, или обливаются грязным потом в бараках на русских крестьянских фермах или на заготовках дров, но я, Ярослав Чех, я — воин за свободу моего Отечества и за Всеславянское соборное государство под главенством России. Я — *руссославян*. Я — *всеславян!* Ты знаешь меня. И я все тот же! Пусть измена вкруг нас. Но мы опрокинем гнусный престол Габсбургов. Мы дорвемся до Вены и Будапешта и в клочья раздерем черно-желтое знамя Австро-Венгрии. Ибо мы, чехи, — потомки Гуса и Жижки! А изменников ждет участь того зрадца (изменника), Франтишка Покорного: пуля или веревка на первой осине! Придет час — и не хватит телеграфных столбов, на которых мы, верные сыны Чехии, станем вешать предателей, покинувших наши ряды! Пусть не надеются на крови

своих падших в боях братьев приплыть в нашу Злату Прагу: им никогда, никогда ее не видать! Прочти это всем *нашим*. На сглéданоу! (До свидания!) Ярослав Чех».

У Володи пот выступил на лбу, он будто из нестерпимо душной каменной, тесной трубы вырвался-выполз из этого страшного письма!

Почти выхватил из рук Пшенички отысканное наконец им письмо своего друга — Иржи.

Здесь все было светлее, дружелюбнее, мягче. И от слов, и от самого почерка Иржиного письма невольно вставал в сознании и его внешний облик — юный, тонкий, затаенно мужественный.

Лицо у Володи просветлело. Как струя свежего лесного воздуха ворвалась в грудь!

«...Мы знаем: русский брат наш, тяжко израненный, изнемог. Но чехословацкое войско всегда было и будет другом русского народа. И мы никогда не пойдем против социалистической советской власти. Чехи — народ демократический, справедливый и свободомыслящий. И я решительно отметаю несправедливые попреки засылаемых к нам агитаторов, стремящихся посеять рознь в наших боевых рядах, поколебать авторитет («ауториту») нашего вождя и Национальной рады. Нет, говорю я: у нас нет *чешского* дворянства. Крупные капиталисты из *чехов* у нас насчитываются лишь единицами. Мы — народ земледельцев, рабочих и трудовой интеллигенции. Бóльшая половина нашей добровольной легии на Руси — социал-демократы. Мы *не панский* народ, «Чехове а Словаци»! Наша национальная революция — она есть и социальная. Действуйте, боритесь, братья, за идеал народной свободы: все прочие идеалы ему подчинены! Главная наша цель — свержение Габсбургов, свержение кровавого ига германо-австрийского капитализма и империализма. Разъясняй это братьям. Нашим девизом ныне должно быть: все, как один, в чехословацкую революционную армию! Воевать до победного конца! И — да здравствует наш вождь, татинек Масарик, великий ученый, патриот и социалист! Пусть нас не обвиняют *иные* из братьев за то, что мы решили опереться на демократический *Запад*, и в первую очередь на Францию, в смертельной борьбе против Габсбургов и Гогенцоллернов, против германо-австрийского

империализма: что ж было делать, когда русский народ выпустил из рук оружие? Но мы не враги народной социалистической власти, и никогда оружие чехословаков не будет обращено против Советов. В начавшейся ныне гражданской войне среди русского народа, войне, крайне прискорбной для нас, мы должны соблюдать честный нейтралитет, как велит нам наш вождь Т. Г. Масарик. Разве мы не добровольно избрали его *диктатором* нашего народа?!»

Таково было письмо Иржи Прохазки.

Володя спросил в упор:

— А вы, Ян, тоже так думаете?

Пшеничка замялся, но уже не ответить было нельзя, и, понизив голос до шепота, приблизив лицо через столик чуть не к самому Володиному уху, он сказал:

— Да, да, Володья, и я так думаю. Иржи — крепкий чешский воин... Так надо, так надо!

И тогда Володя позволил себе еще более прямой вопрос:

— А почему же вы отстали от них?

Ответ Пшенички, густо покрасневшего при этом и с навернувшимися на глаза слезами, и поразил Володю откровенностью своей, но и огорчил:

— Что ж делать, что ж делать! Я не был воином. И я очень тяжело отношусь... переношу... холод, голод...

— Лишения?

— Да, да, лишения. А там, на Украине, было им очень плохо: не было чем накормить и одеть войско. И если кто из наших братьев попал в плен к ракушанам... — И пояснил: — ...К австрийцам, то военно-польный суд и... расстрел: мы ведь для них перебежчики к врагу.

И завершил признание свое чешской пословицей, что рубашка («кошиле»), дескать, куда ближе к телу, чем пиджак:

— Близши кошиле неж кабат!

Володя потупился, замолчал, огорченный столь откровенным признанием чеха. Встал, чтобы попрощаться.

Ян удержал, усадил его снова.

— Подождите, Володья, я еще не все сказал вам...

— Да? Слушаю, Ян.

— Первее всего, я буду просить вас, очень буду просить: все, что вы услыхали сейчас от меня и что прочитали в письме...

Володя понял и, не дав договорить, заверил его в своем полном молчании.

Это удовлетворило чеха. Помолчав, он сделал еще одно признание: оказывается, у него было несколько писем от Иржи, и в первом тот объяснял, почему на адрес Шатровых, для Володи, не решился послать он из Чешской дивизии ни одного письма: боялся, что местная советская власть может косо взглянуть на переписку сынка богатых родителей с чешским офицером и могут последовать... неприятности.

— А мне он писал, Володья, уже из госпиталя, что он вас любит навьечно и что это вы спасли его от смерти, когда австрийская пуля ударила его в грудь: должна была поразить его сердце, но встретила на пути своем ваш дорогой подарок... Нет, нет, он жив, Володья, но... проделал тежкоу немоц (был тяжело болен).

— А теперь?

Но Ян Пшеничка со вздохом развел руками и склонил голову: у него давно уже не было писем от Иржи.

Еще противнее стала ему казаться и без того ненавистная гимназия. Нет! А туда бы сейчас, на Карпаты, где все еще бьются созданные Брусиловым «батальоны смерти» — эти обреченные сверхгерои, которые сами, по своей доброй воле избрали знаком обреченности своей, готовности умереть череп и скрещенные кости, нашитые на рукавах! Туда, где бок о бок с ними сражаются против полчищ Макензена, изнемогая в неравной борьбе, доблестные львы — чехи, потомки Гуса и Жижки, чашников и таборитов, недаром же у чехов *чаша и лев* над нею изображены на их символических значках! Эх, туда бы сейчас — и за пулемет: тра-та-та-та! — косить и косить меткими очередями наглую немчуру, этих зверей в островерхих, гнусных касках: отомстить, по крайней мере, за кровь, за смерть Иржи! В гибели своего друга, нежно любимого Иржи, Володя после беседы с Пшеничкою ничуть не сомневался...

А тут изо дня в день — в эту желтую казарму — гимназию! «Алгебра» Киселева, «Тригонометрия» Рыбки-

на... — «Парле ву франсе...» И таскай все это в ранце на загорбке, — седьмому, восьмому классу — тем хоть разрешается носить книжки в ремнях! Хорошо, что от немецкого избавили: кто не хочет говорить на вражеском языке — пожалуйста!

Опротивел обширный и светлый, но все ж таки душный к исходу урока их класс, в котором около тридцати выростков томились уныло и подневольно на своих уже и тесноватых кое для кого черных партах со вставленными в края чернильницами, взирая завистливо и тоскливо сквозь двойные оконные рамы на вольный божий свет, на снега и небо, на птиц, на легковые кошевки и на обозы. Взирали — и думалось: и нет им, всем этим людям, там, на улице, ровнешенько никакого дела до наших «герундиев» и «герундивов», до «Энеиды», до Пирама и Фисбы и до всех четырех речей Марка Туллия Цицерона против злокозненного этого Катилины, который столь долго истощал — негодный! — patientia nostra (терпение наше) каких-то римских сенаторов без малого две тысячи лет тому назад!

Только разве и останется в памяти, как преподающий по совместительству и латинский язык «батя» — отец Боголюбский, унимая дурашливо-непристойного второгодника верзилу Глызина, прикрикнет вдруг по-латыни, указуя на него скинутым с крутого, «благородно-античного» носа золотым пенсне: «Квоу́сквэ та́ндэм абутэрэ, Катилина, паци́энциа но́стра?!» (Доколе будешь ты, о Катилина, истощать терпение наше?!) Класс расхохочется: уж очень чудно́ — «Катилина», примененное к этому Полупещерному Предку — такая у него была кличка. Знали, что этот громоздкий переросток, с кулаками-булыжниками, далеко выстоящими из рукавов, не только сам, не смущаясь, говорил, что он еще хочет и на третий год остаться в этом же самом шестом классе — «Зато лучше всех потом учиться буду: круглые пятерки стану получать!» — но и о том знали, что сам родитель его Глызин, крупный торговец лесом, владелец лесопильных заводов и дровяных складов, с такою же просьбой обращался к директору гимназии: «Не знаю, ваше превосходительство, куда его применить-приставить, истукана, ума не приложу. К делу он не способен, токмо имени нашему будет в поношение. А так, ваше превосходительство, на-

род, обчество, одним словом, знать будет: учится, мол, сынок у него, у Глызина, в классической гимназии, ну и пересудов никаких: учится — и учись!»

Переростка дразнили, опасливо отбегая: «Мартын, имеешь жену?» В ответ он молча показывал свой кулак-булыжник. Но уже попривык — и грозился беззлобно. А дразнение его пошло вот откуда. Шел урок французского языка. И ему пришлось прочесть и перевести предложение «Martin a faim» — «Мартин *голоден*», а если буквально — «Мартин *имеет голод*». Но, по сходству слов: «faim» — голод и «femme» — жена, женщина, Тоша Глызин во всеуслышание возгласил: «Мартин имеет жену!» Расхохотались. Смеялась и учительница французского языка, и вообще-то смешливая, — раскормленная блондинка лет сорока, супруга начальника гарнизона, полковница.

Зато и отомстил же он ей, вернее, *отмщал:* на каждом ее уроке! Делал он это «по-глызински».

Следуя тогдашней моде, эта пышнотелая дама была перетянута корсетом до осиной, как говорится, талии. И вот когда, спиною к своему классу, пиша мелом на классной доске, она сильно наклонялась, дабы использовать самый низ доски, Глызин вдруг становился в этот миг страшно похожим на плотоядно возбужденного павиана — гамадрила.

Учительница тем временем, ничего не подозревая, постукивая мелком по доске, увлеченно произносила вслух французские спряжения. Распрямилась, обернулась раскрасневшимся полным лицом, отирая кончики пальцев носовым платочком, смотрит — что ж! — в классе — внимающая тишина и Полупещерный Предок тоже сидит как ни в чем не бывало, утупясь в книжку.

Мерзко — и не только одному Володе Шатрову — становилось от этих гнусных «представлений» слабоумного переростка, но и в мыслях ни у кого не было жаловаться классному наставнику: ну как же, разве можно ябедничать, фискалить на товарища? Знали, что за этакие художества Глызин вылетит из гимназии, да и с волчьим билетом. Унять самому такого? Где там! На больших переменах, бывало, навалом кидались на него, по его же собственному вызову, и одного за другим он клал наземь сильнейших в классе кучею и в знак по-

беды садился на них: «Я Тамерлан!» А кто помельче — отшвыривал.

Да и не просто было подступиться к нему и унять хоть словами: вкруг него, как вокруг главаря, коновода, всегда раболепно бодрствовали трое-четверо его подсвинков, готовых зажать рот и дать тумака любому, кто осмелился бы сделать ему замечание.

Родитель не жалел карманных денег для своего чадушка единственного, и Глызин во время большой перемены, когда завтракали и учителя и гимназисты, не скупо прикармливал свою «дружину», как звал он их открыто: «Дружина, за мной!»

Кстати сказать, старший швейцар и содержатель гимназического буфета Мардарий кое-кому из старшеклассников, удостоенных от него завтраками на книжку, с расплатой помесячно, намекнул «под секретом», что и вороной рысак, на котором ежедень прибывал в гимназию сынок господина директора, да и весь выезд — это именинный подарок «самому» от старика Глызина. А потому, дескать, лучше с Тошкой не связываться: ему все сойдет!

«Этот Володька Шатров — девчонка! Экий дурень: ему пятнадцать лет, а он от самых обыкновенных мужских разговоров чуть не в обморок падает! Скажешь невзначай что-нибудь такое... ну, самое обыкновенное, глядь, а он уже весь краской так и залился!»

Да, в этих полупрезрительных отзывах о нем не все было преувеличением. Многое здесь ужасало его. И особенно, что оно именно *самым обыкновенным мужским* разговором почиталось у большинства. У него душа подчас стыла от чудовищного нагромождения и озлобленного, и «так просто», походя, чуть ли не добродушно-житейского срамословия. А ему сказали: «Не обращай внимания!» Он так и пытался было. Притерпелся. Но иногда пытливо-гневный вспыхивал в душе мальчика вопрос: «Да почему же они так все-таки? И все об одном, об одном!» И добро бы «улица» только или пьяные, а то и люди с *высшим*, как почтительно говорилось о них, образованием, почетные и пожилые гости отца, о ком даже и не подумаешь! А о приятелях Сережи, хотя бы о том же Гурееве, нечего и говорить! И особенно летом, в купальне: словно бы вместе со сброшенной одеждой сбрасывался и всякий стыд. Тут непристой-

ность шуток, анекдотов, речей переходила в разлив неистовой похотливости, вплоть до бесстыднейших разборов, обращенных на тех же самых женщин их круга, которым только что в глубоком поклоне целовали руку, поднимали платочек или придвигали кресло.

Нередко он купался со взрослыми, и ему страшно порой становилось, что вот если уйдет он или уплывет сейчас на тот берег, то эти же самые господа, чтимые в их семье гости, друзья, знакомые, такое же, возможно, начнут говорить меж собою и о его матери!

Но если они такие, то почему же отец, такой строгий и умный, не откажет им в приеме, не выгонит вон? Или не знает, не догадывается, каковы эти люди сами с собой? И неужели женщины, барышни тоже не знают и не догадываются, как эти господа, *кавалеры* ихние, которые поклоняются будто бы им, — как сквернословят они о них?!

Удивляться ли, что и в гимназии сверстники его, из этих самых семейств, в разговорах между собою откровенно бахвалятся самым стыдным, заведомо сочиняют о себе и о знакомых девочках-гимназистках нелепую вымученную враль, лишь бы не отстать от старших. Удивляться ли, что никто не вложит кляп в непристойную глотку Глызина, а, напротив, дивятся ему и поощряют?

А еще угнетала его та явственно ощутимая, затылком чувствуемая и почти уже не таимая злоба, с которой человек в солдатской или в рабочей стеганке встречал и провожал взглядом гимназистов; особенно, если валят размашисто-шумной ватагой, с толчками и зубоскальством, с выкриками друг дружке каких-то дразнений на чужих языках — «Образованность свою хочут показать!» — великовозрастные верзилы в своих изголуба-серых, офицерского сукна шинелочках со светлыми, серебрёными пуговицами. «Всю улицу поперек перегородят: готовое юнкерье! И чего только Совдеп на них смотрит: давно их разогнать пора, эти...» (И нередко следовало оскорбительное, каким прежде ученики ремесленного или городского дразнились, нелепое и унизительное искажение слова «гимназия».)

А ответом было, проникнутое презрительной враждой ущемленных, как бы *незамечание, невидение* новой власти — советской, которая в неслыханных дотоле

всей историей человечества трудах, с великими муками и уж местами в закипавшей кровавой борьбе все ширилась и утверждалась по всей Сибири, и Уралу, и Зауралью — тогда, в феврале тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Да! Гимназия, в которой учился Володя Шатров, — это был странный, небывалый корабль, капитан и команда которого приняли раз и навсегда удивительное решение: не замечать бушующего вокруг океана, по которому плывут, «игнорировать» его!

И еще небывалая, без слов, спайка накрепко связала в те дни и директора, и преподавательский состав, и старшеклассников-гимназистов. А смысл ее был таков: «Давайте как-нибудь перетерпим «товарищей», немного осталось: не может же долго продолжаться это кошмарное большевистское безумие, эта неистовая судорога России, охватившая ее исполинское тело в итоге злосчастной проигранной войны. Погодите: немецкий кайзер оздоровит нас, приведет в чувство! А здесь у нас, в Приуралье, да и по всей Сибири кто ими доволен, большевики? Мужик наш, крепкий, хозяйственный сибирячок, через силу их терпит; казачество восстает; интеллигенция — о той и говорить нечего; стиснув зубы, под бичом являются в учреждения — баклуши бить! Все социалисты против: и эсеры и меньшевики. Среди рабочих брожение: жизнь день ото дня все хуже и хуже, дороговизна растет, в бумажки никто не верит, керенками деревня обожралась. Свободную торговлю большевики зажали. Явственный голод вступает и в наши уральские, сибирские города. Ну кто ими доволен, большевиками, кто? А на одних красногвардейских штыках не удержишься, на латышах да на мадьярах! Перетерпеть, только перетерпеть, господа!»

Совдеп словно бы забыл о существовании гимназии либо не знал, что с нею делать. И среди преподавателей и гимназистов ходили слухи, будто комиссар народного просвещения Луначарский пресек всякие попытки местных Советов вмешиваться в жизнь учебных заведений. Стали говорить, что нарком этот — большевик особого склада, человек тончайшего европейского образования, эстет и философ, который, как видно, не позволит «черни» запускать свои грубые руки в хрупкий, веками слагавшийся мир искусства и науки. По рукам ходил спи-

сок с заявлением Луначарского об отставке, едва узнал он, что во время боев на площадях и на улицах Москвы был пробит снарядом один из куполов Успенского собора:

«Товарищи! Стряслась в Москве страшная, непоправимая беда. Гражданская война привела к бомбардировке многих частей города. Возникли пожары. Имели место разрушения. Непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни свирепой, беспощадной, уничтожающей войны и стихийного разрушения... На мне лежит ответственность за охрану художественного имущества народа...

Нельзя оставаться на посту, где ты бессилен. Поэтому я подал в отставку...»

По прочтении в кругах высокой интеллигенции нередко следовал такого рода раздумчивый комментарий: «Да! Луначарский — это *европеец*, впитавший все лучшие традиции Запада. Пускай большевик, но... это белая ворона среди них. А вот этот их Ленин — тому ничего не страшно: хоть весь земной шар сгори!»

В это же время появилась «Молитва офицера».

Гимназистки рыдали над нею. Она ходила в списках. Ее выучивали наизусть. Неизвестно, кто написал к ней заунывно-загробную музыку. И когда, в «надежных», конечно, гостиных, отпустив предварительно прислугу в кино, ее мелодекламировал кто-либо в сопровождении надрывного, гневно-похоронного рояльного рокота, то у иного из гостей, офицера или старшеклассника-гимназиста, невольно сжимались кулаки, скорбно супились брови, жертвенно-мстительный огонек вспыхивал в глазах, ширилась грудь, гордо и грозно откидывалась голова.

«Молитва офицера» была длинна и повествовательна, стих был неуклюж, дубоват, но воздействие ее в те предсмертные, казалось, дни Российской державы — дни, когда генерал Гофман бесстыдно-глумливо положил в Бресте зеркально начищенный сапог на стол мирных переговоров, — было на иные сердца потрясающее.

«Молитва» начиналась обращением к Христу:

Христос, всеблагий, всесвятый бесконечно,
Услыши молитву, молитву мою!

Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!

Далее изъяснялось, почему же боевой офицер-фронтовик жаждет, *испрашивает* себе смерти, да еще как можно, как можно скорее.

...На родину нашу ведь нет нам дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас же воздвиг погребальные дроги
И грязью нас всех закидал...
Три года мы тяжко, безмерно страдали,
Святые заветы России храня,
Мы бились с врагом, и мы не считали
Часами рабочего дня!

После язвительного этого попрека рабочим за их *восьмичасовой* «Молитва» вновь переходила к скорбно-гневному бичеванию русского народа.

Офицеры-страдальцы, дескать, никогда ничего от него не примут, а скорее пойдут с женами и детьми просить милостыню Христа ради... у «доблестных союзников»:

...Тогда, пережив бесконечные муки,
Мы знаменем светлым креста
Протянем к союзникам доблестным руки
И скажем: «Подайте во имя Христа!»

Один из усерднейших и, само собой разумеется, тайных распространителей «Молитвы», Александр Гуреев неукоснительно предупреждал, передавая кому-либо оттиснутую на шапирографе «Молитву»: «Лучше перепишите от руки, только не на пишущей машинке!» — «Почему?» — «Очень просто. Все почерка в городе сверять не станут, а машинки — их немного у нас — все на учете: легко могут и докопаться!»

Но если «Молитва» ходила по рукам, размноженная на шапирографе или от руки написанная, то воззвания меньшевиков и эсеров против «узурпаторов власти» — большевиков, против мирных переговоров в Бресте, за возврат Учредительного собрания, только что закрытого матросом Железняком, распространялись чуть не открыто, отпечатанные отличным типографским набором.

И ничего нельзя было поделать: и эсеры и меньшевики в январе — феврале тысяча девятьсот восемнадца-

того еще густо прослаивали уральские и западносибирские Советы.

«Граждане!
На нас идут немцы!
Все к оружию!
Чужой земли нам не надо, но и своей не отдадим.

Отечество не может быть ни пролетарским, ни буржуазным. Отечество для всех одно. Власть должна быть общенародная, демократическая. Партия большевиков попрала демократию. Узурпировала власть и отдает ее Вильгельму. Германские генералы и капиталисты раздавят нашу свободу. Разорят весь народ еще небывалыми поборами. Отнимут у крестьян землю. Восстановят власть помещиков и банкиров. Обратят нас в рабов. Прощай тогда свобода! Немец посадит нам царя.

Если правительство народных комиссаров поймет это, если большевики, узурпировавшие государственную власть, опомнятся и призовут весь народ к вооруженному отпору, народ простит им самочинный захват и пойдет за ними против насильников — германских империалистов.

Если же нет, если они хотят быть надсмотрщиками, бурмистрами империалистов над русским народом, то пусть уйдут: народ не хочет погибать вместе с ними!»

Ужасом обреченности дышало каждое слово листка, упадало сердце! А на иного, не шибко грамотного, страшнее всего почему-то действовало слово «узурпировавшие»: *«Узурпировали,* сказано, ну, стало быть, всем обчий гроб!»

Такого рода листовки не только увозил с городского базара окрестный крестьянин, привезший на продажу воз дров, сена или круги замороженного молока, — листовки эти находили сплошь да рядом и работники исполкома у себя на столах.

Это были дни, когда во всех градах и весях российских бушевала неистовая распря-борьба *за* и *против* Брестского мира, уже близившегося к своему утверждению.

Городок на Тоболе, как, впрочем, и вся Западная Сибирь и Зауралье, пронизан был в те дни тайными эсеровскими и белогвардейскими очагами почти до степени вот-вот готового разразиться взрыва. Иные из них, правда, лишь едва тлели, *таяли,* будто кучка угольев

в загнетке, под пеплом, не обретая горючего; другие злоязычили где только придется над каждым шагом, над каждым декретом и мероприятием советской власти; сеяли и ловили злостные, ужасающие слухи, стращали пошедших на советскую службу интеллигентов, что все равно это их не спасет: всех вырежут интеллигентов и уж назначена, говорят, «Варфоломеевская ночь», а резать будут всех тех, у кого хотя бы и в комоде найдут манишку, шляпу или «гаврилку», по-старому — галстук.

Был, однако, в городке на Тоболе и третий глубоко затаенный очаг — сплошь военный, из кадровых офицеров и юнкеров, с допуском строжайше проверенных молодых людей из самых старших классов гимназии, торгового и духовного училищ. «Белый легион» — так и называлась тайная их организация. *Эти* не шутки шутить собирались, не в заговоры играть! Тут был поразительный сплав самой чудовищной, беспощадной военной дисциплины, вплоть до казни провинившегося, со всеми тайнами, ухищрениями и приемами глубоко законспирированного подполья.

Этому обучали их эсеры. Но, сотрудничая и обучаясь «подпольщине», как горестно выражались о себе господа офицеры, они учителей своих — *партийных* эсеров держали поодаль, не допуская их в недра собственно военной организации.

Эсеры оскорбленно и укоризненно пожимали плечами: ведь за ними же стоит сама Сибирская областная дума — Сибоблдума, со всеми ее ресурсами — политическими и материальными! Не она ли раскинула почти по всей Сибири тайную сеть своих подпольных ячеек, готовящихся к свержению узурпаторов, поднявших руку на Учредительное собрание?! «Наконец пора бы знать господам офицерам, что именно нашей партии, социалистов-революционеров, крестьянство Сибири на выборах в таковое отдало семьдесят пять процентов своих голосов! А они, эти господа офицеры, все еще живут иллюзиями своей золотопогонной замкнутой касты.

Ну что ж, им же хуже!»

Сибирской областной думой наименовало себя в эти дни эсеро-разночинное и самочинное сборище в Томске

трибуно-алчущих, портфеле-вожделеющих, еще не насытившихся властолюбцев-политиканов, — сборище, воздвигшее сперва над собою, наподобие иконы, вступившего уже в девяностые годы века своего, Григория Николаевича Потанина, знаменитого сибирского областника, некогда пострадавшего при царях «за республику и Сибирь», прославленного ученого и землепроходца, чей жизненный подвиг разве немногим только уступал трудам и подвигам Пржевальского. Беда была в том — но об этом умалчивали! — что в тот, предсмертный свой год Потанин был уже ветх, полуслепой и глухой, водимый под руки теми, кто орудовал его именем и ореолом в Сибири.

Местные эсеры считали себя, и не без оснований, отпрысками и побегами разогнанной большевиками Сибоблдумы и здесь, на берегах Тобола, их знаменем было: *«Учредительное собрание. Земля народу. Верность союзникам!»*

У офицерской организации: *«Отечество. Законность»* — и, само собой разумеется, также *«Верность союзникам!»* В особой «Памятке офицеру», которую каждому полагалось выучить наизусть, стояло: «Армия есть соль нации, ее слава, костяк и защита! Без дисциплины, традиций и вождей армия — труп».

К неистовому культу Корнилова странным образом у них примешивался и культ Савинкова. Оставшись где-нибудь меж собою, без опаски подслушивания, члены «Белого легиона» любили спеть свою любимую:

Дружно, корниловцы, в ногу!
С нами Корнилов идет.
Спасет он, поверьте, отчизну,
Не выдаст он русский народ!

Но любили, с восхищением и ненавистью, вспомянуть и невероятные перевоплощения неуловимого виртуоза и вдохновителя личного террора, «этого дьявола» Савинкова: «Подумать только: убивает великого князя Сергея, убивает фон Плеве — и уходит невредим! Конечно, повесить его неминуемо придется, но ничего не скажешь — молодец! Не худо и нам поучиться!»

И — учились: в штабе «Белого легиона» среди прочих отделов — оргготдела, хозотдела, связи и контрразведки — был отдел индивидуального террора. Его на-

чальником был счетовод Иванов, скромный, исполнительный и, по-видимому, весьма недалекий, оттого и молчаливо-застенчивый работяга в правлении Союза сибирских маслодельных артелей. В анкете своей, как многие в те времена, скромненько, не мудрствуя, начертал: «Стою на платформе советской власти». *Ивановым* его сделали эсеры, заправлявшие кооперацией, эти не превзойденные еще со времен царского подполья мастера липовых паспортов и удостоверений. Истинное его имя и звание звучали несколько иначе: капитан *Га́рпиев* Тихон Львович. Надо сказать, что прежде, когда не было надобности скрывать свою истинную фамилию, он весьма придирчиво и неукоснительно поправлял тех, кто, по его суждению, неверно ее произносил. Как-то даже позволил себе поправить генерала, производившего смотр: «Гарпи́ев, ваше превосходительство!», за что и претерпел дисциплинарное взыскание.

На обязанности «счетовода Иванова» было держать на учете и под наблюдением квартиры всех ответственных коммунистов и комиссаров города. Как только дан будет знак восстания, люди террористического отдела, ему подчиненные, должны были ворваться и перебить всех «на дому»: «Тюрьмы перегружать не будем!»

Отделом контрразведки руководил Александр *Гуреев*, бывший поручик, а ныне военрук отряда Красной Армии.

И только для отдела финансов не нашлось военного: начальником этого отдела был Анатолий Витальевич Кошанский. И надо сказать, «Белый легион» еще ни разу не испытал затруднений со средствами...

Созданная декретом Ленина лишь в конце декабря минувшего года, когда уж буквально за горло стали брать, Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем — в народном просторечии *Чека* — и на Тоболе, как во всем Зауралье, была еще совсем в зачаточном состоянии, да и то под постоянными окриками и меньшевиков и эсеров, переполнявших в те дни Советы Урала и Сибири.

Матвей Матвеевич Кедров, обождав, пока рассядутся, с веселой, деловой строгостью сверкнул глазами и сказал, слегка поклонясь всем:

— Ну-с, дорогой мой актив, давайте побеседуем по душам, попросту, без утайки! Без чинов. Посчитайте и мне ребра, коли есть за что! А первым делом — порасскажите, что новенького здесь без меня свершилось. Пермь, как видите, позадержала меня... Да и транспорт железнодорожный что ни час, то хуже. Судите сами: как-никак чрезвычайный комиссар. Мандат... — Тут вместо слов он руками показал размер и весомость своего мандата. — А если б я с тем поездом вздумал к вам прибыть, в который со всеми, как говорится, удобствами усадила меня Пермь, то и до сих пор тащился бы!

— А как же вы, товарищ Кедров?

Это спросил Степан Ермаков.

Кедров пошутил:

— По знакомству!

Многозначительная улыбка обошла лица участников совещания. Молча ждали. Матвей Матвеевич пояснил:

— Прыгал с паровоза на паровоз. «Удобства» свои оставил. Вещицы у меня — один заплечный вещевой... Старая моя дружба выручила с товарищами железнодорожниками, с теми, которые на паровозе, — не с начальниками, конечно; а у этих память обо мне несколько иная! Там кочегар, там машинист, там, глядишь, сцепщик вагонов или стрелочник окажет «протекцию»: только остановка — выйду, и у меня уже вся информация, какой паровоз или какой состав идет сейчас дальше. Иной машинист сперва нехотя примет, а потом чуть не всерьез: оставайся, мол, сменщиком.

Изумление:

— Как — сменщиком?!

— Да так. Вижу, устал человек возле котла — условия-то работы адские! «Дай сменю!» Ну и становлюсь за регулятор: веду. Не позабыл еще! В *пятом* году этот стаж прошел. А как ведь и тогда выручало: благодарен я учителям своим до сих пор. А иной машинист засомневается — ну что ж: я тогда кочегара сменяю...

И вдруг, сурово нахмурясь, закончил:

— Плохо, плохо, товарищи! Транспорт наш — в полном развале. Вот-вот откажет. А без железных дорог мы погибли! Это должно быть ясно каждому! Товарищ Копырников?

— Я.

Агат Петрович, по своей военной привычке, вскочил.

Кедров уже давно перестал удерживать его от этих военных приемов и вытяжки при ответах, что ж, пускай: сейчас, и в особенности на его новом посту, эта фронтовая выправка в нем даже весьма и весьма полезна — подтянет, дисциплинирует и кадры свои.

Агат Петрович Копырников по предложению Кедрова совсем недавно стал председателем уездной Чека.

— Расскажи. Послушаем.

Копырников четко, сжато, как бы по-военному рапортуя — хотя это было всего лишь узкое совещание коммунистов Совдепа, созванное Матвеем у себя, в номере гостиницы, — изложил основные мероприятия, проводимые Чрезвычайной комиссией в городе и уезде:

— Ввел воинскую охрану поездов, станций, путей, мостов. Строгую проводим, сколь сил хватает и людей, проверку пассажиров и грузов. У спекулянтов изымаем...

— Прекрасно!

— Обследуем склады. У кого надо — обыски. Ну и... — Тут не вдруг нашел строго-служебное слово, слегка покраснел и, подергав себя левой рукой за ворот френча сзади, сказал: — Кого полагается — берем за шкирку!

Засмеялись.

Агат смутился.

Кедров пришел ему на выручку:

— Правильно, правильно, товарищи: за шкирку! Всем и каждому понятно. Так, так. Продолжай, Агат Петрович.

— С отрядом проехали по уезду. Тревожно, тревожно, товарищ Кедров! Партийных сил не хватает на селе. Кулацкая агитация, дутовская крепко дает себя знать. Особенно — по станицам казачьим. Иной раз и мужички открыто спрашивают: «А что, товарищ начальник, правда ли, что атаман Дутов опять Селябу захватил?» Спросит — и сам глаза уводит в сторону! Ну и *эти*, конечно (всем присутствующим ясно стало, что Агат Копырников, из презрения не называя, кто же именно *эти*, разумеет меньшевиков и эсеров)... *шуруют!* Меньшевики — те, конечно, в городе сконцентрировались, а господа эсеры — те по уезду сильно дают себя знать!

Страдальческим, сухим блеском сверкнул уцелевший глаз, и голосом, исполненным чуть ли не отчаяния, Копырников в заключение воскликнул:

— Белогвардейщина кипит вкруг нас, товарищ Кедров! А чуть что — станешь... *мероприятия* проводить — и *те* прямо-таки на руках у тебя виснут: не смейте, насильники, опричники! Когда жирок с буржуазии здешней пришлось вторично поснимать... ну, контрибуцию, одним словом, так с заседания Совдепа меньшевички и эсеры гуртом ушли: «В знак протеста покидаем зал заседаний!»

Кедров, слегка примахнув рукой:

— Скатертью дорога!

— И заложников когда из числа подозрительной буржуазии стали брать — это когда дутовские прокламации чья-то рука по городу расклеила с разными там угрозами, — и что тут поднялось! Прямо на трибуну вылезали — вопили, кулаками потрясали. От эсеров, видите ли, — «товарищ Булкин», а от меньшевиков — «товарищ Добрый»: «Мы не позволим! Заложничество — это возврат к варварству!» Ну и так далее... И что же? Постановили выпустить... которых!

Кедров неодобрительно покачал головой:

— Напрасно!

Копырников просветлел:

— Вот! А я, расстроившись, председателю исполкома тогда же и сказал: «Смотрите, говорю, как бы нас опять, чего доброго, в подполье не загнали!»

Толково и обстоятельно, хотя и рдея яблочным румянцем тугих щек, напряженно наморщивая лоб и не отрывая пальца, скользящего со строки на строку лежащего перед ней перечня, что ей сказать, доложила о делах шатровского госпиталя, о приеме и о дальнейшем препровождении раненых в родные края Ефросинья Филипповна Голубых, «комиссар Фрося».

«Да и чем, в самом деле, не комиссар! А давно ли...» И, отцовски растроганный, слушая ее неторопливую, проникнутую достоинством и деловитостью речь, невольно залюбовавшись, Кедров перенесся мыслью в то совсем недавнее время, когда она приходила к нему в волостное правление за своим скудным пособием, как солдатка: не умев расписаться, ставила крестик!

— Отлично, Ефросинья Филипповна, нам все ясно. Спасибо!

— Ну уж не обессудьте на слове: какая моя грамота — знаете!

А у самой вид был, как будто ношу тяжелую свалила с плеч.

Кедров еще раз успокоил и похвалил ее за доклад. Потом сказал:

— У меня лишь один вопрос будет к вам, Ефросинья Филипповна. Только прошу вас: ответьте мне со всей откровенностью и, пожалуйста, без всяких стеснений. С Шатровой Ольгой Александровной какие у вас, на работе конечно, сложились отношения?

— Поняла. Сейчас обскажу...

Помолчала, как бы обозревая мысленно госпитальные дела и обстоятельства. Затем лицо ее прояснилось, и ответила убежденно, искренне, повторив для начала сло́ва вопроса:

— Отношения с Ольгой Александровной сложились у нас на работе самые что ни на есть лучшие. Они ведь меня и на работу поставили. И всему приказали обучать. И все, что насчет больничного хозяйства, показывали мне. Объясняли...

Смолкла, не в силах, по-видимому, найти должные слова для изъяснения того, что она хочет сказать.

Кедров терпеливо ждал.

Ефросинья Филипповна продолжила:

— А когда все дела у нас в государстве переменились... сами знаете... — И снова — запинка. И вдруг, словно очертя голову — в воду: — Саботажу с их стороны никакого нет!

Дополняемый братом Степаном, военруком, отчитался и Константин Ермаков, уездный военком, за последние дни весь поглощенный преобразованием рабоче-красногвардейских отрядов, разноликих и разноплеменных, в батальоны и роты Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пока еще целиком добровольческой.

Настала очередь Егора Ивановича, того самого, без правой ноги, которого в прошлом году уследил Володя Шатров за наклейкой большевистских воззваний поверх Володиной выклейки из столбцов «Русского сло-

ва». Он руководил теперь в исполкоме трудоустройством инвалидов войны. Немало их поустраивал на военный металлургический завод Башкина, несмотря на упорное, прикрываемое разными, с виду уважительными отводами сопротивление хозяина. Да, все еще *хозяина*, ибо и сейчас, на исходе февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года, завод Башкина формально не был перенят из рук заводчика-инженера в руки Совета. Ограничились рабочим контролем. Были к тому особые причины: завод имел заказы чрезвычайного оборонного значения, боялись ломки! Уйдет Башкин, строптивый и, несомненно, реакционных воззрений человек, но высоких познаний инженер-металлург, крепкий и дальнозоркий руководитель многосложного и необходимейшего производства, — распадется и весь его инженерно-технический штаб, ибо многие из его ближайших сотрудников тоже тогда под тем или иным предлогом, а разбегутся с завода. Такое чувствовалось настроение.

И решено было с конфискацией завода повременить.

Петр Аркадьевич понял и объяснил это по-своему.

Как-то, пробегая через вновь созданное усилиями и настроением Егора Ивановича отделение по изготовлению протезов для инвалидов войны, Башкин приостановился и громко сказал своим приближенным: «Все можно заменить протезами: руку, ногу... но вот этого... — тут он слегка постучал пальцем по своему лбу, — этого они протезом заменить не могут! Знают: завод — тело, а Башкин — мозг! И вот в чем причина, господа, что вы и до сих пор имеете удовольствие совершать этот обход во главе с Башкиным!»

...Кедров, улыбнувшись, обратился через стол к сидевшему против него Егору Ивановичу:

— Ну, дорогой наш министр социального обеспечения, расскажи нам о своих подвигах и о трудах своих!

Тот, и любивший шутку, и умевший ответить на нее, не замедлил с ответом:

— Подвигов пока что не совершал, а труды были!

И вдруг молодцевато вскочил из-за стола на ноги, совсем по-военному, как до него Копырников.

Кедров с невольно вырвавшимся вскриком испуга — за чужую боль — даже привстал со стула и протянул обе руки — удержать, как в тот раз, еще во времена

подполья, когда показалось ему однажды, что инвалид, притопнув своей деревягой, больно прищемил кожу.

— Что ты делаешь, что ты делаешь, Егор Иванович? Разве так можно?!

— А что? Да я теперь — снова хоть в строй! Понадобится — в штыковую пойду, не отстану от прочих! Полюбуйтесь-ка, Матвей Матвеич.

Егор Иванович неторопливо-проворно вышел из-за длинного, со свисающим зеленым сукном стола, за которым сидели, и спокойно, ничуть не прихрамывая даже, прошелся по комнате.

— Вот тебе, Матвей Матвеич, дорогой наш, и отчет мой: что я сделал за это время, «министр социального обеспечения», по части заботы советской власти об инвалидах войны! У Башкина на заводе я да еще такие же вроде меня — с помощью исполкома, конешно, — поставили-таки производство кожно-металлических протезов. А как же? Без этого какое же может быть *трудоустройство?* По моим чертежам делали, похвастаюсь. Я ведь давно над этим делом мозгую. Да и товарищи инвалиды-солдаты сделали ряд дополнений... За это время, как ты в Перми загостился, наша протезная артель немало таких, как я, на добрые ноги поставила! Сейчас протез руки осваиваем. Самодвижный. Еще не дается: труден! — Усмехнулся. Постучал рукою по протезу своему и растроганным голосом добавил: — А эту *новую* ногу напоследок и мне ребятки преподнесли: «Совет солдат — инвалидов империалистической войны». И чудачки же землячки мои милые — что удумали! — протез у меня вроде бы именной: по боковой полосе надпись вытравили: «Егору Ивановичу — в почет и уважение».

Кедров почувствовал вдруг, что на ресницах повисла непрошеная слеза. Отер ее незаметно. Чуть хрипловатым голосом спросил:

— А *ту?*

Егор Иванович понял:

— Ну а ту, деревягу, сперва хотел сжечь. Да вдруг и пожалел. Вспомнил, как в ней, *дуплянке* моей — а вы *сейфом* тогда ее прозвали, — сколько я листовок ваших переносил... при царизме... Да и еще кой-чего... Вам ли не помнить! И чего-то жалко ее стало в печку кидать. А вдруг, думаю, и опять на такое дело сгодится? Ведь чем черти не шутят!

Матвей, рассмеявшись, даже рукой отмахнул:

— Полно тебе! Что не сжег свой деревянный сейф — это ты правильно сделал. Настанет время — мы эту твою «дуплянку» в местный наш музей Революции поместим. А насчет того, что еще и впредь такой «сейф» может нам, большевикам, пригодиться, — это ты зря... Это ты напрасно, Егор Иваныч! И здесь у нас, хотя бы и за Уралом, в Сибири, советскую власть никто, никакая сила не поколеблет. Никакие *черти!*

Не дожидаясь дальнейших вопросов Кедрова, читая их прямо во взгляде, как в минувшее время их подпольной борьбы, Егор Иванович попытался осветить вкратце общую политическую атмосферу на заводе Башкина. Вывод его был тревожен.

Прослойка большевиков на заводе слабая. Сказалось изъятие многих охранкою вкупе с администрацией во время войны — отправка на фронт не только изобличенных, но даже и подозреваемых. Особенно после того, как поусердствовал на заводе провокатор Семен Кондратьич. Были, конечно, и другие, но поди выведай их теперь: жандармский-то архив спалили! А еще и то отрыгнуло, что на завод за время войны, укрываясь от солдатчины, заместо кадровых пролетариев нахлынул народ идейно чуждый, а либо сырой, со всячинкой! Да и чехи из бывших военнопленных, которых сам Башкин выбирал из лагерей по своему вкусу и по отзывам начальства, — они (а их целая рота!) во всем хозяйскую руку держат. Правда, есть среди них и за советскую власть, но таковых еще немного.

Тут Егор Иванович пресек свой доклад и как-то многозначительно произнес:

— Но по этому вопросу, товарищи, я хотел бы другому человеку дать слово, который досконально может осветить вам это дело — насчет башкинских чехов. И — вообще.

Помолчав, обратился к Матвею:

— Дело в том, Матвей Матвеич, что этот человек — он хотя и чех, но мы с ним еще на издохе царизма крепко сдружились — наш человек. Из рабочих. Социалом-демократом он там у них, на родине, числится. Но самого левого крыла. По взглядам политическим то же, что и мы. Большевик, одним словом! — Усмехнувшись, до-

бавил: — А у меня с ним давненько уж повелось: я его — *кум*, а он меня — *кмотр*. А по-ихнему то же самое: кум... Кум Микулаш. А фамилия ему — *Сокол*. Микулаш Сокол... И вот он мне много кой-чего поведал секретно насчет башкиных дел. Ответственно говорил. Крепко он меня озадачил: дело сурьезное! А тут вы, Матвей Матвеич, возвратились к нам, я и решил: пусть, мол, Микулаш Сокол *самому* все обскажет. «А пока, говорю, кум Микулаш, малое время подержи все это дело в секрете». «Ладно», — говорит. И я ему обещал безотлагательно встречу с вами устроить.

— Что ж, пускай приходит!

— Да он уже здесь. Позвать?

И, уверенный в разрешении и еще раз не прочь показать, как подвижен, поворотлив он теперь на своем протезе, Егор Иванович быстро встал из-за стола совещания, вышел в приемную и тотчас же, пропуская вперед себя своего чеха, возвратился.

Глаза участников совещания обратились к Микулашу.

Егор Иванович отступил в сторонку, чтобы не заслонять чеха, и стоял с затаенной улыбкой, уверенный, что его Микулаш Сокол непременно и сразу понравится всем.

А он и понравился!

Кедров, соблюдая учтивость, еще загодя вышел из-за стола к нему навстречу и остановился на дверной дорожке, готовый приветствовать.

Микулаш Сокол был одет, как русский солдат. Опрятно и просто. Без шинели и головного убора: он снял их в приемной.

Всем пришлось пó сердцу: и спокойно-доброжелательный взор его больших серых глаз с крупными ресницами, и скуловатые очертания его широкой, слегка развернутой челюсти, сквозь дымку русой кудреватой бородки, и военная, однако без малейшего напряжения, выправка его крепкого и складного тела, и даже звучное, по-русски сказанное его приветствие, обращенное ко всем:

— Добрый день вам, товарищи!

Кедров, обменявшись крепким рукопожатием с ним, ответил:

— Добрый день, добрый день, товарищ Сокол. Добро пожаловать!

И показал при этом на свободное кресло.

Чех зарделся от застенчивости, поблагодарил, но прежде чем сесть, обошел с рукопожатием всех, кто сидел за столом.

Но произошло нечто, сперва изумившее всех, а затем и развеселившее. Когда он пожимал руку Ефросинье Филипповне, черноокая красавица приподнялась и приветствовала его по-чешски:

— Будьте вйтан! (Добро пожаловать!)

Надо было видеть оторопелую радость чеха!

Он вновь охватил руку Ефросиньи Филипповны, сжал и потряс.

Возглас неожиданности и радостного удивления излетел из его уст:

— О-о?! Млувитэ чески? Розумитэ чески? Пани... пани...

И, не зная, как назвать ему Фросю, взглядом попросил помощи у Егора. Тот понял и подсказал:

— Пани Голубых. Пани Голубых она у нас, кмотр Микулаш!

— Добже... добже... Спасибо! — И опять, и снова по-чешски, обратился к ней: — Вы говорите по-чешски, пани Голубых? — Затем исправился на «товарищ»: — Соудружко Голубых.

И Кедров, и все остальные с еще большим изумлением, чем Сокол, смотрели на Фросю. Смутилась она ужасно. Однако еще и еще раз ответила на его вопросы по-чешски:

— Розумим. Алэ млувим шпатнэ. (Понимаю. Но говорю плохо.) — И пояснила, обращаясь уже ко всем: — У нас в госпитале и чешские койки есть. Вот возле своих раненых чехов и понабралась... А как же? И им легче, беднягам, когда возле их — в страданиях эдаких да на чужой-то стороне! — хоть одна душа сыщется, с кем словечушко единое, а по-своему, по-родному можно испроговорить!

Прозвучало это у нее даже как бы извинением.

Захваченный объявшей его глубокой и отрадной думой, Кедров смотрел на нее, и впервые, быть может, в жизни этот человек не нашел слова!

Прежде чем возобновилось их совещание, прерванное приходом чеха, Егор Иванович успел шепнуть Кедрову, что Микулаш Сокол сообщение свое хотел бы сделать лишь ему одному ввиду особой секретности.

Кедров молча кивнул головой.

Но с первых его слов, обращенных к чеху, стало ясно, что Матвей Матвеевич думает об этом иначе:

— Дорогой товарищ Сокол, мы все рады твоему приходу. Просим тебя принять участие. Все здесь, кого ты видишь, коммунисты. Члены партии. Коммунистическая фракция исполкома. Так что все, о чем ты хотел побеседовать со мной, решительно все можешь поведать нам всем. Спокойно. Без утайки.

Поблагодарив, Микулаш на изрядном русском языке, лишь с легким кое-где налетом чешского акцента, да иногда для большей выразительности прибегая к меткому родному слову, начал свой рассказ о положении на башкинском заводе.

Суть его и впрямь тревожного сообщения была в том, что на особом складе завода под видом непригодных, бракованных сваливаются вполне годные осколочные гранаты — обычные и даже гранаты Новицкого, пятифунтовые, огромной разрушительной силы. Их только что освоили на заводе.

Тут не выдержал Агат Петрович Копырников:

— Для своих, для атамана Дутова приберегают гады!

Легким знаком руки Кедров попросил его не перебивать. Остановившийся было чех продолжал:

— Сам Башкин как будто держится в стороне: списывают гранаты в брак двое инженеров и техник.

— Фамилии?

Микулаш без запинки ответил. Кедров записал в свой блокнот. С нескрываемой скорбью и стыдом Микулаш Сокол откровенно сказал, что его братья чехи на башкинском заводе видят в Башкине своего отца-благодетеля, спасшего их еще при царе от голода и гибели в лагерях, горой стоят за него и, должно быть, некоторые из них принимают участие в темной махинации с гранатами. Несколько раз Микулаш Сокол замечал, что при его появлении они смолкают или перешептываются вслед ему.

И не выдержал — заключил по-чешски:

— Цо йе с ше́птем — то йе с че́ртэм!

Поняли все: что с шепотком — то с чертом! Рассмеялись.

Воспользовавшись паузой, Кедров попросил Микулаша осветить общее политическое настроение чехов на заводе Башкина. В частности, что думают они о переговорах в Бресте, о заключении сепаратного мира с Германией и Австро-Венгрией.

Ответ был самый безотрадный. Прежде всего, считают, что их, как военнопленных, советская власть принуждена будет, согласно мирному договору, выдать немцам для возврата в Австрию. А там их ждет — очень и очень многих! — неминуемый военно-полевой суд, тюрьма и казнь, ибо они считаются не просто дезертирами из австро-венгерской армии, но и перебежчиками к врагу — сдавались ведь они русским и полками и ротами! Советскую власть считают непрочной. Русские должны были, дескать, *воевать до победного конца — «валчит аж до витезстви!»*. Верность союзникам. Гневаются за Зборов: русские нас предали!

В связи с этим уверенно высказал подозрение, что через раненых чехословаков, находящихся на излечении в местных госпиталях, распространяется и здесь, за Уралом, агитация Чехословацкой народной рады, пребывающей в Киеве во главе с Масариком. Масарик — диктатор. Чехословацкий корпус в России полностью ему повинуется, хотя едва ли не большая его часть — социал-демократы, люди труда.

Скажи слово против «татичка Масарика» — легионеры убьют на месте. В лучшем случае командование отчислит такового мятежника и опять закатает его в лагерь в Дарнице. Несомненно, что вдоль железных дорог циркулируют тайные связные. Среди оставшихся в лагерях и поступивших на заводы и среди тех, которые рассеялись по кулацким хозяйствам и большим фермам в качестве батраков, идет вербовка новых добровольцев в чехословацкий корпус. «Татинек Масарик» только что объявил чехословацкое войско в России частью французской армии. Корпус намереваются перекинуть во Францию... И многие соблазняются этим!

— Но неужели вы...

Сокол улыбкою и кивком головы предупредил вопрос Кедрова: развязал и раскрыл лежавшую перед ним

объемистую папку. Вынул оттуда связку чешской газеты «Svoboda» и передал Кедрову.

Матвей Матвеевич во всеуслышание огласил заглавие:

— «Свобода»! Чудесно! Что же она пишет, сия «Свобода»?

Прочел вслух, выборкой, два-три места и, возвращая газету Микулашу, промолвил:

— С пятого на десятое мог бы и перевести. На досуге! Но уж давайте-ка вы, товарищ Сокол, прочтите нам. С переводом, конечно.

Прочтенное Микулашем Соколом из октябрьских — ноябрьских номеров «Свободы» радостно изумило и Кедрова и остальных:

— Так это же совсем *наши!* Черт возьми, вижу, что плохо, до последней степени плохо информированы мы обо всем, что у вас, в вашей чехословацкой легии, происходит. Непростительное упущение! Бить нас мало за это! А ну, ну, товарищ Сокол, читайте, читайте дальше!

Глаза у Матвея сверкали. Он многозначительно встречался взглядом то с тем, то с другим.

И Микулаш Сокол читал. Читал из разных мест — из газеты и из чешских листовок, тут же производя и беглый перевод:

— «Мы — потомки таборитов, первых в истории Европы *социалистов-коммунистов.* Это ведомо каждому чеху. Поможем России, поможем Ленину!.. Русская революция нанесла смертельную рану империализму. Мир без аннексий и контрибуций! Демократический мир! Оружие солдат во всех воюющих странах должно быть повернуто против своих правительств, если они препятствуют заключению мира!

...Мы с гордостью говорили, что более половины чехословацких революционных войск — члены социал-демократической партии. Большинство чешской нации является пролетарским...

...Свобода чешского и словацкого народа будет обеспечена лишь союзом со свободным русским народом. Все наши силы — защите русской свободы! Русская революция — это начало великой мировой революции. Социальной!

...Против огульных и пустых лозунгов национализма мы выдвигаем клич всенародного социализма!

...Братья! Не допускайте, чтобы ваше оружие было обагрено братской славянской и пролетарской кровью!

...Наша революционная чехословацкая армия не должна уходить-уползать с Украины: это предательство нашей родной советской власти, нашей русской Великой Революции! Братья словаки! Поможем России, поможем Ленину!»

В самозабвении он не читал — выкрикивал эти слова, как если бы взывал к своим братьям с трибуны.

Наступило молчание. Взволнованы были все. И больше всех Кедров.

Отступив на шаг и словно любуясь Микулашем, Кедров проговорил в растроганности:

— Да, да! Именно так — *поможем Ленину!* Слова-то какие! Дивлюсь: как только вы, чехи, — ведь все ж таки не нашей земли и недавно еще военнопленные, — как могли вы их, эти удивительные в своей народной, в святой своей правде слова, взрастить в своем сердце?! — И еще раз заставляя вслушаться, раздельно, истово повторил: — «Поможем Ленину!» Изумительно! Чудесно!

Микулаш Сокол промолвил на это с какой-то трогательной, застенчивой простотой:

— Когда бы все так — наши братья-легионеры! Но иные из нас — я в том числе — еще и там, на родине, старались *ему* помогать.

— То есть как?

Ответ чеха ошеломил его:

— Шесть лет назад. В Праге. В девятьсот двенадцатом... В январе. Да! Тогда и мне, еще двадцатилетнему... парню, руски сказать, выпала честь вместе с другими помогать Ленину.

— Позвольте, но это же... это же дни Пражской конференции?!

— Да.

Подавив свое изумление, Кедров воскликнул:

— Так что же вы молчали, товарищ Сокол?! Садитесь и рассказывайте: как? где? каким образом?! Мне, к несчастью моему, не пришлось побывать на Пражской конференции... Рассказывайте!

Воспоминания чеха о днях Пражской конференции и о его безвестной, хотя и необходимой в те дни работе

по размещению делегатов по надежным квартирам; рассказ о том, как сопровождал он Ленина в его прогулках по городу, и о том, как возложена была на него Яхимом Га́вленой, секретарем краевого исполнительного комитета чешской социал-демократической партии, обязанность негласной охраны Ленина, — все это дышало таким достоинством и несомненною правдой, что Матвей Матвеевич после нескольких все же испытующих вопросов отбросил и малейшие сомнения.

Да и то, что вначале и ему, и всем остальным показалось почти невероятным, было, в сущности, очень и очень естественным.

Микулашу Соколу было тогда двадцать лет. Работал он подсобным рабочим при типографии социал-демократической чешской газеты «Право Лиду». Считался одним из надежных и развитых функционеров партийного секретариата. Убеждений был самых левых. «Леве кршидло, — как выразился Микулаш. — Левое крыло». И не было ничего более естественного, как выбор Яхимом Га́вленой и Эмануилом Шкатулой, редактором «Право Лиду», именно этого надежного и вполне подчиненного им обоим партийного парня в качестве «разводящего» и включение его в число потаенной охраны Ленина.

Был случай, вспоминал Микулаш, когда некий подозрительный господин вздумал на Гибернской улице, возле самого Народного дома, где происходила Пражская конференция, заснять Ленина.

Микулаш Сокол, заметив это, быстро, бурно прошагал мимо непрошеного фотографа, толкнул его плечом и наступил на ногу, вызвав град ругательств. Снимок не состоялся!

...Как зачарованные слушали участники заседания рассказ чеха. Невероятным, сказочным казалось любому из них, что этот вот простой, сидящий с ними человек с башкинского завода там, за границей, не только знал *тогдашнего* Ленина, Ленина Пражской конференции, но и охранял его!

И почти из каждых уст, и чуть ли не в одно и то же время, вырвался вопрос:

— Товарищ Сокол! А какой он был тогда, товарищ Ленин? О чем он говорил с вами?

Забросали, замучили вопросами!

Наконец Матвей Матвеевич сжалился над Микулашем и сказал, что хватит:

— Товарищ Сокол устал. Он же прямо со смены.

Изумленный не меньше прочих, Егор Иванович с притворною, как бы сердитою укоризною обратился к Микулашу:

— Эх, Микулаш, Микулаш, друг, и до чего же ты скрытный оказываешься! А еще *кмотр* называешься! Кум! Столько время мы в дружбе с тобою, а хоть раз услыхал я от тебя, что ты в Праге товарища Ленина охранял?!

Микулаш Сокол смутился. А ответ его был такой:

— То было нэудобно! Нэскромно. Я — из военнопленных. Сказали бы: он хочет выдвинуться. Хочет строить карьеру. Здесь, на Руси...

Когда стали прощаться, Микулаш Сокол дольше обычного продлил рукопожатие с Ефросиньей Филипповной. Взметнул большими ресницами — глянул в душу. Вздохнул.

— До свидания, соудружко Голубых!

Фрося скраснела, быть может потому, что опять насмелилась ответить ему по-чешски:

— На згледаноу! Мнейтэ сэ добже! (До свидания! Всего хорошего!)

Отрадная улыбка тронула мужественное лицо чеха. И снова — короткий, негромкий возглас благодарности и восхищения.

И Фрося, преодолевая смущение, сказала:

— А я вас знаю... Помню... Видела и слышала!

— Когда? Где?

— А у нас, в госпитале. Вы с товарищами своими играли для раненых... выступали... Почему бросили? Музыку почему бросили, при военном заводе теперь? Все у нас тогда говорили, очень хороший вы музыкант.

Тень, словно от облачка, набежала на его лицо. Но тотчас же и прояснело. Вскинул голову и уверенно, убежденно произнес:

— Что ж делать! Я много думал. Но... так решил: *сейчас Ленину помогать* лучше не музыкой, но оружием. Не флейтой, но флинтой. — Увидал по ее лицу, что последнее слово Ефросинья Филипповна не поняла, и с улыбкой пояснил: — Флинта — по-чешски. Руски будет: ружье!

Посланный Лениным в Брест в январе тысяча девятьсот восемнадцатого года возглавить советскую делегацию с прямым и неукоснительным наказом — привезите нам мирный договор! — Троцкий вместо этого целый месяц тешил себя и других клоунадами *якобы* поединка, в котором тщетно пытался он проткнуть взгроможденный на стол конференции сапог надменно-наглого Гофмана острием своего языка, натренированного на парадоксальных остротах, заведомо предназначаемых для истории.

Заласканный и превознесенный еще до революции, во время войны, бешеной вкруг него рекламой сионистской буржуазии Соединенных Штатов во время вынужденной своей поездки туда, он и теперь, в Бресте, воображал — этот способный, изворотливый публицист, — что, раздразнивая и злобя без всякой нужды, а в прямой ущерб великому государственному заданию, с которым был послан, главу германской делегации, он, Троцкий, заставляет весь мир любоваться им, дивиться ему и заслушиваться его руладами.

Начальник штаба всего Восточного, то есть противорусского фронта, незаурядный стратег, но заматерелый в грубейшем пруссачестве, пангерманизме и в презрительной ненависти к России и славянству, внешностью же настоящий розовосытый кабан, хряк в островерхой каске, — глава германской делегации генерал Гофман сперва от выпадов Троцкого багровел, взрыкивал, в гневе шлепал ладонью об стол и выкрикивал свое грозно-озлобленное: «Ich protestiere!» (Я протестую!) Но вскоре он распознал, с кем имеет дело, поуспокоился и лишь изредка хрипло выборматывал возгласы презрительного недоумения. Да и предвкушал он предстоящее ему вскоре торжество: увидеть, как затрепещет, захлопает смятыми крылышками вовлекаемая в его алчную пасть эта упоенная своим собственным пением, еще не виданная им птица.

И только пожевывал тяжелыми тевтонскими челюстями, глотал плотоядно слюни.

И, как бывает с иными певчими птицами, и даже с петухом, когда в самозабвении, закатывая глаза и запрокинув головку, они уж ничего в это время и не слышат и не видят, кроме своего пения, Троцкий так, по-видимому, и не подозревал, какую черную западню

успели подготовить немцы во время его рулад и трелей.

А не было у этого «солиста» недостатка в предостережениях! Военной частью советской делегации в Бресте руководил опытнейший генерал большой военно-международной разведки, и хотя ему предоставлено было лишь право совещательного, а не решающего голоса, но он многократно остерегал Троцкого. Тот высокомерно отметал его опасения и продолжал тешить мирную конференцию «шпильками» в толстые мяса́ Гофмана и услаждаться своими ариями.

Зато уж Гофман — тот отнюдь не пренебрегал выдержками из объемистого досье, заведенного на Троцкого тайной немецкой полицией еще с довоенных времен. Вот что он почерпнул оттуда.

Лев Давидович Троцкий. По отцу — Бронштейн. Сын богатого землевладельца на юге России. С юных лет принял участие в революционном движении. Левых, но в смысле партийной принадлежности не оформленных политических воззрений. Эгоцентричен. Крайне честолюбив. Одержим страстью первенствовать всегда и во всем. В царское время отбыл тюремное заключение в одесской и Бутырской тюрьмах. Фамилия старшего надзирателя одесской тюрьмы, некоего Троцкого, привлекла внимание Бронштейна, очевидно, своей звучностью, и он в дальнейшей своей деятельности принимает ее. После тюремного заключения отбывает нестрогую ссылку в Иркутске, где предавался газетной и вообще литературной деятельности, избрав себе на этот случай псевдонимом итальянское слово «антидото», то есть «противоядие», в расчлененном виде: «Антид Ото». Писал статьи, памфлеты. Неудачно пробовал свои силы в романе. Из ссылки бежал, оставив там жену и двоих детей. В Лондоне, явившись к Владимиру Ульянову-Ленину, вождю крайне левого крыла РСДРП, принял на себя обязательства способствовать ему в политической области, каковые обязательства вскоре же и нарушил, перейдя к самым острым формам политической борьбы с ним.

Во время приближения германских армий к Парижу, находясь там, издавал небольшую газету «Голос», где выступал с жестокими нападками на французское правительство. В тысяча девятьсот шестнадцатом году был арестован «за прогерманскую пропаганду» и выслан

в Америку. Сионисты Нью-Йорка организовали ему большой приветственный митинг в «Купер Юнион», сопровождая и дальнейшее его турне и выступления хорошо организованной рекламой. Выступления Троцкого в Нью-Йорке были направлены против войны, главным же образом против России и ее союзников — Англии и Франции. В связи с этим, когда после свержения царя эмигранты-революционеры во множестве стали возвращаться в Россию, английские власти арестовали Троцкого с семьей в Канаде (в Ванкувере), как германского агента, и заключили в лагерь, не желая допускать его возвращения в Россию. Однако специальной нотой-протестом министр иностранных дел русского Временного правительства Милюков добился освобождения Троцкого и права беспрепятственного возвращения на родину.

Троцкий, человек обширных, но бессистемных познаний, полученных путем самообразования, чему способствовало и долговременное пребывание за границей. Свободно владеет немецким и французским языками. Менее свободно — английским. Принимал участие в свержении правительства Керенского. Окончательно примкнул к партии социал-демократов большевиков и быстро выдвинулся. С их победою в России занял пост комиссара (заботливо в скобках: «министра») иностранных дел...

Этих данных из секретного «дела», заведенного на человека, посланного противостоять ему и фон Кюльману, было для генерала Гофмана более чем достаточно!

Черным днем Брестских переговоров явился день, когда не оспоренные растерявшимся Троцким в самом начале (ну как же — самоопределение народов!) уселись за стол мирной конференции в качестве равноправных якобы представителей Украины двое обнаглевших, продажных проходимцев — два «щирых» петлюровца, из числа тех, кто еще с довоенных времен специально выкармливался из обширного корыта при австрийском главном штабе для грядущего удара против России.

А между тем вот где, при самом первом появлении этих молодчиков, посланных немцами, крикнуть было Льву Давидовичу и свое: «Ich protestiere!» Ибо еще в де-

кабре тысяча девятьсот семнадцатого года в Харькове состоялся Первый Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший Украину Советской республикой. Советской! Мало этого: состряпанная Петлюрою и Винниченкой под полой Карла Габсбурга буржуазная Центральная рада была объявлена съездом «вне закона». При этом Всеукраинский съезд Советов торжественно обнародовал теснейший и нерушимый союз между Советской Украиной и Советской Россией.

Было за что ухватиться с точки зрения международного права ввиду явного попирания статута конференции включением в нее непредусмотренных и неоговоренных участников!

Но момент был упущен!

И когда седьмого февраля русской стороной была оглашена на очередном заседании радиограмма Ленина, извещавшая, что вообще никакой Центральной рады не существует и что в Киеве уже советская власть, запоздалый отвод, заявленный Троцким, был отвергнут германо-австрийской стороной.

И самозванные представители несуществующего правительства, о котором шутили: «В вагоне — Директория, под вагоном — территория!», крепко уселись в креслах и нанесли бесстыдно-вероломный удар ножом в спину российской делегации. Украина, провозгласили они, есть держава самостоятельная и ничего общего с Россией, которая только то и делала, что угнетала ее, иметь больше не желает. Мир с Германией и Австрией Украинская держава заключает совершенно самостоятельно, не считаясь ничуть с намерениями Совета Народных Комиссаров. А в своих пограничных спорах с Россией Украинская самостийная держава будет опираться отныне на военную, если понадобится, помощь центральных держав, с которыми вступает в союз!

Страшно и жалостно было в эти минуты оглашения Украинской декларации глядеть на лицо Троцкого! Он сидел неподвижный, с побледневшим лицом и широко раскрытыми глазами. Капли холодного пота текли по его лбу, и он не замечал их. Его рука чертила какие-то бессмысленные каракули на листе бумаги, что лежал перед ним.

А украинец был с неплохо подвешенным языком и не остался в долгу, когда Троцкий бросил ему обвинение в предательстве:

— Простите, господин Троцкий, но смешное и нелепое обвинение *нас* в предательстве гораздо с большим правом должно быть возвращено вам, ибо острая по форме полемика ваша нисколько не может скрыть фактического положения вещей, то есть сдачи вами одной позиции за другой!

Да! Язвительное остроумие и ораторское искусство Льва Давидовича, проявленные им в страшные дни Бреста, были по достоинству оценены даже и представителями врагов!

В своих домашних, так сказать, совещаниях и делегаты Советов, и австро-германские после каждой встречи привыкли обсуждать ее итог. Делились впечатлениями, шутили, проезжались насчет кого-либо, очередного, из противников, нередко применяя при этом уже установившиеся за каждым прозвища. Так, Троцкий, смеясь, сказал однажды, что генерал Гофман ужасно напоминает ему толстую, лоснящуюся, туго-натуго набитую кровавым фаршем колбасу. Оговорился, что, быть может, это и не оригинально, а навеяно ему с детства русским фольклором. Подслушано ли это было, донес ли кто Гофману, но только вскоре вслед за этим заостренно-личная неприязнь между тем и другим еще более ожесточилась. И вот, когда представлявший Австрию граф Чернин, сам желчно остроумный, почти с восхищением, хотя и не без иронии, назвал Троцкого Нахтигалем, то есть соловьем, фон Гофман осклабился злобно, помолчал, багровея, а затем сквозь посасывание сигары презрительно проронил: «Идише копф!»

И захохотал хриплыми рывками. У него была особая посмешка: смеялся, точно лаял!

Десятого февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года фон Кюльман огласил в Бресте ультимативные условия мира. Тридцать грозных, испытанных в сражениях германо-австрийских дивизий, чудовищно оснащенных огневой силой, стояли уже наизготове: поддержать ультиматум.

Настал тот крайний, роковой миг, о котором Троцкому перед его выездом из Петрограда лично Лениным был сделан ясный, не допускающий никаких лжетолко-

ваний наказ: после ультиматума мы сдаем. Подписывайте любой мир. Надо немедленно выводить народ из войны. Иначе — гибель!

Троцкому надлежало теперь спрятать язык и вынуть перо.

Но где ж там!

Вероломно поправ доверие вождя партии, Председателя Совета Народных Комиссаров, бессовестно обманув Ленина, он выступил от имени Советского правительства со своей пресловутой ответной декларацией — «ни войны, ни мира». То есть, вместо того чтобы подписать в Бресте мирный договор, по которому немец требовал сперва лишь отдачи ему только той земли, которую успели захватить к тому времени германские армии, Троцкий начал там, по насмешливо-скорбному определению самого Ленина, «хорохориться и фанфаронить» на самом краю зиявшей перед народом бездны, ненасытимо прожорливой на русскую кровь и на русские земли, — бездны, в которую ввергал он этим последним своим «дипломатическим актом» великий Народ и великую Революцию!

Вот он встает в страшной тишине, которая обездвиживает в эти мгновения и врагов и своих, — весь как *коготь!* Глаза его сверкают сквозь стекла пенсне. Воронова крыла, артистическая — пышная, вразброс — шевелюра упруго колеблется. Обращает свое смуглое, пронзительное лицо в сторону Гофмана. Упирает в него словно бы торжествующий, надменно-злой взор. Растянутый красногубый рот, под тоненькими, но длинными черными усиками, на секунду еще сильнее растягивается загадочной усмешкой.

Глава германской военной делегации, восседавший до этого будто литой истукан — выпрямленно и недвижно, начинает багроветь, багроветь своим жирным, обширно-голым лицом и даже невольно отклоняется на спинку своего кресла, упершись мясистыми ладонями о край большого, длинного стола заседаний. Левой рукой покрепче насадил пенсне без оправы. На лице у него такое в этот миг выражение, как если бы ему уж не под силу становится эта секундная пытка, причиняемая ему молчанием Троцкого. Кажется, вот-вот вырвется у него: «Да говорите же вы наконец, черт вас возьми, что решает Россия?!»

И *якобы Россия* провозвестила!

Обретя наконец ледяное спокойствие, перестав нервно подергивать острую, козью бородку, Троцкий своим сильным, выразительным, с металлическим отзвуком голосом начал оглашать неслыханную свою декларацию. Нагое существо ее заключено было в следующих его словах:

— ...Мы из войны выходим. Но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора... Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам *одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту.*

И в горделивой недосягаемости, словно позируя перед фотокамерами всего света, вновь опустился на свое кресло.

Безмолвно, внутренне охнул каждый.

Рычащий возглас ошеломленности, недоумения вырвался из утробы Гофмана:

— Unerhört! (Неслыханно!)

Однако, неповоротливо-тучный телом, Гофман умом и соображением был чрезвычайно быстр, недаром же он являлся, по существу, подлинным верховным главнокомандующим всего тысячеверстного противорусского фронта! Оголенно-обширное, сытое лицо его взялось алчной радостью. Он облегченно вздохнул. Слегка потянулся, расправил плечи. Веселые искорки просверкнули в его глазах.

Да и еще бы, еще бы! Одной своей заключительной фразой Троцкий в конечном счете пропихнул в ненасытную пасть удава не только Польшу, Литву, Эстонию, Латвию, Финляндию, но и Белоруссию, и Украину, а затем и Крым, и Донбасс, Батум и Карс — сотни городов и тысячи сел, чуть ли не половину всего народонаселения России! — не говоря уже, не считая неисчислимых по всем фронтам, покидаемым теперь уже на вполне законном основании — в силу приказа о демобилизации, — неизмеримых, на миллиарды и миллиарды рублей запасов вооружения, оборудования и снаряжения! Сверх того, разоренная и войной, и неслыханной разрухой, обкромсанная со всех сторон Россия Советов должна была понести еще и чудовищную

контрибуцию: три миллиарда золотых рублей, которая согнула бы плечи не одному поколению!

Армия запрещена. Флот подлежит уничтожению...

Вот к чему привело неподписание мира Троцким и его услужливое — казалось, ну к чему бы?! — уведомление верховному командованию врагов: демобилизуем, дескать. На всех фронтах. Сопротивления нигде не будет. Идите. Зеленая улица вам!

О таком исходе генерал Гофман и не мечтал!

Нацеленные на вторжение, германо-австрийские корпуса ринулись в глубь России...

Раскаялся ли Троцкий перед лицом Седьмого съезда или когда-либо позднее в своем преступном фанфаронстве перед лицом грозного врага? О нет! Когда съезд партии осудил его поведение в Бресте, Лев Давидович изволили обидеться: Троцкий заявил, что он слагает с себя звание народного комиссара по иностранным делам.

А позднее, когда, согласно старинному обычаю заводских рабочих, его, по существу, «на тачке» вывезли сперва из Кремля, а потом и из Советского Союза, он в своих зарубежных мемуарах, коими оставил далеко позади себя не только Хлестакова, но и самого барона Мюнхгаузена, так выразился об этом своем уходе с поста наркома: «Я был в состоянии хирурга, который закончил трудную и опасную операцию: он *вымыл руки*, снял халат, и он хочет отдохнуть!»

Не то выражение: не вымыл, а *умыл руки*!

Самой тяжкой расплатой, которую пришлось понести Народу и Человечеству за это брестское предательство Троцкого, явилось то, что неотвратимо последовавшие за разрывом переговоров события укоротили жизнь Ленина не меньше, чем пуля Каплан.

Недаром, когда ощутил он первые признаки надвигавшегося на него смертельного недуга и когда Надежда Константиновна, поверив заключению одного из высоких врачебных авторитетов, сказала ему однажды, что это все от переутомления, Владимир Ильич скорбно и болезненно усмехнулся и, покачав головой, возразил ей:

— Нет, Надюша... нет, нет! Это ни от какого там переутомления: это... Брест!

Осатанелым навалом ринулись они все против Ленина — испытанные политиканы, запевалы и коноводы оппозиции, главари и левых эсеров, и «левых коммунистов», — неистовые трибуны, из которых не один только Троцкий мнил себя способным, если понадобится, заменить собственной персоной товарища Ленина во главе государства и партии.

В страшные дни февральско-мартовской бури тысяча девятьсот восемнадцатого, — черной бури, сотрясавшей народ, партию, государство, — когда гибель советской власти в пучине войны и разрухи становилась неотвратимой вне срочного, безотлагательного мира, которого добивался, надрывая последние силы, Владимир Ильич, — мира, пускай наитягчайшего, — они, эти господа, эти «интеллигенты-сверхчеловеки», как называл он их, требовали поднять народ, вычерпанный войною, снова на ту же самую войну!

Беснуясь неистово, они обступали Ленина со всех сторон. Они оскорбляли его беспощадно. Заушали и распинали. Он предатель, вопили они. Подписывая мир — унизительный, позорный, похабный, он предает Украину, Финляндию, Латвию, Эстонию, Польшу! С подписанием кабального договора Совет Народных Комиссаров становится приказчиком германского империализма. А когда так, то: «В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной». Да здравствует новая, революционная война с Германией, война-восстание, хотя бы и с ножами и топорами, как воюют уже псковские мужики! Гофман не посмеет наступать: у него за спиною Карл Либкнехт! Он выручит нас. Во главе германского пролетариата Либкнехт придет к нам на помощь. Разве не видит Ленин, что в самой Германии уже началась революция? Если мы вместо подписания грабительского, похабного мира кликнем клич революционной войны — нам обеспечена поддержка не только германского пролетариата, но и пролетариата всех стран! «Нас раздавят, прежде чем кто-либо придет нам на помощь», пугает нас Ленин. Ну что ж! Пускай раздавят! Значит, мы пришли слишком рано. Значит, наша революция была выкидышем истории. Тогда — в отставку, в подполье! Но прежде чем уйти в отставку, мы, как

революционная партия, должны драться до последней капли крови. Должны погибнуть с честью. Умереть со шпагой в руке.

И все ж таки, скажем мы тогда с чувством гордого удовлетворения, такого исторического провала в мировой перманентной революции, какой наступил после разгрома Парижской коммуны, — такого провала все равно, говорим мы, не будет!

Так вещал Троцкий даже и после Бреста. Так вопили и подвывали ему «левые».

На эти исполненные омерзительного цинизма слова, где жизнь и кровь русского народа, где существование советской власти требовали бросить на одну карту: «Мы должны поставить на испытание силы германского пролетариата, его политическую сознательность!» — на эти чудовищные слова, продиктованные у одних демагогическим, оголтелым азартом, у других затаенным предательством, ответ Ленина был презрительно-гневен, беспощадно язвителен:

— Нет и нет, дорогие товарищи! Роль «умирающего лебедя» — это не для советской власти! И умереть в красивой позе, «со шпагой в руке», смертью благородного шляхтича, — нет, нет, уважаемые товарищи: рабочие и крестьяне — они отнюдь не ради такого исхода совершили свою великую социальную революцию!

Тогда уже пал Псков. И вот, указывая на виновников срыва Брестских переговоров, Владимир Ильич говорил:

— Вам давали брестские условия, а вы отвечали фанфаронством и бахвальством: немец, видите ли, не посмеет наступать! В Бресте соотношение сил соответствовало миру побежденного, но не унизительному. Псковское соотношение сил соответствовало миру позорному, более унизительному, а в Питере и в Москве, на следующем этапе, нам предпишут мир в четыре раза унизительнее! Я предлагал совершенно определенно мир подписать. И надо было мир взять, а не хорохориться зря! Мы имели бы теперь передышку по крайней мере в месяц!

С горестным сарказмом отбрасывал он доводы «левых», что Либкнехт, мол, выручит.

— Было бы просто глупостью и превращением в издевку великого лозунга солидарности трудящихся

всех стран, если бы мы вздумали ручаться перед народом, что Либкнехт непременно и обязательно победит в ближайшие недели! Германская революция зреет, но заведомо не дошла еще до взрыва в Германии, до гражданской войны в Германии... Хорошо, если немецкий пролетариат будет в состоянии выступить. А вы нашли такой инструмент, чтобы определить, что немецкая революция родится в такой-то день? Нет, вы этого не знаете, мы тоже не знаем. Вы все ставите на карту. Если немецкая революция родилась — так все спасено. Конечно! Но если она возьмет да не победит завтра, — тогда что? Тогда масса скажет вам: вы поступили, как авантюристы, — вы ставили карту на этот счастливый ход событий, который не наступил!

Грозил и предостерегал:

— Пусть знает всякий: кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит советскую власть! Товарищи «левые», откройте же наконец глаза: неужели не видите вы, что вы толкаете нас в ловушку, в западню, которую расставила нам российская буржуазия, которая требует от нас возобновления войны с Германией, дабы наверняка свалить советскую власть? Не подписать мира в данный момент — это значит поддаться на провокацию русской буржуазии, которая жаждет прихода немцев, встречает их восторженно. На деле мы сейчас, сию минуту воевать не можем, ибо армия — и об этом ее представители говорили еще до прихода большевиков к власти! — воевать больше не может: «Мы захлебнулись в крови!» Мне скажут: но к нам отовсюду идут телеграммы о готовности стать на защиту советской власти и сражаться до последнего человека. Что ж! Иначе и быть не могло! Это — отрадно. Это — радостно. И в этом я вижу залог нашей грядущей победы и почерпаю абсолютную уверенность в том, что никакие архитяжкие договора не погубят нашей великой социалистической Республики Советов! Но, товарищи, чтобы воевать по-настоящему, необходим крепкий, организованный тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены. Это настолько ясно, что не требует пояснений.

Указывая на все возрастающую разруху железных дорог, Ленин воскликнул:

— Без железных дорог социалистическая революционная война — вреднейшее предательство!

Сквозь улюлюкания и оскорбления он снова и снова провозглашает:

— Ловите передышку, хотя бы на час, раз вам ее дали; ловите — чтобы поддержать контакт с дальним тылом, где лечат сейчас теперешнюю больную, демобилизованную армию и где создают сейчас новую, могучую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию! Мы идем к новой, отечественной войне. Я еще раз скажу, что готов ради этого подписать и буду считать обязанностью подписать в двадцать, в сто раз более унизительный мир, ибо *я... оборонец*!

Скованный необходимостью не раскрывать до конца с трибуны самое существо своей потаенной стратегии, дабы не настораживать немцев, он, однако, бросает многозначительное:

— Некоторые, определенно, как дети, думают: подписать договор — значит продался сатане, пошел в ад. Это просто смешно, когда военная история говорит яснее ясного, что подписание договора при поражении есть средство собирания сил.

Но где ж там! На всех собраниях и совещаниях «левые» клеймят и позорят его имя, присоединяя свои яростные вопли к злобному реву остервенелой и откровенной контрреволюции.

И когда, истощив себя, исчерпав все и всяческие доводы единственной спасительной тогда своей стратегии: «Отдаю пространство, дабы выиграть время!» — Ленин решительно заявил, что он выходит немедля и из правительства, и из Центрального Комитета, если только не будет тотчас же, без проволочки подписан мир, — нашелся-таки «смельчак», один из цекистов, у которого повернулся язык произнести бесстыдно-кощунственную фразу:

— Если Ленин грозит отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать власть без Владимира Ильича!

Тяжкое удушье не раз подступало в те дни к сердцу вождя. Он заболел. На одно из решающих заседаний ЦК Ленин не смог прийти: недуг осилил. Сказалось сверхчеловеческое напряжение бессонной титанической борь-

бы этих дней, душевная пытка отцовской боли и страха: за народ, за его великую социальную революцию, перед которыми, казалось, разверзается уже неотвратимая бездна.

Какая же сила в те дни спасала его, помогала ему выстоять? Силой этой было прозрение, глубочайшее и неколебимое, что именно русский народ, а во главе русский рабочий класс призван спасти человечество.

Массы! Он любил это слово, оно звучало в его устах как интеграл и сверхчеловеческой мощи, и всечеловеческой правды. И эти массы дышали и жили им. Из этого океана и почерпа́л он, снова и снова, свою миросокрушающую и миротворящую силу.

Рядом с ним и плечом к плечу была в те дни и еще одна сила: имя ее было — Свердлов.

В страшные дни Бреста Свердлов был в полном пылании своих волевых и умственных сил. И, словно о несокрушимый утес, расхлестывались об этого хрупкого с виду человека беснующиеся накаты лево- и правоэсеровских толпищ и сомкнувшихся с ними в те дни бухаринцев и троцкистов — на всех решительно собраниях и заседаниях, на которых председательство вверялось Свердлову.

Свердлов был трибун, исполненный ледяного спокойствия и разящего остроумия, когда надлежало дать отпор разбушевавшемуся врагу.

Одной лишь председательской репликой — спокойной, чуточку насмешливой, но всегда «парламентски корректной»: «Изволите ошибаться!», «Успокойтесь, товарищи, прошу вас!» — Свердлов умел осадить и утихомирить любого не в меру разнуздавшегося крикунадемагога из числа тех, у кого хватало бесстыдства бросать и Ленину и Совнаркому злобные выкрики о предательстве революции и требовать немедленного прекращения мирных переговоров.

Помимо находчивости и спокойствия он обладал для такого воздействия на беснующуюся стихию еще одним чрезвычайным даром: размеренно-набатным, неимоверно могучим, но благозвучным басом. К председательскому звонку не прибегал!

Недаром в партии бытовала шутка: «Древние насчитывали *семь* чудес света, голос Свердлова — восьмое. Большевистское!»

Однажды, отдыхая в изнеможении после одного из таких бушующих заседаний, Ленин, лукаво сощурясь, вдруг спрашивает его:

— Скажите, Яков Михайлович, вы еще не забыли мифологию?

Тот, слегка удивленно и предчувствуя какую-то шутку со стороны Ильича, улыбнулся, спросил:

— Какую, Владимир Ильич?

— Греческую. Насчет осады Трои ахейцами...

— О нет, кое-что уцелело в памяти! — И, сняв пенсне и слегка потирая сквозь веки усталые глаза нервными длинными перстами, раздумчиво и негромко проскандировал, с оттенком грустного припоминания: — Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Ленин, рассмеявшись, перебивает:

— Вижу, что помните! Но только я не Ахиллеса имел в виду, а другого из стана ахейцев: Стентора. Когда я слушал сегодня, как своим «восьмым чудом света» вы буквально глушили, подавляли их рев против меня, этих истеричных «интеллигентов-сверхчеловеков», я невольно вспомнил, как этот самый Стентор, сотоварищ Ахиллеса, одним своим окриком обращал в паническое бегство троянцев. Одним только голосом. Без всякого оружия!

Польщенный и смущенный этой похвалою, Свердлов слегка разводит ладони и, всегда готовый к ответной шутке, говорит:

— Ну что ж! Рад хотя бы и этим быть вам полезен! Но только я думаю, понаблюдав этих господ — особенно сегодня! — что не Стентора голосище, а, пожалуй... — Тут он хмурится и завершает ответ свой уже с оттенком тревоги в голосе: — А, пожалуй, панцирь Ахиллеса был бы для вас куда лучшей защитой, Владимир Ильич! Ей-богу! А впрочем, это уже по части Феликса Эдмундовича!

Ленин смеется. Отмахивается коротким жестом руки:

— Ну что вы! Полноте! На это, я думаю, они никогда не пойдут.

Бескрайние и словно бы неисчерпаемо-бездонные — и самому солнышку довеку не растопить! — снеговые

навалы Зауралья на исходе февраля-«бокогрея», на стыке с мартом, нет-нет да и начинают подаваться. И хотя страшные еще приходят стужи, *плящие* случаются морозы (смерзается плевок на лету, говорят ямщики), и пускай крепка еще блистающая риза зимы, а уж все ж таки даже глазом видать в солнечный, ясный день, что снега не те.

Местами глубокий, рыхлый уброд: ступи от саней на шаг — и угрузнешь по самый верх валенок, да и туда черпнешь снегу. А чуть дальше — там и сям видятся, слепят глаза зеркально сверкающие на солнце лудо́ю — хрупким, как стекло, «чиром» (след застылого, схваченного морозом, таяния) — необозримые расстилы сугробов, перемежаясь с более темными почему-то и на вид будто бы рыхлыми, на самом же деле крепко-накрепко плотными, до гулкости под ногою, выпуклинами суметов и завоев, кое-где с острыми языками снежных за́стругов.

Как только останавливались где-либо на необозримой снеговине обе одноконные кошевки: дать выкачаться лошадям, Кедров, словно вырвавшийся из школы или из-под надзора матери мальчуган, выскакивал из кошевы, скинув тулуп, и в одном полушубке, проступаясь и хохоча, добирался-таки до ближайшего из этих снежных «такыров» и, топоча сапогами по гулкому своду, весело приглашал и спутников своих присоединиться к нему:

— Выдержит!

Матвей зимами, особенно же в далеких разъездах, обувался не в валенки, не в пимы, а в просторные, вроде охотничьих, сапоги с голенищами до подколенья, утепленные внутренним как бы чулком из тонкого, но прочного войлока. Этому научился он и перенял от сибирских ямщиков: «Эдак спорее, Матвей Матвеич!» И вскоре в своих подпольных разъездах и походах зимой и ранней весной убедился, что этак и впрямь «спорее»: по талому снегу не промочишь ног, а от войлочного чулка-вкладыша тепло — лучше, чем в валенках.

Не последним для него делом в минувшие годы подполья было и то, что в таких «зимних» сапогах легче было и побежать, не то что в валенках!

Однако спутники его — Агат Копырников, Степан и Костя Ермаковы — не торопились последовать его при-

меру и призыву и, смеясь и перешучиваясь с ним, топтались возле кошевок на плотной, наезженной полозни́це, придерживаясь за оглобли, иной раз проступаясь.

Агат Петрович курил. Братья — ни тот, ни другой. Степану, как выздоровел после той страшной легочной операции, запретили врачи. А Константин — тот начинал было, но бросил, когда в одном из разговоров спросил Кедрова и тот ему ответил, что Владимир Ильич не курит. Да ведь не курил и сам Кедров: «Если можешь, то не кури. Наше здоровье, работников партии, — это достояние общественное. Зачем его пускать на ветер?» — «Ясно! Могу, Матвей Матвеич! Но только почему — вы сами не курите, а папиросы всегда с собой носите?» Кедров улыбнулся: «От времен подполья привычка, друг мой: легче беседа, Костенька...» — «Понял!»

И с этой поры Константин сам усвоил эту привычку.

Агат Петрович, щурясь от дымка махорки и от блистания снегов, любовался мальчишескими подвигами товарища Кедрова в сугробах с какой-то неизъяснимо благодушной, почти отцовской улыбкой. Когда тот вдруг проваливался в снеговую рыхлину́, перебираясь с одного залубенелого купола на другой, у Копырникова даже испуганно полуоткрывался рот и во всем теле означался порыв — кинуться на помощь, как бывает это у заботливого родителя, когда своевольный отрок у него на глазах пускается в забавы небезопасные.

Повернувшись к братьям, сказал:

— Пускай его полазает по снегам. Пускай хоть в дороге отдохнет, разомнется: только ему и отдыха, пока в кошевке. Ни тебе посетителей, ни тебе митингов-собраньев!

И строго воззрился на Ермаковых, словно бы опасаясь услышать с их стороны осуждение мальчишества Кедрова. Это *отцовское* в нем к Матвею возникло в его суровом и озлобленном сердце невольно и как-то вдруг, сразу после той памятной им обоим исповеди-беседы на приеме у Матвея в гостинице. И в то же время это покровительственно-заботливое чувство к нему неразрывно и непротиворечиво сливалось в душе Копырникова с безмерным и все возрастающим почитанием Кедрова как человека и как руководителя. Теперь даже в самом простом, обычном поступке Матвея, своего

Матвеича, он заведомо предполагал некий особый, направленный к большой цели смысл: «Пластает по сугробам до поту — это, значит, ему вместо гимнастики: как в тюрьмах было у *них* заведено, в одиночках, чтобы здоровье не сдало!» У «них» — это означало в мыслях Копырникова: у старых, кадровых большевиков подполья, у таких, что в одни времена с Лениным изведали и тюрьмы и ссылки. Он исполнен был к ним истового и все возрастающего благоговения: «Да, это люди!»

Степан Ермаков, к великому удовольствию Агата, не только не осудил Кедрова за его барахтанье в сугробах, но даже, напротив, одобрил, добавив и от себя жалостно-суровое замечание:

— Да и то, головой, поди, и в дороге не отдыхает: вперед обдумывает!

А о Константине и говорить нечего. Тот бы и сам рад-радешенек был присоединиться к Матвею Матвеевичу, да счел неудобным: не показалось бы панибратством! Костя строг был в этом, горд и застенчив! Набоистых к начальству людей презирал. Он знал, что Кедров искренне любит его, и тем строже остерегался сделать в сторону дружбы с ним хотя бы один лишний шаг.

На замечание Степана Копырников ответил многозначительно:

— Да-а! Вперед обдумывать нам надо! Головушку потрудить. А то ведь и голову чуть было не прострелили. Ухо-то, поди, и сейчас у него саднеет. И мне было слыхать, как пуля свистнула... — И угрожающе добавил, поправляя черную тесьму наглазной повязки: — Ну да и мы с ними, с гадами, ответно будем поступать: маслом огонь не тушат!

Речь шла о том, что в небольшом выселке верстах в трех от бывшей мельницы Сычова, теперь уже реквизированной, в них стреляли вдогонку, с чердака черной бани за околицей. Злоумышленник успел выстрелить дважды, но оба раза промахнулся. Однако вторая пуля обожгла край уха Матвею.

Спутников Кедрова поразило полнейшее его спокойствие. «Ого! — сказал. — *Этот* явно проголосовал против Брестского мира! И довольно громко проголосовал!»

Пошутил эдак. Рассмеялся. Взял снега в горсть и приложил ненадолго к саднившему уху.

Копырников клокотал! Предлагал тотчас же заворотить лошадей и произвести строжайшее следствие во всем выселке, благо дворов немного. Присоединились к нему и оба брата Ермаковы: и военрук и военком.

Кедров запретил: политически будет вредно, учитывая особое государственное задание, с которым они вчетвером срочно объезжали волостные центры уезда. Да и ни к чему эти розыски не приведут. А шуму и говору вредного будет много. А что классовый враг стреляет — что ж в том особенного и удивительного?

И они принуждены были согласиться. Только Агат Копырников проворчал: «Ну ничего: я им, паразитам проклятым, тоже и это зарублю на бирке!»

И не сдержался: попрекнул Матвея, что вот, дескать, напрасно он запретил ему, Копырникову, взять с собой десяток надежных ребят-оперативников.

Кедров — будто бы соглашаясь:

— Вот, вот, Агат Петрович! А еще лучше бы пару пулеметов, орудие и роту красноармейцев: кто, мол, тут против решения Совнаркома подписать мир?! Да и скромненько уж очень едем: надо бы тройку с колокольцами — власть!

И Копырников смолк.

Объезд волостных Советов предпринят был Кедровым во исполнение телеграфного запроса от Ленина и от Свердлова: подписывать или нет новые, тягчайшие условия мира, ультимативно предъявленные Германией? Запрос этот о мире, и притом запрос неотложный, был разослан Председателем ВЦИК, во исполнение решения ЦК, всем губернским, уездным и волостным Советам, а также, местами, и уездным и волостным земельным комитетам. Короче говоря, это был всенародный опрос, это был референдум!

И удивительные из иных мест поступали телеграфные же ответы; многое пораскроют они пытливому взору историка!

Вот, к примеру, от некоего Долговского Совета крестьянских депутатов:

«Мира не хочем. Позорного продолжения войны не желаем. Остаемся чисто идейными защитниками своих провозглашенных принципов любви, братства и свободы перед всем миром. Председатель собрания Анцеушкин».

Вот и пойми его, Анцеушкина! Не иначе — баптист.

«На телеграмму Цека от 27 февраля. Село Аркадан за подписание мира». Бердянск, напротив, мирный договор отверг, закончив властно: «Вперед, на баррикады!»

Но, вероятно, больше всего поразила и Ленина и Свердлова грозная телеграмма из медвяно-благостного захолустья Медыни: «Условия мира глубоко убьют силу пролетариата. Медынский Совет Народных Комиссаров заявляет, что, истекая кровью, будет защищать свое право. Председатель Медынского Совета Народных Комиссаров ГОЛЕНЕВ».

В целом же, когда они, Свердлов и Ленин, голова к голове, бессонными ночами погружались во все возрастающий поток телеграфных ответов на запросы ВЦИК и Совнаркома, перед ними обоими проступала явственная закономерность: чем дальше от тысячеверстного рухнувшего фронта; чем дальше от многомиллионной, хлынувшей в глубины страны всеопрокидывающим людским потоком больной, истерзанной, демобилизованной старой армии; чем дальше от разрухи и голода срединной России; чем обильнее, богаче был край, область еще не вычерпанными страшным жерлом войны продовольственными и другими ресурсами — тем воинственнее и грознее поступали оттуда ответы.

И встретившиеся над ворохом телеграмм в молчаливом, без слов, перегляде, глаза того и другого говорили друг другу: это хорошо, но и плохо; и плохо, и хорошо; что ж, еще и еще раз — диалектика живых исторических событий!

Хорошо было вот что.

Значит, еще могуч и неисчерпаемо обилен этот далекий урало-сибирский тыл, где и предначертано было Лениным лечить катившуюся неудержимо с фронта больную старую армию и создавать новую! Радостно и отрадно, что из глубинных недр Страны Советов слышится этот грозный и мужественный голос беззаветно-жертвенной преданности родине и революции, и это давало силу и Ленину и Свердлову — и вождю партии, и главе Советов — уверенно и бесстрашно, с Голгофы трибун, провозглашать перед злобно орущими скопищами противников мира, что неизбежна, да и не за горами, великая социалистическая, *истинно отечественная* война.

А вот что было плохого.

Наряду с голосами: «К бою!» — голосами бесхитростными и самоотверженными — оттуда же, из Перми, Екатеринбурга, Тобольска, Челябинска, Кургана, Ново-Николаевска, Мариинска и далее, и далее на восток, телеграф принес голоса вызывающие, вплоть до прямого осуждения Совнаркома, ЦК и ВЦИК за их принятие Брестского ультиматума.

И это настораживало и омрачало.

Не было тайной, что именно туда — на Урал, в Зауралье, в Сибирь, — подальше от огневержущих пролетарских центров России, поближе к дредноутам и десантам Японии, Англии, Америки, к Дутову, к Семенову, Калмыкову, а главное, в самое, как говорится, *недро* крепкого двором сибирского «мужичка», земельнообильных и все еще державно-воинственных казачьих войск — Уральского, Оренбургского, Сибирского — двинулись косяками, заблаговременно, не только бежавшие из Петрограда и Москвы кадеты, но и вся правоэсеровщина и меньшевики — члены разогнанного матросом Железняком Учредительного собрания, «не приявшие», по выражению его председателя Виктора Чернова, «власть узурпаторов и послеоктябрьскую пугачевщину».

Густейшее, невпроворот, засилье в урало-сибирских Советах правых эсеров и меньшевиков, избранных туда еще по старым, «керенским» спискам еще не оглядевшимся после свержения монархии народом, главным образом крестьянством, которому напели в уши, что именно они, эсеры, и есть самая наимужицкая партия, которая кровь проливала за трудовое крестьянство да и сейчас готова, — это вот подавляющее в Совдепах засилье и обусловило из Зауралья и Сибири целый ряд грубых и вызывающих телеграмм на запрос о войне и мире, таких, например, как из Перми, Златоуста или Екатеринбурга.

«Уральский областной комитет считает *недопустимым* заключение аннексионистского мира... Социалистическая война с германскими разбойниками. Высылайте литературу. Такс».

Оттуда же, из Екатеринбурга:

«Местные Советы выносят резолюции о неприемлемости германских условий мира. Есть резолюция,

осуждающая Совнарком за приятие условий. Председатель областного исполнительного комитета Советов Урала».

Ничуть не сомневался Кедров, что свистнувшая мимо его головы пуля была тоже чьим-то голосом против прекращения войны с Германией.

«Что-то скажет волостной съезд в моей Калиновке!»

Для Кедрова непременное, главное в этом объезде крупнейших, *волостных* сел и являлось «произвести глубокий зондаж в народе» — так выразился он на большевистской фракции.

Но не дремали и эсеры и меньшевики Совета. Почти по пятам Кедрова кинулись опрашивать крестьянство уезда и главарь правых эсеров Булкин, и лидер местных меньшевиков товарищ Добрый.

Пока еще ни разу, ни на одном собрании Кедрову не пришлось столкнуться с ними.

Своя, особая и неразрывно общая цель поездки была и у братьев Ермаковых: военрука и военкома. Старший, Степан,— тот в каждом большом селе, где только останавливались они, проверял самолично, по обязанности военрука, боевую подготовку добровольцев, записавшихся в Красную Армию. Выяснял наличность у отряда винтовок, револьверов, патронов. Обследовал и прочие нужды. И в каждом селе особо выискивал унтеро́в и старых солдат-фронтовиков, поторапливая их вступать в Красную Армию.

Константин помогал ему.

Среди мужиков запись шла туговато. Сибирский крестьянин «присматривался». Сибиряк ездит круто, но запрягать не торопится! Богатенькие и крепкие — те или замкнулись в хмуром, враждебном молчании, или же открыто грозились горсточке местных коммунистов: «Скоро отойдет ваше время. Наплачетесь!» Стращали прочих односельчан: «Дождетесь! Сперва буржуев-капиталистов большаки обнаготят, а потом и за вас примутся — в коммунию всех сгонят: в одну казарму, под обчее одьяло! И твое нажито́е, да скажут, что нет, не твое!»

Своих забот ради, принял участие в этом объезде и Агат Петрович Копырников, но обозреть объем забот председателя уездной Чека тех времен выше разумения человеческого.

Недаром, вскоре же вслед за своим назначением, Агат уже запросился на другую «хоть на какую» работу! Заговорил об этом сначала с председателем исполкома, а когда тот и слушать не стал, то с самим Кедровым.

— Это почему же? Что это ты надумал, Агат Петрович? И в такое время! Вот уж не ожидал от тебя. Кто-кто, а ты на дезертира отнюдь не похож.

Ответом своим на его укоризну Копырников поразил Матвея:

— Должен по совести признаться вам, Матвей Матвеич: опасаюсь я на этой работе оставаться. Беседу нашу с вами я не забываю. Нет. Но уж чересчур сердце у меня озлобленное на *них*! Иной раз маюсь всю ночь с ним, с каким-нибудь контриком, на допросе, а сам гляжу на него и думаю: «Ну для чего мне твое признание и чтобы подписал ты, когда все пакости твои и без того все выведены наружу? К ногтю бы тебя, паразита, — и все!» Так вот, и боюсь, как бы не слететь с нарезки!

Во время этой исповеди Агата Кедров молча всматривался в него. А затем раздельно, как бы и сам тяжело размышляя, сказал:

— А я, представь себе, не боюсь за тебя, что ты сорвешь нарезку, не боюсь, Агат Петрович! Ибо ты... *человечен!* Но орган пролетарской диктатуры создан для защиты советской власти. Для подавления, если потребуется, — а время это уже приходит! — ее лютейших врагов и вооруженной рукой. На этот тягчайший пост мы ставили лучших из лучших. Гордись! Уверен, что классовое чутье тебя не обманет... Жестокость — одно, а беспощадность — другое. Жестоким быть скверно. Но *человечность* отнюдь не всегда в непримиримом противоречии с *беспощадностью*. Иной раз истинная человечность неотвратимо порождает собою беспощадность. Закономерно и справедливо.

Приехав утром в Калиновку, Кедров и оба брата Ермаковы почти весь день провели в само́м селе, в подготовке завтрашнего волостного съезда, в беседах и встречах с крестьянами.

Агат Петрович отпущен — вернее, даже прямо ото-

слан был Кедровым — посетить в больнице, которой ведал доктор Шатров, находившуюся там на излечении Машеньку.

Ее и принял туда Никита по просьбе Кедрова, после того, как вне себя от горя, почти в отчаянии, Агат открылся ему, что, «об этих днях» он дважды вынимал из петли «глупенькую бедняжечку мою».

— Не знаю, что и делать, Матвей Матвеич. Дома я почти не бываю. Не приходится. Соседку к ней приставить какую-нибудь, хоть для надзора, ведь тоже ненадежно. Вижу, леченье требуется. Не иначе — придется отправлять в Томск.

Кедров горестно и тревожно слушал его. Он понимал, что эта навязчивость самоубийства, овладевшая Машенькой, есть прямое последствие в ее душе того надругательства, которое совершено было над нею. Но ясным и для него, не врача, было также и то, что эта все возраставшая навязчивость знаменует собой начало душевного заболевания.

И все же против отправления Машеньки в Томск, в психиатрическую, Кедров решительно восстал:

— Ты подумай только: здесь у нас, рядом, можно сказать, такой специалист по нервным болезням, и мы, не показав ему...

Договорить ему не пришлось.

— К Шат-ро-о-ву?! Ее, Машеньку мою, страдалицу мою по ихней вине, и я повел бы ее на прием к доктору Шатрову?! Не-ет, не-е-ет, вы меня простите, Матвей Матвеич...

Он вскочил, задыхаясь. Сдернул, как всегда бывало с ним в гневе, черную свою наглазную тесьму, косо пересекавшую лоб, забегал по комнате. Остановился. Желчно всхохотнул. Из его уст вырывались, перебивая, сминая одно другое, невнятные, нечленораздельные слова. Наконец вымолвил:

— Нет! Спасибо вам, Матвей Матвеич, конешно, за заботу, но уж лучше... пускай я ее... в могилу... в могилу... своими, вот этими опущу!.. — И потряс взнятыми руками.

Кедров, дав ему выкричаться, охладил его язвительной и спокойной укоризной:

— Я вижу, хорош, хорош *простивший!* А я-то и впрямь поверил тебе тогда... Хорош!

И, не давая ему возразить, сам набирая и набирая гнева, почти закричал на него:

— Да! Ты прав: лучше бы ты ее в могилу опустил, чем придумать заслать ее, такую хрупкую, болезненную, подавленную, в сумасшедший дом! Оторвать ее от семьи, от ребенка! Да хотя бы ты парнишку-то своего, дитя свое пожалел! Отец!

Ошеломленный, то сжимая кулаки, то простирая руки к нему, Копырников силился что-то возразить.

Кедров пресек его оправдания:

— Погоди. Помолчи! Знаю: и самое имя это — Шатровы — ненавистно тебе. И кто не поймет тебя? Каждый! Я согласен: старый Шатров несет ответственность за все то, что совершилось, что *могло* совершиться у него на мельнице. Но сын,— сын, я спрашиваю тебя,— он-то при чем здесь? Да разве можно вину отцов перелагать на детей?! Разве этому учит нас Владимир Ильич? И тем более, что и ты и я — оба мы прекрасно знаем, что *доктор* Шатров ничем не запятнан, ничем не опорочен. Мало этого: у него доброе и большое имя в народе! Что же касается того, каков он врач, то зачем я стану много говорить тебе об этом: если бы не его врачебные познания и если бы не его врачебная, я прямо скажу, *отвага*, сила, то не было бы сейчас на свете Степана Ермакова, давно бы в земле истлел. И в мучениях бы помер! — Взмахнув рукой, прервал сам себя: — А! Да что я вмешиваюсь в твои права — супруга и владыки непререкаемого?! Ты прав, конечно, по давнему закону поступаешь: «Моя жена, а я над ней — муж: захочу — помилую, а захочу — и в гроб вколочу!» Прости меня, пожалуйста. Поступай как знаешь.

...Таким вот путем и оказалась Машенька на излечении в калиновской больнице, на руках доктора Шатрова.

Уже привыкший в любом учреждении быть решительно-властным, а подчас и неотступно-требовательным за эти два-три месяца, как советская власть стала укореняться и за Уралом, и в особенности с тех пор, как стал председателем уездной Чека, Агат Петрович Копырников и доселе оставался до робости застенчив в больницах и госпиталях.

Сказывалось, возможно, благоговейно-подчиненное отношение, свойственное еще в недавние дни любому раненому солдату, попавшему из окопов или казармы в госпиталь, где, несмотря на заботливый уход, лечение и ласку со стороны врачей и сестер милосердия, все ж таки ведь каждый из этих людей в белых халатах, каждый, в сущности, был и *военным* начальством над рядовым, над «нижним чином».

И «сестрицы» над солдатом разве не начальство были? Вроде вот этой, что сейчас через приемную пронеслась. Видать, строга! Такая и на докторов, в особенности на молодых, накричит, если непорядок. Как ветерок, прошумела через приемную, а на солдата в серой шинели, в уголку ожидающего, и нуль внимания! Будто и не видит. «Впрочем, возможно, и не ее это обязанность. Так что не буду к такой важной особе и приступать: подожду которая попроще».

И Агат Петрович, сидевший скромненько в уголке, затененном огромным фикусом, за круглым столом с ворохом газет, терпеливо стал ожидать, когда не эта «строгиня» — так в мыслях окрестил он ее, — а другая какая-либо сестрица, а еще лучше — нянечка, пройдет через приемную.

Наглазную свою черную тесьму он снял и спрятал в карман.

Еще едучи сюда, товарищ Копырников решил, что чем скромнее и незаметнее, тем достойнее с его стороны будет его появление в больнице: не то что приехал, дескать, сам председатель уездной Чека — и прямо к доктору Шатрову: как, мол, и что вы тут успели сделать с моей больной? Нет, а явлюсь как простой посетитель: узнать про свою больную. И — только!

Несмотря на тревожно-скорбное свое ожидание: скоро предстанет перед ним его горюшко! — Агат Петрович, метнув опытный взгляд, определил, что пробежавшая поодаль сестричка скорее всего сестра-хозяйка. И еще больше уверился в точности своего распознавания, когда она, в обратном своем пробеге через приемный зал, возвратилась, ведя за собой со стороны двора больницы запыхавшуюся тучную пожилую женщину, видимо повариху, в белом поварском колпаке и в белом халате, с полным, оплывшим лицом в густом румянце, не то от жара плиты, не то с холоду.

Та еле поспевала за ней.

Заметив это, сестра-хозяйка приостановилась. И тогда до ушей Агата Петровича донеслось:

— Нет, милая моя Авдотья Дорофеевна, так нельзя. Для больных готовите, а не на купеческую свадьбу! Сказано: *диета*, и не чуди, пожалуйста, не выдумывай!

Лицо поварихи взялось было подергиваниями предплача: обидно сделалось старой, что вот — выговор.

Но сестрица вовремя успела остановить: отвела ее руку от лица, ласково приобняла ее тучные плечи и, смеясь, молвила:

— Полно, полно, что это ты вздумала?! Разве я в обиду? И с меня *диетное* требуют. А вот как станем нашего Никиту Арсеньевича женить, тогда уж на свадьбу ихнюю что твоя душенька вздумает, то и настряпаешь, напечешь, нажаришь! Без тебя не обойдутся!

Грузная повариха так и просияла.

И Агату Петровичу невольно подумалось при этом: «Видать, сестричка эта умеет — с людьми. А хороша, дьяволица! И цену себе, должно быть, знает: высоко держит голову».

Голосом сестричка напоминала ему его *несчастную*.

Теперь Копырников досадовал, что забился в далекий от дверей диванный угол и что разлапистый фикус да и тучная повариха тоже — заслоняют ее, мешают смотреть.

Но успелось-таки охватить! Крепкая. Подобранная. Ростом невеличка. Легка в беге, а ножку ставит что надо: слыхать! На цыпочках ступать не привычна. Белоснежный, по фигуре, халатик с подвернутыми рукавами открывает смуглые, с ямочками локти. В левой руке — сверкающая связка ключей на раздвижном кольце. Из-под снег-белой сестринской шапочки выбиваются подвитые, по-видимому короткой стрижки, волосы с бронзовым отливом.

И вся-то она показалась ему в тот миг диким вроде бы и грубовато-броским в своей красе, но столь вожделенным глазу каждого мимо идущего цветком татарника с колючим стеблем.

«Да! Об этакую, пожалуй, и уколешься!»

И в тот же миг сурово пристыдил себя: «За этим ли пришел сюда, голубок?»

Но в это время, отпустив повариху, сестрица заметила наконец и его за фикусом. Взметнув брови, вскинула глаза — и спокойным, но быстрым шагом направилась к нему.

У Копырникова тревожно стукнуло сердце: «А что же, очень даже просто может и скомпрометировать, сделать замечание: дорогой товарищ, дескать, надо было шинелочку-то снять, у нас гардероб есть! Да! Хорош я буду, председатель учека, — замечание, скажут, получил в больнице: в шинели вперся! Зря я поторопился — не спросил: как, где, что? Вот и досиделся, товарищ Копырников. Досиделся!»

А «строгиня» в белом халате все близилась, близилась к нему.

Копырников встал.

Яснее, яснее видится ему очерк ее свежего, молодого лица. Светло-прозрачный румянец во всю тугую смуглую щеку. Темные большие глаза устремлены прямо на него: смотрят аж за самое сердце!

Узнал!..

И вдруг звонко брякнулась об пол выроненная ею связка ключей. И вслед за тем — вскрик, испуганно-радостный:

— Агат?! Агатушка! Родной мой! Любимый!

И где, куда вдруг делась вся ее строгая важность — ринулась к нему, ничего не помня, упала нежным лицом на суровое сукно солдатской шинели и радостно зарыдала:

— Агатушка, родной мой, любимый!

Только и речи!

Наконец, чтобы и самому не разрыдаться вместе с ней, он бережно отстранил ее от себя за плечи и, отдаляя и ненасытно любуясь ею, попытался спастись грубоватой шуткой:

— Постой, постой, Мария! Халатик свой, Мария Дмитриевна, как бы не опачкали о наше горе серое, солдатское! — Он показал на свою шинель и добавил:

— Боюсь к тому же, не обознался ли я: *эдакой* у меня ровно бы и не бывало!

В ответ она только рассмеялась да взмахнула на него тенистыми, крупными ресницами с дрожавшими на них росинками радостных слез.

Нет, не обознался! Вот, вот они, эти ресницы длин-

нущие; и черными, дна не видать, будто вóды осенних лесных прудов, кажутся от них золотисто-темные ее огромные глаза!

Вдруг она испуганным шепотом проговорила:

— Ой, Никита Арсеньевич идет! Вот застанет!

Всплеснула руками и, словно белая, резвокрылая птица, вмиг исчезла.

Из внутренних особых дверей, одетый уже на выход — в пальто и в шапке, — вышел доктор Шатров.

Сразу узнал. С приветственным возгласом подошел и протянул руку.

Но едва лишь начал: «Ну что же, Агат Петрович...» — как тот в неистовой благодарности схватил его руку двумя руками и долго не выпускал, сотрясая. Казалось, он колебался — не знает, что же ему сделать с этой рукой. Еще немного — и, послав к черту все свои колебания: «А можно ли? А не унижу ли я себя этим в глазах людей, если войдет кто?» — он попросту поцеловал бы сейчас эту руку, возвратившую ему жалостно, до последней кровинки сердца любимое, самое дорогое на свете существо!

И, почувствовав близость этого мига, Никита Арсеньевич быстро высвободил из его тисков свою руку, обхватил его плечи в широком, братском объятии, и они крепко расцеловались...

Вечером этого же дня к приземистому, но обширному белёно-кирпичному зданию бывшего волостного правления, где теперь разместился волисполком, подъехала одноконная кошевка. Правил Копырников. Войдя в просторную, невысокую залу, с кумачовыми на стенах полотнищами с лозунгами, он сперва, никого не тревожа в плотной толпе солдат и крестьян, сбившихся вокруг Матвея, остановился в заднем ряду и стал слушать.

Кедров заканчивал рассказ о своих встречах с Лениным:

— Вот и все мои встречи с Владимиром Ильичем, дорогие товарищи. К сожалению, хоть я и всю жизнь работал в большевистской партии под его началом, но встречались редко. Условия подпольной борьбы — особые.

— Знамо!

Слушали жадно.

В заключение беседы своей Кедров сказал, громко и вдохновенно:

— А коротко так скажу: поговоришь с ним считанные минуты, но от каждого его слова свету в голове прибывает!

Сочувственное, душевное отгулье прошло по народу:

— Правильно сказал!

— Это точно!

— Правильно! Вот мы хотя и не говорили с ним самолично, а только через тебя, Матвей Матвеич, сейчас вот будто бы перемолвили с ним, а, слышь ты, и у нас в голове *светлее* стаёт! Теперь хрестьянин-сибиряк доподлинно знает, как с землицей ему управиться. Как насчет войны. Ну и все протчее!

И радовались и чудились этому человеку, с давних пор близкому, еще недавно их писарю волостному, душевному и усердному, отечески заботливому о мирских нуждах, а нынче как бы воплощающему в их глазах и самое власть Советов: «От самого товарища Ленина, слышь ты, наказ имеет. С его собственноручной подписью мандат!»

И видно было, что еще не скоро отпустят!

Копырников решил, что пора выручать. Он так прямо и сказал, войдя в их круг:

— Ну, товарищи-граждане дорогие, выручать приехал Матвей Матвеича! Отпустите душеньку на покаяние. От раннего утра человек на ногах, не ел, не пил!

В ответ раздались благожелательные возгласы, шутки. Сожалели: как же так, дескать, могло получиться — не ел, не пил, когда чуть не в каждый дом с поклоном зазывали: «Откушай ты у нас, Матвей Матвеич! Отдохни. За чайком побеседуем». Дак нет же! «Я только что от стола. Спасибо!» — «А нам и невдомек... Эка втора! Ну увози, коли так, покуда по часточкам человека не расхватили! Все наговориться не можем. А как же? *Наш* ведь он! И эстолько время его не видали. Уж думали промеж себя, что навовсе лишились человека!»

Копырников сообщил Кедрову, что прислан за ним от Никиты Арсеньевича:

— Всем нам быть у него! Там и заночуем. Домик докторский у него просторный. Если, говорит, не у меня остановитесь, то и видеть вас больше не желаю! За Ермаковыми я уже съездил: оба у него. Теперь за вами приехал.

Кедров улыбнулся:

— Ну что ж! Если ты, Агат Петрович, ничего против не...

Копырников перебил его смущенно:

— Не вспоминай, Матвей Матвеич. Не пристыжай!

Узнав, что Матвея от них увозят к доктору Шатрову, отнеслись к этому благодушно. И в то же время такие завязались вокруг этого разговоры, что Кедров только молча дивился, до чего же еще живучи в народе всевозможные дедовские суеверия: и в порчу вера, и в колдовство, и в сглаз, и в наговор, и в какую-то «черную книгу», которую если, дескать, достанет человек, то и возобладает, постигнув ее, чуть ли не над всем миром!

— К доктору Шатрову, значит, едешь, Матвей Матвеич? Поезжай, поезжай! Доктор Шатров у нас ото всего народа имеет благодарность. Не огневай его, не осерди, коли зовет: он ведь у нас на особицу дохтур... Он... *знат!* — И это «знат» произносилось с какой-то особенной таинственностью и с переходом на шепот.

— Да! — вторил другой. — Этот одним своим словом может человека изничтожить!

Третий его укоризненно опровергал:

— Полно тебе бухтеть-то, навирать на хорошего человека! Этот человек не по черной книге учен, не дьявольщиной лечит. Конечно, он *знат*, но только что порчу на человека насылать он никогда не станет. А это верно, что одним своим словом со многих людей, и даже большую, хворь сымает. Или руку тебе на голову положит: «Спи, говорит, здрав будешь!» И что же? Выздоравливают которы! Но не кажного он усыпляет. У него и лекарства всякого видимо-невидимо!

Воспользовавшись тем, что разговор в народе коснулся Шатровых, Матвей нарочно громко, «во весь народ», открыто спросил:

— А как, старики, у вас тут со *старым* Шатровым дела обстоят, Арсением Тихонычем?

Ответ был единодушный и скорый:

— А что — с Арсением? Худого про него никто ничего не скажет. Ото всех прочих, кто капиталами владел-ворочал, этот ото всех на отличку. Рабочий совет у него стал. На всех предприятиях. Но он им ни в чем не супорствует. И выручку за помол себе никак не берет. «Платите, говорит, мне жалованье. Я, говорит, теперь, считайте, являюсь как все равно народный управляющий! Пускай государство будет всему хозяин. Разве, дескать, вы забыли, как еще в девятьсот пятом году я сколько раз говаривал вам, что будет, придет такое время, что и царя, и всех сатрапов свергнем и все станет государственное, народное? Говорил я вам или нет?» И мы отвечаем, что правильно, Арсений Тихоныч, говорил ты нам про это: не лгешь!

Кедров усмехнулся.

И, заметив эту его усмешку, истолковав ее по-своему и не к добру для «старого Шатрова», обступавшие Матвея явно обеспокоились и еще раз, словно бы ходатайствуя перед ним за Арсения, дабы он, Кедров, имеющий «от самого Ленина мандат», не сотворил чего над Шатровым, повторили:

— Худого про него ничего не слыхать: человек с поведением!

Все четверо: и Кедров, и Агат, и оба брата Ермаковы, радушно встреченные Никитой, расположились у него в докторском домике.

Докторский домик преобразился.

Особенно уютно в нем становилось ночами, когда, вычерпанные треволнениями и трудами дня, собирались они все в кабинете Никиты перед разверстой, огнепышущей печкой, словно перед камином, и весело беседовали о разном, стараясь, однако, всячески избегать разговора о том, что бушевало и в сердцах и вовне.

Гудело жаркое пламя в печи, а за спиною поскрипывали жалобно крючки наружных, по-сибирски наглухо закрываемых зимою на ночь оконных ставней...

И однажды, когда только вдвоем остались они, Кедров сказал Никите:

— Да-а! Прямо-таки где-нибудь на глухом-глухом хуторе «оф Диканка» или на сибирской заимке: печь пылает, аж коленкам нестерпимо стаёт от жары... а по-

зади, за стеною, вьюга. Ставенки от ветра поскрипывают.

Ни ему, ни доктору Шатрову не было ведомо, что, едва они поселились у доктора, Агат Копырников приказал Машеньке не только неукоснительно затворять на ночь оконные ставни, но еще и непременно замыкать их поперечными полосами, пропуская прогоничи этих полос в отверстия, для того сделанные в стенах, как положено тому быть во всех добротных домах Сибири.

Боялся: как бы еще кто-либо оттуда, из мрака и вьюги, не «проголосовал» против «позорного, похабного мира»!

О Машеньке и зашел у Кедрова с Никитою ночной разговор, и, начиная его, ни тот, ни другой не предполагали, что разговор этот положит предел их последней усадебно-хуторской идиллии.

— Почему *вы* не женитесь, Никита Арсеньевич, дорогой мой?

— Прежде всего, не «Никита Арсеньевич», а уж давайте по старинке: Никита. У меня отношение к вам, вы знаете, всегда было сыновнее, хотя мы с вами и мало общались.

— Добре! Так почему же вы, Никитушка, не женитесь? Я потому спрашиваю, что нас растрогала сегодня Машенька... Признаться, я считал, что она обреченная.

Захваченный врасплох, Никита сперва ответил вопросом на вопрос:

— А вы почему, дорогой мой Матвей Матвеич?

— Я женат был. Жена умерла. У вас в семье знают об этом... А вообще же говоря, я пришел к выводу, что профессиональный революционер, подпольщик, то есть человек, который не одни только свободные вечера посвящает делу революции — были и такие! — не должен обзаводиться семьей. — Помолчал в раздумье и заключил убежденно, как припечатал: — Не должен. Лучше будет и для него и для революции! Но вы-то, Никитушка, сколь мне известно, даже и не были женаты... А ведь вам?..

— Двадцать пять исполнилось...

— Видите! Чем же, позволю себе отцовски спросить, вызывается это... женоненавистничество?

Никита глубоко и скорбно вздохнул:

— Что ж, отвечу вам с полной сыновней откровенностью: та единственная, которая могла стать моей женой — я осознал это, увы, слишком поздно, — она умерла... Душевно... Ее положение... душевное здоровье ее, по-видимому, безнадежно. Она в Томске... Ольга Александровна сейчас там. С нею.

Кедров понял. Он и не намерен был длить этот разговор. Никита сам продолжил его:

— Но я, подобно вам, отвечу *вообще*. Правда, я не профессиональный революционер, я всего-навсего врач. Но врач специальности особой, во многом не похожей на остальные врачебные... Чем глубже погружаюсь я в эту область — *психотерапии* и главным образом *гипноза*, тем больше прихожу к глубочайшему, хотя и для большинства моих коллег, знаю, совершенно еретическому выводу: призванному, истинному врачу этой области лучше, если только он способен к тому, пребывать в полном безбрачии. Мало этого, такой врач и в отношении всевозможных «плотских утех», как говорили в старину, должен стремиться к полному воздержанию: не чревоугодничать, не опьяняться... Короче говоря, соблюдать «асептику души» в не меньшей степени, чем хирург перед операцией асептику своих рук.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Страшно неожиданно для меня! И что же, тогда бóльшего, вы считаете, можно достигнуть в этой области?

— Безусловно! Но только, дорогой Матвей Матвеич, я веду этот разговор с вами строго доверительно. По особой любви и дружбе, наследственной, как вы знаете, в семье Шатровых. Не ради того я делаю эту оговорку, чтобы я боялся кого-либо. А дело вот в чем: узнай об этих моих «еретических» в гипнологии, в психотерапии взглядах мои коллеги — особенно из породы преуспевающих и частнопрактикующих, — они подымут меня на смех. Чего доброго, и сумасшедшим объявят. Я плюю на это. Но это может сильно подорвать ту атмосферу... суггестии, веры в мое лечение, которая большая подмога делу.

Кедров успокоил его. Улыбнувшись, добавил:

— Не забывайте, Никитушка, что профессиональный революционер воспитан в сохранении тайн ничуть

не меньше, чем любой врач в отношении так называемой врачебной тайны.

— Еще бы!

Тут Кедров позволил себе еще один вопрос, явившийся поистине роковым:

— Я еще о Машеньке, раз уж начали о ней разговор. Ее исцеление — это действительно чудо! Повторяю: и я, да и Агат Петрович — мы оба считали ее погибшей. Много сеансов гипноза вашего потребовалось, чтобы... спасти ее?

Ответ Никиты привел его в изумление:

— Ни одного.

— Как?! Я не понимаю. Или вы уже до того всемогущи над больной душой человеческой... Я понимаю, конечно, душу как совокупность психической деятельности... До того всемогущи, что исцеляете одним только наложением рук. Или: *встань, возьми одр твой и ходи?*

Никита Арсеньевич отвечал ему на это с полной серьезностью:

— Да, бывает и так. И не у одного только меня... Но вернемся к Машеньке. К ней я гипнотического лечения вовсе не применял. Побеседовав с нею, пришел к выводу, что здесь гораздо действеннее другая терапия.

— Вы меня страшно заинтересовали, Никита. Если не секрет!

— Нет, почему же? Немецкие врачи называют ее: терапия трудом, работой — арбайтентерация.

— Да, да... я что-то слышал об этом... Чрезвычайно интересно. Продолжайте, прошу вас.

— Это — во-первых. Но это, я считаю, лишь *оболочка*. А главное в том, что я возвратил ей *чувство собственного достоинства*, попранного, растоптанного, как вы знаете, тем страшным случаем, к стыду нашему, на мельнице моего отца...

Кедров молчаливым наклоном головы подтвердил, что ему известно и памятно все, что связано было с душевной болезнью Машеньки.

Доктор Шатров продолжал:

— Я приложил все усилия к тому, чтобы пробудить в ней сознание, что и у нее есть свое — и не последнее — место в обществе. Что ее ценят, в ней нуждаются — и кто же? — больные, страждущие люди. Я расспросил ее без всякого гипноза: чему она училась, что умеет

лучше всего? И она мне с чудесной искренностью, но как бы стыдясь, отвечала, как сейчас, помню: «Ой, да что я умею? Ничего! Сельскую школу окончила. Три класса... Только и умею, что шти да кашу сварить». Потом улыбнулась каким-то воспоминаниям своим и добавила: «По этой части, правда, я еще девчонкой мастерица была. Отец, бывало, скажет матери: «Мать, а у Машутки нашей и шти и каша вкуснее твоих получаются. Что она в них кладет?» Мама рассмеется: «Не знаю!» Оба довольнехоньки. А я еще пуще стараюсь... После, как замуж вышла, и Агат Петрович, бывало...» Но тут голос у нее перехватило. Разрыдалась! Вот я за эти «шти и кашу» и ухватился! Как видите, она у меня исполняет обязанности диетической сестры. Подучилась. И ею довольны. Все: и больные и я... Стало быть, никакого «гипна», никакой магии: ни белой, ни черной!

Кедров был взволнован чрезвычайно:

— Это замечательно! Ей-богу, Никита, вы не только гениальный врач, но вы же и педагог-социолог.

И, полузакрыв глаза, с наслаждением вникая в самую глубь слов, он повторил:

— «Вернуть человеку попранное чувство достоинства». Прекрасно! — А потом, улыбнувшись, заметил: — Но что касается белой и черной магии, то все же, друг мой от этого вы не отмахнетесь: послушали бы вы, какие рассказы о ваших чудотворениях в народе здешнем ходят...

Никита и не подумал отрицать:

— Знаю. И не хочу искоренять. Пользы ради моих больных. Вера...

Кедров с готовностью подхватил:

— О да, да! И какая древняя, в сущности, истина! Вспомните-ка: «И не совершил там чудес *по неверию их*». А?!

Никита молчаливо с ним согласился.

Кедров:

— Но меня другое сейчас весьма интересует. Эти слова ваши насчет «асептики души» — так вы, кажется, выразились? Что врач-целитель, действующий гипнозом, внушением, он чуть ли поститься не должен по средам и пятницам... святым должен быть? Простите меня, Никита, но что же здесь от науки? Это уже мистика какая-то... Поповщина!

Задетый его насмешкой, доктор Шатров ответил резко:

— Да, святым! И попоститься такому врачу не худо... Не обязательно, конечно, по средам и пятницам... И никакой мистики и поповщины здесь нет!

Матвей Матвеевич с видом показного смирения развел руками, склонил голову:

— Извините. Не хотел вас обидеть. Просвещайте!

Никита смягчился:

— Прежде всего я, не справляясь у лингвистов, произвожу слово «святой» от «свет». Следовательно, и писать нужно: *светой*. Этим раскрывается вся тайна.

— Простите, не понимаю...

— *Светой* врач-целитель — он проникнут *светом* любви к людям. И в первую очередь к страждущим, которые ждут от него исцеления.

— Понимаю: и они с *верою* прибегают к нему, если он добрый, душевный человек...

— Дело не только в *их* вере!

— Вот как?!

— Да. Я пришел к выводу, что эта проникнутость «светом» особого рода приводит все клетки тела, все существо самого целителя в некие *гармонические* колебания. Кстати, в некоторых древних книгах есть даже и особый термин для такого состояния: «светлоумие» и «свет сердца». Эти колебания дают подобную же *гармоническую настройку* и всему психофизическому естеству больного... Но это мы и называем здоровьем — душевным и телесным...

— Любопытно! Но почему же в книге, чтимой христианами всего мира и где больше всего рассказов о чудеснейших исцелениях, всегда говорится, что именно *вера самого болящего* была причиною исцеления? Что-то я не помню, чтобы там говорилось о какой-либо силе, исходящей от врачевателя, о вашем, так сказать, «свете».

Никита усмехнулся — ласково и почтительно:

— Вы не рассердитесь на меня, Матвей Матвеич, если я «поймаю» вас?

Рассмеявшись, Матвей ответил:

— Что вы, что вы, Никитушка! Поймайте, поймайте — обижаться не стану!

— Цитирую, и точно — я много размышлял над этим местом: «Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто,

ибо я почувствовал силу, исходящую от меня». И — во второй раз: «В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде?»

Кедров покивал головой:

— Да, да, узнаю. Поймали... А все же хочу вам сказать, Никита Арсеньевич... Вы прекрасный врач и человек, но вы на дурном... простите, я не то хотел сказать: вы — на опасном пути!

— Слушаю вас. — Никита нахохлился.

Кедров закончил:

— Боюсь, что с такими воззрениями вы скатитесь к вульгарнейшему идеализму. Этак, чего доброго, начнете скоро провозглашать бытие души!

Никита вспыхнул, вскинулся:

— Я никогда не притворялся материалистом!

— Вот как?

В голосе Кедрова, озадаченного таким ответом, прозвучала отчужденность. А затем, не скрывая насмешки, он сказал:

— Признаюсь, удивили! Никак я не ожидал, что из уст врача, биолога, то есть, иными словами, *материалиста*, par excellence[1], услышу готовность признать, что и душенька, видите ли, существует!

Задетый за живое, Никита ответил:

— Что ж, каков есть! Я понимаю, что вы — отцовски... Но позвольте и мне... *сыновне*... Есть у меня в больнице фельдшер Лукич. Чудеснейший человек и работник. Материалист заядлый. Для него — как это говорится? — «мысль есть выделение мозга, как желчь — выделение печени»!

При этих словах Никиты Кедров порывнулся было остановить его, однако сдержался и смолчал. И Никита продолжил:

— Вот однажды он и говорит мне: «Экую чепуху порют, и в книгах даже: «Душа, душа!» Человек, дескать, состоит из души и тела. Но я, когда самостоятельным участком заведовал, сколько я этих мозгов поразреза́л на вскрытиях, но что-то ни разу души и следочков там не обнаружил!» — «А интегралов, говорю, Лукич, вы случайно там, в мозгах этих, не обнаружили?»

---

[1] Главным образом, по преимуществу (*франц.*).

Никита произнес эти слова и тотчас же раскаялся. Подыскивал уже слова извинения, уверенный, что нанес обиду. Крайне был удивлен, услышав ясный, заливчатый смех Матвея:

— Ах, Никита, Никита, рассмешили вы меня! «Как желчь есть выделение печени!» Да это же, друг мой, времен Базаровых материализм! Бюхнеровский. Молешотовский... Я понял, конечно: вы этим вашим Лукичом хотели сокрушить материалистов вообще. Но разве вам не известно, что мы, современные материалисты, марксисты, сторонники материализма *диалектического,* — мы над тем, прадедовским, даже и сами посмеиваемся иной раз. Очевидно, вам не известно, что оный материализм, «лукичей», мы даже и называем не очень почтительно: «вульгарный материализм»? Не отрицаем: в свое время он оказал пользу просвещению масс. Был неплохим орудием в борьбе против всякого мракобесия. Но... Нет, Никита Арсеньевич, вы изумительный врач, но сегодня и вы показали, как, впрочем, большинство вашей братии — ученых, биологов, что рало марксизма, говоря «высоким штилем», никогда не вспахивало совершенно девственной в этом отношении целины ваших мозгов! И это очень жаль, очень жаль! Материя...

— Материя — это функция времени!

— Час от часу не легче! Экие пухлые слова! Советую вам, Никита, сказать это голодному люду, когда он тянет руку за куском хлеба: зачем, мол, ты тянешься за этим куском материи? Ведь он же только функция времени!

До того как взойти на подмостки, к столу президиума, товарищу Кедрову с председателем волисполкома и еще двумя-тремя товарищами из окрестных сельсоветов, собрание, как бывало и прежде, на волостных сходах, а может быть, и того ранее — на великих вечевых сходбищах «господина Великого Новгорода», уже начинало закипать, но еще не цельно, а врóзнокипь: как в огромном котле.

Кедров сознательно не хотел глушить это разбушевавшееся «предвечье», налагать на него узду. Где же и вызнать в самый кратчайший срок настроение народных масс, как не в таком вот свободном толповращении?

А затем и самому Кедрову как-то свободнее, легче

дышалось «озоном» таких собраний. *Чинных* собраний смолоду не любил.

Решено было не удалять со съезда и самочинно явившихся: пусть будет съезд-митинг, дабы ни представитель правых эсеров Совдепа Булкин, ни представитель совдепских меньшевиков товарищ Добрый, прибывшие сюда вслед за Матвеем, не посмели потом заявить, что, дескать, не было «свободного волеизъявления», так как-де состав участников съезда был подобран фракцией большевиков с применением «административного воздействия».

Вот почему в одном из наиболее клокочущих очагов, схватившись с делегатом съезда, бывшим своим работником, батраком, невозбранно витийствует сегодня даже и Елпидифор Хаютин. Он речист и для деревенского лавочника начитан. Знает и народную речь; может и присловье дедовской мудрости, и поговорку, и притчу ввернуть, кстати-некстати, были бы только слушатели. Этим на старых волостных сходах он, бывало, сражал, забивал противника, поднимал его на смех.

Но сегодня, видимо, не на того напал!

Вот — Хаютин:

— Равенство, равенство — все долдоните! Бог почему-то и перстов на руке, и листа на дереве, и колосьев в поле не изравнял, а ты равенства какого-то захотел!

А вот — вчерашний его батрак:

— Никакого я с тобой равенства и не хочу: брезгую этим! А только чтобы я по двенадцать часов в сутки не потел на тебя!

Общее сочувствие на стороне батрака — делегата съезда. А тут еще и Костя Ермаков, принимающий деятельное участие в словопрениях то в одной, то в другой кучке, приходит ему на помощь:

— Правильно! Знают все, что люди не равны: по способностям, по росту, по труду, но зачем лодыря, тунеядца, паразита общество должно всеми благами награждать, и за то только, что его папаша толстый кошель ему оставил?

В Калиновской области много староверов, старообрядцев — «двоеданов», по-здешнему. Немало их пришло и сейчас, на волостное это собрание, по поводу... Брестского мира. Один из них — начетчик и коновод, высокий, жесткого сложения, еще чернобородый старик,

отец шатровского любимого ямщика Еремы, — ведет суровую, неторопливую «прю» с противниками, хотя нет-нет да и поморщится от злосмрадного табачного зелья.

Вот он с загадочно-презрительным выражением хмурого, сухого лица вопрошает:

— А ты, невеглас оглашенный, книгу Исуса сына Сирахова чёл?

Тот молчит.

Старообрядец повторяет с высокомерной усмешкой:

— Что молчишь? Или ваши уж не понимают ныне, что означает «чёл»? Ну, ин *читал*, сказать по-нынешнему.

Ответ ошеломляет его:

— Читал не читал, тебе ка́ко дело: не все то свято, что́ в книгу вмято!

Гневно стягивает он на широкой, сухой груди аввакумовского покроя, с глубоким запахом, верблюжьего сукна зипун свой и, помолчав, ответствует злобно:

— Отплюнуться токмо от речей твоих, когда бы не людно место! Что собралися? Расею криком спасать?! Нет, нет, товарищи большачки: горлом изба не рубится. Проухали державу! Экую империю загубили! Улей-изма́ток, сиротский улей, из которого матка, царица-пчела, ушла навеки — вот кто такое Расея наша стала теперь! Вот уж и хлеба у вас в городе не стаёт.

В ответ хохот:

— Точно-о! И царицу-матку ушли вместе с Гришкой, да и царя! Свой царь в голове!

— Хлеба, говоришь, в городе не стаёт? Не печалуйся: рабочий пролетариат — он знает, в чьих закромах-сусеках хлеб-то спрятан! Миром не пропадем: мир по слюнке плюнет — так море!

Крепко схлестнулись насчет земли:

— Правильно, что все земли трудящим! А то разве порядок был: у одного семьища мал мала меньше, а землицы — на единое конское повалище: лошадке с боку на бок перекатиться! И тут же у Колупаева — две тыщи десятин, а у Сычихи дак будто больше десяти тысяч!

Заспорили меж собою, как делить землю:

— Лучше всего — по душам.

— А я считаю — по работным рукам!

— Общественная запашка — это хорошо. Только с коммуной повременить.

— Торопить в коммуну не надо. Говорят у нас в народе, что сило́м будут сгонять, то правда, Матвей Матвеич, али нет?

Обступали, жарко дыша. Испытующе вперяли глаза.

Кедров спокойно и деловито давал ответы. Нет, говорил, это враги и провокаторы сеют слухи, будто партия большевиков насильно хочет вводить социализм, силой сгонять народ в коммуны. Все, что ни делает советская власть, все совершается волей народа: рабочих и трудового крестьянства. Советская власть постановила справедливо делить землю, с точки зрения преимущественно мелкого трудового хозяйства. Но при этом от народа ничуть не скрыто, что предпочтение и наибольшая помощь земледельческими машинами и всем прочим будет оказана крупным артелям и коммунам. Единоличным, мелким хозяйством нам из разрухи не выйти.

Удивительные в своей простоте и в то же время действенности слова нашел для окруживших его односельчан в пользу коммуны Степан Ермаков. До Кедрова донеслась его аргументация, столь, казалось бы, незамысловатая; Матвей вначале даже и усмехнулся про себя этой простоватости доводов: совсем как басня крыловская.

— Возьмите вот рукавицу,— говорит Степан,— и возьмите перчатку. Пускай из одной шерсти и толщина одинака. Пускай и старуха одна и та же вязала... И вот поехал ты в лютую стужу куда-либо далеконько, ну, этак верст за сорок, за пятьдесят... Когда у тебя пальцы вперед начнут зябнуть, коченеть: в рукавицах-варежках али в перчатке?

И замолчал, щурясь лукаво, уверенно ожидая ответа.

Ответ последовал дружный и сразу из многих уст:

— Знамо, в перчатках!

— А почему?

— Почему, почему! Там, в рукавице-варежке все пальцы вместе, а здесь каждый перст особо. Там персты один другой греют!

И Степану Ермакову остается лишь торжествующий заключительный вывод уподобления:

— Так же, мужики, и в коммуне. Так и в артели.

Ответом ему — одобрительный, густой гомон.

Улыбается Кедров. Доволен.

Но товарищ Добрый, ведущий рядом, в другой толпе, диспут с Кедровым, однако настораживающий чуткое ухо и в эту сторону, презрительно корчит плечи. Осклабился. Смотрит на Матвея, словно тот должен быть обязательно одного с ним мнения, и говорит:

— И что он хочет мне доказать этой демагогией?

Кедров — ему:

— Вам — вряд ли! А им, очевидно, доказал. И как раз то, что и требовалось доказать!

Черной желчью отблескивают белки глаз товарища Доброго. Он отбрасывает корректность в споре, призывы к соблюдению которой были его любимым коньком на городских диспутах, взрывается:

— Но и вы таки да́ — демагог! И вы знаете почему? Ваш Ульянов еще *там*, еще *там*, — он указывает грозящим пальцем куда-то далеко-далеко, очевидно в Женеву,— воспитывал вас всех, «твердокаменных», в духе самой беспардонной демагогии. И я, и Юлий Осипович — мы в глаза ему говорили это!

— Знаю, что такой грех числится за вами. Покаяться никогда не поздно!

— Я? Покаяться? Неудачная ирония, товарищ Кедров. Я и теперь скажу то же самое. Ваша так называемая социальная революция — сплошная утопия, чистейшая политическая надстройка без всякого экономического базиса. Еще Энгельс говорил: захват власти пролетариатом, когда он еще не созрел, будет величайшим несчастьем...

Кедров — спокойно:

— Ничего: дозреет при советской власти!

— Дозреем, товарищ Кедров, будьте благонадежны!

Это сказал солдат-большевик, один из тех, что в последний год войны были изъяты Башкиным с завода с отсылкою на фронт.

Снова сочувственный гул в народе. Меньшевик раздражает всех частыми выкриками слов: «демагогия», «утопия», «гегемон».

— Чего это он заладил: гегемон, гегемон?! Пролетариат — гегемон, рабочий класс опять же у него гегемон!

Старообрядец, отец Еремы, берет объяснение этого слова на себя:

— Гегемóн или игéмон — все едино — означает *царь, господин, владыка*. Рабочий, дескать, будет царствовать над крестьянином. Вот они чего хочут!

К счастью, рядом Константин Ермаков. Он с гневом оттесняет непрошеного истолкователя:

— Да бросьте вы его слушать, мужики! Гегемон означает *предводитель, вожак*. А что же: разве рабочий класс не предводитель нашей революции? Что ж в том зазорного для крестьянина?

И, услыхав голоса одобрения, заключает:

— А *этого*,— кивком головы на товарища Доброго,— вы тоже не слушайте!

— Да что слушать его — шумит, шумит, как сухой веник!

— Наш-то Матвей Матвеич хрушкó говорит!

— Ума дорогого!

— Он и писарем-то здешним хорошой был. Народной!

Но лидер меньшевиков отнюдь не хочет уступить поле боя. Он яростно, желчно докрикивает свое:

— Нет, не случайно, товарищи большевики, вы и в вопросе о мире опираетесь на деклассированный, распадающийся вследствие развала промышленности пролетариат и на оголтелую, анархически разнуздавшуюся солдатчину. Ну что ж! Изгоняйте нас из Советов. Объявляйте вашу фракцию — вы слышите ли: фракцию только! — советской властью. Мы не дрогнем. Мы уйдем. Но мы ставим уверенный прогноз: вы еще позовете нас! Кого не оправдает сегодняшний день — того оправдает история!

И словно в перекличку с ним, сорвав голос, припертая к стенке враждебно-насмешливой толпой мужиков и солдат,— все еще дивя их и коротко остриженными волосами, и цигаркой, зажатой в холеных пальцах, и пистолетом в кобуре, и черным словом, мужикам не в пример,— истерически-хрипло пророчествует скорую гибель «узурпаторам власти» неистовая эсерка Клара Феклунич, жена Булкина, «наша Спиридонова», как зовут ее гордящиеся ею местные эсеры:

— Вы разогнали всенародное Учредительное собрание — пусть! Вы похитили нашу земельную программу — пусть! Но помните, товарищи большевики: ваша послеоктябрьская пугачевщина — накануне полного

краха! Нет ничего легче, как захватить власть в такое время, но попробуйте ее удержать!

И — в ответ ей:

— Не беспокойтесь, барышня, удержим!

Битва с трибуны закончена. Ее итогом явилась энергичная телеграмма и Ленину и Свердлову о полной поддержке решений ЦК и Совнаркома по вопросу о мире, принятая подавляющим большинством голосов.

Поднялся со своего места высокий, хмурый солдат, бывший рабочий башкинского завода, и сказал:

— Но я еще то прошу приписать в телеграмме товарищу Ленину: мы, солдаты мировой империалистической войны, самовольно оставляли окопы. А почему оставляли — товарищу Ленину хорошо известно. Но если только — так и прошу приписать! — если товарищ Ленин призовет нас дать вооруженный отпор нахальному германскому империализму, то мы все пойдем, опричь баб да малых ребят!

Кедров поставил на голосование.

Собрание решило: приписать.

На другое утро чем свет Кедров отправился в Калиновку для заключительного обхода школы, маслодельного завода и лавки, бывшей Шатрова, но давно уже проданной им Союзу сибирских маслодельных артелей.

Попутно было начать с нее.

По дороге меж высоких деревенских сугробов, где и разминуться-то негде, чуть не каждый встречный его узнавал. «Наш бывший волостной!» — радостно приветствовали, и ему приходилось то с тем, то с другим, говоря по-сибирски, «опнуться», то есть постоять, перемолвиться. И встречный, отпустив наконец Матвея, шествовал дальше своей дорогой, отрадно улыбаясь своим собственным думам-воспоминаниям, покачивая головой: «Да! Это есть человек! Из писарей волостных в какие начальники поднялся: от самого будто Ленина послан по Сибири, а вот же — не загордел!»

Войдя со свету солнечного в темноватое и днем, с большой подвесной керосиновой лампой «молния», помещение каменной лавки, все еще полной всяческого

товару — от сукна до «суропных» пряников, Матвей не вдруг пригляделся. А когда пригляделся, то увидал: в лавке на невысокой переставной лестнице-стремянке, вполспины к нему, стоял грузный мужчина в темном френче, в шароварах, заправленных в грубые сапоги, отбросив за воротник довольно длинные и густые черные волосы. Дородный мужчина мелом, быстро и со сноровкой, ставил поверх сукна какую-то цифру и водружал затем «штуку» сукна на полку: видна была опытная в товарном деле рука!

Но вот он обернулся полным и румяным лицом с небольшой бородкой к вступившему в лавку Матвею, глянул и с возгласом: «Матвей Матвеич?! Вот радость-то!» — чуть не сверзился со стремянки.

Кедров, донельзя изумленный, узнал в этом человеке отца Василия, того самого сановито-велеречивого отца Василия, шатровского свойственника, с которым столько раз в дни былые он встречался в гостиной Шатровых.

— Здравствуйте, отец Василий!

Тот, улыбнувшись смутной какой-то улыбкой, негромко сказал:

— В ином звании, увы, в ином звании застаете меня, дражайший Матвей Матвеич! Ныне предстоит очам вашим не «отец Василий», но инструктор торговой кооперации Паре́нский!

— Вот как? Что же с вами случилось? Расстриглись? Или, простите, как по-вашему: сняли сан?

— Снял! Сиречь вышел из духовного сословия. И ныне токмо гражданин Паренский. Ну а отчество мое, полагаю, еще не забыто вами?

Кедров промолчал.

Услужливо усаживая его на табурет, «бывший отец Василий» продолжал:

— Ничего, Dei gratia, худого не случилось со мною. Но... *дабы* не случилось! Не лучше ли — во благовремении?! А я в кооперации и товароведении с давних пор сведущ. Волостной наш исполком препятствий моему предложению не воздвиг. Напротив! Только сказали: снимите с себя сан. Попа, дескать, мы никак не сможем оформить. — Вздохнул: — Пришлось снять!

Кедров оглядел его с ног до головы:

— Ну что ж: дело вашей совести! А не жалко вам было расставаться с волосами, «аки у Авессалома»? Как сейчас, помню ту нашу беседу! А волосы его, как сказано, весили двести сиклей по весу царскому! Теперь, как я вижу, пожалуй, и не потянут столько?

Тот пожал плечами, ответил со смущенным лукавством:

— Что ж делать, Матвей Матвеич! Но я вспоминаю, применительно к моему поступку, случай один из жизни Дмитрия Ростовского, святителя. Дело было в дни самого яростного гонения на бóроды, воздвигнутого Петром Великим. Подходят к святителю Дмитрию двое закоснелых старообрядцев: бороды у обоих — до чресел. Подходят и вопрошают: «Скажи нам, архрей, как поступить нам. Царь Петр велит нам бороды состричь. Но мы не согласны на такое искажение и поношение лика человеческого,— лика, когда он с бородою, боговидного. Много наслышали про твою мудрость — дай нам совет!» Святитель же сей родом из хохлов и потому весьма остр на слово. Он им и говорит: «Вперед ответьте вы на мой вопрос». — «Ответим, спрашивай!» — «Скажите: если бороду отрезать, то отрастет она или нет?» — «Ну что ты,— говорят,— спрашиваешь такое? Не сумнительно — отрастет!» — «Так, — говорит им святитель. — А теперь еще спрошу вас: а ежели головы вам отрежут, то отрастут ли оные головы ваши или нет?» Подумав, ответствовали: «Что ты, что ты, архрей?! Голова не отрастет. Николи́ же! Не бывало такого случая». — «Так вот, — говорит,— соответственно сему и поступайте!»

«Бывший отец Василий» несмело засмеялся.

Кедров ответил суховато:

— Что ж! Умен, умен был ваш святитель ростовский!

Обрадованный этим его замечанием, собеседник его подхватил:

— А как же? Сам Петр, как известно, возлюбил его зело и весьма ценил в нем присущее ему...

Но досказать, за что именно любил Петр Дмитрия Ростовского, Василию Флорентьевичу так и не удалось — Кедров прервал его:

— Простите, гражданин Паренский: очень спешу!

И, не подав руки, вышел на улицу.

Повезло сегодня Кедрову на встречу с попами!

На улице, подле церковной ограды, стояла кучка пожилых женщин, явно подстерегавшая, когда он будет проходить мимо.

Он остановился и поздоровался.

Тогда они, все вместе, подступили к нему.

Они были с жалобой.

Суть жалобы состояла в следующем. Совсем недавно у кого-то из местной комячейки, в связи с декретом о полном отделении церкви от государства и о конфискации всех церковных имуществ, возникла мысль использовать здание храма для ссыпки картофеля и конфисковать не только земельные участки церковного причта, но и всю церковную утварь, находящуюся в храме.

Съездили в город — посоветоваться. И тогдашняя заведующая внешкольным образованием Клара Феклунич горячо поддержала инициативу местных товарищей: «Совершенно правильное ваше решение, товарищи. Довольно нам либеральничать с этими очагами мракобесия!»

Но только предложила не овощехранилище устроить в храме, а сельский клуб; пообещала вскоре дать набор струнных инструментов, а затем, дескать, наладим из города выезды артистов и отличные станем показывать в этой вашей церквушке спектакли.

В это время Василий Флорентьевич Паренский оставил служение и перешел в кооперацию. Момент был самый подходящий. Но верующие прихожане успели выпросить себе нового попа, отца Ивана. И сперва, надо сказать, сильно были в нем разочарованы. Какое же могло быть сравнение с отцом Василием! Отец Иван был, скорее, не поп, а попик! Сильно омужичевший от долгой жизни в деревне, от крестьянской полевой работы... Даже и работника не держал — детки у них еще в детском возрасте померли, так что жили они вдвоем со старушкой матушкой: нам, говорит, много не надо. Видом был, когда не в поповских ризах, совсем вроде мужичок из бедных, коротко сказать — видом не благолепен. Но зато благолепию самой службы церковной предан был ревностно, без послаблений. В храме — строг, властен. Случалось и ныне, что, никого не страшась, если кто-либо «внидет во храм дерзостне» из мо-

лодых пареньков, более для смущения молящихся, то принимался настойчиво, с поклонами поясными помахивая в его сторону кадилом, кадить и кадить на него ладаном, так что тому и не по себе становилось от устремленных на него взоров — уходил!

Но еще и донос был: какую-то, дескать, молитву неположенную, а от себя сочиненную, читает с амвона: о прекращении якобы гражданской войны!

Пришли из волисполкома, из ячейки — прослушали. Потребовали и список молитвы. Он безропотно представил, своей рукой писанную. Ну что же? Контрреволюции вроде бы и никакой нет.

Молитва же отца Ивана была слово в слово такая:

«И отврати от нас гнев свой, праведно движимый на нас, и утоли все крамолы и неустроения и раздоры, ныне сущие, и кровопролития и междоусобную брань утоли и подаждь мир и тишину, любовь же и утверждение и скорое примирение людем твоим!»

Отослали молитву на просмотр к товарищу Копырникову: этот поблажки не даст долгогривым, если что,— слава такая утвердиться успела в уезде за Агатом Петровичем. Однако тот, не единожды прочитав и каждое слово из молитвы обдумав, тоже нашел, что контрреволюционного в ней ничего нет. Не совсем ладно, конечно, что гражданскую войну именуют «междоусобная брань», но «брань» у них, на поповском языке, не означает «ругань», а означает «война». Ну, а мы, большевики, разве хотели гражданской войны? Пускай себе молится. Этот, по крайней мере, не станет в алтаре для белых оружие прятать. *Пацифист* — поп. А в политическом смысле — недоразвит. Оставьте его в покое!

Но не оставили!

Во главе целой комиссии из местных явилась в церковь сама Феклунич — «переписать и перечислить в фонды клуба всю церковную утварь», как сказано было в бумаге. Но медведем вздыбился немудрящий попик: «Без чего возможна литургия — возьмите все. Ежели постановление есть такое от властей свыше. Но может ли, к примеру, лишиться иерей священнодействующий чаши для причастия, и лжицы, и антиминса, и необходимейших риз? Никак!»

Отказал наотрез: «Разве что через мертвое тело мое изымите!» И Феклунич ушла с комиссией, пригрозив.

— И сейчас, Матвей Матвеич, никак не хочут отстать. Уж ты помоги нам в таком горе! Ведь объясняли народу сперва, что утеснения религии никакого не будет, а это что же так диется?!

Кедров понял, что необходимо вмешаться:

— А сейчас где он, этот ваш поп Иван?

В нерешительности переглянулись, а затем одна из них, побойчее, ответила:

— Там он, в церкве. Ранняя кончилась. Может, и отдыхать прилег.

— Как «прилег»? Тут же, в церкве?!

Женщины по-своему поняли его вопрос:

— Что ты, что ты, Матвей Матвеич: разве же такой человек позволит себе в церкве спать? Не-ет, он не в самой церкве, а в притворе, или, сказать, на паперте ночует. Да вот сами увидите.

Они поднялись на кирпичное крыльцо. Наружная железная дверь изнутри не была заперта. Кедров все же постучал. Вошли. Обдало сырым холодом настынувших каменных стен притвора. Огляделся. В притворе не было никого. И только возле самой стены, налево, как заобычай в сельских церквах, но почему-то не на скамье, а прямо на полу, стоял гроб с покойником, ожидающим, очевидно, своего отпевания. Крышка с гроба прислонена была в углу.

Вдруг лежащий в гробе поднялся и, обдергивая подрясник, встал.

Это был отец Иван.

Кудластый, скуловатый, с проседью мужичок, однако в худеньком подрясничке и с серебряным крестом на груди, стоял перед Кедровым.

Женщины теснились позади Матвея, не зная, чего ожидать им.

Вдруг очнувшийся, видно, ото сна попик раскинул вправо и влево руки свои, явно преграждая Кедрову путь.

Кедров, еще на крыльце, как положено, снявший шапку, со спокойным достоинством поклонился ему и произнес на еще не забытом церковнославянском наречии:

— Здравствуйте, отец Иван! Вскую отче, спону мне твориши: да не вниду во храм?

На лице священника изобразилось изумление. Преодолев растерянность, ответил тем же наречием:

— Здравствуй, здравствуй, сын мой! Мир да будет с тобою. И аще с добром и миром пришел еси, то да внидеши в смиренный храм сей!

Поясным поклоном поклонился, опустил распростертые крылами руки и отступил в сторону.

Кедров улыбнулся:

— С добром и миром, отче. С добром и миром! — Затем, указывая на отверстый гроб, служивший ложем сна для этого странного человека, добавил: — Кто же вас так запугал, отец Иван, что, как я вижу, и в гроб заживо загнали?

И одна за другой горестные жалобы стали изливаться из уст священника:

— Истину сказал, добрый гражданин, не знаю, как звать-величать вас?

— Матвей Матвеич.

— Истину сказал: гроб отверст отныне ложе мое: здесь усну и почию, доколе не престанут!

— Кто «доколе не престанут»?

— Они... Власти... Некий комиссар градский во образе женщины...

«Да! — подумалось Кедрову.— От Клары Феклунич может статься!»

А вслух спросил:

— Ну и что же?

И попик стал рассказывать:

— В сопровождении двоих-троих из числа юнейших разумом здешних богогонителей пришли они... изымать. Я же, недостойный иерей, стал было ее увещати: «Дочь моя, говорю, да не скверниши церковь святую! Бог, говорю, поругаем не бывает!» Ну где ж там! Пригрозила мне и оружием своим, что при поясе носит. «Перестань, говорит, упорствовать, поп! А то не посмотрю, что в церкве: хлопну! Смотри у меня: я еще скоро наведаюсь!» И притом изъяснилась столь неподобающе, что не только во храме, но и где-либо в злачном месте не надлежало бы так. Вот я и решил: когда приедет вдругорядь и дано будет ей меня умертвить, так чтобы о гробе моем добрым людям не хлопотать бы — на сей случай в домовине и сплю.

Тут и у самого Матвея чуть-чуть не вырвалось от возмущения действиями Феклунич «неподобающее во храме слово». «Черт знает, чего не может натворить эта озлобленная психопатка! Хорошо, что вовремя ее убрали из горисполкома! А может быть, и «запланированная» провокация с ее стороны?»

Попика успокоил. Разъяснил, что декрет касается лишь изъятия *владений*, а вовсе не предметов церковного обихода.

Стоять на паперти было зябко. И как раз в это время одна из встретивших Матвея женщин — оказалось, жена церковного сторожа — пригласила их в сторожку.

Поклонился и отец Иван, приглашая.

В сторожке было до духоты жарко.

За стаканом чаю у Кедрова с отцом Иваном завязался не то чтобы диспут, а некий обмен суждениями. Зная, с кем беседует, Матвей, конечно, и попытки не сделал в чем-либо основном переубеждать его. Однако в ответ на слова священника, что долг каждого человека — это накормить алчущих, напоить жаждущих, одеть нищих и прикрыть сирых, заметил:

— А это мы и хотим сделать. За это народ наш и приносит неисчислимые жертвы.

И неожиданным, почти ошеломившим его был ответ этого «немудрящего» попика:

— Ох правда, ох правда! Народ наш воистину Народ-Христос: не за себя, но за всех человек распинается!

Расставаясь, отец Иван еще раз растроганно поблагодарил Матвея:

— Господь услышал плача моего. Воистину, яко роса Аермонска был мне приход твой!

Когда проходили мимо гроба, в котором застали они спящим отца Ивана, Матвей улыбнулся чуть строговато и посоветовал:

— Только уж кроватку-то вы переменили бы, отец Иван: неудобно!

В воскресенье — навестить «старого Шатрова» — поехало трое: Никита, Кедров и Костя Ермаков.

Агат спешно должен был возвратиться в город.

С Машей договорились, что она приедет к нему, как только калиновская больница найдет ей достойную замену. «А так бросать, Маша, выйдет неудобно!»

И это решение его столь было ей по мыслям, что она обняла его за шею и, привстав на цыпочки, крепко поцеловала в губы.

У Кости Ермакова была еще одна причина — тайная и радостная, которая влекла его на Шатровку: здесь, а не где-либо, завязалось у него и знакомство, и первое, робкое и, казалось, такое безнадежное чувство к Верочке Сычовой.

Теперь, когда она стала наконец ему женой, неупиваемой его отрадой, его гордостью и счастьем, — так что он втайне даже и жалел всех, кто не на его Верочке был женат! — ему особенно было отрадно вновь — и, быть может, не в последний ли раз! — посетить эти берега и этот дом.

Да и не совсем же заглохло в нем старое, с детства взращенное в нем чувство отроческого любования и тяготения к этой семье, несмотря на все и всяческие расхождения с главой шатровского дома, неотвратимо порожденные всем тем, что совершалось ныне на планете Земля!

К Никите Арсеньевичу он питал чувство искреннего и чуточку даже суеверного почитания. Считал себя и ему, и Ольге Александровне по гроб жизни обязанным за спасение брата Степана.

Володьку по-прежнему любил — благодушно-покровительственной любовью старшего брата. «Человек будет! — убежденно говорил он Матвею, не преминув, однако, добавить: — Если, конечно, вырвать его вовремя из-под буржуазного влияния!»

Он растроган был и той материнской заботой, которую проявила Ольга Александровна к его жене, когда та была еще Сычовой — не Ермаковой, когда осиротела вдвойне: и внезапной смертью отца, и отречением от матери, закоснелой в беспощадном стяжательстве и злобном самодурстве.

Когда дошло до нее, что Аполлинария Федотовна Сычова села в тюрьму за то, что стреляла в мужиков и нанесла тяжелое ранение одному из них, Вера не дала волю жалостным сетованиям на власти, не кинулась хлопотать о снисхождении, не заикнулась и перед мужем, хотя знала, что с ходатайством Константина посчитаются. Омрачилась, понятно, но больше от скорбного стыда за поступок матери. Только и сказала:

«Советский суд — справедливый! Лишней кары ей не присудит. Учтут и темное ее сознание, и возраст ее пожилой, и то, что овдовелая женщина. Учтут. А я Ольгу Александровну Шатрову больше матерью считаю, чем ее».

И от такого ее суждения Константин еще больше — если только это возможно было! — проникся к ней доверием и любовью: «Другая бы не отстала: ты, мол, уездный военком, и председатель трибунала тебе друг и товарищ, и Кедров тебя любит,— неужели нельзя избежать, чтобы пятно позора фамильного не легло на меня, мол, на твою жену?! Да! Истинная коммунистка, хотя по кровному родству, пускай, из чуждого класса! Стало быть, иной раз яблоко от яблони и далеко откатывается».

Чуждый ревности, считавший, что для такой любви, которой объяты были оба, и для супружества истинных коммунистов ревность, дошедшая до каких бы то ни было признаков, хотя бы и до одних только мгновенных сомнений, есть уже осквернение и любви и супружества, Константин даже любил, когда из уст других мужчин вырывалось искреннее, невольное, но, конечно, в формах достойных, восхищение и юной прелестью, и женственной, порывистой силой его жены.

Так, ему и приятно стало, и запомнилось, когда Кедров назвал Веру Бурей и Натиском; но однажды испытал он, пожалуй, ничуть не меньшее удовольствие, услыхав близкий к тому восхищенный возглас, относившийся к Верочке, вырвавшийся у солдат, ныне уже красноармейцев.

Как-то условились они с нею встретиться на вечере с танцами в Народном доме. Он занят был на службе допоздна, и ей пришлось довольно долго ожидать его. Обычно он привык ее видеть в домашне-будничном наряде или же сестрой милосердия. А тут она принарядилась!

И вот наконец-то он показался в дверях бальной залы.

Она ринулась к нему: здоровьем пышущая девушка-буря в короткой юбке. Стройные и мощные голени, обтянутые паутинкой чулка. Пронеслась мимо троих воинов, мирно беседовавших о чем-то. У них даже и слово пресеклось. Забыли, о чем и речь шла.

Посторонившись невольно, обомлевшие, долгонько-таки глядели они ей вслед.

А затем, со вздохом восхищения, да и не без зависти к счастливцу, один из них, этак с протяжкою, произнес: «Вот — си-и-ла-а!»

С той поры и Константин, вынужденный уступить ей во время ее какого-либо натиска в делах домашних, нет-нет да и скажет полусердито: «Вот — си-и-ла-а!»

А еще любил повторять: «Вот уж подлинно оказался Костенька «в тороках»!» Это приводило ему на память тот далекий и незабываемый летний день на шатровских плотинах, когда, опознав ее издали во всаднике за рекою, он выбежал ей навстречу, а она, желая показать перед ним свое будто бы преотличное знание всех ездоцких слов и понятий, пригласила его сесть к ней на лошадь, позадь седла, в таких выражениях: «Костя, хотите — в тороках?» Тогда, внутренне рассмеявшись, он и помыслить не посмел указать ей, что так говорить и неправильно и смешно.

Теперь воспоминание об этом каждый раз вызывало в его душе светлую радость.

Да! В делах семейных, домашних ее слово было закон!

Но это ничуть не задевало его мужского самолюбия, ибо во всем том, что касается воззрений и общественной этики, он мог быть уверен — Вера последует за ним, последует безоглядно, а если придет час, то и самоотверженно.

О, как сейчас, когда они ехали на Шатровку, недоставало ему ее! Побежали бы, пусть сугробами замело и шатровский сад, и Тобол, побежали бы к той ветле, на ветвях которой он качал ее тогда, самоуверенную, забавно-властную девчонку с челкой!

Вот приедут они сейчас без нее, и уж конечно, улучив мгновение, проступаясь в сумётах, проберется-таки он к *их* ветле — голой, заснеженной и заледенелой! — повспоминает; а ее, Верочки, нет с ним...

«Только что ветку опустевшую постою покачаю!»

Доктор Шатров любил сам править лошадью. Как заправский ямщик, он даже и ногу выставил на отвод легких санок — для перестраховки на раскатах.

Конь шел без сбоя. Любовались его статями, бегом, беспечно шутили. Располагали к этому и яркий свет солнца, и радушное, сквозь легкий парок, блистание снегов, и то, что отдых и быстрая езда.

На половине пути Костя, шуткою, но с неотступной настойчивостью, перенял вожжи у Никиты Арсеньевича и заставил его пересесть в кошевку — рядом с Кедровым.

Костя похвалил коня:

— Хорош конек! Такому только в ухо шепнуть — кнута не надо!

Никита откликнулся:

— Что ты, Костенька: кнут ему — смертное оскорбление! По Еремину совету куплен: «Бурого коня, Никита Арсеньевич, и за рекою купи!» У нас всё почему-то бурые да гнедые. Шатровские масти!

Сквозь дымку воспоминаний, раздумчиво, Матвей произнес:

— Да, да! Помню и я одного шатровского Бурого: тогда, в пятом! Не забыть до конца дней! Если бы не смелость отчаянная отца вашего да не резвость такого же вот Бурого, лежать бы мне тогда с простреленной головой... Кстати, где он теперь, этот когда-то любимый конь у Арсения Тихоновича?

— Закопан давно... Но в последний год его жизни отец очень его баловал и берег.

Кедров — в раздумье:

— Какая, в сущности, трогательная человеческая черта — такая вот пожизненная, так сказать, благодарность бессловесному существу... Жалею: надо бы и мне время от времени побаловать куском сахара покойного того Бурушку! — Помолчав, перевел разговор на отца Еремы: — Да, кстати, Никита: вы еще встречаетесь со своим ямщиком Еремой?

— Как всегда, по субботам, когда мне нужно быть в госпитале, он подает мне лошадей. Пока никто этому не препятствует... А что?

И в этом вопросе его послышался затаенный сарказм: неужели, мол, и это кто-либо из властей находит отрыжками буржуазного образа жизни?

Матвей почувствовал этот смысл в его словах, но, минуя, продолжил:

— Дело, собственно, не в нем, а в его старике отце. Я тоже его знаю: обычный старообрядческий вероучитель. Закоснелый. Фанатизированный. Весь в ожидании Страшного суда, царства антихристова и так далее; вещь известная со времен Аввакума! Но в последнее время сообщениями о егоораториях сильно стали беспокоить Агата Петровича...

— Копырникова?

И, задав этот излишний, в сущности, вопрос, Никита многозначительно смолк.

Подождав, не скажет ли он еще чего-либо, Кедров закончил — спокойно, но жестковато:

— Поговорите с Еремой: пусть он... присмотрит за старцем!

— Понимаю: чтобы информации о нем не беспокоили... Копырниковых.

Никита желчно рассмеялся.

Кедров с недоумением скосился на него:

— Материя — не для шуток! И я не понимаю, что веселого могли вы усмотреть в этом моем предупреждении? И почему это во множественном числе: «Копырниковых»?

Доктор Шатров ответил Матвею душевно и с полной искренностью:

— Нет, веселого я в этой «материи» не усматриваю ничего! Напротив: очень и очень много горестного, печального... даже страшного! Вы позволите откровенно?

— Обяжите!

— Не слишком ли в последнее время у нас... крен и упор на Копырниковых?

— Неясно!

— Нарицательное. Не слишком ли за последнее время вы — тут я понимаю под этим правительство, советскую власть,— не слишком ли, говорю, принялись вы налегать не на слово убеждения, пропаганды, а на репрессии, на Чека, на трибуналы? Подождите, дайте мне высказаться! Честно говорю: это грызет мою душу! Я ведь тоже очень широко общаюсь с народом... хотя бы как врач и уроженец здешний... И меня приводит в ужас, что все больше и больше в ходу становятся эти отвратительные словечки: «в штаб Духонина», «в Могилевскую губернию», «к стенке», «разменять» и тому по-

добное. И это — простите меня — *об убийстве человека!* И в печати нашей, и в речах все страшнее, все явственнее угрозы и призывы к террору. Я знаю вас давно. Знаю вашу человечность. И я уверен, что вы, именно вы, не можете стоять за такое... направление в политике!

Кедров прервал его:

— Уверены — и ошибаетесь! И это вовсе не «направление в политике», а необходимейший акт самообороны в тот страшный миг, когда преступная, не знающая никакой человечности рука схватила вас за горло и вот-вот сломает! Сегодня, Никита Арсеньевич, классовая борьба дошла до...

Никита не дал ему договорить:

— Классовая борьба, но не классовая *резня!* Террор рождает террор... Война! — И, произнося это тяжконенавистное для него слово, он даже содрогнулся лицом, выражая крайнюю степень гнева и отвращения.— Протрубила труба, пробил барабан — и начинают дробить друг другу черепа, железом пропарывают брюшину — простите, что я, как врач, по-врачебному и выражаюсь,— и мозг, это чудо из чудес вселенной,— мозг, на который я коленопреклонно молиться готов, разбрызгивают, расплескивают по земле, словно... удобрение!

Кедров удивительно спокойно и даже благодушно ответил ему. Правда, сперва с легкой насмешкой и подчеркнув слово «доктор»:

— Понимаю, вполне понимаю вашу позицию, *доктор* Шатров: «Они воюют, а я стою и — не одобряю!» И вы это очень картинно описываете — насчет мозга в качестве удобрения! Жаль, что Гинденбург, Гофман, Фош, Клемансо, Ллойд-Джордж ну и тутти кванти из этой породы человекобойцев,— жаль, что не слышали они этого вашего замечательного, очень-очень убедительного выступления: возможно, воздержались бы и начинать войну!

Никита поежился.

Но дальнейшее Кедров произнес без всякой иронии,— напротив, голосом глубочайшего убеждения:

— Дорогой мой доктор, не меня, и не Константина, и никого из тех, кто мыслит и борется вместе с нами, убеждать в преступности человекобойни, именуемой *войной*, не надо! Вы одного только, простите, не желаете

понять, что *гражданской* войной мы убиваем все и всяческие войны: отныне и до века!

— Догма! Вера такая же, как и все другие. Вот вы пытаетесь вырвать наш русский народ из войны — и что же в итоге получается?! И почему в своей собственной стране вы избрали один-единственный путь?! Нет, я мечтаю о другом...

Вне себя, Кедров не дал ему договорить:

— Мечтаете, мечтаете! А известно ли вам, что если бы ехавший рядом с Лениным человек не нашелся в момент обстрела мгновенно нагнуть его голову, то одна из пуль, изрешетивших кузов машины сзади, наверняка пробила бы ему голову, и Ленин — вы понимаете?! — Ленин был бы мертв! И если бы это величайшее в мире злодеяние свершилось бы, то, знайте, гуманист и миролюбец доктор Шатров, я первый, и с чувством истинно святого долга, поставил бы свою подпись за красный террор, — тот самый, которого тогда же, в гневе, требовали от нас массы и на который мы не пошли. И не идем до сих пор! А вы говорите!

Никита молчал. Он и подавлен был этой неожиданной бурей гнева со стороны всегда спокойного Кедрова, а кроме того, и знал, прямо-таки *видел* в своем сознании, но с явственностью галлюцинаций, все то, что произойдет сейчас вот, среди дороги, если он изронит в ответ хотя бы единое слово возражения. Вот Кедров приказывает Косте остановить лошадь, молча и не простившись, выходит на снег и, не оглядываясь, шагает назад, в Калиновку. Вслед за ним оставляет кошевку и Константин...

Он смолчал вовремя!

Кедров оценил это.

Молча подъезжали к шатровской мельнице. С высоты снегового яра, огибавшего огромный, под тонким ледком, нижний омут, уже можно было разглядеть и отдельных людей — помольцев, меж возами, на том берегу.

Бурый, почуяв близость родного стойла, сразу наддал рыси и начал бодро всфыркивать.

Костя оборотился с козел к Никите и Кедрову и, широко улыбаясь, сказал:

— О! Старинная, дедовская примета: конь фыркает в дороге — к радостной встрече!

По приезде Никита попросил гостей войти в дом без него: отцу известно, что сегодня он приедет в Шатровку, а что приедут они — не знает. Это будет неожиданная встреча, а он пока посетит здешних, «своих» больных. «А вам здесь все знакомое, родное!»

Они вошли через кухню. Дуняша, стоя лицом к двери и вполголоса напевая печальное что-то, мыла посуду. Когда сквозь ввалившиеся с холоду клубы пара она глянула и узнала, тарелка выскользнула у нее из рук и разбилась.

С легким вскриком радости она кинулась было навстречу, но, спохватившись, взяла со стола полотенце, наскоро отерла смуглые, заголенные до локтей руки и снова рванулась к Матвею, обняла и, припав лицом, радостными слезами окапала ему плечо.

Растроганный такой встречей, Матвей Матвеич напускным, ворчливым басом сказал:

— Вот и убыток нанесли дому Шатровых: одной тарелкой меньше! Ну здравствуй, здравствуй, Дуняшенька! Все хорошеешь: значит, о здоровье можно и не спрашивать!

Они поцеловались.

— А со мной?

Выступив из-за Матвея, Константин забавно выпятил пухлые губы, трогательно подставляя их для поцелуя.

Дуняша, рассмеявшись, отмахнулась, но все же соизволила поцеловать.

Константин весело пошутил:

— Ну что, Матвей Матвеич, дедовская-то примета не обманывает? А вы еще говорите, что суеверие!

И словно бы в подтверждение тому, из столовой тоже с радостным вскриком вырвался Володя Шатров и, не давая им раздеться, кинулся обнимать.

Отцовски любуясь им, Кедров сказал:

— Да ты, брат, совсем воин! А что же дома, возле маменькиной юбки засел, словно Митрофанушка? Не учитесь, что ли?

Володя ответил веселой скороговоркой:

— Учимся — только совсем плохо. Папа рассердился — ну их к черту, говорит, ваши дурацкие гимназии! Побудешь дома: поучишься вахту нести на вальцовке.

Авось пригодится больше, чем ваши эти цезари да цицероны! А мама — в Томске. Скоро должна приехать.

— Так, так... Спасибо за информацию: исчерпывающая, точная, деловая! А отец здесь?

— Здесь.

Володя кивнул на высокую, двустворчатую дверь шатровского кабинета.

Кедров осторожно постучал.

Володя и Костя занялись сбивчивой, ненасытимой после долгой разлуки беседой.

Кедрову показалось, что голос Арсения Тихоновича, разрешающий войти, что-то глуховат.

Вошел.

Сидевший за своим письменным столом лицом к двери, Шатров словно бы не вдруг узнал его. Безмолвно развел руками. И все ж таки скупая улыбка радости и привета озарила наконец его суровое, исхудавшее лицо.

Вышел из-за стола. Облобызались.

Окидывая его своим дружеским взором, Кедров произнес шутливо:

— Здравствуй, *человек с поведением!*

Хозяин не рассмеялся — нет, он лишь взглянул на него с вопрошающим недоумением.

Матвей вынужден был объяснить ему, что в таких именно выражениях отозвались о нем крестьяне.

Арсений Тихонович усмехнулся, но особой радости по этому поводу не изъявил.

Всматриваясь в его осунувшееся, потемневшее лицо, Матвей спросил озабоченно:

— Что-то вид твой мне не нравится, Арсений. Ты здоров ли?!

Шатров, слегка пожав плечами:

— Нельзя сказать, чтобы очень...

— А что?

И тогда, влагая какой-то особенный смысл в свои слова, но глядя мимо Матвея, Арсений Тихонович медленно проговорил:

— Сердце... Сердце...

С тяжелым поскрипыванием, подобно старинному маховому колесу, только-только что запускаемому, развертывалась сегодня трудная и мучительная их беседа!

Взаимные вопросы-ответы.

Да, Ольга Александровна все еще не вернулась из Томска. Сережа там же: студент технологического института. Раиса, по-видимому, безнадежна. Никита хочет сам вырваться в Томск. Володьку временно взял из гимназии: нечего ему там болтаться, витийствовать на этих идиотских собраниях Союза учащихся средней школы. Учеба совсем развалилась.

Помолчали.

— Значит, так вот и прозябаешь соломенным вдовцом?

И снова — безотрадная пустыня молчания.

Тем временем по ту сторону лишь притворенной двери, в столовой, остались только двое: Дуняша и Владимир, вызвавшийся ей помогать. Константин ушел на мельницу: *побыть на народе*, как сказал он Володе, уходя. Через часок, к обеду, непременно обещал вернуться.

Дуняша и Володя — то перекидываясь шутками, то подпевая друг другу — накрывали на стол. Дуняша была уже в жа́ркого, рудо-желтого цвета прелестной кофточке, что очень пристало к ее черным вьющимся волосам, смуглому лицу и черным большим глазам. Нет-нет да и покрикивала, в шутку, на Володю, уличая его в неумелой сервировке стола.

Вскоре сквозь звон и звяканье столового серебра, бокалов, тарелок до слуха и Владимира и Дуняши через притворенную дверь шатровского кабинета стали доноситься столь громкие, чуть ли не в крик, голоса, что и тот и другой с тревогой начали взглядывать друг на друга и вслушиваться.

Больше подымал голос хозяин. Гость как бы пытался еще убедить и успокоить.

— Да что ты о моем сердце беспокоишься: стану я о *своем* сердце думать, когда всего народа сердце — Москву вот-вот немцам сдадите!

— Полно, Арсений Тихонович! Откуда ты это взял?

— К тому идет! Армию порешили?

— Армия «порешилась» еще при Николае. А Керенский ее добил этим глупейшим, преступнейшим своим июньским наступлением. Я тебе говорил: в окопах мы ее удержали бы, возьми Советы вовремя всю власть в свои руки, послав к черту все и всяческие сделки с родзянками и милюковыми! Удержали бы и имели бы сейчас достойнейший, демократический мир.

— А сейчас?

— А сейчас длить безнадежнейшую войну призывают лишь наемные перья и оплаченные глотки. И еще те призывают к войне, кто умышляет свержение советской власти, а стало быть, и раздел России. Только мир, только мир, Арсений: иного спасения нет! Пойми...

Но договорить ему Шатров не дал:

— Нет, нет! — И почти воплем: — Не приемлю! Пролитая кровь возопиет, мертвые из братских могил восстанут!

Кедров жесткой насмешкой попытался охладить его:

— Так что же: чтобы не восстали мертвые, надо завалить эти три миллиона мертвых еще тремя миллионами? Послушай, Арсений...

— Я слишком долго тебя слушал! И раскаиваюсь в этом!

— Ах вот как! Что же, тогда в последний раз выслушай меня!

Опамятовался:

— Хорошо. Слушаю... Но и тебя попрошу, в свою очередь!

— Прекрасно! Ты всегда был человеком реального мышления. И ты должен понять: чудовищный, в данный момент неодолимый для нас враг наступил нам коленом на грудь. И мы вынуждены, пойми: вынуждены — для спасения страны, народа, революции — подписать самый тяжкий, самый унизительный, или, как окрестили его наши враги, похабный мир. И мы подпишем его!

— Не сомневаюсь!

— Погоди, не перебивай! Твое слово впереди... И вот мы отдаем пространство, чтобы выиграть время!

— Экие Кутузовы, подумаешь!

— Арсений Тихонович! Ты переходишь границы...

— Прости, пожалуйста. Продолжай.

— Мне нечего продолжать. Напрасно думаешь, что только мы одни вычерпаны этой бойней, и разрухой, и голодом: все, все народы и страны — у своей последней черты. Революция вот-вот забушует и в Германии и в Австрии. Но и во Франции — один солдатский мятеж за другим. А положение Германии безнадежно. Особенно теперь — со вступлением в войну Америки. И в Германии и в Австро-Венгрии — чудовищный голод. Ресурсы

истощены. Поражение Германии предрешено. И ты думаешь, это... это не предусматривает в своей стратегии Ленин?

Шатров снова не выдержал. Он гневно и язвительно расхохотался:

— Я не такой легковерный, как ты! А насчет того, что у Германии ресурсы на исходе, так это еще бабушка надвое сказала! *Были* истощены, а теперь, когда вы отвалили им Украину и Донецкий бассейн, — черта с два! Да никакая Америка из-за океана им теперь не страшна!

Голос его звучал столь неистово, с такой неслыханной в этом доме злобой, что Дуняша, подступившая поближе к двери, вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. Сквозь сжатые пальцы выкатились слезинки.

Володя, испуганный и сам вне себя, приблизился к ней и, отымая ее руки от лица и не стесняясь своих собственных слез, спросил прерывистым шепотом:

— Что, что там у них?!

Отходя с ним подальше, чтобы не застали их возле двери, она горестно прошептала:

— Ох, Володечка, вовсе худая говоря между ими пошла!

А «говоря» между хозяином и гостем и впрямь была хуже некуда!

Отчаявшись вразумить Шатрова, Матвей решил воздействовать на него совсем с неожиданной стороны:

— Послушай, Арсений, ты всегда говорил, что величие и слава России тебе дороже не только всего достояния твоего, но и самой жизни...

— Не отрекаюсь: говорил. И сейчас скажу!

— Так вот: пророчествую тебе... Может быть, хоть в этом поверишь... Придет час, когда и ты поймешь, что отныне вся мировая история есть прежде всего *русская* история!

Шатров — горестно усмехнувшись:

— Да! История капитуляции и позора!

— Стыдиться будешь своих слов!

— Я и теперь стыжусь, что я — русский!

— Это — новость для меня! Арсений Тихонович Шатров — и вдруг...

— Да, да, Арсений Шатров! Что? Изумляешься?! Да! Еще совсем недавно был час, когда я поверил тебе.

Беззаветно. Это был час, когда я прочел воззвание твоего Ленина к народу: «Социалистическое отечество в опасности!» Словно живой водой сердце мне вспрыснули! Вот, думаю, не зря он, этот человек, бросал гордые слова, что никто, дескать, и никогда не победит того народа, который взял власть в свои руки. Разве не ты и твой Ленин провозглашали: отныне мы — военная партия, отныне мы — оборонцы?! И что же?! Неделя-другая — и вот уже на колени рухнули перед немцами!

Тут Шатров почти взвыл каким-то нечеловеческим голосом, запустил обе руки в свои кудри и вырвал из них горсть волос.

В этот миг он был страшен.

Подавленный его неистовством, Матвей молчал.

Приблизив свое побагровевшее лицо к лицу Матвея, уставившись налитыми кровью глазами, Шатров прокричал:

— Ты знаешь — у меня в старых тепляках полуторасаженные водяные колеса махают. Знаешь? Сунься под них человек — и голову раздробит. Насмерть! Так вот: не удивляйся, если услышишь, что ненароком, нечаянно и Арсений Тихонович Шатров сунул под это колесище безумную, доверчивую, глупую свою голову! Ненароком. По неосторожности! А туда ей и дорога, этой шатровской башке! Ведь это я, я, Арсений Шатров, в здравом уме и твердой памяти, спорил, уговаривал: верьте им — они Россию не выдадут!

Тут наконец Кедров получил возможность вставить слово:

— Так что же? Я вижу теперь, что ты вроде бы раскаиваешься в этом?

Шатров — опять выкриком:

— Раскаиваюсь?! Нет, это слишком слабое слово: *преступником* себя считаю... за то, что поверил вам!

Кедров побелел лицом от оскорбления. Он трудно дышал от безнадежной попытки сдержаться. Голос у него стал хрипл и сдавлен:

— Стало быть, я — преступник?!

При этих его словах некий как бы испуг объял лицо Шатрова. Ровно бы опомнился немного — понял, до чего дошел. Но отступать было поздно, да и не помышлял он сейчас об этом.

— Ты? Нет! Ты... фанатик. Ослепленный мечтатель.

Раб доктрины. Верующий. В руках еще более страшного безумца и фанатика! Кто он — не знаю. Я *тебе* верил. Я через *тебя* на него смотрел. А теперь вижу, что это — человек, повергнувший Россию, родину под пяту ее вековечного врага, отдавший ее на позор и разграбление... И кто он, кто он — не знаю!

В ответ ему Кедров поднялся из своего кресла и ледяным голосом раздельно и четко проговорил:

— И я вас отныне не знаю, и не хочу знать, Арсений Тихонович Шатров! Не трудитесь провожать: мне это будет неприятно!

Резко повернулся и вышел.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Едва-едва и лишь в конце апреля Никите удалось вырваться в Томск. Хирург Ерофеев наконец-то смог принять на себя наблюдение над его больницей, с еженедельным наездом в Калиновку. Никита за месяц вперед, и до последней степени щедро, оплатил ямщику Ереме подачу лошадей для Якова Петровича — в город и обратно.

Тряхнув темно-русой челкой, носастый и обветренно- смуглый, с кучерявой, «обсыпной» бородкой по краю широких скул, похожий больше на парня в летах, а не на мужика, расторопный, ухватистый, с затаенной сибирской удалью в прищурых глазах, — сын старого двоедана изъявил свое согласие в словах, поразивших Никиту:

— Свято и нерушимо, Никита Арсеньевич! И хотя бы и ни копейки вы мне не заплатили. Батя мой шибко чтит вас! — Тут он помолчал немного, обдумывая, говорить или нет, и добавил усмехнувшись: — Да что говорить! Кто бы у нас ни остановился проездом — *не* нашей церкви... из православного... уклону... он, батя, одним словом, посуду чайную после его да и тарелку не пожалеет: велит сейчас же разбить, вроде бы тот гость испоганил ее. «Бритоусы, говорит, табашники! Никониане! Не велено с ими ни ясти, ни пити!» Суеверный старик! А вот после вас, если случится вам чайку у нас испить, после вас ни разу не велел старухе — матери, одним словом, моей, — чтобы посуду истребить! Так что будьте спокойны. Пока лошадок моих не отобрали! Поезжайте в Томско: *утолите душеньку!*

От этих последних его слов Никита даже вздрогнул: неужели и этому человеку известно, ведомо, ради чего

и ради кого едет он в Томск и в каком состоянии души своей?!

Ни с кем, кроме матери своей, и тем более с ямщиком, хотя и человеком дружественным к их семье, не распространялся он о Раисе и о несчастье, постигшем ее. И вот: «утолите душеньку»!

А как верно, как страшно в двух словах этих из уст ямщика, чуждого, казалось бы, всевозможным, там, «коллизиям» и терзаниям душевным, — из уст человека, для которого будто бы весь свет и радость жизни воплощены были в его ярых, трепетнокровных конях да в славе лучшего троечника на всю губернию, — с какой беспощадной верностью схвачено было в двух его этих словах то неизбывное истязание, в котором, начиная с отправки Раисы в Томск, находилась душа Никиты!

Вот когда начал он по-настоящему, каждой кровинкой понимать, что оно означает: «Тоска припала, доктор! Сосет и сосет сердце... Ровно бы змея! Неутолимая. И оторвать ее нету силы от сердца...»

Сколько раз, сколько раз слыхивал он эти жалобы от приходящих к нему больных, как будто бы понимал их состояние, и старался помочь, и помогал — всеми силами и средствами, бывшими в его обладании, от лекарств до гипноза, — а вот теперь самому себе ничем не мог добыть избавления от припавшей к сердцу тоски. Оторвать «змею»!

Памятуя состояние Раисы и свой диагноз, подтвержденный, к несчастью, недавним письмом из Томска от былого сокурсника-психиатра, ни на что не надеялся он, выезжая в Томск: он лишь чувствовал, что ему, *ему* — пусть последний раз в жизни! — необходимо неотвратимо повидать ее. Зачем это было нужно?.. Перед судом рассудка, перед судом, наконец, психиатрических познаний не было смысла ни в этой поездке, ни в том, чтобы еще раз увидеть Раису в ее тягчайшем положении. Усилить заботы о ней? Но там все еще была мать. Там был Сережа.

А что могут дать какие-то несколько истязующих, скорбных секунд над гробом близкого, проведенные в последнем созерцании его лица, прежде чем застучит молоток гробовщика, вгоняющий гвозди в крышку гро-

ба! «Но почему я стремлюсь еще и еще продлить эти истязующие мгновения?!»

«Томск — это сибирские Афины!» Этот выспренне-горделивый возглас, вырвавшийся когда-то впервые из уст не то Ядринцева, не то самого Потанина — зачинателей и основоположников сибирского областничества, — пришлось неоднократно услыхать в пути и Никите Арсеньевичу от случайных спутников по вагону, если, конечно, они были из разряда интеллигенции.

И впрямь: разве единственный тогда на всю матушку-Сибирь, от Урала и до Тихого океана, великолепно развернутый университет, с медицинским факультетом и клиниками, а затем и технологический институт, оснащенный по последнему слову науки, изумительное скопление крупных умственных сил, возглавленных созвездием выдающихся ученых, — разве это одно не давало право этому, в сущности, маленькому городку, захлестнутому со всех сторон неисследимым океаном сибирской тайги, кичиться перед прочими городами Сибири, именуясь ее Афинами?!

Но Афины ознаменованы в памяти человечества не только как средоточие наук и искусств Эллады в их наивысшем плодоношении, — нет, то было и средоточие, кипящее и сверкающее, всей политической жизни страны, подлинная столица, *столица!* А ведь Томск... Но, позвольте, и Томск тех дней, когда доктору Шатрову пришлось (впервые) побывать в нем, тоже готовился вот-вот стать столицей «всея Сибири», как только — на днях, на днях! — будет свергнута в ней советская власть. И правительство всесибирское — правда, пока еще сугубо подпольное! — уже заготовлено было в те дни в Томске.

Чем же вам не Афины?!

Правда, военные, вооруженные силы бело-эсеровского подполья сосредоточены были не здесь, а в гораздо большем числе в Ново-Николаевске, в Омске, в Иркутске, но именно здесь, в Томске, уцелевшие от ареста члены Сибирской областной думы, только что разогнанной Совдепом и объявленной вне закона, собрались в конце января тайком на частной квартире, под страхом вот-вот быть схваченными, — что-то около двадцати человек! — и наспех избрали из своей среды... шестнадцать «министров с портфелем» и четырех — «без

портфеля», наименовав себя «сибирским правительством».

Не забыто было ни одно ведомство: разошлись, опасливо оглядываясь, кто — министром-председателем, кто — финансов, кто — юстиции, кто — военным.

Кое-кого избрали в правительство заочно. Так, Петру Васильевичу Вологодскому, довольно известному в Сибири присяжному поверенному, *эсеро-кадету*, хотя и не было формально такой партии, — мешковатому подстарку с наружностью уездного коммерсанта: широкие книзу усы, опущенные в тупой, с проседью, клинышек бородки, старинный, с отогнутыми углами, жесткий воротничок, черный галстук бабочкой — таким его привыкли видеть, — ему эти вздрагивавшие от всякого стука эсероподпольщики присудили ни больше ни меньше, как... портфель министра иностранных дел. А железнодорожному инженеру Леониду Устругову, человеку, правда, энергичному и чрезвычайных способностей в своем деле, уготован был, без его ведома, портфель министра путей сообщения.

Избранный тут же в председатели «совета министров» имеющего быть по свержении большевиков «всесибирского правительства» правый эсер Дербер не только был налицо, но и после того, как «двадцатка» разошлась и разъехалась по Сибири, еще несколько дней оставался в Томске, где на каждом шагу он мог быть схвачен чекистами. Он не был новичком в конспирации. Но лишь много после узнали о истинной причине такого мужества.

В Томске об эту пору подвизалась на местных подмостках труппа лилипутов. Их частенько видали на улице, одетых, как принято почему-то у них: пальто, котелок. Дербер был почти карлик ростом. И когда, одетый под лилипута, он проходил где-либо, его за лилипута из труппы и принимали...

Но не карликовые вожделения и замыслы были у этого карлы! Смывшись в конце концов на Дальний Восток, он там, под охраною уже высадившихся интервентов, провозгласил-таки себя главою «сибирского правительства», правда ненадолго!

На разгон Сибоблдумы подпольное эсеровское правительство успело все же ответить воззванием к народу, листки с которым в одну из ночей оказались рас-

клеенными по городу, а также и на станциях железной дороги — к востоку: Дербер как бы отмечал ими путь своего бегства во Владивосток.

Воззвание призывало граждан сибирских Афин:

«Совет Народных Комиссаров, посягнувший на власть Учредительного собрания, является врагом народа. Изменниками революции являются большевики, противопоставляющие Учредительному собранию Советы крестьянских, рабочих и солдатских депутатов...

...Дума выражает свой решительный протест против сепаратного мира, и, в случае заключения его большевиками, она ни в какой мере ни моральной, ни материальной ответственности за этот преступный шаг на себя не принимает...»

Далее следовала клятва «о безвыкупном переходе всех помещичьих земель», всех лесов, недр и вод «в общее народное достояние».

Провозглашалось намерение начать национализацию «добывающей и обрабатывающей промышленности».

О военном обеспечении своей грядущей власти было также подумано. Довольно беззастенчиво делалась ставка на областнические чувства сибиряка да и на желание солдат покончить с войной:

«До заключения мира дума считает необходимым принять безотлагательные меры к планомерному отозванию с фронта и ближайшего тыла уставших *солдат-сибиряков* на родину (то есть в Сибирь); к роспуску гарнизонов, находящихся на территории Сибири...»

Этим последним своим намерением эсеры ясно давали понять, что русские, советские воинские части, размещенные в Сибири, они считают вроде бы оккупантами и попросят их вон.

Предельное бесстыдство областнической демагогии раскрывалось в заключительных словах листовки: Сибоблдума, дескать, примет все и всяческие меры и «...к созданию добровольческой сибирской армии, имеющей целью защиту Всероссийского учредительного собрания, автономной Сибири и Сибирского учредительного собрания.

...С верою в народно-трудовые силы, с сознанием великой ответственности, с беззаветным стремлением спасти *погибающую Сибирь,* дума вступает на путь вер-

ховной законодательной власти в свободной отныне *автономной Сибирской республике!»*

Вон оно куда выметнуло!

Испустив сие воззвание, каждый успел скрыться в свою подпольную норку!

Поистине, как сказано у народа: дождемся поры, так и мы из норы, а не в пору, так и опять в нору.

Чека Сибири была еще в те дни в самом зачаточном состоянии.

Привыкнув к избытку денежных средств и к тому, что деньги, пусть даже и стремительно падавшие керенки, это поистине колдовская сила, способная выручить при любой беде и в любых затруднениях, Ольга Александровна Шатрова, приехав с Раисою в Томск, еще и еще убедилась в этом. Теперь она и Сергей снимали вместительный, в три комнаты с кухней, деревянный дом, с крепким почерневшим заплотом, ограждавшим крытый, по-старинному, двор. Хозяева — бездетные старообрядцы, бывший ямщик, все еще могучий старик лет за шестьдесят, суровый и молчаливый, и его жена, уветливая, испостившаяся, неслышная, как тень, хотя и моложе его лет на десять, но воспитанная им по всем праотеческим преданиям, — уступив Шатровой весь дом, сами перешли в малушку перед задним двором, теперь уже опустевшим: оставалась лишь одна лошадь. На ней-то и отвозил старик хозяин Ольгу Александровну за город в дни, когда разрешалось посещать Раису в больнице.

Удобно было во всех отношениях: и обслуга, и надежный и честный сторож, и выезд. Дом со всеми угодьями, словно крепостца деревянная, стоял на глухой улочке, все еще Королевской, на низменном берегу Томи, почти у самого уреза воды, так что сейчас, на исходе апреля, отпахнув калитку заднего двора, чуть не ступали в воду.

За разливом реки синела тайга и таинственно виднелась бывшая чья-то усадьба, похожая на белый замок.

Ольга Александровна и прежде бывала в Томске, но, поместив Раису в больницу, она была так удручена, что ничего не замечала; а Никиту — того страшно поразил город: особенно удивителен и неповторим показался он

ему этим сочетанием подлинного «кремля науки», раскинувшегося на главном холме, с распростершимся на прочих, отдаленных оврагами и речкой Ушайкой холмах беспорядочным скопищем деревянных дворов, домов и хибарок.

Правда, на одном из этих холмов высится белокаменный, с забавными, словно бы игрушечными башенками, монастырь. Да еще в одном удачно выбранном месте, недалеко от реки, господствовал над окрестностью белый дворец известного сибирского покровителя искусств и науки — областника.

Когда Никита Арсеньевич проходил по ветхому мосту через мутную от паводка и разбухшую речонку, рассекавшую город, то вспомнилось из рассказов Кошанского, что именно через эту речушку-овраг во времена, когда над всей Сибирью губернаторствовал сосланный туда Сперанский, его ближайший сотрудник и тоже масон высших посвящений, военный инженер по образованию, Батенков Гавриил Степанович — впоследствии узник-декабрист — построил замечательный мост, и притом крайне дешевый, чем весьма озлобил подрядчиков.

В тысяча восемьсот восемнадцатом — ровно сто лет назад — Батенков учредил здесь, в Томске, ложу «Восточного светила», по древней английской системе. «Под его молотком», как выразился, по обычаю старых масонов, Кошанский, находилась вся Сибирь — от Урала и до Иркутска. «Само собой разумеется, Сибирь достойнейших из дворян, чиновников и, отчасти, некоторых купцов». А теперь этот *молоток* — «наместного представителя всей Сибири» — отдан в руки его, Кошанского. Тут, как бы промолвившись невзначай и спохватившись, Анатолий Витальевич полушепотом попросил Никиту дать «слово чести», что открытая ему, в силу высочайшего уважения к его познаниям и высокой нравственности, тайна сия будет свято хранима ото всех. Никита просимое слово дал. Это произошло еще при Керенском.

Удовлетворенный согласием сохранять их беседу в тайне, Анатолий Витальевич тогда прямо предложил ему вступить в масонскую ложу. Никита попытался обратить все это в шутку. Рассмеявшись, ответил: «Иначе говоря, вы приглашаете меня «под свой молоток»? Спа-

сибо за оказанную мне честь. Но, увы, дорогой Анатолий Витальевич, у меня уж натура такая, что ни под чьим «молотком» пребывать я решительно не способен». Кошанский обиделся: «Такими вещами не шутят, Никита Арсеньевич!» Никита, извинившись за причиненную собеседнику обиду, откровенно сказал, что, во-первых, ко всему, что касается масонства, розенкрейцерства и тому подобных вещей, он привык относиться, как попросту к мистической сказке, которой тешились некогда наши скучающие баре, а во-вторых, претит ему вся эта масонская бутафория кинжалов, приставляемых к обнаженной груди посвящаемого, страшных клятв, черепов, черных комнат и прочего реквизита масонских лож. Кошанский ужаснулся этим, как выразился он, «кощунственным» выражениям: *реквизит, «бутафория»*, а затем заверил, что для некоторых особо чтимых, в силу их духовной и умственной высокости, лиц — а к таковым он имеет все основания причислять доктора Шатрова! — братья — вольные каменщики допускают исключения. Ибо его «духовный камень» не дикий, а уже *отесан* и может без всяких предуготовлений быть положен в стену великим братством созидаемого духовного храма грядущего человечества. Указал на «исторический прецедент»: великому русскому просветителю, едва было не погубленному императрицей Екатериной, Николаю Ивановичу Новикову германские розенкрейцеры преподнесли наивысшую степень, минуя все и всяческие ступени ученичества.

Никита поблагодарил за это, как сказал он, незаслуженно высокое сопоставление, однако, в порядке взаимной откровенности, напрямик выразил сомнение вообще в надобности масонства теперь, в переживаемые Россией времена.

Всплеснув в ужасе руками, схватившись за голову, Кошанский, еще раз вырвав у него чуть не клятву полного молчания о их беседе, сказал: «Россия, хотя и свободная, явно и стремительно катится в бездну. Чернь, подымаемая большевиками, грозит ввергнуть нас, людей интеллекта, людей духа, во все ужасы новой пугачевщины. Вспомните изречение Вольтера... Кстати, он был одним из братьев весьма высокого посвящения... «Когда чернь примется рассуждать — все пропало!» Керенский слаб удержать Россию над бездной. Слишком

слаб! И вот здесь-то мощная и незримая стена, воздвигнутая из людей воли, чести и интеллекта,— если, конечно, мы не умедлим,— сыграет свою спасительную роль. Вся интеллигенция — и городов и сел, конечно с выбором, должна быть охвачена братством. Менее достойные пребудут должное время на стадии «неотесанного дикого камня», сиречь ученичества. Уверяю вас: нашей Сибири предназначена высокая историческая миссия — удержать Россию над бездной. А если — нет, если уже утеряли времена и сроки, то, в крайнем случае, мы сможем спасти хотя бы *элиту*, отбор цивилизации, *соль* земли русской! Не будьте же слепы, дорогой Никита Арсеньевич! И может быть, нам с вами предстоит...»

Никита не дал ему договорить. Прекращая по своему произволу их тайную, затянувшуюся беседу, встал и решительно, убежденно, сурово произнес: «Простите, Анатолий Витальевич, но должен вам откровенно сказать: если моему народу предстоит гибель на дне той бездны, о которой вы пророчествуете, то я предпочту лучше разделить с ним его участь, чем в качестве представителя его «элиты» удержаться на краю бездны и, горестно заламывая руки, заглядывать туда, на «дно»!

...Вот об этом тягостном разговоре и вспомнилось доктору Шатрову, когда он проходил мост через речку Ушайку, основание которому положил, возможно, тот самый человек, под чьим «молотком» сто лет назад состояли все масонские ложи Сибири и чьим отдаленным преемником почитал себя ныне Анатолий Витальевич Кошанский.

— Ох, да такую только вживе под святые положить! Нет, не жилица она у вас на свете, что вы с ней, доктора, ни делайте!

Сиделка женского отделения психиатрической больницы, седая, добрая женщина, горестно при этом вздохнула и, покачав головою, добавила шепотом:

— Лучше бы прибрал ее господь, коли разум у нее отнял! Что говорить, что говорить, коли силком кормить ее приходится?!

И Никита, сидевший один в кабинете профессора Топоркова в ожидании, пока из палаты приведут к нему

Раису, внутренне, в глубине души, принужден был согласиться с безотрадным приговором этой старой женщины, отдавшей многие и многие годы своей жизни уходу за душевнобольными.

Да! И здешний диагноз был безнадежный: «деменция прекокс» — шизофрения.

— Мы не боги, дорогой коллега, мы не боги! Аутизм, как видите, крайний. Мутизм. Отказ от пищи... Правда, когда ваша матушка посещает ее, то из ее рук она съедает несколько ложечек... Но... Впрочем, со скорбным ее листом вы уже ознакомились. И сейчас ее приведут. Оставайтесь... А я — в город!

И бурно-деятельный профессор исчез, оставляя Никиту полным хозяином своего кабинета. Вообще, он встречен был душевнейше. В первой же беседе Топорков изъявил надежду, что Никита оставит участковую свою больницу и переедет к нему, в Томск, чтобы работать по специальности. Во врачах-психиатрах нужда была крайняя. Ему вручен был и тот, особо тщательно сохраняемый ключ, которым пользуются врачи, сестры и санитары психиатрических заведений. Это давало возможность доктору Шатрову посещать больницу в любой час дня и ночи, уходить и приходить, никого не беспокоя и не спрашиваясь.

Двум нянечкам, что должны были сейчас привести Раису, запрещено было хотя бы малейшим намеком дать ей почувствовать, зачем ее берут из палаты и кто ожидает ее в кабинете профессора.

Она и без того оказывала таким приводам упорное, с трудом преодолеваемое сопротивление.

И на этот раз перед самой дверью она рванулась было прочь, но опытные и сильные санитарки преодолели ее порыв — ласково и неотвратимо. Ввели. Позади щелкнул замок дверей. Бережно подав Раису вперед, обе сопровождающие ее отступили...

И вот она стоит перед ним — в темном длинном халате, но в зимней шапке-ушанке — в палатах было холодно, — остриженный, круглоголовый, жалостно-исхудалый, изможденный подросток! Только и узнать было — ее, Раисины, невероятные глазищи: огромные, прозрачной голубизны, пытливо растворенные на мир, осененные черными, крупными, но словно бы неподвижными, никогда не моргающими ресницами!

Но едва она увидала его, как там, в этой прозрачной бездонности ее глаз, словно свинцовая, серая заслонка возникла: глаза как-то вдруг *обмелели*, и — что особенно ужаснуло его — выражение затравленности, враждебности и страха явственно изобразилось в них.

Девушка подалась назад. Но, ощутив локтями готовые удержать ее руки сопровождающих, она осталась на месте. Только бледные губы ее страдальчески исказились, и хриплым шепотом-стоном вырвалось:

— Зачем?! Не надо! Зачем?!

Не делая к ней ни шагу и знаком удалив санитарок, Никита очень тихим голосом позвал ее по имени. Молчание. Он повторяет свой зов. Глухая, мертвая безотзывность! Тогда он подошел к ней и бережно попытался отвести ее руку от лица. И тотчас же оставил эти свои попытки, ощутив столь знакомое ему по другим больным как бы *окостенелое* сопротивление в локте ее руки. Да! Видно, не напрасно ее скорбный лист испещрен столь короткой, но и столь страшной записью: «Не контактна!»

...В эту первую встречу с ней он истощил все способы и усилия, которые предписывал ему его опыт. Тщетно, тщетно!

Когда ее увели, он, опустившись в кресло, еще раз углубился в просмотр истории болезни Раисы. Да! Как будто картина типическая, и зацепиться не за что: глухая замкнутость, отрешенность от всего; отказ от пищи; порою враждебная подозрительность по отношению ко всем; попытка к самоубийству — спрятала под подушку острый кусок стекла, вовремя отнятый. Негативизм ужасающий: сопротивляется любому врачебному воздействию; одно, чему она еще не противится, — это ванны. В особенности, если нянечку (как разрешено было) заменяла ей сама Ольга Александровна Шатрова...

До приезда сына Ольга Александровна что называется дневала и ночевала при больнице. Ее огромный сестринский опыт пригодился и здесь и отдан был не одной только Раисе.

Было теперь и еще одно обстоятельство, которое заставляло Шатрову всячески умножать свои заботы о девушке: Раиса осиротела. Ее отец, Антон Игнатьевич, и мать уехали в длительную командировку по заданию Башкина. И около двух месяцев тому назад на

Тобол пришла горестная весть, что оба погибли в железнодорожной катастрофе вблизи Челябинска: впереди эшелона оказались разобраны рельсы — это была зона, где все еще сильно пошаливали казаки Дутова.

А еще... а еще ей легче было не видеть Арсения Тихоновича. Тяжко для ее сердца было все это время притворствовать, будто ничего не знает о лесничихе, о его измене, и ждать неутолимо, мучительно, изо дня в день, что вот наконец-то решится он сам покаяться перед ней во всем!

Удрученный бесплодностью свидания с больной и тяжелыми думами о ее неминуемой судьбе, Никита Арсеньевич часу в двенадцатом ночи пешком возвращался из психиатрической в город.

Было темно, холодно, сыро. Ущербный месяц тускло и скудно светил сквозь то и дело закрывавшие его тучи.

На окраинах города почти совсем не было света. Обыватель шутил язвительно: «Тёмск!..» Ближе к холму университета электрофонари стали чаще. Погруженный в свои безотрадные думы, Никита Арсеньевич шел, не разбирая пути. Шагал посреди мостовой. Впрочем, в эти настороженные дни, вернее, ночи и любой житель Томска, из числа тех, конечно, кто имел пропуск для ночного хождения по городу, предпочитал, ради собственной безопасности, двигаться серединой улицы: увидишь издали, если подстерегают! Но не об этом сейчас были все думы его, а просто шел, где виднее ступать. С легким стеклянным звоном проступался хрупкий апрельский ледок, застекливший лужи. Раза два из боковых темных улиц донесся выстрел и протяжный угрожающий оклик: «Сто-ой!»

Невольно мелькнула мысль, что свой пропуск он оставил дома, так как в больницу уезжал днем. И, как нарочно, тотчас же этот самый оклик: «Стой! Кто идет?» — послышался прямо впереди, обращенный к нему самому. Он продолжал идти.

Стал слышен из тьмы топот тяжелых сапог о булыжник и звяк оружия. Двое, в солдатских шинелях, с винтовками, подбежали к нему, запыхавшись. На рукаве — широкая красная повязка: ночной патруль!

Взыскательно-гневным взором окинув его, один из

красноармейцев выкрикнул сквозь запышку и едва удерживаясь от крепкого слова:

— Что же ты? Тебе говорят: стой! А ты... Пропуск?

И требовательно протянул руку.

В ответ — как бы удивленно-негодующий на ненужную, вдруг возникшую помеху, суровый взгляд в лицо и спокойный, с высоты роста, глубокий голос:

— Я — врач.

И только. И даже шага своего не замедлил необычный прохожий!

Против воли своей, оторопелый солдат молча отступил в сторону.

Другой стоял неподвижно.

Но в это время с тротуара, из темноты, раздался сиплый, начальственный окрик:

— Задержать!

И человек в кожаной, блеснувшей под фонарем куртке и в кожаной же фуражке, с револьвером у пояса, спешным шагом подошел к ним и заступил дорогу Никите:

— Гражданин, пропуск?

Но в ответ — снова:

— Я — врач. Пропуска нет со мной. Спешу.

И столь непререкаемой, столь властной силой и правдой прозвучали эти слова странного ночного прохожего, что усомниться в них и начальнику обхода показалось вдруг столь же неуместным, как если бы от человека, выступившего из толпы с возгласом: «Пропустите, я — врач!», взять да и потребовать документы, прежде чем допустить его к распростертому на земле телу.

И старший патруля безмолвно посторонился...

О, если бы *там,* в только что оставленных стенах самой скорбной из всех больниц человечества — в той, что так безжалостно, грубо называют «домом умалишенных», — слово и взор его были бы столь же властны над душою хрупкого, гибнущего там существа!

Дома и Ольга Александровна и Сережа, с тревогой его дожидавшиеся, в молчании скорби выслушали безотрадный его рассказ о встрече с Раисой. Ничего и не стали расспрашивать. Только Сергей, угрюмо вздохнув, промолвил:

— Да-а, если ты бессилен, значит, погибла наша Раисочка!

Никита, нахмурившись, промолчал. Но, уходя в свою комнату, сказал матери, что ему больше незачем оставаться в Томске.

— Завтра повидаюсь в последний раз, и... А ты, если можешь, мама, побудь здесь еще...

И наутро Тарасий Петрович, ямщик-хозяин, в последний раз подал Никите Арсеньевичу лошадь для поездки в психиатрическую больницу. Окинув злобным взглядом простой ходочек и упряжь, всегда неразговорчивый, на этот раз угрюмый кержак не сдержался:

— Эх, доктор, стыжусь такой выезд и для такого человека подавать: и в одноконь и ходчишко! А давно ли двенадцать коней у меня овес хрупало, вот в этих пригонах, да и каких! Свой бегунец был. Призá на бегах за него получал. Жокея специально наймовал. Троим парням у себя хлеб и работу давал. Прежде бы я вас — в пролетке с фонариками да на резиновом ходу! Порешили, начисто порешили самостоятельного хозяина!

На вопрос Никиты, куда же все подевалось, ответил мрачно, что кое-что успел распродать, остальное отняли, взяли.

Занятый всецело одной и только одной думой, доктор Шатров разговаривал с ним через силу, лишь бы не проявить неучтивости, и потому вопрос его, как же, мол, это так «взяли», ведь как будто и по советским законам эдак нельзя, — удивил и обозлил своим простодушием. Ответил язвительно:

— Льзя ли — нельзя ли, пришли да взяли!

Тарасий оглянулся и увидел, что Никита не слушает его, погружен как бы в дремоту.

Уже за городом Тарасий Петрович, полуобернувшись к нему, таинственно чего-то не договаривая, сказал:

— От Ольги Александровны слыхал — не потаила от нас! — будто невеста у вас там, в психиатрической?..

И смолк, ожидая.

Никита спокойно и коротко ответил:

— Невеста.

Старый кержак — отечески одобрительно:

— Бога, стало быть, помните! А другой бы... Эх, да что говорить! Стало быть, ради нее и вы и матушка

ваша к нам, в Томско, и прибыли... Достойное дело, достойное! Но только, Никита Арсеньевич, уж вы не осерчайте на меня, старика, а только и за Сергеем Арсеньевичем вашим присмотр тоже нужон.

Никита обеспокоенно спросил, что же такого замечено за Сергеем.

Тарасий заверил, что ничего худого в смысле непотребного поведения, но только:

— Беспокоюсь я: чего ради он, когда на ночны свои занятия уходит, в институт свой, то зачем иной раз одежу, котора победнее, наденет, а по улице идет — нет-нет да и оглядывается? Я это не в пронос говорю. Перед другим бы человеком уста свои не растворил, но вы сами видите, како время настает. Кажну ночь постреливают. А утречком слышишь: то здесь, то там мертво тело подняли!

Нагнулся с козел к Никите и многозначительно и понижая голос, хотя проезжали уже по безлюдному загородному пустырю, добавил:

— Я так своим умом считаю, что лучше ему, Сереженьке вашему, на *эти занятия* не ходить!

Всего себя истощил Никита в этой прощальной попытке добиться хотя бы малейших признаков, что не все еще выгорело, не все омертвело в несчастной, больной душе! Безотзывность. Аутизм. Глухой. Абсолютный. Не перенесшее истязаний сознание словно бы замкнулось наглухо в непроницаемом для жизни отсеке. Ни прошлого. Ни настоящего. И опять — эта ужасная серая «заслонка» на дне ее глаз.

Иногда чудилось ему — в глазах, в мелькнувшем выражении застывшего лица как бы даже некий злобно-торжествующий цинизм обреченности: на, мол, тебе, посмотри, полюбуйся, какая я теперь стала!

Но это — лишь на мгновение. И затем — снова глухое безучастие. Аутизм...

Так же как в прошлый раз, он снова, с разрешения профессора, попросил привести больную в его кабинет и затем оставить одних. Он считал нужным всячески смягчить обстановку больничную и затушевывать взаимоотношения врача и больной. Настойчиво пытался усадить ее в кресло, вовлечь хоть в подобие беседы, расшевелить в ее памяти воспоминания Тобола, их прежних дней и бесед.

Тщетно!

Будь он просто-напросто ведущий эту больную врач, будь это не Раиса, и его руке не оставалось бы ничего более, как поставить очередное, безнадежное: «Не контактна», или: «Status idem» [1], а затем, в полной чистоте совести, приказать увести больную обратно, в палату.

И, ощутив, что тот бесповоротный миг уже наступил, доктор Шатров, обуреваемый, сломленный наконец навалом смертной тоски и отчаяния, вдруг упал лицом на сложенные руки — и тщетно заглушаемые *мужские* рыдания сотрясли его плечи.

И в то же самое мгновение — да что же это: не галлюцинации ли с ним?! — он услышал ее голос — ее, Раисы! — тихий, исполненный удивления, нежности, сострадания:

— Плачешь?! Ты?! Такой могучий, сильный?! Зачем?! Не надо, не надо!

Он почувствовал, как ее легкие персты матерински нежным, ласкающим движением погружаются в его волосы...

Все еще боясь поверить, что это совершается вправду, Никита поднял голову и взглянул: из больших голубых глазищ, напоенных прежним, былым *Раисиным* светом, падали, отрываясь, словно капе́ль с ледяных сосулек, что бывают на закраинах крыш, крупные и прозрачные слезы.

...Так свершилось выздоровление — нет, нет, *воскрешение* Раисы!

Так именно и выразился на заключительном собеседовании врачей сам Топорков:

— Что ж! По-видимому, мы все, вместе с вами, дорогой коллега Шатров, ошибались. Не шизофрения. Тяжелейшее реактивное состояние... И вот... катарсис! К счастью, ошибка радостная. Однако случай с вашей Раисой редчайший!

Из больницы выезжали втроем: Раиса, Ольга Александровна, примчавшаяся принять ее, и Никита.

На козлах восседал Тарасий Петрович.

И опять пришлось пожалеть старому, что не стало у него выезда на резиновом ходу!

---

[1] То же самое состояние (*лат.*).

А вскоре — и еще раз: когда на семейном совете решено было, что венчаться будут здесь, в Томске!

Дни перед свадьбой, которую, само собою разумеется, — в эдакую-то годину! — решено было свершить самым скромным, уединенным образом, были исполнены и неупиваемого счастья, и радостей, но и неусыпных забот и хлопот. Впрочем, все эти заботы и хлопоты приняла на себя Ольга Александровна. Она теперь поистине становилась матерью Раисы. По совету Никиты, решено было вплоть до самой крайней поры не открывать Раисочке о ее сиротстве: пусть поправится, поздоровеет как следует, а тогда уже — там, на Тоболе, да и то исподволь, не вдруг. А пока было сказано ей, что военная и, значит, секретная командировка отца будет весьма и весьма длительной: и Петроград, и Тула, и Златоуст. Сообщение же теперь страшно трудное. А мать не отпускала отца одного. «Так что, мила я тебе не мила, а ничего, Раисочка, не поделаешь: буду я тебе мамой! Ты же знаешь: уезжая, оба они о том меня и просили!» — «Знаю...» И в слезах благодарности и любви обнимала Ольгу Александровну...

Особенно много радостно-тайной заботы-раздумки, той самой, в которую неизбежно впадает в предсвадебные дни дочери любая достойная мать, стоил Шатровой подвенечный наряд Раисы да и, прямо надо сказать, все ее белошвейно-кружевное приданое. Купить что-либо в Томске в ту пору стало уже трудно, и хорошо, что, едучи в Томск, Ольга Александровна, всегда взыскательная к своим одеждам, привезла с собой полный чемодан своих шелков: было из чего перешивать для Раисочки! Творить невестины уборы помогала ей одна из лучших в городе, высокой руки швея-белошвейка, изголодавшаяся уже по высокой работе, некая Анфиса, выисканная и приглашенная хозяйкой дома — добрейшей к своим постояльцам Пелагеей Ефимовной.

Она же, эта уветливая старообрядка, но особого, *единоверческого* толка, уговорила венчаться у своего, единоверческого попа: «Ой, да не бойтесь вы, матушка Ольга Александровна: наш поп — он все равно что и ваш, только что по старым книгам служит. Дак оно ведь ешшо крепче будет: счастливее заживут ваши молодые, коли по старым-то книгам венчаны будут!»

Никита и Раиса, полюбившие слушать ее рассказы о томской старине и беседовать с нею, переглядывались при этих ее словах, затаив улыбку, и, якобы всерьез, начинали взвешивать, у какого попа крепче будет их брак — у единоверческого или у православного?

Склонились на ее уговоры. Пелагея Ефимовна была счастлива и горда. Она и муж должны были и расписаться в церковной книге в качестве свидетелей брака; они были и единственными приглашенными к свадебному застолью.

Забавнейшие у них происходили разговоры с Раисой! Назидая, как водится, юную невесту насчет будущей ее семейной жизни, хозяйка пожелала ей, чтобы и она, Раиса, изведала супружество не худшее, а еще лучшее, чем ее, Пелагеи, была жизнь с Тарасием свет-Петровичем. «Значит, вы очень счастливую семейную жизнь прожили, Пелагея Ефимовна?» — «Что говорить, что говорить!» И в блаженном припоминании закрыла глаза. Тогда Раиса позволила себе сделать робкое замечание, что будто бы — а может быть, она ошибается! — но у Тарасия Петровича характер все же несколько тяжеловат. Та без всякой обиды и даже как-то радостно подтвердила: «Ох, тяжеловат! Как вы это, деточка моя, верно все угадали. Крутой у него ндрав. Вспыльчивый! Только что ступы да печи на моей спинушке не побывало! А так-то хороший он у меня: черного слова вовек от него не слыхивала!»

Когда Раиса рассказала об этом разговоре своем, хохотали все очень. В особенности Никита. Прямо-таки до слез! Успокоившись, заверил свою невесту, что «черного слова» и она от него не услышит, а вот насчет ступы и печи — не ручается: «ндрав» у него тоже не из легких!

Ольга Александровна погрозилась:

— Вот я тебе! Не бойся, Раисочка, чуть что — под мое крыло! Он еще из моей воли не вышел!

Несказанно прелестная стояла Раиса перед большим зеркалом, уже во всем своем уборе невесты, перед тем как поехать в церковь. На ней было белоснежное атласное платье: и этого заветного и драгоценного своего платьица не пожалела для невестушки «богоданная матушка» — так наименовала Ольгу Александровну перед Раисой исхлопотавшаяся, растроганная хозяйка.

Раиса даже и самой себе понравилась очень!

Щеки у нее рдели. Хотя и остриженные, ее золотые волосы, тронутые слегка горячей завивкой, давали изумительное сочетание с белоснежным платьем.

Залюбовавшись, восхищенная Пелагея Ефимовна стиснула руки и воскликнула:

— Ой, да чисто снегурочка! От солнышка беречь!

Но, оставшись наедине с супругом своим, посетовала:

— Только уж худенькая очень: и впрямь, не растаяла бы!

Тарасий Петрович унял ее нестрого:

— Будет тебе! — Помолчав, благодушно-мужски успокоил: — В молодушках раздобреет!

Наглухо запертые снаружи оконные ставни. На задвижке — сенная дверь. На крюке — тяжелая, войлоком обитая дверь из кухни в сени. Да и ворота, сибирские, непроломные ворота, задвинуты во всю свою ширь, вместе с калиткою, толстенной завориной изнутри: уж не распахнутся!

А во дворе спущен с цепи матерой пес: от непрошеного ночного гостя.

И никому на улице и в голову не придет, что в этой вот приземистой, темнобревенчатой хоромине вовсю пирует шумное свадебное застолье — звенят бокалы, искрясь шампанским, сквозь радостный смех и говор звучат здравицы в честь новобрачных: позаботился Тарасий Петрович, чтобы пиру свадебному ниоткуда извне никакой помехи!

А пируют всего-навсего шестеро: первым делом — сам «князь» со «княгинею» — так, по обычаю, изрядно завеселевший хозяин величает сегодня жениха с невестой: Никиту Арсеньевича и Раису; затем — Ольга Александровна и Сережа; а там — хозяин с хозяйкой — только и всего.

И у Сергея вырвалось жалостно:

— Как все-таки плохо, что отца с нами нет... в такой день!

Ольга Александровна, вся внутренне вздрогнув, словно в сердце ужаленная, успела, однако, овладеть собой. Лишь свела на мгновение тонкие дуги бровей и,

помолчав, ответила сыну с некоторым раздражением и укоризной:

— Сережа, но я же вам говорила, что нет ему никакой возможности уехать сейчас из дому... И не береди мне сердце!

Сергей виновато промолчал.

Никита же испытующе посмотрел на мать, вздохнул и пошутил мрачновато:

— Да-а! Как все равно в осаде празднуем свадьбу!

В ответ Сергей, отложив гитару:

— А мы в осаде и есть. Сегодня иду из института — что, думаю, за листовки расклеены? Подхожу, читаю: Томск на осадном положении!

Наступает молчание.

Но вслед за тем расплясавшийся под гитару хозяин, тряхнув кудлатой башкой, взмахивает по-удалому богатырской ручищей и восклицает:

— А нам что? Осадно не осадно, а мы никому не мешаем! Пируем свою свадьбу, и нету нам никакого дела ни до кого: кому там осадно, кому — досадно! — И всем своим багровым, разгоряченным от вина и пляски лицом благодушно и усиленно подается к Сергею: — А ты, Сереженька, играй! Что перестал, голубь? А я только-только что расплясался... Шибко хорошо играешь: под твою гитару и плясать и умереть!

Но в это время Сергей, снова взявшийся было за гитару, вдруг решительно отбрасывает ее на тахту и жестом спохватки и отчаяния хватается за голову:

— Боже мой! Уже без четверти девять! Опоздаю! Мамочка! Раисочка! Никита! Вы меня простите, но я совсем, совсем забыл: должен бежать. Немедленно.

И — встает.

Ольга Александровна — в тревоге:

— Постой, да что же это такое? Куда тебе? Зачем? Только что сам сказал: осадное положение в городе, а ты...

Сергей вспыхивает. Растерялся. Но через мгновение с досадой:

— Ну и что ж такого? У меня с собой студенческое удостоверение. Нас не задерживают.

— Да что там у тебя, что никак нельзя?

— Вот именно, что нельзя! Вчера профессор сам объявил, что, если кто не придет на этот последний

семинар... Начертательная геометрия... Самый паршивый предмет!...

Молчавший до этого Никита вступает в его пререкание с матерью:

— Останься! Никуда ты не пойдешь на ночь глядя!

И с многозначительным смыслом, понятным лишь для самого Сергея, доканчивает рассчитанным каламбуром:

— И вообще: *на черта* тебе сдалась эта *начертательная* геометрия?! Голову сломать можно!

А затем, для прикрытия смысла сказанного от всех остальных, добавляет:

— Головоломная, брат, штука!

Сергей в отчаянии взмаливается:

— Но ты пойми: последний семинар перед экзаменами! Он же срежет меня!

Никита — невозмутимо:

— Не срежет. Наконец, если хочешь, я сам завтра съезжу к этому твоему профессору и объясню, что это я задержал тебя ввиду... ввиду осадного положения... Да, наверное, и никто из товарищей твоих не придет!

В ответ у поникшего головою Сереженьки, понявшего, что грозный брат никуда его не отпустит, с тоскою вырвалось одно лишь слово: «Придут!»

А они и в самом деле пришли — сошлись все, кроме Сергея Шатрова. Впрочем, значился он там совсем под другим именем. Вдобавок, была и кличка.

Недалеко от деревянного моста через «внутригра́дскую протоку», как в старинном некоем акте наименована была речка Ушайка, над самым обрывом ее овражистого берега, с буграми мусора, проросшего кустарником и бурьяном вплоть до самой воды, стоял чернобревенчатый, обширный, с мезонинчиком домище, окруженный с нагорной стороны тоже темным от ветхости заплотом, с навесами и тяжелыми воротами.

Странный был дом! Если смотреть на него с другого берега речки, то он казался как бы свайной постройкой: такой вид придавали ему сзади высоко обнаженные столбы, на которых покоились крытые дощатые переходы с наречной, тыловой стороны.

Только странное дело: если бы кому-либо вздумалось понаблюдать за этим подмостником подольше, то

иной раз и заметил бы он, что вошедший из-под берега в него человек обратно так и не появляется. Стало быть, оттуда в самый дом есть лесенка, дверца. Но мало ли чего не бывает в старых домах Сибири, каких только тайников не нагораживал в своей хоромине опасливый домохозяин! Сейчас-то никому и в голову не придет наблюдать за этим домом, если владелец его — Закупсбыт, а обитает в нем со своей старушкой старый товаровед-заготовитель, служащий этой всесибирской кооперации, на которую даже и сам товарищ Ленин возлагает надежды: что можно и до́лжно, дескать, впрячь ее целиком, после некоторой очистки от эсеровских элементов, в государственное, в социалистическое хозяйство. И кому какое дело — разве только дотошному какому-либо томскому краеведу! — что в старые, еще давне-царские времена хоромина эта, состроенная из бревен толщиною в обхват, принадлежала прасолу-старообрядцу, но особого, крайнего толка — «скрытников». Люди эти считали святым своим, неукоснительным долгом бегать, скрываться до конца земных дней своих от всякого «антихристова пятнания»: и от паспорта, и от податей, и от переписи, и от прививки оспы. Одни «бегали», укрывались, а другие, кто побогаче, подомовитее, обязаны были прятать их от властей, поить-кормить на перепутье; а для этого надлежало и дом и двор строить с тайными ке́лейками, лазейками и чуланчиками, иной раз под самой русской печью, в подполье. Как полагалось в таком «укрывище», и дом, что стоял над оврагом Ушайки, имел три выхода — три входа: один — передний, на улицу, другой — в переулок и третий — через подмостник, в речной овраг. Но если бы кто вздумал *днем* взять под наблюдение этот потайной лаз, тот никого бы не заприметил: только ночью — да и то, если безлунная ночь, — с тропинки, проторенной под берегом, нет-нет да и свернет к дверце подмостника и там вдруг исчезнет человек.

Но и входящие среди бела дня через явные два входа вряд ли вызовут у кого-либо подозрение: Томскому Совдепу известно, что обитает здесь заготовщик Закупсбыта — и мало ли какого народу не перебывает у такого человека! И что ж такого, если вошел человек с переулка, через черный ход, а вышел на улицу, через парадный? А если даже и с переночевкой остался гость

или посетитель, разве извне смотрящий сможет это определить? Ведь и уйти мог через другие двери!

Но не так-то и гостеприимны хозяева этого дома! В часы работы, то есть до четырех часов пополудни, каждый, конечно, если по делу, свободно может войти в переднюю, а там и в большую комнату, где стоит стол-прилавок приемщика, усыпанный всевозможными семенами масличных культур: от конопли до подсолнуха. Тут же, возле стены, на покатом прилавке, под стеклом, выставлены образчики семян с кратким пояснением, какой должны быть они кондиции: конопляное, льняное, подсолнечное.

А с четырех часов, уж извините, каждому совслужащему положено отдыхать, а чем же служащие в кооперации хуже? Дверь заперта, и открывают через цепочку: оглядев и опросив, по какой надобности.

Однако реденько что-то беспокоят приемщика томичи с предложением *этих* семян! А вот объяви Закупсбыт скупку кедрового орешка, так тут бы двери не закрывались: далеко ли от города кедровники? А масла-то в этих орехах сколько, да и какого: валюта!

Не догадались! А скорее всего: чтобы спокойнее жить, пореже дверь открывать. Не любят здесь этого! Однажды, в начале сего апреля, один паренек, в кепочке, в пальтишке, невидный собою, вечерком вздумал достучаться, чтобы впустили. Достучался. И даже туда впустили, куда из чужих не было доступа: в самую глубь дома, в тайник, где в былые времена особо чтимых «скрытников» прятали. А обратно не вышел бедняга — нет, не вышел, хотя бы и у всех троих выходов родная его матушка все глазыньки проглядела!

Выстрел из браунинга в упор и вообще-то бывает глуховат, а если здесь, в *потаенной,* при запертых на ночь ставнях да при двойных зимних рамах, — там, снаружи, на улице, хоть ухом припади — ничего не услышишь! Да и без выстрела не пострашатся убрать опасного или заподозренного человека истинные хозяева этой темной бревенчатой хоромины — люди военные: три года на фронте приучили и не к тому. А вплотную холодное оружие даже и надежнее. И это пустяки, что кровь трудно отмывается: только ногти надо стричь покороче...

Но есть в Томске несколько человек, перед которы-

ми и в ночь и в полночь эти страшные двери отворяет одно лишь вполголоса сказанное слово.

Правда, это слово-отмычка тайным приказом старшего в случае тревожных обстоятельств или провала немедленно меняется. Так что прийти со старым — впустить-то впустят, ну а выйдешь ли — неизвестно!

Такая участь могла постигнуть и Сергея Шатрова, вздумай он со старым паролем нажать потаенный дверной звонок этого дома, после того как Никита Арсеньевич не отпустил его на вечерние «занятия».

— Мне только что донесено, господа, что один из тех, кому приказано было стоять сегодня во внешнем охранении нашего совещания, не явился на свой пост. Надлежащие меры приняты... Но, однако, кто из вас, господа, давал свое поручительство этому... этому суслику?! Кажется, вы?!

Багровея крепким, упитанным лицом от с трудом подавляемого гнева, но, по старой гвардейской привычке, стараясь перевести взрыв этого гнева на высокомерную и злую издевку над подчиненным, глава военного подполья Томска полковник Сумароков, с растяжкою на *а* с командирскою хрипотцою низкого голоса, обводил взглядом всех чинов подпольного штаба.

И, отодвинув подальше от себя свечу в медном подсвечнике, в злобной тревоге, полковник сверкнул глазами на поручика Гуреева.

Окликнутый Гуреев испуганно вскочил со своего стула, хотя приказом начальника и отдание чести друг другу, и вскакивание, и пристукивание каблуками, и вытяжка, да и вообще все навыки военного чинопочитания между членами тайной военной организации были решительно запрещены. К тому же и на этом чрезвычайном заседании штаба все были, как всегда, в гражданском, а не в военном одеянии.

Но, странно, это его нарушение приказа явно смягчило гнев полковника Сумарокова. Уже несколько мягче он сказал:

— Сидите. Прошу вас! Да! Я помню прекрасно, что это вы рекомендовали нам этого Шатрова... Сергея... Скажите, вы давно знаете этого Шатрова?

— Так точно! Знаю его с детства. Соседи по Тоболу. Дружны семьями.

— Ну и что же? Какие именно душевные качества этого молодого человека дали вам основание взять на себя столь высокую ответственность? Ответственность поручителя?

— Прежде всего, этот юноша самых высоких рыцарских понятий о чести и достоинстве человека.

Произнеся эти слова, Гуреев рассчитанно замолчал и пытливо посмотрел в погруженное в глубокую тень лицо полковника. В комнате, несмотря на то что электропроводка была в полной исправности и энергия в частные дома подавалась до двенадцати часов ночи, горела свеча, и только одна-единственная, а потому стояла полутьма, и надо было основательно приглядеться, чтобы различить лица друг друга.

Это делалось нарочно, на случай внезапного вторжения непрошеных гостей: стоит лишь дунуть на пламя свечи — и комната погружается во мрак. Своим же известны все входы и выходы. И у каждого из членов штаба в кармане электрический фонарик и небольшой плоский пистолет: тесное содружество с подпольем эсеров уж кое-чему научило за последние месяцы и кадры офицерского подполья, хотя все еще в плоть и кровь вошедшие навыки военной среды сказывались и прорывались, делая подчас беспощадно-неуклюжими конспиративные ухищрения господ офицеров.

Об этом сейчас и думалось с печальной усмешкой начальнику штаба томской военной организации, молодому, двадцатисемилетнему подполковнику Пепеляеву. Впрочем, для солдат его полка там, на фронте, он — лихой и сметливый начальник разведки, отважно-удачливый и не возвышавший себя над «нижним чином» офицер-сибиряк, обладатель и офицерского белого крестика, и солдатского «георгия», присужденного ему солдатами, — там он всегда и необоримо был не Пепеляев, а Попеляев. И Анатолий Николаевич, одержимый чуть ли не с детства неистовой верой в Сибирь да и теперь крепко связанный с подпольем областников Сибири, запретил исправлять и наказывать солдат за неверное произношение его фамилии. «Это — по-сибирски. По-нашему. Не трогайте их!» Втайне он чувствовал, хотя и неловко было ему признаться в том, что в этом «Попеляев» скрыта некая особенная теплота и почитание любимого командира со стороны солдат-си-

биряков. Назови они его меж собою по-интеллигентски — «Пепеляев», и он встревожился бы: не теряю ли я в их сердцах командирское обаяние?!

Опытнейшему командиру боевой разведки, ему порой даже удивительно казалось, как это до сих пор их всех вместе, как перепелов сеткою, не накроет Томская чека? Иногда он чувствовал себя смертником. Иной раз впадало в мысль, что стоило бы ему — прежде, конечно, чем спутаться с тайной организацией, — предложить свою помощь большевикам в создании Красной Армии в Сибири, и каких бы теперь командных высот не достиг бы он, Пепеляев, у них, у большевиков! Да разве он хуже барона Таубе? Но для него, Пепеляева, бесспорным казалось, что дни советской власти сочтены, — во всяком случае, здесь, в Сибири; что народ, в особенности крестьянство, против. Было и еще одно обстоятельство, чисто семейного, личного порядка, у Анатолия Пепеляева, побуждавшее его вступить в стан врагов советской власти и отдать свои силы и боевой опыт на подготовку вооруженного свержения Советов на сибирской земле. Обстоятельство это заключалось в том, что его старший брат, Виктор, некогда всего лишь учитель истории в городе Бийске, но в дальнейшем член Государственной думы последнего созыва от Томской губернии; а при Керенском — комиссар Кронштадта, пытавшийся было взнуздать кронштадтцев; доброволец, примкнувший к Корнилову; правый кадет, тяготевший к монархии или, в крайнем случае, к военной диктатуре; ныне же один из главарей «Национального центра» там, в России, — этот старший брат был всегда в глазах Анатолия недосягаемой высоты государственным деятелем, самоотверженным сыном России, перед которым он, «простой солдат», привык склонять голову.

Между тем сам по себе Анатолий был, скорее, правым эсером, но и одержим был при этом самым крайним, потанинским, ядринцевским областничеством, вплоть до федерального обособления Сибири, со своим учредительным собранием, со своим сибирским правительством. Это воодушевляло его. Это сделалось его верой. И не подлежало в его сознании никакому перешевеливанию и пересмотру. «Я прежде всего — солдат народа. И — сын Сибири. Сибиряк пойдет за мной!»

В глубинах своей души Анатолий Пепеляев был не-

искоренимо убежден, что если не Наполеоном Сибири суждено ему стать, то, во всяком случае, *маршальский-то жезл* он в своем ранце носит. «И почему бы брату Виктору не стать со временем, когда свергнем большевиков, главой правительства, главой государства, а мне — верховным главнокомандующим вооруженными силами Урало-Сибирской автономной республики? Виктор куда больше, чем я, смыслит в чисто политических вопросах, но народную армию я сумею создать. И удержать ее в своих руках тоже сумею!»

Он и всем обличием своим был прост. Русское, удало-добродушное, широкое лицо молодого фельдфебеля, темно-русая челка, закрывающая часть узкого и покатого лба. Сильные челюсти, обритые, с корешками полусбритых усов под отлого вздернутым, широким носом. Темно-карие, с затаенной озорной искрой глаза. Народный, сибирский говор. И одеяние, мало чем отличное от солдатского, разве только погонами.

Взрастив в своей честолюбивой душе образ «отца-командира», о коем принято говорить: «душа своих солдат», «они за ним — в огонь и воду», подполковник Пепеляев настолько всем своим существом вошел в эту роль, что даже во всем обиходе своем чрезвычайно, против других офицеров, заметно опростился: спал вместе с солдатами своей разведки, а не в офицерской землянке; ел из общей миски с солдатами и деревянной ложкой, носимой за голенищем грубого сапога; запросто брал из рук солдата недокуренную цигарку и докуривал ее сам; силен был и в по́ходя произносимой ругани.

На отдыхе, в час досужный, не чурался и чарки, поднесенной солдатами, и переплясывал любого. И надо сказать, что в сочетании с дерзкой отвагой, удалью, силою и глазомером да вдобавок еще и с неизменным успехом в самой отчаянной разведке — это все и впрямь создавало Пепеляеву властное обаяние над сердцами солдат. И ореол этот, естественно, ширился молвой: «Ну, дак это, братцы, Попеляев, а не то что *те!*»

Поставивший себя в добровольное подчинение полковнику Сумарокову, как начальник его штаба, Анатолий Пепеляев работал не щадя сил и с военной точки зрения был вне всяких нареканий; но он с большим трудом подавлял глубокую неприязнь к полковнику — и за его барские, аристократические замашки, и

за монархизм, открыто высказываемый Сумароковым. «Вот такие господа погубят все наше дело, — говаривал он. — Оттолкнем от себя все демократические элементы!»

Был и другой образчик офицера, вызывавший у него почти презрение. Этих он награждал кличкою «мамзель на цыпочках». К таковым относил он и поручика Александра Гуреева, хотя и знал, что оный поручик, самоочевидно поставя на карту свою жизнь, одним из первых в качестве военспеца проник в ряды едва начавшей возникать Красной Армии, будучи в то же время членом тайной организации, возглавляемой на Тоболе Петром Аркадьевичем Башкиным.

Вот почему с затаенным удовольствием Пепеляев и слушал теперь, как Сумароков «цукает» Гуреева.

— Итак, юнец — не военный, заметьте! — за которого вы своей головой отвечаете, исполнен самых высоких понятий о чести и достоинстве *человека?* М-м! Я бы сказал, что этого маловато, чтобы подпустить его столь близко к нашему святому делу и — вы сами понимаете — к жизни всех нас... Хотя это последнее обстоятельство не столь уж существенно!

И тогда-то поручик Гуреев прочел наконец в голосе полковника, чем следовало козырнуть:

— Точно так! Но главным для меня было то, что Сергей Шатров — беззаветный русский патриот. Это я знаю доподлинно. Когда он узнал о брестском позоре, он хотел застрелиться... — И вновь повторил убежденно, с напором: — Беззаветный русский патриот!

— Это совсем иное дело! И это — главное. А я ведь припомнил его, хотя и видел только однажды. И признаться, он мне показался... излишне, знаете ли... *кучерявым!* Но, раз вы знакомы с ним с детства...

— Да! Шатровы — чистокровная русская семья!

— То-то и оно-то! А то возьмем наших, так сказать, невольных союзников, эту самую... Сибоблдуму... Язык сломаешь! Вот мы... — тут он слегка повел рукою в сторону Пепеляева, сидевшего чуть позади, — иной раз вступаем меж собой в пререкания, почему это, дескать, я не иду на более тесное сближение с их здешним тайным комиссариатом, что ли. Но позвольте, говорю: Сибирская дума, в которой депутатами от сибирского «трудового крестьянства» являются с какой-то стати Гольд-

берг, Фельдман, Линберг, Залкинд и Кроль... такая дума, извините, не располагает меня к открытым объятиям!

Здесь начальник штаба не выдержал обычного для него молчания:

— Можете прибавить к этому Патушинского Григория Борисовича! Член Сибирской областной думы и, насколько мне известно, ее кандидат в министры будущего нашего правительства.

Сумароков, досадливо повернув голову в его сторону:

— Да! И — что же?!

— Но мне-то хорошо известно, что с началом великой войны он добровольцем пошел на фронт и имеет боевые награды — до Владимира четвертой степени, с мечами и бантом включительно! С мечами! По профессии же — адвокат. И весьма преуспевавший. Даже знаменитый. Здесь, в Сибири... По национальности же...

Полковник прервал его:

— Можете не договаривать... И я не хотел бы, чтобы мне приписывали... излишнее!

И, произнеся это, он, раздраженно отдуваясь, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Пепеляев молчал.

Тогда Сумароков, снова приняв бодрую и строгую позу, счел нужным добавить:

— Не разделяю я и ваши чрезмерные упования на боевые силы наших сегодняшних невольных, я бы сказал даже — *подневольных* союзников против... губителей России. Ибо что такое эсеры? Непревзойденные бомбометатели, убийцы из-за угла, виртуозы конспираций... Но и только! А государственники они хреновые! Нет, нет, не им созидать грядущую Россию! Они разрушители,

Пепеляев молчал. Его давно уже раздражало это не перестающее политическое словопрение на совещаниях их руководителей — «восьмерки», именовавшейся к тому же «штабом». Кой черт! Штаб так штаб! Его обязанность и задача — руководить военными действиями, вооруженной борьбой, а это нечто вроде «совета министров», да еще и не существующего, а только хотящего существовать правительства: все еще определяют «ориентацию», с кем идти; спорят о причинах поражения в

большой войне; гадают о том, какой провозгласить государственный строй, когда свергнем большевиков! Вот тебе и *военная* организация! А тем временем Чека уже начинает выпускать когти: схвачен и погиб штабс-капитан Лаптев из подполья областников. Расстрелян. Вел себя мужественно. Не назвал никого. Однако ему во время допроса следователь показал список главарей и план восстания. Значит, кто-то же у них предал? Накроют и нас, если еще будем кипеть в этой говорильне! Правда, «мостик» между нашей организацией и областниками очень узок: пока всего лишь *один* человек — он сам, Пепеляев! А себя-то он знает: умереть, не дрогнув, сумеет! Но а в чем порука, что вот и здесь, в этой полутемной комнате, среди них не сидит предатель?

И не в силах отделаться от этой тяжкой думы, он стал пытливо, но украдкой рассматривать одного за другим членов штаба, мысленно примеряя предательство к лицу и ко всему душевному облику каждого. Их родители; семейное положение; их взгляды, судьбы; их боевые отличия; обиды и ущербы каждого, понесенные от большевиков,— все это было ему досконально известно как начальнику штаба, хотя, повинуясь законам конспирации да и привыкнув так поступать в разведке, Пепеляев держал все в памяти, ничего не записывая. Впрочем, весь так называемый *кадр* боевых сил белогвардейского подполья Томска, им непосредственно руководимый, был счетом восемьдесят шесть человек, что едва хватило бы для развертывания пехотного полка.

«Вот начальник *связи*, чем-то напоминающий Шевченку, приземистый, полный капитан Жданов. Он весел и оживлен, словно бы на приятельскую вечеринку пожаловал. Его фронтовое прошлое безупречно. От свиставших вкруг головы его австрийских пуль отмахивался ладонью, как все равно от пчел, нарочно, чтобы подбодрить и посмешить поднятых им в атаку солдат.

Начальник *контрразведки* подпоручик Еремеев. Весь курчавый, как барашек. Курчавой обложен бородкой. Кудрявая голова. Кто-то прозвал его Каракаллой: будто бы у императора Каракаллы такая же вот была обложенная кудерцами голова. Головорез. Хваткий. Быстрый. Сообразительный. Не знающий пощады. Долго болел после солдатского самосуда. Этот — вне сомнения!

Капитан Достовалов, начальник «террористической

группы». Что ж! Пора и нам, бойцам открытого боя, поучиться кое-чему у тех, кто убил великого князя Сергея, убил фон Плеве, Столыпина! Этот не предаст! На его счету, у этого хлипкого с виду, болезненного человека, — убитый там, на фронте, председатель полкового комитета; бегство; уход в подполье и — уже здесь, в Томске, — террористический акт, им собственноручно осуществленный.

Полковник Укки, финская кровь. Заместитель начальника террористов. Кремень. Порою страшно становится слушать его, когда в предвкушении кровавой расправы над комиссарами он явственно глотает слюни!

Да и кто из них может рассчитывать на пощаду в Чека? Нет, надежны, проверены все. Это — наши, томские. А вот приезжий. Капитан Гарпиев. Тихон Львович. С Тобола. Прибыл в Томск по командировке правления сибирских маслодельных артелей как помощник главбуха, с полномочиями ревизора и организатора новых артелей — вплоть до Алтая! Но возвращаться к себе, на Тобол, не собирается: коротко сказал, что почва там «жжет подошвы». Чудак! А здесь? Побывал он и в Ново-Николаевске. Имел честь предстать перед грозные очи самого Алмазова. Так что в некотором роде эмиссар высшего, хотя и тайного покамест, начальства над всей Западной Сибирью. Сегодня сделает информацию. Доблестнейший из фронтовых офицеров. Одиннадцать ранений на двух войнах: георгиевский кавалер полного банта! Окончил, хотя и с большим запозданием, Академию генерального штаба; перерыв был по его собственной «вине» — с началом русско-японской войны ушел из академии: «прикомандировался добровольно к 34-му стрелковому Сибирскому полку». Первое ранение — в бою под Ляояном. После японской войны вернулся в академию. Затем снова, и опять добровольно, в пучину большой войны.

И Пепеляеву вспомнилось. Когда, по предъявлении Гарпиевым пароля и тайного удостоверения, зашитого в плечи полушубка, он взял его к себе переночевать, они чуть не до рассвета проговорили с ним. И вот, когда зашла речь о тех, что пошли на службу к Советам, Тихон Львович Гарпиев, приподнявшись на своей койке, осветив последней затяжкой папиросы свое жесткое, худое лицо, произнес озлобленно и страстно:

— Шкуры! А что касается меня, то со мною, с человеком, чью кровь, за Россию пролитую, они, господа большевики, спустили в черную яму Бреста, — со мною им до гроба не рассчитаться! До моего или ихнего гроба!

И освещенное на миг затухающей папиросой лицо его показалось кроваво-красным.

Пепеляев спросил его, почему же так медленно идет набор в организацию по Тоболу? Ведь в случае мятежа под рукою у Гарпиева окажется не свыше батальона повстанцев. Капитан ответил:

— Да, пока что формально, с присягой, только горстка интеллигенции. Зажиточный крестьянин, конечно, с нами, но он под надзором и остерегается. И если не выступят чехи, то безумием будет и начинать. Передушат, как котят! У нас Чека не то что здешняя, ваша... Есть там у нас одноглазый дьявол... Но ничего: и он у нас на мушке! А пока что ни мне, ни этому землячку моему... (он говорил о Гурееве) нечего и думать о возвращении на Тобол. И днем и ночью ждешь... Особенно ночью, часов этак около двух: любимое их время! Нет, не подпольщик я! Привык — во весь рост на пулеметы! Черт с ним: убьют — убьют! На то и солдат: убивать и быть убитым. Я по старику Дрогомирову воспитан. А эти подползания, перебежечки — ну их к черту!

На эти его признания Пепеляев, однако, возразил, что он как старый разведчик привык и к подползаниям, хотя длительное бездействие тоже начинает его тяготить. Так что невольно закрадывается подозрение, что руководитель томского военного подполья полковник Сумароков, попросту говоря, *трусит* начинать.

Его удивил ответ капитана Гарпиева:

— Он прав: начинать без чехов — безумие. Жалко нашу молодежь. Мальчишек погубим! У нас по всей Сибири, включая даже Иркутск, семь с половиною тысяч! Одни рабочие дружины, особенно на Урале, захлестнут нас. Ведь, смотрите, Дутов со своими казаками как сильно начал — а что в итоге? Разбит!

— А что же мужички ваши, тоболяне?

В ответ Гарпиев зло и в то же время как бы с невольным восхищением врага, фыркнув и с покровительственной сипотцою в голосе, отвечал:

— А челябинский, курганский мужичок наш — он извечный пугачевец, сукин сын! — Затем, помолчав,

счел нужным добавить и объяснения от современности:

— Деревня сибирская сейчас захлестнута бросившими окопы фронтовиками. Они правят. Задают тон. А это, сами понимаете, какая силища, если опять схватятся за винтовку! Ну-с, и затем сибирячок наш все еще не разуверился в большевицком рае. Ну как же? «Мир, земля, грабь награбленное!» Но что же делать? Если прикажут — начнем. Передний заднему — мост... — И завершил, глухо рассмеявшись: — ...на погост! Кому-то умирать надо. А нам с вами не привыкать!

В эту ночь в душе Пепеляева возникло к Гарпиеву чувство глубокого родства сердец, родства мужества и единого смертного пути. Хотя он так и не понял, кто же, в конце концов, его ночной гость по своим политическим убеждениям. Монархист? Но едва только он попытал Гарпиева насчет этого, тот желчно ответил:

— Отпадает! И едва только заикнемся об этом — отшатнем весь народ! Найти надо дурака, да и не брезгливого притом, чтобы согласился на свою башку корону напялить, в которую опростался Гришка Распутин! Учредительное собрание? Эсеры? Полноте вам, Анатолий Николаевич! Я знаю ваше тяготение. Но мне даже странно слышать об этом от вас, мужественного и умного русского офицера. Неужели вы согласитесь отдать свою жизнь за этот смешной и нелепый правоэсеровский обрубок? И они хороши, прославленная боевая, народная, мол, партия! Где же их бесстрашные террористы? Где их сила в народе? Боевые дружины? Сопляк, мальчишка-матрос положил свою лапу на плечико товарища Чернова, гражданина председателя Учредительного их великого, священного собрания: «Расходитесь, караул спать хочет!» И что же? Разошлись! Без звука!

Задетый за живое, Пепеляев бросил ему возражение:

— Но вы-то за что готовитесь умирать, Тихон Львович? Каково ваше знамя?

В темноте — безмолвие. И затем:

— Допрос? По обязанности начальника штаба?

Пепеляев обиделся.

И тогда Гарпиев, смягчившись:

— Я пошутил! Вот вам мое «Верую». От вас ли я стану скрывать? — Нашарив на столике спички, он за-

курил. Затем лег снова и, словно подчеркивая огненной чертой взмахиваемой в левой руке папиросы каждое слово, раздельно и убежденно произнес: — Бог... Россия... Расправа!

...Сейчас, на совещании тайного штаба, остановив испытующий взор на капитане Гарпиеве, Пепеляев вспоминал их ночной разговор. Ничего особенного, резко выделяющего из среды хотя бы тех же «клерков» Союза сибирских маслодельных артелей: сухая, в меру откинутая голова; тонкий нос с горбинкой; пенсне, по-старинному, со шнурком; бритый, нерезких очертаний подбородок с ямочкой; подстриженные рыжеватые усы — треугольничком. Темно-русые, скорее даже пепельного цвета, гладко примазанные каким-нибудь там бриллиантином, с косым пробором волосы. Большой, с гранями по бокам, с залысиною слева выпуклый лоб. Сурово-деловой взгляд серых, вскидчивых глаз, кажущихся большими сквозь увеличивающие стекла...

«Ну как есть типичный провинциальный бухгалтер: молчаливо-взыскательный к подчиненным; гроза подведомственных союзу отделений! Поди дознайся, кого они посылают «инструктировать» чуть ли не всю Западную Сибирь! Да! Этот не проболтается. Этот ничем себя не выдаст!»

И при воспоминании о только что минувшей ночи, где этот странный и страшный человек раскрыл перед ним всю душу, он подумал: «А сейчас вот, на совещании, словечка единого не проронит, хотя уже и начинают закипать страсти!» А он взял да и проронил! И не меньше, чем Пепеляева, всех поразило прямое обращение гостя с Тобола к поручику Гурееву:

— Скажите, а что, папаша этого самого молодца, коего, как слышу, рекомендовали вы, Арсений Тихонович Шатров, по-прежнему... *флиртует?..* — Тут, с легким наклоном головы, он пояснил, обращаясь ко всем: — Вам, господа, понятно, конечно, что лишь из уважения к собравшимся я не прибегнул к более прямому и грубому слову. — И снова — тот же вопрос Гурееву: — По-прежнему, я спрашиваю, сей господин Шатров *флиртует* с большевичка́ми?

От этого неожиданного выпада поручик Гуреев растерялся. Выигрывая время, задал Гарпиеву совершенно излишний вопрос:

— Вы это — ко мне? О, теперь его флирт с большевиками — дело прошлое. После того как его под конвоем, на виду всего города, пешочком этак и — в тюрягу! Подержали, правда, недолго, но все равно он им этого никогда не забудет, не простит! Надо знать господина Шатрова: гордость, гордость и гордость! Что же касается этого «флирта», то здесь просто-напросто отрыжка, господа, девятьсот пятого года. А у Шатрова, как на грех, роковая с тех пор завязалась дружба с неким деятелем тогдашнего большевистского подполья... Кто он на самом деле, не знаю. Но известен у нас под фамилией Кедров. Теперь о нем говорят, что будто бы сей Кедров чрезвычайный эмиссар Ленина по всему Приуралью. Когда я отбыл... с Тобола, Кедров как раз совершал бешеное агиттурне по уезду...

— ...едва не последнее!

Эту реплику бросил капитан Гарпиев.

Полковник Сумароков остановил Гуреева: было видно, что ему хочется разразиться перед офицерами очередным словом брюзгливо-гневного назидания.

— Да-а! Поучительная, господа, перед нами историческая панорама. Кто в течение десятилетий расшатывал престол? Кто раскрывал свои кошельки для наших Маратов, Робеспьеров? А вот эти господа Шатровы, Морозовы, Коноваловы, Высоцкие! А теперь взвыли, голубчики! Поздно, судари мои, поздно! — Затем обратился с прямым выговором к Гурееву: — А вам я должен сделать самое суровое замечание. Так нельзя. Вы скрыли от нас, давая поручительство, что представляемый вами в члены нашей организации Сергей Шатров происходит из семьи, запятнанной давней близостью с большевиками. На первый раз ставлю вам на вид... и... впредь лишаю вас права рекомендовать! — И, уже ко всем обращаясь, все еще багровый лицом в пламени нагоревшей свечи, Сумароков заключил этот выговор обращением ко всем: — Господа! Будьте бдительны! Осмотрительность не есть трусость! Малейшая оплошность — и вы не только свою жизнь, но и жизнь всех нас подвергли бы смертельной опасности! Вот хотя бы и этот случай, с неявкой на пост этого самого Шатрова...

Договорить полковнику не дал страшный, *шлепнувший* стук за глухо запертыми дверьми, где-то в ближайших комнатах. Звон разбитого стекла...

Пепеляев мгновенно дунул на свечу и загасил. Все застыли на миг. И не было ни одной руки, не схватившейся за рукоять пистолета.

Да и нетрудно было представить, что́ произошло там! Выследили. Дом обложен чекистами. Кто-то из них, выставив наружную оконную раму, выбил внутреннюю и впрыгнул. Сейчас ворвутся: «Руки вверх!» И либо сдавайся, либо принимай бой: все равно расстреляют!

Послышался неторопливый голос Сумарокова:

— Спокойствие, господа, спокойствие!

А в следующее мгновение увидели, как скинувший быстро свои солдатские широкие в голенищах сапоги Пепеляев, неслышно ступая в шерстяных носках, освещая пол электрическим фонариком, прошел к двери, распахнул ее и, крадучись, вышел.

Долго не возвращался. Сидели молча, в темноте, правой рукой взведя пистолеты, левой держа фонарики.

Изнурительные секунды! Вряд ли кто из них испытал чувство страха — не из тех были выбраны люди и на то шли! Но каждый ждал, что вот-вот раздастся гулкий в пустынном доме звук выстрела — и всем предстоит неминуемая и смертельная схватка!

Но вот скрипнула дверь, и, освещаясь, вошел с улыбкой на удалом, широком лице Анатолий Пепеляев. Отвечая на безмолвное вопрошание глаз, сказал:

— Все в порядке! Вернее: в полнейшем беспорядке. Крысы!

И пояснил, что насыпанные на столах в целях конспирации, чтобы похоже было на приемочный пункт, семена масличных привлекли грызунов. Подняли возню, драку меж собой... И которую-то, видно, сбросили: шлепнулась! Стеклянную витрину свергли на пол: стекло — вдребезги!

Рассмеялся.

И общий послышался смех: отлегло! Спрятали пистолеты и фонарики, испытывая некоторую неловкость друг перед другом.

И, уследив это чувство и в других душах, полковник Сумароков счел нужным избавить их от него и еще раз призвать к бдительности:

— Хорошо, что четвероногие. А ведь, чем черт не шутит, каждую секунду мы должны быть готовы к визиту и двуногих! И эти — куда опаснее! Так что...

И, словно подтверждая верность и своевременность его предостережения, под потолком, над головами собравшихся, вызвав невольный вздрог, раздался густой, условный звонок тревоги. Ясно было, что звонит постовой. Постороннему и не найти было звонка, скрытого над притолокой наружных дверей.

Снова гасят свечу. Мрак... И в темноте послышался невозмутимый голос капитана Гарпиева:

— Да-а, четвероногие звонят только в цирке, у Дурова. Посмотрим, кто из двуногих.

И один из первых охватил в правом кармане пиджака шероховатую рукоять браунинга...

На этот раз встретить позвонившего вышел Каракалла — начальник подпольной контрразведки подпоручик Еремеев. Услыхав через щель наружной двери не громко произнесенный пароль постового боевика, отпер. Вошли двое. Перешепнувшись, молча кивнул головой, выпустил на улицу постового, снова запер за ним дверь, заложил цепочкой, а вновь прибывшему предложил идти в глубь дома, впереди себя, низко освещая пол под его ногами. Так, за ярким световым пятном на полу и шел незваный и запоздалый ночной гость, словно за волшебным клубком, ничего больше не видя вкруг себя и чувствуя спиною настороженное дуло пистолета в руке сопровождающего.

Еще не доходя комнаты заседаний, начальник контрразведки подал голос. Свеча вновь зажглась. Все присутствующие оборотились к двери. Двоих не ждали! Всматривались в пришельца...

Трудно было в заурядно-обывательском облике признать Петра Аркадьевича Башкина!

Первым опознал его Гуреев. Радостно-недоуменный возглас вырвался у него:

— Петр Аркадьевич?!

Вторым отозвался на его прибытие капитан Гарпиев. Он встал, приветствуя жестом через сидящих впереди него. Всматриваясь, опознал нежданного гостя Сумароков и широко осклабился улыбкой привета.

Соблюдая положение, Башкин прежде всего направился к нему. Посунулся головою к самому уху полковника, как бы собираясь сообщить ему нечто тайное.

Полковник понял, что означает это движение гостя.

Башкин прошептал ему на ухо свой особый пароль.

С таким же явились в Томск и Гуреев и Гарпиев:
— Тобол приветствует Томь!

— Нежданный, но всегда желанный гость! — так во всеуслышание приветствовал Башкина полковник Сумароков, этими словами как бы представляя заводчика всему штабу. Однако счел нужным оговориться: — Я думаю, господа, что не погрешаю против некоторых известных принципов, так как нашего дорогого гостя, как видно, хорошо знаю не только я один...

Затем, оглядев радушным взглядом усаженного между ним и Пепеляевым Башкина, отметил, что все же узнать его не так-то просто. И впрямь: не было уже и рыжего, выставленного вперед коготка бородки у инженера, и очков в толстой заграничной оправе, да и присущего ему и, казалось, навсегда застывшего сухо-горделивого облика, и прямого пробора примазанных волос: наголо обритый, в поношенном, почти жалком одеянии, Башкин казался совсем другим.

Сумароков, перемолвившись кратко и с ним и с Пепеляевым, объявил, что ввиду прибытия нового и весьма чтимого сочлена, «гостя с Тобола», программа сегодняшнего их совещания существенно изменяется и он предоставляет слово ему.

— Нам предстоит, господа, выслушать весьма важную и как нельзя более необходимую для нас информацию, суть которой, весьма возможно, изменит и наши сроки, и наши ближайшие намерения.

— Я полагаю!

И, начав этим уверенным заявлением, с легким поклоном в сторону и Сумарокова, и его начальника штаба, Петр Аркадьевич Башкин и в самом деле приступил к изложению таких событий и обстоятельств, по сравнению с которыми все здешнее, *томское* показалось вдруг чуть ли не мальчишеской затеей.

Со свойственной ему четкостью, сжатостью, глубиною Башкин раскрыл перед томским штабом, не называя, однако, ничьих имен, и смысл и сроки неотвратимо надвинувшихся над Россией грядущих событий. Как при свете нестерпимого глазу человеческому и непостижимого по охвату мгновенного осияния ночною многоверстною зарницею всей неизмеримой далекости лесов, полей, деревень, так же вот и сейчас перед оторопелым,

почти оглушенным сознанием присутствующих враз раскрылись в самом прямом смысле *необозримые* — ибо от Днепра и до Тихого океана! — чудовищной разрушительной силы, готовые к взрыву «минные поля», заложенные под власть Советов!

И вот не сегодня-завтра эти с неслыханным вероломством, тщательностью и потаенностью проложенные через всю русскую землю, через всю Сибирь «минные поля» враз будут взорваны — по сигналу свыше, приказом из-за рубежа — на протяжении свыше восьми тысяч километров: от Пензы до Владивостока!

...Более чем *сорокатысячный* корпус чехословаков, закаленных во фронтовом огне, в шести многотеплушечных эшелонах, мнимо разоруженных,— корпус, возглавленный высшими офицерами царской армии, наиболее опытными и боевыми,— но теперь, с февраля текущего года, корпус, объявленный неотьемлемой воинской частью вооруженных сил Франции, бывшей нашей, до Бреста, союзницы, — двигался вот уже несколько месяцев от Киева к Владивостоку, распахнув после коротких арьергардных боев всю Украину для вторгшихся в нее австро-германских сил, коим предшествовали гостеприимно сечевики и гайдамаки Петлюры.

Поставленные над чешской легией в России «татичком Масариком» из Парижа «пастыри» с железными жезлами и льстивым языком внушали бойцам корпуса изо дня в день: «Поскольку Советская Россия не намерена продолжать войну с австро-германцами, чехословацкие части переходят в состав французской армии, чтобы продолжать войну с немцами — там, на Западном фронте. Большевики предают Россию и славянство. Граф Мирбах, германский посол в Москве,— полновластный диктатор над Советом Народных Комиссаров. Он уже требует срочного возврата из России всех военнопленных германской и австро-венгерской армий. А в том числе, само собой разумеется, всех чехов и словаков. Но вам ли, братья, не знать, какая участь ждет вас, когда Советы передадут вас — а они это сделают вскоре! — австро-венгерскому правительству? Военно-полевой суд и — виселица!

Через Сибирь, братья, во Францию!»

И этот зов все больше и больше обуревал сорокаты-

сячную солдатскую массу, доведенную до умоисступления одним только многомесячным томлением в теплушках — «сорок человек, восемь лошадей»,— истязуемую тоской по родине, в которую не было и не было возврата; массу, перенапряженную душевно отовсюду грозящими опасностями, слухами и провокациями до степени, за которой только — стихийный взрыв, пусть кроваво-беспощадный, бесповоротный!

Тщетно главком советских войск на Украине, напрасно и предводители отдельных боевых красных отрядов, изнемогая в непосильной борьбе с нашествием, звали чехословацкий корпус примкнуть, стать плечом к плечу, дабы заслонить хотя бы самую глубь Украины и Донбасс от вторжения немцев, поправших вторжением этим даже и Брестский договор,— вожди корпуса — политические и военные — отвечали глумливым отказом, ссылаясь на то, что для этого чехословацкий корпус должен объявить войну и Украинской раде, которая, дескать, добровольно призвала немцев. А по отношению к ней, к петлюровской Раде, чехословаки обязались хранить нейтралитет. А затем — и это был второй довод — мы теперь часть французской армии, наше верховное командование — маршал Петéн, и нам приказано прибыть через Сибирь на Западный фронт.

Против этого отчаянно взывал и с трибун, и со страниц социал-демократической чешской газеты «Прукопник» солдат чехословацкого корпуса Ярослав Гашек:

«Зачем ехать во Францию? Мы должны остаться здесь! Здесь должен остаться каждый из нас, кто знает, что мы — потомки таборитов, первых в Европе социалистов-коммунистов! А это знает каждый чех! Здесь, а не на Западе, суждена нам огромная политическая роль. Мы должны помочь России...

Парни! Не кажется ли вам, что вы предаете Россию, удирая во Францию?»

Семьдесят из ста легионеров — рабочие. Половина бойцов корпуса — социал-демократы. Так не тому надлежало бы дивиться, что из этого исполинского боевого тела, движущегося с чудовищной медлительностью, истязующими душу стоянками и препонами по тысячеверстным железным путям бушующей большевистской России, отламывались, отпадали целые воинские под-

разделения, чтобы вступить в Красную Армию. Нет, не этому всему удивляться, а тому, что все ж таки десятки тысяч чешских, словацких го́хов — «парней», как любил называть их «татинек Масарик», все ж таки верили *ему*, верили заправилам своей *Одбочки* — *отделению* Национального совета для России, верили своим офицерам и французскому верховному командованию, что они, эти господа, и впрямь увозят корпус «через Сибирь во Францию»!

Верили! А ведь ясноголовый чех — крестьянин, рабочий, солдат,— он и умен и скептик! И отнюдь, отнюдь не легковерен!

Знали бы они, эти гохи, что еще *четырнадцатого марта* наперсник и самый близкий советник Масарика, возглавляющий весь его секретариат, нечто вроде его «наместника» по России, *Клецанда* предписывал из Москвы такую особо секретную директиву Одбочке:

«Серьезную *реорганизацию России* можно провести только из одной Сибири. Дальнейшее решение мы примем уже в Сибири. Следовательно, наш лозунг *пока*: в Сибирь, в Омск, а не прямо во Францию».

В Москве оный Клецанда ухитряется совмещать две, казалось бы, никак не совместимые миссии: он околачивает изо дня в день пороги Совнаркома и всех высших комиссаров в качестве *толкача*, чья единственная якобы и кровная задача — это всячески проталкивать в Сибирь тысячеверстного «огненного змия», чья голова уже во Владивостоке, а хвост еще не дополз и до Пензы; ради этого наперсник и полномочный посол Масарика до последней степени щедр на заверения в самой искренней, братской дружбе к русскому народу и к правительству, которому народ этот в грозе и буре вверил свои судьбы. А в то же время на конспиративных свиданках с Борисом Савинковым, этим «Гамлетом и титаном терроризма», по выражению самого Масарика, Клецанда передает Савинкову двести тысяч рублей как вспомоществование для его террористической деятельности против Советов. И тогда же из Москвы шифрованным посланием сообщает вожакам чехословацкой Одбочки, что завтра он собирается пойти к англичанам узнать, «как обстоит дело с английским десантом в Архангельске и считаются ли они, англичане, с активной

или пассивной поддержкой возможной *реконструкции правительства*?».

Личный друг Вильгельма, папа Бенедикт Пятнадцатый и президент Вильсон; Ллойд-Джордж и Клемансо; Керенский за рубежом и генерал Алексеев в Екатеринодаре; Масарик и Кра́марж — все, все они денно и нощно «радеют» русскому народу, только и думают, как бы произвести за него, бедного, эту «реконструкцию правительства».

Приходят к странному выводу, что начинать ее надо с десанта во Владивостоке и Мурманске!

Однако главная тяжесть этой «реконструкции» — так решено верховным советом союзников в Париже — должна пасть на штыки сорокатысячного корпуса чехословаков. А он все распухает, растет — за счет военнопленных, оставивших свои лагеря, свои работы и службы; да и кому же из них не снится на жестких лагерных нарах радостно-истязующий сон: вот она снова перед ним, Зла́та Прага... Влтава... Карлов мост... Градчаны! Пробиваться к ней, к Праге, освобождать ее от трехсотлетнего немецкого ига, пусть даже и через Сибирь, океаны, Францию, есть безмерное счастье! И если придется в боях за свободу Чехии пасть где-либо на берегах Марны, отстаивая Париж,— разве отданная чужой земле кровь не будет вспомянута и на берегах Влтавы, вспомянута свободным и великим в своей борьбе чешским народом?

И брошенный умело и нагнетаемый изо дня в день всеми средствами пропаганды, подкрепляемый запугиваниями, что вот-вот, дескать, сдавших оружие чехов большевики выдадут немцам, пьянящий этот призыв «Во Францию!» неодолимо прокатывался по всему многотысячеверстному «огненному змию» чехословацкого корпуса:

«Вэн з Руска! (Вон из России!) До Франции!»

...Петр Аркадьевич Башкин желчно и презрительно рассмеялся.

— Чепуха! Наивные парни! Никуда их не повезут, ни в какую Францию... Союзникам они здесь нужны. Здесь и останутся!

И еще раз не выдержал молчаливый дотоле Гарпиев:

— Но тогда почему эти чудаки позволяют разору-

жать себя? Сдают местным Советам оружие, дабы получить право проезда на восток? Что за ягнята!

— О-о! Это чехи-то ягнята?! Скоро, скоро — быть может, на днях — они, эти ягнята, покажут, какие у них клыки! Могу вас успокоить.

И, продолжая обзор свой, он поведал, какие ухищрения применяет командование корпуса, чтобы скрыть оружие сверх договоренного. А разрешено было после долгих переговоров с Москвой сто шестьдесят восемь винтовок и один пулемет на каждый воинский состав. Под крышей вагонов, за всевозможными переборками и настилами и даже в матрацах в разобранном виде везли и ружья, и пулеметы, и, уж конечно, сколько угодно ручных гранат. Поди доищись! Не повальные же обыски производить в теплушках, вплоть до постелей. И без того отношения с чехами на грани взрыва.

Полковник Сумароков позволил себе иронически, иносказательно высказать допущение, что чешский «огненный змий», убыстрив свое движение за Уралом, достигнув Владивостока, в конце концов исчезнет бесследно в Тихом океане.

Но ему возразил Башкин:

— Господа, я прочту вам всего две строки из секретного послания одного чрезвычайного... джентльмена, одного из тех, в чьих руках не только сегодняшний и завтрашний день чешского корпуса, но и будущее чешского государства... Если таковому суждено возникнуть. Если Германия будет сломлена!

Да, это были всего две строки:

«Посылка этих войск кругом света является бессмысленной тратой времени, денег и тоннажа...»

— То есть то, что я вам изволил сказать. Их никуда не повезут!

С глубиною и деловитостью ответил Башкин и на тревожащий каждого вопрос: а в чем же гарантия, что чехи выступят *скоро*?

И, слушая его доводы, Пепеляев невольно с завистью и тревогой подумал: «Да! Не легко будет брату Виктору прийти к высшей государственной власти, если вот такие, как этот, будут соперниками у него!»

Первым и повелительным побуждением ускорить мятеж была, по словам инженера, угроза идейного разброда и боевого развала всего чешского корпуса.

Полковник Сумароков не выдержал:

— Неужели и у них?

— А как же вы думаете? Вы что ж — большевиков простачками считаете? Да если командование чешского корпуса еще с месяцок промедлит на рельсах со своими «во́яками-братьями», то не успеет и оглянуться, как из «братьев» они превратятся в «товарищей»! Вот извольте. Я вам прочту из подлинных чешских газет. Одна — «По́ходень», по-чешски «Факел». Другая — «Прукопник», ну это... зачинатель, пионер, что ли... Газетки эти, как видите, невелики. Но разрушительную работу в чешских эшелонах, вернее, в мозгах чехословаков, они совершают ужасающую! Достаточно будет, я полагаю, и двух образчиков.

И он стал читать:

— «Против пустых лозунгов национализма мы выдвигаем принцип всенародного социализма».

Для вящей убедительности прочел то же самое по-чешски.

— А вот вам и второй образчик: «Борьба наша — за свержение империализма и капитализма, за демократию и социальное освобождение народа!..»

Наступило угрюмое молчание. И тогда Башкин спохватился:

— Но, господа, я вовсе не хотел повергать вас в уныние. Пока что чехословацкий корпус в целом могуч и ощетинился против большевиков неописуемо. А газетки эти, они, так сказать, подпольные, а вот вам, что пишет их военный и политический официоз «Чехословацкий Денник». Самый последний, апрельский номер. Получил от моих чехов. И вы увидите, что чешское командование отнюдь не спит.

Он стал читать:

— «Во́йска здесь (в Омске) нет. И это относится ко всей Сибири. Партизанских частей и интернационалистов едва с батальон во всей Сибири. Зачина се с формованим Руде Армады. Немайи вшак ани достатек визбройе ани одеву». — Последние слова счел нужным прочитать по-чешски и перевести — с нажимом: — «Начинается формирование Красной Армии. Однако не хватает оружия и одежды».

— Но и у нас не хватает.

Это угрюмое замечание изронил Пепеляев.

Башкин со вздохом глубокого сожаления поведал, что у себя на заводе он ухитрился скопить целый подвал ручных гранат, но кто-то, очевидно, донес. Он стал чувствовать за собою слежку. Стало ясно, что при первой попытке вывезти оружие накроют. «Нежелательные элементы» (он так и выразился) он «элиминировал» со своего завода еще при царе отсылкою на фронт. «К делу» допускал только «своих», то есть военнопленных чехов, которым он спас жизнь, избавив от засылки на строительство Мурманской железной дороги, где почти все вымерли от цинги.

— Жизнь за меня отдадут! Из них ни одного не смею заподозрить. Но вот Совдеп, несмотря на мой протест, всунул-таки мне отдел протезов для инвалидов войны. С этого и началось. Возглавляет некий инвалид Егор... Око! Я жаловался в Екатеринбург, но мне отказали: «Ничего не можем изменить. Санкционировал сам Кедров!»

Полковник Сумароков — раздраженно, брюзгливо:

— Кедров, Кедров! От вас, тоболян, только и слышишь это одиозное имя! Что это за личность?

Башкин — с горечью усмешки и с напускной лукавой кротостью:

— Перед революцией — волостной писарь в нашем уезде. А сейчас...— сделал паузу,— чрезвычайный эмиссар Ленина... C'est tout dire! (Этим все сказано!)

Полковник, отдуваясь, гневно сверкнул глазами. Броском всеми пальцами крепкой руки стукнул об стол. В бессильной злобе пробормотал:

— Да-а, *этим* поистине *все сказано!*

Капитан Гарпиев вспылил:

— Чехи, чехи! А я, господа, вообще плохо верю в иностранные дружеские штыки. Союзнички блядуют. Никакой чешский корпус России не спасет. Ее один только корпус может спасти. Один только...

И остановился, обдумывая.

В напряженном молчании ждали. И, внезапно вскочив, весь как до звона напряженная тетива, капитан Гарпиев выкрикнул в тьму, потрясая выброшенной рукой:

— Рыцарский корпус! Да, да! Корпус белых рыцарей России!

...Заседание штаба закончилось принятием решения: отдельно не выступать, к выступлению чехов примкнуть немедленно.

Один по одному, с оглядкою, и через трое разных дверей штаб начал расходиться.

Двоих Сумароков задержал. Приказ тому и другому был краток.

Поручику Гурееву:

— Выясните насчет Сергея Шатрова!

Начальнику террористического отдела капитану Достовалову:

— Если... то устраните!

А в это время Сергей Шатров решал нелегкий вопрос: в голову или в сердце?

Что иного исхода, как покончить с собой, у него нет и не может быть, в этом юноша уже ничуть больше не сомневался. Первые дни после той ночи, когда он, изменив присяге, бессильный противостоять страшной воле и прямому приказу брата, не явился на боевой пост, Сергей пребывал в неописуемой муке ожидания. В тайной присяге, им подписанной, когда Гуреев завербовал его в организацию полковника Сумарокова, поручаясь именем и честью русского офицера за вновь вводимого, не было недостатка и в словах угрозы беспощадной и скорой карой, и в словах брезгливого презрения к тому, кто предаст, изменит, струсит или же только осмелится преступить прямой военный приказ начальника.

Под клятвой молчания, как своему «вводимому», Александр Гуреев открыл Сергею, что уже двое из заподозренных были ночью вызваны на солдатское кладбище, глухое и беспризорное, там убиты, да там и закопаны в могилах, заранее вырытых, с крестами, заранее сколоченными.

Так как священник солдатско-кладбищенской церкви был арестован, сидел в Чека, остальной церковный причт разбежался, а сторожа промышляли кто чем в городе, то этот именно способ «устранения» и оказался самым надежным: среди необозримого множества одинаковых бугорков, одинаковых могильных крестов, воистину «солдатских», прибавилось еще два таких же — кто теперь мог заприметить эту ничтожную прибавку?

Подобной для себя участи в любой час дня и ночи мог ожидать и Сергей Шатров. Понимал он и тогда, что отнюдь не из побуждения дружеской откровенности поведал ему Сашка Гуреев о той расправе: то было предупреждение!

Его, Сергея Шатрова, *они*, конечно, не станут вызывать ночью на солдатское кладбище: устроят проще! Гуреев однажды вызывал его для ночной беседы за ворота их соседнего двора, на самый берег реки. Что ж, удобно: река сейчас подступила к самым пригонам... Удар чем-либо тяжелым по голове... проломят череп... привяжут гирю к ногам и бросят труп в воду... И не доищется никто! Просто. Бесшумно...

Он стал непрестанно, с каким-то сладострастием самоистязания, представлять себе, как все это произойдет. Всматривался. Пытал себя: «Нет, не дрогнув, приму *заслуженное*». Считал себя обреченным, но и в голову не приходило прибегнуть к единственному способу защитить свою жизнь: пойти в Чрезвычайную комиссию и во всем чистосердечно признаться. «Еще бы этого не хватало! Гнусно, мерзко я изменил слову чести — нарушил боевой приказ. И чей же? Несчастных, гонимых за преданность распинаемой отчизне, несущих жертвенно свою кровь, свою жизнь русских героев-офицеров! И еще прибегнуть к подобному средству? Нет, получай, что заслужил... Разве ты знаешь, какие несчастья, быть может, гибель доверившихся тебе людей повлекла твоя неявка на тайный боевой пост?»

Ожидая вызова на допрос или расправу, он распорядился, чтобы хозяйка не закрывала окон его комнаты ставнями. И день и ночь держал форточку в своей комнате настежь на случай, если захотят вметнуть записку. С Гуреевым у них одно время был такой уговор...

«Однако, что же так долго медлят они с вынесением приговора?!»

И вдруг, словно от удара бичом, со стоном душевной боли и ужаса он метнулся на своей жесткой койке. Страшная мысль пришла ему в голову: а что, если *они*, эти неизвестные ему мужественные и самоотверженные борцы за Россию, с таким брезгливым презрением относятся теперь к нему, к молокососу Сережке Шатрову, к «суслику», что ни о какой каре и не помышляют, а про-

сто считают, не подозревая в предательстве, что, как только дошло до дела, он от страха... (Тут прозвучало в его истерзанном сознании как бы чьим-то чужим, мужским голосом глумливо произнесенное отвратительное обозначение трусости.)

Заскрежетал зубами. Ударил себя кулаком в глупую кудрявую башку.

Вскочил. Решение принято. Нет! Сергей Шатров не был трусом и не будет! Смертью его не испугаешь!

Из тайника внизу подоконника достал свой браунинг, тот самый, серебряный, миниатюрный, из которого тогда, на именинах матери, стрелял в березку на берегу Тобола.

«Где теперь все это? А! Не надо расслаблять себя воспоминаниями!

Вот, Никита Арсеньевич, вот что ты наделал своим насилием над волей младшего брата! День свадьбы вашей я не омрачил. Будьте мне за это благодарны! А теперь... теперь поступаю, как должно человеку чести!»

Жалостно стал думать о матери. Ну что ж, останется ей Володька... Да и Никита, наконец. Как-нибудь переживет! Отец? И невольно, как в детстве, когда случалось провиниться в чем-либо серьезном, как бы некий след страха стиснул сердце. Попытался представить себе, что скажет, что сделает Арсений Тихонович, узнав о его самоубийстве. Страшный человек отец! Подавит, затопчет скорбь, нарыдается где-нибудь в глухом углу, подальше от людей, а на людях способен бросить отчужденно и жестко: «Ну что ж, слабый, хлипкий юнец. Не Шатров!»

И вслух, вслух вырвалось, будто грозный родитель и впрямь кинул эти о нем слова:

— Нет, нет, отец, неправда! Именно потому, что я Шатров!

Никита Арсеньевич твердо решил прервать учение Сергея и увезти его на Тобол. Видел он, и не раздражая брата врачебным досмотром, что Сергей на грани острой нервной болезни. И понимал отчего!

Вникать ближе и, как говорится, впутываться во все это доктор Шатров не хотел.

Последние дни пребывания в Афинах Сибири он жадно стремился наполнить общением с высоким академическим кругом своего врачебного мира. Этого так недоставало ему на Тоболе!

Всегда с Раисой, он посещал и лекции избранных профессоров, и гордость города — университетскую библиотеку, и даже анатомку не обошел: побыть студентом! Подружился с прославленным терапевтом Сибири, могучим, похожим на седоусого, огрузневшего запорожца, еще не старым человеком. Они посещали его и на дому. Он искренне бывал рад их приходу. Грозился непременно приехать отгащивать к ним на Тобол.

Ольга Александровна оставалась эти дни дома, возле Сергея. Однажды ей удалось вытащить его побродить по городу, как ни упирался, как ни ворчал Сергей: мамочка ведь!

В один из последних дней в Томске условились, что Ольга Александровна, Раиса, Сергей к двум часам дня зайдут за Никитой в университет. А оттуда совершат экскурсию в монастырь, к часовне старца Федора Кузьмича, в котором не только народное предание, но и некоторые историки видят отрекшегося будто-бы от престола, мнимоумершего в Таганроге императора Александра Первого. В часовенке есть икона — портрет старца, писанный с него при жизни. И говорят, если прикрыть мысленно седую длинную бороду, то сходство лиц поразительное.

Этим только Никите и удалось поднять Сергея.

В назначенный час Никита Арсеньевич стоял, одетый, на угрюмых ступенях главного здания, ожидая своих.

Вот он увидел вошедших в сад Ольгу Александровну и Раису. Быстро пошел им навстречу.

Они были одни.

— А где же Сергей?

И почувствовал, как шатануло всего тревожным ударом сердца.

Ольга Александровна ответила огорченно и все еще с неостывшей обидой на Сергея:

— *Они* не в духе! Не на коленях же нам было упрашивать его! Уперся как бык. Но ты же, говорю, обещал и мне, и Раисочке, и Никите?» «Ну что ж! А теперь не могу... Привыкайте гулять без меня!» Сумасбродный мальчишка!

При этих ее словах, усилием воли подавив страшный накат душевной тревоги, почти страха, Никита, чтобы не испугать их, спокойно, и как бы спохватившись, сказал:

— Мамочка! Раисочка! Вы простите меня: я должен еще вернуться, забыл одно дело. Раз Сережи нет с нами, прогулка в монастырь отменяется. Вы сейчас неторопливо прогуляйтесь по центру и возвращайтесь домой. Я постараюсь не задержаться...

Но едва они повернулись к воротам университетского сада, Никита стремительно кинулся за угол, налево, в сторону краснокирпичного здания анатомки. Не стыдясь, что его, одетого в пальто и шляпу, могут увидеть бегущим, он выбежал к бугристому, обрывистому спуску, который наикратчайшим путем выводил прямо на низовое приречье, где стоял дом Тарасия Петровича. Тут пролегали дикие, прямо-таки козьи тропинки. Ими пользовались опаздывающие к занятиям студенты, обитающие здесь, на низу. Бегал по ним и Сергей и однажды, смеясь, показал этот путь Никите...

Встречные и оглядывались и сторонились. И вероятно, каждому думалось, что в семье у этого человека кто-либо при смерти — бежит за врачом.

А в сознании бегущего вторились неотступно и все обнаженнее в своем страшном смысле слова, брошенные матери раздраженным Сергеем: «Привыкайте гулять без меня!»

...Наружная, обитая войлоком дверь была заперта изнутри. К счастью, гвоздь дверного крючка так слабо сидел в разболтанном гнезде обветшавшего дерева, что, когда Никита изо всей силы потянул за скобу, дверь распахнулась...

Войдя, он прислушался: было тихо. Бесшумно ступая, он двинулся через комнаты...

Нелегкий вопрос, куда лучше — в голову или в сердце? — был в конце концов разрешен Сергеем: в сердце! Если в висок, может быть, и вернее, но, говорят, страшно обезображивает голову...

Уже загнав пулю в ствол, он держал остальные на ладони, слегка подбрасывая и перекатывая их золотистую, весомую кучку с легким, свинцовым стуком. Он и прежде любил наслаждаться этим: какие чудесные, точеные, миниатюрные желуди! А вгони он сейчас в

свой мозг одну из этих игрушек — какие чудовищные разрушения натворит она там! Нет, хорошо, что в сердце! «А мне ли, брату его, не знать, где и как надо приставить дуло к груди, чтобы наверняка! Сколько раз он показывал мне границы сердца. Что ж, спасибо хоть за это, Никита Арсеньевич!»

И с внезапным приливом злой горечи против старшего брата он подумал: «Да! Привел меня к смерти своим диктаторством: «Не смей, никуда ты не пойдешь!» Не мог же я раскрыть все... Ну и получай! Эх, да разве понять ему, с его взглядами, за что мы боремся, за что отдаем свою жизнь?! И особенно теперь, когда он вне себя от счастья, что спас свою Раисочку! Да! Раиса тобой спасена, и ты думаешь, что все вокруг само собой придет к свету и миру. А Россию, Россию кто спасет, преданную и проданную немцам, раздираемую на части?!»

Он положил браунинг на ночной столик, затем вытянулся истово перед темной иконой в переднем углу и перекрестился, прося бога простить его за то, что он принужден сделать.

Затем, приподняв белоснежную сорочку, обнажив область сердца, тщательно приставил дуло пистолета в место толчка...

И в этом миг, без крика, но вметнувшись в комнату каким-то сверхъестественным прыжком, Никита успел выбить из его руки пистолет.

Одно мгновение братья молча смотрели в лицо друг другу.

Не выдержав страшного взгляда, Сергей первым отвел глаза. Стоял потупясь. Слышно было, как от нервной дрожи стучат у него зубы.

Неожиданные, и оттого еще более потрясшие его, услышал он слова старшего:

— Э-эх! Бессовестный, бесстыдный ты человек! Палач! Изверг!

Это было страшнее, чем самая неистовая брань!

Сквозь слезы, вскинув на брата глаза, Сережка, всхлипнув, сказал:

— А кто... а кто виноват?

В ответ — суровое:

— Еще что?! И тебе не стыдно?! — И, указав на браунинг, валявшийся на полу: — Подними!

Сергей повиновался.

Никита протянул за пистолетом ладонь:

— Дай сюда.

Отдал. Доктор Шатров опустил браунинг в карман пальто. Спокойно стал приказывать:

— Сейчас ты выпьешь то, что я тебе принесу. Будешь спать долго и крепко. Проснешься здоровым. Матери и Раисе я ничего не скажу.

Сказав это, он прошел через горницу в кухню: он знал, что горячая вода всегда в чугуне в печи.

И вдруг неистовый хохот, от которого у него холодным пологом обдало голову и спину, донесся из комнаты Сергея. Никита опрометью бросился туда.

Если бы не был он тем, кем он был, у него и мозг костей бы застынул от того, что он увидал.

В неистовом помрачении рассудка Сергей раздирал на себе одежду, бился головою о спинку железной койки, в кровь искусал себе губы и руки, рыдал и хохотал вместе.

Невнятным, вопленным комом извергали его уста выкрики бреда.

Никиту он встретил взглядом ненависти и страха. Выкрикнул:

— Это ты, ты опозорил меня! Загрязнил мое имя!

Сжав зубы, Никита спокойно подошел к нему, крепко схватил его за рубаху на спине, встряхнул, приподняв с койки, и властно, во весь голос заорал не него:

— Это еще что?! Сию же минуту прекрати! Позор — в том, что ты истерики закатываешь, мерзавец!

Сергей оцепенел. Смолк.

Своим привычным движением Никита Арсеньевич наложил пальцы на его веки и сомкнул их. Непререкаемо-властным голосом объявил ему, что он, Сергей, спит, спит глубоко, непробуждаемо. Проснется здоров и спокоен.

Затем привел его, уже в глубоком гипнотическом сне, к его постели, уложил, закрыл одеялом:

— Будешь спать, пока я не разбужу тебя!

И вышел в столовую, оставя дверь полуоткрытой.

...Когда пришли Ольга Александровна и Раиса, он еще в кухне сказал им, что Сережа, по-видимому, простудился и что он дал ему снотворного с пирамидоном.

В сумерках, бережно постучавшись, явился неожи-

данный гость: Саша Гуреев. Вот уж кого не хотелось никому из них видеть! Однако, не нарушая учтивости, его приняли как старого знакомого и земляка; только извинились, что нельзя беседовать громко, так как Сережа болен и спит рядом в комнате.

Перейдя тотчас же на шепот, Гуреев спросил обеспокоенно, что с ним. Ответил Никита.

Старый наставник Сергея выразил крайнее сожаление.

— А нельзя ли хоть сквозь щелочку взглянуть на него? Давно я у него не был. Страшно соскучился!

Никита промолчал, хмурясь. Он подозревал, что все совершившееся с братом не обошлось без участия этого человека. Еще секунда — и, поднявшись в знак того, что незваному гостю можно уходить, он отказал бы ему в его просьбе.

Вмешалась Ольга Александровна. Она просяще взглянула на сына и сказала:

— Никитушка, может быть, можно?

Тогда он угрюмо уступил:

— Почему же? Пожалуйста!

Встал, немного пошире приоткрыл дверь, зная, что ничто, кроме его приказа, не разбудит Сергея, и безмолвным движением пригласил гостя приблизиться.

Тот заглянул. Красное и опухшее лицо Сергея на белизне подушек ужаснуло его.

Гуреев, покачивая головой, тихонечко притворил дверь и на цыпочках отошел...

Отъезд Сергея на Тобол на семейном совете был решен бесповоротно. Никита Арсеньевич — один, без него,— выправил ему в институте длительный отпуск по болезни, и Сергей не смел противиться более. Да ему и самому после перенесенного потрясения стал страшен и тяжел Томск.

Сборы были недолгие, дружные, но несуетливые. Повелевала Раиса. И под ее обаянием Сережа начал светлеть и оттаивать. Появилась улыбка. С готовностью повиновения, шутливо, по-военному выполнял он все распоряжения ее по укладке вещей. Кичась незаурядной силой своей и ловкостью, иной раз прямо как груз-

чик поднимал и волок несусветные тяжести, и тогда бледнели в испуге и Ольга Александровна и Раиса; кричали — бросить и кидались на помощь.

Он смеялся.

Иной раз доставался ему от матери и легкий шлепок по спине, когда он слишком полагался на укладочную силу своего колена и начинали потрескивать крышки распираемых чемоданов.

И столько свету излучали в незабываемые эти дни обе женщины, Ольга Александровна и ее — как непривычно, как радостно звучало в ее душе это слово — *невестка,* ее дочка богоданная — Раиса, Легкая, Этэреа!

Свет этих дней в душе Никиты Арсеньевича не угасал никогда. И странно: даже от самого имени Раиса веяло на него радостью и росою, отрадой и светом! Какое же это было ужасное заблуждение, когда, в гордыне своих духовных сил и познаний, он убежденно заявлял в задушевной беседе и с доктором Ерофеевым, и с Кедровым, что даже всем сердцем любимая жена, единственный друг и помощник, а не только отрада ложа мужского, все равно и такая жена, в его служении страждущему человеку, неизбежно отъемлет, ослабляет силу того «умного света», которому, вопреки официальной науке, он склонен был приписывать свои наиболее чудотворные исцеления. Нет! Никогда, никогда еще не было в нем такой прозорливой ясности мышления, такой окрыленности мысли, такой готовности и силы к подвигу и к трудам!

И невольно подумалось: да разве от впадения Камы Волга обмелела, стала менее мощной? Какой абсурд! Но в том-то и тайна вся, что у каждого ли человека творческого подвига, самоотверженного служения людям есть своя Раиса?

Чувственное, неизъяснимо сладостное обладание Раисой, этим своим хрупким и светозарным чудом, которое, в своей духовной гордыне, он сам же едва не загубил, — было всегда и нерасторжимо слито у него с поглощением, обладанием духовным.

Откройся он кому-либо, это показалось бы неестественным, противоречивым, но он *целомудреннее*, он чище стал в браке, чем до него. Другие женщины стали для него не женщины: *человеки* просто!

В эти томские дни его высокое опьянение супружеством, счастьем любящего и беззаветно любимого мужа усугублялось еще и той любовью-любованием, истинно материнской и нежной, которую не могла да и не хотела таить Ольга Александровна к своей невестке. Когда Никита оставался наедине с матерью — обычно это бывало, когда он заходил к ней попрощаться перед сном, — она благодарно и растроганно говорила о своей любви и о том удовлетворении и спокойствии за его судьбу, которое принесла ей его женитьба на Раисе.

Ему нравилось, что наедине с ним Ольга Александровна, как в прежнее время, на Тоболе, нет-нет да и называла Раису: «Твой Подсолнух».

И добавляла:

— Я счастлива. И знаешь, я довольна теперь, что у меня не было дочери. Раисочка твоя мне больше, чем дочь. А когда-то чуть не плакала. Страшно огорчалась, что у меня все мальчишки.

Оба смеялись.

— И правильно, мать, огорчалась: от нас, от мальчишек, одни только беды и огорчения!

...Накануне отъезда, днем, все трое ее детей — и Никита, и Сергей, и Раиса — заметили страшно усталый ее вид, почти больной, и общими усилиями заставили ее прилечь в своей комнате, отлучив от всех забот и сборов.

Никита пошел побыть с нею.

Снова — разговор о Раисе. Гладя руку Никиты, Ольга Александровна произнесла шепотом:

— Да! Я знаю: она будет для тебя в жизни твоей тем же, чем я была для...

И вдруг разрыдалась, не договорив, и закрыла лицо руками...

Молча, не смея и слова утешения сказать матери, ибо давно и все, полностью, знал и о лесничихе и о надрыве, если не о разрыве, который измена отца произвела в их семье, сидел он возле материнской постели...

Проплакавшись, Ольга Александровна печально сказала: «Как мне тяжело отпускать вас из Томска одних, без меня!»

Слова ее произвели у Никиты чуть ли не чувство испуга. Вплоть до этой беседы со старшим она или скрывала свое намерение не возвращаться на Тобол, или не решила еще.

— Мать, опомнись, что ты это говоришь?!
Ольга Александровна отвечала ему искусственным, неумелым в ее устах, протяжным голосом сожаления:
— Да-а, Никита, я остаюсь здесь, в Томске... Не могу иначе...
— Но почему?
Со стороны старшего сына это был, скорее, не вопрос, а допрос — требование прямых, честных объяснений, желание предотвратить смерть семьи.
А она все еще пыталась уйти от этого допроса своей вымученной, неумелой ложью!
— Ника! Ты пойми: не могу же я, в благодарность за все, что делали для Раисы, взять и раскланяться и уехать! У них разбегаются медсестры: не на что жить. Оклады мизерные. Дороговизна, ты знаешь, какая! А я там у них, в психиатрической, почти как штатная сестра. У меня и сейчас на руках несколько больных в женском отделении.
Смолкла.
И тогда — впервые, впервые! — сын сурово сказал матери, что ей не к лицу учиться лгать. Особенно с ним.
Стало некуда больше уклоняться и отступать!
И, прерываемую слезами, сын принял ее истязующую исповедь.
Ему пришлось услыхать от матери, с какой мучительной, молчаливой, но и требовательной тоской ждала она от Арсения Тихоновича сознания в его тяжком грехе против супружеского их ложа. Да! Она приняла его измену ей как поругание ничем не запятнанной святыни их брака. Всю жизнь верила она в слова одной странной молитвы: «Даждь ми брак честен и ложе не скверно!» И, зная, как глубоко, как страстно и преданно любит ее Арсений, ждала, что вот-вот он раскроет перед нею падение свое. Падение — иначе не могла она и мыслить об этом!
И что же? Из чужих уст, да еще и с похабщинкой, пришлось услыхать ей о нем и о лесничихе! А он все еще таился, молчал и, как будто ничего, ничего не произошло, пытался продолжать супружество с нею. Тогда она ушла от него в первый раз.
Но, перестрадав ужас первого душевного удара, она в своем сердце увидела все тот же свет неугасаемой к нему любви и готовности все забыть, все простить.

Он молчал.

А ей только и нужно было, чтобы он *сам* сказал. И не стала бы она его унижать допросами, слезами и сценами мольбы о прощении!

— Не мещанка же я, в конце концов! Знаю: он — мужчина. Могучий. Страстный. В его натуре яростной — овладевать... А от нее, от этой лесничихи, у нас на Тоболе как с ума посходили все! Всего ты, конечно, не знаешь: ты далеко отстоял... Что удивляет во всей этой истории: ты знаешь ее мужа — подозрительный, ревнивый, а тут чуть ли не сам отправлял их вдвоем на ту дальнюю мельницу, зная, что в дороге, может быть, им и в одной комнате придется переночевать... Не хочу вникать, ка́к там все у них произошло... Знаю, что любви к ней у него нет. Меня он по-прежнему любит. Может быть, и еще больше... если только это возможно!

Скорбно усмехнулась:

— Мужнин грех — за порогом...

Приподнялась, горячечно возбужденная, на локте и, ударяя кулаком о подушку, воскликнула, глядя в лицо сыну:

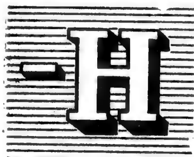
— Но почему, почему он смеет оскорблять любовь мою этим молчанием своим?! Низко же он ставит меня. Не думает ли он, что и я, как другие, стану бесстыдно, гадко мстить ему? Вот что страшно! Вот чего я простить ему не могу!

Видно было, что она в тяжелом борении: все ли можно говорить сыну?

Решилась.

— Ты — муж теперь. Ты — женат. Вступил в брак. Прежде я не посмела бы говорить с тобою об этом... Но ты должен знать, какое у меня всю жизнь, всю жизнь чувство к нему... Если бы, каким уж там случаем — не знаю... но если бы, пусть даже на единый миг, я допустила чувственное прикосновение к своему телу чужого мужчины, я... я не жила бы больше на свете! Я сама бы произнесла над собою суд. Безжалостный! Беспощадный!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ет, не Народный дом, а, обратно, Офицерское собрание, — как говорит бессменный старик швейцар, довольнешенек тем, что свержение Советов возвратило ему и утерянное при большевиках его звание, и ливрею с золотыми позументами и выпушками.

— Да! И уж отныне и до конца дней наших! — как воспророчествовал отец Василий Паренский в своем кратком слове после благодарственно-очистительного молебна. — Снова и до скончания века нашего — высокое Офицерское собрание!

Правда, чехословацкие солдаты, в изъятие из неуклонного устава, пользуются правом невозбранного входа на все вечера, а также и участия во всех начинаниях, на полных правах русских господ офицеров.

А как же иначе? Кто же отважится нанести оскорбление недопуском или непринятием в члены тех самых «братьев славян», тех самых и устно, и всей сибирской печатью превозносимых «героев», что, жертвуя и кровью своей, только что вот на днях помогли «матушке-Сибири», пускай еще не повсюду, свергнуть «иго комиссародержавия», — кто посмеет?!

Вот, к примеру, мимо седобородого, дремотно-бдительного швейцара и сейчас, бросив старцу свое мимоходное «Нáздар!», живчиком проносится какой-то затрапезного вида коротышка-солдатик, жидкоусый, скуловатый, — в защитке, в полугалифе и обмотках на кривых ножках, — и дремотно-бдительный старец вместо того, чтобы преградить ему вход: куда, дескать, ты не в свои, мол, хоромы, братец! — стремительно вскакивает со стула и угодливо успевает выхватить у сол-

датика снятую им военную, но только не русского образца, мягкую полукепку-полуфуражку с двумя короткими — *белой и красной* — ленточками, косо поставленными на ремешке околышка.

Остановить? Не впустить? А знаете ли вы, что этому замухрышке-солдатику сейчас подвластна едва ли не вся Сибирь? Что он — политический вождь, почти диктатор над всей пятидесятитысячной, чудовищно-проломной громадой чехословацкого корпуса, только что свергшего Советы на сибирской земле?! Бывший журналист! А ныне — что́ перед ним и сам Гришин-Алмазов, ставший одновременно и военным министром «сибирского правительства», и верховным главнокомандующим! По сравнению с шестьюдесятью эшелонами чеховойск слишком еще ничтожны добровольческие отряды русских!

Коротко сказать: чешский солдатик этот — сам *Богдан Павлу,* один из вершителей судеб всего чешского войска, член Чехословацкого национального совета — отделения на Руси, по-чешски: Одбочки, — в принятом сокращенном титуле — ОЧСНР: Одбочка Чехословацкой народной рады.

После внезапной кончины в Омске Иржи Клецанды, наперсника и личного секретаря Масарика, любимцем его и довереннейшим лицом в России вскоре, и непонятно как, стал Богдан Павлу.

Триумвират: Павлу, Рихтер и Ян Сыровый — воля и мозг корпуса.

У «братра Рихтера» — тоже ничего боевого, военного: тощий, умнолицый клерк в пенсне.

Совсем иное дело — «братр Сы́ровы», начальник челябинской группы чеховойск, которому вскоре, однако, когда чехи принялись замещать своими высшие военные посты, предстояло стать, вместо русского генерала Шокорова, командиром всего легиона с грозным титулом «верховный велител» (врхни велител), сиречь верховный главнокомандующий. Этот и наружностью истый воин, суровый, грозный солдат!

В солдатской ли он серой шинели русского образца, схваченной узким солдатским ремнем, но в полурусской фуражке с мягким верхом, с непременной у чехов двойной бело-красной «стужкой» на околыше, или же вовсе без головного убора, во френче с широким офицер-

ским ремнем, с портупеей через одно плечо,— все равно его коренастую, тугоповоротливую фигуру даже издали узнает чехословацкий «во́як»: по черному пятаку наглазной повязки через правое око, пересекающей сыро-угрюмое, непроницаемое лицо. Глаза лишился он в битве: как Жижка, как Жижка, да к тому же и одноименный ему — Ян!

И легионеры, одержимые верой в него, многие склонны суеверно считать, что военный их вождь, их «вудце», отнюдь не зря обладает этим двояким сходством с тем великим чешским вождем, который ровно пять столетий тому назад возглавил народное ополчение чашников и таборитов и в кровавых сражениях разгромил панцирно-рыцарскую армию германского императора и князей, который заставил даже и римский престол склонить голову перед неведомой дотоле миру чешской горою Табор, укрепленным гнездовьем таборитов.

Да! И того звали тоже — Ян. И око свое он утратил тоже в сражении!

И ширилась и ширилась в чехословацких войсках безотчетная вера, что и одноокий поручик Сыровый, до войны простой техник-строитель, разумом столь же дальновиден и прозорлив, как тот одноокий Жижка. Медлительность Сырового, его тяжкодумие и нерешительность молва, всемерно раздуваемая и чешской и русской печатью, эсеровской и белогвардейской, преобразовывала в мудрую осмотрительность полководца и в отеческую заботу о жизни вверенных его командованию людей.

«Нет! Брат Ян ни одного из нас попусту в огонь не кинет, но победу над немцами, над мадьярами, над их союзниками — большевиками и малой кровью одержит; ни в какие авантюры не ввяжется; и всю легию, если только вверить ему верховное велителство, проведет сквозь все и всяческие препоны, сквозь все испытания,— и мы пройдем еще, с нашим Яном во главе, в торжественном, победном строе по площадям и улицам нашей Златой Праги!» Такие вот шли разговоры в чехословацких полках об этом человеке столь знаменательной и злополучной судьбы!

А сейчас он все ж таки был всего лишь начальником той челябинской «ску́пины» чеховойск, что нацелена была к Волге, на прорыв к пензенскому, самому хвосто-

вому звену чехословацкого корпуса — звену, предводителем коего был поручик Чечек, до войны — коммивояжер австрийской автомобильной фирмы.

Но вряд ли кто знал среди чехов, с какой затаенной тревогой и злобной завистью косится своим единственным оком их Сыровый на восток, к Байкалу, где другой скороспелый «вудце», двадцатисемилетний капитан Рудольф Гайда, до войны фармацевт-косметолог, кровавой и огневой звездой восходит на грозовом небосводе братоубийственной русской войны!

Сыровый не мог простить Гайде, что это он именно, капитан Гайда, командир Седьмого Татранского полка, путем вероломного удара, тайно согласованного с подпольными дружинами правых эсеров и белогвардейцев, врасплох, среди незавершенных переговоров, завладел Мариинском и Ново-Николаевском, свергнув Советы, и тем самым бесповоротно ринул чехословацкий корпус в открытую войну с советской властью.

Тогда, словно спохватившись: догнать, опоздали! — Сыровый со своим начальником штаба, русской службы полковником Войцеховским, столь же вероломным ударом свергают Совет в Челябинске, уже согласившийся открыть чешским эшелонам невозбранный путь на восток; арестовывают членов Совдепа и двадцать человек из них убивают, — и это после только что сделанных всенародно клятвенных заверений в печати Челябинска, что «братья чехословаки», эти исконные демократы, никогда и ни при каких обстоятельствах не обагрят свои руки «кровью русских братьев»!

Вторжение интервентов — проломным, сквозным тараном чехословацкого корпуса — началось!

Сыровый с Войцеховским — к Волге и на Екатеринбург, полковник Вержбицкий — к Тюмени и на Тобольск — ринулись вдоль железных дорог и вдоль рек — по Иртышу, по Тоболу, Туре и Пышме, — в смешанных русско-чешских отрядах, с придачею так называемых партизанских, таких, как добровольческий отряд полковника Смолина и капитана Гарпиева. И все больше и больше возрастала яростная и мощная поддержка и уральских и оренбургских казаков.

Вновь вырвался к Оренбургу, Челябинску, Троицку загнанный едва не в Китай Дутов.

Застигнутые в самом-самом начале перестройки; еще раздробленно-отрядные; худо вооруженные; скудно снабженные; на каждом шагу предаваемые военруками из ненавистников советского строя; тяжко переносящие железную узду дисциплины и все еще тяготеющие к партизанщине, к сражениям вольными и непременно именными отрядами, а не в полках и дивизиях; необстрелянные, сырые; угрюмо, а то и просто враждебно провожаемые и встречаемые домовитым хозяином Сибири — урало-сибирские части молодой Красной Армии с боями откатывались на запад.

Война — на рельсах!

В эти дни Сыровый уверенно шел к вожделенному посту «верховного велителя» всей чешско-белогвардейской Западной армии. Его имя куда выше, чем имя его соперника, бурнопламенного, безудержного Гайды, котировалось в верховном штабе французов да и у Масарика. Русские власти да и само «омское правительство» его страшились. Газетные трубадуры славили. Эсеры заискивали. И все ж таки как же просветлел этот человек в глубинах своей мрачной души, когда в Челябинск, в штаб чеховойск, пришли достоверные сведения, что «братр Гайда» не смог взять Иркутск; что наступление его на берегах Байкала захлебнулось в крови; что этот прославляемый прессой как чуть ли не гений войны самородок-чех бездарно и бестолково, неся большие потери, забыв о силе маневра, словно бы кровавым пестом пытается вытолкнуть большевистские отряды с берегов Байкала, оставляя под ежечасной угрозой взрыва красными кругобайкальские тоннели!

С одной стороны, было прискорбно: как-никак чех! А дошло ведь до того, что этот Гришин-Алмазов, из Омска, шифровкой осмелился подавать Гайде советы, правда, не прямо, а через Пепеляева: довольно, мол, вам, господа, ломиться в лоб — обходом, маневром берите! Расшифрованная лента переговоров этих — Гришина-Алмазова с Пепеляевым — лежала на столе Сырового: чешская контрразведка в Сибири вызывала зависть и англичан и французов своей четкостью и осведомленностью. Главной причиной здесь было то, что еще со времен своего подпольного, в «пятерках», существова-

ния белоофицерские осведомители работали на чехов не за страх, а за совесть. Сработанность эта осталась и после совместного переворота. Глубинным и дотошным было, само собой разумеется, и осведомление со стороны Закупсбыта, из недр захваченной эсерами кооперации, раскинувшей свою сеть по всей России, от городов до глубинки.

В штабе Гайды у Сырового был свой контрразведчик, работавший на него...

...С другой стороны, было все же приятно узнать о неудачах Гайды. Выскочка. Авантюрист. Да, отважен, умен. Командуя полком, отличился под Зборовом. Но противна в нем эта наглость, бьющая в глаза, а также и то, что человек этот всерьез, кажется, воображает, что судьба уготовила ему в Сибири путь великого корсиканца! Ну вот и получай! Имея в своих руках отборнейшие части, не можешь справиться с какими-то там бандами иркутских красных!

Размышляя над сообщением своего контрразведчика при штабе Гайды, Ян Сыровый, слегка повернув в сторону молоденького адъютанта-чеха свою большую круглую, словно у филина, голову на короткой, сдавленной воротником френча, сильной шее, сощурив свой единственный глаз, произнес язвительно:

— Странно: о чем же тогда думает *мозг* Гайды?!

И засмеялся, вскраснев всем своим жирным большим лицом.

Молоденький адъютант с готовностью рассмеялся тоже. Ему, как, впрочем, и многим из окружения Сырового, было известно, что мозгом Гайды называют начальника его штаба — полковника Ушакова, годами еще более молодого, чем сам Рудольф.

Ушаков слыл не только до дерзости предприимчивым и отважным офицером, но в военных кругах говорили, что в его операциях видна рука незаурядного будущего стратега и что Гайде повезло!

Только не знал Сыровый, произнося эти насмешливые слова, что и его мозгом русские офицеры, сразу возненавидевшие его за суровость и угрюмое высокомерие, называют меж собою начальника его штаба — полковника Войцеховского!

Не знал он и того, что угодливо засмеявшийся вместе с ним адъютант принадлежит к неистовым и доволь-

но многочисленным в ту пору приверженцам Гайды, верящим в его военный гений и дивно уготованную ему судьбу — освободителя России и славянства.

И немного понадобилось часов, чтобы контрразведчики-чехи, работавшие на Гайду в челябинском штабе, донесли своему обожаемому шефу об этих словах Сырового и что «челябинский вудце» скрытно злорадствует неудачам иркутской «скупины».

Слушая это донесение из уст своего адъютанта, «освободитель Сибири», как все чаще именовали Гайду в газетах Омска, злобно оскалил большой, щучьего разреза, тонкогубый рот, осветившийся тускло-желтым отблеском множества золотых коронок, отягощавших его крупную нижнюю, наголо обритую челюсть.

Грубое ругательство так и рвалось на язык. Однако, приучивший себя от начала сибирского переворота играть большого вождя на подмостках мирового значения, Гайда сдержался. Не ругательствами — нет! — а каким-то бы насмерть сражающим, глумливым словом, таким, чтобы переходило оно из уст в уста, сейчас же, немедленно уничтожить грозного соперника — там, на Урале!

Слово не приходило!

Белокурый адъютант, вытянувшись, как на молитве, ждал. Вскидывал белые ресницы. Любовался «вождем».

Правда, ничего такого, что считают присущим мудрому, народному полководцу, призванному в буре нашествий спасать отечество, не было в наружности Рудольфа Гайды.

Рослый, породистый, большого шага, здоровенный носач, с длинным, «конёвым», как говорят в народе, лицом, темноволосый, с гладкой челкой слева, почти до самого глаза, и аккуратным пробором справа. Кидавшие охапки цветов под копыта его коня и готовые, казалось, и сами кинуться, буржуазные дамы сибирских городов считали Гайду красавцем. Бросались в его лице длинные, странного излома посредине, четко выраженные брови и большой, прямой нос, по всей спинке которого пролегала как бы узенькая, плоская дорожка, наподобие обуха ножа. Кончик большого носа завершался тоже странной треугольной площадочкой. Уши были непомерно крупны. Он был молодцеват, всегда гладко выбрит — лишь корешки усов. Но чрезвычайно старили

это волевое, временами свирепое лицо две глубокие щечные бороздки от крыльев носа к губам.

Лицо это могло показаться скорее страшным, а не красивым, если бы не озаряли его огромные, женственные, жидкой голубизны глаза, на которые, по его желанию, набегали даже иной раз и слезы растроганности или пафоса.

Наконец-то искомое слово пришло!

Отбросив связку донесений и большой цветной карандаш, которым он помечал их, Гайда откинулся на спинку стула и, взглянув озорным и многозначительным взглядом на адъютанта — запомни, мол! — густым, шутливым, исполненным пренебрежения голосом произнес по-русски с легким чешским акцентом:

— А! Этот мне челябинский Жижка! Дешево он хочет им стать! *Янов* у нас, в легии, не перечесть. И *одноoких* чехов в госпиталях, к несчастью, тоже достаточно!

И — захохотал.

Раннеиюньская ночь над городом у Тобола еще сквозит сибирской весной. Тьма. Реденько с высоких столбов лучисто звёздят, не освещая улиц, лишь кое-где восстановленные после недавнего уличного боя электрофонари. Словно маяки: прохожий, остерегайся идти на свет — наверняка остановит да и, чего доброго, заберет в чешскую контрразведку русско-чешский ночной дозор. А оттуда не всякому просто выбраться: станут спрашивать, кто, откуда, какая надобность шататься была тебе по улицам в «комендантский час»? Допытываться начнут, в особенности если свой, русский станет допрашивать,— кем служил, где работал при большевиках? А кто у них не служил, кто при них не работал: не трудящийся да не ест! Все под такой заповедью жили. Но айда докажи! Нет, прохожий, если пала тебе такая нужда, так ты бы лучше тихонечко, в черной полосе от одной калитки к другой — чуть что, а ты вроде бы из домохозяев: вышел, мол, ставни закрыть, или — постоять за воротами — с соседкой на лавочке посидеть, спросите сами — каждый меня здесь знает! Глядишь, и отпустят, не станут же в дома заходить — справляться. Но и при такой встрече длительно осветят, на про-

щание, лицо твое карманным фонариком: словно бы особые приметы запоминают. На всякий случай!

Красные-то ведь рядышком — за Шадринском, у Далматова. Тюмень, Екатеринбург, Тобольск — еще за ними! А как да мы раненько возвеселились? Сегодня они воюют с большевиками, чехословаки, а завтра возьмут да и заключат мир: только пропустите, мол, нас невозбранно во Владивосток! Что тогда? А я хотя и не купец, не промышленник, домохозяин только, но вернутся большевики да и спросят: а зачем ты, дескать, если не враг был советской власти, сынку своему, гимназисту, не воспрепятствовал записаться добровольцем в русско-чешский отряд? Что ответишь? Сам иконой благословлял! Ну и примешь пулю в подвале.

Да хотя бы от чехов и от своих военных почет был, что сын — доброволец, так где там: вот стою, не смея от своих ворот отойти, и слушаю издалеча-далёка родное свое, от самых дней юности твоей любимое «На сопках Маньчжурии»! Чехи в Офицерском собрании благотворительный вечер задают, со сбором пожертвований в пользу добровольческого отряда, с американской лотереей и всем таким прочим. И поди сунься, отец добровольца! Квартала не пройдешь — патруль заворотит!

И что обиднее всего: одна за другой, и все туда же, туда же, на этот очаг музыки, света, всенóщного торжества, проносятся мимо него, мимо здешнего уроженца, коренного тоболянина и домовладельца, пролетки на рессорах, на дутиках. В кузове восседают двое: он и она,— и ночной дозор лишь приостановит: «Кто? Куда?..» Мужской, осанистый голос — неторопливо: «В Офицерское!»

И рука старшего в дозоре взметывается к головному убору: «Прошу прощения! — И кучеру: — Проезжай!»

Каменный подъезд Офицерского собрания столь перенасыщен ярчайшим, до белизны, электросветом, что разве только ночному подъезду синематографа «Лира», когда там показывают «Камо грядеши» или «Фантомаса», можно уподобить его.

И далеко вдоль улицы, в оба конца, освещена мостовая и тротуары. На эту ночь пришлось отключить частные дома чуть ли не всего города.

Справа и слева от входа, наклонно нависая, чуть трепещут от ветра на своих золоченых древках, иной раз словно бы ласково задевая лицо входящего, два огромных двухцветных знамени: красно-белое — чехословаков, бело-зеленое — «сибирского правительства»: снега и леса Сибири!

Братски лепечут, перешелестовываются друг с другом.

Треугольный навершник здания сверкает, очерченный световыми гирляндами. Ярчайше иллюминированы и деревья сада, и огромная раковина духового оркестра.

Однако самые тыловые, уже у заплота, тополевые пр́осади оставлены в полутьме: тончайший гостеприимнейший расчет хозяев — устроителей вечера в пользу парочек, хотящих уединиться. Безопасность уединившихся обеспечена: с той стороны заплота, в глухом переулке прохаживается охрана.

Под знаменами застыли, подобно двум изваяниям, па́рные часовые: под чехословацким — русский доброволец в пилотке, под сибирским — чех в кепи. Пусть даже и этим знаменуется боевое братство!

Часовые не останавливают, не проверяют, даже и глазом не поведут!

Зато на мраморном взбеге, на площадке перед распахнутой в зал двустворчатой белой дверью, стоит распорядитель вечера со стороны русских офицеров Александр Гуреев, изящный, подтянутый, но еще без погон, как все, и галантным, гостеприимным склонением лоснящейся от бриллиантина головы со строгим пробором, а иных — и улыбкой, и радушным «Прошу вас! Наздар!» приглашает вступить.

В огромном двусветном зрительном зале пока еще заманчиво отблескивают недвижные пустующие колонны кресел и стульев. Здесь вперед будет концертное отделение и только потом, после перерыва, собственно бал, «танцы до утра», как сказано в приглашениях.

А пока, кому особенно не терпится, танцуют в саду, на дощатой, нарочно для того построенной и довольно обширной площадке. За этот совет, кстати сказать, чехи-устроители весьма благодарны поручику Гурееву.

Запах духов, пудры, хвои охватывает каждого входящего в зал.

И представительницы местного «высшего» света невольно откидывают свои у лучшего куафёра убранные головки и, всей грудью и трепетно раздувая тонкие ноздри, вдыхают этот магический, неизбывно волнующий запах балов и торжеств, о котором и думать забыли при большевиках, «этих ужасных, неизвестно откуда взявшихся людях, которые только о том и заботились, как бы кому-то испортить жизнь»!

Белого отсвечивающего лоска стены Собрания, с зеркалами в полуколоннах, украшены боевыми призывами. И, может быть, потому, что этот вечер дают избранному обществу города чехословаки,— все призывы на чешском.

Впрочем, кто же не поймет из русских:

«До бойе за Славянство, и вэликэ Руско!» Или: «До послэдни капки крвэ!»

Под большим, неплохо исполненным портретом Сырового, окруженным искусным плетением цветов и сосновой хвои, краткая надпись на чешском:

«Велител чехословэнскэго войска на Руси Ян Сыровы».

Но еще больше цветов, да еще и целая высоченная ваза с цветами внизу, на столике — только что лампадки неугасимой недостает! — у другого огромного портрета некоего скромного с виду, вроде бы учителя, седоусого, с тупым клином седой бородки. Надпись внизу портрета тоже не требует перевода:

«Драги наш отец Масарик».

Вперемешку с русской и в саду, и в самом здании слышна и чешская певучая речь — протяжный, вкрадчивый говор, с его мягким «жи» и твердым «л».

И странно: почти любой из этого цветника русских девушек и женщин прелестным, очаровательным, хотя и вызывающим иной раз улыбку, кажется этот необычный выговор русских слов: правитэлство; благодарью вам; област; дэлэгаций; актуални.

Восхищается и забавляется местный женский бомонд и чешскими именами. В самом деле: Бендржих *Тихий*; Олдржих *Пекач*; Вацлав *Врана*... Но если перевести на русский, то и все очарование исчезнет: Прóтивень; Ворона... Вы подумайте! Нет, лучше не переводить!

А еще забавно, что вальс по-ихнему — *валчик!*

Подойдет, склонит перед тобой светловолосую голову, подставит руку калачиком — и смиренно, просительно и певуче:

— Смим просит вас о валчик? (Ну, то есть, смею ли я просить вас на вальс?)

Иные из них танцуют неуклюже и как-то не по-нашему. Но какое же это имеет значение: *воины!* Их танец — со Смертью! Вполне естественно, что от лощеных паркетов поотвыкли.

И рука в белой до локтя перчатке лебединым изгибом взлетает на крепкое, мужественное плечо вчерашнего хмельника-пивовара, торговца, слесаря, коммивояжера, а либо сапожника со знаменитого обувного завода Бати.

И пусть не думают, что здешние дамы — это сплошь провинциальный бомонд: супруги, дескать, и дочки местных купцов, заводчиков или всевозможного мелкослуживого люда,— о нет, отнюдь! — еще за полгода до этих времен осело здесь, на Тоболе, да и по другим городам извечно сытой Сибири немалое число набеглых из Петрограда, Москвы — от голода, от большевиков — представительниц самого высшего света: и баронесс и графинь, а встречаются и княгини, — и ни одна из них и не подумает отклонить приглашение чешского солдата *«о валчик»!*

Но неужели и Анатолий Витальевич Кошанский тоже здесь? Не верится! Был слух, что его расстреляли.

Однако исчезает малейшее сомнение, когда из недр преизобильно снабженной и винами и закусками буфетной донесется до ваших ушей произнесенное привычно-витийственным, рокочущим баритоном:

— О нет, господа! Прежде и превыше всего — правовое воспитание народа! Устойчив будет лишь тот строй, который будет покоиться на вечных основах неувядаемого, бессмертного римского права. Священная частная собственность, хотя бы и вооруженной рукой, manu militari, восстановленная и огражденная!

Здесь и его обаятельная дщерь.

Упоенно кружится она то с одним, то с другим чехом.

Бедному Гурееву вряд ли дождаться!

Ее необычный успех среди чешских воинов объясняется не только ее роскошной, чувственной прелестью, но и тем, что и во время вальса, и в перерывах из ее тугих, ярких уст каждый чешский солдат или офицер слышит безупречно чешскую речь, да еще и с трогательной певучестью, свойственной уроженцам Праги. Нет, не пропали для нее зря былые уроки Иржи Прохазки!

Она и сейчас больше всего ищет именно его общества, но разве ему, временному начальнику гарнизона, почти диктатору в этом, по существу, фронтовом городке — еще же не взят и Далматов! — тешить себя танцами и разговорами с прекрасным полом, когда и здесь, на балу, для него оборудована специальная, с телефоном, будка, возле которой, когда он входит в нее, становится часовой?! Время от времени и отсюда посылает он вестовых-ординарцев со срочным каким-либо распоряжением по гарнизону.

И все ж таки, улучив момент, он пригласил Кирочку «о валчик». И свои и чужие залюбовались.

Но, пройдя с нею два-три круга, он вынужден был почтительно раскланяться с ней, увидя, что его адъютант, остановясь, встревоженно выискивает его взглядом. В эту ночь, по агентурным сведениям, готовилось нападение на городскую тюрьму с целью освободить из нее обреченных смерти большевиков, захваченных в ночь белочешского переворота.

Иржи и накануне знал об этом. Ему советовали отложить вечер. Он решительно отказался, дабы не посеять в обществе тревожных слухов. Он и с Кирой сейчас прошелся в вальсе рассчитанно: чтобы видели все, что он, возглавляющий здешний добровольческий русско-чешской отряд, высшее военное лицо в городе, абсолютно спокоен.

Едва он оставил ее, как тотчас же один за другим стали ее приглашать и другие чехи. Таяли от восторга. Уже и ревновали ее один к другому. Между двумя офицерами, словаком и чехом, крупный разговор из-за танца с нею грозил привести к дуэли. И если обошлось, то скорей всего потому, что офицерству корпуса известен был суровый приказ и командования, и Одбочки Чехословацкой народной рады насчет дуэлей.

Вызов может быть принят, если суд чести нашел его правомерным и неизбежным, но вещественный расчет —

кровью — должен состояться только по возвращении на родину.

В этот вечер, опьяненные ее прелестью, счастливые ее чешской речью, «вояки» и «дустойники» — солдаты и офицеры — прозвали ее Чешская Хризантема.

Но лишь начальник чехословацкой контрразведки, таинственный и страшный Робенда, отозванный в Самару, но мечтавший заполучить и туда незаменимую Кошанскую — были у нее, конечно, и номер и кличка,— только он знал, до какой степени эта Чешская Хризантема на берегах Тобола вспоена соками тайных чехословацких оранжерей.

Жалованье ей положили большое. Снабжали ее через чешскую службу. Одета она была во все заграничное, недосягаемое для других.

Но и бесплатно, ради того лишь, чтобы мстить и мстить большевикам — и за отца, изведавшего тюрьму, и за свой страх и трепет в только что минувшие дни,— Кира согласилась бы служить контрразведке.

Обладание тремя иностранными языками — французским, чешским, английским; ее обаяние и светскость; острый ум и находчивость; изрядное владение роялем; разносторонняя начитанность; хваткая память на все; быстрое усвоение шифров; незаурядная способность к поистине актерским перевоплощениям — все это делало Кошанскую бесценной секретной сотрудницей чехословацкой контрразведки в Сибири.

Сейчас Самара и Омск спорили за нее. Но уже ясно было, омский Зайчек пересилит самарского Робенду. Зайчек был несравненно выше и военным званием, и связями в командовании и в Одбочке; да и в Омске, а не в Самаре предугадывался самый сложный и страшный узел грядущих политических событий.

Наконец, и папа́ Кошанский твердо заявил дочери, что он порывает навсегда с жалкой, как выразился он, долею адвоката: «Хватит с меня и службы у господина Шатрова! Отныне, и полностью, я — на политической арене! Час мой приспел!»

Он принял решение о переезде в Омск. С присущим ему остроумием, но даже и ей, единственной и любимой дщери, не открывая своих далеко заметанных тайных расчетов и вожделений, Анатолий Витальевич объяснил ей все одной короткой фразой:

«Тобол, моя дорогая дочь, впадает в Иртыш!»

Отборнейшие прелестницы чехословацкого вечера завидовали Кире Кошанской. Но здесь же, в залах Собрания, можно было увидеть еще одну женщину, которая могла бы оспаривать у нее сладостное внимание чехов, хотя этой женщине было уже далеко за пятьдесят. Это была Сычиха. Да, да, она самая, вдова Панкратия Гавриловича! Люди почтительно перешептывались, уступая дорогу, когда Сычова, и сейчас не изменившая старинным своим темно-зеленым шелкам, строго проплыла в буфет, а слева от мельничихи, чуть придерживая вдовицу под локоток, наклоняя к ней голову, шел комендант города Ярослав Чех, красавец и богатырь.

Было за что ублажать чехам эту женщину! В то время как чуть не плясавшие от радости на улицах от свержения Советов купцы, промышленники, домовладельцы скупо отколупывали доброхотные даяния на добровольческий отряд, Сычиха без всяких понуканий, как только освободили ее из тюрьмы, съездила к себе на заимку, извлекла из тайника заветную кубышку и, вернувшись в город, торжественно, в чешской комендатуре, с глубоким, земным поклоном положила к ногам Ярослава Чеха тридцать тысяч рублей: «Освободителям нашим!»

Мало этого: прислала целый обоз муки для военных пекарен и сказала, что и впредь весь добровольческий отряд — а это сто пятьдесят бойцов — она обеспечивает своей мукой, доколе отряд стоит в городе.

Карательные отряды и разъезды, возглавляемые почти всегда двумя-тремя чехами — для устрашения! — и днем и ночью находили на заимке Сычовой обильное довольствие, привет и ласку. Ценилось и то, что, переночевав у Сычихи, командир караульного отряда без всяких нудных опросов и поисков знал наутро, кто и где в ближайших селах должен быть арестован и увезен.

Сейчас, на вечере, поцеловав ей на прощание руку, Ярослав Чех густым, растроганным голосом и так, чтобы слышали окружающие, произнес на отличном русском языке:

— Вы, мадам, истинная русская патриотка! Если бы таких, как вы, среди русских женщин и таких, как Петр

Аркадьевич Башкин, среди мужей русских было больше в Сибири, мы, чехи, давно бы уничтожили большевиков. А! Легкий на помине! — И, когда Башкин приблизился к ним, чех, приветливо рассмеявшись, добавил: — У нас, у чехов, так говорят: ми о влку, а влк за хумны.

Обмениваясь с ним крепким рукопожатием и приложившись к пухлой, с двумя золотыми кольцами («мое и Панкрашино»), руке Сычихи, Башкин, глянув ей в лицо и улыбаясь, спросил:

— Поняли, Аполлинария Федотовна?

И, не ожидая ее ответа, перевел:

— Мы — о волке, а волк — за гумном!

На мгновение лицо его объялось думой, и непривычно для него, избегавшего вдаваться в чуждые ему области, он изрек:

— Да! А среди нашей жалкой, беспочвенной интеллигенции принято было смеяться над славянофилами! Но ведь мог бы и не переводить. Не правда ли, Аполлинария Федотовна?

И она подтвердила, кивнув седой большой головой:

— Кого тут не понять: кто же русской да не поймет?

Башкин был, как прежде, гордо-осанистый, сухолицый красавец в больших очках толстой заграничной оправы, с коготком рыжей бородки и строгим, серединным пробором гладко причесанных рыжеватых волос. Как будто даже помолодел. Он был сегодня в изящном фраке с цветком главного распорядителя в петлице.

В отличие от всех гражданских лиц города и всем на зависть, Петр Аркадьевич Башкин, по непременному желанию чехов, состоял почетным председателем Офицерского собрания.

Чехословаки в России, как никто до них прежде, показали и местной интеллигенции, и «цензовым элементам», как снова начали называть в сибирской печати купцов, промышленников, домовладельцев, непревзойденное искусство многообразнейших вечеров и концертов.

Началось это еще со стоянки в Киеве, продолжалось и в Сибири и на Волге, даже в самых глухих городках, которые захватывал корпус на своем страшном пути, предначертанном тайным соглашением Масарика с Парижем и Лондоном.

Так было и сейчас.

Начало было положено коротким выступлением замечательного чешского хора, исполнявшего подлинно народные песни — чешские и словацкие, а завершилось исполнением торжественного хорала: «Кдож йсте, божи бойовници?» (Кто вы, божьи воины?) — и старой песней, в сущности, гимном, чешских соколов — «Прапоре наш рудобили», то есть «Красно-белое наше знамя».

Кира Кошанская предпосылала с эстрады изящный и краткий перевод каждой песни, вызывая всякий раз восторг и гордое удивление — русской и чешской половины зрительного зала.

Затем был исполнен знаменитый виолончельный концерт Дворжака.

Для знатоков это было событием, долго вспоминаемым и отрадным.

Непререкаемой власти этих, словно бы из потустороннего, *горнего* мира льющихся, сладостно терзающих и в то же самое время умиротворяющих звуков не в состоянии было противиться ни одно сердце. Многие слушали с закрытыми глазами. У иных текли слезы.

И едва ли не каждому в эти блаженные мгновения чудилось, что вот, вот она и есть в том, что рассказывают эти звуки, истинная жизнь, подлинная действительность. И чудовищно нелепым казалось, что где-то, даже и здесь, в этом городке на Тоболе, рядом, всего лишь через два-три квартала отсюда, есть, говорят, каменный дом с глухим подвалом, где окна над самой землей заложены выбеленным кирпичом и где из ночи в ночь допрашивают и пытают зачем-то и без того на умерщвление обреченных людей!

Страшным сном, а не действительностью начинало казаться и то, что на воистину планетарных просторах державы Российской — всюду: на полях, в лесах, в городах и селах — творятся денно и нощно взаимно бесчеловечные и все нарастающие в количестве жертв массовые убийства людей, именуемые *войной!*

Потрясающим в своей неожиданности для большинства явилось исполнение одного из струнных квартетов Сметаны. И не самое исполнение, безупречное, даже виртуозное, а состав исполнителей: на эстраде стояли, встреченные бурными рукоплесканиями, начальник

гарнизона и командир русско-чешского добровольческого отряда Иржи Прохазка, комендант города Ярослав Чех и — наравне, рядом с ними! — это-то и ошеломило русскую часть зала — двое чешских солдат, рядовых: капельмейстер Собрания Ян Пшеничка и никому не известный Микулаш Сокол!

«Так, значит, справедливо говорят, что чехословацкое войско едва ли не самое демократическое в мире? И принятое у них со стороны солдат обращение «брат офицер» не пустая, стало быть, игра в демократию, не обман. В строю, в бою — беспощадная дисциплина. В быту, в празднествах — солдат и офицер равны. Братья. Да разве у нас, даже и в теперешней сибирской, еще не надевшей погон армии, возможно что-либо подобное?!»

Так думалось многим.

Какой горожанин не знал и того другого из чешских офицеров, стоявших сейчас на эстраде — один со скрипкою, другой — с виолончелью в руках? Жизнь и смерть многих в эти страшные дни зависела порою от гнева или милости чешских комендантов. Недаром же в народе уже ходило анекдотическое, с мнимочешским выговором произносимое: «Я — чешский комендант: могу расстрелять, могу повесить!..»

Участие Яна Пшенички в одном выступлении с этими могущественными по своему положению офицерами еще как-то укладывалось в сознании: он многим примелькался как чех-капельмейстер Офицерского собрания. И кто их знает, чехов, может быть, он и не совсем рядовой: погон они не носят, знаки отличия — на рукаве.

А тот, второй солдат?

Микулаша Сокола никто не знал. Но что это — простой солдат, несомненно. И держится на эстраде застенчиво, как бы смущенный необычностью своего положения.

Никому, конечно, и в голову не приходило, что этот чешский солдат, бывший военнопленный, очутился вновь среди оркестрантов, выполняя волю Матвея Кедрова.

Когда, перед самым переворотом, стало ясно, что непрестающие на тысячеверстных стальных путях острейшие конфликты Совдепов с чехословацкими эшелонами добром не закончатся и что кровавое столкновение неотвратимо, Кедров счел чрезвычайно полезным

для предстоящей вскоре борьбы, чтобы Микулаш Сокол ушел с башкинского завода, пока он там не раскрыт, и вступил вновь в состав оркестра при Офицерском собрании.

И надо было это сделать, пока не возвратился на башкинский завод Кондратьич — сыщик и провокатор опытный и опасный.

Ян Пшеничка, бессменный капельмейстер оркестра и во времена первого Офицерского собрания, и во времена советского Народного дома, и во времена второго Офицерского, с радостью принял старого друга-приятеля, родного своего чеха, виртуозного виолончелиста и скрипача, под свое начало.

И вряд ли комиссару Реввоенсовета Урало-Сибирской армии Матвею Кедрову пришлось пожалеть, что его опытнейший, молчаливейший и умнейший разведчик-чех ушел с завода, пусть даже и оружейного, опять в музыканты. Быть глубоко законспирированным в самом гнездовье и чешского и русского офицерства — там, где вино и водка развязывают и крепкие языки,— можно ли было в эти дни, когда через городок на Тоболе шли русско-чешские отряды на Тюмень, на Тобольск, на Екатеринбург, найти для разведчика-большевика более ценное место?

Уже одним тем, что Микулаш Сокол был чех, он в какой-то степени был огражден.

Нет, ни Иржи, ни Ярослав не разучились владеть смычком. Рука, привыкшая к винтовке, к нагану, не утратила тончайшей своей чуткости к голосу скрипичной струны. Гул пушечной пальбы не огрубил слуха.

Долго бушевали восторженные крики и рукоплескания.

И вдруг стряслась внезапная выходка одного из слушателей.

На эстраду из-за кулис вырвался лидер местных эсеров Булкин, возбужденный, всклокоченный, с горящими глазами. Вскинул длань, требуя тишины и внимания. И прежде чем успели его пресечь, выкрикнул:

— Господа! Граждане!..

Затем вполуоборот повернулся к Иржи и Ярославу и, поклонясь им и почтительно указав на них рукою, продолжал:

— Перед нами — явление самой подлинной демократии в армии. И не худо бы тем, кто спит и видит возвращение палочной дисциплины, мечтает вновь надеть золотые...

— Правильно! — выкрикнул с места лидер местных меньшевиков товарищ Добрый.

Среди русских офицеров сделался шум.

Однако непрошеный оратор не оробел: он знал, что в присутствии чехов ни один волос не упадет с меньшевистской или эсеровской головы.

Доброволец Сергей Шатров, сидевший рядом с капитаном Гарпиевым, обнажая зубы, в злобной решимости пробормотал:

— Сейчас я стукну эту сволочь!

И рука его полезла в карман за пистолетом.

Гарпиев спокойно и быстро перехватил его руку. Не оборачиваясь к нему и негромко, чтобы не вызвать внимания окружающих, сказал:

— Перестань! Разве ты не понимаешь: господа эсеры нарочно провоцируют нас! Выстрел твой будет не в них, а в чехов. Успокойся! Скоро выступаем на фронт: настукаешься вволю!

К счастью, Булкин почувствовал, что и хозяев этого вечера, чехов, он может прогневать своим выступлением. Закончил быстро и льстиво:

— Да будет этот пример наших братьев чехов, наших освободителей от тирании большевизма, от гнета комиссародержавия, примером и для других! Спасибо вам, братья чехи! Наздар!

И просыпался каблуками по деревянной лесенке в партер.

Этим выкриком он сорвал невольные аплодисменты почти всего зала.

Раздался восторженный женский взвизг:

— Чешский гимн, чешский гимн!

Но оркестр на хорах не был изготовлен. Выручила стремительная находчивость Иржи: он подал своим товарищам знак, и струнный квартет заиграл «Где домов муй?» — «Где родина моя?». Но не яростные вопли высокой оркестровой *меди* — звонкоголосых труб и валторн, взрываемые грозным буханьем, гулом и громом чудовищной трубы, тромбонов и барабанов,— а именно лирическая струнность эта, казалось, выше всего и со-

ответствовала этому необычайному среди прочих гимну, в котором главное не напор, не кичливая угроза и наступление — «Царствуй на страх врагам», а восхищенное любование природой беззаветно любимой Чехии, мужественной красотой ее человека!

Среди всех танцев мира мазурка и вальс, быть может, любимейшие у офицерства славян и бесспорно — у польского, чешского и русского.

Первенство сегодняшнего бала и в том и в другом единогласно присуждено было Кире Кошанской и Ярославу Чеху.

Поручик Гуреев, на удивление многих, сегодня не танцевал. На все упрашивания он лишь с презрительно-вялой улыбкой и пожатием плеч отвечал:

— Мазурка без погон и шпор — это профанация. Вальс примелькался!

И только, может быть, один Сережа Шатров, и то в строго доверительном порядке, знал от своего друга и первоучителя об истинной причине его отказов: ревность, ревность!

Все еще не преодолевший в своей душе «маркиза изнеженного с глазами цвета стали, на все взирающего с усмешкой сатаны», поручик Гуреев и эту свою боль, и это оскорбление своего чувства пытался процеживать сквозь зубы цинической усмешки:

— Я думаю, ты тоже найдешь, дитя души моей, что титул Чешская Хризантема не к чести русской девушке и дворянке из хорошей семьи?

И Сережа только хмурился сочувственно-скорбно и тяжело вздыхал.

Шли в буфет.

Плененный, и не на шутку, Чешской Хризантемой, готовый сделать ей предложение и уже решившийся на это, Ярослав Чех и в перерывах между танцами не отходил от Киры.

Оскорбленный за друга, Сергей старался при неизбежных на таком вечере встречах не замечать Кошанскую. А между тем она и ему была всегда приятна, и он по-прежнему считал, что между их семьями существует крепкая дружба, испытаниями только что минувших черных дней еще более окрепшая.

При одном его таком пробеге мимо Кира остановила его сама и в то же время легким нажатием руки на могучий локоть чеха заставила и спутника своего остановиться.

Ярослав Чех смотрел на юношу благосклонно. Суровое лицо его осветила улыбка. Он знал, что это один из бойцов русско-чешского добровольческого отряда, да еще, кажется, и убежавший из дому ради того, чтобы стать простым солдатом.

Сергей по-юнкерски вытянулся, дружески приветствуя чеха.

Кира ласково дотронулась до рукава защитки Сергея и задушевнейшим, благозвучным и обаятельным своим голосом, которому и Сереженька, бедный, все еще не мог противиться, произнесла:

— Сере-е-женька, славный друг мой, вы на меня за что-нибудь сердитесь?

Он ответил смущенно:

— Нет, почему же...

И покраснел.

— А мне показалось, что я для вас уже перестала существовать.

— Что вы, что вы, Кира!

— Ну и прекрасно! А почему же один? Где же *предки?*

И пояснила чеху, что это в ее кругу, ради милого озорства, принято иногда называть так родителей.

Не давая Сергею ответить, уверенно ответила за него сама:

— Впрочем, я знаю: у вас дошло до разрыва. Арсений Тихонович всегда был противником вмешательства чужестранной руки (она подчеркнула голосом слово «чужестранной») в наши, русские дела...

Сергея всего передернуло. Этого он никак не ожидал. Но, захваченный врасплох, не доискался слова.

Порывнулся отойти.

Она прикосновением руки удержала его.

— А что — Ольга Александровна? Все еще не может расстаться со своим комиссаром?

Сергей весь вспыхнул. Вырвалось:

— Какой комиссар? Вы с ума сошли!

Ярослав Чех настороженно нахмурился. Кира еле ощутимым перебором своих пальчиков на его могучем

предплечье приказала ему не вмешиваться и слушать.

Продолжала пытку. Укоризненно покачав головой, но все с той же улыбкой старшего друга, снисходящего к выходке невоспитанности, к срыву, она сказала:

— Сереженька! Воину не подобает так отвечать женщине! Но я вас понимаю: вы могли подумать, что, говоря о комиссаре Ольги Александровны, я... Но я имела в виду товарища Голубых...— И вновь рассчитанно остановилась. И вновь пальчиками прошлась успокаивающе по руке чеха. И наконец пояснила:— Я имела в виду «комиссара Фросю». Ведь у нас, в шатровском госпитале, ее все привыкли так называть, Ефросинью Филипповну Голубых. Вы могли, конечно, этого и не знать, но она же и в самом деле комиссар. И кажется, единственный уцелевший! При большевиках Ольга Александровна говорила, что смело может оставить госпиталь на нее в любую минуту. Вот почему я и удивляюсь, что на сегодняшнем, столь знаменательном для нашей родины вечере отсутствует и Ольга Александровна!

Теперь наконец Сергею Шатрову стало понятно все. И сам собою пришел ответ. Шатровский.

— Знаете, Кира, будь вы мужчиной, я *нанес* бы вам — понимаете ли? — *нанес* бы... другой ответ! А что касается Ольги Александровны, то она, как всегда, у постели раненых, страждущих воинов. Русских и чехов!

Трудно сказать, какое возмездие обрушил бы сейчас на Сергея Ярослав Чех, если бы в этот миг не раздался рядом звонкий и дерзко-мужественный в то же время голос Иржи:

— Справедливый ответ: ответ сына и воина!

И яростно-могучий, но привыкший обладать своим гневом, остановленный неожиданным вмешательством соратника и друга, Ярослав слегка подался назад, изготовленно-угрюмо ждя объяснений.

Только напрасно он думал, что эта обожаемая им девушка в столкновении с кем бы то ни было станет оглядываться на защитника!

Еще никогда и никто в жизни не вонзал в гордое сердце Иржи столь рассчитанно и умело ядом нестерпимого унижения напоенное острие, как сейчас удалось это Кире.

Злобно и насмешливо сверкнув на него лезвием сощуренных черных глаз, но в то же время словно бы и

оставя без внимания оскорбительность для нее этого вмешательства Иржи, Кошанская отвечала ему, рассмеявшись:

— Но, дорогой мой Иржи! Вы напрасно с такой уверенностью высказываетесь! Многое ли вам и теперь известно о том обществе и окружении, которое предпочитает мадам Шатрова? И откуда вам знать это? Насколько мне известно, порог ее гостиной и теперь, несмотря на ваш огромный военный пост,—порог этот и теперь столь же для вас непреодолим, как в бытность вашу военнопленным оркестрантом!

Он почувствовал, как от безысходного гнева пылает его лицо. И в самом деле: не на дуэль же, не к барьеру же вызывать эту кобру, нанесшую ему столь страшный укус!

Но никогда не изменявшая ему, даже и в безвыходности иных боев, быстрота и мысли и действий спасла его и сейчас.

Со спокойной усмешкой он отвечал ей:

— Ничего иного от столь достойной и всеми уважаемой русской женщины, как госпожа Шатрова, никто и не посмел бы ожидать. И поверьте, меня бы только огорчило, если бы «порог» ее гостиной, как вы изволите выражаться, именно теперь, с переменой моего положения, стал бы для меня столь же доступен, как «пороги» других — и очень и очень многих — русских дам! — Помолчав, добавил: — Да и при чем здесь вообще *гостиная?* Именно в силу теперешнего военного поста своего я достоверно знаю, сколь много доблестнейших воинов, не щадивших жизни и крови своей, будут вечно благословлять *госпиталь* Ольги Александровны Шатровой.

Поклонился отчужденно.

— Простите, mademoiselle, но мне безотлагательно необходимо побеседовать с Ярославом. На два слова, Ярослав!

В чешскую контрразведку поступил донос, подписанный неразборчивым росчерком и страшный по своим возможным последствиям для тех, на кого он был подан.

Сообщалось, что в госпитале Шатровой укрываются, и, конечно, не без ее ведома, во-первых, мадьяры-крас-

ноармейцы, раненные в недавнем бою с чехами, а во-вторых, еще и бывший комиссар Совдепа Голубых.

В ту пору у чешско-офицерских отрядов, свергавших первые Советы в Сибири, существовал очень простой обычай по отношению к захваченным пленным большевикам из числа дружинников и красноармейцев: русского убивали свои, то есть русские же, а мадьяра, венгра, отдавали чехам. И скорее каким-либо чудом мог остаться в живых русский большевик, чем венгр.

Ввиду особо тяжкого обвинения донос препровожден был на рассмотрение самого Иржи Прохазки, как высшей военной власти в городе и уезде.

На другой же день, еще до открытия учреждений, ранним июньским утром одна из нянечек, протиравшая окно, испуганным шепотом подозвала Ефросинью Филипповну Голубых и молча указала на военного всадника, сопровождаемого еще двумя, который быстро спешился возле парадного крыльца.

Вслед за ним оставили седла и двое других. Один, по-видимому ординарец, вестовой, остался при лошадях, а другой, видимо адъютант, почтительно, на расстоянии двух шагов, последовал за первым.

Раздался громкий звонок.

Нянечка испуганно потрясла головой, в ее глазах застыл ужас: да и многое страшное совершалось в те дни в тихом городке на Тоболе!

Ефросинья Филипповна сказала сердито:

— Черти окаянные, громко как звонят! Пойди открой.

— Ой нет, не пойду. А как да кого забирать приехали?

Но Ефросинья Филипповна лишь укоризненно глянула на нее, и сиделка поспешно кинулась отворять.

Четко ступая, вошел Иржи, сопровождаемый адъютантом-чехом.

Ефросинья знала, что старшой — это начальник здешнего добровольческого отряда и всего гарнизона. Стало быть, неспроста, да еще в такую рань!

Сияя белизною халата и шапочки, внешне невозмутимая, даже важная от сознания своей особой здесь власти, Фрося ждала, не двигаясь, вопрошая взглядом: а зачем, дескать, в этакую рань вздумалось вам беспокоить наших раненых и больных?

Они оба приняли ее за дежурного врача и как-то невольно убыстрили шаги, чтобы не заставлять ее ждать.

При этом случайно который-то из них соступил с дорожки на гулкий, звонкий паркет, и Прохазка заметил, как красивое, важное лицо этой женщины в белом халате исказилось, будто от боли. Предостерегающе она подняла им навстречу ладонь, и этот человек, представлявший собою заведомое начальство над всеми военными города, не только подчинился ее безмолвному знаку — пошел на цыпочках, но и повторил ее знак адъютанту.

Подойдя, он сперва приветствовал ее вскидкою руки под козырек головного убора, а затем, взяв его в левую руку, слегка наклонив голову, назвался.

Она ответила ему легким наклоном головы.

Теперь уже сам приглушая голос, он сказал, что ему, как начальнику гарнизона, необходимо срочно переговорить с Ольгой Александровной Шатровой.

— Пойдемте за мной. Они в своем кабинете.

В приемной, получив через Ефросинью Филипповну приглашение войти, Иржи еще раз поправил перед зеркалом свой пробор, еще раз огляделся и, приказав адъютанту остаться в приемной, вошел один.

Поднявшись из-за большого письменного стола, Ольга Александровна Шатрова, с присущим ей величественным достоинством и в то же время просто и дружелюбно, ответила на его приветствие.

Пригласила сесть в кресло напротив.

Однако он, поблагодарив, не торопился воспользоваться ее приглашением и остался стоять.

Была она в обычном своем служебном одеянии — сестры милосердия.

А у ее грозного начальства в этот миг и голова вдруг закружилась, и занялся дух от одной лишь мысли, что вот свершается наяву нечто несбыточное, невероятное, словно райские грезы гашишиста: вновь, вновь он видит перед собою земными очами смертного, нет, не видит даже — слишком земное слово! — а созерцает эту величественно-прекрасную, богоподобную женщину, с зеркально-серыми большими глазами, эту Княгиню Севера, как пронеслось тогда, на заснеженной улице, в соз-

нании бедного военнопленного скрипача из оркестра.

Знала бы она, что ее маленький снимок, подаренный ему самовольно Володей в горестный час прощания, и сейчас вот у него на груди, замкнутый в смятом австрийской пулей серебряном портсигаре! Знала бы она, что и ее светлый образ замкнут был в его сердце даже там, в кровавой буре и ужасах боя! Знала бы она, что этот образ, боготворимый и мучительно вожделенный, был защитой ему не только от вражеской пули, но и от чувственных падений с другими женщинами, в чем даже и признаться нельзя было там, на фронте, даже и самым близким друзьям, ибо удивились бы, не поверили бы, подвергли бы мужскому, беспощадному осмеянию!

Поцеловав ей руку, Иржи позволил себе напомнить ей о том, что перед нею тот самый, кто тогда был учителем скрипки у ее сына и его верным другом.

Ольга Александровна естественно и просто, и явно не желая придавать этому обстоятельству никакого особого значения, сказала, что ей известно было об этом от Сергея.

— Да. Он в моем отряде. На днях выступаем.

Молчание...

Тогда он понял, что она лишь из чувства приличия медлит задать ему вопрос о цели его посещения: ждет, когда он заговорит об этом сам.

С болью в сердце он молча положил перед нею, через стол, бумажку с доносом. Задавать ей вопросы об этом ему казалось святотатством.

Пока она читала донос, он внимательно смотрел на нее.

Слегка подперев виски сверкающими белизною, длинными перстами обеих рук, с тяжелым золотым кольцом на одном из них, явно ужасаясь и негодуя, Ольга Александровна тихо произнесла:

— Боже мой, какая гнусность, какая мерзость! И это — люди?!

Он видел, как ее грудь под глухим серым платьем, с большим знаком красного креста на сестринском полотняном запоне, порывисто вздымается от нарастающего негодования и скорби. Щеки ее раскраснелись. Резче означились тонкие, трепетные ноздри.

Выпрямившись и взглянув на него строго, она возвратила ему бумажку.

Встала.

Встал и он.

И, словно властная прекратить данную ею аудиенцию, произнесла сурово и четко, как бы не только для его ушей, начальника гарнизона, а и во всеуслышание:

— Никаких мадьяр у меня в госпитале нет и не будет!

Зная, что это отнюдь не так, Иржи ошеломленно взглянул на нее. Затем пришла естественная при этом положении мысль, что она решилась прибегнуть ко лжи ради спасения этих несчастных, которых ожидал бы неизбежный расстрел, будь они изъяты из госпиталя.

Но она продолжала:

— И русских и чехов — тоже! У меня — только раненые! И я никому не позволю даже и прикоснуться к ним. На это дает мне право вот этот всеми государствами мира свято чтимый символ!

Она слегка докоснулась до широкого красного креста на своей груди.

Потрясенный ее словами, Иржи молча склонил голову. Он был так счастлив сейчас, что — она такая!

Чувствуя и видя, какое действие произвел на него этот ее гневный отпор домогательствам контрразведки, Ольга Александровна вдруг улыбнулась, в больших серых глазах сверкнул затаенный огонек, и, уже уверенная, что человек этот ни в чем не посмеет сейчас пойти против ее воли, она сказала:

— А теперь разрешите мне познакомить вас и с моим страшным комиссаром, товарищем Голубых!

Нажала звонок, скрытый под кромкою стола.

Вошла нянечка.

— Пригласите ко мне Ефросинью Филипповну!

— Сейчас. Она здесь. В коридоре.

Вошла Фрося.

У Иржи глаза расширились от изумления, когда Ольга Александровна, приобняв за плечи эту исполненную достоинства, красивую и строгую женщину, с которой он только что беседовал, представила ее такими словами:

— Ну вот вам и страшный мой «комиссар, товарищ Голубых»! Прошу любить и жаловать. Мой бесценный, самоотверженный помощник. И прошу вас объяснить,

кому следует, что и до своей помощницы Шатрова никому не позволит и пальцем докоснуться!

Помолчав секунду, сочла нужным добавить:

— А кто она и что она для раненых и больных нашего госпиталя, это, если вам угодно, вы можете сейчас же услыхать из уст, которым, возможно, вы дадите веры больше, чем... моим устам... Фрося, дайте, пожалуйста, господину начальнику гарнизона один из этих вот халатов и проводите его в палату, где лежат... его соотечественники.

И не успел он опомниться, как быстроногая, ловкая, несмотря на свою полноту, Ефросинья Филипповна уже стояла перед ним с докторским халатом в руках.

Иржи воспротивился. Выставив обе ладони и отстраняя халат, он сказал ей:

— О, нет, нет! Прошу вас, повесьте это не положенное мне одеяние обратно! Для меня более чем достаточно слов госпожи Шатровой. Мне все ясно!

Затем, окинув Фросю будто бы и начальственным, но и веселым взглядом, он ободряюще и многозначительно произнес:

— Прошу вас, не бойтесь ничего!

Но она, вместо ожидаемой им радости и признательности, ответила даже с некоторым оттенком обиды в голосе:

— А чего мне бояться?

И вдруг, по-озорному сверкнув глазами, ошеломила Иржи чешской, с детства знакомой ему пословицей:

— Чинь цо ей правего, небой се жаднего! (Правое делай дело — и не бойся никого!)

У Иржи только и вырвалось, что изумленно-восхищенное «о?!».

...В тот же день и чешской и русской контрразведке от его имени было раз и навсегда запрещено косить око на госпиталь госпожи Шатровой.

Но едва ли достаточным оказалось бы и его покровительство, если бы кто-либо из той или иной контрразведки дознался, что Ефросинья Голубых состоит в законном браке с Микулашем Соколом и что оный ее супруг — надежнейший, глубоко законспирированный разведчик самого Кедрова, одного из руководящих комиссаров Северо-Урало-Сибирского фронта Красной Армии.

...До последних дней своей юной жизни, недолгой, но обезображенной многими и тяжкими заблуждениями, Сергей Шатров был бессилен изъять из сокровенного днем, но адски истязующего душу человека в ночи хранилища зрящей, созерцающей памяти неизбывные образы первого кровавого столкновения с теми русскими людьми, которых они в отряде привыкли называть *красными*...

В одной из самых первых атак во время внезапного налета на станцию, намеренно вырываясь вперед, ибо он все еще чувствовал сквознячок недоверия к нему после Томска, Сергей выстрелом из нагана в грудь свалил одного из красноармейцев охраны, русского паренька в солдатском ватнике, широколицего и курносого, и показалось Сергею в тот миг, что он даже видел, видел его когда-то среди помольцев на мельнице отца. Красноармеец упал навзничь. И на свою беду, Сергей приостановился над ним и глянул ему в лицо. Кровавые пузыри вздувались и лопались на губах парня. Силился что-то выговорить. Василькового цвета большущие глаза были широко раскрыты. Сергею послышалось: «Пить!»

Не думая, он схватился за солдатскую фляжку в сукне, висевшую у него на боку, и начал было опускаться на колено. Вдруг резкий удар чьей-то жесткой руки выбил из его руки фляжку с водою. Рядом стоял Гуреев. Презрительным громким шепотом, скаля зубы, поручик проговорил:

— Еще что вздумаешь?! Счастье твое, что капитан Гарпиев не видел. Погоди, я сам напою эту сволочь!

И, опустив руку с наганом, он прямым выстрелом в лоб прикончил распростертого на земле русоголового парнишку в солдатском ватнике.

— Что ты делаешь?! — вырвалось у Сергея.

Пряча револьвер в кобуру, играя холодным спокойствием, чуть грассируя, Гуреев ответил:

— А что? Выстрел в голову французы называют coup de grâce — удар милосердия. Советую тебе усвоить!

Июнь девятьсот восемнадцатого и вплоть до середины июля — это время на безмерных равнинах Зауралья и Западной Сибири было для чехословаков и для сомкнувшихся с ними русских добровольческих отрядов

временем неистово-бурного и неожиданно быстрого, врасплох, свержения власти Советов.

В то время как где-то там, на востоке, за тысячи верст от Тобола, Гайда и Ушаков, Пепеляев и Ка́длец тяжко проламывались к Байкалу,— здесь из Кургана, Челябинска, Ишима, наподобие огромного пятиперстия растопыренной руки, стремительно шли на запад и север — на Уфу и Екатеринбург, на Тюмень и Тобольск — ударные колонны белочехов, возглавленные все еще, как на подбор, полковниками и подполковниками. Впрочем, не за горами были и генеральские зигзаги на золотых погонах. Пока их не было еще ни на ком. Стеснялись. Побаивались оттолкнуть народ, ожесточить старого фронтовика-солдата, а его еще надеялись залучить,— понимали: добровольцами не обойдешься, приток их вскоре же после переворота оскудел. Да и давно ли, кажется, от сдираемых с господ офицеров золотых погон треск стоял на всю Россию, а из солдатских глоток неслось: «Долой золотопогонную сволочь!» В Томске полковник Сумароков, монархист, сразу после переворота, никого не спросясь, вздел погоны,— и что же, такой ропот и угрозы стало слыхать среди старых солдат, что пришлось Пепеляеву срочно снять его с поста начальника гарнизона, дабы не дразнил, не ярил народ! Да и как-никак власть пока что в руках эсеров: «мужицкая» партия,— им вроде бы и неудобно вводить снова погоны, а вместе с ними и прежние титулования: ваше превосходительство, ваше высокоблагородие. Сам Гришин-Алмазов — против, командующий «Сибирской *народной* армией», хотя и возведенный уже омскими эсерами в генералы. Не соизволяют и чехи: знаки отличия у них доселе на рукаве, хотя уже генералами стали и Чечек, и Гайда, и Сыровый...

Правда, генерал Иванов-Ринов, первый после Гришина-Алмазова человек в «Сибирской народной армии» и его соперник, командующий Первым степным Сибирским корпусом, спит и видит погоны и во всеуслышание заявляет, что без погон не будет ни армии, ни победы над большевиками,— но пока что не ему принадлежит решающее слово. Что же касается побед, то уже и Шадринск занят, а там, глядишь, и Москва!

Только в бою под Далматовом умылись-таки кровью! Курганский добровольческий, под командою чешского

поручика Грабчика, понес дотоле небывалые потери: две высокобортные платформы, как дровами нагруженные телами убитых добровольцев, ночью отбыли сперва в Шадринск, а оттуда, и опять-таки под черным пологом ночи, в Курган, к месту вечного успокоения.

Страшной ценой достался этот маленький городок! Однако основные ударные силы белых и чехов, проломные кулаки — эшелоны Войцеховского, Вержбицкого, Панкова,— они прут по рельсам!

Правда, не увидать бы им ни Уфы, ни Екатеринбурга и ни Тюмени, если бы от самого начала белочешского мятежа в чьей-то, видать, неглупой военной башке не вспыхнула стратегически бесспорная мысль, что для успешного и быстрого наступления этих кулаков-эшелонов следует непременно подпереть их партизанскими действиями мелких диверсионных отрядов, засылаемых в самую глубь, в тыл противника: для вздувания новых очагов мятежа, для разведки и всевозможного рода разрушительных действий.

Отряды эти так и именовались: офицерский партизанский отряд.

В один из них, русско-чешский, где начальником был капитан Гарпиев, а помощником и заместителем поручик Иржи Прохазка, и вступил, вопреки запрету отца, Сергей Шатров.

В белопартизанском офицерском отряде капитана Гарпиева было всего лишь семьдесят девять человек. Из них — тридцать пять чехов. Русских же — сорок четыре, то есть большинство. А потому, да и по старшинству военного звания, отряд возглавлял Гарпиев.

Русское крыло отряда было перенасыщено офицерами: двадцать пять человек. При этом каждый из них изведал — кто Карпаты, а кто — болота и дебри Полесья. Остальные же добровольцы были: парни из окрестных староверческих, кержацких заимок, с детства лесовщики, зверобои и следопыты, промышляющие пушниной, а ныне пришедшие в отряд исполнить благословение родительское: «сразиться с князем бездны, исшедшим из нея мятежей многих ради и ущербления и поношения древлего благолепия»; затем двое братьев-татар из семьи расстрелянного тюменского лесоторговца, бойцы,

не знающие ни пощады, ни страха, отличные стрелки да еще и тем незаменимые для отряда, что служили и переводчиками и возбудителями в татарских селах, коих немало в Тюменском уезде, и наконец — с десяток великовозрастных гимназистов с Тобола.

С чехами своих, чешских офицеров было лишь два: Иржи Прохазка и Ярослав Чех. Но и простые солдаты-чехи являли собою незаменимых бойцов: искушенные фронтовики! Мало этого, еще и по своим довоенным навыкам почти все они были отличными знатоками техники: горняки, слесаря, электрики. Так что винтовка, пулемет, револьвер любого устройства были для них чем-то заурядным.

Вообще, трудно было и придумать более боеспособный состав отряда для выполнения возложенных на него задач, и особенно в Тюменско-Тобольской округе.

Был даже и свой конный взвод. Он был и разведкою, но иногда внезапной атакой своей решал судьбу боя. Случалось, налетом из-за укрытия захватывал села и станции. Командовал конным взводом отряда кадровый кавалерист, ротмистр с почти невероятной фамилией: Крахмальный. Но ничего крахмального не было в нем! Это был прирожденный и лихой конник, словно сросшийся с конем. Безудержно храбрый, но в то же время изуверски жестокий. Любое проявление хотя бы малейшей жалости к пленному *красному*, пусть даже и тяжко раненному, он глумливо обзывал «соплями», а провинившегося в ней, в этой жалости, бойца окатывал чудовищной руганью.

Высокий, тощий, с длинным, обритым, угрюмо-темным лицом со следами оспы, в длиннополой кавалерийской шинели с глубоким разрезом сзади, он внушал людям своего конного взвода чувство страха. Они цепенели перед ним. Повиновались стремительно, предвосхищая его команду. Подошло бы ему: ротмистр Чугунный!

Сам же он, несмотря на то что в избытке был наделен обычным у кадровых кавалеристов сознанием заведомого превосходства над всеми другими родами войск, испытывал неодолимое чувство и страха и восхищения перед капитаном Гарпиевым. Он был непостижим для него и недосягаем. Это было чувство завистливой влюбленности.

Гарпиев редко повышал голос. С места он объявил

отряду своим барственно-спокойным, неторопливым голосом, что за отказ выполнить боевое приказание, за мародерство, обиды жителям тех мест, где челночно рейдировал его отряд, он будет расстреливать. На первый раз снизошел до объяснения:

— Я думаю, каждый поймет, что среди враждебного населения ни один партизанский отряд существовать не может!

И вскоре же в Тюменских лесах, на Пышме, приказал расстрелять одного из своих бойцов за изнасилование.

Приняли молча. Пошло впрок!

И только Саша Гуреев, но одному лишь Сергею, и то обязав его хранить молчание о их разговоре, не одобрил такую крайнюю меру:

— А я считаю, знаешь, что здесь наш дражайший Тихон Львович перегибает палку. В конце концов, по сравнению с тем, что мы совершаем чуть ли не каждый день и обязаны совершать, это же пустяки! Люди же мы, в конце концов!

Отряду нравилось, что, подымая людей в атаку, Гарпиев идет впереди цепи с простым таволожным прутиком в руке. Заменял ли он Гарпиеву когда-то привычный ему стек, хотел ли он этим показать, что противник не страшен, но это помогало, когда в лицо наступающим хлестал огненный бич пулемета. Правда, на предельном сближении с противником, уже в момент штыкового боя, он успевал выхватить маузер. И стрелял без промаха.

Кроме того, во время боя, и справа и слева, как бдительнейшие телохранители, следовали за ним оба брата Якушевы — Абдула и Гарапша (так их привыкли называть в отряде).

Младший, Абдула, был притом и вестовым Гарпиева. На своей выносливой сибирской мохноногой лошадке он возил и мягкий складной чемодан, страшно вместительный, где покоился весь личный обиход командира. Вот почему, сквозь какие бы дебри и болота ни продирался накануне отряд и сколько брызг и крови и грязи ни запятнали бы френч и белье капитана, к рассвету следующего дня он, подымавшийся раньше своих бойцов, уже обходил посты снова в ярко начищенных сапогах, в белоснежном подворотничке и со столь же белыми манжетами, слегка выпущенными из-под рукавов.

Это умиляло, в особенности чехов, помешанных на опрятности. Тянулись все, хотя одежда у отряда была самая сбродная: кто — в полувоенном, а кто — в домашнем. Но разношерстность эта была даже выгодна в смысле маскировки и скрытности.

Порой изображали красный партизанский отряд.

Без всяких начальственных выкриков и разносов Гарпиев сумел утвердить в своем отряде какую-то особую, неусыпно, неслышно действующую дисциплину. Ее не замечали, как не замечают смазку винтовки.

Наград в то время еще никому не жаловали. Благодарностей перед строем он тоже никому не объявлял. Но когда, беседуя со своим заместителем Иржи, он отзывался о ком-либо из офицеров: «Отчетливый офицер!» — то похвала эта разносилась по всему отряду, и заслуживший ее ходил именинником.

Однажды и Сергею Шатрову после отчаянной атаки на Успенский завод, куда он ворвался впереди всех, пришлось услыхать из уст Гарпиева:

— Что ж, отлично, Шатров! А ведь в Томске вы были у нас под сомнением.— Помолчал и с покровительственной улыбкой счел нужным добавить: — Со временем из вас выйдет отчетливый офицер!

Сергей трепетно вытянулся. Ему казалось, что удары сердца вот-вот поднимут его на воздух.

И от этих слов боготворимого командира ему почудилось на мгновение, что Гарпиев возлагает на его грудь столь мечтаемый, столько раз снившийся во сне белый крестик отважных...

В этот миг ни тот, ни другой не предчувствовали, что вскоре этот будущий «отчетливый» провинится самой страшной в глазах капитана Гарпиева виной неповиновения...

Этот камышловско-тюменский рейд офицерского партизанского отряда капитана Гарпиева был поистине страшен: страшен он был и надсадной, даже для самых выносливых, дьявольской стремительностью своей; и гнуснейшим вероломством, ибо, уничтожая тыловые Совдепы и охрану заводов и станций, сплошь и рядом маскировались, оборачивались в красный партизанский отряд; страшен был он и кровавой, до изуверства беспо-

щадной расправой с захваченными и обезоруженными.

Разве так, та́к разве еще недавно мечталась добровольцу Сергею Шатрову самоотверженная борьба за спасение родины?! Он чувствовал, несмотря на весь свой еще не изжитый боевой пыл, несмотря на влюбленность свою в Гарпиева и любование веселой отвагой Иржи, сурово-деловым мужеством Ярослава Чеха, что еще немного таких вот дней и ночей — а двигались больше ночью, на подводах,— и полог безумия накроет его душу, он лишится рассудка, если только раньше того не найдет в себе силы лишить себя жизни.

Неоднократно был близок к этому. И, как это ни странно, единственное, что спасало его в те дни от помешательства и самоубийства, было то, что он чувствовал вокруг себя своего рода *землячество.* И все эти люди — близкие или знакомые ему *тоболяне* — не только не осуждали и не презирали его за все, совершаемое им, но даже, напротив, подбадривали и поощряли. Несколько раз ему пришлось услыхать, что земляки гордятся им, его бесстрашием и удалью, и готовятся, как только будут восстановлены боевые награды, выдвинуть одним из первых своего Сережу.

В отряде было много отдаленных земляков: вообще с берегов Тобола, Ишима; но для Сергея Шатрова существовал еще как бы *особый,* узкоземляческий круг: люди из родного города, из родной гимназии. Таких было около десятка. Среди них, если не считать Гуреева,— Глызин, тот самый, Пещерный Предок.

И удивительно: в гимназии этот человек внушал ему брезгливый ужас, а здесь — нет. Впрочем, до поры!

На одной из таежных ночевок, где-то возле Исетского, присоединился к их отряду, в числе полусотни новых добровольцев, присланных вопреки нежеланию Гарпиева, еще один доброволец из самых ближайших шатровских земляков, встрече с которым Сергей Шатров обрадовался неописуемо. Увидал он его в строю на рассвете, когда Гарпиев принимал пополнение. И едва только раздалась команда: «Вольно!» — Сергей и вновь прибывший земляк радостно обняли один другого и расцеловались со щеки на щеку, троекратно.

Это был не кто иной, как шатровский придворный, так сказать, ямщик-троечник Ерема — человек истовый в самом староверчестве своем, в двуперстии креста, в

твердом убеждении, что антихрист уже «въяве пришед в мир» и что следует либо претерпеть от него мучения, а либо сразиться.

У Сережки вырвалось:

— Да как ты тут оказался, Еремей Аггеич? Какими судьбами?

У обоих на глазах были слезы растроганности.

И молодой, но не по летам угрюмый кержак ответил — истово, велеречиво и страшно громко, на всю таежную поляну, дабы и все остальные слышали:

— А где же мне быть, когда весь христианский люд подымается на антихриста?! Какими судьбами вы здесь, Сергей Арсеньевич,— такими же и я. Довольно по запечьям прятаться. Пришло время пострадать, поратовать за Христа, за Исуса!

Да! Этот таки ратовал! Вскоре после его прихода в отряд Ерема не только у капитана Гарпиева, но и у обоих его чешских помощников — Иржи и Ярослава — стал надежнейшим старшим разведки, пешей и конной. А разведка, возложенная на отряд, наряду с диверсиями, начальником рельсовой колонны подполковником Панковым, должна была освещать огромнейший треугольник — таежный, болотистый, изрезанный речками, труднопроходимый — Тюмень, Ялуторовск, Шадринск, площадью не меньше, пожалуй, иной европейской страны. И вот здесь-то чутье и опыт кадрового сибирского ямщика, побывавшего черт знает в каких переделках и передрягах; сметка, быстрота, глазомер Еремы; умение без всякого компаса определяться в тайге; находчивость и ярость в бою и, как ни у кого другого в отряде, удивительная способность в кою пору найти и распахнуть потаенное окно в скрытной, наглухо замкнутой душе сибирского, тюменского мужика — все это делало из него руководителя разведки незаменимого.

Как полагается староверу, Ерема не курил и от табачного зелья отвращался. И даже это обстоятельство однажды спасло отряд от людских потерь. Продирались сквозь дебри. Была ночь. Вел Ерема. Вдруг он подает знак остановиться, изготовиться к бою: засада! И впрямь: рабочий местный отряд с пулеметом поджидал приближения гарпиевцев, выхода их на чащобу близ озерка. Засаду взяли врасплох.

И только одному Гарпиеву этот затаенный и опасли-

вый человек открыл, что наличие засады он учуял носом: издали напахну́ло махоркой!

Расстрел пленного предпочитал совершать в одиночку. В противоположность другим, заботился, если только обстановка позволяла, и о погребении убиваемого:

— Кто он ни будь, а христианские тела не положено на расхитание звериное оставлять. А должен ты его земле предать. *Там* с тебя спросится!

И указывал на небо.

В таких случаях он приказывал уводимому:

— Заступ возьми: лопату железну, — пояснял, зная, что не каждый сибиряк поймет слово «заступ».

Сам следовал сзади, отступая на несколько шагов, держа наготове короткую казачью винтовку.

Отводил недалеко. Сам садился спокойно на пень или на поваленную лесину, а тому говорил:

— Изрой себе могилу!

Если тот упирался — следовал грозный окрик:

— Копай, копай, тебе говорят! Да попроворнее! Я, что ли, за тебя копать стану?

Когда, на его взгляд, яма, обычно очень неглубокая, бывала готова, Ерема неукоснительно и спокойно приказывал:

— Раздевайся: чего зря одежду в земле гноить!

Отряд одежею скудался сильно. Особенно жадовали на сапоги! Случался недостаток и в патронах. Привычно бережливый, хозяйственный Ерема, если приходилось уводить на расстрел двоих, а ростом были подходящи один другому, в таких случаях командовал:

— Становись на один патрон!

Но при всем том издевательств и глумлений над убиваемыми не терпел, останавливал и не допускал сам. Все должно быть «благолепно» и строго!

Перед выстрелом, уже прицелившись, никогда не забывал приказать убиваемому креститься. Впрочем, такой приказ по отряду был и от самого Гарпиева. А что сказал Тихон Львович — как разрешено было одному лишь Ереме именовать командира, — то свято! Гарпиев был человек не напоказ верующий и сейчас, возглавляя офицерский партизанский отряд, выражал свою политическую программу точно так же, как во времена своего подполья, всего лишь тремя словами: «Бог. Россия. Расправа!»

И расстреливать кого-либо из захваченных, даже и комиссаров, не предложив человеку перед смертью вспомнить хотя бы самую краткую молитву или, на худой конец, совершить над собою хотя бы крестное знамение, он строго-настрого запретил.

И у Еремы это неукоснительное правило командира вызывало чувство особого поклонения: «Все бы господа офицеры были таковы, не загубили бы и империю нашу! Да и сами бы сейчас не рыскали по тайгам, никто бы не обзывал нас в народе белобандитами».

Одно только огорчало: и капитан принадлежит, по выражению Еремы, к *господствующей* церкви и, наверно, когда молится, то тремя знаменуется перстами, а не двуперстием. «Господи, потерпи таковому его согрешению!»

Что же касается тех, кто на краю могилы, из числа захваченных красных, дрогнув, повиновался окрику Еремы: «Помолись!» — то все они, кого он «вывел в расход», крестились щепотью: никониане! И не над смертной же ямой растолковывать им, что щепотью из трех пальцев Иуда на тайной вечери соль брал из солоницы, а потому троеперстие не будет им на том свете во спасение!

Но однажды на желтой песчаной бровке для себя самого ископанной могилы, под дулом наведенной Еремой винтовки, раздетый уже до белья, как белье, побелев лицом, чакая зубами в ознобе смертного страха, русоголовый паренек-красноармеец вдруг, не дожидаясь никакого окрика-приказа, истово и явственно перекрестился *двумя* перстами.

Потрясенный этим, Ерема отвел винтовку.

Отпусти он парня, дай выстрел в воздух, на обман, закидай после пустую могилу землей — да никто бы и думать не посмел в отряде, что он, Еремей Аггеич, может пойти на такое дело!

«Ну а присяга? А святая битва с князем бездны и клевретами его?! Перед родителем клялся. Го́спода ли обману?!»

От борения душевного крупный пот, как все равно с потолка жарко истопленной зимней бани, закапал со лба Еремы.

«Да и что ж тогда будет, если каждый *своего* начнет миловать: кто — по вере, кто — по крови, а кто — по

добрых дел памяти? А Христа Исуса сызнова пускай влекут на распятие?!»

— А ну, перекрестись вдругорядь!

Тот снова перекрестился. И в этот миг слабой-слабой зарницей надежды осветилось его искаженное, потемневшее лицо.

Нет, нет, не ошиблось острое кержацкое око. Истинным крестом знаменуется, древлеотеческим. «Правой веры парнишка. Видать, из доброй семьи. Только чем же тебя, безумец, обольстили, что ты Христа отвергся, света? По крестному знамению — истинной веры чадо, а что над собою сделал? Кому предался? С ними, с богоненавистниками, Христа распинаешь на русской земле! Господень суд над тобою моя рука творит. Да не взыщется на мне кровь твоя!»

Снова вскинул винтовку. Грянул выстрел. И на этот раз, как всегда, не промахнулся Еремей Аггеич! Но впервые недостало у него душевной силы не только хотя бы кое-как зашвырять землею и хвоей яму, но даже столкнуть в нее зацепившуюся за край могилы босую ногу. Послал других...

Это было еще время войны на рельсах. И те и другие, еще не отрываясь от железных дорог, не покидая теплушек и самодельных, почти сплошь, бронепоездов, и наступали и откатывались.

Красногвардейско-рабочие дружины, многочисленные, но и все еще именны́е — каждая по своему городу или заводу, каждая со своим собственным главкомом, все еще со страшным сопротивлением партизанского духа переплавляемые в полки и дивизии Красной Армии,— эти еще не умели, оставя эшелоны, вести маневренную войну охватов, обходов, прорывов. А что касается белочехов, с их старой военной выучкой, боевым опытом и дисциплиной,— то им даже было выгоднее, дабы упредить создание советских вооруженных сил, проламываться на запад — на Урал и к Волге, на соединение с грозными эшелонами Первой чешской дивизии, — именно по рельсам, не теряя времени, используя вовсю свои боевые преимущества.

И само собой разумеется, стратегическая обстановка диктовала белым разрушение железнодорожной и телеграфной связи Западной Сибири и Приуралья с Москвой, Пермью и Екатеринбургом.

Отряд капитана Гарпиева рвал железнодорожные мосты, разворачивал рельсы, валил телеграфные столбы, налетами захватывал поезда в тылу красных частей, противостоящих главной белой колонне, в подчинении которой находился офицерский партизанский отряд.

Один из офицеров отряда до войны был телеграфистом. И Гарпиев не умедлил использовать эту прошлую его специальность. Благодаря военной неопытности комиссара станции Тюмень и комиссара одного из советских бронепоездов, к западу от нее, не только бронепоезд этот — правда, наспех состроенный из стальных угольных платформ, с одним лишь бронированным вагоном,— но вдобавок к нему еще и почтовый поезд с большими суммами денег были захвачены белыми врасплох, через грубый обман.

Но в те дни на этот обман еще поддавались!

Захватив ночным налетом промежуточную между Камышловом и Тюменью небольшую станцию, капитан Гарпиев посадил своего офицера-телеграфиста за аппарат. И тому удалось поймать переговоры лентою, по аппарату Морзе, тюменского комиссара с комиссаром бронепоезда. А этот комиссар вел переговоры из телеграфного отделения той станции, где стоял его бронепоезд. Пропустив некоторое время после их переговоров, капитан Гарпиев, прикинувшись комиссаром станции Тюмень, вновь вызвал к аппарату комиссара бронепоезда. Шпионских сведений о военно-политических кадрах красной Тюмени у капитана было достаточно, и ему удалось, не возбудив никаких подозрений, вызвать несчастный бронепоезд к себе, на захваченную станцию.

И вскоре смертельная западня и впереди и позади доверчиво примчавшегося бронепоезда захлопнулась!

Вооружение красного бронепоезда было довольно скудное: вооружали ведь тоже наспех — чем только нашлось. Было два пулемета, около сорока винтовок и сколько-то «лимонок» — гранат. Вот и все. Пушек — ни одной.

Не велика и команда — всего сорок четыре человека. Среди них — одна женщина, медсестра.

Но зато это были почти сплошь балтийские моряки, да в придачу к ним — несколько мадьяр и несколько латышей.

К приходу бронепоезда входной с запада семафор был гостеприимно открыт. Однако дальше на главном пути белые нагромоздили целую клеть из рельсов и шпал, немного минуя здание вокзала, как раз против складов, под навесом которых было сложено множество тюков и туго набитых разной разностью огромных рогожных кулей. За ними-то и залегли белые в засаде, с винтовками и пулеметами.

— Завидев препятствие, машинист непременно затормозит бронепоезд,— тут-то мы его и захватим бешеной, внезапной атакой!

Брезжилось, когда капитан Гарпиев счел законченными все приготовления к встрече красного бронепоезда. Уже известно было, что он взошел на последний перегон.

И вдруг в это самое время конная разведка Еремы донесла, что с другой стороны, с востока, движется красный воинский эшелон. Какой силы и назначения — неизвестно. Известие грозное! Тут не только вся операция по захвату красного бронепоезда может полететь к черту, но и самим придется сматываться на юг, в тайгу, если только это — хитрость на хитрость, рассчитанные тиски!

После краткого совещания со старшими из подчиненных ему командиров — с Иржи Прохазкой, Ярославом Чехом и ротмистром Крахмальным — Гарпиев принял боевое решение. Западня бронепоезду остается. Командование ею он передает ротмистру. А сам стремительно с чехами под непосредственной командою Иржи, на паровозе с одним вагоном, с двумя ручными пулеметами, выступает навстречу красному эшелону. Вполне возможно, что это вовсе не боевой состав и, встреченный пулеметным огнем, предпочтет дать задний ход. Если же — боевой, то попытается его задержать, пока ротмистр управится с бронепоездом.

Ротмистр, нет сомнения, управится. На подмогу ему оставлен Ярослав Чех.

На брезгу темной июльской ночи стал слышен тяжкий чугунный топ бронепоезда.

На захваченной белочешским отрядом станции все замерло. Пулеметчики, заранее означившие должный прицел, с ручным пулеметом залегли на длинном

крыльце пакгауза, за мешками и кулями, стрелки — за колесами соседнего с главным путем теплушечного состава.

Чугунно-топочущий рокот все нарастал. Вот показался и тяжко дышащий паровоз. Против обыкновения, паровоз, к тому же и слабо обро́ненный, не был упрятан в середину своего состава.

Бронепоезд шел без огней.

Очевидно, усмотрев неожиданный завал на рельсах, машинист резко убавил ход, но было поздно! Сперва нагрудная броневая плита, прикрывающая передние колеса чуть не до самых рельсов, со страшной силой толкнула завал и проперла его с треском ломаемых колесами шпал, на сажени вперед.

Казалось, не деревянные брусья ломаются, а ребра какого-то злобного исполина, вздумавшего остановить бронепоезд, вступить с ним в единоборство — и низринутого под паровозные колеса!

И в тот же миг захлопали-заторопились пулеметы, поднялась непрерывная пальба. Мрак предутрия словно еще стал чернее от огненных кинжалов пулеметного и винтовочного огня.

Белочехи били по паровозу, чтобы не дать машинисту и кочегару управлять, и затем по броневому вагону, из прорезов которого ударил прямо в крыльцо пакгауза ответный огонь пулемета. Он был страшен! Пулевой смертный бич широко и метко хлестал по чехам и добровольцам, кинувшимся на приступ. Несколько человек было убито и переранено, остальные отхлынули и залегли, кому где пришлось. Тогда красный пулеметчик снова перенес огонь по крыльцу пакгауза и подавил и обеспорядочил огонь оттуда.

Ротмистр, управляющий атакой, вслух выругался:

— Да что он, дьявол, заранее пристрелялся, что ли? Ну погоди ж ты, доберемся мы до тебя! Жилы вымотаем...

В это время удалой, как видно, и многоопытный машинист бронепоезда дал контрпар, сильно подал бронепоезд назад, как бы для разбега, а затем с еще большей силой ринул его вперед.

И вот весь громозд, преграждающий бронепоезду путь, рухнул на обе стороны полотна. Бронепоезд на полном ходу грозно-торжествующе удалялся.

Крик почти ужаса и отчаяния вырвался вслед ему у многих.

Но вышедший спокойно из-за мешков пакгауза ротмистр Крахмальный, оскалившийся в злорадной улыбке, крикнул громко и ободряюще:

— Никуда не уйдет!

Да! Перед самым-самым впуском красного бронепоезда ротмистр распорядился перевести стрелку главного пути в тупик!

Светало. В тупике, на опушке леса, недвижно стоял бронепоезд. Его боевой, бронированный вагон похож был в тумане на оцинкованный гроб. Только нельзя было подступиться к этому гробу!

Как только атака возобновлялась, беспощадная очередь пулеметов — справа и слева — бросала атакующих наземь. Когда же кинулись на паровоз, оттуда, из будки, вымахнулась по локоть засученная, могучая, смуглая рука и метнула, раз за разом, две разрывные гранаты-«лимонки» в кучу атакующих. Это был машинист бронепоезда.

Кочегар не стрелял: он, сидя на корточках за укрытием возле топки, был наготове двинуть бронепоезд назад — прорваться!

Тогда Сережа Шатров, подбежав чуть не к самому паровозу, но только спереди, чтобы не попасть под огонь пулемета, стал стрелять из нагана по паровозной будке. Этим он вынудил и машиниста, и его помощника укрыться в тендере. Бронепоезд застыл. Стало легче!

Ротмистр, стоявший тоже вне огня пулемета, зычно крикнул ему:

— Молодец, Шатров!

Вскоре заметили, что убийствен и точен лишь огонь с правого борта боевого вагона. Там засел поистине какой-то снайпер пулеметного огня! Даже из тех, кто приближался к бронепоезду переползками, несколько человек было убито.

Из левой пулеметной бойницы огонь был слабее. И вдруг совсем смолк. Там и сгустилась, туда и ринулась орущая белочешская цепь. Но тут снова загоготал заглохший было «максим» левого борта и ударил столь разительно, что атакующая цепь отхлынула к самой

опушке леса, залегла за мохнатыми, как верблюжьи горбы, кочками и открыла оттуда частый винтовочный огонь.

Бой затягивался.

Ротмистр внутренне бесновался. Жалкий, в сущности, где-либо в железнодорожном депо наспех составленный и обронированный, самодельный бронепоезд показался вначале столь верной и легкой добычей! Но вот уже свыше часа длится бой, убито и переранено около двух десятков бойцов — потери страшные для партизанского отряда! — а самодельный паровой «утюг», как вначале презрительно выразился о красном бронепоезде сам же ротмистр Крахмальный, все еще не взят! И ему представилось, как жестко и мрачно усмехнется, возвратившись, Гарпиев, а может быть, даже и начнет «цукать» его, как мальчишку, потрясенный потерями!

Вдруг стоявший близ него ординарец коснулся его локтя, издав при этом возглас восхищенного изумления:

— Господин ротмистр, смотрите, смотрите!

Тот глянул.

От паровоза вдоль бронепоезда, к его хвостовому концу, возле самых колес быстро, по-пластунски полз один из бойцов. Это был Сергей Шатров.

— Что этот мальчишка задумал сделать? Пропадет, собака!

Но едва это восклицание вырвалось у господина ротмистра, как тотчас же и ясно стало, что задумал Сергей.

Подползая к боевому вагону, он стремительно поднялся во весь рост и вметнул в амбразуру разрывную гранату. Послышался грохот взрыва. Качнуло вагон — и пулемет бронепоезда замолк.

Замолк навеки!

В полный удушливого дыма от взрыва гранаты боевой вагон первыми ворвались трое: Сергей Шатров, за ним — Ерема, а за широкой спиной Еремы — Глызин.

Распахнули бронированную дверь, и, когда вытянуло дым и присмотрелись к полумраку, взорам их представилось ужасное зрелище.

Сквозь дым пробивался сырой запах крови. Стонали умирающие. Ноги вошедших наступали на тела убитых, соскальзывали с них.

Но оба пулеметчика — и правого и левого борта — сидели у своих пулеметов, запрокинув голову.

Когда заглянули в лицо левому пулеметчику, то увидели, что он был мертв. Из пробитого пулею лба белесо-розовым грибом выпирал мозг. Очевидно, пуля пробила ему голову, когда он припал к смотровой щели.

Кинулись к другому. Этот был еще жив. Но, в полусознании, стонал и весь, по голому до пояса телу, был обмотан бинтами, сквозь которые просачивалась кровь. Сначала показалось даже, что пулеметчик — в красной рубахе.

Сергей заглянул ему в лицо и при свете, падавшем сквозь прицельную скважину, узнал Костю Ермакова.

Невольно вскрикнул.

Но в это время из другого конца вагона послышался глумливый и торжествующий гогот Глызина:

— Ого! Да у товарищей, оказывается, тоже сестрички! Да и прехорошенькие! Не упрямьтесь, сестрица, не упрямьтесь! Дайте на себя взглянуть!

Выборматывая эти слова, он влек схваченную им за руку, сопротивлявшуюся ему красивую девушку в одежде сестры милосердия и с боковой сестринской сумкой с красным крестом.

Подтащил ее к двери.

Сергей кинулся его унять, и сердце у него захолонуло, когда он посмотрел ей в лицо: то была Вера Сычова!

Вне себя, так страшно заорал на Глызина, что, не отличавшийся храбростью, но сладострастно-лютый в расправе над пленными и в добивании раненых красных, Пещерный Предок отпрянул, ругаясь, и отпустил Веру.

— Куда ты ее?!

Глызин — с хохотом:

— До лесочка! Ты что — сегодня, что ли, к нам явился? Мы — партизанский отряд: пленных нам не полагается за собой волочить... Выведу девчоночку в расход! Ну а перед тем... не зря же добру пропадать!

И пояснил непристойным жестом.

— Ты с ума сошел?!

Сергей вкатил Глызину тяжелую оплеуху.

Отшатнувшись и схватившись за щеку, Глызин только и нашелся, что повторять:

— Ты — что? Ты — что? Да я тебя!

Насунулся на Сергея с угрозой, хватаясь за саблю. Но — раздумал. Вид Сергея был страшен.

Вместо этого тонким, похожим на ржание, голосом пропел:

— Вон оно что! Рыцарем, освобождающим девиц, пожелали быть, Сергей Арсеньевич? Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим! Вот вернется капитан Гарпиев — посмотришь, что тебе за это будет! В белых перчаточках хотите воевать?

С налитыми кровью глазами, неистово сквернословя, кинулся к пулеметчику правого борта — к Ермакову.

— А этот еще хри́пает, сволочь?! Ну этого-то ты мне не помешаешь чокнуть. Много он сегодня наших ребят угробил!

Но прямо в лицо ему глянул наган Сергея.

— Вот что, Глызин, ты сейчас же уйдешь отсюда! Или... я за себя не ручаюсь! Если ты хоть пальцем до них докоснешься, я тебя... убью!.. Вон сию же минуту!

А затем крикнул Ереме:

— Еремей Аггеич! Христом-богом тебя прошу: побудь здесь, возле них. И никто чтобы дотронуться до них не смел. Это же Сычова Вера, Ермаков Костя! А я — к командиру! И сейчас вернусь!

Угрюмый кержак, немилостивый, беспощадный ко всем, кого не именовал «клевретами князя бездны», на этот раз ответил:

— Будьте спокойны, Сергей Арсеньевич! Никому подойти не дам. Сбегайте до господина ротмистра!

Трудно сказать, что двигало им на этот раз: старая ли дружба и память о семьях, из которых вышли Вера Сычова и Константин Ермаков, или же этот жалобный вопль-приказ, вырвавшийся из уст *шатровского* сына. Шатровского! Ибо не разлюбил он и сейчас этой семьи.

А по отношению к Сергею, с его безрассудной подчас отвагой, Ерема вскоре после своего прихода в отряд стал в какой-то степени *дядькою* и оберегателем.

С потоком неистовой ругани Глызин загрохотал вон из броневого вагона...

Ротмистр Крахмальный и Ярослав Чех в сопровождении каждый своего адъютанта и ординарцев, оба угрюмые, удрученные, обходили поле прискорбного боя.

Всякий раз, когда взгляд его падал на трупы бойцов отряда, у ротмистра вырывалось сквозь замкнутый рот подобие подавленного стона, и он хватался за нижнюю челюсть, как бывает это при острой и приступами зубной боли.

Мрачен был и Ярослав. Из оставшихся на станции чехословаков не было ни одного убитого, но он, право, предпочел бы потерю двоих-троих из «братьев во́яко», так как заранее знал, какие злобные пересуды вызовет среди русских офицеров это отсутствие жертв боя в чехословацкой части отряда.

Уже и здесь порою слышались отголоски тех взаимных попреков и перекоров, которые все громче и громче начинали звучать там, в основных, регулярных русско-чешских частях.

Русское офицерство, правда, еще не в открытую, обвиняло чехов, что они, вызвавшие падение Советов в Сибири и Зауралье, теперь норовят быть во второй, резервной линии; чехи же — что русские чересчур скудно пополняют добровольцами неизбежную убыль бойцов и что как раз те круги и прослойки Сибири, которые, мнилось бы, сильнее всего пострадали от большевиков — люди богатые или с достатком, — они-то и уклоняются от жертв кровью, а впрочем, и кошели свои зажимают подло и повсеместно!

Запыхавшийся, возбужденный Сергей Шатров едва не бегом приблизился к ротмистру. Четко, за четыре шага от командира, отдал честь. Вытянулся.

— Господин ротмистр, разрешите обратиться!

Но, еще издали увидав его, ротмистр просиял лицом. А сейчас, ответив на приветствие Сергея, он проговорил благодушно, поощрительно и нарочито громко:

— Молодец, Шатров! Как только восстановлены будут в армии награждения — первый «георгий» ваш!

И несмотря на то что ни до каких «георгиев» было ему сейчас, Сергей нашелся ответом:

— Буду неизмеримо счастлив и горд, господин ротмистр, хотя считаю, что это бесконечно выше моих заслуг!

Ответ Сергея еще больше благорасположил к нему ротмистра. Повеселев и переметнувшись взглядом с Ярославом Чехом, он сказал, подчеркивая голосом значение своих слов:

— Заслужили, доброволец Шатров! А теперь — обратитесь. Слушаю вас.

Сбивчиво, но в душевном подъеме от только что услышанных слов командира и отбросив сомнения, с которыми он несся сюда, Сергей сказал ротмистру о Косте и Вере, а закончил так:

— Позвольте мне, господин ротмистр, в данном случае ходатайствовать перед вами о их помиловании!

Ротмистр молчал, помрачнев.

Тогда Сергей счел нужным еще раз повторить, с нажимом, что Вера — это родная дочь Сычовой, той самой, Аполлинарии Федотовны.

У него не было никаких сомнений, что ротмистр хорошо знает да и не мог не знать о том, какую помощь и какие пожертвования именно для их русско-чешского отряда, когда еще он формировался на Тоболе, принесла Сычова.

А в этот миг и Ярослав Чех с благосклонной улыбкой припоминания поддержал Сергея:

— О да, да, мадам Сычова! Это есть большой патриот. *Мы* хорошо ее знаем!

Он подразумевал чехов.

Ротмистр молча наклонил голову. И — к Сергею:

— А этот... как его? Этот пулеметчик?

— Константин Ермаков? А это — муж дочери Сычовой. Зять...

— Так, так! А скажите, Шатров, среди пленных красных — вы не опрашивали? — у этого зятя нет ли еще кого-нибудь там?

Сергей не знал, что ответить.

Ротмистр слегка оборотил голову к стоявшему рядом адъютанту:

— Арестуйте его!

И показал на Сергея.

Тот был столь поражен таким оборотом всего, что, забыв о воинской субординации, спросил растерянно:

— Меня?

Но ротмистр даже не удостоил его ответом, а только бросил ему короткое приказание:

— Сдайте оружие!

Сергей, молча и побагровев лицом, расстегнул широкий ременный пояс, на котором была кобура с наганом, и передал в руки адъютанта.

Последовало новое приказание:

— Под караул. И — под строгий!

Добровольца Сергея Шатрова увели в сопровождении двух конвоиров.

— А дорогую же цену, ротмистр, заплатили вы за эту... жестянку!

И капитан Гарпиев горестно усмехнулся, поведя рукою в сторону и красного бронепоезда, и мертвецов, уткнувшихся лицом в землю или же навзничь, с раскинутыми руками, брошенных наземь пулеметным огнем Ермакова.

Ротмистр, потупясь, ничего ему не ответил. Но предпочел бы в тот миг быть расстрелянным, чем слышать эти холодом и высокомерным осуждением дышащие слова!

И — тем более что сам капитан Гарпиев вместе с Иржи и с чехами отряда только что возвратился победителем. Навстречу красному эшелону они ухитрились бросить из-за поворота, под уклон, свой отцепленный от вагона паровоз; машинист красного эшелона от внезапности ничего не успел сделать — оба паровоза с чудовищной силой ударились друг в друга, вздыбившись, рухнули под откос.

Рухнули туда же и первые две теплушки, полные ничего не подозревавших парней: они ехали пополнением в Тюмень. Народ был еще сырой, необученный, а на вооружении эшелона состояло десятка три винтовок и один пулемет.

Много было раздавленных насмерть, искалеченных. Убиты были и машинист и кочегар. Захваченные катастрофой врасплох, люди в красном эшелоне сперва не посчитали, что здесь орудовала вражеская рука.

Но когда гарпиевцы открыли из леса жестокий пулеметный огонь, старые унтера, бывшие с молодыми красными бойцами, молниеносно организовали огневой отпор.

Этого не ожидали ни Гарпиев, ни Иржи!

С крыши одного из вагонов бил пулемет.

В это время поручик Иржи Прохазка, обернувшись к своим, зычно и как-то весело, будто на пир приглашая, крикнул:

— Братржи! Купршеду! На бóдак! Гурра! (Братья! Вперед! В штыки! Ура!)

И во весь рост, не сгибаясь, не оглядываясь на своих ринувшихся за ним солдат, взмахивая многозарядным пистолетом «стейер» и словно бы даже пританцовывая, быстрым шагом, переходящим в полубег, пошел на огонь пулемета.

Капитан Гарпиев, широко шагая под свист пуль рядом с чехом, невольно им залюбовался:

«Красиво идет, черт!»

Разбитый эшелон этой атакой был взят.

В белопартизанском отряде убитых не было. Несколько человек получили нетяжелые ранения.

Уцелевшие из красного пополнения пешим порядком отошли на восток, рассыпавшись в лесу.

Гарпиевцы, как всегда, перед уходом повалили столбы телеграфа — разрушать железнодорожный путь не было нужды, так как и без того он был загроможден и разрушен столкновением, — и тоже в пешем порядке, благо все это совершилось верстах в четырех от захваченной станции, возвратились на исходный рубеж.

— А почему так долго, ротмистр, вы медлите с *очисткой?* Пора выматывать отсюда!

Оба они — и Гарпиев, и ротмистр Крахмальный — и без пояснений понимали, что на условном языке отряда «очистка» означала расстреливание захваченных красных. Впрочем, наичаще, ради беззвучности расправы и экономии патронов, убивали и добивали саблями. И особенно славился и даже кичился этим умением доброволец Глызин. При его чудовищной силе он умел с одного удара напрочь перерубить шею поставленного на колени и наклонившего голову человека. Иной раз, если находились зрители, он вносил сюда элемент некоей шутки. Стоя сбоку убиваемого, говорил ему: «Что ж ты, братец, неряшливый какой: перемотай обмотки!» Или же: «Шнурки у тебя, браток, распустились: поправь!» Красноармеец наклонял голову. И тогда не надо было ставить человека на колени.

Ротмистр ответил Гарпиеву, что окончательную расправу приостановили до его возвращения:

— Все же она — дочь Сычовой!

Гарпиев язвительно усмехнулся:

— Да, да, я забыл: дочь и зять! Ну а остальных?

Ротмистр доложил, что уцелело из бронепоезда всего несколько человек, так как дорвавшихся наконец бойцов отряда и без того невозможно было остановить. Двое из бронепоезда, матросы, однако, прорвались в лес. Но оба — подстреленные и вряд ли далеко уйдут. И еще оставлен пока в живых один венгр.

Капитан Гарпиев спросил, нахмурясь:

— А это почему?

— Он заявил, что он не мадьяр, а словак.

На это капитан Гарпиев лишь досадливо и многозначительно хмыкнул. Они оба еще не знали, что из-за этого злосчастного венгра или словака, по имени Шандор Карачони, между обоими офицерами — Иржи Прохазкой и Ярославом Чехом — произошло уже столь крупное объяснение, что Иржи вызвал Ярослава на дуэль, которая, по обычаю и приказу, была отложена вплоть до возвращения в Прагу.

А среди русских бойцов отряда уже пошли разговоры, что один другого обозвал псом. Так был истолкован теми, кто стал невольным свидетелем этой ссоры, гневный выкрик Ярослава Чеха: «То йе под пса!» — то есть доводы, мол, твои никуда не годятся, на что возмущенный Иржи ответил: «Паматуйте се!» (Не забывайтесь!)

А доводы Иржи, настаивавшего на пощаде этого пленного, были те, что Шандор мог быть и в самом деле словак: у многих, дескать, словаков мадьярские имена. По языку он вполне словак. И можно поверить ему, что фамилия его матери была Покорная. На службу же к большевикам он пошел в силу горькой нужды и по недостатку сознательности.

Это и взорвало Ярослава. А если, мол, этот несчастный Шандор даже и чистый словак, то в этом случае он еще большему подлежит возмездию как предатель своих братьев — словаков и чехов, тех, что сражаются в доблестных рядах легии! И не расстрелять его следует, а вздернуть на осину!

С тревогой посматривали на их ссору, исподтишка, делая вид, что заняты каждый своим делом, некоторые из добровольцев. Ярослав Чех в приступе гнева был страшен. И хотелось крикнуть Иржи, чтобы он перестал...

В конце концов решить жизнь или смерть Шандора Карачони было предоставлено как начальнику отряда

капитану Гарпиеву. Но разве не понимали они оба, что это означает смерть? Увы! Как часто, умыв руки от крови, человек думает, что и на душе его не осталось кровяных пятен!

Когда к нему приводили захваченных мадьяр-красноармейцев, то в ответ на мольбу кого-либо из них о пощаде — а просить чешского офицера они бы и не решились — обычный ответ Гарпиева бывал суров и краток:

— Ну что ж, господа, вы сами, по своей доброй воле, сунули голову в чужое пекло: пеняйте на себя!

В этот миг ему и в голову не приходило, что чехословаки, в которых он привык уважать крепких и дисциплинированных соратников, тоже сунули свои несчастные головы в чужое пекло!

Распоряжение ротмистра посадить под арест добровольца Шатрова Гарпиев одобрил:

— Да, да! Пускай поостынет юноша! В деле безупречен, но... — И, не договорив, неожиданно для Крахмального почтил его несвойственной ему откровенностью: — Если бы вы знали, ротмистр, как мутят мне душу эти сопли толстовства! А сколько отличных русских офицеров испорчены этой патокой!

И, уходя в телеграфное отделение станции, еще раз повторил приказание об «очистке».

Ротмистр спросил:

— А как быть с теми: этим пулеметчиком и с дочкой Сычовой?

— Этих пока оставьте. Он мне нужен. И фельдшера чешского пошлите к нему: пусть любыми мерами приведет его в состояние, пригодное для допроса!

Приостановился и добавил:

— А сейчас пришлите ко мне Шатрова!

На пути к зданию станции проходил мимо Иржи, распоряжавшегося бойцами, и не мог не остановиться: вспомнил, как только что этот молодой и с виду такой мягкий, почти нежного облика человек шел на вражеский пулемет, и захотелось промолвить ему ласковое, дружеское слово.

Обменялись приветствиями. И Гарпиев сказал, кладя руку на его плечо:

— А знаете, Иржи, с вами весело стоять в огне! Но все же нельзя так рваться под пули: вы — командир!

Тот вспыхнул от похвалы, словно девушка. Услыхать из уст самого Гарпиева такое слово о своем мужестве даже и для него, кто водил свою роту на немецкие окопы под Зборовом, было радостно и отрадно.

Слегка наклонив свою светло-русую голову с растрепанными ветром волосами — было жарко очень! — Иржи отвечал:

— Па́нциржем йе про во́йяка йего одважливост! (Панцирь для воина — его отвага!)

— Но все-таки, дорогой Иржи...

И только что успел он произнести эти слова, как пущенная кем-то из лесу пуля ударила чешского офицера в грудь.

Иржи схватился ладонью за левую половину груди — чуть пониже плеча. И странное какое-то выражение лица было у него в тот миг: словно бы и вслушивания и стыда, что вот падает он!

Но упасть ему не дал Гарпиев: он успел подхватить его и бережно опустил на землю.

Сергею, заключенному в одну из полутемных комнат склада, с приставленным к этой необычной одиночке часовым, вдруг сообщили, что распоряжением начальника отряда он освобожден и что капитан Гарпиев требует его к себе. Ему возвратили оружие.

Этим радостным вестником вызвался быть не кто иной, как поручик Гуреев. И освобождение друга, и возврат ему оружия Сашка облек в торжественно-шуточную форму.

Как только по его приказу перед ним распахнута была тяжелая дверь кладовой-одиночки, Гуреев, держа, словно на подносе, на вытянутых руках поясной ремень с наганом Сергея, вошел и, с поклоном преподнося, промолвил:

— Ныне доблестному своему защитнику мать-родина возвращает его доспехи!

Затем, убедясь, что возле дверей никого нет, сказал голосом обычным и с присущей ему наклонностью к балагурству:

— Надевай свою сбрую, милый, засупонивайся — я тебе помогу — и немедленно предстань перед грозные очи начальства!

Когда же Сергей был готов, поручик придирчиво осмотрел его, оправил ему сзади складки солдатской рубахи и, вынув карманное зеркальце, предложил ему расчесать свои русые кудри. Взглянул на разбитые, пыльные сапоги Сергея и велел обтереть мешковиной:

— Ты знаешь нашего Тихона: и умирая оглядится: «А с чистыми ли я манжетами предстаю на вышний суд?» Впрочем, ничего худого тебе не грозит. Он явно благоволит к тебе.

Понизив голос, добавил:

— А насчет Константина Ермакова и Веры ты, ради всего святого, не вздумай раздражать его. И — ни слова! Будь за них совершенно спокоен. Во всяком случае, за их жизнь. Я сам замолвил за них слово перед Гарпиевым. Уже отдан приказ: выправить им охранные грамоты и препроводить их обоих в Челябинск. Важно, что их здесь не чокнут. А там, ты сам знаешь, чехи всем заправляют. Эсерчики. Учредилкины выблядки. Либерализм, одним словом, — хуже, чем при Керéшке! Но сейчас нам это на руку: важно, что не расстреляют...

Но если ты хоть раз заикнешься о них перед капитаном, — можешь погубить!

Саша Гуреев недаром еще в самые юные годы взошел, и не без успеха, на подмостки любительской сцены городка на Тоболе, играя преимущественно демонических обольстителей. Сколько усилий перед зеркалом было затрачено им в свое время, чтобы, как выражался он, «лгать ясноглазо»!

И Сергей поверил ему.

К вызванным к нему подчиненным капитан Гарпиев привык проявлять полную корректность, сколь незначителен бы ни был чин представшего перед ним человека. Если не считал нужным предложить ему сесть, то и сам стоял за своим столом навытяжку. И это еще больше подтягивало!

Не предложил он сесть и Сергею, хотя, будучи земляком с Тобола, знал прекрасно, из какой семьи этот доброволец и какое значение среди высших военных кругов Приуралья еще во время войны с Германией и за какие заслуги приобрело имя Арсения Тихоновича Шатрова.

Сергей, не привыкший отводить своих глаз от чьих бы то ни было и даже мальчишески и тайно гордившийся этим, на сей раз едва-едва выдержал сильный, прямого боя взгляд командира.

— Господин капитан! По приказанию вашему имею честь явиться, доброволец вверенного вам отряда Сергей Шатров!

Ждал навытяжку.

Молча окинув его взором с ног до головы, капитан Гарпиев проговорил своим барственно-холодным, неторопливым и слегка скрипучим голосом:

— Я вас вызвал, Шатров, чтобы дать вам срочное и чрезвычайной важности задание.

И остановился.

Сергей не мог вспомнить, как в этом случае полагается отвечать по уставу и полагается ли, и решил лучше выслушать молча.

И Гарпиев продолжил:

— Тяжело ранен предательской пулей доблестный офицер нашего отряда Иржи Прохазка. Первое пособие ему оказано. Вам поручается доставить раненого в госпиталь Шатровой. С вами и под вашим начальствованием будут отпущены двое: известный вам чех фельдшер и один из солдат в качестве санитара. Отбыть немедленно. Фельдшеру приказано снарядить конные носилки для раненого. Приказано выделить вам необходимое оружие и коней... Имеете вопросы?

— Никак нет!

— Ступайте!

Образцово отдав прощальное приветствие, четко повернувшись, Сергей был уже у порога, когда Гарпиев остановил его:

— Вернитесь, Шатров!

Сергей возвратился и по-прежнему — навытяжку — остановился перед столом командира.

Теперь глаза Гарпиева смотрели на него не столь жестким взглядом и в голосе звучало что-то иное.

— Сядьте, Шатров!

Сергей повиновался. Гарпиев остался на ногах. Он взял со стола большой красный карандаш — очевидно, еще сбежавшего начальника станции, так как в его кабинете и происходил весь этот разговор,— и, слегка помавая им, как бы усиливая тем самым суровую на-

зидательность своих слов, начал говорить — отрывисто, несвязно и в то же время с глубоким и тяжелым выбором слов.

Несколько раз Сергей порывался встать, так как ему было неловко сидеть, когда командир стоит, да еще и к нему обращается, но капитан Гарпиев повелительным движением руки всякий раз приказывал ему оставаться в кресле.

— Вы, надеюсь, понимаете, что оружие, которое у вас было отнято, могло никогда более не возвратиться в ваши руки?

Сергей молча наклонил голову.

— Сейчас оно вам возвращается. Да послужит оно и впредь беспорочно, как до сих пор! Я знал вас в Томске. Вы добровольно примкнули к нам в самые черные времена. Вы доблестно проявили себя сегодня. Но...— И при этих словах взмахивания большим карандашом стали более медленными и грозными.— Но знайте, Шатров: святыня армии, святыня солдата — это дисциплина. Дисциплина. Повиновение — без рассуждений. Если командир приказывает вам убить вашу родную мать — она большевичка, — вы должны ее убить, и кровь не на ваших руках!.. А иначе вы не солдат. Императорская русская армия была накануне победы, пока гучковы, керенские, черновы и вся эта сволочь, а потом уже, на этом развале, и большевики не подрубили, не осквернили основу основ всех победоносных армий — воинскую дисциплину!

Голос Гарпиева стал пронзительно-гневен. Сергей весь подался вперед, как борзая, которую ловчий вот-вот спустит со своры на зверя. И если бы в этот миг его родная мать была тут вот, перед ним, и этот страшный, но влюбленно-боготворимый им человек приказал бы: «Убей!» — он совершил бы в этот миг и матереубийство!

Как прежде, голосу, и взгляду, и приказаниям Никиты не находил он в себе силы противиться, несмотря на всю свою гордость, так было с ним и сейчас.

И видя это, капитан Гарпиев, все больше и больше сам пожираемый этим внезапным взрывом и пламенем своего фанатизма, вонзал, вколачивал в податливо распахнувшееся перед ним юношеское сознание чудовищные свои слова:

— Никогда не забывайте, Шатров, что сейчас в мире

идет, по существу, одна смертная схватка: Россия и — этот их Интернационал! Я и вы поднялись за Россию. Что им надо — этим мадьярам, китайцам?! Вы думаете, счастье рабочего люда? Пусть простачки из рабочих верят! Нет, им нужно только одно: развал и расхищение величайшей в мире христианской империи, еще недавно могущественной, единой и неделимой. Потому они и примкнули к тем, кто в Бресте продал Россию немцам. Германский сапог попирает нас, топчет. Иго надвигается пострашнее Батыева ига! И я сказал: нравится вам — смиряйтесь! А я — нет. Я — обрекающий и обреченный. Убивать — и быть убитым!

Закончил внезапно:

— Все, Шатров! Пусть это будет вам напутствием от капитана Гарпиева. На всю жизнь. Бог знает, встретимся ли мы еще с вами! Вот видите: Иржи...

И на мгновение, как бы в скорбном молчании, склонил голову.

Затем протянул Сергею, вскочившему на ноги, большой серый запечатанный пакет:

— Здесь деньги и удостоверение: кто вы и что и почему оставляете отряд. А кроме того — и подписанное мною разрешение добровольцу офицерского партизанского отряда Сергею Шатрову, ввиду чрезвычайных обстоятельств времени, не возвращаться в свой отряд, но вступить в любую другую воинскую часть, по обстоятельствам. Все. Идите!

Но прежде чем успел Сергей попрощаться, Гарпиев быстро к нему приблизился, перекрестил широким крестом, а затем, взяв за плечи, круто повернул от себя, дабы тот не успел в этот миг увидеть его лицо, и слегка толкнул к выходу...

Константин Ермаков заперт был в полутемной кладовке, окно которой было высоко над полом и забрано толстыми железными прутьями. Похоже было и впрямь на тюрьму.

Когда его вводили туда, один из конвоиров нанес ему в поясницу столь страшный удар подкованным каблуком, что Костя упал на распростертые вперед руки и от нестерпимой боли в простреленной левой потерял сознание.

Очнулся он, когда фельдшер отряда что-то впрыскивал ему. В камеру врывался солнечный свет из распахнутой двери.

Потом его приподняли в сидячее положение и стали торопливо и грубо разматывать-сдирать с него набухшие кровью, местами присохшие бинты. Было больно, но какая же боль может сравниться с той болью, которую испытывает человек, когда концы перебитой кости трутся один о другой!

Досадливо выругавшийся фельдшер, производя эту ужасную пробу и убедясь, что левая плечевая кость у красного повреждена пулей, велел санитару принести дощечек, ваты, неочищенной, темной, а ее много было в тюках, за которыми только что во время атаки на бронепоезд укрывались стрелки. Белой ваты он пожалел: нужна для своих раненых, а этому, сказал, все равно! По этой же причине и йодом отверстие раны смазывать не стал: пока он, дескать, в живых, этот парень, не успеет у него развиться ни воспаление никакое, ни, тем более, гангрена!

Но бинт пришлось израсходовать свежий, чтобы сверкал белизной: капитан Гарпиев не терпел, когда к нему на допрос приводили людей в крови, разодранной и грязной одежде.

Перебитую руку пришлось взять в лубки и подвесить, как полагается, на косынку. Константину стало легче. Затем на него надели чью-то широкую чистую солдатскую рубаху, подпоясали ремешком, а пустой рукав прикололи булавками, чтобы не свисал.

Когда двое рослых гимназистов с карабинами ввели Костю в комнату, где за письменным столом сидел и писал что-то Гарпиев, то, чуть приподняв глаза, капитан движением руки приказал им удалиться.

Затем с грустной усмешкой предложил Ермакову сесть:

— Садитесь, Константин Кондратьевич, садитесь!

Константин сел.

Наступило молчание. Капитан обводил взором Костю. Уставясь на его забинтованную, выпиравшую уродливым углом под рубахой левую руку, он с видом сожаления покачал головой и, переходя на громкий шепот, несколько раз выразительно повторил:

— Ужасно, ужасно!

Константин молча смотрел на его лицо.

Тогда Гарпиев заговорил в полный голос, как бы поясняя, что именно находит он ужасным:

— Ужасно, говорю: брат на брата — и во имя чего? Во имя какой-то нелепой догмы: убивай его, потому что он богаче меня живет!

Он ждал ответа. Но не дождался!

Придерживая здоровой рукой раненую, с презрительной усмешкой на бескровных, побелевших губах, Константин стал приподниматься, показывая этим, что он хотел бы уйти.

Но Гарпиев не дал ему встать. Приподнявшись и протянув руку через стол, он усадил его снова. Жестко, досадливо передернул корешком полусбритого уса и со вздохом сказал:

— Ну полно, полно! Отнюдь не собираюсь я колебать внушенные вам идеи: и поздно, полагаю, и не по моей специальности. Скорее — по вашей. Я ведь вас хорошо знаю: вы были у нас, в нашем городе, одним из первых военкомов... земляк мой дорогой. За что же вас постигло такое понижение?

— Какое понижение?

— Ну как же: я думаю, это понятно каждому!

Настал черед Константина:

— А мне непонятно. Ошибаетесь! И еще такой мастак военного дела! Я вас тоже знал. Спец вы у нас считались отменный, только на измену пошли!

Тут Гарпиев прервал его предостерегающим окриком:

— Ну, ну, прошу вас не забываться!

— Где тут забыться! Вижу и помню, в чьих руках! Но это я попутно вспомнил. Каждого своя совесть судит. Я только против того, что — понижение: неужто вы, боевой офицер, работу моего пулемета сегодняшнюю столь низко оцениваете?

Сказал — и, широко, открыто, с явной издевкою глядя в темно-побагровевшее лицо врага своими синими большими глазами, приготовился принять выстрел или удар.

И капитан Гарпиев был близок к тому! Все клокотало в его душе. «Господи! — взмолился он мысленно.— Дай мне силы удержаться — не убить сейчас же этого человека! Ведь только что, только что на моих глазах

несли одно за другим и складывали на краю братской могилы мертвые, окровавленные тела милых моих, беззаветно отважных мальчишек, умерщвленных пулеметом этого вот парня,— и он сидит передо мною, смотрит мне в лицо да еще и похваляется, что это он умертвил их! Господи, подай мне силы не пристрелить его тут же!»

Гордость и привычное представление о своей неизменной выдержке, о своей холодной корректности, от которой, однако, сжималось сердце и холодела кровь у человека, ненавистного ему или подлежащего наказанию, помогли ему совладать с собою.

«Неужели,— подумал он,— я, я, Гарпиев, дам сорвать себя этому парнюге, бывшему какому-то плотинщику... «кажного»... «неужто»... когда он явно хочет этого — либо потому, что решил перед смертью потешиться над «белобандитом» — это надо мной-то? — а либо потому, что боится пыток и вымоганий? Так нет же, не на того напал, мой милый: никто тебе иголок вгонять под ногти не будет и не прикончит тебя!»

И спокойным, обычным своим голосом, и словно бы по-деловому обсуждая итоги стрельб, сказал:

— Нет, почему же я низко стал бы оценивать работу, как вы сказали, вашего пулемета? Напротив! Вы что же — пулеметную школу окончили или, там, курсы какие-нибудь?

Константин, помолчав немного, решил, что на этот вопрос врага он может ответить, не унижая себя, и ответил:

— Курсов никаких не кончал. Выучился у своего брата, у пулеметчика. Солдат империалистической войны.

Капитан Гарпиев язвительно подхватил эти его последние слова:

— Так-таки и империалистической войны, не иначе? А мы, признаться, несчастные русские офицеры, бедняги, по невежеству своему думали, да склонны и сейчас думать, что война была народная, что мы за Россию, за родину жизнь и кровь свою отдавали!

— Сильно ошибаетесь! Вы и теперь в своих газетах орете, что за Россию на советскую власть поднялись. Только кто же, скажите, за Россию воюет, а сам: япон-

цам — Сибирь, англичанам — Мурманск, Архангельск, американцам...

Но Гарпиев досадливо перебил его:

— Перестаньте! И слыхано и читано! Вижу, что усердно ваш учитель и вождь, этот самый Кедров, начинил ваши юные мозги! А кстати, где он сейчас, Матвей Кедров? Что делает? Его я тоже знавал... у нас на Тоболе!

Вопрос прозвучал как бы мимоходом, вроде бы о знакомом когда-то человеке, но Константина ли — после пройденной им *кедровской* школы подпольной борьбы и работы — поймать было на таком вопросе!

— Где сейчас товарищ Кедров, не знаю. А хоть бы и знал, так вы о том знать не будете! Хоть запытайте!

На эти его слова, все еще неимоверным усилием подавляя клокотавший в нем гнев, от которого жилы вздувались у него на висках, Гарпиев принудил себя даже рассмеяться. Однако ответил сердито:

— Вы не в подвалах чрезвычайки. У нас не пытают...

И затем — иронически:

— Итак, значит, на первый вопрос, Ермаков, — где ваш духовный отец и учитель Кедров? — вы отвечаете упорным незнанием. Жаль. Очень жаль. А я решил было, учитывая вашу молодость, а также...

Но здесь его перебил Константин:

— А на второй вопрос я вам отвечу.

— Ну, ну?

— Что Матвей Кедров делает сейчас — это вы скоро узнаете... на своей шкуре!

Вырвавшийся вслед за этим выкрик Гарпиева: «Встать!» — был столь неистов и страшен, что оба конвоира, ожидавшие за дверьми конца допроса красного пулеметчика, ворвались без зова с карабинами в руках, думая, что начальник отряда зовет их на помощь!

А между тем «очистка», за промедление с которой Гарпиев изъявил свое неудовольствие ротмистру, была закончена. Расстрелян был и мадьяр-словак, за которого вступился было Иржи, и только Веру пока оставляли в живых: то, что она — дочь той самой Сычовой, которая столько пожертвований и услуг оказала и чехам, и русским добровольцам, все еще удерживало от расправы. А вдруг Гарпиев прикажет помиловать?

Но участь Веры была решена: коммунистка! И мало этого, еще и жена — конечно, «по-ихнему», невенчанная — того самого пулеметчика Ермакова, который столько уложил наших парней. А из родного дома она убежала, и старуха мать прокляла ее и отреклась.

Обо всем этом услужливо поведал почти всем в отряде, даже и не питая особого зла к Вере Сычовой, не кто иной, как поручик Гуреев. Ему, как часто бывает это с такими людьми, доставляло наслаждение первому, вперед всех сообщить окружающим что-либо такое о человеке, чего они еще не знали и что могло вызвать то или иное возбуждение в их сердце.

И почти в то же самое время, как вдоль перрона к лесу по одну сторону вокзального здания Гарпиев уводил на расстрел Костю, по другую, только еще глубже в лес, Веру уводил убивать Глызин.

Никто и не посмел оспаривать у Пещерного Предка эту жертву!

А он уже плотоядно глотал слюни. Он твердо решил, что перед тем как застрелит эту «сестричку-коммунистку», прелестную, несмотря на все испытанное ею в бронепоезде, он еще и надругается над нею. Под страхом смерти да и при такой несоизмеримости их физических сил, какое она может оказать ему сопротивление? С такими ли справлялся! По обычаю, принятому в отряде, он уводил ее на расправу один.

Он следовал за ней в нескольких шагах, с наганом наизготовку. Жалел, что нельзя было увести ее в лес со связанными на пояснице руками, тогда на что спокойнее: одним бы толчком опрокинул! Но стыдно было перед остальными связывать руки ей, женщине. «Ай да Глызин,— скажут,— баб стал бояться! Со связанными руками уводит!» Да и заподозрят... Черт с ней: управлюсь и так!

Обреченность свою смерти Вера полностью понимала. И свою и Кости. Неотступно видя его перед собою в своем оглушенном, спутанном сознании, мысленно беседуя с ним, жалобно и любовно прощаясь, она в то же время не сомневалась, что его уже нет в живых. А что с нею покончат непременно и скоро, в этом перестала она сомневаться, как только в толпе врагов, когда выводили ее из броневого вагона, увидала лицо Гу-

реева. Было видно, что он узнал ее. Ясно, что этот расскажет о ней все. Только не мучили бы!

Введя ее под угрозой наставленного в затылок нагана в плотно-колючий круг хвои, на белый, знойный песок, Глызин приказал ей снять одежду.

Вера презрительно воспротивилась:

— Когда убьешь, палач, тогда с трупа моего снимешь, мерзавец!

Не сводя с нее револьвера, Глызин сказал:

— Да вы, может, что худое подумали, так нет, мы в своем отряде такое не позволяем: не бойтесь! А так заведено. И мужчины и женщины — все едино. Чтобы одежку снимали обязательно... перед *этим!*

И с затаенной радостью хищника увидал, что она заколебалась. Гнусный расчет его оказался верен: он повалит ее врасплох, когда руки ее будут стеснены снимаемой через голову одеждой!

Но и у Веры вспыхнуло мгновенное решение:

— Черт с вами! Только отвернитесь!

Глызин глумливо хохотнул:

— Еще что выдумаете? Дурачка нашли?

И вдруг, озлобясь, бешено заорал:

— Раздевайся, а то я сам примусь тебе помогать!..

Она ответила ему с неимоверным спокойствием в голосе, и это удержало его на месте сильнее, чем если бы она изошла в гневном крике или угрозе:

— Только подойди, палач! Ну что же, тогда мне самой приходится отвернуться... То-то разбогатеешь от женских тряпок... белый воин!

И, полуотвернувшись, начала, будто бы затрудненно, снимать надетую через плечо сестринскую сумку с красным крестом. Но ей как будто не удалось это, в сердцах вырвалось: «А, черт возьми!» — и она принялась мнимо отстегивать сумку.

Глызин крикнул нетерпеливо:

— Чего копаешься? А ну, поживее!

Тем временем, нащупав на дне сестринской сумки всегда хранившуюся у нее там разрывную гранату, Вера стремительно дернула ее взрывное кольцо и с выкриком: «На, получай!» — швырнула ее между собою и своим убийцей...

— Костя, прощай! — успелось ей еще выкрикнуть до взрыва...

Чрезвычайно изумлены были бойцы офицерского партизанского отряда капитана Гарпиева — и русские и чехи,— когда среди поднявшейся на захваченной станции напряженной спешки ухода проследовал мимо них по перрону обычной своей размеренной походкой сам начальник отряда позади уводимого им на расстрел красного пулеметчика.

Давненько «не выводил в расход» сам Гарпиев: охотников было хоть отбавляй!

На этот раз, против обычая своего, капитан лишен был возможности заставить убиваемого им человека самому себе выкопать могилу: с перебитой костью руки немного накопаешь!

Вот почему Константин шел без заступа.

Метель предсмертных мыслей и образов истязала его. Он плохо различал дорогу и лишь помимо сознания повиновался командам страшного своим будничным спокойствием, низковатого, брюзгливо-барственного голоса за своей спиной: «Направо», «Прямо идите!», «Теперь опять направо: к той вот полянке!»

Гарпиев неукоснительно держался своего обычая: к любому, кого он уводил на расстрел, обращаться на *вы*, кроме самого последнего своего ритуального приказа: «Перекрестись!»

...Мысль Кости тщетно билась о неизвестность участи Веры. Спросить о ее судьбе кого-либо из врагов страшился: «Погублю наверняка! А так, может быть, и неизвестно пока останется, что это жена моя! Как медицинскую сестру, а больше всего, как дочь *Сычовой*, могут еще и пощадить. А потом — и это властное и неожиданное заступничество Сережи Шатрова! Да! В белобандиты пошел, сволочь, а, видно, не все еще шатровское истлелось в его душе! Только бы не надругались! Да нет, — может быть, постыдятся чехов. Да и на всякий страшный конец разве в шутку показывала она ему, под секретом, гранату-«лимонку», хранимую ею всегда вместе с бинтами на дне сестринской сумки?»

— Пришли. Остановитесь! Довольно!

Вздрогнулось.

Гарпиев велел ему стать спиною к высокой, необхватной сосне посреди лесной поляны. Светозной июльского дня чувствовался и здесь. Световые столбы там и сям пробивались сквозь хвою. Напоенный запахом

хвои, воздух был неизъяснимо отраден: он ласково и неодолимо заставлял дышать и дышать!

«Зачем он хочет это сделать!» — подумалось Косте с чувством омерзительной нелепости того, что собирался совершить над ним в такое солнечное лесное утро этот страшный человек.

У Кости почему-то в этот миг резко обострилось зрение: стоя затылком к сосне, он столько увидел вдруг ягод земляники, крупных и спелых, и вправо, и влево от себя, и впереди, возле сапог Гарпиева, что на какое-то мгновение ему поблазнилось, что это все совершается в том светлом сосновом бору на берегу Тобола, где когда-то он мальчишкой собирал землянику с товарищами. Когда вот такое множество ягод, бывало, увидит он, то непременно на весь лес зазвенит его радостный, сзывающий крик: «Ой, ребята, ребята! Ягод-то сколько здесь, у меня. Идите скорее сюда: не обобрать!»

От сильной кровопотери у него ссохлось во рту. Мучила жажда. А тут, как нарочно, одна из самых крупных земляничин — спелая, налитая — рдела чуть не возле самых его ног. Вот только наклониться! Ему почудилась ее свежесть и аромат в пересохшей гортани. Только бы вот эту одну взять на язык, одну-единственную! А может быть, и позволит ему сорвать ее этот человек? Что ж тут такого?

И вдруг очнулся, охлынутый душевным испугом: «Да не в бред ли я впадаю? Не слабость ли смертного страха подкрадывается ко мне? Разве Кедров, хоть на секунду, допустил бы себя до такой мысли?»

И, откинув голову, так что затылком ощутил грубость коры, бросил презрительно:

— Ну кончайте, что ли!

Гарпиев ничего ему не ответил. Он слегка расставил ноги — для устойчивости и для точного выстрела.

Затем — голосом негромким, спокойно-сумрачным, как бы погребальным — он произнес свое непременное:

— Перекрестись!

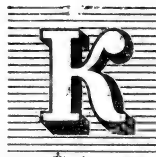
Ожидая, медленно стал наводить мушку револьвера, целясь в лоб. В беседах с другими офицерами Гарпиев убежденно отстаивал именно этот выстрел: не длить мучений; а возможно, и потому отстаивал, что не знал промахов.

Но вместо движения креста, движения, привычно им ожидаемого, ибо на краю смертной ямы этому его приказу не сопротивлялся почти никто, капитан Гарпиев услыхал произнесенные презрительно-гордым голосом слова:

— Сам перекрестись, гад, когда такое творишь!

Это были последние в жизни слова Константина Ермакова...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



К началу ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года доброволец Сергей Шатров хотя и оставался все тем же «вольнопёром», как с полупрезрительной шуткой переиначили простые солдаты слово «вольноопределяющийся», означавшее нижнего чина со средним или высшим образованием,— однако белый на золоте эмалевый крестик, высшая награда отважных, возложенный к тому же на грудь самим Ивановым-Риновым, командующим Сибирской отдельной армией, за отвагу, проявленную в боях при взятии Екатеринбурга,— маленький крестик этот заставлял его еще выше вздымать свою удалую, кудрявую голову.

Сергей знал, что вскоре последует и производство в первый офицерский чин и засверкают золотые, со звездочкой, погоны на его крепких, прямо поставленных, как нарочно для погон предназначенных, плечах, по выражению его старого дружка и первонаставника поручика Гуреева.

«Да ты и меня обскачешь скоро, дитя души моей Сереженька! Святой Георгий Победоносец, он, брат, знаешь какая сила! И недаром же — на коне: теперь он помчит тебя, только держись!» — «Ну полно, полно, Саша: не кощунствуй!» А у самого глаза сверкают и гордо ширится грудь!

Чины и погоны, а стало быть, и все сопряженные с ними военные законы и положения, уставы и распорядок, существовавшие при царе, и ввел в войсках белоэсеровского «сибирского правительства» Вологодского не кто иной, как этот самый Павел Павлович Иванов-Ринов, наградивший Сергея,— ввел на другой же день, как только дорвался до вожделенного ему поста — воен-

ного министра и командующего Сибирской армией,— поста, с которого внезапно, грубо уволен был по требованию «союзных» консулов его соперник и предшественник — Гришин-Алмазов.

Беда стряслась над Гришиным на одном из правительственных пышных банкетов в Челябинске. Этот убогий в ту пору городок Приуралья, бурно двинувшийся, однако, в торгово-промышленный рост с прокладкой Великого Сибирского пути, в народном просторечии все еще Селяба,— городок этот, велением Истории, вскоре же вслед за белочешским переворотом сделался как бы второй, после Омска, столицей Сибири, ибо там расположил свою ставку Ян Сыровый — не только «велител» чехословацкого корпуса, но и обладатель грозного титула: «главнокомандующий всеми вооруженными силами на территории освобожденной России».

В Челябинске же в ту пору учредила свою резиденцию и Одбочка — отделение Чехословацкого национального совета на Руси, во главе с Богданом Павлу.

Сюда, естественно, тянули и тяготели и консула́. Больших дипломатических представителей — послов и посланников при «сибирском правительстве» Вологодского тогда еще не было.

Злополучный банкет в Челябинске шумел. Пили, и таки не мало пили! И вот, захмелев, один из консулов произнес бесстыдно-откровенное слово: что теперь, дескать, мы, союзники, имеем право на всем пространстве бывшей Российской империи делать все, что нам угодно. Ибо никакой России нет. Она распалась. Есть лишь огромное географическое пространство. А на месте исчезнувшей России возникло не менее двух десятков государств. Каждое из них домогается нашего признания!

Но шумело шампанское и в голове у военного министра Сибири. Оратором Алексей Николаевич Гришин был неплохим. Кстати, и длинным лицом, и некоторыми актерскими повадками он смахивал на Керенского. И он ответил господину консулу: напрасны, мол, ваши посягновения, господа, — Россия воскреснет, и воскресим ее *мы*, сибиряки! Ваши армии — французов и англичан — истрепаны и обескровлены. А Германия далеко еще не сломлена. К концу войны еще неизвестно, что с вами, союзничками, станется! И только у нас, в Сибири,

будет свежая и грозная армия. И не вы, а мы будем решать судьбы мира!

Это была его последняя речь на посту министра и главнокомандующего! Он пытался еще не подчиниться не по форме сделанному увольнению, созвать преданные ему части, но таковых вдруг не оказалось, и Гришин-Алмазов тайно исчез, оставив в Омске свою супругу, премированную в омском гарнизонном собрании первым призом за красоту, хозяйку темного политического салона, верней, *салуна,* в котором клубились и заваривались всевозможные интриги и заговоры, при участии завсегдатаев салона — дипломатов, шпионов, оголтелого офицерья, инфернальных женщин и сибирских казачьих атаманов.

Через короткое время исчезнувший Гришин-Алмазов объявился на юге, у Деникина, и тот назначил его генерал-губернатором Одессы.

Иванов-Ринов поистине *ринулся* захватить в свои жесткие, веснушчатые руки мозг армии.

Ринов — это была кличка в белом подполье, избранная полковником Ивановым, бывшим уездным начальником в Туркестане, за ее звонкую красивость и некую особую значительность. Как полковнику Гришину, недавнему его соучастнику по эсеровско-белогвардейскому подполью, кличка Алмазов была торжественным указом «временного сибирского правительства», сразу после свержения советской власти, навечно припаяна к его подлинной фамилии, точно так же и к чрезмерно распространенной фамилии туркестанского исправника и карателя было добавлено: Ринов.

Он страшно этим гордился. И предпочитал именовать себя просто Ринов, без Иванова. Но если бы знал он, грозный и беспощадный держиморда-главнокомандующий, как возненавидевшие его солдаты Сибирской армии, встревоженные и оскорбленные не только одним возвращением погон, но и возвратом старорежимного чинопочитания и мордобоя, злобно и непристойно обыгрывали в своих беседах эту его новую фамилию! Впрочем, присоединялись к ним в этом словесном озорстве, отводя душу, и молодые, демократических настроений офицеры.

Но даже и кадровые офицеры, клокотавшие неутолимой ненавистью к большевикам, к Советам, и те были

раздражены и омрачены огульным восстановлением старой военной иерархии. По боевым заслугам надо судить, что ты сделал в борьбе с красными, а не по золотым зигзагам на погоне! У иной старой песочницы, какого-нибудь интендантского заворуя генерала Запечного, золотой, видите ли, зигзаг на погонах, да еще и три звездочки в придачу, а я — тянись и трепещи перед ним! Вся ветошь генеральская повылезла из щелей, в которых тряслась при большевиках. Нет, с разбором надо было старые чины восстанавливать, а не огулом!

И многие приходили к заключению, что с Гришиным-Алмазовым было лучше! И смотри ведь, какое было воодушевление, как побеждали! А теперь вот — с Риновым! А на поверку выходит — старым!

Случается, что брошенное мимоходом и в шутку предвещание самых пустых людей вдруг сбывается и полностью и вскоре, как подлинное пророчество.

Так было и со словами поручика Гуреева, что теперь, мол, белый конь Георгия Победоносца вымчит нового георгиевского кавалера к новым почестям и наградам.

Однако то, что произошло с Сергеем Шатровым в Омске, порою казалось ему сверхъестественным вмешательством какого-то высшего рока.

Не приснилось бы и во сне, что всего через какую-нибудь неделю и здесь же, в этом вот хмуром, ноябрьском Омске, таком, казалось бы, плоском и сером, он, Сергей Шатров, ничтожный по своей общественной значимости, как ничтожна искра перед всем пламенем пожара, вдруг, по щучьему велению, сделается одним из ближайших и доверенных участников рокового в судьбах России исторического события; станет запросто близок к носителю верховной власти; войдет в круг, непостижимый для простых смертных; но и для оравы титулованных честолюбцев, глотающих слюни зависти и вожделения, недосягаемый.

Насмотрелся он вскоре досыта, до омерзения на косяки этих господ — и с золотыми погонами, и с титулами: кто — сенатора, кто — князя, кто — графа, — когда, чавкая ненасытными челюстями, они заискивали, гнули спины и перед ним, Сергеем Шатровым, единственно

ради того, чтобы протиснуться, пробиться в приемную особняка на Иртыше — особняка довольно красивого, просторно-одноэтажного, с большими, цельнолитыми стеклами на Иртыш, но до сих пор ничем не достопримечательного и принадлежавшего прежде промышленнику не из крупных — некоему Батюшкину.

А началось все с одной неожиданной встречи в светлой и уютной кофейной со странным названием «Зон», что на Атаманской, главной улице Омска.

Улица эта соединяла с пригородным вокзалом железнодорожной ветки самую сердцевину города, где через улицу, как раз наискосок кофейной, высился посреди скудно обсаженной площади огромно-пространный, хотя всего лишь в два этажа, с башенкой, белоснежный особняк — бывший дворец генерал-губернатора, переименованный, как водится, еще во времена Керенского в «Дом свободы». Ныне же это был дом совета министров само́й Директории, то есть *пятерки* из двух эсеров, двух эсеро-кадетов и одного генерала, составленной на Уфимском совещании под давлением Богдана Павлу и Сырового,— пятерки, гордо именующей себя «всероссийским временным правительством», провозгласившей себя в полной мере преемницей свергнутого большевиками Временного правительства Керенского, да и возглавленной, кстати сказать, все тем же вездесущим Николаем Дмитриевичем Авксентьевым, этим скорбновелеречивым, длинновласобородым эсером, щеголеватым, но под мужичка,— давним завистником, но вечно отстающим соперником Керенского.

Вместо недавнего *бело-зеленого,* поднятого было «сибирским временным правительством», реял над входом дворца, радугою сквозь морозную мглу, прежний трехцветный флаг державы Российской: белое, синее, красное.

«Ну что ж! И давно пора! Пускай хоть это для начала. А там — кто знает! — жертвой жизней своих, подвигом, кровью. неужели не соберем воедино гибнущую нашу, со всех сторон раздираемую, расхищаемую великую Россию? Соберем! А тогда и этим вот господам союзничкам, этим воронам — железные клювы, слетевшимся на расклев еще не успевшей умереть России, —

тогда мы им покажем, покажем!» Так думалось Сергею Шатрову, когда бежал он, продрогший и проголодавшийся, вверх по Атаманской, то и дело вскидывая при встречах с офицером озябшие в перчатках пальцы под козырек лихо примятой, чешского образца, фуражечки и вслед за тем украдкой задерживая их после каждого взброса: согреть прихваченные морозом уши. Ветер с Иртыша жесточил стужу.

Чужестранных офицеров — англичан, французов, итальянцев, американцев — на улице разрешалось и не приветствовать. А то бы и руку от козырька не пришлось отрывать именно здесь, на Атаманской, а еще — на Проспекте.

Чешские же офицеры — а их Сергей Шатров иностранцами не считал, пройдя в боях плечом к плечу с ними от Шадринска до Кунгура,— они теперь избегали мозолить глаза бомонду Омска: им ли было не знать, беднягам, что рухнуло их былое, еще столь недавнее обаяние, особенно среди женщин высшего круга, то есть беженского. А для общественного мнения новоявленной сибирской столицы это означало все: на сто тысяч коренных граждан Омска в те дни насчитывалось свыше *полумиллиона* беженцев!

— Послушайте, но это же тихий ужас: чехи нас предали, не хотят нас защищать! Выдохлись: уходят с фронта! Дорогая, я не знаю, как вы, но я сказала своему благоверному, что самым лучшим подарком мне к Новому году будет отдельное купе до Владивостока!

Да, в те дни — за исключением некоторых лишь батальонов под Кунгуром, еще удерживаемых беспощадной волею генерала Гайды, не растерявшего пока и на русской службе нагнетаемого печатью и молвою ореола непобедимого,— чешский корпус оставил Западный фронт. Первая дивизия, самая грозная и прославленная из всех трех, эти «герои Зборова», как принято было их именовать, утратив разом, катастрофически, свою овеянную легендами боевую доблесть под натиском Красной Армии, принудили Сырового, угрожая мятежом, отказывая в повиновении, снять их полностью с фронта, невзирая на обнаженность Уфы, и перебросить в тыл — на отдых: на «очистку от большевистских элементов»

и на жестокую дисциплинарную встряску, в целебность которой все еще верили: и сам Сыровый, и Богдан Павлу — здесь, в Сибири; и маршал Фош, и Клемансо, и первый военный министр возникшей только что Чехословацкой республики Милан Штефаник — там, в Париже; и Черчилль на берегах Темзы; и за океаном, в Вашингтоне, — первый президент Чехословакии Томаш Гаригуэ Масарик, добившийся все же долгожданного приема у президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона, этого нескладно-сухопарого, угрюмо-надменного «апостола мира», с большим вытянутым лицом и с неизменным моноклем, привычно защелкнутым под тяжелую складку верхнего века...

Правда, Т.-Г. Масарик прежде всех понял, что одной встряской и выводом в тыл «оздоровить» корпус не удастся.

Клятвенно заверив американского президента, что чешский корпус в Сибири будет, как посох в руке, послушен воле «Совета четырех» и, если прикажут, ляжет костьми в борьбе против немцев и большевиков, «татичек Масарик» уже в сентябре восемнадцатого года, получив страшные известия о разгроме на Волге, не теряя времени рванул за веревки всех и всяческих колоколов пропаганды, ударил в набат, взывая о немедленной, щедрой, всемерной помощи чеховойску, гибнущему на Волге и на Урале под все нарастающими и нарастающими ударами красных армий.

И помощь хлынула. Щедрая. Всяческая. Навалами товаров, тушенки, боевого снаряжения, вооружения, боеприпасов.

Немедля из своего так называемого «личного фонда» Вильсон отвалил семь миллионов долларов на помощь гибнущим. Двенадцать миллионов — американский Красный Крест. И это не считая того, что еще в Киеве запроданный французам корпус с той самой поры полностью находился на содержании у французского правительства, будучи официально объявлен частью французской армии!

Наперегонки с Америкой, хватая ее за руки, чтобы та не помогла больше ее, ринулась «помогать чехам» и Япония, высаживая одну дивизию за другой. Только — чехам! О России не было и помину. И что-то странной была помощь: в обрез — до Байкала! А потом оказалось,

что и северная часть Сахалина да и Камчатка, где заведомо ни одного чеха не было, тоже никак не могут обойтись без военной японской помощи!

Тщетны были все и всяческие попытки удержать чехословаков на фронте!

А давно ли, тотчас же вслед за оставлением Казани, негодуя и укоряя учредиловские войска за слабую помощь и малочисленность, члены чехословацкой Одбочки: Ме́дек, доктор Власак и сам Че́чек, вновь испеченный «братр-генерал», командующий Самарским фронтом, высокомерно и с неслыханной самоуверенностью заявляли в своем обращении ко всему русскому народу:

«...Мы с вами, братья, и мы вас в эти тяжелые минуты, когда многое должно решиться, не оставим.

Мы заявляем вам, граждане, что Казань и Симбирск в скором времени будут взяты обратно и опять будут в ваших руках, но на этот раз уже навсегда, *потому что на этот раз Казань будет взята по приказу чехословацкого командования.*

На этот раз мы не остановимся перед Казанью и пойдем дальше и принесем на штыках своих матушке Москве приветствие от всех вас, граждане, от всей уже освобожденной России».

«Не хвались — в Москву, а хвались из Москвы!» — так еще в древние времена сказал о бахвалах русский народ, и прежде всего о злой нахвальщине, которая с мечом в руках приходила на русскую землю!

Вскоре и в самой Самаре *четыре тысячи* легионеров отказались выполнить боевой приказ. И на восток от Волги, на подступах к Чишме, Уфе, все разрастались эти случаи неповиновения боевым приказам начальника, даже и столь, казалось бы, беззаветно боготворимого, как молодой, исполненный отваги, страшный в бою, отечески добрый к своим гохам-парням, полковник Иржи Иосиф Швец, командир Первого имени Яна Гуса полка — того самого, что, начиная от Зборова, был грозным и безотказным пробивным тараном в руках чешского главнокомандования. Потому именно в дни разгрома на Волге его и назначили командиром Первой чехословацкой дивизии — той самой, Зборовской. Этот остановит!

Это он, Швец, всего лишь два месяца назад, в августе тысяча девятьсот восемнадцатого года, вместе со Степановым и Каппелем взял у красных Казань, захватив там не только неимоверно богатую добычу, но и весь золотой запас России, вывезенный туда от немецкого захвата. Этот ли не остановит?!

И что же? Когда, выполняя приказ Войцеховского принять участие в обхвате и окружении прорвавшихся красных, полковник Швец приказал своей дивизии выступить, она чуть ли не поголовно отказалась! Гоши кричали в лицо своему любимцу: «Не пойдем! Валка (война) скончена! Германия и Австрия повержены во прах! У нас теперь свое государство. Чешский народ триста лет боролся за это! Чего ради от нас, брат полковник, еще требуют крови? Домой! На родину!»

И непереносимое для «брата полковника» — из многих орущих уст вырвалось: «И у нас будоу совьеты!»

Отчаявшийся и оскорбленный Швец молча повернул коня.

В штабном своем вагоне на станции Аксаково двадцать пятого октября тысяча девятьсот восемнадцатого года он написал Войцеховскому рапорт, что не выполнил боевого приказа по той причине, что вверенные ему, Швецу, войска отказались повиноваться.

Отослав рапорт, он приказал оставить его одного и выстрелом из пистолета размозжил себе голову...

В предсмертной коротенькой записке стояло:

«Не могу пережить постигшего наше войско позора, виновниками которого являются безответственные фанатики-демагоги, убившие в самих себе и в нас самое ценное — честь».

Чрезвычайная следственная комиссия, присланная в Аксаково Яном Сыровым, принуждена была в строго секретном донесении написать мрачные слова:

«Боевая ценность нашего войска спустилась ниже уровня средних регулярных войск».

А там, в Вашингтоне, незадолго до падения Казани, «татичек Масарик», в горделивом негодовании на волокиту с признанием его, Масарика, главою Чехословакии, направил правительству Соединенных Штатов меморандум, где были такие слова:

«Я располагаю тремя армиями (в России, Франции и Италии), и я являюсь, я бы сказал, *господином* Сиби-

ри и половины России, однако, несмотря на это, для Соединенных Штатов я все еще являюсь формально частным лицом».

...Что же стряслось?

— *Развал!* — ошеломленные, отвечали Гайда и Сыровый, Богдан Павлу и Рихтер, Патейдл и Медек, Кадлец и Прхал.

— Нет! Не развал, а обманутые прозрели! — с чувством глубочайшего удовлетворения, что вот они видны, их труды над сознанием солдат-легионеров, провозглашали Ярослав Гашек и Ярослав Частек, Ченек Грушка и Иосиф Нетик, Микулаш Сокол и Матвей Кедров. И многие, многие с ними!

Одиннадцать отрядов «красных чехов», тысячи и тысячи чехословацких добровольцев сражались в рядах Красной Армии, не страшась вступать в бой со своими братьями по крови, соотечественниками, такими же чехами и словаками, бойцами чехословацкого корпуса!

Кафе «Зон» не посещают для кутежей. Любая порядочная женщина, не краснея, не чувствуя себя застигнутой, где не должно, может спокойно взглянуть здесь в глаза любой из своих соседок, пусть даже самой злоязычной!

Здесь светло, уютно. А зимою, в морозы «с копотью», как говорят в Сибири, в стужу с про́желтью, та́к бывают накалены четвероугольные огромные печи, крытые посеребренным металлом, что хотя и не обязательно снимать верхнее, но все это делают: жарко! Иной беженец, снявший где-либо у беспощадного омского мещанина-домовладельца промозглую, холодную щель, обогреваемую лишь дыханием и телом постояльца, — дрова-то ведь в нынешнюю зиму до четырехсот рублей сажень доходят! — прибегает сюда нарочно отогреться и сидит, сидит часами за одной-двумя чашечками кофе с каким-либо скудным добавлением: днем, конечно, когда в кофейной меньше народу и есть свободные столики.

Еще недавно это было излюбленное кафе чехов. Сейчас ни одного чеха в кофейне не было. Был слух, что чешское командование запретило будто бы им в

Омске, ввиду ухода их с фронта, вообще посещать пивные и рестораны: временно, пока не уляжется среди омских общественных кругов, казачества и офицерства негодование и озлобленность против чехов.

Сергей не сразу вошел в общую залу, а сперва тщательно осмотрелся в зеркало передней, обтянул, оправил защитку и ремень и отер надушенным платком и пригладил заиндевевшие мягкие усики, еще ни разу не сбритые. Попутно дал отойти закоченевшим в легких сапожках ногам.

Не хотелось ему, чтобы сидевшие за столиками заметили, как продрог он и как радуется он, вступая в жарко натопленную комнату.

Солдатская шинель на нем была тоже ветром подбитая!

А еще он задержался в передней ради того, чтобы заглянуть в кошелек и прикинуть: что может израсходовать, заказывая, и что может дать прислуге на чай.

Он вынужден был теперь считать каждую копейку и довольствовался из солдатского котла наравне со всеми.

Дорого, даже и в грубо-вещественном, бытовом отношении, обошелся Сергею его полный разрыв с отцом, когда после своего награждения, получив отпуск, он поехал навестить отца на мельнице, ради его одиночества да и в тайном расчете блеснуть перед ним и перед Володькой беленьким крестиком!

И могила не изгладит из его души эту их последнюю встречу!

Сначала будто все шло ничего. Спокойно обедали вдвоем. Дуняша, сменив очередное, уходила на кухню, оставляя их наедине.

Спросил, где Володя. Оказалось, отец послал его с землекопами и древосеками и с десятком подвод сделать перехватку на дальнем истоке Тобола, чтобы зря не уходила вода. И Арсений Тихонович похвалился, что Владимир теперь может и за плотинщика и за крупчатника-мастера. А жернов для простого помола так выкует, что и не всякий засыпка сможет!

— Он еще возле Константина выучился. А теперь самостоятельно держит вахту. И я им доволен, и мужики!

Сергей поморщился. О Константине Ермакове и о том, в каких страшных обстоятельствах встретился он с ним, решил умолчать.

А насчет Володи сказал:

— Ты что же, отец, хочешь его совсем образования лишить?

Арсений Тихонович хмуро и нехотя ответил, что гимназия — это не образование, а развращение. А тут — человеком станет! Об этом думано. Давай не будем спорить...

Оба уткнулись в тарелки.

Сергей выразил сожаление, что младший брат не увидит его с боевым орденом: сейчас же вот, после обеда, ему приходится уезжать. И не выдержал — укоризненно сказал отцу:

— А ты даже и не поздравил меня!

Арсений Тихонович в горестном изумлении посмотрел на сына, силился промолчать, а затем у него вырвалось жалобно:

— Сергей, да ты это серьезно?

— Я тебя не понимаю, отец!

— Не понимаешь? Так вот куда тебя твои дружки-приятели привели!

Теперь-то понял Сергей!

Так он и выкрикнул отцу:

— Понял! Понял, чьи мысли повторяешь! А тебя куда твой друг-приятель привел, с которым ты всю жизнь свою носился? Кедров твой?

Усиливаясь подавить нараставший в нем гнев против сына, Арсений Тихонович угрюмо и предостерегающе произнес:

— Не твоего ума дело судить об этом человеке! Замолчи!

— Хорошо. Я замолчу. Но только одно меня удивляет: помню, когда на чужих ты, бывало, видел этот крестик, так не знал, куда и посадить солдата или офицера. А теперь, когда твоему сыну...

Арсений Тихонович не дал Сергею договорить:

— Не равняй! Тот крест — другое: там против извечных врагов России и всего славянства шел человек. Против германцев. Родину шел отстоять против поработителей. А здесь, здесь за что тебе этот крестик дали? За то, что ты своих русских братьев, да и, наверно,

наших же здешних мужиков, тоболянских, убивал где-то там, под Тюменью? Не знаю, кто из вашего высокого начальства до этого додумался... Но... гордиться тут нечем! Спрятать надо тебе, сынок, этот свой крестик, а... не выпячивать грудь!

Кровь кинулась в лицо Сергею. Он оттолкнул от себя столовый прибор, так что опрокинулся бокал с красным вином.

Отец молча отодвинул от расплывавшегося по белоснежной скатерти пятна свои тарелки и хлеб.

Прянув на ноги, сын выкрикнул:

— А вот когда доберутся до тебя эти *свои*, тоболянские мужички, да начнут из тебя душу вытрясать, тогда и ты поймешь, за что твой сын «Георгия» получил!

И выбежал из-за стола к порогу прихожей.

Арсений Тихонович, взбагровев, даже и головы не повернул в его сторону и не сказал ничего, только отстегнул верхнюю пуговицу своей рубахи.

Сергей сам приостановился. Ему в этот миг слабым показался его ответ отцу за оскорбление той святыни, о которой он привык слышать от всех решительно офицеров лишь возвышенные, прямо-таки благоговейные слова.

И он выкрикнул, обернувшись:

— Знаю я, что ты у нас — старый народолюбец! Но от таких вот либералов, как ты, и погибла Россия! Но вот те крест... — Тут Сергей и в самом деле размашисто перекрестился. — Вот те крест, что если бы мне выпала честь проехаться во главе карательного отряда к нашим, здешним мужичкам, которые старуху Сычову сожгли вместе с заимкой, то я бы... не стал миндальничать с этой бандой! Да, да! Не стал бы миндальничать!

Презрительно сощурясь, отец взглянул на него, скорбно покачал головой и сказал:

— Преуспел ты, я вижу, сынок! А ты знаешь, каким прозвищем здешние мужики эти ваши офицерские карательные отряды окрестили? «Жопосеки пришли!» Сибиряка вздумали плетюганами да шомполами патриотизму учить! Кто это у вас такой умный? Да он, сибиряк, с одним ножом засапожным — и то теперь полезет на вас!

Сергей только дернул плечом и злобно отфыркнулся.

— Нет, я пороть бы их не стал. Мы в отряде капитана Гарпиева этим рук себе не марали. Но я бы с ними, с нашими пейзанами, так бы обошелся, как бывший ямщик наш Ерема обходился. Он ведь тоже, да будет тебе известно, в отряд к нам добровольцем вступил: «Антихристу, говорит, пришел противостоять, зане́ Страшный суд настает над народом!» Так он с пленными красными благочестиво и просто поступал: «Изрой себе могилу... Перекрестись!»

При этих его словах Арсений Тихонович тучей поднялся, отшвырнул кресло. Перстом вытянутой, гневно потрясаемой руки указал на распахнутую дверь.

— Вон! — заорал. — Щенок! Мерзавец! И чтобы нога твоя на этот порог не ступала! Собак на тебя прикажу науськать, если даже за̀ плотиной покажешься!

Войдя в залу, Сергей увидел не один, а несколько незанятых столиков. Приостановившись, выбрал тот, от которого навстречу ему улыбнулась, словно вот только его и ждала, кукольно-красивая молоденькая официантка.

У бедного «вольнопера» радостным жаром о́бдало сердце. Он тоже улыбнулся ей, и кивнул, и ускорил шаги, чтобы кто-нибудь не перехватил у него под носом этот столик, но тотчас же болезненно поморщился, вспомнив о все еще непривычной, унижающей его на каждом шагу скудости своих средств.

Будь он в другом положении — пригласил бы ее вечерком, когда освободится, в Коммерческий клуб, или в Интимный театр, или в цирк, наверняка была бы довольна: там — «Рай Магомета», там — «Тайны гарема», а там — «Небывалая по интересу роскошная программа «Ураган страстей»! Покатал бы ее на лихаче! Но что, если сам он обходится без извозчика и занимает лишь койку в военной гостинице!

Уже вблизи вожделенного столика Сергей глянул в сторону, внутренне вздрогнул и подтянулся: у противоположной стены, один за столиком, склонившись над газетой, сидел офицер. Лица его почти не было видно, но его погоны Сергей своим наметанным взглядом успел распознать: капитан.

Надо было испросить разрешение.

Четко и образцово Сергей исполнил это:

— Господин капитан, прошу вашего позволения!

И в ответ — благодушно-начальственный, сипловатый басок:

— Садитесь, Шатров! Прошу вас!

И капитан Гарпиев, отложив газету, приветливо и просто указал Сергею на свободный стул своего столика.

Все еще цепенея от близости недавнего своего начальника, грозного и юношески боготворимого, Сергей сидел, вытянувшись, не решаясь взять принесенную и ему чашечку кофе и тем более приняться за пирожное.

Душа млела в нем радостью.

Капитан понял его состояние и постарался вывести его из этой оцепенелости:

— Воину, Шатров, надлежит быть сыту! И воину доблестному. — При этих словах он взором указал на беленький крестик Сергея. — Кушайте, прошу вас. Подкрепляйтесь. Здесь можно получить еще глазунью с ветчиной. Может быть, с нее и начнем? Жаль, что нельзя спросить стопку бесхитростной, солдатской! Ну что ж! Омоем, хотя бы и рюмочкой этого ликера, вашу первую и столь высокую боевую награду!

Они выпили.

Отвечая на вопрос, Сергей сказал, что «георгия» получил за участие во взятии Екатеринбурга.

Спросил о семье. И Сергей, умолчав, само собой разумеется, о своем разрыве с отцом, ответил, что мать и отец здоровы. Но еще один из сынов, Никита Арсеньевич, доктор, призван в армию и уже на фронте, вместе с женой, где-то под Уфою...

У капитана при упоминании Уфы вырвалось было сквозь сомкнутые губы нечто вроде озабоченного: «М-м!» — но он тотчас же и остановил себя, а только спросил:

— А почему же — с женой?

— Она — сестра милосердия. И захотела быть с ним на фронте.

— Да? Ну что же: достойная, достойная женщина! Когда бы у всех наших воинов были такие супруги! А то здесь, в Омске...

И опять не договорил.

Взор его, искоса приподнятый, жестко встретил приблизившуюся к ним официантку, ту самую, с которой успел переулыбнуться Сергей при входе в залу. Она, по какой-то причине, сменила свою подругу, которая сперва обслуживала столик Гарпиева.

А Сергей, напротив, не смог скрыть своего удовольствия от такой перемены.

Капитан сухо и молча рассчитался, глянув на листок счета.

Они встали и пошли к выходу.

На улице шел снег. Сквозь крупные и частые его хлопья стали трудно различимы лица прохожих. И Гарпиев пробормотал, удивив этим Сергея:

— Вот это кстати!

Спросить его, почему «кстати», Сергей не посмел.

Заметив наискосок через улицу, возле башнеобразной, огромной тумбы для наклейки афиш, одинокого извозчика, капитан скорыми и большими шагами направился к нему.

Когда приближались к извозчику, где возле них не было никого, он сказал Сергею:

— Будьте осторожны, Шатров, на знакомства с миловидными омскими официантками. Имейте в виду: редкая из них не работает на чью-либо разведку!

Гарпиев отпустил извозчика, далеконько не доезжая до гостиницы «Лондон», где занимал роскошный двухкомнатный номер.

Здесь, опять-таки приняв некоторые предосторожности, он приступил к разговору, весьма откровенному:

— Скажите, Шатров, только прямо и безбоязненно: как вы относитесь к правительству? Да, да: к нашему «временному всероссийскому правительству», сиречь к Директории, с господином Авксентьевым во главе?

Озадаченный таким штыковым вопросом, Сергей секунду-другую молчал, мысленно допрашивая самого себя. Но ответ его был прост и бесхитростен:

— Я считаю, господин капитан, что Директория еще вреднее, чем даже Керенский.

Гарпиев удовлетворенно рассмеялся:

— Точно! И в тысячу раз вреднее! Почему? — вы спросите. Да потому, что, когда паясничал над Россией *тот* кровавый шут, она обладала еще неисчерпаемыми силами. А теперь — теперь мы отдаем для ее спасения

последние, я бы сказал, потоки *белой* крови. Последние! Но весь ужас в том, что этот господин или *полутоварищ* — черт его знает! — Авксентьев — это дешевка Керенский. Эсеры — это те же большевики, только худшего сорта. Скорую гибель готовит нам Директория! Вы смотрите: фронт рушится. Войцеховский едва ли сможет удержать Уфу. А в это время эсеровская часть Директории уже снюхивается с красными!

Сергей пылал, слушая его. Весь подавался вперед, закусывая губу, не смея перебивать; сжимал руку в кулак.

А Гарпиев, сам все более и более распаляя себя картинами надвигающейся гибели, измен и предательств, однако с присущей ему четкостью все разворачивал и разворачивал перед потрясенным сознанием Сергея как бы панораму событий, совершавшихся в те дни в Омске и Екатеринбурге, в Челябинске и Уфе.

Во всех бедах и ужасах, не обинуясь, винил он ЦК эсеров, Комитет членов Учредительного собрания и Директорию.

Грозен был его счет.

По замыслу ее творцов, весь государственный смысл создания Директории был в прекращении наконец глупейшей и губительнейшей распри между Омском и Самарой — распри, которая грозила свалить в бездну и самарский Комитет членов Учредительного собрания, и «сибирское временное правительство» Вологодского.

До какого, грубо говоря, «опупения» доходила эта анекдотическая вражда двух правительств — омского и самарского,— говорит яснее ясного такой случай. Должно было состояться очередное заседание «самарского совета министров». Вопрос, поставленный на обсуждение, затрагивал взаимоотношения Омска и Самары. Поэтому омский представитель и попросил разрешения присутствовать. Но министр иностранных дел «самарского правительства» возмущенно отказал ему особой нотой, ссылаясь на то, что «международное право» не предусматривает случаев, когда бы «посол иностранной державы» участвовал в заседании кабинета министров данной державы!

Между Самарой и Омском шла таможенная война: одна «держава» отказывала другой в жизненно необходимом снабжении — в нефти, угле, железе и хлебе.

Из-за Урала — хотя и там было свое собственное правительство — Самара и Омск едва не начали между собой войну. Спорили из-за Екатеринбурга и Златоуста. Та и другая сторона засылала в них тайных агентов, разведчиков и шпионов, склоняя на свою сторону.

А тем временем Поволжский фронт рушился!

И чехословаки не выдержали наконец.

В третий раз пытаясь сосватать Омск и Самару, Богдан Павлу от имени национального Чехословацкого совета выступил на сентябрьском Уфимском совещании с горестно-укоризненным словом:

— Чехословацкое войско, выступая против большевистского насилия, в первый момент должно было защищать *свою* свободу. Но, начиная со второго дня нашего выступления, мы поставили себе задачу: не продолжать свой прерванный путь через Владивосток во Францию, а оказать содействие братскому русскому народу... Но что же мы видим до сих пор? Вместо того — что являлось бы естественным,— чтобы чехословацкое войско лишь *помогало* русским войскам в деле освобождения их родины, до сих пор *главная* тяжесть военных усилий и жертв падает на чехословацких солдат!

...Нам всем уже даны два грозных предостережения: первое — это прорыв Блюхера севернее Уфы, в действительности не ликвидированный; а второе — это падение Казани. Господа! Мы все должны объединиться для того, чтобы не ожидать третьего предостережения!

Но «предостережениям» этим на Волжском фронте скоро и счет был потерян, бесполезным оказалось и создание Директории, и ее Поволжская армия — с гордым названием «Народная» — оставалась такой же численно жалкой, как при Комуче.

Мобилизованные волжские мужики разбегались. Расстрелы не помогали. Уполномоченный Учредительного собрания эсер Бобров попробовал применять порку, но и это не увеличило рядов учредиловских войск.

Батальоны, эскадроны и даже полки добровольцев — какой защитой для Директории могли они быть, когда Ленин в те дни громил врагов революции не то что дивизиями, а уже и целыми армиями?!

Кедровы, самоотверженные, беспощадные к себе, с неимоверной стремительностью и неописуемой волей,

сумели — и подвигом и словом своим — вдохнуть в сердце каждого красноармейца тревожно-грозный призыв вождя:

— Сейчас вся судьба революции стоит на *одной* карте: быстрая победа над чехословаками на фронте Казань — Уфа — Самара. Все зависит от этого!

К ноябрю чехословаки бросили Волжский фронт. Чечек, вчера еще поручик, а сегодня уже генерал, был смещен. Вместо него Сыровый послал Войцеховского. Но уж все было тщетно.

И Директория — поплыла!

Омск с плохо скрываемым злорадством наблюдал, как «временное всероссийское», во главе со своим обожаемым Авксентьевым и неотрывно от своей опоры и окружения — съездом членов Учредительного собрания, ползет и ползет на восток.

Сибирское офицерство угрожающе пошучивало:

— Недаром — эсеры! Проуфили, сукины дети, все у себя на Волге, разложили чехов, а теперь к нам едут — нашу молодую армию разлагать. Ну ничего: мы хотя и не динамитчики, не террористы, но и мы кое-чему научились на этот счет. Найдем, чем встретить высоких гостей!

Но в ответ на это угрожающее бахвальство своих приятелей-офицеров Петр Аркадьевич Башкин, то и дело наезжавший в Омск,— человек, скрежетавший зубами при одном лишь слове «социалисты», — тут, сверх ожидания, офицеров не только не поддержал, но омрачился и угрюмо сказал:

— Вечная Калка! Несчастная наша Россия! Нет, нет, господа, не так бы я поступил, будь я на месте Иванова-Ринова, на месте Вологодского. Я помог бы Самаре. Этак нас большевики скоро и в Омске голыми руками возьмут!

И стали просачиваться слухи, что не зря Башкин зачастил в Омск. Завод ему, конечно, был возвращен сразу после свержения в Сибири Советов, а вслед за тем он объявил, что снова хочет сделать его турбинным заводом. Ибо, дескать, с большевиками будет скоро покончено, а турбины для отечества, и особенно для Сибири, куда важнее, чем какие-то там гранаты.

Само собой разумеется, такой возврат завода к его прежнему производству, мирному, позволил бы его

владельцу добиться изъятия завода из списков оборонных, полностью развязал бы руки хозяину.

Дальнейшим намерением Башкина было: если фронт будет неустойчив и политическая «смута», как выражался он, будет длиться, он превращает свой завод в акционерное предприятие, затем большую часть акций продает американским дельцам — а их немало уже съехалось и во Владивосток, и в Иркутск, и в Омск — и уезжает в Америку.

Найдет он приложение своим познаниям и там!

Такова была тщательно продуманная «стратагема» Петра Аркадьевича Башкина.

Но в военном министерстве Башкин встретил большие препоны в переключении завода на производство мирного времени.

Тут он вспомнил, что здесь ныне обитает старый друг — Анатолий Витальевич Кошанский, отыскал его и поклонился дарами, не забыв, конечно, и Киру Анатольевну, преподнеся ей золотые серьги с крупными бриллиантами.

Ласково пожурив его за это, Кошанский взялся за дело.

Человек этот многое и даже очень многое мог сделать в правительственных кругах Омска: достаточно сказать, что Кошанский был как бы личным юрисконсультом-советником министра финансов и каждодневно и доверительно общался с самим Иваном Михайловым.

Слово Михайлова в те дни было безоговорочным руководством к действию и для высших офицеров Омска, и для торгово-промышленных, и для военно-казачьих кругов.

Это с его голоса торгово-промышленный съезд, не допущенный чехами и эсерами на «узкое государственное совещание», избравшее Директорию, вызывающе провозгласил:

«Необходима твердая единая власть. Такой властью может быть только *единоличная военная диктатура»*.

Но в другом стане — чешско-эсеровском, учредиловском и томской Сибоблдумы — имя Ивана Михайлова вызывало гнев и отвращение, не без примеси тайного страха. Из этих кругов и вышло Михайлову прозвище: Ванька Каин.

Его наущению и наитию привыкли здесь приписывать не только все кадето-монархические заговоры и подкопы, но даже и тайные убийства эсеровских деятелей, таких, как Новоселов и Моисеенко.

Убийство Новоселова в Омске произошло как раз в тот знаменательный день, когда в Уфе, единогласно избранный главою «пятерки» — Директории, Николай Дмитриевич Авксентьев, со всем синклитом своих эсеров, после торжественного молебна подходил под благословение епископа Уфимского Андрея, в миру — князя Ухтомского.

И едва телеграф принес из Сибири весть о только что совершенной в загородной омской роще кровавой расправе, чешско-учредиловская Уфа пришла в неистовство.

Никто не сомневался, что вдохновителем убийства является Иван Михайлов.

У Авксентьева вырвалось:

— Этого господина давно следовало расстрелять!

На Вологодского, который в это время был во Владивостоке, устраняя «дальневосточное правительство» лилипута Дербера и почти добившись двухсотмиллионного кредита «сибирскому правительству», никаких подозрений не было. На Уфимском совещании он заочно был избран членом Директории.

Однако сгоряча Авксентьев чуть было не отдал распоряжение подвергнуть аресту сибирскую делегацию, участвовавшую в избрании Директории. Чешское командование предлагало ему штыки: «Лишь обратитесь к нам с призывом от имени Директории, и мы в два часа очистим Омск от всей этой сволочи!»

И это не было пустой похвальбой: в то время в Омске был трехтысячный чехословацкий гарнизон.

Но... с чешских штыков не хотели начинать. Всю ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое сентября Авксентьев заседал со своими эсерами и решил чешское предложение отклонить:

— Мы — коалиция. Внепартийная и надпартийная. Всероссийское правительство не может начинать с войны против тех, кто участвовал только что в его избра-

нии и обязался сложить свою власть в пользу Директории!

И решено было вместо чешских батальонов послать в Омск одного Аргунова, авксентьевского заместителя,— расследовать убийство Новоселова...

А меж тем «сибирское правительство» локти себе кусало, что его представители на Уфимском совещании согласились от его имени отказаться от власти в пользу избранной там Директории.

Представитель одной иностранной державы говорил Вологодскому:

— Зачем вы так поторопились, господа сибиряки? Одна Сибирь, объявившая себя полностью независимой, немедленно сможет с нашей поддержкой создать свой прочный доллар. И нам гораздо было бы приятнее иметь дело с независимой Сибирью, чем с правительством господина Авксентьева, которое претендует быть всероссийским.

А тем временем Поволжский фронт под ударами красных армий стремительно откатывался на восток, и к самарской Директории полностью становились приложимы слова, сказанные о Директории киевской: в вагоне — Директория, под вагоном — территория!

Куда же эвакуироваться?

Этот единственный вопрос и стоял на последнем пленарном заседании у Авксентьева с ЦК эсеров и съездом членов Учредительного собрания: Омск или Екатеринбург?

Положение Екатеринбурга как будто прочное. Там — Гайда, теперь уже в звании командующего Екатеринбургской группы. Ультимативной угрозой Омску он вытребовал к себе на фронт самый боевой Среднесибирский корпус, выпестованный Пепеляевым, сплошь из молодых сибиряков. Готовится наступать.

И генерал Гайда — соизволяет. Обещал даже выделить помещение.

«В Екатеринбург!»

Но вдруг в самый последний момент Авксентьева охватили сомнения: а что, если Гайда, выполняя приказ Омска, сдаст Екатеринбург вместе с Директорией, единственно, чтобы избавиться от нее?

Ни для кого не было тайной в ту пору, что Рудольф Гайда — сторонник единоличной военной диктатуры и

что сам не против в качестве русского корсиканца на белом коне торжественно въехать в Москву.

И Авксентьев перерешает:

— Едем в Омск! Знаю, что омские «мехиканцы» не прочь уготовить нам участь Новоселова! Но мы должны сунуться волку в пасть. И либо он нас проглотит, либо подавится нами! Самарский Комуч сдал власть — мы своим приездом поторопим и «омское правительство» ликвидироваться. Дельных и лояльных людей из сибирского кабинета включим в свой аппарат. Остальные, скажем, свободны! А пока будем обволакивать сибирячков!

Ему возражали:

— Но вы забываете: там — михайловы, волковы, красильниковы!

В ответ на это Авксентьев бодро встряхивал длинными, до плеч, волосами, ласкал свою франтовато-мужицкую бороду и, смеясь, говорил:

— Знаю! Но что они значат перед тремя тысячами чехов? А эти не выдадут нас! Разве вы не слыхали их гордую похвальбу: «Ми дали Руску Директориум!» Ну то-то же! И вторая наша защита: рядом, под боком, в Томске — Сибирская областная дума. Наконец, есть и третья, но здесь я не хочу вторгаться в тайны Евгения Францевича.

И Авксентьев, умолкая, многозначительно и лукаво кивал в сторону Роговского, кадрового эсера, облеченного в звание начальника государственной охраны.

О «трехстах прапорщиках» Роговского, о его охранной дружине из боевиков партии давно уже шли речи...

И Директория тронулась в Омск.

Председатель разогнанного большевиками Учредительного собрания, седогриво-тучный идол эсеровщины, эрудит, краснобай и мрачный скептик, склонный к неистовому барскому загулу, длившемуся иногда до тех пор, пока его не укладывали врачи с компрессами на сердце, — Виктор Михайлович Чернов напутствовал отъезд Директории в Омск мрачными стишками собственного изделия:

Едет в Омск Авксентьев Коля.
Вдруг тоска его взяла:
«Ах, зачем ты, моя доля,
До Сибири довела?!»

Когда до Авксентьева довели эти стишки, он озлился:

— А! Признаться, надоела мне эта наша седовласая Кассандра своими предсказаниями! Завидует, что не ему пришлось возглавить всероссийскую власть! Конечно, ему-то никак нельзя ехать в Омск: знает, что первый же встречный офицер застрелит его прямо на улице!

Тут он был прав: почему-то ни к кому из врагов с такой брезгливой ненавистью не относилось тогда офицерство белого стана!

...Не следует думать, что слишком беспечен и легкомыслен был Авксентьев, решив двинуть Директорию в Омск. Этот вчерашний булыжно-пыльный город прасолов и мещан теперь не сходил со страниц мировой печати. Сюда со всех концов света мчались послы и миссии. Омск, вне сомнений, становился столицей всея Сибири — от Урала и до Тихого океана. И правительству Авксентьева предстояло, возобладав Омском, на свежезаконном основании, в качестве только что избранного «всероссийского правительства», опереться на все ресурсы и силы Сибири и — на помощь союзников.

Правда, как только пришла весть о полной капитуляции Германии и о бегстве Вильгельма и стало ясно, что теперь никакой Восточный фронт в России против немцев союзникам ни на черта не нужен, Авксентьев испуганно ахнул:

— А как же теперь с нами?!

Ибо стало ясно, что с этого дня помощь со стороны Франции, Англии, Америки придется вымаливать на коленях и расплачиваться кусками России!

Однако первый день в Омске — а Директория прибыла туда девятого октября тысяча девятьсот восемнадцатого года — рассеял многие страхи и опасения!

Та́к встречали разве только царя!

К прибытию Директории главный омский вокзал убран был трехцветными знаменами. Выстроен был отборный почетный караул — из сибиряков и чехов. Вопили оркестры.

В вагон прибывшего «всероссийского» почтительнейше вступили: военный министр и главнокомандующий вооруженными силами «сибирского правительства» генерал-майор Иванов-Ринов, председатель Сибирской областной думы Якушев и министр «сибирского времен-

ного правительства» Серебренников, заменявший Вологодского, который все еще не вернулся из Владивостока.

Вместе с ними проследовал и уполномоченный чеховойск Рихтер: станция находилась под управлением чешского коментанта. Это обстоятельство также способствовало успокоению Авксентьева.

— Вы видите? — успел сказать он Роговскому, кивнув на выстроенных на перроне чешских молодцов.— Боюсь, что вам здесь, Евгений Францевич, совсем не будет забот!

Проследовали в разубранном поезде на пригородный вокзал ветки. И здесь встреча была исполнена радушия и государственного почета: триумфальная деревянная арка с громадными надписями «Добро пожаловать!»; представители иностранных держав; оркестр; гимны, и в качестве русского, явочным порядком утвердившегося — «Коль славен наш господь в Сионе».

Белым песочком посыпан был путь к поездному составу, который должен был послужить временным обиталищем Директории, ее охраны и свиты. Вагоны были роскошные, с цельнозеркальными стеклами, вместительные. Оборудованы — как для штаба армии, когда он на колесах: избыток телефонов, да еще и особый коммутатор со включением в железнодорожный телеграф — для переговоров по прямому проводу. Об этом заранее позаботился генерал Болдырев. Так что обижаться не приходилось: целый ряд иностранных миссий при «временном сибирском правительстве» Вологодского и доселе продолжал обитать на ветке. Многие из иностранцев втайне считали это даже более удобным: чуть что, а ты уже на колесах!

И это затянувшееся в дальнейшем пребывание Директории в вагонах на ветке дало предлог для злой шутки кому-то из завсегдатаев салона Гришиной-Алмазовой:

— Птичку с *ветки* долго ли согнать: шикнул — и нету!

Но в день прибытия омское небо казалось Авксентьеву безоблачным. После завтрака и отдыха в штабе Сибирской армии, у Иванова-Ринова, автомобилями отбыли на парад, принимать который должен был теперь Болдырев, как верховный главнокомандующий.

Прежде чем начаться параду, был отслужен небыва-

ло-торжественный молебен, в сослужении нескольких беженцев-архиереев во главе с престарелым епископом Омским Сильвестром.

Войска были построены на обширном пустыре, позади угрюмо-серой громады здания Судебных установлений.

Омский народ смотрел с кирпичных кладей и навала строительного леса поодаль.

Генерал Болдырев обладал прекрасной кавалерийской посадкой. На белом коне с круто согнутой шеей, как бывает у цирковых лошадей, сам же богатырски-рослый, с голосом зычным и наигранным перед войсками на протяжении многих и многих смотров и боев,— обскакал замедленным парадным намётом выстроенных сибиряков: пехоту и казаков.

Подъемля руку, приветствуя, он звонко кричал пехотинцам:

— Здорово, стрелочки!

А казакам:

— Здорово, станичники!

И те и другие отвечали ему многоголосо-слитным и невнятным: «Здра жла, ваше дитство!», в чем, однако, и сам главнокомандующий, и солдаты, и казаки, и все присутствующие на смотру уверенно слышали:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

Постарался Иванов-Ринов.

Пехотинцы-сибирячки были два молоденьких года: девятнадцати- и двадцатилетние. Старых солдат опасались призывать: развращены! А эти — как воск будут в руках крепкого командира.

По молодости своей они еще не вошли в полный рост возмужания и знатным гостям из Самары показались низкорослыми, щуплыми. Это и выразил Авксентьеву начальник его государственной охраны Роговский, когда возвращались с парада:

— Неказиста же их Сибирская армия. Михрютки какие-то! Нашли что показывать!

Эта страшная омская осень была исполнена неистовой — и тайной и явной — борьбы в противобольшевистском стане, доходящей до кровавой уголовщины.

Бесследно исчез Борис Николаевич Моисеенко. Он

был комиссаром Керенского в одной из армий. Напрягая все свои силы и разумение, тщетно пытался остановить развал фронта. Ушел в эсеровское подполье. Ведал всей боевой силой «Союза возрождения». Советской властью был объявлен врагом народа. Бежал в Самару. После белочешского переворота был казначеем съезда Учредительного собрания. В таком звании прибыл вместе с Директорией в Омск. Был слух, что на его руках вся казна партии: два с половиною миллиона рублей. И вот — исчез! Через недолгое время труп его, носивший следы страшных истязаний, был найден в Иртыше...

Сперва предполагали уголовное. Затем у эсеров нашлись данные, что это убийство — политическое: его совершили офицеры из тайной монархической организации, которая, дескать, поставила себе целью, убивая одного за другим членов Учредительного собрания, не дать собраться кворуму, перед которым, согласно воле Уфимского совещания, должна была сложить свою власть Директория.

Несколько учредиловцев посетили главнокомандующего Болдырева и пригрозили, что если не будут найдены и покараны убийцы, то эсеры, мол, и сами найдут средства отомстить разнуздавшейся военщине!

Оскорбленный угрозой, генерал многозначительно им ответил:

— Рекомендую вам, господа, не касаться армии! — И встал, показуя тем самым, что аудиенция окончена.

Эсеры ушли...

С тех пор едва ли не каждую ночь санитарные двуколки поднимали на глухих улицах Омска трупы офицеров...

Перекаленные до последней степени пары́ омского котла вот-вот грозили взорвать его! Офицерство поголовно бредило диктатором.

Эсеровская часть Директории — Авксентьев и Зензинов — еще и еще раз получают тайное предложение чешского командования: «Призовите нас от имени всенародного, демократического правительства, от имени Учредительного собрания — и мы разгоним всю эту омскую банду в два счета!» «Нет и нет, — отвечал Авксентьев.— Я не возьму на свою совесть разнуздывания гражданской войны внутри антибольшевистского лагеря!»

Ему вторил Зензинов: «Я не считаю возможным нарушать уфимскую клятву: единства и борьбы с большевиками!»

А сами, оба, писали в это время в ЦК партии эсеров:

«Мы живем, как на вулкане, готовом ежеминутно начать извержение. Каждый вечер мы сидим и ждем, что нас придут арестовать».

«Ну и черт с вами, кретины, политические полуидиоты!» — ругнулся в недосягаемости Екатеринбурга Чернов. И начал действовать сам.

На одном из заседаний Директории генерал Болдырев гневно зачитал «грамоту» Чернова, которая открыто обвиняла Директорию: в измене Уфимскому совещанию, ее избравшему; в том, что она поддалась «сибирскому совету министров», в том, что повинуется царским генералам и атаманам; хочет разогнать областную думу; отдала армию в руки черной реакции, ввела погоны, и так далее, и тому подобное. А потому ЦК партии эсеров постановляет: «Все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены. Чисто военная мобилизация сил партии должна явиться основой для деятельности Центрального комитета...»

— Что же вы хотите сделать? — спросил Зензинов Болдырева.

— Это измена. Уголовно наказуемое деяние. Я прикажу арестовать не только Чернова, но и весь ЦК этой партии. И подвергнуть ее запрету!

— Тогда вам придется начать с меня, вашего сочлена по Директории, ибо я — член ЦК партии эсеров. И — с Николая Дмитриевича, так как он хотя и вышел из ЦК, но состоит членом партии...

Наступило тяжкое молчание...

Едва-едва удалось Авксентьеву, с его искусством «обволакивать», пролить елей примирения: он уговорил потерпеть с этим вопросом, пока он, Авксентьев, не съездит в Томск и не уговорит Сибирскую областную думу разойтись добровольно.

Болдырев согласился подождать.

Но «грамота» Чернова уже разошлась по Омску. Офицерство кипело. Требовали немедленного ареста Чернова. Открыто грозили, что и ему не миновать участи Моисеенко.

Только воля и спокойствие Болдырева удерживали в те дни «пятерку» от распада. Он гасил своим властным словом вспышки и размолвки на закрытых заседаниях «пятерки», не давая им перерасти в пламя. Но и от ударов и покушений извне — из недр и военщины и эсеровщины — этот боевой генерал, хотя и не громкой славы, ныне же провозгласивший верность демократии, союзникам и нерушимый союз с братьями чехословаками, казался для всей Директории укрытием и оплотом.

В ту страшную омскую осень генерал Болдырев самоуверенно успокаивал правительство:

— Военных я мало-помалу приберу к рукам! Но только беда в том, что я, верховный главнокомандующий русской возрождающейся армии, не могу найти себе в помощники, на пост военного министра, такого из высших офицеров, который и меня полностью бы удовлетворил, и русскому боевому офицерству импонировал бы!

И вдруг словно с неба свалился к ним этот мечтаемый, вожделенный всему правительству высший офицер!

В среду шестого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года каждый гражданин Омска, купив «Вестник временного всероссийского правительства», мог прочесть на первой же странице среди состоявшихся четвертого ноября назначений и такое, особо выделенное:

«Вице-адмирал Александр Васильевич *Колчак* — военным и морским министром».

Болдырев и Авксентьев сияли!

Еще каких-нибудь две-три недели назад в разношерстной, разноликой толпе, сплошняком текущей по узкому, выщербленному тротуару Атаманской, ктó лишний раз оглянулся бы на этого сухощавого, невысокого господина средних лет, остролицего, с большими черными измученными глазами, с высокой и тонкой пластиной орлиного носа, затененного старенькой черной шляпой с обвисшими полями? Пожалуй — никто!

И разве узнали бы вы этого человека сейчас, когда вот он сидит за банкетным столом, во всем блеске и великолепии своего адмиральского одеяния торжеств и смотров, с широкими золотыми погонами с черными шитыми орлами на них? Нет, не узнали бы!

Торжественный вечер шестого ноября в Коммерческом клубе Омска по случаю только что обнародованного в печати сложения с себя власти «сибирским правительством» и восприятия этой власти Директорией.

Огромный зал шумит и сверкает. Мундиры. Фраки. Здесь весь наличный, успевший прибыть в столицу Сибири, дипломатический корпус. Избранное офицерство — не только русское и чешское, но и союзников. Несколько представителей печати.

Красивейшие дамы высшего круга осияют вечер своими декольте, белозубыми улыбками и драгоценностями. Среди них, однако, видятся и певицы и артистки из числа тех, кто неписаными, но строжайшими законами этого круга, почти сплошь беженского, допущен в него на равной ноге. И среди них — звезда Омска, знаменитая исполнительница русских народных песен и цыганских романсов, пышногрудая, волоокая Мария Александровна Каринская, супруга полковника. Под руку с ним прохаживается по залу с привычно, по-эстрадному, откинутой головой, словно вот-вот готовая запеть.

Есть даже и поэтесса-княгиня, беженка из Петрограда, черная и худая, некая Подгоричани-Петрович. За ее титул ей прощается и то, что она печатает свои вирши в газете. Она теперь истая омичанка: в стихах с несколько странным для сибиряков названием «Пелемени» княгиня воспевает и это излюбленное сибирское угощение, и водку, и валенки, и жарко натопленную комнату, и оренбургский пуховый платок, и постель...

Даже и самое Гришину-Алмазову, столь недавно получившую первый приз за красоту вот в этой же самой зале, когда ее муж был военным министром и главнокомандующим, удостоился увидеть Сергей Шатров.

Но, признаться, она ему не понравилась: жестко-красивое лицо, обездвиженное постоянным старанием не положить на него лишнего лучика морщинки, хотя бы даже и смеха, радости; то и дело слегка обнажаемые, из-за их красивости, белые зубы; поступь крупного тела тоже какая-то жесткая, неженственная.

— Нет, Тихон Львович, я не присудил бы ей первого приза за красоту. По совести!

Капитан Гарпиев усмехнулся на эти его слова и также вполголоса ответил:

— Увы, случись этот конкурс сейчас, когда супруг ее смещен, я тоже думаю, что ей не собрать бы голосов и для получения третьего приза! Таковы люди, Шатров! — Он помолчал. И вдруг, искоса многозначительно глянув на стоявшего рядом с ним Сергея, добавил: — Впрочем, возможно, ей вскоре опять будут присуждать, и неизменно, первые награды за красоту!

И Сергей почти понял, *о чем* он.

Они стояли с капитаном Гарпиевым в укромном уголке, слегка затененные перистыми тенями высоких пальм. Пальмы эти были взяты напрокат из двух-трех богатейших гостиных, дабы как можно торжественнее и необычайнее для Омска обставить этот правительственный вечер, которому придавали особое, прямо-таки историческое значение.

Застолье еще не начиналось. Но и капитан Гарпиев, и Сергей Шатров — оба они зорко и хватко старались запечатлеть в своей памяти каждое лицо этого высокого сборища — и военное и гражданское,— если только оно включено было в список, руководствоваться которым атаман Красильников и полковник Волков приказали капитану Гарпиеву.

Разделить с ним это чрезвычайное и сугубо секретное задание он и привел сюда Сергея Шатрова. Преданный своему кумиру, юноша вознесен был на самую вершину своих потаенных мечтаний уже одним тем, что Гарпиев ничего не утаил от него. Одно сознание, что ему, Сергею Шатрову, доверено быть одним из ближайших участников готового свершиться исторического события, преисполняло его теперь мужественной гордостью и готовностью умереть.

Вот над самым ухом своим он слышит полушепот капитана Гарпиева:

— А это — Михайлов...

И слегка сжимает локоть Сергея.

Сергей знает, что запомнить лицо этого человека — одно из заданий Гарпиева. Незаметно для посторонних впивается в Михайлова взором. В глубине души испытывает разочарование. Неужели же это тот самый, ненавистно-страшный для одних и чуть не в вожди поднимаемый другими, роковой человек Сибири?!

Гладко выбритый, но с нарочно оставленными истонченными усиками до углов рта, лопоухий молодой шатен. Косой пробор справа в жиденьких волосах; здесь, ото лба, небольшая взлысина. Во фрачной паре кажется юношески стройным. Подвижен, чуть не до вертлявости. Быстрый и хваткий взгляд. И удивительная смесь в лице и простоватого и томно-блудного выражения...

— А этот вот мужичок из Парижа — Авксентьев! А это — наш Петр Васильевич!

Гарпиев глазами показывает на Вологодского.

— А это...

Но вдруг у капитана Гарпиева словно бы от волнения перехватило голос. Да и надобности нет называть Сергею это имя: оно горит у него на устах. «Да неужели мне и впрямь, не во сне, выпало счастье своими глазами увидеть этого человека легенды?! Так вот он, значит, каков, прославленный русский адмирал, самый, говорят, молодой и самый удачливый из всех адмиралов мира! Дерзновенный водитель отряда миноносцев и расстановщик мин; человек, защищавший Рижский залив от вторжения подавляющих сил немецкого флота; обезопасивший не только Балтику, но и самое столицу России. Тот, наконец, кто, будучи переброшен в самый страшный момент на Черное море, не только боем загнал неодолимых и неуловимых немецких бронированных пиратов «Гебена» и «Бреслау» обратно в Босфор, но и весь вражеский флот вместе с подводными лодками наглухо запер в нем своими минными полями.

А ведь уже не знали, что и делать: чуть ли не третья часть русского грузового флота на Черном море была пущена ко дну! Мало этого, «Гебен» и «Бреслау» держали под страхом все Кавказское побережье, делая почти невозможным снабжение Кавказской армии, громя своей грозной артиллерией беззащитные города».

Все, что читано было про этого человека, все, что слышано было и тогда, от разных людей, и теперь, от капитана Гарпиева, вспыхнуло сейчас в сердце Сергея...

«Да! — подумалось ему восторженно.— Понятно, такой человек не позволит отнять у него оружие: «Море мне дало его — море и пусть возьмет!» И кинул свою саблю в море!»

Колчак сидел за банкетным столом справа, почти на углу. Ближайшие его соседи слева еще не заняли своих мест, и адмирал сидел одиноко и молча. Он чувствовал и замечал, что многие, особенно среди женщин, откровенно пялят на него глаза, и это раздражало и тяготило его. Он опускал тяжелые, с длинными ресницами веки, и тогда изможденное лицо его принимало свинцовый оттенок.

Глаза у адмирала были очень большие, черные. И когда он их открывал, негодуя на промедление с открытием банкета: «Опять, по-видимому, ждут угодливо кого-либо из высоких гостей», то в них сверкали сердитые искры.

Сергей услыхал, как близко стоящая с ним одна из светских красавиц, залюбовавшись адмиралом, произнесла, прижимаясь плечом в ознобе восторженности к плечу своей подруги:

— Боже! Да ты посмотри: какие глазищи у него! Ты видишь? Черные лучи бьют из них!

Метнула в сторону адмирала своим ясным оком и Кира Кошанская. Не замечая ни Гарпиева, ни Сергея, красавица тоболянка с горделивою простотою, словно бы ей всю жизнь только и приходилось, что украшать собою правительственные приемы и вечера, проследовала об руку со своим отцом к ожидавшим его креслам за пиршественным столом.

И ей показалось, что адмирал явственно задержал свой взор на ней, пока она проходила недалеко от него, и что ни разу не сомкнулись его тяжелые веки с крупными ресницами, пока она проходила.

По-видимому, так оно и было, потому что и Ярославу Чеху, ведавшему *чешской* половиной охраны — непременное условие этого банкета со стороны Роговского, — тоже так показалось.

И могучее сердце чеха тяжко — и в который, который раз! — заныло от ревности.

С его старочешским, прямо-таки времен «Бабички», отношением к *девушке,* этот прямодушный великан считал Киру своей невенчанной, негласной женой. После близости с нею еще там, на Тоболе,— близости, на которую она решилась, не требуя от него никаких заверений и клятв, — Ярослав, зная, что она девственной отдалась ему, сам, вне себя от еще более возросшей в

нем страстной любви и поклонения, предложил ей венчаться. Она удивилась: «Но ведь ты — чех, как же ты можешь венчаться в нашей, православной церкви?!»

Он отвечал ей, что у него нет никаких предубеждений ни против догматов, ни против обрядов русской церкви и что еще в самом начале войны с Германией и Австро-Венгрией многие из чехословацких легионеров переходили в православие.

Его предложением и его неотступностью в этом Кира была искренне растрогана. Проявила к нему много нежности. И все же сказала, что следует подождать до конца гражданской войны в России, а тогда, если он за это время не разлюбит ее, они повенчаются и уедут с ним в Прагу. Только попросила его здесь, в этом захолустном сибирском городке, всячески охранять их тайну. Страшно огорченный, он принужден был согласиться и слово, данное ей, сдержал рыцарски.

И вот когда понял он, что если как смерть сильна любовь, то поистине безжалостнее ада ревность! Он, Ярослав Чех, не раз объявлявший своим солдатам, что самоубийца из-за любви — это дезертир самого презренного разбора, недостойный даже и погребения, теперь сам нередко думал об этом исходе.

Сколько раз видел он ее с тротуара, то в экипаже, то в автомобиле пролетавшей по главной улице, и всегда в обществе кого-либо из высших офицеров ставки.

Возбуждало его ревность и повлачившееся за нею и в Омск ее прозвище: Чешская Хризантема.

Когда бы не любил он ее так, когда бы не считал женой, то ему, как бывало прежде, до встречи с нею, лишь доставляло бы некое чувство мужской гордости, что на его спутницу при входе с нею в театр, в ресторан или в залу пиров, вроде нынешнего, устремляются с плохо скрываемым вожделением взоры мужчин, с невольной завистью — взоры женщин.

А сейчас вот даже и случайный взгляд этого русского адмирала причинил ему боль и тревогу. С глубокой горечью замечал он, что ей, по-видимому, особенно льстит внимание именно *высшего* круга мужчин — обладателей власти или же так называемого «положения в обществе». Остальные, нижестоящие, оставались как бы вне поля ее зрения.

Его идеал — строго-достойная, любящая жена; лас-

ковая, но и не балующая детей воспитательница-мать; бережливая владычица домашнего очага — был чешски прост.

Согласись Чешская Хризантема стать наконец его законной женой и уехать с ним в Прагу, он, Ярослав Чех, не вспомянул бы ей даже ее здешних измен и увлечений, если они были. Живя с нею там, на родине, он ограничил бы все свои мужские вольности лишь кружкой доброго пльзенского пива, несмотря на любое высокое положение, какое, несомненно, суждено ему занять в военной иерархии молодой республики.

Но он и заикнуться не смел о своем семейном идеале перед Кирой. Она высмеяла бы его с присущим ей злым остроумием: «Признаться, Ярик, положение *пражской* мещанки прельщает меня ничуть не больше, чем положение мещанки *омской*!» Что-нибудь в этом роде!

Напротив, мечтая с нею о предстоящей им жизни в Златой Праге, Ярослав говорил ей, что, обладая прекрасным знанием и чешского, и французского, и английского языков, будучи эстетически и музыкально образованной, да еще при ее яркой красоте, Кира займет, бесспорно, в высшем обществе Праги одно из самых высоких мест.

Не сомневался, что она станет украшением всех балов и приемов в президентском дворце в Градчанах: «Ты увидишь его, ты будешь видеть его часто — великого мужа чешского народа, нашего первого президента-освободителя!»

Говорил ей о том, что их семья состоит в родстве и дружбе с Крамаржем, председателем совета министров Чехословацкой республики. Попутно заметил, улыбнувшись, что и пан Крамарж женат на русской: на пани Абрикосовой.

Она охотно выслушивала его мечтания. Порою он видел, как ее глаза становятся неподвижными и как бы заволакиваются дымкой видений, и с затаенной радостью ждал, что сейчас вот она без сопротивления уступит его домогательствам и согласится придать их отношениям форму, требуемую обществом и законом.

Но вместо этого Кира вдруг встряхивала головой и, смеясь, говорила:

— Боже мой! Сколько у вас, у чехов, этой нашей славянской мечтательности! Вот уж никогда не думала! Прежде, когда говорили «чехи», я всегда представляла,

что вы совсем как немцы: деловиты, сухи, расчетливы... Ты не сердись на меня, Ярик! Теперь-то я понимаю, какие вы, откуда у вас Божена, Ян Коллар... Челаковский... Ян Неруда!

И — звала его тотчас же ехать в какой-нибудь «Одеон», «Гигант», «Кристалл-палас», а иногда — к цыганам: «Развеять тоску!», как частенько говорила она.

Вслух выразил свое восхищение Кирой, обращаясь к Сергею, даже и капитан Гарпиев, обычно совсем не склонный к таким откровенностям:

— А знаете, Шатров, если бы и на этом банкете вздумали присуждать призы за красоту, я не сомневаюсь, что наша с вами прелестная землячка вышла бы победительницей.

Несмотря на всю свою привычку радостно повиноваться каждому слову этого человека, Сергей нахмурился и ничего не ответил.

Одиноко и деловито прошел к своему креслу Башкин. Его место оказалось рядом с Кошанским: об этом заранее позаботился Анатолий Витальевич.

Гарпиев пошутил:

— Глядите вы: и Петр Аркадьевич здесь! Тоболяне, я вижу, буквально завоевывают Омск! — Помолчав, добавил: — Только уважаемых мною родителей ваших я, к сожалению, не вижу, Шатров!

При этих словах, захвативших его врасплох, Сергей испытал такое чувство, как если бы ему осокой резанули вдоль сердца. Лицо у него исказилось. Он бормотнул что-то невнятное. И Гарпиев, внутренне ругнув себя, понял, что он случайно затронул больное место чужой души; смолк и сделал вид, как будто и не было сказано им этих слов.

Он усиленно стал вглядываться во все новые и новые лица людского потока, вступающего в широко распахнутые двери банкетной залы...

А Сергей — тот смотрел и не видел! Вернее, он видел сейчас совсем другое: пробужденное в нем неосторожным словом Гарпиева.

Как бывает, говорят, с теми, кто тонет: что в последний будто бы миг вдруг предстает перед сознанием тонущего его минувшая жизнь в ее главнейших событиях,

образах, речах и делах, так и сейчас в сознании Сергея чередою пронеслись родные берега Тобола, и люди, и речи, и действия, начиная от раннего счастливого детства и вплоть до страшных последних слов разгневанного отца, что он собак велит натравить на него, на Сергея, если тот даже за плотинами посмеет показаться!

...Увиделась и услышалась ему и последняя встреча с матерью в городе, когда он, рассказывая ей о том, как тяжко оскорбил его отец, не выдержал и всхлипнул.

Заплакала и она.

И недоброе чувство к Арсению Тихоновичу, вместе с болью за сына, легло на старые *дрожжи* ее прежней тяжкой обиды! «Неужели я столько лет не знала, что он за человек?! Будто бы никак, при любых, самых страшных политических расхождениях нельзя было расстаться без таких чудовищных слов: «Собаками прикажу травить!» Ужасно! Как же он очерствел, ожесточился душой!»

У Ольги Александровны сгоряча мелькнула тогда мысль: немедленно ехать к нему на мельницу вместе с Сергеем, вмешаться, пристыдить мужа и помирить их. И тотчас же голос внутреннего «нельзя» остановил: вот уже сколько времени — и не столь за измену с лесничихой, сколь за его лживое молчание об этом — карает она его полным отлучием. И ведь понимает он — за что, а все-таки делает вид, будто ничего не случилось! Нет чтобы мужественно и прямо сознаться и просить о прощении!

«Жестокий, себялюбивый, ложью оберегающий свое спокойствие человек. Деспот! Да, видно, справедлива народная поговорка, что чужая душа — потемки. Но как же это непереносимо больно и страшно, когда этой вот чужой душой, этими потемками, после истинного супружества, исполненного и страстной любви, и поклонения с ее стороны, оказывается вдруг душа Арсения!»

Так подумалось Ольге Александровне, и она решила тогда, что их встреча и объяснения втроем могут лишь повести к разрыву еще более глубокому и бесповоротному, чем только что совершившийся.

Воспротивился ее вмешательству и Сергей. «Нет, нет, мама! Если это произойдет после твоего посредни-

чества, то для меня это примирение не будет иметь никакой цены. Не будь он мне отец, то такие оскорбления только *кровью* смываются! Пусть у него под влиянием этого Кедрова — вот в кого бы без всякой жалости разрядил весь свой наган! — пусть, говорю, у моего отца... вернее, *бывшего* моего отца извратились все понятия, свойственные русскому патриоту, но... я-то о них помню! Не сына он выгонял этими позорными словами — это бы еще можно было простить! — а воина, солдата русской армии, кавалера ордена святого Георгия!»

Он снова всхлипнул.

И Ольга Александровна поняла, сколь страшно, сколь непростимо оскорблен ее мальчик, ее Сереженька!

Об одном только умолчал этот Сереженька: за что именно, за какие его слова так взъярел на него отец. Теперь, перед матерью, он страшился их повторить...

...Когда в ту последнюю их встречу с матерью они оба успокоились немножко, Сергей спросил Ольгу Александровну, поправляется ли от своей раны Иржи и нельзя ли с ним повидаться?

Оказалось — нет! Пуля из верхушки левого легкого была хирургом госпиталя Ерофеевым извлечена, но рана еще не совсем благополучна. Да и много потерял крови. Но жизнь его вне опасности. Поправляется. Лучше его не тревожить! «Володю я тоже к нему не пускаю. Вредно ему волноваться».

Спросил о Никите. Он и Раиса где-то на Волжском фронте. Писал, что просился на короткую побывку, но было отказано: Войцеховский не благоволит. «Ты знаешь убеждения Никиты, его прямизну, откровенность. Считают его пацифистом, вредно действующим на боевой дух молодого офицерства!»

И еще о многом переговорили они тогда, в последний раз, с матерью!

На прощание Ольга Александровна спохватилась, что у Сергея, очевидно, нет денег, и предложила ему все, что у нее под рукою.

Он решительно отказался: денег у него достаточно, он ни в чем не нуждается, а скоро будет произведен в офицеры...

Мать поверила...

Но если бы она могла заглянуть к нему в сердце, то

увидала бы, что единственная причина его отказа — оскорбленная гордость: «Хорош был бы я, если бы после того, как дражайший мой родитель так оскорбил меня, протянул бы руку за его рублями, хотя бы и из материной руки! Сколько раз говорила она, что у нее *своих* денег нет! С голоду подохну, а ни копейки вашей, Арсений Тихонович, не приму!»

Вот почему почти в бедственном положении в ноябре тысяча девятьсот восемнадцатого года и оказался в Омске рядовой Сергей Шатров, когда встретился с капитаном Гарпиевым...

...Блистательное застолье заполнялось. И сдающий и принимающий власть — и Вологодский и Авксентьев — сидели рядом, сверхторжественные, вытянувшись и как бы нагнетаемые неким летучим газом, готовые воспарить над всеми.

Вдруг председатель «временного сибирского правительства» встал. Обрывом наступила полная тишина.

И, придерживая левой рукой лист бумаги и слегка считывая с нее затверженную заранее речь, Вологодский заговорил взволнованно:

— Господа! Вы знаете все, сколь тяжкое бремя выпало на долю «сибирского правительства»: ему досталось народное достояние разграбленное, промышленность разрушенная, железнодорожное сообщение расстроенное. Заново приходилось строить власть, заново создавать порядок в условиях непрекращающейся борьбы. Славное русское офицерство, и казачество, и самоотверженные отряды добровольцев, опираясь на братскую помощь доблестных чехов и словаков, героически боролись за освобождение страны...

Приближается конец мировой войны. Народы будут решать свои судьбы, а великая раньше Россия в этот исключительно важный момент может остаться разрозненной и заполоненной! Но без великой России не может существовать и Сибирь. А посему, в полном сознании своего долга перед родиной, «временное сибирское правительство» постановило: «В отмену декларации четвертого июля тысяча девятьсот восемнадцатого года «О государственной самостоятельности Сибири», сложить с себя верховное управление и всю полноту вла-

сти на территории Сибири передать временному правительству всероссийскому...»

Закончив, Вологодский, склонившись нарочитым поклоном перед Авксентьевым, вручил ему лист, с которого читал.

У Гарпиева вырвалось сквозь зубы:

— Старый индюк! Продал все за кресло в Директории! Михайлов же тебе не велел... Не гнул бы теперь спину!

Он сказал это вполголоса, но если бы даже и прокричал, то и тогда бы его столь непочтительных слов никто не расслышал, кроме Сергея, ибо как раз в момент символической передачи листа оркестр грянул... французский гимн!

Многие из смотревших на адмирала заметили, как в недоумении он пожал плечами: не привык Александр Васильевич ставить препоны обуревавшим его чувствам!

Правда, вслед за «Марсельезой» исполнили и «Коль славен...».

По-видимому, кто-то из распорядителей банкета решил, что поелику глава нового правительства эсер, то в качестве государственного гимна, впредь до особого постановления, подобает исполнять «Марсельезу». Но это маленькое недоразумение тотчас же забылось.

А когда Авксентьев и Вологодский, обхватывая за плечи друг друга, изображали вслед за тем троекратное русское лобзание, то звонкая медь оркестра грянула попросту туш: на банкетах он всегда кстати!

Авксентьев отвечал Вологодскому короткой цветистой речью с признанием государственных заслуг «сибирского правительства».

А затем пошли и пошли подъятия бокалов шампанского со здравиями и тостами, покрываемыми разноголосыми, на разных языках возгласами «ура!» и воплями оркестровой меди!

Запомнился многим один из тостов уже изрядно захмелевшего Авксентьева. Поклонившись в сторону адмирала, а затем поводя бокалом шампанского и обращаясь ко всем, он звонко выкрикнул:

— Господа! Я предлагаю выпить за наше блестящее прошлое и, надеюсь, ближайшее наше будущее — адмирала Колчака!

В роковую омскую ночь, с воскресенья на понедельник, семнадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года, редко кто из прохожих мог пройти по улицам безопасно, не будучи остановлен разъездом или дозором — через устрашающий окрик: «Стой, кто идет?» — окрик, вызывающий оторопь испуга даже и у заведомо ни в чем не повинного обывателя.

И только тот, кто спокойно, вполголоса произносил слово «Ермак», избавляем был от проверки документов и мог идти дальше — до встречи со следующим дозором или разъездом.

Министр снабжения Серебренников, пожилой, дородный и домовитый человек, в эту ночь поздно возвращался из гостей, в легком подпитии, к себе, в гостиницу «Россия».

На Атаманской возле кадетского корпуса его остановил патруль с унтер-офицером во главе. Просмотрев под фонарем документы, объявили, что он арестован.

— По какому случаю? Я — министр!

— Ну вот за это самое: сегодня приказано забрать всю *траекторию!* Иди, иди, не шаперься!

— Но при чем же здесь я? Я же совсем не член Директории!

На его счастье, мимо проезжал небольшой казачий отряд. Старший обхода подбежал к его командиру и доложил.

Тот закричал на него:

— Что вы делаете? Немедленно освободить!

Подъехал, и оказалось, что это давний добрый знакомый Серебренникова, войсковой старшина Поротиков. Извинился. И на всякий случай осведомил, что если еще остановят, то пропуск: «Ермак».

— В чем же дело? Что происходит?

— Должна быть арестована Директория. Вернее, Авксентьев и Зензинов. Ее больше не будет.

— Кто же будет во главе власти?

— Адмирал Колчак...

От авксентьевского тоста и двух недель не прошло!

...Свое особое боевое задание этой ночи Сергей Шатров приготовился выполнить истово, не щадя жизни. Нисколько не сомневаясь в этом, капитан Гарпиев и доверил ему чуть ли не самое опасное и ответственное: обезоружить дружинников Роговского, составлявших

внешнюю, весьма усиленную на эту ночь, охрану дома бывшей гимназии, где обитал он и где сейчас, далеко за полночь, допировывали помимо самого хозяина и Авксентьев, и Зензинов, и дальние — из Архангельска — гости-эсеры, и гость поближе, из Екатеринбурга, один из виднейших правых эсеров, Гендельман, еще недавно яростно помогавший сколачивать в Уфе Директорию, а сейчас прибывший допрашивать ее: почему она столь медленно «обволакивает» упрямых и вероломных министров бывшего «сибирского правительства»? Почему Авксентьев почти полняком включил их в свой кабинет? Почему, не спросясь ЦК эсеров и съезда Учредительного собрания, он, угрожая реакции, съездил в Томск и распустил Сибирскую областную думу? И, наконец, почему дает поблажку и потачку распоясавшейся омской военщине?

На все четыре штыковых вопроса грозного посланца ЦК партии и бюро съезда членов Учредительного собрания и должны были на этой встрече ответить Авксентьев и Зензинов.

«Отвечать» начали еще вечером, на обеде у министра юстиции, правого эсера Старынкевича, и таки изрядно «наотвечались»!

Вдруг из-за обеденного стола вызывают Старынкевича в переднюю, и там, не называя себя, некий офицер, под условием сохранения в полной тайне его прихода, закрывая лицо поднятым воротником шинели и глубоко надвинутой папахой, уведомляет, что сегодня ночью будут арестованы «министры-социалисты». Так он и выразился.

Отдал честь и выбежал вон, прежде чем успел опомниться Старынкевич.

Он, недоумевая, рассказал обо всем своим гостям.

Посмеялись: «Разыгрывают!» — и продолжали «веселую застольную беседушку».

На всякий случай Роговский предложил и беседу и «пированьице» перенести в его резиденцию. Он жил в каменном большом здании бывшей гимназии, переименованном в Дом государственной охраны.

Роговский носил теперь титул: товарищ министра внутренних дел по ведомству государственной охраны.

— Для безопасности, господа, перейдем-ка ко мне! Правда, для меня вся эта мышиная возня наших «ом-

ских мексиканцев» — как на ладони! И не боюсь я их нисколько, но... У меня спокойнее побеседуем!

Евгений Францевич гордился своими тремя сотнями боевиков. Он сам их отбирал. Тешил и холил. Слух о «прапорщиках» Роговского, о его «бело-синих» (по цвету формы), широко распространился по Омску. Это делалось нарочно, но и впрямь среди них было немало отважных парней, беззаветно преданных своему эсеровскому руководству. Каждый был вооружен винтовкой и гранатой.

Знал об этом и Сергей. Вот почему, ведя свою полуроту окружать здание «государственной охраны», он ожидал яростного кровопролития и принял все меры скрытого подхода. Люди его были все в полушубках и валенках: это — чтобы, несмотря на мороз, сколько угодно можно было выжидать, а кроме того, валенки обеспечивали бесшумность.

Он разделил свой отряд на два крыла, приказав отделённым держать людей в тени ближайших зданий. Под страхом расстрела запретил курить, переговариваться и переходить без разрешения звеньевого на другое место.

Сам из-под навеса парадного взял под наблюдение Дом государственной охраны.

Перед домом прохаживались по двое невоенной походкой боевики Роговского. Без винтовок: очевидно, чтобы не привлекать внимания. Покуривали. При вспышке папирос успел разглядеть Сергей на поясе одного из них гранату и маузер, у другого — гранату и наган. Их было по всей длине здания четыре четы. Иногда они останавливались и сходились вместе, беседовали о чем-то. Потом вновь расходились. Исчезали за углом здания. Обуты были в сапоги и потому время от времени заходили в парадное отогреть ноги.

Такое поведение охраны весьма ободрило Сергея. Он стал высматривать командира. И скоро у него не осталось сомнения, что им является молодой мужчина в серой смушковой офицерской папахе и офицерской бекеше, который время от времени выходил из парадного, закуривал папиросу, стоя у подъезда, и наблюдал. И его лицо при вспышке папиросы Сергей тоже успел рассмотреть.

Решение пришло!

Выждав, когда охранники разошлись на оба торцовых конца длинного здания, он решительным, быстрым и нарочно спокойным шагом пересек пространство, отделявшее его от начальника охраны, и успел чуть не вплотную приблизиться к нему.

Сперва, по-видимому растерявшись, тот спохватился и выкрикнул грозно, но совсем не по-военному:

— Назад! Кто вы такой?

И рука его явственно потянулась к свистку на груди и уже выхватила его из кожаного гнезда и поднесла ко рту.

Играя на ледяном и угрожающем спокойствии, как, бывало, делывал Гарпиев, Сергей произнес густым голосом:

— Отставить! А иначе *досвистывать* будете на том свете!

И рука начальника охраны, как перешибленная, повисла.

Сергей счел нужным добавить:

— Не валяйте дурака. Здание окружено. Вы — под пулеметами. Со мной — две роты. Не затевайте напрасного кровопролития. А если вы офицер, то ваш долг помочь нам: я — из отряда полковника Волкова, начальника гарнизона. Извольте сейчас же созвать своих и прикажите им сложить оружие. Все будут отпущены по домам. Желающие могут быть приняты на службу. Все! Действуйте!

Начальник охраны безоговорочно и с необычайною быстротою исполнил приказание Сергея. Сине-белые Роговского сдались без выстрела!

Обезоружив и отпустив, как приказано было, охранников Директории, застигнутых и на улице, и в караульных помещениях, и в казарме нижнего этажа, Сергей со своими солдатами вышел.

В это время к подъезду подскакал казачий отряд — конвой. Предводителя их, офицера в фуражке и в башлыке, прикрывавшем затылок, Сергей узнал сразу: это был адъютант самого Красильникова, фон Герке. Трудно было его не узнать: лицо его было похоже на удлиненный череп в пенсне, с наклеенными короткими усами. В его непосредственном подчинении действовал в эту ночь Сергей Шатров.

Сергей подошел к нему для рапорта. Вытянулся. Отдал честь, доложил обстановку.

Герке, довольный, рассмеялся хриплым смехом, наклонился с седла и похлопал Сергея по плечу. Пахнуло водочным перегаром.

— Молодец, Шатров! Стало быть, подкрепления вам не понадобилось. А теперь передайте свой отряд по команде: вы пойдете со мной.

— Слушаюсь!

...Ударом ноги дверь передней была сорвана с затвора. Фон Герке, Сергей и трое казаков из отряда Красильникова ворвались в столовую, где заканчивал свой последний в Омске ужин с друзьями глава «всероссийского временного правительства» Николай Дмитриевич Авксентьев.

Направленные на ошарашенное застолье дула револьверов и неизбежное: «Руки вверх!»

Подняли. Все были без пиджаков, кроме Роговского и Гендельмана.

Авксентьев был прерван на полуслове. Ораторствовал. Сергей смотрел на него с любопытством. Авксентьев был в одной жилетке, из-под которой пышно и красиво выбивался под курчавую бородку «а ля мужик» искусно повязанный черный галстук. Сверкающей белизны рукава рубашки теперь казались поднятыми над головой белыми крылышками, на которых он силился улететь из рокового застолья.

Однако он первый из всех опомнился, обрел чувство собственного достоинства, и, когда Герке крикнул грубо: «Кто здесь Авксентьев?!» — председатель Директории опустил руки, сурово взглянул на него и ответил:

— Я — Авксентьев. И офицеру русской армии подобает знать, как надлежит ему держаться перед главой своего правительства! Кто вы такой?

Герке ответил глумливо:

— Но, но! Много хотите знать! Вы арестованы. Одевайтесь! — Обвел глазами застолье и, указав пальцем поочередно на Зензинова и Роговского, добавил: — И вы! И вы! Поедете с нами!

Авксентьев громко, чтобы слышали и вторгшиеся, спросил у Роговского номер телефона верховного главнокомандующего. Тот назвал. Но когда Авксентьев стал накручивать ручку телефонного ящика, Герке ударил

главу правительства по руке и разразился чудовищной руганью. Затем снова приказал троим немедленно одеваться и выходить на улицу.

— Остальные могут отправляться к чертовой бабушке! Ваш черед после!

Приказал казакам пройти с арестованными в переднюю и помочь одеться.

Те повиновались.

Герке, весело подмигнув Сергею, шагнул к столу, налил себе в стакан водки, выпил и закусил.

— Не теряйтесь, Шатров! Дел еще сегодня до черта!

Затем окрикнул своих казаков:

— Ну что — готовы?

— Так точно, ваше высокоблагородие! Только вот им калошки дотопнуть осталось! И сейчас мы господ выводим.

...На улице, окруженный всадниками, тарахтел грузовик.

Поторапливая ругательствами, стали усаживать в него арестованных.

Задерживал всех Авксентьев: он был в тяжелом пальто, никак не мог подтянуться для перевала через борт и несколько раз сорвался.

Казаки похохатывали.

По какому-то безотчетному движению души Сергей легким ударом приклада сбил бортовые затворы, и вся боковина грузовика отпахнулась, так что теперь уже ничего не стоило влезть в грузовик. Вдобавок, когда Авксентьев влезал, Сергей помог ему, подтолкнув снизу.

В ответ он услыхал совсем неожиданное и долго ему вспоминавшееся:

— Мерси!

Сперва их отвезли в штаб Красильникова. Здесь к ним присоединили и Аргунова, схваченного у себя на дому. Ожидая дальнейших приказаний атамана, который тем временем сносился по телефону с высшими офицерами ставки и с Михайловым, с полчаса продержали членов Директории в грузовике: «Выпускать только по нужде!»

Сергея позвали к атаману. У него сидел капитан Гарпиев. Сидел — как гость, как близкий. Перед графином

водки и хрустальной вазой с солеными огурцами. Фон Герке, по-видимому только что отрапортовавший, стоял.

При входе Сергея, как только он закончил свое положенное по уставу приветствие, Красильников — бородач-великан в распахнутом кителе и красных, плохо подтянутых гусарских чикчирах — взревел приветственно, расставив ручищи и пошатнувшись шагнул к Сергею и облапил его так, что у него косточки захрустели.

При первом взгляде на лицо и бороду великана Сергей ощутил даже мгновение мистического ужаса: уж не Панкратий ли Сычов восстал из гроба? До того разительное было сходство. Особенно в ревущем басе и в бородище, черной и размером с противень.

Облобызав Сергея мокрыми, водкой пахнущими усищами, атаман прорычал:

— Итак, значит, взял их без пролития крови... Как петухов с насеста? Здорово! Молодчина! Приму в свой отряд!

Поворотился к столу, налил стопку водки, выхватил пальцами огурец и то и другое поднес Сергею.

Пришлось поблагодарить и принять...

И вдруг, непрошеная, ворвалась мысль: «А что отец сказал бы, если бы увидел меня сейчас?» Но он тотчас же усилием воли затоптал ее, эту мысль, как затаптывают брошенный наземь окурок...

Атаман приказал Герке и Сергею доставить арестованное правительство к нему, в загородные казармы. Красильниковцы занимали половину здания сельскохозяйственной школы. Другая половина отдана была госпиталю американского Красного Креста.

Грузовик несся по заснеженной березовой роще. Давно ли, всего лишь в конце сентября, здесь застрелен был адъютантом Волкова Новоселов! Давно ли Аргунов, как чрезвычайный следователь Директории, обследовал место убийства — и вот сам трясется в смертном грузовике через эту страшную рощу вместе с главою Директории, с его заместителем и с министром государственной охраны! «Вероятно, здесь же нас и прикончат!» И, охваченные ожиданием скорой и насильственной смерти, они, все четверо — Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский, — как только замедлился ход

грузовика, молча, украдкой, чтобы не помешали конвоиры, потрогали друг друга руками, прощаясь навеки, и даже поцеловали один другого, но как пришлось: не обязательно в лицо, а и в плечо, руку да и просто в заиндевелый рукав пальто...

Пряча озябшие руки в сомкнутые рукава, Авксентьев предавался безотрадным думам! Да! Ради такого бесславного конца стоило ли после разгона Учредительного собрания убегать из Советской России, два месяца через Верхотурье прокрадываться под видом крестьянина-зверовщика, сквозь дебри Северного Урала — на восток, на восток, к «своим», дабы поднять знамя борьбы за «демократию, за Учредительное собрание», против большевиков, «попирающих ногами демократические принципы»? А ведь так, именно так честил он их совсем недавно, когда коленопреклонно молил Соединенные Штаты помочь ему свергнуть советскую власть, холуйски именуя Вильсона «апостолом мира и братства».

«Стоило ли?»

И самое горестное заключается в том, что на ужас их смерти от пули или же от шашки этих двуногих скотов, если вздумают зарубить, ляжет в людской памяти налет чего-то и смешного и жалкого: ведь это же он, Авксентьев, упросил Колчака задержаться в Омске и принять пост военного министра; это он, Авксентьев, и всего лишь *вчера*, когда адмирал вернулся с фронта и заявил, что он подает в отставку, побежал к нему — глава правительства! — и стал упрашивать остаться. И недавний его глупейший, восторженный тост за Колчака: «За ближайшее наше будущее!»

А теперь этот подлый и вероломный честолюбец приказал вывезти их, как падаль, за город, на свалку, «в назьмы», как принято говорить здесь, в Сибири!

Вот оно каково оказалось, «наше ближайшее будущее»! Сейчас его, Николая Авксентьева, убьют. Но разве раньше его физической смерти не убито его политическое имя: теперь и оно навеки будет на мусорной свалке истории. «А ведь какая занималась заря!»

И Авксентьев тяжело застонал...

Но их не убили. Правда, более суток их подвергали не только всяческому глумлению, о котором даже и

после, высланные за границу, они стеснялись рассказывать, но и пытке непрестанного ожидания насильственной смерти. Однако во вторник утром к ним в загородные казармы, в сопровождении того же Герке, явился министр Старынкевич, тот самый, у которого они обедали в тот злополучный день, но который уклонился от ужина с ними у Роговского. Старынкевич заявил, что он послан по повелению адмирала Колчака, ныне верховного правителя и верховного главнокомандующего, с тем чтобы освободить их. Сообщил, что и адмирал, и совет министров хотя и считают невозможным после всего происшедшего возвращение Директории к власти, но признают преступным деянием ее арест, а посему главные преступники, виновники переворота восемнадцатого ноября, полковник Волков и войсковые старшины казачьих войск Красильников и Катанаев, будут незамедлительно преданы чрезвычайному суду и понесут строжайшее наказание.

Суд этот и впрямь состоялся вскоре, и действительно по приказу самого Колчака; однако, опережая это судилище, и повелением того же Колчака, по военному министерству, с грифом «Секретно», девятнадцатого ноября, то есть на другой же день после «преступного деяния», издан был такой акт:

«Секретно

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
И ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ В ОМСКЕ
Ноября 19-го дня 1918 года
отдал следующий

Приказ:

Производится за выдающиеся боевые отличия, со старшинством, из полковников в *генерал-майоры*

ВОЛКОВ.

По казачьим войскам:
из войсковых старшин в *полковники*

КРАСИЛЬНИКОВ И КАТАНАЕВ.

Все три — с 19 ноября 1918 года.
Подписал: Временно Управляющий Военным Министерством генерал-майор Сурин».

Подобным же секретным приказом, среди прочих свершителей «преступного деяния», были произведены: в полковники — Гарпиев и в поручики — Сергей Шатров.

Когда схлынула немного у Сергея оглушенность радостью, он, засомневавшись вдруг, сказал Гарпиеву наедине:

— Тихон Львович, а это не ошибка? Я же еще и прапорщиком не был, а вдруг сразу — поручик!

Гарпиев, благодушно посмеявшись над его наивностью, назидательно пояснил:

— Во-первых, Шатров, прапорщиком вы уже фактически были, только что производство, в силу гнусной нашей волокиты в канцеляриях, как всегда, затянулось. Во-вторых, прапорщик — это уже отживший чин, разве что для поощрения боевого унтер-офицера. Теперь у нас из юнкерского и то будут сразу производить в подпоручики. То же самое и с моим производством: в подполковники я давно уже был представлен, еще на большой войне. И затем — в-третьих, не будьте вы столь щепетильным, Шатров. Не по времени! Смотрите, как чешские офицеры сигают: сегодня какой-нибудь там Чечек, Гайда или Сыровый всего лишь навсего поручик или капитан, а завтра, глядишь, уже и генерал-майор, генерал-лейтенант! И ничего: приемлют, как должное! Не моргнув!

И закончил напутствием:

— Так что отправляйтесь, Шатров, в наш магазин Офицерско-экономического общества и со спокойной совестью приобретайте золотые, с одним просветом и тремя звездочками. А позовете обмыть — не откажусь!

И Сергей помчался.

Пробежав деревянный мост через Омку и подымаясь по Люблинскому мимо магазина Шаниной, он увидел теснящуюся толпу горожан перед наклеенной на угловой витрине здания листовкой. Втолкнулся в толпу и, привстав на цыпочки, радуясь и умиляясь, стал читать.

По старой орфографии и со всеми «ятями» и твердыми знаками, крупными, «уличными», буквами было напечатано:

«Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу *Александру Колчаку*.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности.

Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак.
18 ноября 1918 года. Город Омск».

Вскоре *полковнику* Гарпиеву и *поручику* Шатрову было через коменданта города сообщено, что их вызывают для представления верховному правителю и верховному главнокомандующему адмиралу Колчаку.

В назначенное воскресенье, в час дня, они оба вступили в цельнооконный особняк на обрывистом берегу Иртыша. Улочка перед домом была, в сущности, набережной. Из его окон открывался дальний берег богатырской реки и необозримая, пустынная снеговина степей.

Дежурный адъютант провел их почему-то не в приемную, а в обширный зал совещаний, судя по длинному, под малиновым сукном, столу, обставленному стульями. Здесь он их оставил, попросив сесть на кресла возле стены, и пошел доложить.

Они, однако, не сели, а предпочли, стоя у огромных окон, любоваться равниною Иртыша, ожидая, когда их позовут.

Вдруг Сергей резко подался к самому стеклу: мимо особняка медленно проходила за руку с малышом в шубке, наклоняясь к нему, Елена Федоровна Куриленкова. Лесничиха. Сомнений быть не могло: он узнал ее сразу.

В этот миг то событие, в котором он видел яркую, внезапно вспыхнувшую звезду своей судьбы, — и этот вызов, и пребывание в этом особняке — показалось ему злым и неодолимым препятствием: не выскочишь же, в самом деле, как сумасшедший из дворца верховного правителя, чтобы догнать проходящую на улице женщину — и помыслить об этом нельзя! А когда так, то, может быть, он больше никогда ее и не увидит: возможно, она здесь проездом или живет без прописки, как многие и многие из беженцев.

Внезапно распахнулась высокая, бронзой отделанная дверь, и адмирал сам вышел к ним — походкой почти стремительной.

Мгновенно повернувшись к нему и вытянувшись, они ожидали его приближения и его первых слов.

Сегодня его внешний вид, пожалуй, и разочаровал обоих: Колчак был не в адмиральской, а, по существу, в солдатской пехотной форме, только что с генеральскими погонами, и даже не в кителе, а в гимнастерке, возможно, потому, что в комнатах было жарко. Слева на груди виден был георгиевский крестик. Сапоги были простые, чуть ли не солдатского покроя, излишне просторные в голенищах и даже как-то не идущие к зеркально навощенному паркету, по которому ступали.

В пехотной форме он выглядел суше и мельче. И несоразмерно крупной казалась голова с тщательно прилизанными бриллиантином на боковой пробор темными, редеющими волосами.

Откуда было им знать, что сам адмирал мучался этой необходимостью появляться в неприсущей ему сухопутной форме, сознавал, что он много проигрывает в ней, но считал это неизбежной жертвой, уверенный почему-то, что в таком одеянии он будет милее и войскам и народу.

Зато истинным праздником теперь стало для него, когда он считал возможным или даже должным, как, например, при встрече с представителями иностранных держав или на банкетах, вновь облачаться в столь привычную, как бы сросшуюся с его существом форму высшего водителя флота.

Появлялся он уже с погонами полного адмирала. Его не смущало и то, что совет министров, который немедленно вслед за переворотом восемнадцатого ноября обнародовал в тот же день указ, что «*вице*-адмирал» Колчак «производится в адмиралы», — в сущности, не имел на то никакого права, по законоположениям русского флота.

«Верховный», как привыкало уже между собою называть его офицерство, подойдя к Гарпиеву и Сергею и сказав: «Здравствуйте, господа офицеры!» — пожал и тому и другому руку.

Голос адмирала был глуховат.

— А что же вы не садитесь? Прошу вас! — И повел рукою на стулья возле стола заседаний. Затем — улыбнувшись: — А! Любовались Иртышом? Да, он стоит того! Это и у меня любимый уголок — возле окна, когда вырвется минутка отдыха. Жду не дождусь весны, когда этот богатырь вскроется! Что ж, давайте побеседуем здесь.

Но возле огромного окна стояло лишь одно кресло.

Сергей порывнулся было принести стул, но Гарпиев подал ему безмолвный знак, что этого делать не следует. И впрямь: вероятно, подслушивающий и подсматривающий в неплотно прикрытую дверь младший военный чиновник, нечто вроде начхоза при особняке Колчака, тотчас же вслед за его словами вошел в залу в сопровождении солдата из конвоя:

— Звали, ваше высокопревосходительство?

— Нет, не звал. Но — кстати.

И адмирал показал движением руки, что следует еще два кресла поставить перед окнами на Иртыш. Поставлен был и круглый столик с пепельницей на нем.

Когда все было исполнено и военный чиновник с конвойцем удалились, адмирал вновь пригласил обоих офицеров садиться.

И только после них сел и сам.

Раскрыл серебряный портсигар:

— Закуривайте, господа!

Оба — и Гарпиев и Сергей — поблагодарили, сказали, что не курят.

Адмирал закурил с наслаждением. Откинулся в кресле. Пустил дымок через ноздри тонкого, высокого носа и сказал с улыбкой:

— Боюсь, что вы единственные у меня в армии. Следовало бы бросить и мне: ведь я же еще в Порт-Артуре перенес тяжелейшее воспаление легких. Но...

И, не договорив, слегка развел руками.

Гарпиев и Сергей почтительно безмолвствовали.

Вдруг адмирал отложил недокуренную папиросу на край пепельницы, выпрямился и сказал:

— Господа, я буду краток. Я достаточно наслышан о вас, и с наилучшей стороны. Но и это одно было бы достаточной рекомендацией! — Он слегка повел рукою на георгиевские крестики обоих офицеров и продолжал: — Сейчас, как никогда, мне необходимо иметь

в своем ближайшем окружении преданных мне людей отваги и чести. Вот здесь, в этом доме! Хотели бы вы пойти ко мне?

От столь прямого и внезапного вопроса даже Гарпиев и тот растерялся. А у Сергея был момент полуобморока.

Склонив голову, полковник Гарпиев сказал, не скрывая своего волнения:

— Ваше высокопревосходительство! Мы не находим слов... Слишком высокая и незаслуженная честь! Простите меня, если я одно только осмелюсь спросить: какое назначение предполагается дать моим, слабым, и поручика Шатрова способностям и силам?

Адмирал снисходительно и важно кивнул головой и отвечал, выделяя в особенности свой новый титул:

— Вполне законный вопрос. Вам, полковник Гарпиев, я предлагаю быть помощником и заместителем генерала Попова, начальника охраны верховного правителя и верховного главнокомандующего. А вам, поручик Шатров, — вам вступить в число моих адъютантов.

Истый царских времен моряк из числа высокостоящих, адмирал, избалованный боевыми успехами на море, привыкший, чтобы все было по его, не терпящий противоречий, — Колчак и в его новом звании вскоре заставил говорить весь Омск о своих припадках начальственного неистовства, когда он в гневе ломал свои телефоны, расшвыривал и разбивал предметы на письменном столе, смахивал стакан с чаем, кромсал перочинным ножом подлокотники своего кресла или орал на весь особняк, извергая столь чудовищную, замысловатую, «морскую» ругань, что, случалось, иной робкого десятка «сухопутный» министр или генерал предпочитали удалиться тихонечко из приемной, упрося дежурного адъютанта или управляющего делами перенести доклад на другое время.

Однако ближайшее, домашнее, так сказать, окружение адмирала: адъютанты, управляющий делами, начальник личной канцелярии и даже начхоз — военный чиновник, именовавшийся в шутку «гофмаршал», — те сохраняли в таких случаях полное спокойствие, не за-

бывая, конечно, ускорить свой деловой бег. Перекинувшись взглядом, бросали один другому всем понятное коротенькое словечко: *«Заштормовал!»*

Им известно было, что это слишком скоро стихающий шторм. Если только злополучный докладчик проявлял стойкость духа и находил убедительный, ловкий довод, то вслед за тем адмирал сменял гнев на милость, не знал, чем загладить обиду, и нередко подписывал подсунутую ему бумагу, которую только что обзывал нелепой или преступной затеей.

Сколько раз, когда военный контроль вскрывал несомненные хищения кого-либо из больших интендантов, из кабинета верховного правителя и верховного главнокомандующего неслись гневные вопли, сопровождаемые топанием ног: «Расстрелять! Повесить! Дайте мне этого мерзавца сюда! Немедленно!» Но вот адмирал «опадал», кто-нибудь из ближайших к нему заступников изобличенного хищника указывал адмиралу, что преступник принадлежит, к сожалению, к числу офицеров генерального штаба и что если казнить его за воровство, за хищение, то этим будет оскорблена в своем достоинстве и вся корпорация офицеров генштаба, — и адмирал, стихнув, отменял уже сделанное распоряжение о предании виновного военно-полевому суду.

Очень скоро эти особенности его темперамента заставили одних из его окружения произнести над ним иронический, но еще не злой приговор: «Ну что ж, типичный адмирал!» А другие, со слов личных врачей адмирала, передавали на ушко один другому: «Истерик и эпилептоид!»

Он способен был своим гневом потрясти, ужаснуть, но *последствий* этого гнева очень скоро привыкли не бояться.

Среди житейских морских традиций адмирала была, однако, и столь почтенная, как радушнейшее гостеприимство. И особенно по отношению к тем, кто пришелся ему по душе.

Внезапно адмирал встал:

— Ну что ж, господа офицеры, — *адмиральский час!* Прошу откушать моей хлеба-соли!

Прежде чем пройти к столу, он решил познакомить офицеров со всеми комнатами особняка.

— Хочу, господа, показать вам весь свой дом, тем более что отныне он будет и *вашим* домом. Для вас в нем нет и не должно быть *тайных* углов!

Адмирал произнес это с намеком, легко понятым обоими: полковнику Гарпиеву надлежало знать расположение всех комнат дома и назначение каждой по предстоящим ему обязанностям по охране, а поручику Шатрову — по обязанностям адъютантской службы.

А больших, *главных,* комнат и всего-то было пять: зал заседаний; кабинет адмирала — небольшая комната с письменным столом, на котором слева стоял ящик телефона, с креслами, койкой и шкафом красного дерева; затем две приемные и, наконец, столовая, в которую они сейчас и вступили.

Но, по-видимому, адмиралу хотелось, в сущности, похвалиться перед гостями своим новым и таким роскошно-уютным обиталищем, потому что он воскликнул, показывая им комнаты:

— С бою достался мне этот особнячок! Министерство снабжения никак не хотело выезжать!

В должности хозяйки застолья был тот же чиновник военного ведомства: разливал суп, раскладывал по тарелкам жаркое. Наливал коньяк.

Адмирал пошутил со вздохом:

— Да! Таковы обстоятельства: он у меня за все — и хозяюшка за столом, и гофмаршал!

Молодой и расторопный чиновник смущенно улыбался, но прекрасно исполнял свое дело.

После третьей рюмки коньяку адмирал стал разговорчив. В застольной беседе трудно было отыскать человека, равного ему в искусстве занимать своих гостей. Тут он прямо-таки преображался. И невозможно было его не заслушаться. Еще будучи капитаном первого ранга, он всегда был душою кают-компаний крейсеров и миноносцев, и его слушали, как Шахразаду, когда он, бывало, начинал рассказывать о своих плаваниях во льдах у Ново-Сибирских островов с бароном Толем; о том, как разыскал он потом в царстве льдов и смерти дневники и записки погибшего; или о своих встречах и дружбе с адмиралом Макаровым; о работе у Нансена по магнитологии; о защите Порт-Артура; о своем плене в Японии и о многом другом. А теперь, когда позади, за плечами, было у него и боевое флотовождение на

двух морях, и трагический уход из Черного моря; а встречи — и с императором, и с Николаем Николаевичем, и с генералом Радко-Дмитриевым, и с Керенским, и с верховным адмиралом английского флота Джелико, и двухнедельное участие в маневрах американского флота, и аудиенция у президента Вильсона, — теперь любой из его рассказов захватывал его собеседников.

Так произошло и с обоими офицерами.

Но хлебосольный и разговорчивый хозяин умел и расспрашивать и слушать.

Зашел разговор о чехословаках.

Адмирал высказался о них злобно:

— Не говорите мне об этих иржиках! Роковое их вмешательство в наши дела. Лучше бы его не было. Возврата их на фронт мы не дождемся! Скорее бы их скачать, пока они нам большой беды не наделали! Обольшевичились! И — полный упадок боевого духа и дисциплины. Скоро своих офицеров начнут стрелять!

Полковник Гарпиев позволил себе заметить, что его боевая работа плечом к плечу с чехами оставила в нем самые отрадные воспоминания. И что не думает ли его высокопревосходительство о возможности отколоть от чехословацкого корпуса хотя бы десять — пятнадцать тысяч храбрейших добровольцев, предоставив им любые, самые льготные условия? Это было бы сейчас прямо-таки спасением для Поволжского фронта!

Колчак горестно и безнадежно усмехнулся:

— Нет, не думаю! Да и не от Сырового, и не от Павлу это зависит. Скоро к нам прибывает сюда, в Омск, из Парижа их первый военный министр Милан Штéфаник вместе с его высшим начальством — генералом Жаненом, — я его знавал, когда представлялся покойному государю в ставке: Жанен был тогда военным атташе французского правительства у нас. Вот от них и зависит, будут ли еще нам помогать чехи.

Помолчав, добавил:

— Конечно, в чехословацком корпусе еще осталось немало людей, искренне любящих Россию, людей отваги и долга. Но вспомните гибель Швéца! Есть, есть и теперь сильные духом воины среди их офицерства, не спорю. Возьмите хотя бы таких, как Гайда, Кáдлец, Мéдек, Жяк, Прхал — начальник Третьей дивизии. Эти

всячески бьются над тем, чтобы вернуть чехов на фронт, восстановить воинскую дисциплину, но...

Сардонически усмехнулся:

— Но знаете, что мне откровенно сказал этот Прхал? Если, говорит, половину нашего не в меру разбухшего корпуса снова загнать за колючую проволоку лагеря для военнопленных, тех именно загнать, которых мы навербовали в последние месяцы в Сибири, то другая половина снова станет боеспособной!

О многом было переговорено за обедом!

Коснулся он даже и своего семейного положения:

— Да! Эта проклятая гражданская война лишила меня и семьи! То есть я могу еще верить, что жена и мальчик мой... Ростислав... девять лет ему...

Тут голос адмирала дрогнул, и крупная слеза выкатилась из глаз и увлажнила резкую носогубную борозду, старившую его лицо и придававшую какое-то горькое и странное выражение его рту.

Досадуя, он тряхнул слегка головою, отер салфеткой слезную влагу и договорил уже спокойнее:

— Когда я послан был, еще при Керенском, в Америку во главе нашей русской морской миссии, они у меня — и Софья Федоровна, и мальчик мой — оставались в Севастополе... Я жду известий о них... Но всего могу ожидать! В особенности если севастопольская чрезвычайка дозналась, *чья* это семья!

У адмирала была привычка говорить фразами краткими, отрывистыми и точными.

— Вы — герой фронта, полковник, что нужно? Откровенно!

Гарпиев, слегка поклонившись, ответил, и сам невольно подражая манере адмирала:

— Взводный командир. Унтер-офицер, ваше высокопревосходительство!

— Понял. Что же — их мало?

— Да. А главное: *им* — мало! Положение нашего унтер-офицера жалчайшее! А между тем удачна бывает лишь та атака, где хороши унтер-офицеры, взводные и отделённые командиры. Костяк. Душа и казармы и атаки! Воспитатель и предводитель!

— Что же вы предлагаете?

— Облегчить и ускорить производство из унтер-офицеров и вахмистров в первый офицерский чин!

Колчак слушал со все возрастающим вниманием.

— Так, так. Продолжайте, полковник. Как вам легко понять, я до сих пор, по роду моей боевой службы, слишком мало уделял внимания сухопутным войскам. А у красных, у большевиков?

— Об этом я и хотел сказать вам, ваше высокопревосходительство. У большевиков унтер-офицеру или же вахмистру открыт полный простор. Будучи прекрасными знатоками уставов — назубок! — обладая боевым опытом, они в Красной Армии скоро становятся крепкими командирами полков, дивизий и... более крупных соединений. И справляются неплохо, как мы видим!

Последние слова полковника прозвучали горестной шуткой, и Гарпиев поспешил сделать оговорку:

— Правда, под рукой у него в этих случаях отличный начальник штаба, с академическим значком...

И Колчак при этих его словах закипел:

— Да, да! И это ужасно! Преступно! Вы знаете, сколько офицеров, окончивших Академию генерального штаба, служит у большевиков, в Красной Армии?

И — не дождавшись ответа:

— Четыреста пятьдесят человек!

И отбросил салфетку.

Помолчав и успокоившись немного, произнес четким и жестким голосом:

— Ну ничего: каждому из них суд чести и суд военный воздаст по заслугам! И если коммунистов, комиссаров, захваченных в плен, я приказал расстреливать на месте, неукоснительно и беспощадно, то в отношении господ офицеров, загнанных в Красную Армию страхом ли, нуждою ли, или убеждениями — это безразлично, — я подтвердил приказ Иванова-Ринова: если не расстрел, то разжалование в рядовые; военно-каторжная тюрьма; лагерь, с возложением на них самых тяжких и грязных работ. И лишь отдельным из них, захотевшим кровью своей на поле брани искупить свою вину и проявившим доблесть,— производство в первый офицерский чин, по представлению начальства!

Произнесши эти слова, адмирал долго метал молнии своими черными глазищами и гневно сводил высокие

дуги тонких бровей, как будто готовясь обрушиться на осмелившегося возражать.

И, убедившись, что таковых нет, словно припечатал:

— Офицер должен уметь умирать!

Очень скоро и Сергей и Гарпиев, утвержденные в своем новом звании, вступили в число ближайших к верховному правителю офицеров.

В письме к матери Сергей немедленно похвалился фантастическим поворотом в своей судьбе. Были там и такие слова: «Но я прошу тебя верить мне, мамочка, что я ничьей протекции не просил, ни перед кем не унижался. Сам верховный правитель и верховный главнокомандующий предложил мне стать его личным адъютантом! Не вздумай мне что-либо посылать: я теперь — поручик и адъютант и ни в чем не нуждаюсь...»

Приложил и снимок.

Его теперь не всякий из прежних знакомых, земляков и однополчан и признал бы, встретив на улице в щеголеватой офицерской бекешке, сшитой по особому заказу в пошивочных адмиральского конвоя, в лихой фуражке и сверкающих сапожках.

Но поручик Александр Гуреев узнал. Они встретились на деревянном мосту через речку Омь, где если человек наберется терпения, то может непременно встретить любого своего знакомца или приятеля, затерявшегося в Омске. Непременно. Как все равно петербуржец — на Невском!

Гуреев обхватил Сергея на пешеходном настиле моста и удивленно и радостно закричал:

— Сережка! Дитя души моей! Да ты... да ты — поручик уже?! Но я же был твоим пророком, когда говорил, что ты еще и меня обскачешь! И обскакал, черт возьми! А по этому случаю — обмыть, обмыть твои три звездочки!

Сергей ответил, что ничего против не имеет. Они свернули с моста налево, к бело-серому зданию политехнического института, и в ресторанчике «Монрепо», на берегу Омки, пообедали, распив бутылку шампанского.

Сергей стал поглядывать на часы.

Гуреев спросил:

— Да ты что — спешишь на свидание, что ли?

— Если бы! А то — на службу.

— Тогда я не обижаюсь. Служба — святое дело! Жаль, поговорить как следует не успели!

Они вышли на сверкающие под солнцем снега.

И только здесь Гуреев спросил, где служит Сергей. Тот сперва заколебался: сказать ли?

Гуреев, заметив это, выставил обе ладони, отстраняясь:

— Может быть, я сделал «гаф»? Ты служишь где-либо в особо секретном... Тогда прости, прости, дитя души моей, и можешь не отвечать!

— Нет, почему же... — И Сергей пояснил: — Спешу на дежурство к верховному.

Поручик Гуреев не вдруг оправился от изумления. Несколько раз повторил, как-то заново всматриваясь в Сергея:

— Адъютантом верховного? Самого верховного адъютант?!

Сглотнув слезы зависти, подумал: «И чего не добьется человек, когда у родителя толстый кошель!»

Вслух — поздравил.

Шагали молча.

А перед тем как расстаться, Гуреев, стараясь преодолеть смущение, начал было, ласково глядя в глаза Сергею и не отпуская его руки:

— Сереженька, дитя...

Но запнулся, не договорив обычного своего приятельского обращения к Сергею, а сменил его на более строгое:

— Сережа! Не сочти это за желание карьеры: ты знаешь меня, кто я и каких взглядов и убеждений. Сергей! Если ты можешь, то помоги мне перейти в конвой адмирала! Мне сейчас очень, очень трудно живется! Клянусь, ты не раскаешься, и я не буду там лишним! Как брату... Как соратнику!

И Сергей обещал.

В тот же вечер он просил за Гуреева.

Полковник Гарпиев принял его ходатайство благосклонно. Он тоже вспомнил Александра Гуреева и по Томску, и по своему партизанскому отряду в лесах Тюмени.

— Ну что ж, такие офицеры нам нужны! Приводите его ко мне. И то, что он ваш друг в течение многих лет, — это для меня тоже отличная рекомендация!

И поручик Гуреев был принят в конвой адмирала.

Вот когда запело петухом у него сердце! «Ну, Кирочка, теперь посмотрим, в чью сторону повернете вы свое пламенное око: в сторону ли вашего «чеха Чеха» или же в сторону поручика из конвоя самого верховного! Скоро увидите, было ли пустым бахвальством все то, о чем говорил я вам тогда, на Тоболе, гонимый, затравленный офицер белогвардейского подполья, помыкаемый любым комиссаром военспец!»

Шли среди конвойцев слухи, что, выполняя волю адмирала, начальник штаба верховного главнокомандующего Лебедев созвал художников и портных Омска и приказал им срочно представить образцы новой воинской формы конвоя «верховного». Предусматривались алые заспинные, с золоченой кисточкой, башлыки, черкески, наподобие кубанских,— словом, так, чтобы, не вполне совпадая, похоже было на конвой государя. В девятьсот шестнадцатом году, в бытность свою капитаном, Лебедев Дмитрий Антонович служил в могилевской ставке.

И в мечтаниях о новой — и, конечно, победной на этот раз — встрече с Кошанской поручик Гуреев не последнюю роль отводил неотразимому обаянию этой романтической формы!

Каково же было его разочарование, когда выяснилось, что на всех складах Сибири, вплоть до Владивостока, не найти и сотой доли тех добротных, редчайших сукон, из которых намеревались построить одеяние конвоя! А тут еще возникло опасение, что если при выездах адмирала на фронт нищенски и пестро одетые, полуголодные и полуобутые, скверно вооруженные фронтовики увидят всю эту роскошь, то как бы худу не быть?!

В это время как раз глава британской военной миссии генерал Альфред Нокс, личный друг адмирала, посланный Черчиллем в Сибирь — одеть, обуть и вооружить Сибирскую армию,— стал заваливать военные склады Омска английскими шинелями, штанами и куртками, — этим поспешили воспользоваться: вскоре вся адмиральская охрана предстала одетой в густо-зеленое, мешковатое хаки британских солдат. Даже пуговицы с

британским львом не стали менять: некогда было, да и накладно, да и где их взять, столько пуговиц!

Впрочем, англоман до мозга костей, адмирал не слишком этим огорчался. Вскоре во все новенькое английское начали, в виде особой льготы, одевать и стратегический резерв ставки — корпус Каппеля, оттянутый на отдых и пополнение в Курган.

Некоторые из сибирских офицеров ворчали: «Хотя бы пуговицы-то пришили свои, русские!»

Но вряд ли стоило огорчаться и уязвляться из-за внешнего вида и пришивать русские пуговицы, когда в эти же самые дни военный министр Британии Черчилль откровенно и во всеуслышание называл и армию Колчака, и армию Деникина:

— *Наши армии!*

И другие два земляка-тоболянина встретились в эти дни за ресторанным столиком: Анатолий Витальевич Кошанский и Петр Аркадьевич Башкин. Ресторан при гостинице «Россия», отведенной для господ министров и высших военных чинов, был аляпово-роскошен. Кошанский, как хозяин, ибо он здесь же и проживал, в «России», чествовал, как своего гостя, Башкина, приехавшего только что и остановившегося в гостинице «Деловой двор».

Когда подали рябчиков и шампанское в шуршащем льду серебряного ведерка — совсем как в старину! — Кошанский, чокнувшись и подъемля кипящий искрами янтарный бокал в честь гостя, провозгласил:

— Выпьем за освобождение завода вашего от военного ярма! Выпьем за благополучное отбытие ваше в Америку! Могу вас поздравить: сегодня я добился визы самого Лебедева. Это — все! Выправляйте, дорогой друг, заграничный пас, в чем я тоже вам помощник, и — скатертью да расстелется перед вами Тихий океан!

Башкин выпил шампанского. От всей души поблагодарил за хлопоты, но, лукаво усмехнувшись, сказал:

— То, что я не скован сейчас по рукам и по ногам цепями военного ведомства, преисполняет меня чувством величайшей радости. Теперь Петр Башкин покажет

себя во всю мощь! Но... о заграничном паспорте я хлопотать не стану и вас, дорогой Анатолий Витальевич, этими хлопотами утруждать не буду!

— Почему?

Кошанский был озадачен.

— А потому, друг мой, что теперь Америку — «до бот!», как говорят мои чехи. На кой мне черт их Америка. Моя Америка — Сибирь! Вся металлургия Сибири будет моя... Да! Еще недавно, когда я видел, что на капитанском мостике идет перманентная драка и свалка и что они, эти авксентьевы и сиболдуи, вот-вот пустят наш государственный корабль ко дну, я твердо решил эмигрировать в ожидании лучших времен. Но... теперь...

Тут он поднял свой бокал и провозгласил звенящим голосом:

— Теперь, когда на капитанском мостике нашей державы стоит адмирал, я спокоен: и за себя, и за свое достояние, и за фронт, и за Россию!

Уже не раз к их столику подходил улыбчато-угодливый официант с предложением услуг, но Кошанский неприветливо отсылал его. Расплатившись, он пригласил Башкина в свой «люкс»:

— Поговорим без помехи.

В строго доверительной беседе он предостерег Башкина от чрезмерных упований и, ничуть не скрывая своего участия в событиях, приоткрыл перед ним закулисные пружины переворота.

— Простите за просторечие, но *его*...— Башкин понял, конечно, о ком речь,— его на капитанский мостик выпихнули *мы*. То есть мы с Михайловым, Лебедев, все высшие офицеры ставки, за исключением этого простака Болдырева, и — англичане! Да, да! И англичане! И они наша главная опора. На последнем нашем заседании в доме одной известной в Омске, недавно еще высокопоставленной дамы — не хочу называть ее фамилию,— где все и решилось, участвовал офицер связи британской военной миссии капитан Стевени...

Башкин покачал восхищенно головою и усмехнулся:

— Тысяча и одна ночь!

Кошанский не преминул сострить:

— Нет, всего лишь *одна!* Мы приказали — Волков, Красильников, Катанаев исполнили.

— А как же чехи?

Кошанский, весело отмахнув сигарой, сказал:

— Знаю, что вы неисправимый чехопоклонник! Так вот: на ваших чехов, во-первых, цыкнули...

Башкин с явным неудовольствием возразил:

— Ну, знаете ли, чехи мои, как вы изволили выразиться,— они не такой народ, чтобы на них цыкали!

— Вижу, что вы со своими заводскими прожектами сильно поотстали от политики, мой дорогой друг.

— Возможно.

Башкин угрюмо нахохлился.

Кошанский, почувствовав его обиду, поспешил с объяснениями:

— Вы правы в отношении чехов. Но цыкнули на Сырового, на их Национальный совет в Сибири, на Богдана Павлу. И сделали это те, кому обязан повиноваться чешский корпус в Сибири: генерал Жанен и военный министр Чехословацкой республики Штефаник. Из Владивостока — по прямому проводу. А иначе, конечно, нам с нашим адмиралом несдобровать бы! Нокс тоже пригрозил.

Башкин молчал.

Свои откровения другу Кошанский завершил циническим дополнением:

— Но, само собой разумеется, союзники действовали на этих господ не только кнутом, но и пряником. Вы что же, считаете: за прекрасные глаза на чешское офицерство высыпано триста наград? Ну а Сыровому, Чечеку, Гайде его величество король Великобритании изволил на днях пожаловать высшие английские ордена! Я специально занимался этим вопросом.

Инженер тяжелым вздохом прервал свое угрюмое молчание и сказал, поднимаясь, чтобы проститься:

— Да-а! Сколько раз зарекался я лезть в политику! И вот снова, снова решительно зарекаюсь! Будьте свидетелем! Отныне — только и только металлургия! Завод мне возвращен в полное мое обладание. Какого черта мне еще надо? Отныне я вагранками, домнами буду шагать по Сибири!

В эту же ночь дежурный гостиницы разбудил его стуком в дверь номера: телеграмма!

Башкина извещали, что произошел взрыв на его заводе и завод сгорел. Несомненен диверсионный поджог,

поскольку завод целиком был поставлен на производство ручных гранат и офицерских револьверов...

Проведя остаток ночи без сна, Башкин с утра заказал себе через гостиницу обратный билет и поехал проститься с Кошанским.

Тот сразу же обратил внимание на синеву под глазами инженера и его траурно-замкнутый вид.

— Что с вами, Петр Аркадьевич? Умер кто-нибудь из близких? Смотрите вы: даже и серебра в волосах прибавилось!

Сказав это, он бережно выдернул у инженера седой волос.

Башкин горестно усмехнулся:

— Вы правы: умерло то, ближе и роднее чего у Петра Башкина не было в жизни!

И рассказал ему о гибели завода.

В меру посочувствовав, Кошанский спросил:

— Что же вы намерены делать?

— Ехать к себе: на Тобол.

— Ну это само собою понятно. А потом?

Башкин слегка развел руками:

— Что ж — потом? Сожгли четверть века неусыпных трудов моих. Жизнь мою и замыслы сожгли. Что я теперь? Нищий! Начинать на голом месте, на пожарище мне поздно! Нет средств. Буду искать службу... Прощайте!

Неожиданно Кошанский, задержав его руку, заставил его сесть:

— Погодите! Во сколько оценивали вы свой завод?

Удивленный таким вопросом, Башкин отвечал:

— Если вы о страховании, то это безнадежно. Страховка старая, еще до революции. А страховое общество «Россия» — оно распалось...

И нашел еще в себе силы для горькой шутки:

— Как и сама Россия!

Кошанский настоятельно повторил свой вопрос.

Башкин, подумав, назвал сумму в полтора миллиона рублей.

И в ответ — уверенное, спокойное:

— Ну это еще не беда! Устроим!

— То есть что устроим?

— Ссуду в этом размере: для восстановления разрушенного большевиками завода государственной важ-

ности. Так и пишите. Вот вам перо и бумага. Пишите же, говорю вам.

— Позвольте, позвольте... Что писать? Кому? Ради чего?

Кошанский ответил, загадочно улыбнувшись и со свойственным старому юристу расчленением ответа:

— *Ради чего* — вопрос праздный. Отведем его. *Кому?* Сейчас продиктую. Извольте писать: «Его превосходительству господину министру финансов Ивану Адриановичу Михайлову...»

Далее он продиктовал Башкину прошение о полуторамиллионной ссуде на восстановление его металлургического завода, уничтоженного большевистским диверсионным актом.

Приняв из рук Башкина подписанное им ходатайство, он бережно положил его в свой портфель. И вдруг сказал — полувопросительно:

— А зачем вам, собственно говоря, ехать на пепелище?

— То есть как зачем?

— А вы не ездите. Завод ваш числится там пока за военным ведомством. Они все и расследуют. Кого надо — поставят к стенке. А тогда вы и возвратитесь. И ваше имя не будет связано... с этими мероприятиями!

Башкин понял.

Кошанский почти повелительно попросил его задержаться в Омске всего лишь на три дня.

— А я незамедлительно займусь вашим делом!

Они вышли вместе.

Через два дня Кошанский сам навестил его в гостинице «Деловой двор».

Расцеловавшись, он с веселой и загадочной торжественностью положил перед глазами Башкина его ходатайство с резолюцией министра финансов: «Считаю целесообразным. И. Михайлов», и — «Разрешаю. А. Колчак».

— Это все, Петр Аркадьевич! Осталось лишь дать приказ Государственному банку о переводе означенной суммы на ваш текущий счет и взять чековую книжку!

И не удержался от латинской, предварительно переводимой для собеседника поговорки:

— Сказано — сделано. Диктум — фактум!

Башкин, при всей своей деловой вышколке и самообладании, был вне себя от изумления:

— Вот уж впрямь: сказано — сделано! Да что это у вас за «щучье слово», Анатолий Витальевич? Не стану скрывать: вы возвращаете мне жизнь! Ваш до гроба!

И в этих словах заводчика столько искренней благодарности и преданности прозвучало, что Кошанский, отбросив опасения, а только сказав: «Сугубо доверительно, друг мой!» — пошел на откровеннейшее признание, ошеломившее собеседника:

— Никакого «Сезам, отворись!». Но адмирал ни в чем и никогда не посмеет отказать моему министру. А министр — мне!

И, предупреждая неизбежный вопрос и переходя на полушепот, пояснил:

— Мы *его* вылепили. И у нас еще руки в тесте! У Михайлова и у меня. Поняли?

— Понял. Но ведь Михайлова-то вы не вылепляли?

— О! Вы истый дипломат и политик, друг мой, а еще хотите отойти от всякой политики! Но отвечу вам и на это... в меру дозволенного для меня. Что касается готовности моего министра выполнить даже столь чрезвычайные мои просьбы, как, например, эта — о ссуде для вас,— то здесь...— И смолк, и довольно долго, при его находчивости, не мог найти такого слова, чтобы и отвечено было, и в то же время чтобы и не все было сказано. Наконец нашел: — Что касается моих и моего министра взаимоотношений, то здесь, дорогой мой, действует субординация уже по другой линии. Мудрому — достаточно. Сапиэнти сат!

Башкин понял, да и не мог не понять!

Еще при Керенском Кошанский пытался вовлечь его в масонскую ложу, обещая, так же как доктору Шатрову, освободить от ритуала, унижающего достоинство мыслящего человека, сразу возвести в «теоретический градус» и намекая, что под его «молотком», Анатолия Витальевича Кошанского, находятся все ложи Сибири. Он заявлял себя наследником декабриста Батенкова по основанной им ложе «Восточного светила». Что же касается всей России, то для него это было всего лишь «Восьмая провинциальная ложа».

Об этом сейчас и напомнил Башкин полушутливым восклицанием:

— А! Понимаю: «Клянусь повиноваться святому ордену нашему, поставленным над нами начальникам и удару молота великого мастера!» Но, ей-богу, не верю!

И рассмеялся.

Кошанский сухо и почти злобно сверкнул на него глазами.

— Это ваше дело, дорогой! Но вы — умный человек и должны понимать, что судить о том...

Башкин досказал за него:

— ...в чем я не смыслю...

Кошанский, уже успокоившись, поправил:

— ...во что я не посвящен.

— Винюсь! Приношу глубочайшие свои извинения!

Размолвка их этим и была исчерпана.

Башкина несколько удивил серьезный совет Кошанского не убивать получаемые им полтора миллиона на восстановление сгоревшего завода, а пока что пустить их в оборот: керенки стремительно падают в покупательной силе, и, начав восстановительные работы, он скоро увидит, что на свои полтора миллиона он не сможет приобрести необходимых материалов.

— Но это же значит — заняться спекуляцией? Вот, признаться, к чему имел всегда род отвращения!

— А еще, сударь, в Америку собираетесь: там это называется — бизнес! Вы знаете, конечно, нашего председателя совета министров Петра Васильевича Вологодского, почетного гражданина Сибири, и так далее, и так далее?

— Знаю. И глубоко уважаю.

— Так вот: когда сей доблестный муж находился во Владивостоке по чрезвычайным государственным делам, он все же вывез оттуда... угадайте — что? Целый вагон игральных карт. А в Омске у нас в то время за одну колоду этих карт бешеные деньги платили. Вот это — бизнес! И, как видите, не потерял доброго имени старик и у адмирала в почете. А вы говорите...

Так бывает нередко! В то самое время, когда поручик Шатров, проходя по тыловой улице того квартала, где стоял особняк «верховного», снова и снова подумал о лесничихе, что едва ли они еще встретятся с нею, — он вдруг и увидал ее. Елена Федоровна опять вела за руку

маленького, лет двух, то и дело заботливо наклоняясь к нему. Было морозно, и малышок поверх шапочки был еще укутан и пуховым платком, с перекрещенными за спинкой концами. Он что-то недовольно бормотал, а мать смеялась и переспрашивала.

Они шли по другой стороне улочки и немного впереди.

Первым порывом обрадованного Сергея было перебежать через улицу к ним. А потом подумалось: сейчас-то он их никак не потеряет из виду! День у него был свободный. Кто знает, как еще она встретит меня, а так, если, не объявляясь, пойду за ними, узнаю, по крайней мере, где она живет.

Он так и сделал.

Очень скоро Елена Федоровна взошла с малышом на низенькое деревянное крылечко одноэтажного, ничем не примечательного дома, с геранями и занавесками на окнах, и стала нажимать кнопку звонка.

Ей открыли. Она вошла. Дверь захлопнулась.

Подождав немного, Сергей взбежал на крылечко и тоже позвонил.

Послышались шаги. Неприветливый женский голос:

— Кто?

— Я — к Елене Федоровне!

Слышно было, как загремел изнутри железный надверный крюк, и, неохотно давая дорогу, суровая, худощавая женщина впустила Сергея, пытливо осматривая его.

Видя, что у нее нет ни малейшего желания приглашать его из сенцев в комнаты, Сергей соврал:

— Мы договорились с Еленой Федоровной. Она ждет меня.

И, оставляя в холодных сенцах женщину, очевидно, хозяйку дома, решительно открыл обитую кошмою и клеенкою дверь в жилые покои.

В передней приостановился, соображая: куда?

Однако это и не требовало особой сообразительности: через дверь налево слышен был грудной, чуточку как бы «виолончельный» голос Елены Федоровны, разговаривающей, очевидно, со своим ребенком.

Сергей, волнуясь, постучал.

— Войдите!

Вступил. Руку — под козырек. И затем — звонко и радостно:

— Здравствуйте, Елена Федоровна! Не узнаете? Шатров Сергей!

Лесничиха уронила чайную ложечку.

— Боже мой! Вот не ожидала!

И ничего больше не нашлась произнести. От вступившей в ноги слабости опустилась на стул.

Сергей тем временем быстро снял шинель и фуражку, повесил их на гвоздь и, одернувшись, подошел к Елене Федоровне и поцеловал ей руку.

— Вижу, что не ждали. И вижу, что не очень рады!

— Что вы, что вы! Но это так неожиданно...

Вдруг встала и, бросив еле слышное: «Простите, я сейчас!» — вышла.

Оставшись наедине с мальчиком, Сергей хотел было, ради первого знакомства, начать с ним какой-нибудь обычный в таких случаях разговор взрослого с ребенком, но взглянул на его кудри, на его пышные, с еще не утихшим уличным румянцем щечки — и внутренне дрогнул и оцепенел: слишком явное, слишком разительное сходство было у этого малыша с теми снимками с него самого — не Сергея еще, а *Сереженьки* Шатрова, которые он столько раз видывал в семейном фотоальбоме!

И если минуту назад можно было ему подумать о случайности столь удивительного сходства, то вслед за тем, когда он увидел на угловом столике небольшую, под стеклом и в пружинной подставочке, фотокарточку своего отца,— для него все стало ясно: перед ним был тоже Шатров — сын лесничихи и Арсения Тихоновича!

Елена Федоровна оставила незваного гостя единственно для того, чтобы объяснить хозяйке конспиративной квартиры — она же и домовладелица, для отвода глаз,— что этого офицера можно не опасаться. Очень коротко рассказала о Шатровых и, добавив, что после расскажет ей все подробнее, попросила не волноваться и поставить самоварчик.

— Это само собой, милая! Только постарайтесь, чтобы этот офицерик у вас не засиживался. А я ему на всякий случай вот какой «самоварчик» припасла!

Она показала из кармана сверкнувший никелем браунинг. Закурила.

Елена еще раз ее успокоила и пообещала выпроводить гостя как только можно быстрее, не нанося обиды и не вызывая подозрений.

Хозяйка сумрачно кивнула головой, отпуская ее, но, спохватившись, приостановила:

— Мы сегодня же должны известить об этом визитере Иванова! А может быть, он уже следил за вами.

Когда Елена вернулась в комнату, ее мальчик уже сидел у Сергея на коленях и, приподнимая пальчиками георгиевский крестик, любовался то им, то сверкающими золотыми погонами офицера, стараясь отколупнуть с них граненые звездочки.

Их кровное сходство настолько било в глаза, что у Елены Федоровны заныло и стеснилось сердце.

А Сергей как ни в чем не бывало забавлялся с мальчуганом, подбрасывая его на колене, и тот звонко хохотал, требуя:

— Исо!

За те две-три минуты, что Елена Федоровна беседовала с хозяйкой, ее Федя так подружился с гостем, что успел сказать ему свое имя, а его называл Сережей, младенчески забавно и непередаваемо произнося это трудное для него слово.

Вдруг Сергей остановил качание колена и сказал, глядя ей в лицо и напустив на себя самый невинный вид:

— Ведь правда, между нами изумительное сходство? Посмотрите! — И, обняв мальчика за плечо, сблизил его и свою голову. — Только вот расцветка глаз несколько иная: у меня — голубые, в маму, а у Феди...

Не договорив, он пристально стал всматриваться в глаза лесничихи.

И Елена Федоровна не снесла этой пытки! Гордо и гневно вскинув голову, она укоризненно бросила ему:

— Как вам не стыдно, Сергей... Арсеньевич!

И в слезах отошла в угол и отвернулась.

Сергей не ожидал этого. Стыд и впрямь охлынул его. Быстро сняв мальчугана с колен, он кинулся к Елене Федоровне и, целуя ей руки, просил о прощении. Усадил ее в кресло. Стал перед нею на колени и сказал, что не встанет, пока не будет прощено его «хамство»: так он и выразился.

Малютка, рассерженный и тем, что этот чужой дядя так внезапно ссадил его на пол, и тем, что обижает маму, подошел и начал ударять кулачонком по спине стоявшего на коленях Сергея.

Заметив это, лесничиха остановила ребенка и, вытерев слезы, сказала Сергею:

— Ну хватит, вставайте! Вот и сын за меня — мститель!

Угощая Сергея чаем, Елена Федоровна спросила, где служит Сергей. Спросила *так*, ненароком, но когда он с гордостью, отнюдь не скрываемой, сказал, что он имеет честь быть личным адъютантом его превосходительства адмирала Колчака, у нее поплыло в глазах, рука дрогнула, и чай, подаваемый гостю, расплескался на блюдце, так что ей пришлось извиниться и переменить блюдечко.

От Сергея не укрылось действие, произведенное на нее его признанием, но это лишь еще больше придало ему тщеславного самодовольства: сколько раз за это время убеждался он, что его близость к «верховному», если о ней впервые узнавал человек, действует на многих ошеломляюще. И вот на эту милую, обаятельную, а теперь, после всего открывшегося, даже еще более дорогую для него женщину адъютантство его действует, оказывается, ничуть не меньше! Приятно, черт возьми!

Если бы знал он, что в этот же вечер перепуганная его сообщением и почти уверенная, что в таком случае его приход означает провал и ее, и хозяйки, и всего районного штаба, ведавшего подготовкой восстания и опиравшегося на эту явочную квартиру со складом ручных гранат и револьверов, Елена Федоровна помчалась в типографию газеты «Наша заря» для тайного доклада тому самому Иванову, о котором говорила хозяйка.

Это был заведующий типографией, старый печатник, бородатый и приглуховатый нелюдим, фанатик своей профессии, чтимый за свои знания и преданность делу даже и главным редактором этой махровореакционной газеты, человеком жестоким и связанным с контрразведкой.

Иванов дневал и ночевал в типографии. В застекленной, с занавесками будке, в самом печатном цехе,

у него стояла койка. Словно бы рокот печатных машин, и мерный хлест отмахиваемых листов газеты, и запах типографской краски — все это лишь способствовало крепкому сну. Он почти не уходил ночевать домой. Да и спал ли он когда-нибудь? Ибо при любой неполадке, любом недоразумении он оказывался на месте...

Войдя к нему в контору, Елена Федоровна, числившаяся на службе в той же самой типографии кем-то вроде его секретаря-порученца, рассказала Иванову о посещении Сергея Шатрова и о том, кто теперь стал этот человек. Она говорила шепотом, хотя гул машин делал и ненужной эту предосторожность.

Старик нахмурился.

Елена сама поторопила его ответ:

— Что же это — провал?

Иванов слабо улыбнулся. Поправил очки. Ответил вопросом:

— А ему, этому Сережке, действительно можно верить, он действительно адъютант?

Лесничиха даже удивилась такому сомнению:

— Ну что вы, на это он не пойдет! Особенно — передо мной!

Иванов понимающе посмотрел ей в глаза и согласился:

— Да, да, я и забыл...

И не стал договаривать, щадя ее душу: ему известно было все и о каждом работнике ему подчиненных групп, знал он и о том, чьим сыном является ее мальчик.

Решение его изумило Елену Федоровну.

— Тогда идите к своему Феде и спите ночку спокойно! Адъютант «самого» — да лучше этого не придумаешь. А на *такое* дело таких людей не шлют... Надеюсь, вы пригласили его бывать у вас?

— Нет, вряд ли! Я так была испугана... растерялась, когда он сказал мне об этом!..

Иванов не одобрил:

— Нам растериваться, друг мой, не полагается!

Она слушала, склонив повинную голову.

Последовал еще короткий вопрос:

— А он *знает?*

И опять недоговоренное им было понято ею.

— Теперь — знает... Они так похожи!

На прощание Иванов сказал ей:

— Если даже вы и забыли, от растерянности, пригласить его бывать у вас, это поправимо: ясно, что он вас теперь не обойдет вниманием! Как вам вести себя по нашей линии — это вы знаете. Остальное подскажет вам чувство меры и такта! Дальнейшие инструкции получите своевременно... А теперь идите!

Он отечески поцеловал ее в голову.

И у нее вырвалось — благодарным, взволнованным шепотом:

— Что бы я делала без вас, Матвей Матвеич?

Старик сверкнул глазами и, приблизив к ней лицо, произнес шепотом — жестким и гневным:

— Слушайте, если еще раз вырвется у вас это имя — я немедленно отстраню вас от группы. Затвердите: Иван Анисимович Иванов... Ступайте!

И Кедров отпустил ее.

Еще не улеглись в сознании Елены Федоровны волны испуга и душевного потрясения, вызванного приходом Сергея Шатрова, как снова и накоротке — и на этот раз смертельная — угроза вторглась в тот заурядный домишко, в котором приказано было ей обитать. А этот очаг подполья стал теперь для Кедрова бесценнейшим очагом во всей воссоздаваемой им — по прямым указаниям Свердлова и Смирнова Ивана Никитича — огненной сети в тылу врага — от Челябинска до Омска.

Причин для этого у Кедрова было две.

Типично мещанский, внешне безликий домок этот, со своими, как полагается, погребом, баней, амбаром, оказывался буквально на задах адмиральского особняка: сразу за гаражом.

Задние дворы соседски смыкались. Правда, их разделяла белая каменная противопожарная стена — так называемый брандмауер, — однако не очень высокая.

Чрезвычайно важной была и вторая причина, заставлявшая Матвея Кедрова в особенности дорожить этим очагом большевистского подполья в Омске: то был один из немногих уцелевших еще очагов после только что затоптанного в крови так называемого Куломзинского восстания в ночь на двадцать второе декабря — восстания, которому предстояло бы стать всеомским, когда бы, выданные провокатором, не были на месте сбора, за

два часа до восстания, расстреляны отборнейшие руководители-боевики *двух из пяти* районных штабов подпольного Омского горкома.

Восстановить, вдохновить и перестроить обескровленное и опустошенное куломзинской катастрофой омское большевистское подполье и послан был в конце января из Челябинска Кедров. Его постоянная подпольная резиденция была там. Челябинск — ворота Сибири! Через Челябинск и легче всего было осуществлять Кедрову многообразную конспиративную связь с Иваном Никитичем Смирновым, иначе говоря, с Сиббюро ЦК РКП (б), обосновавшимся в Уфе. Некоторые связи, переброска людей, оружия, средств и печати осуществлялись, впрочем, и через Вятское отделение Сиббюро.

Омскому подполью помимо новых людей и больших материальных средств Кедров привез только что состоявшееся решение ЦК, написанное лично Свердловым, о коренной перестройке всей подпольной работы в тылу врага.

Новую стратегию большевистского подполья в Сибири Ленин определил как *организацию всенародной войны в тылу врага.*

Отныне борьбу с Колчаком и интервентами нельзя возлагать только на рабочих города и железных дорог: рабочие Сибири составляют не многим более двух процентов. Восстания *только* в городах, пусть даже и самые вначале успешные, неизбежно будут подавлены безмерно превосходящими вооруженными силами интервентов, чешского корпуса, уведенного на охрану Великого Сибирского пути, и карательными частями атаманов Красильникова и Анненкова.

В городах Дальнего Востока — атаман Семенов в союзе с японцами. Одними рабочими восстаниями разве их одолеешь?!

Только — в союзе с крестьянами! Возглавить по всей Сибири массовое партизанское движение! Что же касается восстаний в городах, то отныне готовить их только в тылу, примыкающем к фронту. И непременно сочетать их с боевыми действиями Красной Армии!

Таковы были указания ЦК, с которыми Матвей Кедров и сейчас, в полутемном складе издательства знакомил очередную тройку ответственных боевиков, когда связная Елена Куриленкова примчалась к «Иванову

Ивану Анисимовичу» сообщить ему о новом вторжении в конспиративную квартиру непрошеного гостя, который, как признал и сам Кедров, был куда пострашнее колчаковского адъютанта!

На этот раз ее действительно выследил и неотвратимо вторгся ее бывший, еще два года назад оставленный ею муж, он же *бывший* лесничий, Семен Андреевич Куриленков!

А *бывшим* лесничим он стал вот почему.

Вскоре после свержения Советов в Сибири он шепнул за преферансом начальнику карательного офицерско-чешского отряда имена нескольких солдат-большевиков, из числа особенно досадивших ему, и погубил их.

Ему стало жутко оставаться у себя в бору: в подброшенной записке прямо угрожали скорой смертью и добавляли, что его не спасет никакая сила, никакая охрана.

Перевестись в другое лесничество, подальше? Но все равно убьют и там: разыщут «по веревочке»!

В страхе он прибегнул к совету и помощи местного уполномоченного государственной охраны. Тот предложил ему оставить лесное дело и поступить к нему. Огромный оклад, раза в три превышающий его жалованье; разъездные и «секретно-отчетные» особо. Паспорта — переменные и на любую фамилию, смотря по надобности.

Он согласился.

Для видимости он числился на службе по министерству финансов, как разъездной ревизор. У него был особый, скрыто носимый значок, и, в случае опасности или необходимости задержать подозрительного, представлялось право вызывать вооруженную охрану; привлекать к облаве любого встречного милиционера; останавливать любой автомобиль, любого извозчика и принуждать их участвовать в его сыскных действиях.

Это ему страшно нравилось. И еще и еще раз, как в те времена, когда он впросился в компаньоны к Арсению Тихоновичу Шатрову, он приходил к заключению, что лесничество — это не его стезя!

У него был острый на всякую корысть и житейщину ум, хваткий и наметанный глаз.

Он изучил криминалистику и опыт политического сыска в России. Скоро здесь у него нашлись и живые многоопытные учителя.

Сперва начальник департамента милиции, а затем и министр внутренних дел в правительстве Колчака Виктор Николаевич Пепеляев стал выискивать по всей Сибири бывших жандармов, охранников и полицейских и всех снова ставить на службу, убежденный, что никто лучше них не сможет вести борьбу с большевистским, а ныне и эсеровским, на придачу, подпольем в Сибири.

Бывший лесничий многому научился у этих людей. Скоро он выдвинулся и как агент наружного наблюдения, и, по выражению колчаковской охранки, как «ценный сотрудник, умеющий поставить агентурное освещение изнутри противоправительственных, подпольных сообществ».

Он получал награды и повышения. Его назначали нередко «ведущим» особо секретных операций. На его счету числилось раскрытие челябинской подземной типографии. Как-то один из его новых учителей, бывший начальник губернской охранки, сказал ему: «Да ты, брат, скоро будешь, как сам Путилин. А это был, знаешь, король русского сыска! Куда там ихним пинкертонам, шерлокам!»

Денег у него теперь было много. И временами он запивал и беспутствовал с продажными женщинами, когда лютая тоска по Елене Федоровне сдавливала ему сердце и отымала дыхание.

Выследить Елену — это стало для него в последнее время целью жизни. Убедившись, что она уехала из Екатеринбурга, он, пользуясь своим правом разъезжать, метался в поисках по всему Приуралью. Наконец, приехав в Омск, он ее случайно увидал и выследил, не подозревая, что она работает связной у Кедрова и что дом, в котором она обитает,— конспиративная квартира.

Суровая хозяйка-резидент, когда он позвонил и сказался, что к Елене Федоровне, пыталась было его не впустить. Тогда он, отбросив всякую вежливость и утайку, пригрозил, что откроет с милицией: «Потому что не имеете права не пускать меня видеться с моей законной женой!»

Сейчас он рвался к ней в каком-то беспамятстве горестного счастья, что через какую-нибудь минуту он

увидит ее, единственную, до гробовой доски любимую и желанную! Представил, как испугается и затрепещет она в ожидании его гнева и мести. А он ей скажет, что прощает ей все и никогда не вспомянет ей ничего и не укорит ничем! «Вернись ко мне! Ты и не представляешь, как мы теперь заживем. Наконец-то я имею возможность создать тебе такие условия, о которых тебе и не снилось!..»

...Вступает. Не постучавшись. Вот она стоит перед ним — все такая же светло-русая, полногрудая, зеленоглазая. Лицом к двери. И ничего другого не прочитал он в ее глазах, кроме готовности к холодному, жесткому отпору.

Остановился возле порога.

И даже «здравствуй!» не сорвалось с его уст, когда увидал он, что ее левая рука лежит на кудрявой головке малыша, прижавшегося к ней!

Затем — взгляд на угловой столик, на карточку Шатрова,— и, выборматывая ругательства и оскорбления, он кинулся к столику, схватил снимок, швырнул его изо всей силы об пол и стал топтать.

Вскинул на Елену искаженное неистовой злобой острое лицо и выкрикнул:

— Все, все теперь понял! Не знал, что ты такая!

И снова — оскорбительнейшая брань.

Мальчик заплакал.

Спокойным, исполненным гадливости голосом Елена произнесла:

— Слушайте, вы! Я пошлю за милицией вывести вас, если вы сию же минуту сами не уберетесь отсюда!

Сперва несколько оторопевший от этих слов, он сейчас же и опомнился и заорал глумливо:

— Попробуйте, попробуйте! А не я ли вперед выведу вас из этого домика, да куда-нибудь в беженские бараки?! Ты знаешь, кто я? Мне дано право проверять проживающих в любом доме! А этот квартал особенный: тут не каждому позволено жить, думаю, сами понимаете! Не буду вас больше затруднять своим присутствием, госпожа бывшая Куриленкова!

Повернулся уходить. И вдруг иное решение остановило его:

— Слушай, Елена! И в последний раз говорю: вернешься — забуду, прощу и *это*.

Он указал перстом на растоптанную карточку Шатрова. Помолчав, тяжело и хрипло дыша и с крупными каплями пота на лбу, счел нужным добавить, кивнув на мальчугана:

— Но его... нет! Отвезешь к сестре. О средствах на воспитание не беспокойся! Обдумай: не тороплю. А послезавтра зайду. Но если не образумишься — пеняй на себя! И тебя, и эту хозяйку твою — в беженские бараки закатаю в два счета!

Было над чем призадуматься Ивану Анисимовичу Иванову!

В подвале конспиративной квартиры, где жила Елена, в пустотах кирпичной стены было укрыто немало: до полусотни одних только винтовок; несколько цинков боевых патронов к ним; ящик пироксилина; большая бутыль с кристаллами йода для изготовления самодельной взрывчатки; несколько тысяч свежеотпечатанных листовок Сиббюро ЦК РКП(б) и подпольного Омского горкома к солдатам, крестьянам и казакам и пропуска́ для них на переход в Красную Армию; тяжелый кожаный мешочек, полный типографского шрифта, который успела натаскать Елена то в карманах, а то и в прическе; наконец, сама переносная типография простейшего устройства — в ящике, наподобие тех, с которыми через плечо расхаживают по лесам и полям художники.

Сверх того был ящичек и с чистыми паспортами, и со старыми, с которых надлежало искуснейшим химикам подполья вытравить прежние имена, дабы вписать новые.

И это еще не все: был там и целый набор париков, наклейных бород и усов, мужского и женского платья.

Словом, если бы незваный гость вздумал через сутки осуществить свою угрозу — выселить, то неизбежный при этом провал всего очага, не говоря уже о тяжести для всей сети такой потери, повлек бы даже и гибель многих людей подполья, а в первую очередь Елены и резидента-хозяйки: вынести, вывезти в столь короткий срок смертельные улики в данный момент из этого дома нечего было и думать! Омск после Куломзинского восстания и теперь еще состоял на положении

усиленной охраны. Задержат с подозрительной ношей — ну и конец! И где остановится тогда зубчатая передача арестов, пыток, смертей — кто возьмется предугадать?

Но Кедров и сейчас был спокоен. И почти с суеверным ужасом преклонения смотрела на него Елена Федоровна.

Он спросил:

— А тот, первый ваш визитер, еще не повторил визита?

Елена поняла, что он говорит о Сергее Шатрове.

— Нет, не повторил.

— Надо, чтобы повторил!

Елена по опыту знала, что это есть его безоговорочное приказание, если он сказал таким голосом; и если бы впереди у нее были дни и дни, она бы и не подумала спросить, каким же именно способом заставить Сергея посетить ее, но теперь в ее распоряжении были всего лишь одни сутки, и она уже намеревалась спросить, как вдруг Кедров, улыбнувшись и читая в ее мыслях, сказал:

— Ну, ведь вижу, что догадались! Конечно, не идти же вам в особняк: «Ах, мне срочно надо видеть вашего адъютанта!» Адмирал, несомненно, галантный с дамами моряк, но...

Матвей замолчал, глянул ей в глаза, и она вдруг поняла, как ей следует поступить.

— Я знаю, знаю, Иван Анисимович!

— И вот... Пожалуйтесь юнцу. Попросите защиты от этого негодяя. И — защиты немедленной. Расскажите, как он гнусно вам угрожал. Тут мне вас не учить.

На другое утро, часов около одиннадцати, ведя за ручонку своего Федю, она медленно прошлась поодаль особняка, по самому обрыву Иртыша, однако с таким расчетом, чтобы Сергей, если он в доме, увидал бы ее. Повторять свой путь, из осторожности, не стала.

И Сергей увидал их.

Елена с мальчиком подходила к крылечку своего дома, когда Сергей, раскрасневшийся и дыша через полуоткрытые губы от быстрой ходьбы, догнал их. На морозе был виден парок его дыхания. И малыш, заметив это, сказал матери — удивленно и рассудительно:

— Мам! Тли (смотри): дядя — как чайник: пал (пар)! А у Феди?

И тоже дохнул полуоткрытыми губами, выпустил клубочек пара и остался весьма доволен.

Встреча Сергею на этот раз была совсем другая. Его даже укорили, что он позабыл их, загордился, а их с малюткой чуть было за это время совсем... Так что он мог бы и не найти их, если бы посетил их еще сутками позднее!

Ничего не понимая, но страшно встревоженный, Сергей хотел спросить, что же именно угрожало им, но Елена Федоровна сказала, что на улице неудобно об этом,— открыв ключом дверь, пропустила вперед себя Сергея, а затем заперла дверь и на ключ и на крюк.

Когда она рассказала ему о вторжении и об угрозах Куриленкова, Сергей закипел. Обдумывая уже, как защитить их от негодяя, он еще раз спросил:

— Он так именно и сказал, что ему предоставлено право проверять, кто здесь проживает?

— Да. Так и сказал.

— И что милиция обязана выполнять его приказания?

— Да.

Сергей хмыкнул многозначительно и сказал:

— Все понятно!

Но умолчал все же, что́ именно понятно ему.

Елена Федоровна заплакала. Глядя на ее слезы, заплакал и мальчик.

Сергей не знал, чем и как их утешить.

Когда она проплакалась, он встал и, глядя в глаза Елены взором, исполненным преданности, и ударяя пальцем по своему бело-золотому крестику, воскликнул в пафосе:

— Елена Федоровна, вот *этим* клянусь, что о мерзавце, который угрожать вам посмел, вы больше никогда не услышите!

Адмирал тяготел к изречениям, исполненным героического звона и пригодным к запоминанию историков и потомства.

За иные из них он дорого поплатился!

Так было и сейчас.

Вот уже месяц диктатор лежал с запущенным воспалением легких, выпустив из рук бразды правления, выслушивая в постели лишь самые неотложные доклады, да и то по разрешению врачей. В политической мастерской — Михайлова и Лебедева, Жардецкого и Красильникова,— где его сотворили, шел вполголоса ропот: «Нашел время валяться на койке! Нечего сказать, хорошенькое начало для диктатора! А сам виноват: не фанфаронь. Ты не мальчишка, не юнкер, а поставлен во главе государства и армии! А то, видишь ли: «Раз армия на фронте раздета — не надену и я теплой шинели!»

За эту именно фразу и расплачивался теперь Колчак. Казалось бы, возьми да и одень армию, а не раздевайся сам! На то ты и верховный правитель, и верховный главнокомандующий!

Но, увы, звонкая фраза излетела; она разнеслась по Омску, и волей-неволей, а приходилось поступать, как сказал!

Морозы же стояли сибирские! Надвигался георгиевский парад. Предстоял большой смотр войскам. Принимать парад надлежало адмиралу. Неминуемо было обскакать на коне выстроенные войска, зычно приветствуя их. А то какой же, скажут, это верховный главнокомандующий? Что председатель совета министров Вологодский будет стоять на трибуне — это вполне понятно: адвокат! А *этому* никак нельзя!

Но адмирал не умел ездить верхом. И кавалеристы конвоя принялись усиленно обучать верховного главнокомандующего верховой езде. Ученик оказался понятлив. И даже так пристрастился к этому занятию, что приказал завести для себя, при особняке, целую конюшню верховых лошадей.

К георгиевскому параду приготовили для него смирную, выезженную лошадку, и, объезжая войска, адмирал показал себя молодцом. Только многие из военных огорчались, что голос у него глухой, невыигрышный!

Парад сильно затянулся. И в своей неутепленной шинели, да еще на коне, адмирал перемерз, простудился и заболел. Силился перенести болезнь на ногах, но, промаявшись кое-как с недельку, свалился пластом, с температурой в сорок градусов. Врачи опредилили и

воспаление легких, и плеврит. Отлучили больного от всех дел и занятий.

Не любит Немезида-История, когда иные бонапарты начинают с воспаления легких!

...Сергей не отходил от постели больного. Когда прояснялось сознание, адмирал диктовал ему те или иные распоряжения и кого следует вызвать для докладов. Но обычно Сергей спрашивал врачей — можно ли? — и в зависимости от этого и поступал.

За все время болезни только двое из высших начальников ставки допускались к адмиралу: это — генерал Лебедев Дмитрий Антонович, начальник штаба, и полковник Злобин Николай Павлович, начальник контрразведки при штабе верховного главнокомандующего.

Да и то иной раз от поручика Сергея Шатрова зависело, допустить ли их к приему или, сославшись на запрещение врачей, предложить перенести доклады на другой день.

С тем и другим у Сергея установились дружеские отношения.

Иногда это внутренне изумляло его. Ведь вот, думалось, этот стройный, строго воспитанный офицер, панибратски с ним беседующий у окна на Иртыш,— это же он, грозный глава всей контрразведки, чье имя наводило ужас даже и на неробкие сердца. А до чего мил и обходителен!

Понимал он, откуда сие, и, конечно, не самообольщался.

Но вот пришел час, когда надо было, и не отлагая, прибегнуть к помощи полковника Злобина.

Провожая начальника контрразведки от адмирала, Сергей сказал ему:

— Дорогой Николай Павлович! У меня к вам очень большая и, прямо скажу, *кровная* просьба! Найдете для меня минутку беседы?

Полковник изъявил полную готовность.

Они прошли с ним в пустующий зал заседаний, и там Сергей рассказал ему, что его близкую родственницу злостно преследует ее бывший муж, угрожая и шантажируя. Он запугивает ее тем, что якобы служит в таком учреждении, что может сделать все что угодно!

Полковник брезгливо обронил:

— Экий мерзавец!

На прощание, черкнув в свой блокнот имя, отчество и фамилию лесничего, полковник Злобин заверил Сергея, что не позднее чем завтра утром и следа не останется от этого господина.

На другое же утро к гостинице, где остановился Семен Андреевич Куриленков, подъехал автомобиль. Вышедший из него офицер контрразведки постучался в номер к бывшему супругу Елены Федоровны и, предъявив ему свои полномочия и негласный приказ немедленно и навсегда оставить город Омск, предложил сейчас же отбыть с ним вместе на вокзал.

Под присмотром офицера Куриленкову пришлось занять место в купе третьего класса и отбыть.

Он видел, что офицер оставался на перроне и смотрел, пока поезд не скрылся из виду.

Когда Елена сообщила Кедрову, что опасность отведена, он сказал:

— Знаю. Наш дозорный тоже наблюдал за погрузкой в вагон этой бестии. Но, однако, зачем он, сей весьма опасный субъект, опять возвращается в Челябинск?

И умолк.

Кедров ничуть не сомневался в Елене. Он знал, что эта бесхитростная душа, спасенная им, да еще и с ребенком на руках, над самой бездной самоубийства — от нищенства, голода и бесстыдных посягновений и домогательств в чудовищном потоке эвакуации,— лично ему, Кедрову, предана до последней капли крови. Мало этого! Он видел, что поистине как святыню крови хранит она и лелеет в наиглубочайших глубинах своего существа те светлые всходы-лучи великой и беспощадной, во имя человечества, правды, огненные семена которой были посеяны в ее душе его, Матвея Кедрова, словом.

Знал, что эта как будто прежде всего *женственная*, в неге и холе возросшая женщина, попадись она в когти колчаковской контрразведки, претерпит любые пытки, умрет, но не выдаст!

И все-таки и для нее не было исключения из того непререкаемого закона большевистского подполья, из того воспринятого из уст самого Владимира Ильича завета, что ни один из людей руководимой тобою подпольной организации не должен простирать свою осведомленность о действиях и намерениях подпольного очага

далее той границы, которая очерчена заданиями, выпавшими на его долю.

Разве не послабления в этом железном законе конспирации погубили, в конце концов, из пяти членов Сиббюро ЦК троих, работавших непосредственно в сибирском подполье?

Для Кедрова челябинский очаг, ходом событий на фронте и в свете последних решений Ленина и Свердлова о новой стратегии урало-сибирского подполья, выдвигался на совершенно особое место. И в первую очередь челябинский центр надлежало ему, Кедрову, оберегать как зеницу ока!

Среди той кучки ищеек и провокаторов, которым удалось еще ускользнуть от карающей длани челябинских боевиков, одним из наиболее опасных был признан как раз бывший лесничий, бывший супруг Елены. Избегнуть возмездия до сих пор помогали ему его многоликость, житейский нюх и сноровка и возможность, когда считал это нужным, уходить под воду и там отсиживаться с дудкою для дыхания.

Но вот он всплыл! Из Омска удалось его убрать быстро, и, по-видимому, он здешнему подполью вреда не причинил, не успел. Но раз он всплыл, то непростительной было бы оплошностью снова потерять его из виду и, в особенности, дать ему снова «поработать» в Челябинске.

Вот почему омский боевик, неотступно следовавший за ним, ехавший с ним в одном вагоне, получил от Кедрова разрешение на террористический акт.

На одном из перегонов предатель был найден мертвым близ железнодорожного полотна.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ


«Симбирск. Реввоенсовет Востфронта. Гусеву, Лашевичу, Юреневу.

По вашему настоянию назначен опять Каменев. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы...» Такова была, и уже не первая, тревожно-грозная шифровка Председателя Совета Обороны Ленина от двадцать девятого мая тысяча девятьсот девятнадцатого года.

И ЦК партии и Ленин неоднократно указывали Троцкому, что единственное спасение от надвигающейся гибели только в том, чтобы добить Колчака, только в том, чтобы неотступно, без передышки довершить разгром его сил,— разгром, начало которому столь блистательно и дерзновенно только что положил Михаил Васильевич Фрунзе своим сокрушительным Бузулукским ударом по левому крылу и тылам Западной армии генерала Ханжина — военачальника испытанного и незаурядного, который, кстати сказать, успел уже похвалиться перед Колчаком, что скоро напоит коней Волгой.

Но, опрокинутый, оглушенный, поспешно уползающий под прикрытие Уральских гор и теснин, страшный враг вот-вот мог и отдышаться, если только остановить преследование. Ведь полгода тому назад, минувшей зимой, оно так именно и произошло, когда грозный хребет Каратау стал как бы крепостью, в которой отсиделся и собрался с новыми силами разбитый, но недобитый враг.

Снова допустить этакое? Но сейчас это и означало гибель: ленинская Русь довоевывала *последним!* На счету была каждая крошка хлеба, каждый кусок каменного угля, каждый винтовочный патрон. Что говорить, если сам Ленин приказывает собирать даже ломаные,

испорченные винтовки, чтобы Тула чинила их! Что говорить, если в ответ на ходатайство Моссовета, поддержанное самим Лениным, о прибавке всего лишь ста граммов — четвертушки хлеба — группе рабочих наркомпрод Цюрупа с цифрами в руках доказал, что и всех-то запасов, которыми располагает Наркомпрод, не хватит для такой прибавки!

Людям не было хлеба. Паровозам не было угля. Голод и разруха гасили одну за другой топки и кочегарки необходимейших оборонных заводов. Пять-шесть губерний срединной России были наглухо, со всех сторон света отсечены фронтами от хлеба, угля и нефти.

А в это время Англия, Франция, Америка и Япония непрерывным навалом валили изо дня в день не поддающееся никакому учету боевое, вещевое и техническое снаряжение всех видо́в и назначений, вплоть до танков и тягачей, — и Деникину, и Петлюре, и белополякам, и Юденичу, и Миллеру, и белочехам, и Колчаку.

Двадцать четвертого июня тысяча девятьсот девятнадцатого года Главнокомандующий всеми силами Красной Армии, главком Вацетис представил Ленину страшный, но обоснованный непререкаемыми данными, обширный доклад о положении на всех фронтах Советской республики.

Итоги доклада главком выразил без всяких прикрас:

— Никаких резервов в республике у нас нет. Положение на всех фронтах — угрожающее. Резервами могут служить лишь войска одного фронта для другого. Самый благополучный для нас фронт — это Восточный, где мы преследуем разбитые армии Колчака. Но с этого фронта мы берем и берем войска, чтобы спасти Петроград и остановить становящееся все более и более грозным наступление Деникина.

Троцкий вслед за взятием Уфы предложил остановить Красную Армию на реке Белой и там укрепиться.

Однако командующий силами Восточного фронта Сергей Сергеевич Каменев наотрез отказался выполнить эту директиву. Протестуя, он телеграфирует:

«Я ручаюсь, что если мы остановимся, то поражение наше неизбежно!»

Решение спора перешло к Ленину. А его взгляд уже был им и ранее высказан: «Если мы до зимы не завоюем Урала...»

Председатель Совета Обороны ни в какой мере не ставил под сомнение правдивость мрачного обзора фронтов, который был представлен главкомом.

В своем выступлении Ленин сказал:

— Ослаблять наступление на Урал и Сибирь значило бы быть изменником революции. Кончая с Колчаком, мы кончаем войну! Вы говорите, что с Восточного фронта мы вынуждены брать подкрепление и на Петроградский и на деникинский фронт, — что ж, брали и еще будем брать! Иначе нельзя. Все силы Советской республики, все силы рабочих и крестьян должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его. Но и наступление Красной Армии на Урал и на Сибирь мы ни в коем случае не остановим ни на минуту, а продолжим с нарастающей силой. Теперь, когда Красная Армия продвигается там при помощи восстающих поголовно рабочих, помощи сибирских крестьян, изведавших все ужасы и мерзости колчаковщины,— теперь сам Урал, сама Западная Сибирь пополнят армии Восточного фронта!

Смещение Каменева с поста командующего Восточным фронтом Троцкий произвел тоже своей единоличной властью, отметая протест Реввоенсовета фронта, и, что особенно примечательно, не в дни поражений и неудач, а, как нарочно, в те дни, когда Каменев, этот выдающийся и невозмутимый стратег, двинул поколебленный было Восточный фронт в победоносное наступление, начав его ударом Южной группы Фрунзе по прорвавшимся корпусам Ханжина.

Седьмого мая в газете поезда Троцкого «В пути» было напечатано насквозь лживое извещение о Каменеве:

«Напряженная и непрерывная работа командующего Восточным фронтом вызвала потребность во временном отдыхе. Увольняя Каменева в шестинедельный отпуск и выражая ему благодарность от имени Красной Армии, твердо надеюсь, что войска Восточного фронта под руководством нового командующего А. А. Самойло разовьют уже полученные успехи и дадут Советской республике полную победу над Колчаком.

Л. Троцкий».

Никакой, конечно, «потребности во временном отдыхе» Каменев никому не заявлял, да и слишком было

очевидно для каждого, что это отнюдь не отпуск, если уже объявлено имя нового командующего — Самойло.

Бывший генерал Самойло участвовал в качестве военного эксперта в Брестских переговорах, когда их возглавлял Троцкий.

На новый пост, даже и против воли его, он был сейчас переброшен с поста командующего Шестой армией, сражавшейся на Архангельском фронте. Это был честный и преданный Советской власти военспец из генералов, но особого полководческого дарования военная среда за ним никогда не признавала, да и негде было ему проявить его, так как при царе почти всю свою воинскую службу он провел по ведомству зарубежной разведки.

Как бы то ни было, первые же стратегические директивы нового комфронта внесли страшную сумятицу и подвергли опасности все, что было достигнуто.

Прежде всего Самойло круто изменил направление основного удара. Он приказал ликвидировать Южную группу Фрунзе и повернуть силы центра с востока на север, против Сибирской армии Гайды и Пепеляева, оставляя Западную армию белых недобитой. Это вызвало взрыв негодования среди прославленных командиров, и прежде всего у Михаила Фрунзе и у Михаила Тухачевского — двадцатишестилетнего блистательного стратега, который недавно лишь сменил бездарного Блюмберга на посту командарма Пятой.

Переключение Центрального фронта на удар к северу за сотни верст в условиях горно-таежной глухомани и бездорожья, при истощенности бойцов и жалчайшем состоянии коней, было безумием. Самоочевидно было, что следует развивать и усиливать победоносный удар Фрунзе и Тухачевского на восток — на Уфу, Златоуст и Челябинск.

Но из *восемнадцати* стрелковых бригад, которые с таким величайшим трудом и гениальным стратегическим риском сосредоточил в своем ударном кулаке Фрунзе, новый командующий фронтом оставлял ему только *пять!* Разъяренный Фрунзе кинулся в штаб фронта. Поддержанный Реввоенсоветом, он после бурного объяснения с Самойло отстоял еще пять бригад. Добился он и того, что Пятая армия Тухачевского не сразу, а только после взятия Белебея повернет на север.

Однако вывод из подчинения Фрунзе почти половины его ударных сил не дал ему завершить Уфимскую операцию так, как замышлял он: полным разгромом и окружением армии Ханжина!

Еще острее столкновение с новым комфронта протекало у Тухачевского.

Самойло на протяжении всего лишь четырех дней — с десятого по четырнадцатое мая — несколько раз изменял боевую задачу Пятой армии. Не выдержав, пламенный и неуклонный командарм послал ему телеграмму, в которой просил его соблюдать статью девятнадцатую Полевого устава: «Приказ, как общее правило, не подлежит ни отмене, ни замене. Отмена или перемена боевых распоряжений всегда вредно отражается на исполнении, подрывая доверие к начальникам и порождая неуверенность в войсках; поэтому боевые распоряжения должны быть хорошо обдуманы прежде, чем отданы к исполнению».

Оскорбленный телеграммой, Самойло потребовал предания Тухачевского военному суду. Но Реввоенсовет фронта встал на защиту командарма: Тухачевский не отказывался выполнять приказы, но, являясь одним из крупнейших военачальников, он обязан был, во имя долга, настаивать на четкости и твердости этих приказов, ограждая тем самым безопасность вверенной ему армии.

К счастью, командование Самойло Восточным фронтом длилось всего две недели: вмешался Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами народа!

Пятнадцатого мая, лишенный поста своего, Каменев приехал в Москву, дабы в такие грозные для отечества времена просить военное ведомство хоть о каком-нибудь применении его сил, опыта, знаний. Удрученный полуотказом, пришел бывший командующий на вокзал, чтобы уехать обратно в Симбирск. И вдруг за ним на вокзал присылают автомобиль: немедленно к Ленину, в Кремль!

Ленин попросил Каменева доложить о положении дел на Восточном фронте. В разгаре доклада над картой, оправившись от смущения, еще небывалого в его жизни, ободренный вниманием и обаятельной простотой Владимира Ильича, Каменев, объясняя все тонкости

только что развернувшейся операции Фрунзе и Тухачевского, выразил, как профессионал-военный, восхищение стратегической ее красотой.

Ленин, рассмеявшись, сказал ему:

— Ну, знаете ли, для нас самое главное — разбить Колчака. Да поскорее! А красиво там это у вас получится или не слишком красиво — это для нас дело десятое!

Из кремлевского кабинета Ленина в Симбирск Сергей Сергеевич Каменев вернулся снова на пост командующего Восточным фронтом.

Однако Троцкий не прекращает своей борьбы против решений ЦК. Даже в конце июня и начале июля он все еще силится, в обход этих высших решений, навязать Восточному фронту свой отвергнутый план и приостановить наступление Красной Армии на самом Уральском хребте.

Член Реввоенсовета Востфронта Сергей Иванович Гусев тревожно и гневно пишет в те дни из Москвы:

«Троцкий настаивает на возврате к старому и развивает бешеную агитацию против Востфронта».

Но этим был уже пре́йден всякий предел долготерпения ЦК!

Третьего-четвертого июля тысяча девятьсот девятнадцатого года снова Пленум ЦК по военным вопросам, осудивший позицию Троцкого.

Главнокомандующим всеми вооруженными силами республики назначается Сергей Сергеевич Каменев.

Тогда же преследуемый Троцким Фрунзе — этот, по язвительному замечанию Льва Давидовича, «недоучившийся студент, доморощенный стратег, изучивший искусство войны в тюремных одиночках»,— был назначен командующим Восточным фронтом!

После такого конфуза, уязвленный в своем непомерном честолюбии, пригрозив подачей в отставку, Троцкий перестает интересоваться Восточным фронтом.

А Восточный фронт — им!

Но и на других фронтах среди боевых командиров и политработников накопляется усталость от Троцкого. Набил, что называется, оскомину!

Человек не успел понять вовремя, что его былые приемы — шумные, грозно-театральные, с непримен-

ным выпячиванием своей личности,— приемы, когда-то и воздействовавшие на массы,— теперь устарели и только смешат и раздражают фронтовиков, этих суровых людей железа и крови, людей, в самом прямом смысле пришедших от сохи и станка, людей простых, но и прозорливых на всякую фальшь и бутафорию!

Быть может, короче и лучше всех выразил отношение к Троцкому, все более и более нараставшее на фронтах, член Реввоенсовета Южного фронта Смилга́ в своей телеграмме в ЦК РКП (б) — Стасовой:

«...Присутствие Троцкого и Сокольникова на фронте является *гибельным.* Созданная ими организация и приемы работы показывают, что им чуждо понимание военного дела. В области командования, управления, снабжения хаос благодаря неумению поставить дело. При таком положении усилия центра не могут быть использованы на Южном фронте в должном объеме...»

Этот мужественный и правдивый голос был далеко не одинок. И что же? После тщательной и нелицеприятной проверки ЦК РКП(б) запретил Троцкому вмешиваться в дела Южного фронта!

Однако есть же еще и Петроградский фронт, против Юденича,— и вот как, по его собственному рассказу, Лев Давидович спасал Петроград:

— Когда отступающие цепи почти вплотную навалились на штаб дивизии в Александровске, я сел на первую попавшуюся лошадь и повернул цепи кругом... Я на лошади заворачивал *всех поодиночке!*

«Всех поодиночке!» — да ведь это же «новое слово» в тактике! Если полк дрогнул, поддался панике, побежал от врага — командующий, садись на первую попавшуюся лошадь и заворачивай каждого поодиночке.

Самовлюбленный до забвения всякого приличия, оглушаемый тулумбасами бешеной рекламы, которыми всякий его шаг сопровождали троцкисты, да и сам большой мастак по части саморекламы, Троцкий удивительно повторяет Керенского, над которым столь язвительно смеялся. У него даже и обмороки такие же — публично-эстрадные.

— Склонность к обморокам при физической усталости или недомогании я унаследовал от матери. Это и дало повод одному американскому врачу приписать мне падучую болезнь.

А уж как боготворят его массы:

— В полузабытьи истощения сил приходилось плыть к выходу на бесчисленных руках над головами толпы.

А дезертиры как его обожают:

— Они провожали меня до автомобиля, глядели во все глаза, но уже не испуганно, а восторженно, кричали во всю глотку и ни за что не хотели *отлипнуть* от меня!

И, конечно, у него не просто «шофер», а «мой верный шофер»:

— С моим верным шофером мы исколесили север и юг — то за медведями и волками, то за фазанами и дрофами.

Барственно-вельможные, стародворянские повадки, бьющие в нос: свита, секретари, адъютанты, ординарцы и порученцы, егеря по всем видам охоты и рыбной ловли, конечно, тоже «верные» и «мои», повара и конвой, готовый сложить свои головы на пороге владыки!

Правда, иной раз он спохватывается. Когда в газете его личного поезда покорные ему перья слишком беспардонно стали превозносить его, он счел своевременным напечатать, что такие-то, дескать, номера вышли в его отсутствие. «Мною предложено устранить из газеты неуместный личный момент. Дело — в армии, в рабочем классе, в крестьянстве, а не в отдельных лицах».

Но «провинившиеся» прекрасно знали, что единственное кушание, которое ежедневно пудами, несмотря на свой катар желудка, способен поглощать их высокопоставленный шеф, — это *лесть*. И через номерок-другой все пошло по-прежнему. И Лев Давидович не унимал больше своих барабанщиков и трубачей!

Никто не думает отрицать, что это был проворный, острый и энергичный журналист-международник; выработанный оратор-актер; человек, зачерпнувший путем самообразования и многолетнего скитания по заграницам кучу разнообразных познаний, и, наконец, не лишенный остроумия литератор.

Но и здесь сколь многое его песнопевцам и трубачам приходилось отбрасывать, закрывать глаза, чтобы не подчернить сочиняемый, вкупе с ним, его образ!

Сколь часто его остроты были образцом самодовольной пошлости, неуместности и безвкусия, а он и не понимал этого!

...Черные для всего народа дни, когда жизнь тяжко, почти смертельно раненного Ленина могла вот-вот угаснуть... Тревожно-траурное заседание ВЦИК... И во́т что нашел возможным сказать, а потом и напечатать Лев Давидович:

— Мы знали, что о товарище Ленине по характеру никто не может сказать, что ему не хватает металла; сейчас у него не только в душе, но и в теле металл, и он будет еще дороже рабочему классу России!

Троцкий... Вдумываешься в этот роковой, всячески раздутый и раздуваемый зарубежной вражеской рекламой, а по существу, трагикомический образ, и вот, как бывает, если с пышного кочана капусты сдирать один за другим листы, и остается довольно неприглядная кочерыжка,— точно так же и здесь перед глазами предстает обнаженная, истинная «кочерыжка» этой личности: больное, до наглости доходящее, неистовое честолюбие!

Бессчетное количество раз кощунственно приравнивает он себя к Ленину. Но у него даже — не Ленин и я, а — я и Ленин, я и Ленин — повсюду!

Даже отмену продразверстки и переход к новой экономической политике этот барон Мюнхгаузен хочет приписать себе:

— Для меня эти тезисы были только возобновлением тех предложений, которые я внес *год назад*.

Как тут не вспомнить разительный ответ Ленина одному коммунисту-делегату, когда тот сказал, что вот, дескать, год назад он тоже предлагал отменить продразверстку, а его за это чуть из партии не исключили!

Привычно сощурив левый глаз и усмехнувшись, Ленин переспросил:

— Год назад вы это предлагали?

— Да!

— Год назад вас расстрелять следовало за это!

...Хвастливость Троцкого — она столь дурного тона, что едва ли кто из самых оголтелых его приверженцев не досадовал на него за это.

Но разве в том состоит чудовищный вред, который этот роковой человек, поднятый к рычагам власти, нанес великому и доверчивому народу, Советскому государству и вождю народов — Коммунистической партии? Конечно, нет! Тут можно было бы успокоиться на из-

вестном в психиатрии понятии «бред величия», который может охватить и какого-нибудь Поприщина!

Но этот человек *трижды* ставил Россию и революцию на грань гибели, злоупотребив доверием партии.

Первый раз — это в Бресте.

Второй раз — в самом начале чешского мятежа, когда безрассудным заключением в тюрьму Ма́ксы и Че́рмака, искренних посланников доброй воли, а больше всего — телеграфным приказом расстреливать на месте каждого вооруженного чеха он толкнул в объятия контрреволюционного офицерства и простых солдат-чехов, опрокинув этим всю работу коммунистической чешской группы в рядах корпуса.

Третий случай — это его попытка остановить наступление Красной Армии на Златоуст и Челябинск.

Сибирь — житница России. А Челябинск — ворота в эту житницу. Так было в те дни!

Распахнуть эти ворота перед Пятой армией, возглавленной Тухачевским, и стало первейшей боевой задачей челябинского большевистского подполья летом тысяча девятьсот девятнадцатого года.

Матвей Кедров — но теперь уже снова под другой, а может быть, и под третьей или четвертой фамилией — был в начале мая возвращен из Красной Армии на работу в челябинский, самый мощный по всей Западной Сибири очаг большевистского подполья. Он переброшен был через фронт вместе со своими, которых он знал и любил: командир стрелковой бригады Степан Ермаков, начальник особого отдела дивизии Агат Копырников и и его жена Машенька, которую сотрудники политотдела, полюбившие ее душевно и крепко, прозвали в шутку: «Машенька — за всё». Она знала об этом и не обижалась.

Да и в самом деле: каких только трудов не взвалила на свои плечи Машенька! Была одной из лучших сотрудниц политотдела по агитации среди женщин в окрестных селах, деревнях и заводах. Однако не забывала и своей сестринской былой специальности и что была не просто сестрой, а сестрой-хозяйкой. Одно время ее попросили «по совместительству» быть комиссаром санчасти. Тут под ее неусыпным, толково-проворным ру-

ководством в кою пору в попутных селах и деревнях кулацкие добротные дома, оставленные сбежавшими хозяевами, превращались в отличные лазареты и госпитали. Отлично умела, даже и на коротких приостановках, наладить для красноармейцев банные дни.

Но едва ли не самым ее «коронным» призванием было уходить разведчицей в ближайший тыл белых. И разведки ее всегда кончались благополучно и обогащали начальника штаба сведениями ценнейшими.

Агат Петрович не препятствовал ей в этом. Но вскоре все в штабе дивизии стали замечать, как страдает и люто мучается душою этот замкнутый, несловоохотливый человек в дни, а иногда и ночи, когда его Машенька уходила, преображенная в простоватую крестьяночку, в очередную разведку.

Всеми силами отгонял он мысли о том, каким надругательствам, каким мукам будет подвергнута она в контрразведке белых перед смертью, если схватят ее.

Перед нею же, когда возвращалась, Агат Петрович напускал на себя вид горделивого спокойствия и удовлетворения. Хвалил. Говорил ей, что, не будь Машенька его женой, давно бы он представил ее к ордену Красного Знамени.

А когда она сообщала, что ей снова идти в разведку, говорил свое обычное: «Что ж, значит, надо!»

И напутствовал ее бодро и мужественно.

Неожиданно начальник штаба вычеркнул — и один и другой раз — имя Марии Копырниковой из списка снаряжаемых в разведку.

Агат вспылил. Потребовал объяснений. Ответ был прост и краток:

— Приказ начдива!

С грозным вопросом предстал Копырников перед начальником дивизии:

— Стало быть, лишаете Марию Копырникову политического доверия? Что же мне о том ни слова? Я — начальник Особого!

Начдив знал, что иной раз унять этого грозновспыльчивого товарища можно только единственным средством: навстречу его волне гнева — бросить свою!

— Прежде всего, товарищ Копырников, ставлю тебе на вид, что это есть *приказ*. Мотивировка приказа перед подчиненным не обязательна. Надеюсь, тебе ясно это?

Агат Петрович молча кивнул головой.

Начдив продолжал безжалостно:

— До сих пор я знал начальника особотдела как самого дисциплинированного товарища. И не думал, признаться, что придется напоминать ему азбуку военной дисциплины!

Копырников покраснел. Встал. Четко и подчеркнуто произнес:

— Разрешите идти?

Начдив, улыбнувшись, ответил:

— Не разрешаю. Сядь!

А вслед за тем совсем иным голосом — голосом друга — покаялся в истинных побуждениях своего приказа насчет Машеньки:

— Ты пойми: во-первых, разве мы слепые, не видим — на тебя на самого нам всем больно смотреть, когда она в разведке! Эдак скоро тебя — на госпитальную койку! Ну а затем, честно признаю́сь,— ревнуй не ревнуй! — мы же и все в Машеньке твоей души не чаем! Сердце не на месте, когда она там! — При этих словах начдив как бы указал в сторону противника.— Случись что с нею — большой клок седины прибавится на этой голове... Да и не только на этой!

Копырников, потрясенный, только и нашелся ответить:

— Да ведь как же иначе? Фронт!

Начдив ему возразил:

— Правильно. Но она и без того сколько раз уходила в разведку! Это, кстати сказать, и не рекомендуется, как ты знаешь. Надо менять разведчиков. А у нас не безлюдье на этот счет. Что же касается Машеньки твоей, Марии Дмитриевны, то она в санэпиде куда больше пользы приносит. Шутка ли: охрана здоровья и жизни бойцов. Профилактика заболеваний. Борьба с эпидемией! Да ты и сам грамотный!

Улыбаясь, обнял Агата за плечи и сказал на ухо:

— Ну а если у нее тяга такая — разведчицей быть, так скоро наразведывается досыта. Только что получили пакет: Матвей Матвеевич Кедров откомандировывается из армии... Куда — ты знаешь. И просит перекинуть вместе с ним тебя, Марию Дмитриевну и комбрига Ермакова.

В дни *мартовского* отката Пятой армии к западу, далеко за Уфу, когда торжествующий адмирал уже испустил директиву — прижать разбитые армии красных к Волге, отрезав им путь к переправам через Волгу! — Сиббюро ЦК принуждено было перенести свою резиденцию из Уфы сперва в Бугульму, а затем и еще дальше на запад. Действенное руководство урало-сибирским подпольем стало тогда непреодолимо трудным, и ЦК дал указание временно работу Сибирского бюро приостановить, а сильнейших подпольщиков Приуралья перевести в Пятую армию на ответственные посты.

Так многие Кедровы, Копырниковы, Ермаковы и оказались временно изъятыми из приуральского и западносибирского подполья для службы непосредственно в рядах Красной Армии.

Дни отступлений и поражений всегда черны для сердца солдата! Недаром кто-то из полководцев минувших времен сказал: «В армии, которая отступает, раны дольше гноятся!»

Но еще чернее стали мрак и тоска мартовского отступления, когда в армии узнали о смерти Якова Михайловича Свердлова.

Особенно глубока была скорбь Матвея, ибо с народной скорбью у него сомкнулось его личное горе.

Свердлов был для него не только могучий и самоотверженный боец пролетариата, безвременно, в расцвете сил сгоревший в тягчайших трудах и борьбе; не только один из созидателей Советов; не только дерзновенно-мудрый, бережно-осмотрительный кормчий всего урало-сибирского противоколчаковского подполья,— нет, для Матвея Кедрова он был еще и «товарищ Андрей», и «Михалыч», нежно любимый соратник и сотоварищ по тюремным голодовкам и кандалам былых, давних дней.

И представить его в гробу — это было выше его душевных сил!

Когда на траурном митинге в одном из полков стал рассказывать он красноармейцам, рабочим и крестьянам, кого потеряли трудящиеся России, и начал читать из речи Ленина на похоронах Свердлова: «Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы»,— голос у Матвея Матвеевича захлебнулся слезами,

и после тщетных усилий обороть этот горестный взрыв он махнул рукою и сошел в ряды тех, кто в скорбном молчании внимал ему.

Заданием челябинской верховной тройки, глубоко законспирированной, в которую входил и Матвей Кедров, было: подготовить крупные отряды рабочих — отряды по-настоящему боевые, с крутой красноармейской дисциплиной, отлично вооруженные,— дабы в должный момент, когда завяжется сражение за Челябинск, своим ударом с тыла помочь армии Тухачевского опрокинуть белых.

Непосредственным созданием и обучением этих рабочих батальонов — конечно в раздробленном, расчлененном виде и во множестве окрестных точек уезда — ведал главным образом комбриг Степан Ермаков.

Разведкой челябинского, сугубо военизированного подполья руководил Агат Копырников, само собой разумеется, под другими именами и кличками.

Но едва ли не самым для него главным условием неузнаваемости было то, что далеко запримеченный когда-то и в Челябинске и на Тоболе в бытность свою председателем Чрезвычайной комиссии, прозванный врагами Одноглазым дьяволом, Агат Петрович был теперь о двух глазах после удачно произведенной, еще в Симбирске, замены его истекшего глаза стеклянным, и со столь безупречным подбором, что, лишь внимательно всматриваясь, можно было заметить разницу.

Машеньку устроил Кедров заведующей буфетом челябинского вокзала. Трудно было и придумать для ответственной разведчицы боевого подполья место более удачное! Здесь перед ее глазами бесконечной чередой проходили офицеры множества колчаковских частей, как движущихся на фронт, так и отводимых в тыл. Немало оставалось еще и чешских офицеров. «Читать» погоны и чешские нарукавные знаки отличия она умела уже давно. И сколь много приносило это «чтение», избавляя от бесед и расспросов, всегда небезопасных!

Впрочем, привлекаемые приветливостью и обаянием главной хозяйки буфета, и поручики, и капитаны, и полковники, неторопливо прихлебывая перед ее прилавком винцо, любуясь ею, сами заводили с нею беседу; выпив

бокал, обычно просили повторить и становились не в меру словоохотливыми.

Так что и расспрашивать ни о чем не приходилось!

Была и еще одна чрезвычайная выгода для всей работы челябинского подпольного очага от пребывания Машеньки на этом посту.

Среди официанток-подавальщиц челябинского вокзала именно в силу особого стратегического значения этого узла были и осведомительницы-шпионки, смазливенькие и податливые на знакомство, из которых одна обслуживала колчаковскую контрразведку, другая — чешскую, третья — французскую, а четвертая — английскую.

С ними приходилось держать ухо востро!

Но из кедровского подполья две опытнейшие разведчицы тоже работали подавальщицами в зале первого класса. Они подчинены были Машеньке. Подружничая с *теми,* они успевали вызнать и сообщить ей многие сведения чисто военного значения.

Да и сама она знала шпионок в лицо и могла, виду не подавая, наблюдать за ними из-за своей стойки и делать нужные заключения.

Все добытое и вызнанное из множества подпольных точек и Челябинска, и уезда, и даже из более отдаленных очагов, с Тобола, воссоединялось и претворялось в оперативно-стратегическое решение в сознании Матвея Кедрова.

После того как полностью рухнули попытки омских стратегов остановить и опрокинуть в горных проходах Среднего Урала армию Тухачевского, которая с наступательными, кровопролитными боями прошла от Волги до Златоуста; после того как этот юнейший из командармов искуснейшим, хотя и опасным движением вдоль теснины реки Юрюзань вывел свой ударный таран — Двадцать шестую и Двадцать седьмую дивизии — в тыл ошарашенному врагу, на подступы к Златоусту,— сражение за Уральский хребет можно было считать законченным.

Подверглись разгрому отборнейшие силы врага, возглавленные лучшими из его полководцев — Каппелем, Войцеховским, Молчановым.

Тринадцатого июля части Двадцать шестой и Двад-

цать седьмой дивизий ворвались в Златоуст и с юга и с севера. Из рук противника вырван был ключ Урала! Перед Пятой армией открывались бескрайние, тучные равнины Западной Сибири.

Разбитые, перемешавшиеся, охваченные паникой войска адмирала неудержимо, как горные селевые обвалы, сползали, все убыстряясь и убыстряясь, с восточных склонов хребта к Челябинску.

Тогда-то в двух головах — в голове колчаковского «наштаверха» генерала Лебедева, рослого и молодцеватого, с замашками по стратегической части, и в голове генерала Сахарова, нового командира Третьей, иначе говоря, Западной армии,— «Бетонноголового Кости», как любили и теперь вспоминать его былые однокашники по кадетскому корпусу, суховато-напыщенного, малорослого крепыша, с необычайно быстрым шагом, чем сближал он себя с Петром Первым,— в двух «стратегических» головах одновременно и возник дерзкий замысел: завлечь армию Тухачевского в челябинский мешок, не останавливаясь даже и перед сдачей города, а затем взять ее в клещи внезапным страшным ударом по ее открытым — и северному и южному — крылам и... уничтожить, перехватив железную дорогу в ее тылу.

Что ж! Были основания, и немаловажные, попытать счастья. Не перечислить всего! А первейшее, главнейшее из этих оснований было то, что с потерею Западной Сибири под ногами адмирала и его правительства разверзалась бездна неминуемой гибели. И Колчак понимал это.

Иные из старых генералов всячески отговаривали его от Челябинского сражения:

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство! Лучшие части фронта отступают в полном смятении. А две новые наши дивизии — они еще сырые, и не с ними предпринимать столь сложный маневр, как намеренное отступление в центре с тем, чтобы захлопнуть противника с обоих флангов!

Но не Лебедева смутить было таким возражением, этого понаторелого в происках и царедворстве вундеркинда ставки! Показывая неоднократно адмиралу на большой стенной карте, каким углом выперла к востоку, к Челябинску, армия Тухачевского, он рассчитанно толкнул «верховного» на подсунутый ловко неизбеж-

ный вопрос: «А что, если срезать нам этот угол, а?! Ударом с флангов!»

И адмирал пояснил сказанное, сдвинув руки.

Начальник штаба сперва как бы онемел, пораженный стратегическим осенением адмирала. А затем восторженно воскликнул:

— Ваше высокопревосходительство! Я никогда не был льстецом. Но это ваше решение — гениальное! Именно: срезать. И даже, если потребуется, впустить красных в центре в самый Челябинск!

Колчак согласился:

— Что ж! Даже и впустить. А затем — захлопнуть!

— Ваше высокопревосходительство, я немедленно отдам ставке приказ разработать срочно техническую сторону предложенной вами операции!

А между тем уже недели за две до этого разговора Сахаров с Лебедевым, отстранив осмотрительного «главковостока» Дитерихса, полным ходом вели передвижения войск, необходимых, по их расчету, для челябинского капкана.

Но отныне главным автором предстоящей под Челябинском операции считал себя *Александр* Колчак.

На имени его — Александр — и сыграл вскоре генерал Лебедев на последнем военном совете у «верховного». Заместитель военного министра барон Будберг, люто ненавидевший Лебедева, прослывший вечным брюзгою, еще раз осмелился повторить, что с не обученными в полевом отношении, сырыми частями столь сложного маневра: отступить в центре, захлопнуть с флангов — никто не предпринимал, будучи в здравом рассудке.

Лебедев с язвительной и высокомерной усмешкой прервал его:

— Ошибаетесь, ваше превосходительство! На Чудском озере у *Александра* Ярославича такой же точно маневр получился неплохо! А войска у него были куда более сырые, чем... у *Александра* Васильевича!

И слегка склонил большую, со строгим пробором, угловатую голову в сторону адмирала.

Через разведку, а главным образом через офицеров-перебежчиков колчаковская ставка была осведомлена, что выдвинутая углом на восток, к Челябинску, Пятая

армия красных не может рассчитывать на быструю помощь ни слева, ни справа. Ближайший ее сосед слева, к северу, Вторая армия после взятия ею Екатеринбурга уже снята и перебрасывается против Деникина. Более отдаленный северный сосед, Третья армия, овладевшая Пермью и наступающая, все еще отстоит далеко, уступом кзади, хотя новый командующий Востфронтом Фрунзе и торопит ее, требуя, чтобы она двигалась уступом кпереди.

И южный сосед Тухачевского, Первая армия, которую прежде вел он, скована тяжкими боями с оренбургскими казачьими войсками и корпусом Белова-Виттенкопфа. Да и слишком велик пространственный разрыв между нею и Пятой армией!

В салон-вагоне белого командарма генерала Сахарова над картой Приуралья, раскинутой на столе, происходит дружеская, с глазу на глаз, беседа генерала с полковником Оберюхтиным, начальником штаба. Ее предметом является Тухачевский и то опасное положение, в которое он поставил свою армию безудержным движением на Челябинск.

На карте, справа и слева от Челябинска, хищными остриями загибаясь навстречу одна к другой, на запад от города, с перехватом тыловой железной дороги на Златоуст, красиво вычерчены две жирные синие стрелы предстоящего удара.

Касаясь их легкой указкой, полковник Оберюхтин басит:

— Я не понимаю все-таки, ваше превосходительство, чего он так вырвался вперед со своей Пятой армией, этот новоявленный их красный Наполеон, командарм из подпоручиков? Под Симбирском и Самарой он был куда осмотрительнее, ей-богу! Нам же известно: потери в живой силе у него огромные. Нет! Прет в благородном одиночестве, не останавливаясь, подставляя открытые фланги! На что он рассчитывает?!

Сахаров не любил, когда, беседуя с ним, начальник штаба вперед высказывал какое-либо слишком определенное суждение. Поэтому и сейчас, хотя и вполне согласный с ним, он ворчит, назидая:

— Я думаю, вы не совсем правы, полковник. Я посоветовал бы вам, если только вы не предвосхитили уже мой совет, поинтересоваться послужным списком этого

командарма из подпоручиков. Да, подпоручик! Но — лейб-гвардии Семеновского полка! Александровское училище окончил блистательно, с правом выбора. Помню, мы поражались: во время Галицийской битвы и боев под Варшавой — шесть боевых наград за полгода! Вот вам и подпоручик! Не сомневаюсь, он закончил бы великую войну в штаб-офицерских чинах, если бы не попал в плен. Но ведь и оттуда бежал, с опасностью для жизни, после неоднократных попыток! Так что...

Не договорив, тяжело вздохнул, развел короткопалые пухлые руки и добавил угрюмо, злобно:

— Ну а там — дело известное: предложил свою шпагу большевикам! Что ж, дорожка была проторена старшими: Клембовский, Гутор, Свечин, Зайончковский, Величко, Николаев, Самойло, наконец, Каменев, Шейдеманы — Сергей и Юрий... Всех знал... любил... верил... Многих встречал в ставке, у покойного государя... Кажется, сейчас могу перечислить все их «с мечами и бантами»: кому, когда и за что!

Воспользовавшись этими его словами и дабы исправить допущенную им вначале бестактность, полковник — уже в который раз! — выразил свое восхищение удивительной памятью Сахарова на людей, на их послужные списки с наградами и производствами.

Этой памятью, поражающей подчиненных, командарм Третьей любил покрасоваться при объездах частей. Иной раз, выслушивая рапорты, доклады и сводки, он останавливал адъютанта, когда тот для записи раскрывал полевую книжку: «Не надо! Записная книжка командующего — здесь и здесь!» И показывал на свой лоб и сердце.

Беседу о Тухачевском Сахаров закончил таким суждением:

— Конечно, в данном случае, — тут он ткнул пальцем в карту, — сказывается у этого человека отсутствие академического образования и настоящего стратегического опыта. Александровское училище... но там отрабатывали задачи максимум за батальон, на фоне полка. Перед своим пленом он командовал всего лишь ротой. Ясно, что, будь на его месте Гутор, Клембовский, Свечин, эти не поступили бы столь опрометчиво!.. Но...

И, повеселев, заключил с лукавой усмешкой:

— Не нам с вами, полковник, пенять за такую стратегическую оплошность на этого...— я понимаю: вы иронизировали! — на этого «красного Наполеона»!

...Бывают в жизни странные совпадения!

Ни Сахаров, ни Оберюхтин — ни тот, ни другой ни разу не видели в лицо Тухачевского, и не им было знать, что близкие к Тухачевскому люди из его военного окружения, допускаемые к дружеской короткости с не очень-то склонным к ней командармом, иной раз, залюбовавшись им, говорили ему о его необычайном сходстве с Наполеоном.

Да! Чеканно-красивое, чуточку как бы итальянское или узбекское, тонких очертаний, волевое, а в то же время округло-нежное, юное лицо, с огромными серыми глазами ледяной строгости, невольно вызывало в памяти лицо гениального корсиканца, дней его молодости.

Тухачевскому досаждали эти сопоставления. И однажды он ответствовал так:

— Ну что ж! Сходство неплохое. Особенно если притом хотя бы искорка внутреннего сходства! Но, признаться, мне гораздо больше льстит другое...

— Что, Миша?

— А то, во-первых, что я — *однополчанин Суворова!*

— Ты с ума сошел! Это же восемнадцатый век!

— А вам следовало бы лучше знать историю русской армии, мой дорогой друг! Я потому и выбрал лейб-гвардии Семеновский полк, что в нем — правда, несколько ранее меня, — служил Суворов!

— Прости, забыл совсем! Ну конечно же: Суворов начал в Семеновском — однополчане! Ну, а *во-вторых?*

— А во-вторых — по порядку, а не по значению! — командарм Тухачевский больше всего на свете гордится тем, что в командармы из подпоручиков его возвел Ленин! *Его* рукопожатие, *его* напутствие и доверие — вот моя сила! И это он и моя партия научили меня строить армию в войне *классов,* управлять ею и побеждать!

Да! Это был коммунист-полководец, полководец-мыслитель, который суворовскую «Науку побеждать», вошедшую в плоть и кровь, теперь на тысячеверстных пространствах великой гражданской войны, сочетал —

и тем несказанно вознес и усилил — с *наукою побеждать,* преподанной ему величайшим стратегом пролетариата!

Истинный Верховный главнокомандующий — Ленин отнюдь не общо, а прямо-таки вплотную руководил стратегией фронтов и армий. Но вряд ли кто из его полководцев с таким беспримерным блеском, стремительностью и полнотою воплощал его начертания, как Тухачевский.

Вскоре после того как на Волге принял он Первую армию, после тяжких ее поражений от чехобелых, еще в полном *разнобое разноотрядья и внутренней неурядице,* именовавшейся в те дни «партизанщиной», его знакомят с такой телеграммой от Ленина:

«Председатель Совнаркома Ленин приказал донести, почему в Первой армии живут в вагонах и не переходят к полевой войне. Примите меры к выдворению войск из поездов. Пусть войска формируют обозы».

И с тех пор командарм Тухачевский первым из первых кладет начало смелому отрыву армий от железных дорог и переходит от рельсовой, эшелонной войны к боевому маневру на широчайшем оперативном просторе, с молниеносной переброской войсковых масс на сотнях и тысячах так называемых обывательских подвод.

У Ленина была легкая на людей рука и прозрение в самую сердцевину беседующего с ним человека. И действительно, с той кремлевской встречи, с напутствия ленинского и рукопожатия начинается стремительный полководческий взлет Михаила Тухачевского.

По-ленински мыслит он отныне как стратег, по-ленински стремится и действовать. В деле войны, во всем, что касается не только армии, но и отдельного красноармейца, для него нет мелочей. Он объемлет своим сознанием и такие, казалось бы, мелкие вопросы, как грузоподъемность уральской и западносибирской крестьянской телеги; выносливость местных мохноногих лошадок; сколько требуется подвод для роты, полка, дивизии, чтобы и снабдить данное подразделение и чтобы перекинуть его на столько-то верст; не выпускает из поля зрения и армейские склады, и ротные обозы, и мастерские по ремонту обуви, и пошивочные мастерские.

Строго взыскивает с командиров и врачебного состава за потертости ног у красноармейцев.

Сам всегда подтянутый, четкий, сдержанно-стремительный, образец чистоты и воинского должного вида, несмотря на то что и гимнастерка со следами погон, и синие офицерские брюки на нем довольно поношенные, командарм неукоснительно требует от всех опрятности, чистоты и подтянутости.

То были еще времена, когда иной командир, особенно из прежних офицеров, в ложном расчете стать своим, народным, запускал свою внешность и одеяние, не брился, крутил козью ножку, сплевывал на пол, лущил семечки, сквернословил.

Таковым от командарма потачки не было.

«Доходит до всего!» — многозначительно говорили о нем красноармейцы.

И вот в это же самое время Тухачевский создавал в пылающем горниле боев, упорных и непрестанных, свой изумительный, построенный на глубокой марксистско-ленинской основе, еще неслыханный труд: «Стратегия национальная и классовая» — труд, потрясший маститых военных академиков.

Недаром один из них сказал начальнику штаба Тухачевского:

— Заставит меня этот Мишенька на старости лет засесть за «Капитал» вашего Маркса!

И в своем безудержном движении через Урал в Сибирь, на Челябинск, командарм Пятой армии также следовал прямой директиве Ленина:

— От *ослабления* наступления на Урал и на Сибирь *мы погибнем,* мы должны *усилить* это наступление силами восстающих на Урале рабочих, силами приуральских крестьян!

Ленин не скрывал от народа, что «колчакия», «империя Колчака» еще «гигантская сила», ибо ей помогает «всемогущая Антанта», и тем не менее, говорил он, здесь, на Востоке, мы бесконечно сильными стали, потому что миллионы крестьян Сибири пришли к большевизму — Сибирь поголовно ждет большевиков!

Командарм Тухачевский прекрасно знал, что он идет навстречу непревзойденному по своим боевым качествам и по своей готовности стоять насмерть кедровскому рабочему пополнению.

Но уже и не одни рабочие были теперь в этом пополнении: и бедняк, и середняк-крестьянин, и убежавший из колчаковских армий рядовой.

Ценнейшим кадром подпольно творимых батальонов наряду с заводским и железнодорожным рабочим, с шахтером и лесорубом был старый солдат-фронтовик, поднимаемый по всему уезду Степаном Ермаковым и его штабом.

Вот когда снова и снова подтвердилась великая истина, высказанная Лениным:

— Залог нашей победы в том, что военное дело перестало быть ремеслом и привилегией офицерской касты, что за годы мировой войны народные массы овладели военными знаниями и оружием.

Своему окружению Тухачевский любил напоминать эти ленинские слова. А когда ему приходилось слышать восторженные хвалы *его* полководческому искусству, его победам, он не просто сердился — он гневался и негодовал.

С присущей ему сжатостью слова Тухачевский говорил:

— Оставьте! Это — Восьмой съезд нашей партии побеждает: середняка стали беречь! Советы побеждают! А себя — себя я считаю только военным техником этой победы. Да и еще бы не побеждать нам с вами, орлы, когда *одиннадцать тысяч* коммунистов пришло к нам за каких-нибудь два месяца!

Орлами, по-суворовски, именуя своих ближайших соратников, командарм знал, что они достойны этого имени. Это было созвездие Тухачевского! Среди крупнейших командиров и комиссаров, несших непосредственно рядом с ним сверхчеловеческую тяжесть войны, были такие, как Вострецов и Генрих Эйхе, Путна и Павлов, Грязнов и Нейман, Корицкий и Азарх, Гайлит и Лапин, Блажевич и Хаханьян, Березовский и Сокк, Кучкин и Гончаров!

Над угрозой удара белых по открытым флангам Пятой армии командарм издевался. Ибо не только армии, но и дивизии и полки он убежденно стремился отучить от так называемой флангобоязни — недуга, в то время распространенного.

— Нас обходят?! Но еще Суворов говаривал: «Обходящий — сам обойден!» А еще говаривал он, что у него

флангов и тыла нет: с какой стороны враг — с той стороны и фронт! Этак мы и прорывов не должны были делать!

— Но, Михаил Николаевич, армия вымоталась! Убыль в частях — огромная. Резервов нет.

— Что ж делать — война! В Челябинске отдохнем. Там и пополнимся. Наш резерв впереди. А на охват есть маневр!

Так что вступление Пятой армии в подставленный Сахаровым «капкан» Челябинска отнюдь не было для ее командарма очертя голову отчаянным риском.

Едва только обе лапы «капкана», северная и южная,— шестнадцатитысячный ударный кулак на севере, у Войцеховского, и десятитысячный — на юге, у Каппеля, — стали приходить в движение, дабы сомкнуться и окружить, как тотчас же, одна за другою, сотни и сотни вооруженных рабочих, роты, батальоны, дотоле укрытые, хлынули из города к угрожаемым участкам правого фланга и центра Двадцать седьмой дивизии.

Неимоверной, грозной по тем временам была их численность: более шести тысяч!

Это и был кедровский резерв челябинского подполья!

В то же самое время особый отряд челябинских железнодорожников во главе с Агатом Копырниковым разворотил рельсы в ближайшем тылу наступающих белых и свалил под откос два колчаковских бронепоезда,

Крепко заняв оборону в центре, рабочие отряды высвободили командарму его строевые полки для ответного дробящего удара и охвата северо-западнее Челябинска — по крылу Войцеховского.

Однако недаром же колчаковской ставкой были собраны здесь последние силы из числа отборнейших, с придачею к ним двух свежих, полнокровных дивизий: Челябинское встречное сражение стало одним из самых упорных, продолжительных и беспощадно-кровавых. Оно длилось семь дней!

А тем временем усиленными переходами, вернее, *переездами* к месту сражения подоспела и Третья армия красных.

И тогда только, угробив свои лучшие полки, Войцеховский, Каппель, Молчанов поняли, что не окружать,

а успеть вытянуть из-под Челябинска свои *окружаемые* войска — в этом сейчас единственная их задача как полководцев.

С тяжелыми потерями, с переходом на сторону красных целых полков, войска адмирала, сбиваясь в один огромный, истерзанный, искровавленный ком к железной дороге, откатывались к Тоболу...

...Генерал Сахаров не вдруг осмелился показаться на глаза «верховному»!

Особняк на Иртыше погрузился в мрак и отчаяние. Все ходили на цыпочках. Потрясенный челябинской катастрофой, адмирал то «штормовал» неистово и закидывался, а то впадал в молчаливую, черную расслабленность, как в полный упадок сил.

Метался в бессоннице.

Однажды адъютант поручик Шатров нес при нем ночное дежурство и с болью сердца услышал, уже часу во втором ночи, как стонет и ворочается на своей кровати адмирал. «Видно, опять боли в груди возобновились!» Не знал, чем и как помочь. Войти не смел.

Утром, войдя на звонок адмирала, он заметил на нижней полочке ночного столика шприц, а на полу валялась разбитая ампула. Внутренне содрогнулся: «Неужели морфин?» Но и виду не подал, что заметил. А после успокоил себя: «Что же, ведь, когда он лежал с воспалением легких, врачи сами впрыскивали ему, чтобы унять боль. Лишь бы не привыкал!»

Гораздо хуже, непереносимее для Сергея Шатрова было то, что опять слишком часто стала появляться в особняке Анна Васильевна Тимирева, давняя, еще со времен Петербурга, любовница адмирала. Оставалась у него иногда на ночь. И это особенно возмущало Сергея: «Как же так все-таки, он — верховный глава государства, на его устах постоянно — законность, правопорядок, восстановление потрясенных нравственных основ общества, защита церкви, семейных устоев; все знают, что у него остались в Севастополе жена и мальчик — давно ли даже прослезился перед нами, вспомянув о них, — и вот каких-то полгода или чуть больше пробыл на вершине власти, и уже в Омске судачат, что у верховного правителя любовница и что она тоже

чужая жена — жена адмирала Тимирева, законная, венчанная. Неладно! Нехорошо! Что же он может требовать тогда от своего окружения и вообще от высшего офицерства?»

Сама по себе Тимирева не возбуждала в Сергее неприязненных чувств: скромная, воспитанная женщина лет тридцати, суховато-изящная, почти всегда в строгом английском костюме с галстучком, не претендующая ничуть ни на вмешательство в политику, ни на место хозяйки в особняке.

На ее дневные, деловые появления здесь она имела даже некоторые права, так как работала в комитете по бельевому снабжению армии.

Происходила она из весьма достойной семьи: отец ее был знаменитый дирижер Московской консерватории Сафонов.

Нельзя было сомневаться, что она с давних пор и глубоко любит адмирала и всей душой ему предана.

А он? А о нем говорили в особняке, что он уже тяготится ею. Сплетничали о его увлечении Марией Александровной Каринской, эстрадной любимицей публики, красивой, знойной исполнительницей русских старинных романсов, «страданий» и всякой «цыганщины».

Тот же самый Николай Павлович Злобин в знак особого расположения к Сергею и «сугубо доверительно» шепнул ему, что супруг этой Каринской был по желанию адмирала вне очереди произведен из полковников в генерал-майоры. А когда один из дежурных генералов ставки, который должен был проводить это назначение, усомнился в его соответствии законам, то его уволили.

И об этом Сергею неприятно было слышать, но тогда он имел какое-то право ответить начальнику контрразведки, что считает все это злостной сплетней, а если адмиралу и нравится знаменитая певица, как нравится она всему Омску и даже на фронте, куда выезжает для выступлений, то ничего в этом плохого он, Сергей Шатров, не усматривает и носителя верховной власти это в его глазах не порочит!

Больше того! Если бы ему стало известно, что адмирал время от времени впадает в пьяный, чувственный разгул и где-то там, на стороне, как говорится, дает

волю отбушевать своим страстям, Сергей не стал бы судить его судом немилостивым.

Но эта постоянная и нескрываемая связь с чужой женой человека семейного, поставленного во главе всего белого движения, эти ночные приходы Тимиревой вызывали в нем столь тягостное чувство, что он сказал полковнику Гарпиеву о своем желании уйти на фронт.

Тот посмотрел на него пытливо:

— Что так?

И Сергей не смог врать перед ним.

Выслушав его, полковник Гарпиев, сверх обыкновения своего, ответил Сергею тоже откровенностью:

— Я вас понимаю, Шатров. И я рад, что я в вас не обманулся. Но, признаться, я простил бы ему и *это*, и даже оргии Нерона или Тиверия, лишь бы я и все, кто мыслит, как я, — мы видели бы, что это есть диктатор истинный: человек железа и крови! Но... вы видите, что творится! Он — *ставленный* диктатор. Воск. В этом наше несчастье! Мне жаль отпускать вас. Но... встретимся скоро где-нибудь на Тоболе. Я подал мысль адмиралу подготовить часть конвоя к отправке на фронт. Сказал, что сам поведу этот наш отряд. Он, как всегда, колеблется...

Отпуская Сергея, адмирал растрогался и даже перекрестил его на прощание и приложился губами к его склоненной голове.

Накануне отъезда на фронт Сергей твердо решил забежать, хотя бы ненадолго, к Елене Федоровне, чтобы проститься и с нею, и с неожиданно объявившимся у него братиком по отцу.

А утром раздумал, невольно сопоставив то, за что он осуждал адмирала, с тем, что совершил отец.

Злое отвращение к нему и горестная боль за поруганную любовь матери с такой силой вдруг овладели им, что лесничиха стала ему неприятна, как Тимирева. Обе они теперь слились для него в одно лицо.

Проститься он не зашел.

Итоги следствия о взрыве завода ужаснули Петра Аркадьевича Башкина: оказалось, что в этом диверсионном акте главнейшее участие принимали его любим-

цы — чехи. Двое из них военно-полевым чешским судом приговорены к расстрелу.

Контрразведка напала на след большевистской организации среди чешского гарнизона. Возмущение колчаковских властей страшное!

Да! Возвращаться ему, Башкину, на Тобол, на свое пепелище при таких обстоятельствах явно незачем. Но и оставаться в Омске без необходимой ему как воздух промышленно-управленческой деятельности тоже было невмоготу. И в конце концов он принял настойчивое предложение Кошанского войти в Государственное экономическое совещание при адмирале в качестве руководителя промышленной секции. Бывший управделами Колчака Георгий Гинс, ныне председатель совещания, в эти дни носился с мыслью превратить его в подобие парламента. Кошанскому это, как говорил он, «весьма импонировало»: неожиданное и долгожданное открывалось раздолье его красноречию!

Попутно снова приглашал Башкина вступить в масоны.

Тот рассердился:

— Послушайте, Анатолий Витальевич: масоны, как я понимаю, всесветные разрушители, ниспровергатели всех и всяческих авторитетов человечества — религии, царской власти, повиновения властям, — неужели это теперь ко времени?!

Кошанский посмеялся его неведению. Он разъяснил ему, что если так обстояло дело с масонскими ложами перед Великой французской революцией и некоторое время после нее, то уже во времена Империи, а в особенности теперь, всемирное братство вольных каменщиков — это самая охранительная сила и для церквей, и для тронов, и, наконец, для священного института частной собственности.

— И не путайте, пожалуйста, с иллюминатами!

Башкин помолчал, с нескрываемым любопытством на него посматривая, а потом тяжело вздохнул и отвечал ему горестной шуткою:

— Жаль, что не знал об этом раньше! Может быть, они, масоны, будь я *братом*, помогли бы мне защитить и мое достояние!

Кошанский, укоризненно покачав головой, возразил ему строго:

— Все — скепсис, все — скепсис, мой дорогой друг? А напрасно изволите шутить! Возможно, что и защитили бы *мы* ваше кровное детище, если бы... Потому что — говорю вам это сугубо конфиденциально! — среди самых высших руководителей чешского корпуса мне известны *братья* весьма высоких посвящений. Да, да! Имен я не имею права называть: номина сунт одиоза!

В эти же самые дни Ян Пшеничка в тайной беседе предупредил Микулаша Сокола, что чешская контрразведка городка на Тоболе почему-то потребовала от него в секретном порядке послужные списки всех его оркестрантов-чехов.

Опасливый Пшеничка не преминул оговориться, что, вероятно, дескать, это связано с предстоящей вскоре эвакуацией последних чешских частей с Тобола ввиду падения Челябинска, но на всякий, мол, случай решил, тоже под секретом, осведомить об этом «братра» Микулаша! Конечно, может быть, это ему ни к чему, а все ж таки «опатрност — матка моудрости» (осторожность — мать мудрости).

Микулаш ничем не выдал себя, а только спросил:

— Пан Пшеничка еще кого-нибудь из наших в оркестре предупредил?

Тот молча покачал отрицательно головой.

Посмотрели в глаза друг другу. Микулаш Сокол сдержанно поблагодарил приятеля-«братра» за заботу, однако не забыл сказать, что ему, Соколу, эти сведения действительно ни к чему.

В глубине души он был ему страшно благодарен. Это было мужественное предупреждение об опасности. Решаясь на это, Пшеничка подвергал опасности и себя. И это делает человек, всячески оберегающий себя от политики, казалось бы, целиком преданный личному житейскому преуспеванию, чья излюбленная поговорка, что «рубашка ближе к телу, чем пиджак»!

Для Микулаша Сокола было ясно, что проверка послужных списков стоит в прямой связи со следствием по взрыву башкинского военного завода. По-видимому, напали на след, но, как нередко бывает, арестовывать его одного не торопятся, а заводят крылья невода пошире.

Что опасность над головой — уверенность в этом укрепилась в нем, когда недалеко от Офицерского собрания он увидал Кондратьича. О том, что это старый и опасный провокатор на башкинском заводе, Микулаш знал.

Надо было спасаться!

В ту же ночь в госпитале Шатровой он увиделся тайно с Ефросиньей Филипповной Голубых — своей женой, советчицей, сподвижницей.

— Бежать! Само собой — на Шатровку! — таково было и ее решение. Она готова была и собрана к тому в любой час дня и ночи.

Да! Теперь уже никакой Иржи Прохазка, при всем его желании, не смог бы вновь защитить ее, «комиссара Голубых», как защитил тогда! Да и что он теперь? Тогда он был чешский, то есть почти всесильный, комендант города. А теперь всего лишь выздоравливающий после тягчайшего ранения поручик из числа небольшого и уже погрузившегося на колеса последнего здесь чешского отряда.

Врачебная чешская комиссия постановила даже вскоре после выписки Иржи из госпиталя отправить его на родину, но он отказался.

По старой памяти, а скорее всего, как мнилось Фросе, чтобы еще разочек повидать Ольгу Александровну, бедняжка Иржи долгое время предпочитал здесь, в госпитале, а не в чешском превосходно оборудованном лазарете сменять свою, уже совсем простую, марлевую подушечку, укрепленную полосками липкого пластыря над заживающей раной ниже левой ключицы.

Проницательно-молчаливая и никогда не преступающая границ, положенных ею самой в отношениях с Шатровой, несмотря на их взаимную любовь-дружбу, Фрося однажды все же не удержалась от легкой шутки.

Когда Иржи после очередной перевязки, как всегда, совершаемой белоснежными, длинными перстами «самой», удалился, благодарно и бережно к ним приложившись, Фрося, посмотрев ему вслед, сказала со вздохом:

— Он, бедняжечка, я думаю, согласился бы и вторую пулю в грудь принять, только бы *эти* ручки ему перевязку делали!

Ольга Александровна не нахмурилась, не остановила ее, как непременно случилось бы прежде. Свойственная ей чуть заметная влуминка улыбки, приоткрывавшей ее чудесные, млечной белизны, зубы, появилась и исчезла на ее упругой, светло-румяной щеке.

Ничего не сказала.

И тогда, насмелившись еще больше, но уже без всякого оттенка шутки, а, напротив, истово, убежденно, Ефросинья Филипповна добавила:

— А и почему правды не сказать! Не заступись бы он тогда, угодила бы я наверняка под расстрел. Доносище-то какой был: большевичка, комиссар Голубых! Знаю, что ради вас он тогда отвел беду от меня, а только... Понимаю ведь я разговоры ихние в чешской палате... Вроде бы отломок он от своих... Дрогнула в нем совесть!..

Вымолвила — и спохватилась испуганно: зачем же она, хотя бы и перед Ольгой Александровной, говорит этакое?

Шатрова и впрямь посмотрела на нее в некотором недоумении.

И Ефросинья Филипповна закончила:

— Ну и он, если живому ему суждено уйти из Сибири нашей, век будет помнить, что Ольга Александровна Шатрова да доктор Ерофеев у самой смерти его отняли!

Истинная правда была в этих словах. Когда Сергей, с великими препонами и злоключениями, доставил наконец в госпиталь матери раненого Иржи, не было никакой надежды, что он выживет. Потеря крови была ужасающая. А еще предстояло извлечение пули. О переливании крови тогда не было и помину. И только вливаниями физиологического раствора, подушками кислорода, сердечными да своей излюбленной сыропеченочной, кровотворной диетой, испытанной им еще на Степане Ермакове, доктор Ерофеев отдалял, как ему казалось, неотвратимый смертный исход.

Он вскоре же счел нужным подготовить к этому и Ольгу Александровну.

Молча, сдвинув болезненно брови, приняла она это его предуготовление. Но тотчас же вслед за этим их

разговором решительно взяла на себя все ночные дежурства у постели раненого. Огромный опыт госпитальной работы давно уже привел ее к печальному выводу, что все и всяческие случаи недосмотра за тяжелоранеными в госпиталях приходятся как раз на ночные дежурства сестер или нянечек возле их постели. И чтобы исключить малейшую возможность этого и чтобы некого было винить, если что́, медсестра Шатрова и приняла на себя целиком ночные дежурства в палате Иржи.

Извелась. Похудела. Крепким чаем и кофе поддерживала бодрость и силы, чтобы случайно не задремать. Малейший шорох, легкий вздох Иржи заставлял ее вскакивать с кресла и бесшумно склоняться над его койкой.

А утром, как всегда — раньше всех, была на своем обычном месте, в кабинете, вела прием посетителей, связывалась по телефону со всевозможным начальством, отдавала распоряжения.

Доктор Ерофеев укоризненно супился. Просил поберечь себя.

И когда миновала для Иржи смертельная опасность, этот угрюмо-чудаковатый, но добродушнейший человек однажды утром торжественно вступил в кабинет Шатровой и, растроганный чуть не до слез, поставил на ее письменный стол вазу, полную белых и алых роз: любимые цветы Ольги Александровны.

Смущенно-грубоватым голосом, поправляя левой рукою очки и слегка бычась, такими словами пояснил это свое необычайное подношение:

— Вот, дорогая Ольга Александровна! Примите! Непривычная для меня роль — подносителя цветов, но не могу иначе: это вам за спасение одного из моих безнадежных! Вы знаете, о ком я говорю.

И тщетно пыталась взволнованная Ольга Александровна уверить его, что это слишком чрезмерное превозношение ее заслуги в спасении раненого, что всё — он сам, доктор Ерофеев. «Нет, нет, — возражал, — и не говорите! Я многое перевидал на своем веку. Но не помню, чтобы какая-нибудь из матерей так вот, как вы, всю душу свою отдавала неусыпному уходу за больным сыном. И столько времени. И с таким самоотвержением. И с таким искусством!»

В чем, в чем, а в одном, бесспорно, не ошибался он, старый хирург: *материнское,* столь неизбежно и закономерно возникающее в сердцах и женщин-врачей, и сестер по отношению к спасенному ими раненому или тяжко больному бойцу, воину, — *материнское* это светилось и теплилось теперь и в сердце Ольги Александровны по отношению к Иржи.

И ничего неподобающего ее достоинству, ничего недозволенного она и не видела в этом чувстве.

Выздоровление Иржи как-то само собою, естественно отдалось во всем ее существе ощущением радостной победы над смертью и возвратило ей силы и здоровье.

Она даже напевала иной раз у себя, в своем строгом, деловом кабинете.

Ни одной повязки не поручала она чужим рукам. И ей отрадно было видеть, как дорожит таким своим правом этот выхоженный ею, поднятый со смертного ложа мужественный и суровый воин.

Было теперь и еще одно обстоятельство, которое позволяло Ольге Александровне душевно и ласково относиться к чеху.

Прежде вся ее гордость восставала при одной мысли, что даже и в слегка повышенном внимании к этому человеку, хотя и соратнику Сережи, кто-либо может заподозрить угодничество. Вот почему она и в дни комендантства Иржи, когда он отнюдь не был больше военнопленным, не удостоила его ни разу приглашением бывать в их доме, несмотря на то что он явно ожидал этого.

Теперь — совсем иное дело: Иржи никакое над ее госпиталем не начальство. Напротив, ее врачам, ее неусыпному уходу он обязан и самой жизнью!

И в спокойном достоинстве, она, в бытность его в госпитале, когда он стал уже прогуливаться по коридору, иногда приглашала его зайти к ней, в кабинет, просто так, побеседовать.

В одну из таких бесед Иржи совсем неожиданно признался ей, что сейчас он с ужасом и отвращением отшатывается от недавних своих политических взглядов и вытекающих отсюда действий и поступков. Преступно было их вооруженное вмешательство в судьбы русского народа, их попытка свергнуть советскую власть, их кровавая борьба на стороне вековых порабо-

тителей трудового народа, отдача всей своей грозной боевой силы во власть интервентов.

— Это мы, чехословаки, на Волге и в Сибири развязали эту беспощадную гражданскую войну. Без нас ее не было бы! Боевые награды мои будут жечь мне грудь: я получил их за то, что убивал русских братьев. И я сорву эти награды с моей груди прочь! Я — не большевик. Я чешский демократ и социалист. И, прозрев, я вижу, как чехословацкой легией в Сибири, через лживые лозунги демократии и свободы и через прямой подкуп наших вождей, двигали и движут Франция, Англия, Америка. Мы — говорю это с ужасом и страданием — *проданный* корпус!

Масарик? Что ж, он, Иржи, верит ему и сейчас. Он чтит в нем, в Масарике, мыслителя-гуманиста, вождя и отца чешского возрождения — возрождения государственного и социального; чтит первого президента Чехословацкого свободного государства. Но и Масарик был обманут и спровоцирован этим проклятым Гайдой, через его вероломное нападение на Советы!

— Вы, конечно, знаете, пани Шатрова, что́ сейчас творится в нашем чехословацком корпусе. Если он и охраняет еще Великую Транссибирскую дорогу, то единственно потому, что в ней видит спасительный путь на родину, через Владивосток. Иначе — гибель, говорят нам. Но все громче и громче раздаются в нашем корпусе голоса, что не лучше ли принять предложение Ленина и вернуться самым кратким и самым мирным, бескровным путем — через Советскую Россию, по договору Москвы с Прагой? Но... само собой разумеется, поворот на этот путь повлечет новое кровопролитие: на этот раз — с войсками адмирала!

— Господи, какой ужас!

— Да, это может стать ужасным, Ольга Александровна. Но у меня есть основания полагать, что этот исход все же будет и солдатами корпуса отвергнут. Союзники известили нас, что корабли для нашей эвакуации уже идут во Владивосток... А для меня лично ужас теперь в другом... да и для многих из нас: как же случилось, что я, чешский социалист-демократ, запятнал свою совесть кровью русских крестьян и рабочих?!

Иржи обхватил голову руками и, покачиваясь, застонал.

Потрясенная его исповедью, Ольга Александровна подумала: «Еще недавно — в одном отряде! Что бы сказал сейчас Сережа, услыхав эти его речи! Господи, как жить, как дышать дальше в этом сплошном кровавом безумии?!»

Она понимала, что только ей одной открыл он эту незаживающую рану своей души, как только ее рукам доверял перевязывать ту свою рану, пулевую.

Но здесь она бессильна была помочь ему даже словом!

А та его рана, почти совсем затянувшаяся, все же оставалась необычайно болезненной. Даже при всей бережности, с которой умела снимать повязки Ольга Александровна, всякий раз невольная гримаса боли пробегала по лицу Иржи. И это как в зеркале отражалось и на ее лице. Не замечая за собою, она тоже морщила брови, словно и ей было больно. Словно бы эта рана была ее.

Довольно долго, и даже после того как ему разрешены были уже и прогулки в саду, оставалось у него это опасливое бережение левого плеча.

Однажды Ольга Александровна и Фрося через окно кабинета наблюдали такую сценку. Навестить Иржи пришел один из его сотоварищей-чехов. Беседовали, стоя лицом друг к другу. Смеялись. Вдруг, желая, по-видимому, подбодрить его на прощание: ты, дескать, чудесно поздоровел, старина, не унывай!— тот намеревался похлопать Иржи по его левому плечу. И надо было видеть, как в предчувствии ожидаемой боли исказилось невольной гримасой его лицо и с какой быстротой перехватил и отвел он руку товарища!

Опытный конспиратор, Микулаш Сокол надежно удостоверился, что он не привел за собою «хвоста», а потому из госпиталя и лучше всего было исчезнуть в неисследимые глубины подполья. Исчезнуть той же ночью! А куда именно — об этом была давняя условленность в подпольном штабе: уходить на мельницу Шатрова, где главным крупчатным мастером уже изрядное время был Егор Иванович, «кмотр» Микулаша Сокола, опытнейший из подпольщиков уезда, кедровской выучки.

Очаг, руководимый Егором, был надежнейшим. Мало того что непрестанное толповращение помольцев из

множества деревень и сел помогало человеку затеряться в народе, но и отороченный лесами рядом текущий Тобол, и огромный казенный бор, многоверстный, неисследимый, на левом его берегу были укрывищем недосягаемым.

В случае розысков здесь, на мельнице, Егор Иванович всегда мог, даже и минуя мосты, на легком челноке — ботике переправить человека на боровой берег. А в бору и карательный отряд не разыщет! Этот челн-долбленка всегда стоял у него наготове, укрытый за сваями нижнего омута.

Сосновый казенный бор, из необхватных, мачтовых сосен, изобиловал и березовыми перелесками, и зарослями кустарника, и болотами, и озерца́ми, и немало было в его глухих недрах потаенных лесных избушек, охотничьих балаганов, лесных пашен, бахчей и заимок.

А недаром же сказано у народа, что в летнюю пору любой кустик ночевать пустит!

Окрестное население знало, что в казенном бору кроются целые ватаги «кустарников»: так в те дни стали звать беглых из колчаковской армии, укрывающихся в лесах. Это были завтрашние партизанские отряды в наиближайшем тылу белой армии генерала Сахарова. Солдаты убегали в леса с винтовками и боевыми патронами. Так что здесь, по Тоболу, уже давно отошла пора партизанских дробовиков и даже однозарядных берданок.

Мужики-тоболяне поили и кормили своих «кустарников» щедро, извещали их вовремя о появлении карательных отрядов — словом, опекали отцовски: «Сыны и и надежа наша!»

«Кустарники» вели себя чинно: не слыхать было никакого охальства. Егор Иванович был беспощаден в таких случаях. Он, как дратвой, прошил эти лесные ватаги коммунистами. В казенном бору свой «военно-революционный трибунал»: предательство, побег, насилие над женщиной, грабеж по крестьянским дворам — без излишних юридических тонкостей — расстрел!

Лесной трибунал этот приустрашил и мужичков из богатеньких: редкий из них решался быть наводчиком и проводником карательному отряду даже на свою собственную заимку в бору или на бахчи, хотя заведомо знал, что там гнездятся «кустарники».

Один из наводчиков был повешен на воротах своего двора.

Край клокотал. Окрест чуть не открыто говорили, что вот, мол, погодите: скоро придут красные, они вам покажут, нагаечникам, золотопогонникам!

Деревня под гармонь распевала еще никогда не бывалые частушки:

Я на бочке сижу,
А под бочкой каша.
Ты не думай, Колчак,
Что Россия — ваша!

Я на бочке сижу,
А под бочкой мышка.
Скоро красные придут —
Белым будет крышка!

Колчак ты, Колчак,
Ты довоевался:
Все солдаты — по кустам,
Ты один остался!

И не поводя глазом на орущих во всю глотку пареньков, еще неумело владеющих осиротевшей гармонью старших братьев, угрюмо и молча проходил мимо сам старший милиционер с наганом в кобуре и саблей, втайне боясь: как бы не обезоружили!

Однако такого рода отдельные нападения Егор Иванович запрещал, дабы не вызывать неистовый по расправе набег карательного отряда казаков, приданных корпусу Каппеля.

В большом доме на Шатровке — так называли окрестные главную мельницу Шатрова — было пустынно, гулко, тоскливо. Обитали в нем теперь только сам Арсений Тихонович, Володя, Дуняша и повариха.

Ольга Александровна совсем забросила Шатровку. Виделись только в городе. Но и Шатров все реже и реже бывал там. Ольга явно избегала оставаться с ним наедине. Отговаривалась необъятностью и неотложностью госпитальных дел. Можно было и поверить: после Челябинского сражения наплыв раненых, искалеченных был столь велик, что позанимали под лазареты несколько особняков, брошенных бежавшими на восток хозя-

евами. Да и то не хватало: дальняя эвакуация раненых поездами стала почти невозможной из-за развала и забитости железнодорожных путей беженскими составами и эшелонами поспешно уходящих на восток чехов. И поток раненых оседал здесь.

Неприятно стало Арсению Тихоновичу бывать в городе и еще по одной причине. Он явственно чувствовал, что власти, в особенности военные, косятся на него с плохо скрываемой враждой. Городок на Тоболе целиком входил теперь в тыловое управление Третьей армии генерала Сахарова. Гражданская власть управляющего уездом была, в сущности, упразднена. Безраздельно властвовал Сахаров — его армейская контрразведка, военно-полевые суды и ведомство государственной охраны.

Однажды Арсения Шатрова на его городской квартире посетил вовсе неожиданный гость: Иван Иванович Пучеглазов, бывший полицейский пристав! Но — в каком звании! Уполномоченный по государственной охране всего тылового округа, человек, имеющий право личного доклада у самого Сахарова, чем он и не преминул похвалиться перед Шатровым.

А явился он, как в тот давний свой приезд на Шатровку, в день рождения Ольги Александровны, опять с предупреждением, на правах якобы старого друга и доброжелателя. «Строго доверительно», как и в тот раз, счел нужным открыть он Арсению Тихоновичу, что на него есть доносец, которому если дан будет ход, то, пожалуй, и не поздоровится. «Константин Вячеславович,— это он о Сахарове, — шутить в таких случаях не любит!»

Будто бы Шатров где-то на народе, когда зашла речь о катастрофе на фронте и о мерах правительства, взял да и припомнил из крыловской басни «Щука и Кот».

Догадываясь, что́ именно усмотрел в этом его поступке доносчик, Арсений Тихонович, конечно, выразил свое полное недоумение: дескать, ну что ж,— может быть, когда и привел из Крылова, так не подпольная же это большевистская листовка!

И тогда Пучеглазов, придвинувшись, шепнул, что в доносе, мол, указано, что Шатров применил эту басню к адмиралу Колчаку.

— Час от часу не легче! Это каким же манером?

— А таким, что человек этот прямо пишет: крыловская, дескать, басня «Щука и Кот» написана в надсмешку над *адмиралом* Чичаговым, который вылез на сушу, взялся не за свое дело и потерпел поражение. Но господин, мол, Шатров, который с давних пор подозрительный по политической части, совсем другого хотел здесь осмеять адмирала. Щука у него получается не адмирал Чичагов, а адмирал Колчак!

— Черт знает что! И ты в эту брехню веришь, Иван Иванович?

Пучеглазов скользнул глазами и, после некоторого колебания, ответил, что, конечно, не верит, а то и не пришел бы. Но вслед за тем задушевнейшим голосом спросил, дотронувшись до руки Шатрова:

— Ну а как на духу, признайся, Арсений: был грешок?

С трудом сдерживая желание вышвырнуть его вон, Арсений Тихонович гневно пожал плечами и сказал:

— С ума сходишь, Иван Иванович! Ну довольно этих нелепостей. Прошу к столу!

За коньячком спросил мимоходом незваного гостенька о его материальном положении.

Тот ответил уклончиво:

— Не жалуюсь, Арсений Тихонович. Омские министры не имеют моего оклада. Ну и еще... «тантьемы», хехе! Но... запросы стали не те. И хочется на старости лет недвижимостью солидной обзавестись. А «коровьи языки» наши с каждым днем падают и падают!

«Коровьими языками» с некоторых пор называли в народе длинные, синеватые, худо отпечатанные ярлыки колчаковских ассигнаций.

И все же в итоге встречи Пучеглазов, мелко похохатывая, словно от щекотки, охотно принял изрядную сумму этими «коровьими языками», которые Шатров просто, не таясь, засунул ему в карман френча!

Одиночество и угрюмую тоску Арсения Тихоновича двое понимали, двое пытались помогать ему: Володя и Дуняша.

Тяжело отозвался в их сердцах и разрыв с Кедровым, и разрыв с Сергеем. А что неладно и между супругами — нетрудно было догадаться и тому и другому.

Каждый старался помочь по-своему.

Дуняша со свойственным ей умом сердца не покладая рук заботилась, чтобы ни на малую искорку не убыло тепла и света в когда-то столь жарко пылавшем очаге шатровского дома. А что же она могла сделать еще? Ей было жалко Арсения Тихоновича, но удивительная ее застенчиво-гордая чуткость не позволяла ей переступить черту, положенную ею самой в отношениях с хозяйкою и хозяином дома.

Лишь однажды, как-то в субботу, сказала она, что отчего бы не дать себе отдых — не пригласить на воскресенье, с ночевкой, кого-либо из Калиновки: составить партию в преферанс, как бывало прежде? Что уехал, мол, отец Василий, так неужели и людей не стало во всей Калиновке — заменить его с Лидией Аполлоновной?

Шатров ничего ей не ответил, а лишь в задумчивости, как бы сам с собою, проговорил:

— Да, да, отец Василий, отец Василий... Преферансист был отменный! Только теперь спокойные игры не для него: азартные полюбил. Иные карты мечет отец Василий!

И ничего не добавил больше.

Шатров не хотел раскрывать перед нею, что отец Василий Паренский стал главным священником одной из колчаковских армий, что у него теперь особый поезд и охрана и что он, вместе с епископом Андреем Уфимским, профессором философии Болдыревым, с главою старообрядческой общины в Сибири Мельниковым и мусульманскими му́фтиями и мулла́ми, возглавляет недавно возникшее Общество Креста и Полумесяца для создания добровольческих дружин, да и не только, а дабы вообще поднять все население Сибири — и православных, и старообрядцев, и мусульман — против большевиков и большевизма, во имя попранной веры.

Сам «главковостока» генерал-мистик Дитерихс взял Общество Креста и Полумесяца под свою руку.

Генерал князь Голицин стал военным главою крестоносных дружин.

Когда отец Василий Паренский, величаясь новым своим назначением, приезжал проститься к Шатрову перед отъездом на фронт, Арсений Тихонович пытался было по старинке попросту отчитать его и отговорить:

— Ты с ума спятил, поп?! Куда ты суешь свою буйноволасую башку? Лида, отговори хоть ты его!

Но супруги Паренские остались непреклонны. Отец Василий обиделся, а что касается волоокой красавицы попадьи, то видать было по всему, что ей необычайно льстит ее новое положение — супруги главного священника армии, со всеми почестями, житейскими благами и властью, с которыми сопряжен был этот новый сан или, вернее, *чин* ее мужа.

Расстались дурно. Шатров не вышел даже и проводить их.

В ту же ночь тайком Дуняша рассказала Егору Ивановичу об этой встрече. Она давно уже помогала ему и как связная, и как хранительница листовок: что бы ни случилось, а явный обыск в доме самого Шатрова был менее вероятен.

Егор Иванович выслушал ее. Объяснил, что́ такое дружины колчаковских крестоносцев, а поведением Арсения Тихоновича остался доволен:

— Светать начинает в голове у старика, светать начинает! — Помолчал и добавил:

— А тот хоть молодой, а окончательно потерянный человек!

Он говорил о Сергее.

Но и она теперь о нем думала точно так же: потерянный!

Чувствуя, что отец изнемогает душою, Володя еще более ревностно, усердно старался выполнять обязанности, когда-то против его воли на него возложенные. Он знал, какое утешение в этом для Арсения Тихоновича!

Главным турбинно-крупчатным мастером был Егор Иванович, а Володя исправлял должность помощника. Однако, испытав его раз и другой, Егор доверял ему и самостоятельно нести вахту. Несколько раз с похвалою он отозвался о Владимире перед Арсением Тихоновичем, и отец прибавил Володе оклад.

Это доставило и тому и другому чувство гордого удовлетворения. Арсений Тихонович не преминул по этому случаю даже разыграть маленькую сценку.

Дуняше велено было позвать Володю в отцовский

кабинет — позвать строговато и с печально-сочувственным лицом, как бывало это прежде, когда отец призывал для выговора и внушений.

Володя вошел, сильно обеспокоенный.

Отец, не глядя на него, показал рукою на легкое кресло перед письменным столом. Володя сел, ожидая разноса.

Отец, всячески усиливаясь оставаться строго деловым, сказал, посмотрев на сына:

— Ну что же, Шатров, я вами доволен! Главный вас хвалит. Прибавляю вам жалованье. С текущего месяца вы получаете у меня сто пятьдесят. На всем готовом!

И не выдержал — расхохотался, и обнял сына, и расцеловал.

Довольны были Владимиром и помольцы. А нелегкое дело угодить на этот народ, когда тут, на берегах Тобола, издревле селились и оседали люди разных говоров, укладов и даже вер — исходники из двадцати российских губерний!

Про Владимира слыхать было в народе: «Этот мастер впору Костянтину Ермакову что по умельству, что по обхождению с народом!»

Нежная и крепкая была у них дружба с Егором! И мало-помалу Егор Иванович начал приоткрывать перед ним завесу, под защитой которой таилась его подпольная работа в народе.

И когда Микулаш Сокол и Фрося, переодетые до неузнаваемости, очутились под его кровом, Егор Иванович не стал таить их от Владимира.

И не раскаялся в этом.

Только сутки успели передохнуть беглецы — их настигла погоня.

Рано утром сидел Егор Иванович на подоконнике распахнутого на нижний омут окна, на третьем ярусе крупчатки, и, покуривая, смотрел на облака, на ча́ек, на дальний берег и на светлую деревеньку, прижавшуюся к подножию темного бора.

Володя орудовал внизу: слышно было, как разбирает и улаживает ссору двух помольцев из-за очереди на помол.

Вдруг Егору Ивановичу что-то подозрительными показались трое всадников, остановившихся вдалеке, на лугу за омутом.

Он схватил бинокль Володи, всегда под рукою висевший, и стал всматриваться. Сомнений не было: двое — офицеры: сверкнул золотой погон, а третий — в гражданском. Когда же он повернулся лицом, Егор Иванович узнал в нем Кондратьича!

Вот всадники разъехались вправо и влево, по мановению руки старшого, а вглядевшись еще, Егор Иванович увидел, что к мельнице напрямик — через луга и пашни — движется редкая цепочка пеших.

Он громко позвал Владимира.

Тот примчался.

Егор Иванович молча подал ему бинокль и указал, куда смотреть.

Володя сразу все понял и без слов. Побледнев, оглянулся на Егора. Тот проронил одно лишь единственное:

— За ними!

— Что ж нам делать, Егор Иванович?

— Укрыть, укрыть! Немедля! Беги в мою хату — предупреди!

Володя уже порывнулся бежать и только успел спросить:

— Где? У нас в доме? Плохо, что отца дома нет: он — в Калиновке. При отце они, может быть, и не посмели бы с обыском!

Егор Иванович на мгновение призадумался и отверг решительно:

— Ни-ни-ни! Облавой идут. Это не простой обыск. Не будет и вашему дому пощады!

И в нетерпении мучительной обдумки стал поколачивать себя кончиками пальцев по лбу.

Вдруг Володя воскликнул:

— Егор Иванович, я знаю куда! Доверьтесь! После скажу! Бегу!

И просыпался по лестнице топотом каблуков...

Вот когда, вот когда пришло время испытать его «Водопад спасения»! Не вымышленная, отроку мечтавшаяся опасность, а настоящая, смертная нависла угроза над головой Микулаша Сокола и Фроси!

Ему одному лишь известной тропинкой, укрытой выступающими из плотины комля́ми уложенных в нее деревьев, он провел никем не замеченных Ефросинью Филипповну и Сокола в свое заветное, от всех потаен-

ное укрывище: под большим плотинным мостом, позади водяной, довольно плотной завесы, шумно ниспадающей через низкий ставень.

Узкое пространство между ставнем и низвергающимся через него могучим зеленым пологом воды могло вместить не одного человека. В этом зазоре было влажновато, но ни одна струя не падала в самый зазор: хоть чай пей! Володя совершенно случайно открыл это убежище, купаясь. Взрослому человеку, особенно извне, не могло бы и в голову прийти, что под этой куполообразной толщей воды может кто-либо быть. Тесный пролаз сбоку закрыт был от взоров темным, просмоленным столбом. Володя неоднократно сиживал в этом подводном убежище. И какое счастье, что, охваченный жаждой таинственного, никому, кроме Кости, не пожелал он открыть свой «Водопад спасения»!

Все было обыскано и осмотрено, не исключая и самого дома Шатровых. Да, это был не простой обыск, а подлинная облава! В ней принимало участие не менее взвода. Шатровка была окружена со всех сторон. Засада в береговых кустах видна была Егору Ивановичу в бинокль.

Ушли ни с чем. А ночью Егор Иванович со связным из помольцев переправил Фросю и Сокола в одно из убежищ в бору.

«Водопад спасения» выдержал испытание!

От начальника тылового округа Западной армии «господину Шатрову» вручено было строжайшее и срочное предписание: «Незамедлительно произвести полный демонтаж всего принадлежащего Вам мукомольного завода и снятое оборудование эвакуировать в г. Петропавловск, использовав для этой цели любое потребное количество крестьянских подвод, о мобилизации коих имеет сделать соответствующее распоряжение уездный воинский начальник, согласно Вашему расчету и требованию.

Оглашению не подлежит. Об исполнении донести».

Арсений Тихонович призадумался крепко!

Понял он, что не в эвакуации здесь дело, а лишь бы разрушить большую, промышленного значения мельницу, дабы не оставить ничего красным! Да и его нака-

зать. И население огромной округи оставить без помола. Ослушаться — значит попасть под расстрел. Но неужели же он, Шатров, смирится, струсит и, выполняя приказ, примет на свою голову проклятие всего окрестного крестьянства? Бежит, скажут, от красных, увозит свое — и нет ему никакой заботушки, что народу мука!

А что не миновать ему военно-полевого суда, если не выполнит приказа, в этом можно было не сомневаться.

Самодур, играющий беспощадного полководца, генерал Сахаров предавал смертной казни и морзистов и наборщиков за опечатки в своих ли, или верховного правителя приказах и обращениях к народу.

Однажды в листовке, которыми щедро усыпал свой путь генерал после Челябинска, вместо «подле отцов своих» было напечатано «подлецов своих». Разгневанный Сахаров приказал изъять дело виновных «из общей гражданской подсудности» и предать их «военно-полевому суду». Наборщик и правщик типографии были расстреляны.

Ссылаясь на исключительные права, предоставленные ему «верховным», Сахаров каторжные приговоры непременно повышал до расстрела. И затем неукоснительно через местные газеты и через листовки оповещал об этом население прифронтовой полосы. А она, полоса эта, простиралась до Петропавловска!

Шатров призвал для тайного совещания Егора.

— Убегать придется, Егор Иваныч. Уехать в Омск, что ли? Там поискать защиты. Не могу я этого сделать! А приказ — военный!

Егор Иванович встал с кресла, подошел к двери, распахнул ее, чтобы далеко было видно, если в гостиную войдет кто, а затем вернулся к столу и сказал:

— Правильное ваше решение — не демонтировать, Арсений Тихонович. И не раскаетесь! Мужики добром вам отплотят! Уехать вам придется, только зачем же в Омско? Хлопотно, да и опасно. Поближе надо!

Шатров подался к нему через стол.

И вот что он услыхал.

Пусть, дескать, его, Егора Ивановича, Шатров официальной доверенностью оставит за управляющего; пусть напишет ему и предписание незамедлительно выполнить приказ военных властей. А сам вместе с Володей скроется.

— Вот те на! Да куда же я скроюсь! Меня по всему уезду в лицо знают!

Егор Иванович усмехнулся лукаво:

— Только не в Омско! А слух я организую такой, что именно туда вы и отбыли с Владимиром Арсеньевичем. По своим делам. А мне, управляющему, приказали в письменном виде: исполнить, что́ приказано. Не будет на вас никакой вины. А я тут за все отвечу. Подам заявку лошадок на сто, а как станут мобилизацию производить — клячонок с десяток насобирают по пригонам, одров, которых на подпругах подвешивать надо! «Где кони?» Мужики ответ найдут... А вы скроетесь — у нас перебудете, сколь надо!

Шатров рассердился:

— У вас «перебуду»! Не в твоем ли домике?

— Нет, зачем? Тут в момент отыщут. А в лесочке, в борочке. Летнее время — не зимнее, не замерзнете!

И, взяв клятву с Шатрова, что если он отвергнет его предложение, то чтобы и забыл об этом их разговоре, Егор Иванович объяснил ему, что укроет его и Володю в дальних, потаенных избушках в бору — надежно и безопасно.

Увидя, что Шатров колеблется в тяжком раздумии, добавил:

— Верьте моему слову, Арсений Тихонович: Тобол Красной Армии не препона — не удержит! Да вы больше меня понимаете... Но... не удержит!

И Шатров согласился на все, что предлагал ему его неожиданный управляющий и советник.

Однако, прежде чем, предавшись на волю Егора Ивановича, исчезнуть в дальних лесах, Шатров с нарочным запросил Ольгу Александровну, может ли она срочно эвакуироваться с ним и с Владимиром в Омск.

Ответ Ольги Александровны был краток. Госпиталя она оставить не может: это было бы дезертирством и тяжело бы повлияло на ее раненых. Но пусть о ней Арсений Тихонович и Володя не беспокоятся: главный начальник округа генерал Георгиевский и окружной военно-санитарный инспектор доктор медицины и статский советник Суров полностью обеспечивают своевременную и безопасную эвакуацию госпиталя!

На широкой, твердой тахте темных цветов еще ослепительнее белизна прохладной, свежей постели.

Ночь с субботы на воскресенье.

Доктор Ерофеев только что отечески властно выпроводил ее домой из госпиталя: «Сейчас же домой, и без разговоров! Ольга Александровна, милая, нельзя так! На вас лица нет. Еле на ногах держитесь. Меня ведь не обманешь! Никому не разрешу вас беспокоить. Домой, домой, и — в постель. Полный отдых!»

«А это и впрямь хорошо: полный отдых!»

Она потянулась до хруста в плечах и слегка позевнула.

В комнате жарко. И еще соблазнительнее, еще отраднее кажется ей предвкушаемая прохлада снег-белых, тугих подушек, которая обымет сейчас ее голые плечи!

Сейчас она разденется и ляжет. Вынуты из дневной прически роговые заколки и шпильки и под шелковую ночную сеточку забраны обильно-упругие, темно-орехового отлива, распирающие сеточку волосы.

Ольга Александровна развязала пояс и расстегнула застежку, запахивающую халат. Еще мгновение — и она останется в одной батистовой, с кружевами, коротенькой рубашечке. Вот уже обнажила одно плечо, спуская халатик... И вдруг до ее слуха донесся несмелый электрический звонок с парадного.

Это было так неожиданно, что она испугалась. Недоумевая, кто бы это мог быть, она поспешно привела в порядок свои одежды. Было уже около одиннадцати часов ночи.

Послышался шум отпираемой двери: кому-то, невзирая на поздний час, как родному или близко знакомому человеку, ее открыла старая няня Ипатьевна, исполнявшая в шатровском городском доме должность домоправительницы.

Ольга Александровна вслушивалась. Но почти тотчас же легкий послышался стук уже в дверь ее комнаты, и певучий, жалобно-взволнованный голос Иржи произнес:

— Ольга Александровна, ради всего святого, простите меня за столь позднее вторжение! Я пришел проститься: получен приказ — мы покидаем город, покидаем Россию! Ради этого прошу меня простить! Если нель-

зя еще однажды взглянуть на вас, то... просуньте хоть вашу руку, чтобы я мог поцеловать ее на прощание!

Он молча ждал.

Шатрова быстрым взглядом окинула комнату, прикрыла постель, глянула в большое зеркало шкафа на себя и — решилась:

— Войдите, Иржи!

Дверь была не на затворе. Он вступил в комнату, откинув тяжелую дверную завесу, но тотчас же остановился, сдернул пилотку со светлых, словно лен, слегка вьющихся и взъерошенных юношески волос и движением, просящим о пощаде, прижал пилотку к сердцу.

От волнения встречи, какое испытывал он сейчас, глядя — и быть может, последний раз в своей жизни — на обоготворяемую им женщину, на эту *Княгиню Севера,* как прозвалась она в его душе в ту первую их встречу, сердце у него билось так сильно, что видно было, как от его ударов вздрагивают прижатые к груди кулаки и пилотка.

Большие синие глаза под светлыми тонкими бровями смотрели на Ольгу Александровну с таким сознанием провинности, что она вместо приготовленных ею слов о том, что избранный им для посещения столь поздний час лишает ее возможности быть гостеприимной,— вместо этих сдержанно-укоризненных слов она вдруг душевно и ласково улыбнулась на эту его забавную, мальчишескую виноватость, выраженную во всем его существе.

Лицо Иржи так все и занялось радостью!

Он кинул пилотку на пол, сверкая глазами, быстро подошел к Ольге Александровне почти вплотную, так, что она отступила невольно к самой тахте, и, схватив ее руки, сперва одну, затем другую, стал длительно целовать их.

— Полноте, ну перестаньте! Я рассержусь!

И нахмурила брови.

Он отпустил ее руки. Но не отошел.

— Сядьте в кресло!

Он сумрачно покачал головой и сказал со вздохом, глубоко заглянув ей в глаза:

— Спасибо, Ольга Александровна! Но что же длить разлуку? Есть справедливая русская пословица, что перед смертью не надышишься! А для меня с *вами* разлу-

ка, и навечно,— это хуже, это хуже самой страшной смерти! Сейчас я уйду! Но чтобы вы знали, чем вы от самой первой встречи были для меня...

И не домолвив, он стремительно опустился на колени и, прежде чем она успела остановить его, припал губами к ее ноге выше колена, отстраняя полу розового халатика.

И тогда она впрямь рассердилась!

Внутренне она в этот миг оставалась спокойной. Она и физически сознавала себя достаточно сильной, чтобы оградить себя от грубых, чувственных посягновений, и в духовной, волевой своей власти над ним ничуть не сомневалась. Наконец, она — в своем доме. И если бы (чего, конечно, он и допустить не посмеет) ей стала угрожать грубая мужская навязчивость — ей стоит лишь позвать старую няню, которая где-то недалеко, в соседних комнатах, чтобы возвратить его к чувству приличия!

«Да вот он, бедняжка, и сам опомнился! Господи! Но неужели же мне нанести ему оскорбление в час вечной и страшной для него разлуки — а я ведь знаю, что это так! — за то только, что он посмел коснуться губами ноги моей сквозь шелк чулка? Вот он и встает!»

Иржи прянул на ноги. Но вместо того чтобы отдалиться от нее, он всем своим жалобно изменившимся, чуть не плачущим лицом потянулся к ее губам.

Она услышала воспаленный шепот:

— Один-единственный, на прощание!

Ольга Александровна гневно откинула голову, отстраняясь: «Сейчас я должна прогнать его. Это уже слишком! Я с ума сошла, позволив ему войти!»

И, выставя руки — оттолкнуть,— она кинула их в движение толчка к его лёвому плечу. И оттолкнула бы! Но гримаса раневой боли исказила лицо Иржи. И тотчас же столь долго привычное ей бережение его от этой боли словно перебило ей руки.

Не оттолкнула...

И в тот же миг ощутила бесстыдно-властное прикосновение его жесткой ладони...

Короткий невольный стон ужаса, негодования, стыда вырвался у нее...

Можно, можно было и сейчас оттолкнуть его. Уйти. Выгнать...

Он ожидал этого. И в пылающей голове его вспыхнуло гневно-бешеное решение: «Оттолкнет — я сейчас же у ее ног пулей размозжу себе голову!»

Нет, не оттолкнула! Стыд и в супружестве целомудренной женщины — стыд, впервые в жизни отнятый у нее грубо-бесстыдным прикосновением руки чужого мужчины, сгубил ее. Пронеслось: «Боже мой, да разве же это не измена — то, до чего я допустила сейчас? Ах, все равно теперь!»

И когда он жадно обхватил ее и, сломив, повалил поперек тахты, она молча и без сопротивления приняла его, как приемлют мужа...

— Оставьте меня... Умоляю... Уйдите...

Но в ответ на эти, словно в бреду, в беспамятстве, шепотом стыда и отчаяния произнесенные ею слова Иржи только молча отрицательно потряс головой.

Чувство *огосподствования,* чувство полного мужского обладания этой еще столь недавно недосягаемо обоготворяемой женщиной, отнятой им, он знал, у человека грозного и мужественного,— это чувство все еще не было в нем насыщено.

«Нет! Пусть единственная в его жизни, но эта ночь должна стать истинно супружеской ночью!»

Его чувственное неистовство возбуждала не только женственно-мощная, ослепительная красота ее нагого тела, не только этот ее умоляющий шепот и вслед за тем снова потрясшая его полная покорность ему, но и мысль о ее беззаветно ею любимом муже, и даже то, что это была мать Владимира!

В эти же самые мгновения, в полубредовом безумии, и она как бы кидала свой беззвучный выкрик, вопль обреченности и отчаяния — тому, кого так тяжко и греховно она в этот миг оскорбляла: «Почему ты не придешь сейчас, чтобы убить нас обоих? Посмотри: вот какая я, твоя Оля Снежкова, твоя Ольга Александровна Шатрова, никому и никогда не доступная!»

Иржи оставался с нею всю ночь.

Когда он уходил от нее на рассвете, ему казалось, что он полностью утолил свое вожделение к ней и что теперь способен расстаться с нею навеки, не испытывая душевной боли.

Но прошел день — и вдруг чувство лютой тоски по ней и неотвязные о ней думы заставили его неотвратимо понять, что он еще сильнее, чем прежде, любит ее.

С проснувшимся в нем тонким чувствованием, всегда ему свойственным, вдруг понял он, что совершившееся с нею произошло никак не от ее развращенности, но что истинной причиной ее падения была жалость-любовь к нему, вкравшаяся в ее сердце, и потому именно ее чистейшее целомудрие — женщины, которая, кроме своего мужа, никого не знала и не любила,— целомудрие, застигнутое врасплох, и оказалось для нее столь же гибельным, как для девственной и чистой девушки ее неведение.

Изнемогая от желания видеть ее, с тем чтобы вымолить у нее прощение, Иржи — на этот раз рассчитанно — днем, зная, что Ольга Александровна в этот час дома, позвонил в домик Шатровых.

Приоткрыла дверь та же старая домоправительница. Но сейчас заметно было, что у нее нет ни малейшего желания впустить его в дом.

Тогда он сказал:

— Может быть, вы не узнаете меня, бабуся? Я...

Но и не дослушав его, старуха неприветливо отвечала:

— Как же не узнала — знаю! Да только что не велено от Ольги Александровны: чтобы никого, сказали, не принимать! Дома их нет!

И, поклонясь, захлопнула дверь.

Удрученный, он постоял и ушел.

А между тем срок отбытия эшелона с последним оставшимся отрядом чехов, с которым должен был уехать Иржи, приближался.

Тогда он, в полном отчаянии, написал ей откровенное, горестно-страстное письмо и передал через руки домоправительницы.

В нем он писал Ольге Александровне о своей безмерной и вечной любви к ней, о том, что жизнь без нее утрачивает для него свой смысл и что он умоляет ее оставить мужа, стать его женой и уехать с ним в Чехословакию.

Здесь он особенно напирал на то, что, в силу тяжкой и, по-видимому, непоправимой катастрофы на фронте, Ольга Александровна, оставаясь в Сибири, не только

себя обрекает на гибель, но и Володю. А у него, у Иржи, есть полная возможность спасти их и со всеми удобствами устроить им безопасный выезд за границу.

Он писал, что его любовь к ней и вера в нее помогает ему понять ее состояние, а потому он и не смеет упрекать ее даже за то, что она столь оскорбительно отказала ему в его желании повидаться с нею. А все же, так писал он, больно и трудно ему допустить, что он попрежнему ничто для нее!

Он писал ей, что если даже так, то, не смея навязывать ей себя, он все равно умоляет ее уехать с ним в Прагу или хотя бы во Владивосток, чтобы спасти себя и Володю, которого он с давних пор нежно и преданно любит — любовью старшего брата, любовью отца.

Несколько раз в последние дни Ольга Александровна жаловалась доктору Ерофееву на истязующую бессонницу.

В конце концов он посоветовал ей принять снотворное:

— И даже с недельку попринимаете — худо не будет: лучше отоспаться при помощи снотворных, чем изнурять себя отсутствием сна.— Вздохнув, вспомнил о Никите и о его гипнозе: — Да, будь здесь с нами доктор Шатров, он бы и без снотворных, двумя-тремя сеансами избавил вас от этой му́ки: по себе знаю — му́ка ужасающая! Кстати, есть еще какие-нибудь весточки от него? Где они сейчас со своей Этэреей?

Ольга Александровна, тяжело вздохнув, отвечала, что известий от Никиты нет уже свыше месяца. Он врачом во Второй армии генерала Лохвицкого. Армия эта катится на восток без железной дороги. Части перемешались. От неимоверного наплыва раненых врачи, фельдшера, сестры и санитары — в полном изнеможении.

— А тут еще тиф! Этапы в каком хаотическом состоянии — вы сами знаете. Представляю, что им приходится переживать, бедным: Никитушке и Раисочке его! Боюсь за них очень! — И снова пожаловалась: — И сна нет, и сердце стало опять побаливать!

От выслушивания отказалась, а рецепт на снотворное попросила выписать. Вызвала аптечного фельдшера и

попросила отпустить ей порошки: в госпитале у нее заведен был такой порядок, что даже она сама не могла взять что-либо из лекарств, а непременно по рецепту кого-нибудь из врачей.

Так было и сейчас.

Прошло два-три дня, и вдруг, задыхаясь от ужаса, в госпиталь ворвалась старая домоправительница Шатровой и простонала, падая на грудь доктору Ерофееву, что Ольга Александровна умерла...

Доктор Ерофеев тотчас же кинулся через двор в малый шатровский домик.

Умершая лежала в своей постели, и у нее был вид крепко и спокойно уснувшей на спине, с протянутыми поверх покрывала руками.

Старая няня, сквозь всхлипы, рассказала, что утром в обычный час, когда Ольге Александровне идти в госпиталь, «они не встали». «Постучала — не отзываются! Подождала — насмелилась будить...»

Тут взрыв рыданий не дал ей договорить, и, обливаясь слезами, старушка только и успела промолвить, глядя в лицо усопшей:

— Да нет, видно, не нашими людскими руками разбудить тебя, наша касаточка! Никто тебя не разбудит до Страшного суда архангеловой трубы!

С полу возле кровати доктор Ерофеев успел поднять коробочку из-под снотворных: из десяти выписанных им порошков не осталось ни одного — очевидно, все были приняты сразу! Возникшее у него подозрение подтвердилось...

Но его имени и свидетельства оказалось достаточно, чтобы власти дали разрешение не производить вскрытия: ему, доктору Ерофееву, дескать, было давно известно, что умершая страдала миокардитом и склерозом коронарных сосудов сердца. Очевидно, ruptura cordis [1], наступившая во время сна.

Сколько и каких только судебно-медицинских вскрытий не производил на своем веку старый доктор Ерофеев! Как спокойно привык относиться он к этому обычному требованию следственных властей в случаях скоропостижной смерти! А вот здесь — нет, не нашел он в себе душевной силы предать имя покойной и всей

[1] Разрыв сердца (*лат.*).

шатровской семьи на недобрые пересуды людской молвы!

И еще одно заставило его утаить самоубийство Ольги Александровны: ему оскверняющим кощунством представился обезображивающий след судебно-медицинского скальпеля на этом прекрасном и любимом лице.

Да он и совершенно уверен был, что здесь не было преступного деяния со стороны, а если сама Ольга Александровна приняла это страшное решение — уйти из жизни, то кто может посягать быть судьею над ней?!

Поздно ночью, в канун похорон, она лежала в гробу, поставленном на высоком помосте, закрытом парчою, посреди обезлюдевшей церкви, скудно озаренной восковыми свечами. В гулко-пустынном безмолвии храма слышался лишь протяжно и мертвенно восклицающий голос псалтырщицы-монахини из окрестного монастыря, позванной читать по усопшей.

Монахиня лишь изредка, передыхая, восклонялась от листов книги, лежащей перед ней на покатой доске налоя, и тогда невольно бросала жалостный взгляд на светло-прекрасное лицо покойницы.

Тленная, но просветленная смертным покоем, красота ее застывших, недвижных черт казалась уже не здешней.

Голова Ольги Александровны утопала в последних ей принесенных цветах. Старая шатровская няня, никому не позволившая опрятать тело своей Оленьки, никак не хотела допустить это возложение цветов на ее смертное изголовье: «Грешно! Не по святоотческому закону творите! Господу предстанем не со цветами, а со страхом и покаянием!»

Но ее не послушались.

Тогда она все же на одном своем настояла. И теперь в застывших перстах покойницы виден был белый платочек, вложенный нянею: чтобы стало чем пот с лица утереть в час Страшного суда!

Часов, наверное, около двух пополуночи легкие, но все же гулко отдавшиеся в тишине храма чьи-то шаги заставили чтицу-монахиню поднять голову от псалтыря. Застыла в испуге: возле гроба, у возглавия, стоял

чешский офицер и смотрел в лицо умершей. И что-то шепотом говорил ей, склонясь...

Монахиня готова была крикнуть, позвать людей: так страшен почему-то показался ей этот ночной пришелец возле гроба.

Но испуг ее тут же прошел.

Чех благоговейно перекрестился широким католическим крестом, от левого плеча к правому; склонившись, поцеловал сперва сложенные на груди руки умершей с зажатым в них платочком, а затем ее закрывшиеся навеки глаза и уста — и стремительно вышел...

Необычен и опрометчив был его дальнейший ночной путь, когда он вышел из храма! Неужели не знал он, офицер чеховойск, да еще столько времени проведя в этом, теперь уже прифронтовом, городке, что в ночное время через мост, ведущий к военным складам на том берегу Тобола, проходить без пароля и пропуска никому не дозволено? Нет, как будто нарочно пренебрегая всем этим, он спокойно и быстро ступает на мост и идет по нему, почти вплоть до другого его конца!

Здесь его обдал грозно-испуганный окрик часового:

— Стой. Кто идет?

Но Иржи продолжает идти — безмолвно и нисколько не замедляя шага.

Окрик повторен:

— Стрелять буду!

Не отвечая, не умедляя шага, Иржи идет...

Прицельный выстрел сразил его наповал!

...Вряд ли военно-следственной властью был обвинен часовой: он только выполнил долг свой!

* * *

Да, так сложилась судьба, что никого, никого из Шатровых не было у гроба Ольги Александровны!

Но весь народ города скорбно провожал ее к покоищу всех умерших — всех, кто уходит от нас навеки...

ЭПИЛОГ

Стоял январь тысяча девятьсот двадцатого года. Но словно бы злополучному шатровскому року вновь захотелось повторить все то, что произошло в этом же самом доме и в такой же вот беспощадно-суровый январский день два года тому назад!

Перед Арсением Тихоновичем Шатровым снова лежит вызов к властям, присланный из города с нарочным,— вызов на этот раз куда пострашнее: к председателю уездной Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, или, как привык уже весь народ сокращенно именовать ее, Чека.

Самое ужасное для Шатрова на этот раз состояло в том, что председателем учека был опять-таки не кто иной, как товарищ Копырников!

«Да! Это конец! Ну что ж, только спасибо скажу, что развязал!»

Сильно подался, постарел и поседел Тихонович! Перестал ровнять седую бороду и усы; отягченные, поразвивались опущенные до плеч седые кудри. Таким сделался он после смерти своей Ольги Александровны.

И, видя его таким, даже Володя, сам тяжко перенесший смерть матери, не приставал к нему, чтобы встряхнулся отец, привел себя, сколь возможно, в прежний свой вид.

Дав последние наказы Владимиру по мельнице, по плотинам и хозяйству, Арсений Тихонович отбыл в город.

Истинную причину вызова в Чека Шатров даже и не старался предугадать. Но благополучного исхода ждать было нечего! Расстреляны были по городу и уезду многие, недавно еще именитые люди. Некоторых он знал

чуть не четверть века. Очевидно, чей-то злобный донос, а то и просто так: «по классовому признаку».

От Володи он скрыл причину своего отъезда в город: боялся, что увяжется с ним и кинется разыскивать Егора Ивановича с целью защиты отца. Егора Ивановича давно уже не было на мельнице: был комиссаром где-то дальше на востоке, среди вливаемых в Красную Армию среднесибирских партизанских отрядов.

В приемной председателя Чека ждать его не заставили. Секретарь, военный, взглянув на предписание, сказал:

— Можете пройти к товарищу Копырникову!

И Шатров вошел.

Сидевший за тяжелым письменным столом подтянутый, худощавый военный смотрел прямо на него. Больше никого в кабинете председателя Чека не было, и Шатрову подумалось: «А где же Копырников?»

И тогда, понимая его недоумение, Агат Петрович Копырников рассмеялся и молвил:

— Вижу, не признаете меня, гражданин Шатров? Многие не признают: привыкли об одном глазу меня видеть!

Всмотревшись, Арсений Тихонович узнал его.

Агат вышел из-за стола, поздоровался с Шатровым за руку, предложил сесть в кресло, а когда тот сел, он вернулся в свое, закурил и предложил папиросу Арсению Тихоновичу.

Тот сказал, что не курит. Молча ждал начала допроса.

Но такового он так и не дождался!

Агат, покуривая и щурясь сквозь легкий дымок, промолвил раздумчиво:

— Да-а! Много воды утекло, а немало и крови. Давненько не видались мы с вами, Арсений Тихонович, давненько! И вас тоже не вдруг признаешь: изменились, сильно изменились. Еще бы: при таком горе! Как же, слыхал, знаю, не говорите! Да и кто ж ее не вспомнит, вашу Ольгу Александровну?

Помолчав, заговорил о Никите:

— Свыше сил человеческих, свыше сил человеческих испытания ваши, Арсений Тихонович! Не будем бередить! Скорбей кругом, скорбей! Но пускай то для вас будет опорой, что старшего вашего не насмерть

сразил гад. На днях развертываю газету, смотрю: «К населению Сибири — от коллегии Чекатифа». Вижу и его подпись: «Главврач Н. А. Шатров». Ну, думаю, поднялся Никита Арсеньевич со своего смертного одра. Опять на коне! Конечно, эпидемические не его специальность. Но тут разбирать не приходится: в порядке чрезвычайности. Тифы, тифы валят народ по всей матушке-Сибири: Колчаково наследие. Все силы теперь — на противотифозный фронт. Недаром Чека названа: Чека против тифу! Не по специальности Никите Арсеньевичу, но видать, что он и здесь своего высокого звания не посрамит!

...Тяжело — в грудь навылет — доктор Шатров был ранен выстрелом осатаневшего офицера в дни боев на Тоболе.

Это произошло как раз в те дни, когда генерал Сахаров и Колчак отдали чудовищный свой приказ: в любой деревне, в любом селе, где только найден будет укрытый населением красный, расстреливать каждого десятого из мужчин, а село или деревню — сжигать!

В одной из офицерских теплушек, где находились и Никита с Раисой, стали вслух читать листовку осведомительного отдела армии с этим именно приказом.

Вдруг среди одобрительно-злобных выкриков «господ офицеров», что так и только так, дескать, и надо и что молодец генерал Сахаров, послышался ясный, убежденный голос врача. Никита назвал приказ *постыдным.*

Один из офицеров угрожающе потребовал — повторить.

И доктор Шатров, глядя ему в лицо, повторил:

— Постыдно! Позорно! Гнусно!

Офицер, выругавшись, выстрелил ему в грудь почти в упор.

Исход ранения был бы, несомненно, смертельным, если бы в тот миг не было здесь Раисы. Она и оказала первую помощь, она и вы́ходила его в госпитале.

Стрелявший в Никиту офицер по закону подлежал военно-полевому суду.

Но генерал Войцеховский, заслушав дело, «повелел» офицера к ответственности отнюдь не привлекать, ибо, как сказано было в резолюции генерала, виновный применил оружие в порыве патриотических чувств, оскорбленных недопустимым суждением врача Шатрова. Что же касается оного, то «буде воспоследует выздоровле-

ние», военный прокурор имеет возбудить дело о нем.

Выздоровление «воспоследовало». Но это произошло уже в декабре девятнадцатого, когда после окончательного разгрома остатков колчаковских армий под Красноярском Сахарову и Войцеховскому было не до суда над доктором Шатровым!

Доктор Шатров и медсестра Шатрова были приняты в том же звании в число военно-медицинских служащих армии Тухачевского.

По Восточному фронту в те дни отдан был приказ: врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, находившихся дотоле в рядах колчаковской армии, мобилизованных, *военнопленными не считать.*

Ошеломивший Арсения Тихоновича допрос продолжался:

— Я, собственно, почему побеспокоил вас, гражданин Шатров. А вот почему. Поступил к нам донос, что вот, мол, кого так вы берете за шкирку, и правильно делаете, а кому так мирволите, поблажку даете. Почему карательные органы пролетариата не займутся, дескать, буржуем и эксплуататором Арсением Шатровым, когда у него и сын не только что беляк офицер, а и в личных адъютантах у самого Колчака состоял?!

Шатров порывнулся было ответить, но Копырников движением руки остановил его слово:

— Не волнуйтесь, Арсений Тихонович! Нам касательно вас все досконально известно. Каждое ваше слово при колчаках, каждый шаг! Знаем все и про Сергея, и как вы его встретили, и что собаками, сказали, травить будете, если хоть за плотиной покажется. Ну и все прочее нам известно. На том стоим! И Егор Иванович нас в некотором отношении проинформировал. Так вот... Не перебивайте меня!

И председатель Чека рассказал далее, что автор доноса на Шатрова был не кто иной, как Кондратьич!

— А мы этого голубя давненько позаприметили! Писучий, гад: архив контрразведки мы захватили — армии генерала Сахарова,— и что ж вы думаете? — и туда на вас доносец метнул в свое время, что вот господин Шатров большевичит, большевиков укрывает, над самим адмиралом Колчаком надсмешки строит! Ну и

так и далее! Вызвали мы его, Контратьича этого, к себе. Он меня тоже сперва не узнал, а как признал — затрясся! Сознался во всем! Матерой провокатор! Стал в ногах валяться, лбом о половицу стучать! Я приказываю конвоирам, что убрать — ну тогда, известно, запсиховал. «Вы,— орет,— с контрой чачкаетесь! Врагам пролетариата поблажку даете! У меня,— кричит,— один брат комиссар Красной Армии, другой брат беляками был расстрелян! Не смеете со мной так!» А я ему на это: «Знаю обоих доблестных твоих героев братьев; и Степана и Константина! Жалко, что Степана Ермакова, комбрига, здесь нету: своей рукой бы он тебя, мерзавца, кокнул!»

Под конец этой ошеломившей Арсения Тихоновича беседы ему был задан председателем Чека один-единственный вопрос: знает ли он, Шатров, что-либо о своем сыне Сергее — где он и что с ним?

Ответил, что ничего не знает и не любопытствовал знать!

Копырников удовлетворенно кивнул головой; затем довольно долго молчал, и видно было, что в его душе происходит борение: сказать или не сказать?

Решился.

— Нам, к сожалению, известно о его судьбе...

Смолк.

Шатров спокойно поднял на него глаза и недрогнувшим голосом спросил:

— Расстрелян?

— Нет. Застрелился сам. В октябре минувшего года. При отступлении из родных мест, где-то возле Глядянки. Но предварительно застрелил приятеля своего, офицера. Что у них там произошло, нам дознаться не удалось.

А произошло вот что.

В те дни, в начале октября тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда окончательно и постыдно провалился начавшийся было столь грозно конный рейд казачьего корпуса Иванова-Ринова на Курган, с целью охватить с юга, из степей, правое крыло армии Тухачевского, разгромить ее всю тыловым заходом и отбросить от железной дороги; когда новое контрнаступление генерала Сахарова захлебнулось в крови лобовых безнадежных атак на роковом рубеже Тобола,— в штаб ар-

мии, к Сахарову, явился особый посланец верховного правителя, поручик его конвоя, офицер-ординарец Александр Гуреев.

От имени адмирала он вручил командующему армией обещанный месяц тому назад личный и многозначительный подарок «верховного» — карманный испанский пистолет-парабеллум № 21727 — и письмо.

Сверх меры польщенный таким вниманием «верховного», Сахаров расцеловал Гуреева и, предложив отдых в своем личном поезде, спросил, когда приказано поручику вернуться в Омск.

Гуреев, слегка осклабившись, отвечал, что он испросил у его высокопревосходительства разрешение остаться в действующей армии. Сахаров похвалил:

— Молодец! Если бы все живущие в Омске офицеры — а их тысячи там поустраивались на теплых местечках! — поступали так, как поручик Гуреев, я имел бы пополнение и теперь стоял бы не на Тоболе, а... у Златоуста или даже Уфы! Выбирайте себе любую часть.

Гуреев не этого ожидал: он рассчитывал, что Сахаров оставит его при своем штабе. Он соврал генералу: из особняка на Иртыше он и не думал проситься на фронт, но, наскребывая последние горсточки надежного пополнения, о которых Сахаров вопил Дитерихсу шифровками непрестанно, начальник адмиральского конвоя в дополнение к той части, которая ушла на Тобол с полковником Гарпиевым и уже сильно пострадала в боях, послал и еще горсточку бравых конвойцев и в числе их поручика Гуреева.

Попутно адмирал поручил ему передать генералу Сахарову подарок, обещанный еще в августе, и письмо.

Во время отступления после челябинской катастрофы Колчак дважды приезжал к Сахарову. Злосчастному адмиралу льстецы успели внушить блажную мысль, что одно его появление на фронте способно вдохнуть дух победы в отступающие войска. А между тем, когда Омск узнавал о его очередном отъезде на фронт, то обычной стала горькая шутка даже среди колчаковских верхов: «Ну, поехал Курган сдавать!», «Ну, поехал Петропавловск сдавать!»

Однажды, в конце августа, Сахаров и адмирал ехали притобольной степью, среди пестреющих там и сям березовых колков и жалостно не убранных, но изобильно

отягченных неслыханным урожаем крестьянских пшеничных нив.

Неожиданно Колчак спросил Сахарова:

— А почему вы без револьвера?

Тот ответил, что наган казенного образца слишком тяжел, а потому его носит за ним его ординарец, унтер-офицер.

Адмирал с горькой усмешкой неодобрительно покачал головой и сказал:

— Нет, так нельзя! Свое огнестрельное оружие я имею всегда при себе!

При этих словах он слегка постучал о маленький браунинг в чехле на поясе.

— Мало ли что может случиться! У меня на этот случай — неколебимое решение: шесть пуль — врагу, а последняя, седьмая, — себе! Разве нам с вами можно живым сдаваться в руки красных?! Но вы говорите, что наган своей тяжестью стесняет вас... Хорошо, я пришлю вам кое-что полегче!

И вот прислал, не забыл!

Любуясь пистолетом, то выбрасывая из него все пули обоймы, то вновь заряжая, Сахаров долго забавлялся испанским парабеллумом. И вдруг помрачнел. Человек суеверный, он вспомнил тот свой разговор с адмиралом, вспомнил предназначение последней пули, и ему подумалось, что, ох, не к добру этот подарок «верховного»!

Спрятал пистолет в ящик стола и еще раз, но уже довольно сухо, спросил поручика Гуреева, в какую именно часть хотел бы он вступить, с тем чтобы отправиться туда на рассвете, так как поезд командарма утром будет далеко передвинут к востоку.

Неожиданно принужденный к немедленному ответу на этот вопрос Сахарова, прозвучавший приказом, поручик Гуреев, приняв бодрый вид, отвечал, что в таком случае ему хотелось бы сражаться плечом к плечу со своим старым другом и соратником еще по офицерскому партизанскому отряду — с поручиком Сергеем Шатровым.

Сергей встретил своего былого ме́нтора, как брата. Была для того некая особая причина. Когда полковник Гарпиев вместе с полковником Удинцовым прибыл на фронт к Тоболу, во главе конвоя «верховного», Сергей,

снова пожелавший быть под командованием Гарпиева, спросил его, между прочим, о том, почему Александра Гуреева нет с ними. Полковник поморщился и нехотя промолвил, что, к сожалению, у него на этого офицера стал складываться взгляд, столь замечательно выраженный еще Суворовым при одной аттестации: «Офицер многих качеств, но в бою застенчив!» К моменту их отправки на фронт Александр Гуреев неожиданно оказался офицером для поручений у самого «верховного», так что вышел из подчинения Удинцова и Гарпиева и зацепился в особняке!

Но вот теперь этот осмеянный Гарпиевым Сашка добровольно (так думалось Сергею) покинул службу в особняке и снова — вместе со старыми боевыми соратниками — в их смертном строю!

А иначе, как смертным, уже и нельзя было назвать этот строй, где кровавые клочья наполовину опустошенных колчаковских частей, перемешавшись, текли опять на восток — от Звериноголовской и Кургана к Петропавловску, — и на этот раз уже бесповоротно!

Был на переломе октябрь. Близился конец холодной сибирской осени. Хрупким ледком застеклило лывы. Моросили студеные дожди. Проселочные дороги развезло. Оголенные, почерневшие, стояли березовые ко́лки. Нищенски одетые и обутые, войска адмирала жестоко страдали от холодов. Нарастал ропот. Неудержимо усиливалось дезертирство...

В эти-то черные дни для белой армии судьба и соединила опять в одном и том же отряде Сергея Шатрова и Александра Гуреева.

Встречались только на ночлегах. И тогда, заночевав где-нибудь в чужой избе, в убогой сельской школе, а то и просто на сеновале, друзья-соратники вели ненасытимые, мечущиеся с предмета на предмет, всено́щные разговоры.

Гуреев охотно и много рассказывал Сергею о последних днях в особняке. Адмирал по-прежнему то в неистовом шторме, то весь какой-то вы́потрошенный! Так и выразился еще недавний офицер для поручений о своем верховном главнокомандующем, при особе коего столь трепетно состоял. Сергей поморщился, но остановить друга счел неудобным.

Гуреев клялся, рассказывая, что однажды, часа в два ночи, он подсмотрел и подслушал — случайно якобы, совсем не желая этого, — как «верховный» стоял перед огромной настенной картой фронта, означенного флажками, и топал в гневе, и приказывал, заклинал, чтобы фронт не откатывался на восток.

Сергей усмехнулся недоверчиво:

— Заклинал?! Привираешь, Саша?

Гуреев побожился.

— Конечно, я тебе обо всем этом как другу, ты сам понимаешь! Но именно заклинал! А что? Адмирал страшно увлекается буддизмом. Может быть, и вычитал что-нибудь такое в древних книгах.

— Чепуха! Просто тебе поблазнило... хмельному!

— Как хочешь!

Помолчав, сколь требовала обида, стал рассказывать дальше.

Перед самым его отъездом сюда, к Тоболу, во дворе у «верховного» сделался страшный пожар. Сгорел гараж. Боялись, что не отстоять и особняка.

— И ты представь себе: ливень страшнейший, а оно — пластает! Бензином полили, черти! Диверсия, конечно, как и в тот раз, когда взрыв произошел, когда еще этот поэт-конвоец Юрка Сопов погиб! Впрочем, это при тебе было... Помнишь?

Да! Сергей отлично помнил все обстоятельства этого чудовищного взрыва, который официозно, для успокоения, приписан был неосторожному обращению с гранатой.

Адмирал прибыл тогда с фронта через какой-нибудь час после взрыва. Еще стояла ядовитая гарь и во дворе, и в комнатах особняка.

Вывозили через широко распахнутые ворота обезображенные трупы егерей конвоя. Адмирал стоял на внутреннем крыльце особняка. Он был бледен, мрачен и молчалив. И только один-единственный раз прервал молчание смущенным вопросом, жестокая неуместность которого тогда потрясла Сергея:

— А лошади мои не пострадали?

Его успокоили...

— Но почему ты так уверенно заявляешь, Саша, что этот пожар — диверсия? Бензин... Гараж... преступная небрежность. Мало ли таких случаев?

Гуреев даже присвистнул, возражая:

— Тю-тю! Да контрразведка же расследовала. Перетрясла всех жителей во всем квартале. Нашли рядышком с нашим двором и взрывчатку, и много чего другого. Но «работнички», дьяволы, успели скрыться!

...Несколько раз поручик Гуреев безнадежно высказывался о положении на фронте. Сергей старался, и сам плохо веря в свои доводы, укрепить в нем веру в окончательную победу.

Коснулись «главковостока» генерала Дитерихса: его стратегии непрерывного отступления в глубины Сибири.

Гуреев с неприкрытой издевкой сказал:

— Перемудрил наш Михаил Константинович! Не говоря о прочем, если мы все Приуралье отдадим, Среднюю Сибирь, Алтайский край, так нам не то что воевать — нам жрать будет нечего!

Сергей возразил угрюмо:

— Вот так же и Барклая поносили в тысяча восемьсот двенадцатом!

Гуреев рассмеялся язвительно:

— Эк, ты куда метнул! Да я не впервой это слышу. Кто-то старается популярность ему создать. Есть слух, что он сам в *«верховные»* метит!

— Брось!

— За что купил, за то и продаю! Хочешь — верь, не хочешь — не верь! А ты знаешь, что на это в Омске говорят: если, дескать, он Барклай, то пора сменить его Кутузовым! Ты знаешь, что он напевает адмиралу? Нам, мол, только октябрь как-нибудь продержаться, пока Деникин возьмет Москву.

Сергей понуро слушал его.

И тогда Гуреев прямо сказал ему:

— Все, брат, потеряно! Летим под откос!

Сергей вскинулся:

— И все-таки я не сомневаюсь в конечной нашей победе! Разве союзники допустят, чтобы победили большевики? Им же и самим тогда гроб!

Гуреев отвечал на это, почти сострадая его наивности:

— Дорогой мой! Оставь эти детские надежды! Союзники? Кто? Жанен? Мы прекрасно знали, то есть адмирал знал, что в то самое время, когда мы ждали и тре-

бовали признания союзниками и все уже было на мази — и в этом был залог нашей победы, — он, этот самый Жанен, сука, подавал тайные шифрованные депеши «Совету четырех»: не верьте, дескать, адмиралу Колчаку — он враг демократии! Вот тебе и союзники! Не будь столь наивен! Пора за свой ум браться!

На эти слова его — «Пора за свой ум браться!» — Сергей в тот раз, тяжко удрученный всем, что услыхал от него, не обратил особого внимания.

А в следующий их совместный ночлег в горнице крестьянской избы, откуда они выдворили хозяев, произошло вот что.

Тронув повешенный на спинку стула френч Гуреева, Сергей обратил внимание, что слабо пришитые погоны еле держатся. Это ужаснуло его: заметь это кто-либо взыскательный из начальников, мало не будет!

Он и сказал об этом Александру.

Гуреев метнул на него лукаво-многозначительный взгляд, подошел к нему и шепнул на ухо:

— Так надо, Сережа!

Сергей насторожился:

— Это почему же?

— Не пыли, не пыли, Сереженька! Они у меня на ниточках: для того, мой дорогой, чтобы легче было избавиться от этой бутафории, чтобы красные не прикончили нас сгоряча. Не сегодня-завтра нам всадят штык в спину собственные наши стрелки! Ты этого хочешь дождаться?

И предложил ему этой же ночью перейти к противнику.

— Не беспокойся: там снова людьми будем — красные нуждаются в офицерах!

Ошеломленный, Сергей хрипло спросил:

— Ты это серьезно?

Гуреев, дернув плечом, ответил:

— С другим я не стал бы заводить такой разговор. Но Сергея Шатрова я никогда не считал слепым глупцом!

И вдруг, побледнев от ужаса, увидал наведенное на него дуло пистолета. Прицеливаясь ему в лоб, поручик Шатров жестко, сквозь зубы проговорил:

— У поручика Сергея Шатрова его погоны пришиты намертво! Перекрестись!

Простирая к нему вскинутые руки, Гуреев крикнул жалобно и отчаянно:

— Ты с ума сошел?! Оставь эти дурацкие шутки!

Но в ответ — снова угрюмо-злобное:

— Перекрестись! А! Не хочешь? Ну, черт с тобой, пропадай так!

Гром выстрела, распирающий комнату. Гуреев, метнувшись, рухнул на некрашеные половицы. Пуля пробила ему череп насквозь.

Вслед за тем Сергей плотно приставил дуло пистолета к своему виску и выстрелил...

По-разному сложились роковые судьбы даже у тех, у кого они, казалось бы, должны были сложиться одинаково, — у людей из одного и того же стана: стана побежденных, поверженных, погибающих!

Седьмое ноября тысяча девятьсот девятнадцатого года. На грязном талом снегу омского перрона, загроможденного кучами скарба беженцев-эвакуантов, ожидают, среди сотен других, вожделенной посадки Анатолий Витальевич Кошанский с дочерью Кирой и Петр Аркадьевич Башкин.

Под вечер стало известно, что и сегодня их состав не будет собран, потому что предназначенный для них паровоз нахрапом захватила какая-то воинская часть.

Кира, злобствуя, не жалеет унизительных, бранных слов для отца, тем более что ругает она его на английском. Она винит его в том, что он довел-таки до последних дней, поверив заявлениям адмирала и генералов ставки, что Омск ни в коем случае сдан не будет.

Отец оправдывается тем, что, мол, и шестой батальон чехов, охрана генерала Жанена, да и сам генерал, главнокомандующий всеми иностранными войсками в Сибири, до сих пор не эвакуировались. Стало быть, не так-то близка опасность!

И в это время, как нарочно, поезд, составленный почти сплошь из сверкающих отделкой, цельнооконных пульмановских вагонов, с добавлением нескольких теплушек и платформ, — поезд самого Жанена, с двумя паровозами, тяжко замедляет свой ход как раз против вокзала.

Двое офицеров, один — француз, другой — чех, стремительно соскакивают с подножек и, подбежав к начальнику станции, вышедшему навстречу, что-то властно требуют от него.

Третий офицер, старший чином, француз, судя по форме, наблюдает за их переговорами, покуривая сигару на вагонной площадке.

Вдруг Кира с испугом увидела, как родитель ее поспешно подступил чуть не к самой площадке, где стоял этот офицер, и произвел перед его глазами какое-то странное маячение рукою, похоже на то, как делают это глухонемые.

Боясь, что его арестуют, Кира крикнула ему:

— Папа!

И в то же время увидела, что стоящий на площадке офицер ответил ее отцу таким же точно маячением руки: «братья» высших посвящений узнали один другого! Затем, оборотясь в глубь вагона, старший офицер крикнул какую-то команду. Повинуясь ей, на перрон быстро и ловко выпрыгнули два чеха. Офицер указал им на Анатолия Витальевича и что-то сказал. Чехи, перекинувшись с Кошанским кратким словом и получив от него указание, схватили оба по два чемодана из их вещей и рысцой помчались в пульмановский вагон. Кошанский с Кирой подхватили остальное и прошли туда же, причем стоявший на площадке старший офицер любезнейше помог им войти. Затем все трое исчезли в глубине вагона.

Ошеломленный Башкин смотрел на все это феерическое действо, не веря глазам своим.

Петр Аркадьевич не сомневался, что его друг не умедлит выйти к нему: если не ради того, чтобы взять и его с собою, то, по крайней мере, чтобы проститься.

Нет, не вышел!

Прозвенел станционный колокол. Раздался свисток паровоза, и поезд генерала Жанена мягко и мощно двинулся на восток, унося Кошанского и его дочь.

Это произошло всего лишь за неделю до бегства самого адмирала из его недолговечной столицы. Башкину так и не удалось эвакуироваться, ибо шестой батальон чеховойск был последним из остававшихся в Омске.

Он был арестован и в начале двадцатого года расстрелян по приговору коллегии.

Та же участь постигла вскоре и отца Василия Паренского. Зная, что ему, одному из самых ярых зачинателей «дружин Креста и Полумесяца», нечего ждать пощады, отец Василий некоторое время скрывался, выдав себя за работника Закупсбыта и обеспечив себя соответствующими удостоверениями.

Пришлось резко изменить внешность: сбрить бороду и усы и даже пожертвовать «власами, аки у Авессалома». Однако участи Авессалома ему избежать не удалось!

...Полковник Гарпиев и Ярослав Чех, оставивший чешскую службу, уцелели и после красноярского разгрома и в рядах каппелевцев ушли за Байкал...

Из кошевки, остановившейся против самого крыльца, тяжеловато из-за надетого на нем тулупа вылез Кедров. Тотчас же обернулся и, подав руку, помог выйти из нее своему спутнику, тоже в тулупе.

На кухне выбежавший на звон колокольчиков Володя, взвизгнув от радости, обнял Кедрова. Дуняша, ахнув радостно, закрыла лицо руками.

Расцеловавшись с Володей, Кедров шутливо пробасил:

— Погоди, погоди, великан, изломаешь! Эк, вымахал!

Опомнившись, Дуняша кинулась совлекать с приезжих их тяжелые сибирские бхабни.

Володя порывнулся было в комнаты: известить отца. Кедров остановил его:

— Постой, не надо: нагрянем на старика «сурпризом»! Да сначала обогреемся тут у вас, поразомнем ноги...

Греясь возле жарко пылающей плиты, Кедров сказал спутнику:

— А вот это, Леонид Борисович, и есть тот самый Володя Шатров, о котором я вам рассказывал: помните — водопад?

Володя смутился.

А спутник Матвея Матвеевича — человек лет пятидесяти, с веселым и необыкновенно острым взглядом сквозь простые очки, седеющая бородка тупым клинышком — важно и вместе с тем ласково отвечал:

— Ну как же, как же! Прекрасно помню. Рад позна-

комиться. — Протянул руку и назвал себя: — Красин Леонид Борисович!

Захваченный врасплох этой встречей, Шатров заплакал. Когда прошло, Матвей познакомил его с Красиным.

Леонид Борисович загадочно пошутил:

— Возобновляем давнее знакомство, Арсений Тихонович! В пятом! Я вас прекрасно помню. Земляки! И помощь вашу нам помню. И промышленную вашу деятельность — также. Помню, называл вас: русский американец!

Шатров стал внимательно всматриваться в лицо гостя. Признал!

Да! Он встречался с этим человеком и на маевках за Тоболом и слыхал его речи на мятежных собраниях в те далекие времена, но и у Башкина встречал его на заводе, и в городской думе — инженера по электричеству, единственного тогда на весь город.

— Узнали?

— Да!

И снова крепчайшее, радушнейшее рукопожатие!

За обедом Кедров с дружеской укоризной молвил Шатрову:

— Удивляюсь, что Леонид Борисович после пятнадцати лет и все-таки узнал тебя. А я вот и не столь давно с тобою расстался, а не вдруг узнал: чего это ты так запустил себя? Седые кудри до плеч... бородища!

Шатров горестно примахнул рукой, и у него вырвалось безнадежное:

— Кому я нужен?

Кедров так на него и напустился:

— Как это — кому нужен? Да вот нам с Леонидом Борисовичем нужен. За тобой приехали. И времени — в обрез. Завтра — с нами. Так что подсобирывайся!

Шатров изумленно и недоверчиво смотрел на него. И Матвей объяснил ему все.

Призванный Лениным к восстановлению торговопромышленных отношений с капиталистическим зарубежьем — отношений, рухнувших в бездну войн и нашествий, — Леонид Борисович Красин в те дни, перед выездом за границу, отягощенный этой миссией чрез-

вычайного значения, жадно и срочно искал надежных и многоопытных сотрудников: по финансам, металлургии, по электропромышленности, и железнодорожному делу, и, наконец, по промышленному маслоделию. В конце марта текущего тысяча девятьсот двадцатого года Красину надлежало быть в Швеции и в Англии.

При встрече с Кедровым он посетовал перед ним на трудность подбора. И тогда Кедров напомнил ему о Шатрове. «Человек большого масштаба в своей торгово-промышленной области. Честный. По маслоделию у него старые деловые отношения с английской фирмой Лондсдейля. Прекрасный организатор. Политически я поручусь за него!» — «Погоди, Матвей, да я же его прекрасно помню, этого Шатрова! Давай мне его, давай скорее!» — «К сожалению, он сиднем сидит у себя на Шатровке». И Матвей Матвеевич пригласил Леонида Борисовича посетить Шатрова: «Старики почет любят!»

Красин согласился охотно.

Так появились эти неожиданные гости.

...Наутро, когда вышли все к чаю, Кедров снова был изумлен преобразившимся видом Арсения Тихоновича: на прежний манер подровнял бороду и усы, седые кудри округло и коротко острижены.

«Круглила» Дуняша.

В Кремль они явились трое — Кедров, Красин, Шатров — точно к назначенному времени, и обаятельно-строгая Лидия Александровна Фотиева, не заставив ожидать ни минуты, пригласила их к Владимиру Ильичу.

Не веря, что это действительно наяву, а не во сне совершается с ним, с Шатровым, Арсений Тихонович мысленно приказывал себе быть спокойнее и все-таки не мог: слишком хорошо понимал он, куда, в *чьи* покои вступает, *кого* он увидит и услышит сейчас!

Едва вошли — поразила его светлая простота и деловая целесообразность всего, что он успел охватить взором в этой просторной, с высоким белым потолком комнате.

Старался одним охватом навеки запечатлеть в памяти.

Бросилась в глаза белоснежного кафеля, четвероугольная, высотою чуть не под самый потолок, возле левой, от входящих, стены, старинная печь. От нее еще

светлее казалась комната, освещенная двумя большими окнами.

В простенках — высокие и узкие, раздельно по полкам застекленные шкафы, так что виден сразу корешок любой из неисчислимого множества книг. В глубине комнаты — письменный стол с телефонами под рукою и с простой электролампой под зеленым стеклянным абажуром. И — очевидно, на тот случай, если погаснет электричество,— четыре свечи на высоких подсвечниках.

Слева от письменного стола, у окна,— единственная «роскошь» кабинета — раскидисто-перистая невысокая пальма в простой кадушке на особом столике...

Внезапно двустворчатая белая дверь слева и позади письменного стола открылась, и Ленин быстро вышел к ним и, приблизившись, радушно приветствовал каждого коротким крепким рукопожатием.

И с этого мгновения Шатров уже не отрывал глаз от него.

«Так вот он каков собою — этот человек, способный вызвать землетрясение и управлять им!»

Коренасто-стройный, большеголовый, объемнолобый, с большою лысиною через все темя, темноглазый, с косо поставленными бровями вразлет; одет в обычный городской костюм с глухой жилеткой, в разрезе которой виднеется черный галстук с белыми крупными «горохами». Рыжеватые небольшие усы, рыжеватая, сведенная на круглый клин бородка.

Заговорил.

Звонкий, высоковатый, с напором сдержанной энергии голос, с легкой картавинкой, как бы совершенно необходимой.

Пригласил сесть в кожаные мягко-упругие кресла, поставленные по два по обе стороны простого стола под темно-красной суконной скатертью. Стол этот, очевидно, подсобный — для посетителей или для самых узких совещаний, был приставлен под прямым углом, наподобие ножки к букве «т», почти вплотную к середине письменного стола.

Усадив всех троих, Владимир Ильич сам лишь полуприсел на толстый подлокотник четвертого кожаного кресла, лицом ко всем трем.

Ближе всех к нему сидел Шатров.

К нему Ленин сперва и обратился:

— Ну-с, господин сибирский капиталист, слышал о вас от товарища Красина, попросил познакомить!

И смолк.

От столь неожиданного обращения: «господин сибирский капиталист» — Арсений Тихонович, вероятно, пришел бы в немалое смущение, если бы заранее не был осведомлен Кедровым о необычных иной раз приемах Ленина в беседах с людьми, о его склонности к шуткам.

Набравшись храбрости, Шатров шуткою и ответил, напуская некоторую как бы мужицкую, с хитрецой, простоватость и даже подражая говору Тобола:

— Что вы, что вы, Владимир Ильич! Какой же я капиталист?! Так разве — справный был мужик: недоимок за мной не было!

И надо было видеть, каким заливистым, звонким, чуть не до слез смехом рассмеялся его ответу Ленин!

Смеялись и Кедров с Красиным.

И сразу что-то мешающее ушло из беседы.

— Да! — сказал Ленин.— Вот таких-то «справных мужичков», как ваша милость, мы и начали искать сейчас по всей России. Но открываем двери лишь для самых дельных. Честных. Готовых служить советской власти не за страх, а за совесть! И даже учиться коечему у них собираемся. Учиться!

Помолчал. Встал. Видно было, что волнение какихто воспоминаний охватило его. Снова присел на подлокотник кресла и продолжал так:

— Да-а! А ведь как мне досталось от некоторых архи-р-р-революционных товарищей, когда я впервые сказал, что самым-де важным завоеванием за год внутреннего нашего строительства является то, что от подавления капиталистов мы подошли к их... применению, к использованию их сил и знаний!

И, сощурясь лукаво, добавил:

— Да и теперь достается!

Вторая часть встречи протекала уже в сугубо деловом, уточненном духе.

Повернув свое кресло к собеседникам и усевшись в него, Ленин сказал Шатрову:

— Итак, значит, справный хозяин, вы будете нам помогать. Прекрасно! Здесь, стало быть, у нас нечто вроде сибирского торгово-промышленного комитета.

И вновь — шутка:

— Я ведь тоже сибиряк: Минусинского уезда, села Шушенского!

Задал Кедрову и Шатрову несколько конкретных вопросов о поголовье молочного скота в Западной Сибири, о положении сибирского маслоделия. Огорчился ужасно (хотя и вряд ли ожидал услышать что-либо иное), когда Шатров сказал, что маслоделие Приуралья и Тобола — в полной разрухе.

— Необходимо восстановить! Я неплохо был знаком с маслоделием вашего края. Это же наше Эльдорадо! Клондайк! Это же несметный источник валютных средств! Я очень, очень рад, что товарищ Красин будет иметь в Лондоне такого помощника по этой части, каким вы являетесь, Арсений Тихонович. Я убежден, что вам удастся заинтересовать фирму Лондсдейля в восстановлении сибирского маслоделия. Им, англичанам, тоже выгоднее получать наше «парижское» масло без посредников!

Их беседа продолжалась около часа. Два раза неслышно входила Лидия Александровна...

В Кремле Красин распрощался с ними — с Кедровым и с Шатровым: у него еще были какие-то неотложные дела в Совнаркоме.

Кедров и Шатров молча шли к Спасским воротам.

Глубоко взволнованный впечатлениями только что минувшей встречи, Арсений Тихонович все еще явственно слышал в своей душе звонкий, с легкой картавинкой голос, все еще видел перед собою лобный купол этой мирообъемлющей головы.

И у него вырвалось из глубины сердца:

— Да-а! В этой голове хватит свету для всех!

1958—1966

СОДЕРЖАНИЕ

Югов А. К.

Ю15 Страшный суд. Эпопея в двух романах. М., Воениздат, 1979. 815 с.

В пер. 3 р.

Действие романа-эпопеи развертывается на переломе истории: в 1916—1917 гг. В ней освещается предреволюционная жизнь Сибири, подготовка революции и становление здесь Советской власти, работа коммунистической партии по организации и сплочению масс на борьбу с контрреволюцией.

Ю $\frac{70302\text{-}273}{068(02)\text{-}79}$ без объявл. 4702010200.

ББК 84Р7
Р2

Алексей Кузьмич Югов

СТРАШНЫЙ СУД

Редактор *С. А. Бабинская*
Суперобложка художника *Е. Н. Флеровой*
Художественный редактор *Г. В. Гречихо*
Технический редактор *М. В. Федорова*
Корректор *Е. Г. Семеляк*

ИБ 1682

Подписано к печати с матриц 11.10.79. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. нов. Печать высокая. Печ. л. 25 1/2. Усл. печ. л. 42,84=44,606 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4/6466. Зак. 9-431. Цена 3 р.

Воениздат, 103160, Москва, К-160

Набрано в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 2 Союзполиграфпрома при Государственном Комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, проспект Мира, 105

Отпечатано с матриц на книжной фабрике имени М. В. Фрунзе Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

ч
ь

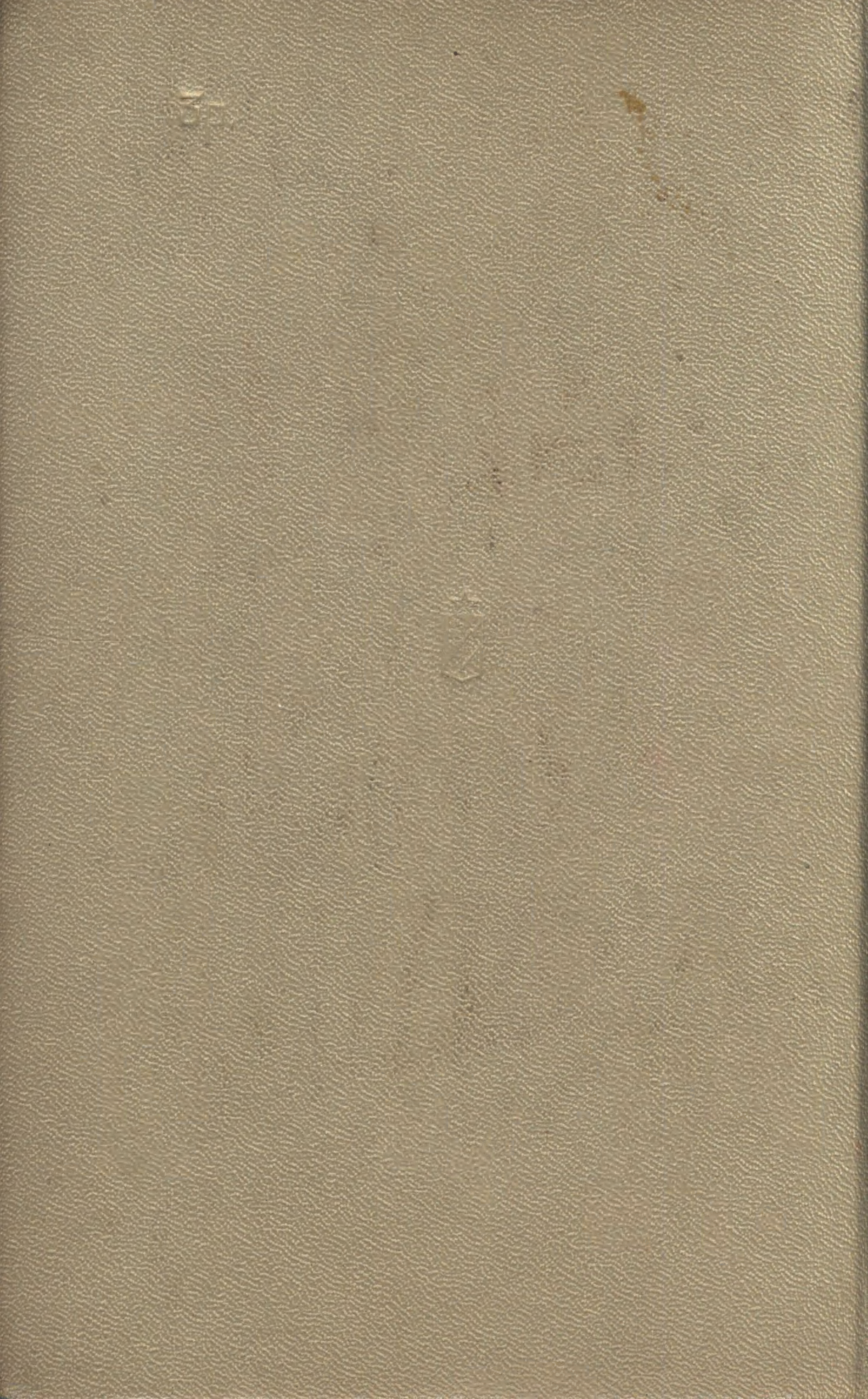
7
2

/32.
л.
кз.

ов-
ар-
ам

они
не-
ец-

2



Алексей
Югов

Страшный
суд